

# ВОСПОМИНАНИЯ О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ



## Annotation

«Единственная обязанность на земле человека — прада всего существа» — этот жизненный и творческий девиз Марины Цветаевой получает убедительное подтверждение в запечатленных мемуаристами ключевых биографических эпизодах, поступках героини книги. В скрещении разнообразных свидетельств возникает характер значительный, духовно богатый, страстный, мятущийся, вырисовывается облик одного из крупнейших русских поэтов XX века. Среди тех, чьи воспоминания составили эту книгу, — М. Волошин и К. Бальмонт, А. Эфрон и Н. Мандельштам, С. Волконский и П. Антокольский, Н. Берберова и М. Слоним, Л. Чуковская, И. Эренбург и многие другие современники М. Цветаевой.

---

- [Марина Цветаева](#)
- [Валерия Цветаева\[5\]](#)
  -
- [А. Жернакова-Николаева\[7\]](#)
  -
- [Максимилиан Волошин](#)
  -
- [Федор Степун\[9\]](#)
  -
- [Борис Зайцев\[12\]](#)
  -
- [Константин Бальмонт](#)
  -
- [Сергей Волконский\[14\]](#)
  -
- [Надежда Мандельштам\[18\]](#)
  -
- [Николай Еленев\[22\]](#)
  - [КЕМ БЫЛА МАРИНА ЦВЕТАЕВА?](#)
  - [ПОД СЕНЬЮ СКАЗОЧНЫХ КОНЕЙ](#)
  - [ЗДРАВИЦА ПАЖА](#)

- [БРЕМЯ ГЕТТО](#)
- [ПРОТИВОРЕЧИЕ СЛАГАЕМЫХ](#)
- [ЖРЕБИЙ САМООТВЕРЖЕННЫХ](#)
- [ИЗБРАННИЦА СЛОВА](#)
- [ТРУД И ТВОРЧЕСТВО](#)
- [БЫЛЬ И СКАЗКА](#)
- [ЧАЕМОЕ И БЫТ](#)
- [Нина Берберова\[31\]](#)
  -
- [Ольга Колбасина-Чернова\[32\]](#)
  -
- [Ариадна Чернова-Сосинская\[35\]](#)
  -
- [Марк Слоним\[37\]](#)
  -
- [Андрей Седых\[42\]](#)
  -
- [Елена Извольская\[43\]](#)
  -
- [Надежда Городецкая\[45\]](#)
  -
- [Владимир Вейдле\[48\]](#)
  -
- [Юрий Иваск\[49\]](#)
  -
- [Сергей Эфрон\[56\]](#)
  - [I](#)
  - [II](#)
  - [III](#)
  - [IV](#)
  - [V](#)
  - [VI](#)
- [Надежда Мандельштам](#)
  -
- [ДОПОЛНЕНИЯ\[60\]](#)
  - [Валентина Перегудова](#)
  - [Софья Липеровская\[64\]](#)

- 
- [Татьяна Астапова\[71\]](#)
  -
- [Елизавета Тараховская\[78\]](#)
  -
- [Р. М. Хин-Гольдовская\[80\]](#)
  -
- [Мария Кузнецова \(Гринева\)\[91\]](#)
  - [Первая встреча](#)
  - [Оборотник](#)
  - [Дикий вепрь](#)
  - [Волчья шкура](#)
  - [Ее шаг](#)
  - [Елка](#)
  - [Таракан. \(Годы начавшихся материальных недостатков\)](#)
  - [Марина и Аля у меня](#)
  - [Кукла. \(Гражданская война. Голод. Пайки. Але 9 лет\)](#)
  - [2-я студия](#)
  - [Прощальные дни](#)
  - [Последняя встреча](#)
- [Елизавета Кривошапкина\[101\]](#)
  -
- [Павел Антокольский\[105\]](#)
  -
- [Илья Эренбург\[110\]](#)
  -
- [Эм. Миндлин\[113\]](#)
  - [I](#)
  - [II](#)
  - [III](#)
  - [IV](#)
  - [V](#)
  - [VI](#)
  - [VII](#)
- [Петр Зайцев\[135\]](#)
  -
- [А. Эфрон](#)

- 
- [Роман Гуль\[140\]](#)
- 
- [Евгения Каннак\[146\]](#)
- 
- [Валентина Чирикова\[147\]](#)
- 
- [Дмитрий Мейснер\[148\]](#)
- 
- [Г. И. Альтшуллер\[149\]](#)
- 
- [Екатерина Рейтлингер-Кист\[157\]](#)
- 
- [Борис Лосский\[163\]](#)
- 
- [Валентин Булгаков\[173\]](#)
- 
- [Ариадна Тыркова-Вильямс\[175\]](#)
- 
- [Вера Андреева\[177\]](#)
- 
- [Вадим Андреев\[179\]](#)
- 
- [Наталья Резникова\[191\]](#)
- 
- [Александр Бахрах\[196\]](#)
- 
- [Алексей Эйснер\[197\]](#)
- 
- [Х. П. Кроткова\[205\]](#)
- 
- [Елена Извольская](#)
- 
- [Лидия Эпштейн-Дикая\[215\]](#)
- 
- [Галина Родионова\[218\]](#)
-

- [Зинаида Шаховская\[226\]](#)
  -
- [Ирина Одоевцева\[230\]](#)
  -
- [Е. Н. Федотова\[235\]](#)
  -
- [Нина Гордон\[237\]](#)
  -
- [Дмитрий Сеземан\[242\]](#)
  -
- [Ноях Лурье\[243\]](#)
  -
- [Людмила Веприцкая\[245\]](#)
  -
- [Елизавета Тараховская](#)
  -
- [Арсений Тарковский\[246\]](#)
  -
- [Арсений Тарковский](#)
  -
- [Андрей Кленов\[248\]](#)
  -
- [Надежда Павлович\[249\]](#)
  -
- [Ольга Мочалова\[252\]](#)
  - 
  - [ЗАПАДНЯ КРЫСОЛОВА](#)
- [Владимир Сосинский\[256\]](#)
  -
- [Зинаида Кульманова\[265\]](#)
  -
- [Лидия Чуковская\[269\]](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)

- [Э. Миндлин](#)
  -
- [Г. Адамович\[274\]](#)
  -
- [Л. Зуров\[278\]](#)
  -
- [П. Сувчинский\[281\]](#)
  -
- [о. Александр Туринцев\[282\]](#)
  -
- [Мария Юдина\[283\]](#)
  -
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)

- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)



- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)

- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)

- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)

- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)

- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)

- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)

- [284](#)
  - [285](#)
  - [286](#)
-

# Марина Цветаева

## ОТВЕТ НА АНКЕТУ<sup>[1]</sup>

Марина Ивановна ЦВЕТАЕВА.

Родилась 26 сентября 1892 г. в Москве.

Дворянка.

Отец — сын священника Владимирской губернии, европейский филолог (его исследование «Осские надписи» и ряд других), доктор honoris causa Болонского университета, профессор истории искусств сначала в Киевском, затем в Московском университетах, директор Румянцевского музея, основатель, вдохновитель и единоличный собиратель первого в России музея изящных искусств (Москва, Знаменка). Герой труда. Умер в Москве в 1913 г., вскоре после открытия Музея. Личное состояние (скромное, потому что помогал) оставил на школу в Талицах (Владимирская губерния, деревня, где родился). Библиотеку, огромную, трудо- и трудноприобретенную, не изъыв ни одного тома, отдал в Румянцевский музей.

Мать — польской княжеской крови, ученица Рубинштейна, редко одаренная в музыке. Умерла рано. Стихи от нее.

Библиотеку (свою и дедовскую) тоже отдала в музей. Так, от нас, Цветаевых, Москве три библиотеки. Отдала бы и я свою, если бы за годы Революции не пришлось продать.

Раннее детство — Москва и Таруса (хлыстовское гнездо на Оке), с 10 лет по 13 лет (смерть матери) — заграница, по 17 лет вновь Москва. В русской деревне не жила никогда.

Главенствующее влияние — матери (музыка, природа, стихи, Германия. Страсть к еврейству. Один против всех. Негойса). Более скрытое, но не менее сильное влияние отца. (Страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота, отрешенность.) Слитое влияние отца и матери — спартанство. Два лейтмотива в одном доме: Музыка и Музей. Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский — рыцарский. Жизнь на высокий лад.

Постепенность душевных событий: все раннее детство — музыка, 10 лет — революция и море (Нерви, близ Генуи, эмигрантское гнездо),



11 лет — католичество, 12 лет — первое родино-чувствие («Варяг», Порт-Артур), с 12 лет и поныне — Наполеониада, перебитая в 1905 г. Спиридоновой и Шмидтом, 13, 14, 15 лет — народовольчество, сборники «Знания», Донская речь, Политическая экономия Железнова, стихи Тарасова, 16 лет — разрыв с идейностью, любовь к Сара Бернар («Орленок»), взрыв бонапартизма, с 16 лет по 18 лет — Наполеон (Виктор Гюго, Беранже, Фредерик Массой, Тьер, мемуары, Культ). Французские и германские поэты.

Первая встреча с Революцией — в 1902 — 03 г. (эмигранты), вторая в 1905 — 06 г. (Ялта, эсеры). Третьей не было.

Последовательность любимых книг (каждая дает эпоху): Ундина (раннее детство), Гауф-Лихтенштейн (отрочество). Aiglon<sup>[2]</sup>

Ростана (ранняя юность). Позже и поныне: Гейне — Гёте — Гёльдерлин. Русские прозаики — говорю от своего нынешнего лица — Лесков и Аксаков. Из современников — Пастернак. Русские поэты — Державин и Некрасов. Из современников — Пастернак.

Наилюбимейшие стихи в детстве — пушкинское «К морю» и лермонтовский «Жаркий ключ». Дважды — «Лесной царь» и Erikönig. Пушкинских «Цыган» с 7 лет по нынешний день — до страсти. «Евгения Онегина» не любила никогда.

Любимые книги в мире, те, с которыми сожгут: «Нибелунги», «Илиада», «Слово о полку Игореве».

Любимые страны — древняя Греция и Германия.

Образование: 6-ти лет — музыкальная школа Зограф-Плаксиной, 9 лет — IV женская гимназия, 10 лет — ничего, 11 лет — католический пансион в Лозанне, 12 лет — католический пансион во Фрейбурге (Шварцвальд), 13 лет — ялтинская гимназия, 14 лет — московский пансион Алферовой, 16 лет — гимназия Брюхоненко. Кончила VII классов, из VIII вышла.

Слушала 16-ти лет летний курс старинной французской литературы в Сорбонне.

Подпись под первым французским сочинением (11 лет): Trop d'imagination, trop peu de logique.<sup>[3]</sup>

Стихи пишу с 6 лет. Печатаю с 16-ти. Писала и французские и немецкие.

Первая книга — «Вечерний альбом». Издала сама, еще будучи в гимназии. Первый отзыв — большая приветственная статья Макса

Волошина. Литературных влияний не знаю, знаю человеческие.

Любимые писатели (из современников) — Рильке, Р. Роллан, Пастернак. Печаталась, из журналов, в «Северных. Записках» (1915 г.), ныне, за границей, главным образом в «Воле России», в «Своими путями» и в «Благонамеренном» (левый литературный фланг), отчасти в «Современных Записках» (правее). У правых, по их глубокой некультурности, не печатаюсь совсем.

Ни к какому поэтическому и политическому направлению не принадлежала и не принадлежу. В Москве, по чисто бытовым причинам, состояла членом Союза писателей и, кажется, поэтов.

1910 г. — Вечерний альбом (стихи 15, 16 и 17 лет).

1912 г. — Волшебный фонарь.

Перерыв в печати на 10 лет.

Написано с 1912 по 1922 г. (отъезд за границу):

Книги стихов:

Юношеские стихи (1912–1916, не изданы).

Версты II — (1916 г., изданы в 1922 г. Госиздатом).

Версты II — (1916–1921, не изданы, часть стихов появилась в «Психее»).

«Лебединый стан» (1917–1922, не издано).

Ремесло (1921–1922, издано в 1923 г. в Берлине Геликоном).

ПОЭМЫ:

Метель (1918 г., напечатана в парижском «Звене»);

Приключение (1919 г., напечатана в «Воле России»);

Фортуна (1919 г., напечатана в «Современных Записках»);

Феникс (Конец Казановы) — 1919 г., напечатано в «Воле России».

От книжки под тем же именем, обманом вырванной и безграмотно напечатанной в 1922 г. в Москве какими-то жуликами, во всеуслышанье отрекаюсь.

Царь-Девница (1920 г., издана в России Госиздатом, за границей «Эпохой»);

На Красном Конне (1921 г., напечатана в сборниках Психея и Разлука);

Переулочки (1921 г., напечатана в Ремесле).

ЗАГРАНИЦА:

ПОЭМЫ:

Молодец (1922 г., издано в 1924 г. пражским «Пламенем»);

Поэма Горы. (1924 г., появляется ныне в № 1 парижского журнала «Версты»);

Поэма Конца (1924 г., напечатана в пражском альманахе «Ковчег»);

Тезей (1924 г., не напечатано);

Крысолов (1925 г., напечатано в «Воле России»);

Подруга семиструнная (стихи 1922 г. — по 1926 г., не изданы).

ПРОЗА:

Световой ливень (о Б. Пастернаке, 1922 г., «Эпопея»);

Кедр (о «Родине» Волконского, 1922 г., напечатан в пражском альманахе «Записки наблюдателя»).

Вольный проезд (1923 г., напечатан в «Современных Записках»).

Мои службы (1924 г., напечатаны в «Современных Записках»).

Поэт о критике (1926 г., напечатано в № 11 «Благонамеренного»).

Проза поэта (мой ответ О. Мандельштаму, 1926 г., имеет появиться в «Современных Записках»).

---

Любимые вещи в мире: музыка, природа, стихи, одиночество.

Полное равнодушие к общественности, театру, пластическим искусствам, зрительности. Чувство собственности ограничивается детьми и тетрадями.

Был бы щит, начертала бы: «Ne daigne».<sup>[4]</sup>

Жизнь — вокзал, скоро уеду, куда — не скажу.

## Валерия Цветаева <sup>[5]</sup> ИЗ «ЗАПИСОК»

С младшим братом и сестрами, которых я была приблизительно на 10 лет старше, большой близости у нас не получилось. Я понимала, что нет вокруг них той осторожности, в которой они все трое нуждались. Были они детьми незаурядными. Мое мимоходное баловство, ласка для них мало что значили.

Сестра Марина, едва овладев подобием грамотности, детскими каракулями на всех случайных клочках писала стихи. Внешне тяжеловесная, неловкая в детстве, с светлой косичкой, круглым, розовым лицом, с близорукими светлыми глазами, на которых носила долгое время очки, Марина характером была неподатливая, грубовата. Заметен был в ней ум и с детства собственный внутренний мир. Слабая ориентировка в действительности в дальнейшем превратилась в до странности непонимание реального окружения и равнодушие к другим.

Забегая вперед, скажу, что с возрастом внешность Марины менялась к лучшему, она выросла, выровнялась. 16-ти лет, будучи еще в гимназии, Марина выкрасила волосы в золотой цвет, что очень ей шло, очки носить бросила (несмотря на сильную слепоту), гимназию кончать не стала. Жила своей внутренней жизнью. 18-ти лет напечатала первый сборник стихов «Вечерний альбом». 20-ти лет напечатала вторую книгу стихов «Волшебный фонарь». Кто, зная Марину в те годы, мог предвидеть трагическую судьбу поэтессы Марины Цветаевой.

Младшая сестра Ася, подвижная, находчивая, ловкая, в детстве с мальчишескими ухватками, была небольшого роста, худенькая, с легкими светлыми волосами, нежным цветом лица, как и Марина, и тоже близорукая. Ася обладала блестящей памятью, быстротой мысли и впоследствии обращавшим на себя внимание даром слова. Характера она была открытого, живого, довольно дерзкого, в детстве надоедавшая всем назойливым, требовательным, ноющим плачем по

всякому поводу. Становясь старше, оставалась трудной в быту и трудной самой себе.

20-ти лет напечатала первую книгу «Королевские размышления» и 22-х лет вторую «Дым, дым и дым».

Сестер сближала с их матерью общая одаренность, мучительная тяга к чему-то, надрыв в горе и в радости (так ярко сказавшийся позднее в стихах Марины, например в «Поэме Конца»). Надрыв, приводивший к поступкам иступленным, часто общая для них всех троих субъективность восприятия (окраска звука и т. п.) и эгоцентризм, безотчетно переходивший порою в холодный цинизм, находивший для себя почву в сложившихся обстоятельствах.

Болезненные явления приписываю я наследственности из семьи Мейн, сестра старика Мейна была психически ненормальной.

Таким детям с ранних лет нужно было руководство, прежде всего богатое душевным теплом. Мария Александровна сама была человек порывистый, несдержанный. Отец поощрял в детях, поддерживал, не жалея средств, все, что могло повысить их культурный уровень: общее образование, знание языков, помощь репетиторов и гувернанток, занятия музыкой, путешествия, но личное повседневное руководство разве мог он взять на себя? Да педагогика и не была его призванием. Я избегала столкновений с М. Ал. Отец, видимо понимая мою линию поведения, и сам шел на многие уступки ради покоя, весь поглощенный своей работой и делами Музея. Все шло более или менее благополучно, пока судьба не нанесла всему решительный удар. Но то было еще впереди.

Весной 1906 года отец выехал в Крым, чтобы перевезти М. Ал. и двух девочек домой. Брат Андрей целых 4 года не видел их. Да и я уже 3 года. Марине было уже 14 лет, Асе — 12. Какими они стали? Дорога им будет очень трудная: до железной дороги много езды на лошадях! Как справиться с совсем слабой больной и беспомощными в дороге детьми? 21 мая 1906 г. отец писал Нечаеву-Мальцеву из Ялты: «Я переживаю здесь тяжелые дни. Что делается в Москве? Числа 28-го надеемся переехать в Тарусу. При благополучии 31-го надеюсь быть в Москве». Отец беспокоился о делах на службе и в музее: «Здоровье больной безнадежное. Больная страдает не одной чахоткой, но и совершенно разбитыми нервами, астмой и крайней слабостью сердца.

Был на почтовом дворе, законтрактировал 2 ландо и подводу под багаж. Больная так слаба, что до экипажа придется нести ее в кресле».

После долгого и трудного пути семья была водворена в знакомый, милый домик над Окой.

«Я совсем измучен», — писал отец. «Дамоклов меч висит над нами», — добавлял он по поводу все ухудшавшегося здоровья больной.

Девочки сильно выросли. Прямо с дороги обежали они и дом, и свои верхние комнатки с балконом над садом, и двор с кустами бузины у большого сарая, и старый сад, и спуск к реке, где еще цела была лестница с земляными ступенями, которую выкопал Сережа Иловайский, когда гостил у нас в Тарусе.

У городского сторожа, что жил недалеко от нашей дачи, в семье оказалось много молодежи, подростков — найдутся нашим девочкам товарищи для игр и походов...

Из нашей дружбы с Мариною в те дни помню такой случай. Как-то под вечер шли мы вдвоем из Тарусы от Добротворских к себе домой. Несли мы 2 толстых тома «Войны и мира» в крепких переплетах. Шли берегом, мимо кладбища. И захотелось Марине заночевать на кладбище! Дома беспокоиться о нас не стали бы, думая, что мы остались у Добротворских.

Я легко согласилась: было лето, тепло. Ушли мы подальше от дороги, зашли за кусты на краю кладбища, положили себе по тому «Войны и мира» под голову и залегли. Уже смеркалось. Люди шли по дороге, голоса нам слышны, но нас не видно. Лежим молча, смотрим, как меняют краски облака там, высоко над нами. Поднялся ветерок, стало беспокойно. Мы придвинулись друг к другу. Лежать неудобно — от жестких переплетов голове больно. Лежим, терпим. Говорить ни о чем не хочется. От реки потянуло сыростью, и стали мы зябнуть в летних своих платьях. Уснуть почти невозможно; так, маета одна! А все-таки, видно, устали мы и, сами того не заметив, уснули.

Летняя ночь коротка: вот уже и голоса слышны, солнце всходит, по реке плоты идут, плотогоны перекликаются. Белый туман от солнца тает, трава мокрым-мокра, с берез и кустов каплет, все кругом росой блестит. Лежать больше нет возможности, но идти в такую пору нам некуда. И стали мы бродить, на всю эту незнакомую нам утреннюю красоту любоваться. Цветов набрали полны руки, а от мокрой травы в

башмаках вода, платье чуть не до пояса намокло, висит как клеенка, хлопает, шагать мешает.

Не рассуждая, сами не зная, что будет, повернули мы домой... А там видим: дом заперт, прислуга еще не вставала. Куда деваться? Залезли мы на сеновал над сараем, пригрелись и заснули, благо сухо да тихо... Когда проснулись и стукнула входная дверь без ключа, сама судьба помогла нам незаметно пробраться в дом, наверх, к своим постелям, и, как были, во всей «красе» свалились, заснули мы мертвым сном, проспав до самого завтрака, до 12 часов. Быстро переоделись, вышли к завтраку в обычном, приличном виде.

Сестры были большие любительницы приключений, ночных костров, фантастических рассказов, романтики стихов.

Был июль. Уже второй месяц жили мы все вместе. Почти каждый день приходил к нам из Тарусы врач И. З. Добротворский. Он не скрывал от отца, что состояние М. Ал. таково, что надо быть готовым к очень близкому концу. Тетя Лена Добротворская озаботилась: девочкам, не имевшим темных платьев, сшила что-то темное и длинное. На тех же днях отец вышел к нам сказать, что М. Ал. зовет детей прощаться.

Меня она не звала; я была ей благодарна за эту прямоту в тяжелый час. А дальше все было как бывало обычно в то время: привезли свинцовый гроб, и уехали мы все в Москву, а там похороны на Ваганьковском кладбище...

Отец долго болел. Дома жили мы — брат, сестры, я, двоюродный брат наш, студент Добротворский и репетитор.

С хозяйством справлялась я плохо: трудны были мне дом в 12 комнат, прислуга — дворник, кухарка, горничная... Появилась немка-экономка. В отсутствие отца за стол садилось нас семь человек.

Марина входила в полосу своего увлечения Наполеоном, приведшего ее к серьезной работе, — через год Марина перевела всего роستانовского «Орленка» — работа, показавшая, сколько в этой девочке-подростке способности к упорному труду, самозабвенному увлечению и силы прирожденного таланта.

Большим событием было появление у нас в Трехпрудном Эллиса.

Отец благоволил Эллису, как человеку одаренному, образованному. Для Марины и Аси Эллис стал просто Чародеем. Артистичностью своей природы, искренностью, блеском таланта он

подчинил души обеих сестер: вдохновенные экспромты его вели их в манящий мир бурной фантастики, приучили чувствовать пульс поэтического творчества.

Удивительна была его способность мгновенного перевоплощения, и его мимические импровизации, точность жеста, от смешного до страшного, были неотразимы для каждого видевшего их. Под звуки музыки он преображался, с головы до ног совсем другой. То клоун цирка, то ученый с бородой на стариковский лад, а то

По первому аккорду марша...  
Чу! — Звон трубы! — Чу! — Конский топот,  
Треск барабана! — Кивера!  
Ах, к черту ум и к черту опыт!  
Ура! Ура!..

Должно быть, бледны наши лица,  
Стук сердца разрывает грудь.  
Нет времени остановиться,  
Нет сил — вздохнуть.

Магической силой руки  
По клавишам — уже летят!  
Гремят вскипающие звуки,  
Как водопад...

В плаще из разноцветных блесток,  
Под говор напряженных струн  
На площадь вылетел подросток,  
Как утро—юно!

— Привет, миледи и милорды! —  
Уже канат дрожит тугой  
Под этой маленькой и твердой;  
Его ногой.

В своей чешуйке многозвездной,  
— Закончив резвый пируэт —



Он улыбается над бездной,  
Подняв берет...

Бурное воздействие оказал Эллис на Марину и Асю самую восприимчивую, переломную пору их жизни.

Утром вместо гимназии Марина прячется на мерзлом чердаке: ждет, пока отец уйдет из дома и можно будет распорядиться днем жизни согласно своему желанию. В крупном и мелочах у сестер укрепились навыки своеволия и беспорядочного быта: неразлучные подсолнухи; на ночь, засыпая, непременно во рту леденец и т. д.

Как-то вечером отец, возвращаясь домой, видит: дворник настойчиво выпроваживает кого-то со двора.

— Кто это? В чем дело?

Оказалось, Марина дала объявление в «Брачную газету», что требуется жених, указав при этом свой адрес.

Делалось это дурачась, мистификации ради.

В общем же и от «младших», «поднимать» которых я не соблазнилась, и от себя самой у меня уже голова шла кругом. А тут еще и свои романы... Нет, уехать, непременно, подальше, из Москвы уехать!

Так или иначе — с начала учебного года, по приглашению начальницы гимназии, оказалась я в городе Козлове (теперешний Мичуринск).

Вернувшись в Москву, я не вернулась в наш «Трехпрудный» дом, поселилась рядом с местом работы;<sup>[6]</sup> домой к своим заходила и, бывало, ночевала и день и два.

Что нового я видела теперь у нас дома, в Трехпрудном (как мы привыкли говорить)?

Всего больше нового было вокруг Марины. Она вошла в полосу какой-то театрализации быта. Днем вижу спущенные шторы, на письменном столе горит лампа, Марина пишет; рядом чашка холодного черного чая. Все стены увешаны портретами Наполеона, на столе кипы книг, главным образом французских, о Наполеоне, о его сыне. Марина во власти Ростана. Она работает не шутя. И рядом с тем какие-то непонятности: за обедом, изо дня в день, на 2-е блюдо ест одни шампиньоны. Приучилась пить рябиновую настойку, за которой

посылает дворника в соседнюю «колониальную» лавочку. Пустую бутылку бросает в форточку, никогда не спросив себя: куда она падает? А падает она не куда-то в пустоту, а на дорожку у самого крыльца в дом. Дворник аккуратно бутылки эти убирает, и пока все благополучно продолжается.

Каждый день у Марины с лампой беда!

Каждый день она забывает, что надо дать стеклу согреться, а потом уж пускать сильнее. В заборной книжке каждый день лавочник записывает ламповое стекло. Каждый день на столе осколки. Марина сидит в темноте, пока дворник ходит в лавочку за новым стеклом. Как не надоест! Как не запомнить, не понять не столь уж «хитрую механику»? Марина просто не замечает окружающего.

Без оглядки на кого-либо, действие следует у нее за первым же импульсом, удовлетворяя ближайшую потребность.

Как-то вижу: по двору идет наш дворник и в обнимку несет мое одеяло, подушку. «Откуда это?» — «Барышня Марина велели выкупить из ломбарда».

Оказывается, понадобились Марине карманные деньги, и, не задумываясь, велит она дворнику снести в ломбард «ненужную» вещь... Но случилось мне зайти и, быть может, останусь ночевать — дворник на скорую руку, пока не хватились, уже послан в ломбард... Откуда эти навыки? Знакомство с ломбардом? В котором нужды никакой не было! На что-нибудь доброе отец никогда бы не отказал.

Я перестану понимать что-либо...

А «Орленок» Ростана переведен. Марина счастлива победой. Поработала-таки на славу.

В Трехпрудном выяснилось что-то все-таки несообразное.

Марина молча, упорно, ни с кем не считаясь — куда она идет? Так жить с людьми невозможно. Так, с закрытыми глазами можно оступиться в очень большое зло. И кажется мне, что Марина и не «закрывает глаз», а как-то органически не чувствует других людей, хотя бы и самых близких, когда они ей не нужны. Какие-то клавиши не подают звука.

В жизни это довольно страшно.

Ее нельзя назвать злой, нельзя назвать доброй. В ней стихийные порывы. Уменьше ни с чем не считаться. Упорство. Она очень способна, умна. Труд над тем, что ей любо, — уже не труд, а наслаждение. Это,

конечно, огромно. И она еще только подросток. Время скажет свое. Только чувствую: от Марины близкой, младшей, родной отхожу... Без слов, как-то само собой, внутренне трудно.

Передо мной стихи Марины «Столовая». Говорят они о нашей семье, о времени, когда Марине было 15 лет, Асе — 13, а брат был на 2 года старше Марины. Я уже не жила дома со всеми в Трехпрудном. С ужасом читаю, что пишет, о чем вспоминает Марина.

## СТОЛОВАЯ

Столовая, четыре раза в день  
Миришь на миг во всем друг другу чуждых.  
Здесь разговор о самых скучных нуждах,  
Безмолвен тот, кому ответить лень.

Все неустойчиво, недружелюбно, ломко,  
Тарелок стук... Беседа коротка:  
— «Хотела в семь она прийти с катка?»  
— «Нет, к девяти», — ответит экономка.

Звонок. — «Нас нет: уехали, скажи!»  
— «Сегодня мы обедаем без света...»  
Вновь тишина, не ждущая ответа;  
Ведут беседу с вилками ножи.

— «Все кончили? Анюта, на тарелки!»  
Враждебный тон в негромких голосах,  
И все глядят, как на стенных часах  
Одна другую догоняют стрелки.

Роняют стул... Торопятся шаги...  
Прощай, о мир из-за тарелки супа!  
Благодарят за пропитанье скупю  
И вновь расходятся — до ужина враги.

Откуда все это? Когда началось? Трудный, тяжелый вопрос. Припоминаю отдельные случаи, стараюсь найти разгадку всей этой беде.

Началось, должно быть, с детства сестер и брата. Были няни, были бонны, немки и француженки, были окрики, в ходу были и шлепки, но не было воспитания: терпеливого надзора в пору, когда складывается характер и приобретаются навыки поведения.

Дети одаренные, с характерами резкими, самоуверенными, трудными. Но в них была и нежность, они любили животных, помнили тех, кто был к ним добр. Неприятным воспоминанием остались детские драки. Поводом к драке было то, что каждый хотел все для себя одного.

Азарт драк, озверение были в обиходе наших детей. Помню, что сестры были в детстве очень привязаны друг к другу. Но все же они постоянно соперничали: что-то делили, отнимали, спорили. Росли дикарями, к тому же еще и изобретательными.

Непоправимым злом в нашем доме было отсутствие обязательной и привычной заботы об отце, не слыжавшем заслуженного им благодарного «спасибо» от детей и жены, не выдавшем от них ни ласки, ни внимания.

Из песни слова не выкинешь. Недаром отец к концу жизни признавался: «Семья мне не удалась...» ...В семье, в самом корне, не было благополучия. В одном из случаев последних своих увлечений М. Ал. до конца дней решала, не повернуть ли свою жизнь по новому пути. И дети об этом знали.

С Италии (в Нерви) жизнь девочек сорвалась в сумасбродную вольницу. Было им тогда: Марине 10, Асе 8 лет. Дальнейший путь их по школам-интернатам Швейцарии и Германии (близ санаторий и курортов, где лечилась мать) не дал им нужного тепла, не упорядочил навыков и характера. Обязательные смены мест и людей, смена привязанностей и порядков создали чувство бездомности, неустойчивости. Начались затеи, несообразные для девочек 13 и 11 лет: в свободный день, гуляя по благоустроенным сосновым дорогам Шварцвальда, зайти в придорожную пивнушку и пить наперебой, кто счетом больше проглотит кружок пива, и идти на дорогу с палкой в руках, изображая подвыпивших буржуа.

Правда, и раньше бывали тяжелые выдумки: так, молодечества ради, в гостях у художника унести под бельем пачку этюдов, поставив этим родителей в невозможное положение.

Случай этот, бывший еще до болезни матери, в условиях кажущегося благополучия, обнаруживал тем не менее явную беспризорность 7 — 9-летних детей, отсутствие у детей понимания того, что годится и что не годится делать, и это стало залогом многих трудностей для них в дальнейшем, показывая на полную беспризорность детей, не понимавших, что годится и чего нельзя делать.

М. Ал. понимаю я как человека, не нашедшего своего постоянного места в жизни. В нашу семью она вошла ураганом. И дальше не сумела дать покой и здоровый семейный уклад.

Трудно было и ей самой, и другим с нею тоже.

Словом, в семье давно уже дело шло по не совсем счастливой кривой. Да так и не выправилось.

*Начало 1960-х годов*

**А. Жернакова-Николаева**<sup>[7]</sup>

## **ЦВЕТАЕВСКИЙ ДОМ**

Лейтмотивом цветаевского дома было взаимное непонимание. Профессор Иван Владимирович Цветаев не понимал ни своей первой жены (урожденной Иловайской), ни второй жены, как и она его. Он не понимал и своих детей, а они в свою очередь не понимали его. И между старшей дочерью Ивана Владимировича — Валерией, ее родным братом Андреем и сводными сестрами их Мариной и Асей парило такое же непонимание. А между тем все они были превосходными людьми...

Иван Владимирович не понимал, почему в свое время хорошенькая, кончившая институт Валерия не пожелала выйти замуж, а, несмотря на свои достаточные средства, стала по идейным соображениям простой учительницей, вела спартанский образ жизни и даже своему любимому пению (у нее был очень красивый голос) уделяла время только для благотворительных вечеров, и то выступая только в хоре, чтобы не выделяться.

Валерия была сердечным, чистым, ласковым, очень религиозным человеком. Ее образ, начертанный Мариной, совсем не соответствует действительности. В данном случае Марина была беспристрастна...

Иван Владимирович не мог постигнуть, почему его младшие дочери, дочери профессора, не кончили даже гимназии. Он не понимал, что гимназические рамки теснили Марину, были ей невыносимы. Ася же вышла из гимназии, подражая сестре. Иван Владимирович не понимал, почему ими владеют какие-то странные, чуждые ему настроения, почему они ведут самостоятельный, совсем неподходящий, по его мнению, для барышень образ жизни. Ездят они за границу, в последнюю минуту предупреждают его о своих замужествах с молодыми людьми, с его точки зрения неудовлетворительными. Ему казались дикими их знакомые. Цветаев был далек от богемы. И даже стихи Марины, которыми он мог бы по справедливости гордиться, были ему не только непонятными, но, может быть, и не совсем приятными...

Ивана Владимировича я знала с детства. Он был другом моего отца. Они вместе были старостами церкви Румянцевского музея (там был не один староста, а четыре, — собственно, совет старост). Кроме них старостами были еще Урсати (управляющий казенной палатой) и коммерсант Дунаев. Но не только церковные дела соединяли Ивана Владимировича с моим отцом, кроме этого у них было много общих интересов.

Иван Владимирович был человеком, всецело преданным своему делу. Человек он был мягкой, нежной души, иногда совершенно наивный. Я помню, как однажды он рассказывал о совете, который он дал императору Николаю Второму. Было это на одной из аудиенций, которые охотно давал ему государь, прекрасно относившийся к профессору Цветаеву. Речь зашла у них о студенческих беспорядках. Иван Владимирович поведал государю, какие милые и приветливые бывают студенты, когда осматривают музеи и картинные галереи. Иван Владимирович кончил свою речь словами: «Ваше Величество! Надо основывать больше музеев и галерей, тогда не будет студенческих беспорядков...»

Цветаевский дом был очень уютен. И только зал, приятный своей прохладой летом, был холоден зимой. Остальные комнаты теплые. Особенно теплым был верхний этаж. Туда вела деревянная лестница, заканчивавшаяся площадкой. Наверху прямо находилась большая комната (бывшая детская), налево комната с красными обоями, которую так любила Марина и где обычно, когда она была девушкой, она, говорят, принимала Макса Волошина. Левее этой комнаты были еще две просторные комнаты Андрея.

Лестница на площадке была обнесена балюстрадой, на которой мы с Андреем любили сидеть, разговаривая. Мы находились как бы над бездной. Часто Андрей играл мне там на мандолине. Играл он артистически. Это наше времяпрепровождение отразилось в одном его полушутливом стихотворении:

Был еще один дом, в котором кроме цветаевского мы иногда встречались с Мариной. Она бывала в нем редко, я часто. Это был дом Анны Александровны Адлер. Она была другом как Ивана Владимировича, так и моих родителей.

В этом доме бывали многие профессора, например — Новгородцев, Кистяковские, Шарвин, бывали В. Маклаков,

Липковская, Шаляпин, Бакланов, семейство адмирала Вирэн, когда бывали в Москве, и другие. Ее близкими друзьями были С. А. и М. Н. Муромцевы, Петр Дмитриевич Боборыкин, художник Н. Д. Бартрам.

Однажды Анна Александровна спросила Марину ее мнение обо мне, не забыв указать, что меня, такую юную, уже печатает в своем журнале «Жизнь для всех» профессор В. А. Поссе. Как я потом узнала, Марина безапелляционно ответила: «Из вашего вундеркинда ничего не выйдет. Свое некоторое дарование она растеряет в светских удовольствиях». У Марины слово «светский» было тогда почти бранным. В одном из стихотворений, посвященных сестре Асе, она писала: «Ты принцесса из царства „не светского“». Я очень равнодушно отнеслась к суровому приговору Марины. Я тогда, к сожалению, совсем не ценила и не понимала ее. Я относилась к ней так же пренебрежительно, как большинство из нашего общества. И насколько я, читая на новых и на древних языках (латинском и греческом), тоже знакомых мне с детства, довольно хорошо уже знала классическую литературу, настолько была совершенной невеждой в современной мне поэзии и прозе. Довольно упомянуть, что я, кроме Бальмонта, никого не читала, даже Блока. И хуже всего — и знать не хотела. И когда Андрей начинал мне декламировать из Блока, я просто прерывала его.

Один раз, один только единственный раз Марина отнеслась ко мне ласково и улыбнулась мне. А улыбалась она прелестно. Эту ее улыбку, предназначавшуюся мне, я навсегда сохранила в памяти.

Было это так. Однажды перед свадьбой Аси я была у Цветаевых. Нижние комнаты были полны ее приданым. В зале помещались исключительно хозяйственные предметы. Мне пришла в голову сумасбродная мысль: я предложила Андрею сыграть в цыган. Мы с ним повязали на головы красные повязки, через плечо надели красные ленты. Взяв огромный таз, мы налили в него спирт и зажгли. Это должно было изображать костер. Андрей под гитару стал петь цыганские романсы. Вдруг в зал ворвалась их знаменитая экономка Александра Олимпьевна. Надо сказать, очень преданная Цветаевым. Всплеснув руками, она завопила: «Барышня, милая, Андрей Иванович! Да ведь вы дом сожжете. Анастасии Ивановны приданое погубите».



«Цыгане шумною толпой по Бессарабии кочуют», — засмеялась я ей в ответ.

В это время в комнату пошли Ася и Марина. Ася недовольно взглянула на нас... А Марина, с веселыми искорками в глазах, обласкала меня несказанно милой улыбкой. Конечно, мы прекратили нашу забаву. Кстати, добавлю о свадьбе Аси. Когда все уже были в церкви и ждали жениха, он запоздал. Андрей был шафером. Потом он по секрету сказал мне, что они, шафера, застали жениха в полном парадном костюме, но... запускающим во дворе воздушного змея. Он был еще очень молод.

На торжество открытия памятника императору Александру Третьему, где должна была присутствовать вся царская семья, где перед государем Николаем Вторым должны были проходить церемониальным маршем войска, Иван Владимирович решил взять Валерию, Андрея, Марину с мужем и меня. Мы должны были смотреть на церемонию с балкона бельэтажа голофтеевского дома<sup>[8]</sup> (как раз напротив) вместе с князьями Голицыными, хорошими знакомыми Цветаева. Так как нам надо было очень рано туда отправляться, то я ночевала у Цветаевых. Валерия спала в бывшей детской, а я в комнате с красными обоями — этой комнаты, надо сказать, я очень побаивалась. За утренним кофе, который мы пили наскоро, так как нам был заказан в ресторане завтрак уже в дом Голофтеева, Иван Владимирович, видимо долго готовясь к тому, как приступить, наконец изложил нам свою просьбу. Он просил, чтобы во время торжественной церемонии мы не делали никаких критических замечаний. Эта просьба никак не могла относиться к Валерии, к Андрею и ко мне. Марина же, если не ошибаюсь, в то время была левонастроенная. В ответ было молчание, что очень озаботило старика. Но все сошло благополучно, и мы вдоволь насладились чудесным, незабываемым зрелищем...

Желая все же как-нибудь сплотить семью, Иван Владимирович устраивал иногда «семейные обеды». На них приглашались Валерия, Андрей, Марина с мужем, Ася с мужем и, уж не знаю почему, возможно для оживления, я.

Валерия с трудом вымучивала из себя несколько фраз. Иван Владимирович изо всех сил старался поддержать разговор. Марина, Ася и их мужья упорно молчали. Марина смотрела хмуро, исподлобья

и невыносимо скучала. Говорили и смеялись только я и Андрей. Но и мы бывали довольны, когда, наконец, после ряда кушаний появлялся торт — специальность цветаевского дома. «Торт с решеткой», как мы его называли. Этот торт с кофе знаменовал окончание томительного обеда.

Я могу только пожалеть, что так поверхностно, так легкомысленно относилась к Марине, не сумела оценить ее и этим многого лишила себя и других. Сколько бы у меня могло быть о ней воспоминаний. А теперь на мою долю выпали только крохи их.

## Максимилиан Волошин

К Вам душа так радостно влекома!  
О, какая веет благодать  
От страниц «Вечернего альбома»!  
(Почему «альбом», а не «тетрадь»?)  
Почему скрывает чепчик черный  
Чистый лоб, а на глазах очки?  
Я заметил только взгляд покорный  
И младенческий овал щеки,  
Детский рот и простоту движений,  
Связанность спокойно скромных поз...  
В Вашей книге столько достижений...  
Кто же Вы? Простите мой вопрос  
Я лежу сегодня — невралгия,  
Боль как тихая виолончель...  
Ваших слов касания благие  
И в стихах крылатый взмах качель  
Убаюкивают боль... Скитальцы,  
Мы живем для трепета тоски...  
(Чьи прохладно ласковые пальцы  
В темноте мне трогают виски?)

Ваша книга странно взволновала —  
В ней сокрытое обнажено,  
В ней страна, где всех путей начало,  
Но куда возврата не дано.  
Помню все: рассвет, сиявший строго,  
Жажду сразу всех земных дорог,  
Всех путей... И было все... так много!  
Как давно я перешел порог!  
Кто Вам дал такую ясность красок?  
Кто Вам дал такую точность слов?  
Смелость все сказать от детских ласок  
До весенних новолунных снов?

Ваша книга — что весть «оттуда»,  
Утренняя благостная весть  
Я давно уж не приемлю чуда,  
Но так сладко слышать «Чудо — есть»

*9 декабря 1910*

**Федор Степун**<sup>[9]</sup>

## **ИЗ КНИГИ «БЫВШЕЕ И НЕСБЫВШЕЕСЯ»**

Вспоминая писателей, посещавших мусagetские собрания, не могу не остановиться подробнее на Марине Цветаевой, выпустившей в 1912 году при содействии Кожебаткина<sup>[10]</sup> вторую книжечку своих стихов под названием «Волшебный фонарь».

Познакомился я с Цветаевой ближе, впервые по-настоящему разговорился с ней в подмосковном имении Ильинском, где она проводила лето. Как сейчас, вижу идущую рядом со мною пыльным проселком почти еще девочку с землисто-бледным лицом под желтоватую челкою и тусклыми, слюдяными глазами, в которых временами вспыхивают зеленые огни. Одета Марина кокетливо, но неряшливо: на всех пальцах перстни с цветными камнями, но руки не холены. Кольца не женское украшение, а скорее талисманы, или так просто — красота, которую приятно иметь перед глазами. Говорим о романтической поэзии, о Гёте, мадам де Сталь, Гельдерлине, Новалисе и Беттине фон Арним. Я слушаю и не знаю, чему больше дивиться: той ли чисто женской интимности, с которой Цветаева, как среди современников, живет среди этих близких ей по духу теней, или ее совершенно исключительному уму: его афористической крылатости, его стальной, мужской мускулистости.

Было, впрочем, в Марининой манере чувствовать, думать и говорить и нечто не вполне приятное: некий неизничтожимый эгоцентризм ее душевных движений. И, не рассказывая ничего о своей жизни, она всегда говорила о себе. Получалось как-то так, что она еще девочкой, сидя на коленях у Пушкина, наматывала на свои пальчики его непослушные кудри, что и ей, как Пушкину, Жуковский привез из Веймара гусиное перо Гёте, что она еще вчера на закате гуляла с Новалисом по парку, которого в мире быть не может и нет, но в котором она знает и любит каждое дерево. Не будем за это слишком строго осуждать Цветаеву. Настоящие природные поэты, которых

становится все меньше, живут по своим собственным, нам не всегда понятным, а иной раз и малоприятным законам.

Осенью 1921 года мы шли с Цветаевой вниз по Тверскому бульвару. На ней было легкое затрепанное платье, в котором она, вероятно, и спала. Мужественно шагая по песку босыми ногами, она просто и точно рассказывала об ужасе своей нищей, неустроенной жизни, о трудностях как-нибудь прокормить своих двух дочерей. Мне было страшно слушать ее, но ей не было страшно рассказывать: она верила, что в Москве царствует не только Ленин в Кремле, но и Пушкин у Страстного монастыря. «О, с Пушкиным ничто не страшно». Идя со мною к Никитским воротам, она благодарно чувствовала за собою его печально опущенные, благословляющие взоры.

Даже и зимой, несмотря на голод и холод, она ночи напролет читала и писала стихи. О тех условиях, в которых Цветаева писала, я знал от ее *belle soeur*.<sup>[11]</sup> В мансарде 5 градусов Реомюра (маленькая печурка, так называемая «буржуйка», топится не дровами, а всяким мусором, иной раз и старыми рукописями). Марина, накинув рваную леопардовую шубенку, сидит с ногами на диване; в черной от сажи руке какая-нибудь заветная книжка, страницы которой еле освещены дрожащим светом ночника:

O Begeisterung so finden  
Wir in dir ein selig Grab  
Tief in deine Wogen schwinden  
Still Srohlockend wir hinab.

---

О вдохновенье, мы находим  
В тебе блаженство могилы,  
В волнах твоих утопаем,  
Тихо ликуя.

Ныне во всем мире, и в особенности в Советском Союзе, выше всего превозносят «героев труда». К счастью для России, в ней никогда, даже и в самый страшный период большевизма, не переставали трудиться героини творчества. Среди них одно из первых

мест принадлежит Марине Цветаевой, вывезшей из Советской России свой сборник «Ремесло». Путь, пройденный Цветаевой как поэтом, еще никем не измерен и никем по достоинству не оценен. В будущем по ее творческому пути будут изучать не только эволюцию русской поэтики и поэзию русской революции, но также и социологию парижской эмиграции. Боже, до чего горьки, горды, до чего глубоки, как по своему метрическому, так и по своему метафизическому дыханию, последние стихи Цветаевой, напечатанные в «Современных записках»:

Остолбеневши как бревно  
Оставшееся от аллеи  
Мне все — равны мне все — равно,  
И может быть всего равнее —

Роднее бывшее — всего.  
Все признаки с меня все меты  
Все даты — как рукой сняло  
Душа родившаяся — где то.

Так край меня не уберег  
Мой что и самый зоркий сыщик  
Вдоль всей души всей — поперек  
Родимого пятна не сыщет.

Всяк дом мне чужд всяк храм мне пуст,  
И все — равно и все — едино  
Но если по дороге куст  
Встает особенно — рябина...

**Борис Зайцев** [\[12\]](#)

## **ИЗ КНИГИ «ДАЛЕКОЕ»**

Две барышни, худенькие и милovidные, в одинаковых платьицах, читают с эстрады стихи — вдвоем, в унисон Одна Марина, другая Ася, дочери профессора Цветаева (основателя Музея Александра III в Москве).

Стишки острые, колкие, барышни читают щебечут, остроугольно, слегка поламываясь. Не только напев в унисон, но и улыбки, подергивания нервных лиц. Никакого спокойствия, основательности. Но к тогдашнему это подходило, даровитость же чувствовалась.

Вспоминая то время, предреволюционное, поражаешься, сколько было поэтов, художников, философов, писателей, «богоискателей» Марина и Ася тонули в артистической литературной среде: почти гимназистки!

Но вот Марина уже повзрослевшая, уже замужем за Эфроном (с удивительными глазами), уже у нее дочь Аля. В нашем кругу небезызвестна. Автор более зрелых и своеобразных стихов, ходит к нам в гости, помаргивая глазами — нервными, острыми, — восторгается Гейне, Германией, одновременно и Ростаном. Читает на вечерах нашего Союза, в доме Герцена. (Подарила мне бюст Пушкина, отцовский еще, огромный. Он стоял на моем шкафу под него я клал миллионы рублей, на которые можно было купить бутылку вина, два фунта масла. Позже Пушкин этот переехал в Союз писателей, белыми гипсовыми глазами смотрел, тоже со шкафа, как Марина стрекочет свои стихи, — им я тогда покровительствовал.)

Но жила она невозможно Эфрон был «белый», где то на юге, верно в эвакуации. Она одна с Алей, в квартире покойного отца, от нашего Кривоарбатского недалеко.

Этого всего не забыть. Везу по московскому снегу на салазках дровишки: у Марины с девочкой — 1 градус. Квартира немалая, так расположена что средняя комната, некогда столовая, освещается окном в потолке, боковых нет. Проходя по ледяным комнатам с намерзающим в углах снегом, стучу в знакомую дверь, грохаю на пол охапку дров —



картина обычная посредине стол, над ним даже днем зажжено электричество, за ним в шубке Марина со своими серыми, нервно мигающими глазами: пишет. У стены, на постели, никогда не убираемой, под всякой теплой рванью Аля. Видна голова и огромные на ней глаза, серые, как у матери, но слегка выпуклые, точно не помещающиеся в орбитах. Лицо несколько опухшее: едят они изредка.

Марина благодарит, но рассеянна, отсутствует. Верней, занята своим. А вот чем: крупными, почти печатными буквами переписывает произведение кн. Волконского (его писанием тогда увлекалась). Остальное неважно. Печка так печка, дрова так дрова.)

— Аля, сиди смирно, опять ты там возишься...

— Мама, я крысов боюсь, вон опять за шкафом пробежали. Ты уйдешь, они на кровать ко мне вскочат...

— Глупости, ничего не вскочат.

Это Але виднее, но Марина не может сидеть с ней целый день. Обычно уходит, запирает на ключ, вот и жди в холоду с крысами маму.

Иногда Алю приводят к нам, она подружилась с моей дочерью. Ее кормят, отогревают. Ее огромные, серо-выпуклые, с водянистым оттенком глаза смотрят веселей, она играет и хохочет с Наташей.

Весной решили взять ее на месяц в деревню — подкормить, подправить.

Мою мать не выселили еще из именица, она жила в своем доме, очень скромно, но в сравнении с Алей совершенно роскошно. Молоко, яйца, масло, даже и мясо!

Как дочь поэтессы и девочка вообще даровитая, Аля вначале и вела себя поэтессой: видела необыкновенные сны, сочиняла стихи («Под цыганской звездой любви», — ей было лет семь, она отлично подражала Марине).

Сидя утром в столовой за кофе с моей матерью, она рассказывала, что во сне видела три пересекающихся солнца, над ними ангелов, они сыпали золотые цветы, а внизу шла Марина в короне с изумрудами.

— Нет, знаешь, у нас дети таких поэтических снов не видят. Или ты каши слишком много на ночь съела, или просто выдумываешь.

На другой день, за этим же кофе, Аля рассказывала новый сон. Но теперь это был просто Климка, вез навоз в двуколке.

— Вот это другое дело...

Через месяц уехала Аля в Москву загорелая, розовая — неузнаваемая.

Марина очень любила мужа, Сергея Эфрона. Когда Аля гостила у нас в Притыкине, Эфрон был белый офицер. Марина возводила белизну его в культ, романтически увлекалась монархизмом, пожалуй, соединяла ростановского «Орленка» со своим Сергеем... Стихи писала соответственные.

Началась и для нее эмиграция. И вот Эфрон оказался не прежним белым принцем в поэтическом плаще, а чем-то совсем иным... Как многие тогда, перешел к победителям. Да попал еще в самое пекло... От бывшего белого офицера много потребовали.

Тяжело говорить об этом — приходится. Я когда-то его знал лично, этот изящный юноша с действительно очаровательными глазами никак не укладывался в «сотрудника», да еще какого учреждения! Но вот уложился. Но вот принимал участие в темном деле — убийство Рейсса, — после чего оставаться во Франции стало неудобно. Он и уехал в Россию.

Как относилась Марина ко всему этому? Не могу сказать. Знаю, что стала не той, что в Москве. Мы разошлись вовсе.

Аля выросла, обратилась в готовую коммунистку. И уехала тоже в Москву. Марина довольно долго влачила здесь одинокую жизнь, от эмиграции отошла, к «тем» целиком не прикрепилась... но в Москву все-таки уехала. Это понятно. Что было ей делать в Париже? А там муж, дочь, сын. (Кое-где все-таки и тут печаталась. Стихи ее приобрели предельно кричащие ритмы, пестрота и манерность в слове, истеричность и надлом стали невыносимыми.)

В Москве же «вкусила мало меду». Эфрон, видимо, погиб. (С Рейссом вышла неудача, слишком много шума — неудач там не прощают.) С Алей близости не было. Пробовала печататься — разругали, и дальше ходу уж не было. Одиночество, покинутость. Наступали немцы (авг. 1941 г.). Эвакуация, безнадежность.

Осенью 41 года, не знаю точно когда, Марина покончила с собой.

«Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его».

Кто из нас смеет учить кого-то, кто жизнью заплатил за ошибки?

Но сказать, где правда и где неправда, мы можем. Может быть, даже должны крикнуть:

— Отойдите! Не дышите парами серы! «Аминь, аминь, рассыпья!»

*1950*

## Константин Бальмонт ГДЕ МОЙ ДОМ?

Это было в Москве в 1920 году, в один из тусклых зимних дней. И небо и земля были с утра затянуты всеразлитой дымкой, той странной и жуткой белесоватостью, которая чем-то напоминает жуть бельма, лишаящего человеческий глаз нашего лучшего дара — способности видеть.

Снова я проснулся в холодной постели, в комнате, издавна промерзлой, ибо давно уже нам топить было нечем. Полуоткрытыми глазами, чувствуя в душе и в теле утомление безграничное, я смотрел, и все кругом было так, совершенно так же, как это установилось уже много недель и месяцев. Я лежу на диване в комнате, которая когда-то была моим рабочим кабинетом, а теперь стала учреждением всеобъемлющим. Рабочим моим кабинетом эта комната не перестала быть. Шкаф с книгами — поэты и философы, книги по истории религий, много книг по естествознанию — стоит на своем месте: этого у меня никто не отнял. На своем месте и письменный стол; на нем тоже правильные ряды книг и вчера оконченная рукопись, которая никому не понадобится. Она никому и не нужна. Это — нечто о древних мексиканцах. Против меня, у стены, где дверь, — моя кровать. В этой холодной постели, несколько согревая друг друга телесным теплом, спят два близких мне существа. Моя девочка двенадцати лет, изголодавшаяся, ослабевшая, много недель не решающаяся выйти из постели в холодный воздух комнаты, и вовсе не выходящая из дому, потому что выйти не в чем, ее мать, делящая со мной мою жизнь и, несмотря на свои лохмотья, каждое утро бегающая на Смоленский рынок, чтобы раздобыть какой-нибудь съедобности. Но, кроме пшена, что же добудешь? Тут же, около кровати, и печурка, на которой это пшено будет изготовлено.

Я встаю. Я твердо знаю, что единственная возможность не погибнуть и не пригнуться до земли в беде, это — решительное сопротивление. Несмотря на то что в комнате несколько градусов ниже нуля, я снимаю с себя рубашку и моюсь с ног до головы. Я делаю это каждый день и только этим поддерживаю в себе бодрость и какое-

нибудь жизнеподобие. Да и оставаться дольше в постели очень уж неуютно. Жители соседних комнат, наглые жильцы, самовольно поселившиеся в моей квартире, люди весьма вульгарные, подняли свой гвалт и как будто нарочно стараются быть тем более громкими, чем менее они имеют на это какие-нибудь логические основания.

«Мой дом», — говорю я про себя не без горькой веселости. «Хотел бы я от кого-нибудь узнать, где мой дом и где мои — могли бы быть со мной не как собаки, которых, за неимением иного, загнали нескольких в одну холодную собачью конуру, и вот они там повизгивают, не восхищенные идеальным морозным воздухом».

А все-таки мороз красив. Я весело иду по Борисоглебскому переулку, ведущему к Поварской. Я иду к Марине Цветаевой. Мне всегда так радостно с ней быть, когда жизнь притиснет особенно немилосердно. Мы шутим, смеемся, читаем друг другу стихи. И хоть мы совсем не влюблены друг в друга, вряд ли многие влюбленные бывают так нежны и внимательны друг к другу при встречах.

В тот день наше свидание было не совсем обычным. Проходя по переулку, я увидел лежащий на земле труп только что павшей лошади. Я наклонился над ней. Она была еще теплая. Быть может, всего час тому назад, всего полчаса, она перестала жить. Но кто-то уже успел отхватить от нее одну заднюю ногу, обеспечив себе не один сегодняшний обед. А в ожидании, что придут и другие люди, нуждающиеся в мясной пище, тощая собака с окровавленной мордой, пугливо озираясь и время от времени рыча, торопливо отгрызала от лошадиного тела кусок за куском.

Вороны каркали, перелетали и перескоком приближались к пиршеству, но не решались приблизиться вплоть.

Эта злая примета прогнала мою веселость, и, когда я постучался к Марине, я услышал, что за дверью кто-то бежит, но не торопится мне открыть. Я подивился и, обеспокоенный, постучался опять.

— Сейчас, сейчас, — раздался веселый голос Марины. Дверь распахнулась, и моя поэтесса, с мальчишески-задорным лицом, потрянула своими короткими волосами и со смехом сказала: — Вот что, Бальмонтик, идти ко мне в гости нынче опасно. Посмотрите.

В зале, которая находилась рядом с приемной и вела в комнату Марины, был, частью, стеклянный потолок. Он был пробит в нескольких местах, а на полу валялись огромные куски штукатурки.

Это в верхнем этаже обвалился потолок, пробил стеклянный потолок залы, и тяжелые куски штукатурки от времени до времени еще продолжали падать.

— Я не боюсь, — сказал я. И, взявшись за руку, как дети, мы со смехом быстро пробежали в ее комнату, под угроžno-зиявшим обезображенным потолком залы. Головы наши остались целы. Очевидно, они еще зачем-то были нужны Судьбе. Может быть, нужны еще и сейчас, — хотя я мало это чувствую, что до меня, не видя вообще решительно никакого смысла во всем, что совершается на Земле.

Марина Цветаева страстная курильщица. Но у бедняжки есть табак и нет гильз. Она лукаво подмигивает мне и говорит: «Хотите?» При этом отрывает от старой газеты, лежащей на столе, бумажную ленточку и начинает изготавливать то, что называется сигаркой или же козьей ножкой. Я предоставляю ей художественно свернуть козью ножку, но, когда она хочет закурить, я ласково удерживаю ее и говорю: «Нет, сегодня не нужно. Я сегодня богат». Правда, у меня в кармане целых семь папирос, и мы четыре из них выкурим, может быть, даже пять.

Марина добрая и безрассудная. Она не хочет остаться в долгу. У нее в доме несколько картофелин. Она все их приносит мне и заставляет съесть.

Марина живет одна с своей семилетней девочкой Алей, которая видит ангелов, пишет мне письма, самые красивые из девических писем, какие я только получал когда-либо в жизни, и пишет стихи совершенно изумительные. Припоминаю сейчас одно, которое могло бы быть отмечено среди лучших японских троестрочий:

Корни сплелись,  
Ветви сплелись.  
Лес любви.

— Что нового, Марина?

— Да что же нового может случиться? Какие-то поляки у меня поселились. Очень вежливые. Говорят со мной по-французски и любезно сообщают, что у меня очень много интересных вещей в доме,

которые, очевидно, мне не нужны. Добрые такие. Они освобождают дом от ненужных вещей. Сегодня унесли и продали стенные часы. Говорят, мешают спать своим боем. Деньги за них не то потеряли, не то проиграли в карты по дороге.

Марина — героическая женщина. Уже более двух лет ее муж, с самого начала присоединившийся к Корнилову, потерялся где-то там, за фронтом, и она не знает даже, жив ли он или убит. Но спокойно-благоговейно она верит, что он жив, и ждет его, как невеста ждет жениха. Ее сердце знало верно. Она дождалась свиданья и соединилась с любимым.

— А у вас что нового?

— Все то же. Помрут мои птицы.

— Увезите, увезите их. Уезжайте отсюда.

— Как же уедешь, Марина, из этого Ада, который держит? И что я буду делать, что мы стали бы делать там, в чужом мире? Как ни плохо здесь, Россия — мой дом. Я не мыслю себя вне Москвы.

— Вы вернетесь потом. Нужно спасти их.

Мне хочется сказать: «Почему же вы сами не бежите и не ищете своего Сергея?» Но язык мой отказывается выговорить эти слова, и я начинаю бессвязно рассказывать Марине о павшей лошади, которую пожирают люди и собаки под карканье завидующих голодных ворон.

Я возвращаюсь домой, Аля идет со мною. «Я хочу навестить Миррочку».<sup>[13]</sup> Метель стихла. В потеплевшем и успокоенном воздухе медленно падают и крутятся пушистые белые хлопья и целым дождем, но не влажным, отдельные звездочки снежинок.

Снежинки вьются и падают на ресницы. Але трудно смотреть.

Ее маленькая ручка в моей руке. Она улыбается.

Вдруг она поднимает мою руку к своему лицу и прижимает ее к своим губам.

— Каждый раз, когда я вас вижу, — говорит она вполголоса, — я вижу высокого принца.

— Аля, — отвечаю я, — хотите выйти за меня замуж?

— Этого не может быть, — говорит она.

— Почему?

— Я слишком маленькая.

— А когда вырастете?

— Этого не может быть, — настаивает она загадочно.

— Но почему же?

Она не хочет говорить.

— Потому что я буду тогда слишком старый? Аля смотрит застенчиво и лукаво.

— Нет, вы, пожалуй, тогда не захотите. Мы улыбаемся друг другу очень доверчиво и ласково. Снежинки совсем опушили нас, и дома кругом стали красивые и сказочные.

— И потом, — добавляет Аля с большой серьезностью, — вы слишком мало меня знаете. Вы не знаете, какая я в домашнем быту.

Но мы уже пришли в мой Николо-Песковский переулок. Нас угостят сейчас теплой пшенной кашей и даже еще чем-то. Аля щебечет с Миррой, у них свой особенный язык и много-много маленьких важных тайн, больше, чем бывает цветов в саду и птичек в лесу.

Почему, когда столько ласки и нежности в душах человеческих, столько слепой ярости и безумного уродства в человеческих делах? И почему опять за стенами дома завертелась бешеная вьюга, — закружились, угашая преждевременно этот короткий зимний день, слепящие белые пелены, белесоватые саваны незрячего снега, который идет, идет без конца?

Не хочу я сидеть дома. Каждый чужой дом лучше, если в душе неизбывная тоска. Я условился с Мариной встретиться вечером на Тверской в Кафе поэтов. Но до этого слишком долго ждать.

Я помню, я ушел в тот вьюжный день к переводчику «Песни Песней» Эфросу. Мне нравилось время от времени бывать у него. Мне нравилось, что он никогда не говорил тех бесполезных слов о неизбежном, которые так любят говорить русские. Я выносил из каждой беседы с ним освежение, душевный отдых. Я брал у него также французские и итальянские книги по искусству. Их у него всегда было много.

Эфрос напоил меня чаем. Не показывая, что он видит тоску, которая меня истязала, — «лучшее внимание — невнимание», гласит древняя китайская поговорка, — он заговорил мое тоскованье умными словами, такими, которые становятся почти нежными оттого, что они вовремя и у места умны. Он, кроме того, прочел мне свой новый перевод «Плача Иеремии», а прочтя, пропел это волшебное произведение по-древнееврейски.



Эта песня на красивом древнем языке, донесенном благоговейно через несказанно трудные тысячелетия, эта песня — сказ души, эта песня — заговор и пророчество, сливаясь неуловимо с песней зимнего ветра в трубе, исцелила израненное сознание, и, когда я шел по улице, простившись с гостеприимным, мое близкое и личное отошло от меня, но мне казался близким и живым ночной воздух белесоватой зимы, казались враждебными, но не страшными громады темных домов.

Вот тогда-то, идя по темной Бронной и видя, что свет над Тверской красноват, как зарево далекого пожара, я встретился с той, кого не знаю, как назвать и как определить.

На улице не было ни одного прохожего. Никого, кроме меня. Я шел и казался самому себе привидением, идущим по древнему погосту, где когда-то протекла, как широкая полноводная река, замкнутая в цветущие и высокие берега, целая богатая жизнь, с мыслями, красками, песнями, достижениями, дерзаннями необманувшими, улыбками близкими, счастьем высоким и длительным, с верными, до сердца доходившими, угаданными. Протекла, истекла, разлилась, обмелела, иссякла, обнажила безводное дно, раскинула вправо и влево и повсюду песчаную равнину, безжизненное мертвое пространство. И только белое облако вверху, белое, как известка, и измятым комком, криво повисшим бельмом, белая Луна.

Вдруг, как из-под земли, как из воздуха, предстала предо мной эта странная женщина. Я не видел, чтобы она вышла откуда-нибудь, я с ней встретился лицом к лицу так сразу, как будто она стояла и ждала меня, незримая, и стала видной, когда я подошел к ней вплоть.

— Дяденька, где мой дом? — спросила она меня, и я похолодел.

Она была одета как крестьянка, которая собралась в дальний путь. На ней были валенки, длинный темный кафтан, похожий на монашеское одеяние. Голова была укутана в большой теплый платок, и я мгновенно вспомнил обмотки на зябнущих маленьких ногах, которые с хрустом ушли по снегу, и вспомнил, что некоторые убийцы укутывают в простыню голову убитого и что голова того, кому суждено быть повешенным, должна предварительно быть отъединенной от мира, скрытая слепым колпаком.

Я не знал, красиво или некрасиво это лицо, но я знал, что я не могу не смотреть на него и что оно молодое.

— Дяденька, где мой дом? — повторила она голосом, в котором была доверчивость и слышался упрек.

Она произносила все слова так мягко и неясвенно, как будто не все звуки она могла произносить; что-то младенческое было в этом говоре, точно это был ребенок, который еще не совсем овладел речью. И первое слово у нее выходило «дяинька».

Онемев от изумления и еще какого-то другого, непонятного мне чувства, я невольно продолжал свой путь, а она, слегка потрагивая меня правой рукой и тотчас же ее отнимая, пошла совсем рядом и упорно повторяла свой вопрос.

— Я не знаю, — сказал я с беспричинным отчаянием.

— Ты знаешь, — сказала она, и в ее голосе была уверенность. — Ты знаешь, дяденька, он тут совсем близко. Покажи мне, где мой дом.

Ее лицо было странно, но совсем не безумно. И что было не странно в тот час и в том месте, в обезумленном жестоком городе, где кто-то кого-то убивал и кто-то кому-то улыбался, в этом белесоватом сумраке ночи, под измятым комком белой Луны?

Мы прошли мимо ряда домов. Никого кругом. Ищущая рука тихонько прикасалась к моей и убегала тотчас же. Мне казалось, что мы два лунатика и идем по закраине крыши высокого дома. Вот-вот мы сейчас сорвемся.

— Где мой дом? Где мой дом? — повторяла неведомая, и детская жалоба пробивалась через ее неясвенный говор, как через снег пробивается иногда слишком рано зазеленевшая былинка, которая через минуту замерзнет.

— Я не могу тебе помочь! — воскликнул я, схваченный тоской. — Я не знаю.

— Как тебе не стыдно, дяденька, — послышался упрекающий голос, и стыд и указание на пренебреженную ответственность были в этом женском голосе вместе с совершенно детской доверчивостью.

И, о чем-то сосредоточенно подумав, она добавила: «Ведь он не там, куда ты идешь».

Какой-то вихрь закрутился у меня в голове. К сердцу хлынула горячая волна, и мне стало жутко от того чудовищного желанья, которое внезапно возникло во мне. Чудовищное ли? Не святое ли? Я не могу этого теперь определить. Около нас было много домов с открытыми воротами. Мне захотелось — неотступно — привести эту

женщину на какой-нибудь двор, сесть с ней рядом на крыльцо и обнять ее. И обнять ее страстно. Самозабвенно.

В ту самую секунду из соседнего двора вышел какой-то человек. Было темно, и я не видал, кто бы это мог быть. Но знала ли она его или не знала, — только немедля, так же, как сразу она подошла ко мне вплоть, сразу, точно меня не было больше на свете, она, отвернувшись от меня, с доверчивостью подбежала к этому человеку и начала что-то быстро говорить ему. Ее говор, неясственный, когда она говорила, идя рядом со мной, на расстоянии этих нескольких шагов стал для меня совершенно невнятным. Вышедший человек, показавшийся мне стариком, тихонько потрепал ее рукой по плечу, и они оба исчезли в темном дворе.

Я постоял с минуту. Я чего-то еще ждал. Все было тихо. Я пошел вперед.

Да, я пришел в Кафе поэтов. Но, увидев меня, Марина всплеснула руками и воскликнула: «Братик, что с вами?»

Я рассказал ей подробно о встрече. Лицо Марины сделалось торжественным, а глаза ее стали смотреть как будто внутрь самих себя.

— Братик, — сказала она, беря меня за руку. — Она должна была к вам прийти. Должна. Ведь это же к вам приходила — Россия.

**Сергей Волконский** [\[14\]](#)

## **ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «БЫТ И БЫТИЕ»**

Милая Марина,

Почему я Вам посвящаю эту книгу? Вы и сами знаете Впрочем, не прочь перечислить причины (Вам нравится это чередование П и Р, и О и И, — знаю Но уверяю, — в данном случае — не намеренно).

Всегда Вы мне говорили «Заведите себе записную книжку» Вы почему то находили, что то, что у меня иногда срывалось с языка в разговорах наших замечания, впечатления, сравнения, оценки — заслуживает быть передано тому, что принято называть вечностью, то есть попросту — печатному станку Я не находил, а тем менее соглашался завести записную книжку терпеть не могу Мне всегда казалось, что записная книжка ослабляет память, а следовательно, уменьшает силу личности. Понимаю — писать, но записывать? Нет надо уметь в себе найти, а не в каких то лоскутках которые в кармане треплются Когда я что «записал», я тем самым изгнал это из себя, я, как бы сказать, изменил химический состав своего Я, и, конечно, в сторону обеднения. Мысль незаписанная есть зерно, пребывающее в почве, записанная — выкинута наружу Вот почему никогда не имел записной книжки и почему Вашему совету не последовал. Но Вы продолжали приставать, в письмах приставать. После того, что в течение двух лет мы с Вами прожили в Москве, что в течение двух лет, не унывая, духом бодрым пробивали мрак и мразь советского житья, судьба нас разлучила. Я был в Париже, Вы жили в Праге. (Я знаю, Вам и тут нравится чередование П и Р, и преобладание А, но и тут не моя вина) Мы обменивались письмами, и в письмах Вы продолжали приставать, но уже не насчет записной книжки, а насчет книги — пишите да пишите.

Что? О чем?

Вы стали мне присылать выписки из моих же писем вот, мол, о чем, — развивайте, распространяйте. Странно мне было видеть себя, превращенного в цитату. Но я пошел по Вашему указанию и, не зная

еще, куда это меня приведет стал сам собою питаться. Это самоедство оказалось более питательным, чем я предполагал. Так произошла эта книжка. Вы повинны в ее возникновении.

Теперь о содержании. Как объяснить? Где то в своих изречениях Марк Аврелий спрашивает: «Что такое жизнь?» И отвечает: «Дым, зола и рассказ, — даже не рассказ». Дым и зола — то, о чем пишу; и даже не рассказ. Значит, жизнь? Да, жизнь, всегда жизнь. Думал было взять эти слова Марка Аврелия эпиграфом к книжке. Но несмотря на то что они так хорошо подходят, они все-таки не годятся. Они односторонни. Односторонни, потому что указывают только на то, что есть в моем предмете преходящего, мимолетного. Между тем говорю не об одном преходящем. Ведь нет явления, нет впечатления в жизни нашей, которое, при всей мимолетности своей, не покоилось бы на нерушимых законах. Потому, говоря о мимолетном, мы в то же время говорим о вечном. Тут и легкое, и тяжелое, и глубокое, и поверхностное, и сомнительное, и непреложное, и неуловимое, и незыблемое. Вот почему считал слова друга Марка не покрывающими содержания моих наблюдений, впечатлений, размышлений. Думаю, что, объяснив, почему эти его слова неподходящи, я вместе с тем до некоторой степени раскрыл содержание последующих страниц. Впрочем, дам Вам еще, для вящего разъяснения, одно сравнение.

Бывали Вы когда-нибудь в типографии? Ну, конечно, бывали, — автору, хотя бы и поэту, да не бывать в типографии! Конечно, бывали. Но замечали ли Вы, как работает станок? Например, кладут лист белой бумаги на железные лапы станка. Лапы тихонько, можно сказать — нежно, его поднимают и нежно прикладывают к той доске, на которой буквы, — только прикладывают. Но попробуйте между этими лапами и доскою с буквами положить палец, — Ваш палец будет раздавлен, уничтожен этим нежным, преходящим прикосновением. Вот то же и в природе: малейшее, тончайшее, легчайшее прикосновение к впечатлительности нашей есть действие тяжелых, грозных в нерушимости своей, безжалостных в неизменности своей законов. Понимаете, о чем моя книжка? Нет? Ну так прочитайте. А теперь еще о заглавии.

Однажды Вы мне написали, что нравится Вам, как я быстро от неприятных вопросов быта перехожу к сверхжизненным вопросам бытия. И тут же я подумал, какое было бы красивое заглавие — «Быт и

Бытие». Но как, подумал я, трудно написать такую книгу, которая бы такому заглавию соответствовала. Признаюсь, когда я начал, я совсем не думал, даже забыл об этом заглавии и только на восьмой главе, говоря о русском уездном городе, вдруг почувствовал, что я ведь именно об этом пишу.<sup>[15]</sup> Такова история заглавия, — Вы видите, что оно принадлежит Вам.

Но не одно только слово, не один словесный звук Вам принадлежит. Принадлежит Вам и содержание этого звука, то есть раскрытие его содержания.

Это было в те ужасные, гнусные московские года. Вы помните, как мы жили? В какой грязи, в каком беспорядке, в какой бездомности? Да это что! А помните нахальство в папаше, врывающееся в квартиру? Помните наглые требования, издевательские вопросы? Помните жуткие звонки, омерзительные обыски, оскорбительность «товарищеского» обхождения? Помните, что такое был шум автомобиля мимо окон: остановится или не остановится? О, эти ночи!..

А заря? *Aurora, hora aurea* (заря, час золотой)? Помните зори? Когда-то Пушкин писал:

Но вот багряною рукою  
Заря от утренних долин  
Выводит с солнцем за собою  
Веселый праздник именин.

А теперь что выводит она, — не от утренних долин, а из застенков и от свальных ям? Что выводила заря багряною, да, багряною, обогренною рукой? Кровавую повесть ночи. Была ли хоть одна заря без жертв, без слез, без ужасов?.. Не могут, не могут понять те, кто не жил там, — не могут. Странно, не умеют люди перенестись в такие условия, в которых сами не были, — не хватает людского воображения. И сердиться на них за это нельзя: разве может воображение человеческое нарисовать то, чего вообразить не может? Но меня еще одно удивляет: как люди не способны применить к себе самим то, через что прошли другие. Перейти от действительности чужого страдания к возможности собственного страдания, — как мало людей способны на этот шаг!.. И знаете, еще что я заметил? Людям не

нравится слушать про чужие мытарства, — скучно, надоело, — приелось. Представьте себе, — приелось! О, как легко было бы жить на свете, если бы свои страдания так же легко приедались, как рассказ о чужих!.. Но мы с Вами знаем, мы жили тогда, мы жили там. И страшно было жить, но и стыдно было жить, когда кругом так много умирали. А дышать тем самым воздухом, которым дышали женщины-расстрельщицы? А дети, игравшие в расстрел? А рассказы приезжих из провинции: этот маленький четырнадцатилетний палач, который на площадке лестницы с револьвером поджидал проходящих осужденных и выстрелом в затылок спускал их вниз по ступеням? И мы дышали тем же воздухом. И мы жили. И мы выжили... Помните все это? Так вот, — это был советский быт.

А помните наши вечера, наш гадкий, но милый на керосинке «кофе», наши чтения, наши писания, беседы? Вы читали мне стихи из Ваших будущих сборников. Вы переписывали мои «Странствия» и «Лавры»<sup>[16]</sup>... Как много было силы в нашей неподатливости, как много в непреклонности награды! Вот это было наше бытие.

Вы не забыли, как Вы жили? В Борисоглебском переулке. Ведь нужно же было, чтобы «Ваш» переулок носил имя «моего» уездного города! В Борисоглебском переулке, в нетопленном доме, иногда без света, в голой квартире, за перегородкой Ваша маленькая Аля спала, окруженная своими рисунками, — белые лебеди и Георгий Победоносец — прообразы освобождения... Печурка не топится, электричество тухнет Лестница темная, холодная, перила донизу не доходят, и внизу предательские три ступеньки. С улицы темь и холод входят беспрепятственно, как законные хозяева. Против Вашего дома, на той стороне переулка, два корявых тополя, такие несуразные, уродливые — огромные карлики. Мы выходим в лунный свет. Вы босиком, или почти, — сандалии на босу ногу, в котомке у Вас ржаные лепешки и рукописи стихов. На улице лошадиная падаль лежит, и из брюха ее врассыпную кидаются собаки, а сверху звезды сияют, мы шарахаемся в сторону, — обдает нас грязью и руганью советский автомобиль, кремлевские купола под луной блестят. Во всем этом какое смешение быта и бытия. Как тяжел был быт, как удушливо тяжел! Как напряженно было бытие, как героически напряженно!

А помните, когда вошел к Вам грабитель и ужаснулся перед бедностью, в которой Вы живете? Вы его пригласили посидеть,

говорили с ним, и он, уходя, предложил Вам взять от него денег. Пришел, чтобы взять, а перед уходом захотел дать. Его приход был быт, его уход был бытие.

Так все в жизни смешано, перемешано то, что нам дорого, с тем, что нам противно, и бытие получает бóльшую ценность, когда есть быт, над которым оно торжествует, и быт становится ценным, когда пронизан бытием. Раскрытию и осознанию всего этого Вы, может быть и сами того не замечая, содействовали собственным примером. И сейчас, припоминая Вас в тогдашней мерзости, вспоминаю Ваш же стих из Вашей «Царь-Девуцы»:

На перине, на соломе,  
Середь моря без весла, —  
Ничего не чтит кроме  
Струнного рукомесла.

Помню, Вы как-то сказали, что сочинили себе девиз: «*Mieux vaut être qu'avoir*»<sup>[17]</sup> Вы правы «*Avoir*» — это быт. «*Être*» — это бытие. Из тех, кто много «имеют», мало кто знает настоящее бытие, кто мало «имеют», те, может быть, знают лучше, хотя не уверен, сомневаюсь и в этом. Зато те, у кого отняли то, что они «имели», те знают, хорошо знают. И это понятно. Естественно и справедливо, что тот, у кого отнято, понимает лучше цену того, чего отнять нельзя. И я думаю, что тот, кто может спрягать глагол «иметь» только в прошедшем времени, тот и не хочет спрягать его в будущем. О, сколько в нас такого, что ни отнять, ни украсть, ни реквизи́ровать нельзя! И какая бесконечная награда в том сознании, что никогда не поймет этого отнимающий!

Вот, милая Марина, я перечислил причины, по которым посвящаю Вам эту книжку. Вместе с тем, думаю, я раскрыл и то, что составляет внутреннюю связь разрозненных глав, что сообщает этому разнообразию единство. А коснувшись причин моего к Вам уважения, я раскрыл то, что единству моей благодарности сообщает разнообразие восхищения.

*Рим*

*25 ноября 1923*



## Надежда Мандельштам <sup>[18]</sup>

### СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ

В Цветаевой Мандельштам ценил способность увлекаться не только стихами, но и поэтами. В этом было удивительное бескорыстие. Увлечения Цветаевой были, как мне говорили, недолговечными, но зато бурными, как ураган. Наиболее стойким оказалось ее увлечение Пастернаком, когда вышла «Сестра моя — жизнь». Пастернак много лет безраздельно владел всеми поэтами, и никто не мог выбиться из-под его влияния. Ахматова говорила, что лишь Цветаева с честью вышла из этого испытания: Пастернак обогатил ее, и она не только сохранила, но, может, даже обрела благодаря ему настоящий голос. Я тоже думаю, что поэмы («Горы». «Лестница» и др.) — самое сильное, что сделала Цветаева.

Мне пришлось несколько раз встречаться с Цветаевой, но знакомства не получилось. Известную роль сыграло то, что я отдала вакансию Ахматовой и потому Цветаеву проглядела, но в основном инициатива «недружбы» шла от нее. Возможно, что она вообще с полной нетерпимостью относилась к женам своих друзей (еще меня обвиняла в ревности — с больной головы да на здоровую!)

Дело происходило в Москве летом 1922 года. Мандельштам повел меня к Цветаевой в один из переулков на Поварской — недалеко от Трубниковского, куда я бегала смотреть знаменитую коллекцию икон Остроухова. Мы постучались — звонки были отменены революцией. Открыла Марина. Она ахнула, увидав Мандельштама, но мне еле протянула руку, глядя при этом не на меня, а на него. Всем своим поведением она продемонстрировала, что до всяких жен ей никакого дела нет. «Пойдем к Але, — сказала она. — Вы ведь помните Алю... А потом, не глядя на меня, прибавила: „А вы подождите здесь — Аля терпеть не может чужих...“»

Мандельштам позеленел от злости, но к Але все-таки пошел. Парадная дверь захлопнулась, и я осталась в чем-то вроде прихожей, совершенно темной комнате, заваленной барахлом. Как потом мне сказал Мандельштам, там была раньше столовая с верхним светом, но

фонарь, не мытый со времен революции, не пропускал ни одного луча, а только сероватую дымку. Пыль, грязь и разорение царили во всех барских квартирах, но здесь прибавилось что-то ведьмовское — на стенах чучела каких-то зверьков, всюду игрушки старого образца, в которые играли, наверное, детьми еще сестры Цветаевы — все три по очереди. Еще — большая кровать с матрасом, ничем не прикрытая, и деревянный конь на качалке. Мне мерещились огромные пауки, которых в такой темноте я разглядеть не могла, танцующие мыши и всякая нечисть. Все это добавило мое злорадное воображение...

Визит к Але длился меньше малого — несколько минут. Мандельштам выскочил от Али, вернее, из жилой комнаты (там, как оказалось, была еще одна жилая комната, куда Марина не соблаговолила меня пригласить), поговорил с хозяйкой в прихожей, где она догадалась зажечь свет... Сестр он отказался, и они оба стояли, а я сидела посреди комнаты на скрипучем и шатком стуле и бесцеремонно разглядывала Марину. Она уже, очевидно, почувствовала, что переборщила, и старалась завязать разговор, но Мандельштам отвечал односложно и холодно — самым что ни на есть петербургским голосом. (Дурень, выругал бы Цветаеву глупо-откровенным голосом, как поступил бы в тридцатые года, когда помолодел и повеселел, и все бы сразу вошло в свою колею...) Марина успела рассказать о смерти второй дочки, которую ей пришлось отдать в детдом, потому что не могла прокормить двоих. В рассказе были ужасные детали, которые не надо вспоминать. Еще она сняла со стены чучело не то кошки, не то обезьянки и спросила Мандельштама: «Помните?» Это была «заветная заметка», но покрытая пылью. Мандельштам с ужасом посмотрел на зверька, заверил Марину, что все помнит, и взглянул на меня, чтобы я встала. Я знака не приняла.

Разговора не вышло, знакомство не состоялось, и, воспользовавшись первой паузой, Мандельштам увел меня.

Цветаева готовилась к отъезду. В ее комнату — большую, рядом с той, куда она водила Мандельштама к дочери, — въехал Шенгели. Заходя к нему, мы сталкивались с Цветаевой. Теперь она заговаривала и со мной, и с Мандельштамом. Он прикрывался ледяной вежливостью, а я, запомнив первую встречу, насмешничала и сводила разговор на нет... Однажды Марина рассказала, как ходила за деньгами к Никитиной и, ничего не получив, разругалась с

незадачливой издательницей. Аля, обидевшись за мать, стянула со стола книжку Цветаевой и выскочила на улицу. Она не хотела, чтобы в доме, где обижают мать, лежала ее книга Я целиком на стороне Цветаевой и Али — тем более что устойчивость Никитиной кажется мне странной.

Марина Цветаева произвела на меня впечатление абсолютной естественности и сногшибательного своеуравия. Я запомнила стриженую голову, легкую — просто мальчишескую — походку и голос, удивительно похожий на стихи. Она была с норовом, но это не только свойство характера, а еще жизненная установка. Ни за что не подвергла бы она себя самообузданию, как Ахматова. Сейчас, прочтя стихи и письма Цветаевой, я поняла, что она везде и во всем искала упоения и полноты чувств. Ей требовалось упоение не только любовью, но и покинутостью, заброшенностью, неудачей... В такой установке я вижу редкостное благородство, но меня смущает связанное с ней равнодушие к людям, которые в данную минуту не нужны или чем-то мешают «пиру чувств». Нечто подобное я заметила у ее сестры Аси, с которой сложились гораздо более человеческие отношения, чем с Мариной.

Цветаева уехала, и больше мы с ней не встречались. Когда она вернулась в Москву, я уже жила в провинции, и никому не пришло в голову сказать мне об ее возвращении. Действовал инстинкт сталинского времени, когда игнорировали вернувшихся с Запада и не замечали случайно уцелевших родичей погибших.

Я пожалела, что не видела Цветаеву, когда в Ташкенте Ахматова рассказала про встречу с ней, — это была первая и единственная встреча за всю жизнь. Цветаева жаловалась на брехню Георгия Иванова, который переадресовал обращенные к ней стихи Мандельштама неизвестной докторше, содержанке богатого армянина. (Ну и воображение у этого холуя!) Я отлично знала, что стихи написаны Цветаевой («На розвальнях, уложенных соломой...», «В разноголосице девического хора...» и «Не веря воскресенья чуду...»). А может, лучше, что мы не встретились. Автор «Попытки ревности», она, видимо, презирала всех жен и любовниц своих бывших друзей, а меня подозревала, что это я не позволила Мандельштаму «посвятить» ей стихи. Где она видела посвящения над любовными стихами? Цветаева отлично знала разницу между посвящением и обращением.

Стихи Мандельштама обращены к ней, говорят о ней, а посвящение — дело нейтральное, совсем иное, так что «недавняя и ревнивая жена», то есть я, в этом деле совершенно ни при чем. И Ахматова и Цветаева — великие ревнивицы, настоящие и блистательные женщины, и мне до них как до звезды небесной.

Дружба с Цветаевой, по-моему, сыграла огромную роль в жизни и в работе Мандельштама (для него жизнь и работа равнозначны). Это и был мост, по которому он перешел из одного периода в другой. Стихами Цветаевой открывается «Вторая книга», или «Триптих». Каблуков,<sup>[19]</sup> опекавший в ту пору Мандельштама, сразу почуял новый голос и огорчился. Все хотят сохранить мальчика с пальчик. Каблукову хотелось вернуть Мандельштама к сдержанности и раздумьям первой юношеской книги («Камень»), но роста остановить нельзя. Цветаева, подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России, нет нравственной свободы, о которой говорится в статье<sup>[20]</sup> о Чаадаеве. В «Камне» Мандельштам берет посох («Посох мой, моя свобода, сердцевина бытия»), чтобы пойти в Рим: «Посох взял, развеселился и в далекий Рим пошел», а в «Триптихе», увидав Россию, он от Рима отказывается: «Рим далече, — и никогда он Рима не любил». Каблуков тщетно добивался отказа от Рима и не заметил, что его добилась Цветаева, подарив Мандельштаму Москву.

Я уверена, что наши отношения с Мандельштамом не сложились бы так легко и просто, если бы раньше на его пути не повстречалась дикая и яркая Марина. Она расковала в нем жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви, которая поразила меня с первой минуты. Я не сразу поняла, что этим я обязана именно ей, и мне жаль, что не сумела с ней подружиться. Может, она и меня научила бы безоглядности и самоотдаче, которыми владела в полную силу. У Ахматовой есть строчка: «Есть в близости людей заветная черта, ее не перейти влюбленности и страсти» и прочим высоким человеческим отношениям. Я теперь точно знаю, что неполная слиянность порождена далеко не только герметичностью человека, а в гораздо большей мере мелким индивидуализмом, жалким самолюбием и потребностью в самоутверждении, то есть пошлейшими чертами не великих ревнивиц, а мелких самолюбивых дур, принадлежащих к

рыночному товару, стотысячных, заклеянных Цветаевой. И я клянусь себя, что наговорила слишком мало диких слов и не была ни чересчур щедрой, ни вполне свободной, как Цветаева, Мандельштам и Ахматова.

Встретившись с Ахматовой, Цветаева жаловалась на судьбу, была полна горечи и вдруг, наклонившись, сказала, как ходила смотреть дом, где прошло ее детство, и увидела, что там по-прежнему растет любимая липа. Она умоляла Ахматову никому не открывать эту тайну, иначе «они узнают и срубят». Одна липа и осталась: «Поглотила любимых пучина, и разграблен родительский дом...»<sup>[21]</sup> Я не знаю судьбы страшнее, чем у Марины Цветаевой.

1970

**Николай Еленев** [\[22\]](#)

## КЕМ БЫЛА МАРИНА ЦВЕТАЕВА?

*Мы никогда не удовлетворены портретом кого бы то ни было, кого мы знаем лично.*

*Гёте*

Время наивных убеждений, что портрет — как в области изобразительного искусства, так и в словесности — может обладать природой неоспоримой данности, давно минуло.

Проблематика портрета как такового сложна и до сих пор мало разработана. Онтологически она настолько огромна, а исторически разнородна, что ее полярные пределы могут выражаться начиная от метафизического умысла и попыток художника, писателя или мемуариста и кончая чисто формалистической игрой, которая по своему существу является лишь видом декоративизма.

Моим кратким воспоминаниям о Марине Цветаевой присуща задача только наброска, и, разумеется, его схожесть и сходство относительны. Живая человеческая личность, исключительная духовная особь, какую являлась Цветаева, была едина и одновременно многолика, противоречива и неповторима. Для внешнего представления, понимания и воссоздания духовного существа Марины потребовался бы длинный ряд портретов, причем принадлежащих разным художникам или просто свидетелям. Этой иконографии как совокупности или только показаний нет и, по-видимому, никогда уже не будет. Историко-литературные очерки, посвященные писательнице (вернее — заметки), немногочисленны. Осведомленность писавших их ограничена.

## ПОД СЕНЬЮ СКАЗОЧНЫХ КОНЕЙ

*Два коня в ряду стоят,  
Молодые, вороные,  
Вьются гривы золотые...*

*П. Ершов, «Конек-Горбунок»*

На Страстном бульваре старый дворянский особняк был перестроен и обращен в Камерный театр. Неуютный, неуклюжий в смысле зодческом, но все же театр. А Я. Таиров, с ловкостью, присущей ему как бывшему помощнику присяжного поверенного, расторопного дельца, но с более скромными способностями самобытного режиссера, бросил вызов соратникам Чехова, пережившим автора «Чайки», воспитавшим благоговейно-религиозное отношение к Художественному театру, «храму правды». Но театр не храм, театр — зрелище, заявляли Евреинов, Мейерхольд, а за границей — Макс Рейнгардт. Они видели новые возможности в сценическом искусстве и обещали иные решения.

Таиров режиссировал не только на сцене. Он режиссировал и в жизни.

Приглашение в качестве «помощника директора» и артиста богатейшего и добрейшего А. В. Брунова было поводом для незлобивой потехи большинства труппы. Для привлечения широкой интеллигенции и создания своего круга постоянных зрителей Таиров умело использовал выступления на сцене театра видных писателей, ученых, публицистов и посторонних актеров.

Мудрый знаток античной литературы поэт Вячеслав Иванов появлялся перед избранной аудиторией в ореоле священнически-торжественной отрешенности от повседневной жизни. Уравновешенная его созерцательность сменялась страстными утверждениями Н. А. Бердяева, потрясавшего своей цыганской копной смуглых волос. Его обезображивала пляска св. Витта, которую не смог скрыть рассеянный свет на эстраде. Но внутренний огонь, которым был наделен этот мыслитель, заставлял забывать о его страшных гримасах и подергиваниях.



Хриплый, жестяный голос Валерия Брюсова (задолго до того пророчески истолкованного Врубелем в его карандашном портрете) — воплощение чиновника в его вневременном, универсальном значении — сухо и едва ли осознанно тогда настаивал на необходимости умозрительной формулы и параграфа в искусстве. Их цепи испытали на себе те, кто в то время были еще юнцами. Но привидение интеллектуального прокурора, Вя на подмостках, изгонялось обаятельной улыбкой, превосходной декламацией и изящной повадкой И. И. Мозжухина, беспечного Ванечки Мозжухина, в безупречно сшитом фраке. Кто мог предположить в те годы, что этот баловень судьбы закончит свою жизнь во Франции нищим и душевнобольным? Мозжухина обожали не только московские барышни и дамы. Его искренне любила вся Москва и прощала ему его нелепые проказы, вроде той, когда однажды, притворившись в трамвае помешанным, он начал восклицать во всеуслышание, что у почтенного старика, сидевшего напротив, «борода в клеточку». Читая наизусть незамысловатые стихи Игоря Северянина «Она на цыпочки привстала и подарила губы мне», Мозжухин вкладывал в них столько человечности, столько нежности и изящества, что публика, только что уносившаяся в метафизические высоты, бурно, неистово ликовала, как только ликует поток, сорвавший плотину.

Но Таиров, следуя примеру «капустников» Художественного театра, нашел и другой путь, чтобы привлекать друзей для своего дела. Это были закрытые вечеринки. На одной из них я впервые встретил юную Марину Цветаеву — на сцене, у рампы, под сенью гигантских изваяний сказочных коней. Их гривы до сих пор шумят в благословенном лукоморье моей памяти!

## ЗДРАВИЦА ПАЖА

*Но много нас еще живых, и нам  
Причины нет печалиться.*

*Пушкин, «Пир во время чумы»*

Когда Мариус Мариусович Петипа вошел в состав труппы Камерного театра, ему было семьдесят лет. Такова была молва. Он, однако, не только красил «душистые седины». Он выступил в «Сирано де Бержерак», звеня шпагой и восхищая почти юношеской свежестью. Артисты не переставали дивиться его гибкости: «Старику семьдесят лет, а как фехтует... Кто бы сказал!»

Имя Петипа и трех поколений этого одаренного рода артистов было хорошо известно России. В честь привлечения знаменитости Таиров устроил закрытую вечеринку. Встреча друзей театра и артистов произошла на сцене. За столиками расположилось около тридцати приглашенных. На правой стороне сцены был столик Петипа с его окружением. Запомнились гладко причесанная Коонен, напоминавшая томную нищенку на картине Берн-Джонса; начинавший полнеть Таиров в тесной визитке с озабоченно-юркими глазами хозяина праздника и насмешливо-нервный, преодолевающий бремя возраста Петипа. Благожелательный герой дня.

Жест, его дисциплина и культура принадлежат романскому гению. Короткие, точно рассчитанные телодвижения Петипа были мимическим стаккато: головы, плеч, туловища. Наедине, в часы отдыха, в кровати, без свидетелей, Петипа усталый, немощный, вероятно, со вздохом глубокой печали и освобождения закрывал веки, чтобы затем опять готовиться к очередному усилию, притворной веселости и внешней беззаботности. Но в обществе Петипа обманывал окружающих, себя, гарцуя, как цирковой конь, рассыпая скороговоркой остроты. Стоит ли упоминать, что черные смокинги молодых людей, окружавших Цветаеву, были безукоризненны, а их манеры умеренно-сдержанны? Не в них, конечно, дело. Меня поразило лицо одного из спутников Марины: высокого брюнета со скорбно сдвинутыми бровями, серыми глазами, выбритыми, иссиня

выглядевшими щеками и тяжелой обезьяньей челюстью. Это был С. Я. Эфрон, муж Цветаевой. Привычным движением, которое позже я наблюдал неоднократно, в беседе он часто заслонял кистью руки глаза, как бы защищаясь от чего-то. Уже в этот вечер я понял, что эта мужественно выглядевшая волосатая рука выдавала прирожденную робость. За тридцать лет до своего расстрела Эфрон подсознательно искал защиты. В жизни он чувствовал себя пасынком. Гетто своего «я» Эфрон никогда и ни в каком окружении не изжил.

Когда я впервые взглянул на лицо Марины, мне вспомнился мир Ренессанса и песенка, которая, по преданию, принадлежит герцогу Лоренцо Великолепному:

Quant'e bella giovinezza,  
Ma si fugge tutta via...

---

О, как молодость прекрасна,  
Хотя спешит на убыль каждый час...<sup>[23]</sup>

Но мне пришлось сосредоточиться, напрячь память, чтобы найти тип лица Цветаевой. Это удалось мне не сразу. Когда же она повернулась, спокойно слушая собеседника, беспокойство умственного усилия мгновенно исчезло: передо мною возник образ пажа на ватиканской фреске «La Messa di Bolsena»<sup>[24]</sup> с его выразительным профилем. Вместе с тем лицо Цветаевой было моложе, беспечней и одухотвореннее. С ее темно-русыми подстриженными волосами, четким тонким носом, узкими губами, но довольно широким русским овалом, Марина была лишена земной косности.

Имя Цветаевой в это время было еще мало известно. О ее стихах, «Вечернем альбоме» и «Волшебном фонаре», знали только немногие. Но кроме печатного слова мысль Цветаевой проникала разными путями в отдельные, хотя и узкие слои общества. Это была необычная сила своеобразности ее духа, творившая подлинную новую форму и передававшая искренность переживания. Встречавшиеся с нею убеждались в ее даровании с первого же дня и верили в его естественный рост. Если иные не любили Марину, отталкивались от нее, то все-таки не могли не признать, что Цветаева — незаурядная

личность. Ее поэтический дар выходил за пределы художественной мысли и мировосприятия данной эпохи. Этот дар не был похож ни на женское повседневно возможное обаяние, ни на женственную привлекающую песенность, ни на гедонистическое переживание извечного зова красоты. Строй форм и строй идей Цветаевой открывали непочатую новь.

Вечеринка шумела. Волны человеческой болтовни, мирного звона посуды и смеха росли. В зияющем пустом и неосвещенном зале таилась пещера ночи. Но ее никто не замечал. Мы были на счастливом острове, под сенью легендарных коней. Беседа, шутки, флирт, аромат духов, незримые качели гула человеческих голосов опьяняли, отрывали от мысли, что вне этих стен во всем мире — лихолетье. Здесь не было ни раненых, ни искалеченных, ни отвратительного запаха йодоформа.

Подготовленные «неожиданности» обыкновенно неудачны.

Но заговор Таирова был осуществлен так ловко, что в первую минуту едва ли кто-нибудь догадался о предварительном сговоре. Отойдя от Цветаевой, с которой он поговорил о чем-то вполголоса, потребовав внимания гостей, а командовать Таиров умел, он объявил, что Марина Цветаева произнесет в честь Петипа «экспромт». Шум утих. Заняв свое место возле Петипа, Таиров прочеканил: «Марина Ивановна, мы вас слушаем!» Эхо черного, темного зала повторило: «Мы вас слушаем...» Впрочем, может быть, это мне почудилось.

Весело, задорно поднялась из-за стола Цветаева. Одета она была так просто, что ее можно было принять за вольнослушательницу университета Шанявского, очага передовой молодежи. Взглянув на Петипа на противоположной стороне сцены, слегка тряхнув юной «скобкой» своих пушистых волос, Марина начала произносить стихи. Ровным, слегка насмешливым голосом. Впервые я увидел, что ноздри у Цветаевой едва заметно вздрагивали, когда она была взволнованна. Форма носа, соразмерная, с легкой горбинкой, превосходно сочеталась с ее высоким, крутым и большим лбом. Но серые глаза были холодны, прозрачны. Эти глаза никогда не знали страха, всего менее мольбы или покорности.

Марина не распевала своих стихов. Она беззаветно любила слово, его самостоятельное значение, его архитектонику. Обращаясь к Петипа на «ты», бросая ему горделиво-игривый вызов женщины, она

предлагала ему — рыцарю чести и шпаги — сердце и жизнь. Но сердце и жизнь — не прихоть, не блажь, не причуды. Ей нужен обет, а залогом пусть послужат его честь и шпага. Дар за дар, верность за верность, но — смерть за вероломство. Умышленно использованный Цветаевой поэтический архаизм возвращал к внешней форме эпохи Людовика XIV. Никогда, ни раньше, ни позже, я не слышал столь откровенной эротики. Но удивительно было то, что эротическая тема была студена, целомудренна, лишена какого бы то ни было соблазна или чувственности. Сонет Цветаевой был замечательным образцом поэтического мастерства и холодного разума. А едва уловимый оттенок иронии сознательно, с расчетом уничтожал его любовный смысл.

Счастливая, юношески гордая, Марина торжествовала. Тешили ли ее аплодисменты? Ни в коем случае. Она, можно быть уверенным, их не слышала. Позже, в беженстве, встречаясь с Цветаевой в течение нескольких лет чуть ли не ежедневно, я убедился, что единственной страстью, причем страстью умственной, у Марины была любовь к слову и его тайне. Когда она эту тайну приоткрывала или умела овладеть ею, сообщить ее ближнему, она не ждала ни мзды славы, ни мзды почета или материальной награды. Божьей милостью творец, самый бескорыстный художник — такова была Марина: в юности, в зрелые годы и, я уверен, в трагическую годину, когда не она себя удушила, но удушили преследовавшие ее два универсальных исчадия современности: чиновник и палач.

«Экспромт» Цветаевой, вероятно, писался не час и не два. Может быть, день, ночь... Ремесло в поэзии для нее было понятием не только преодоления, совершенства, но и этического смысла. Недаром этим словом она назвала одну из своих книг. Не знаю, писал ли когда-нибудь стихи Петипа. Если он их и писал, то его «экспромт» — ответ был заготовлен кем-то, кто хорошо знал французскую любовную лирику. Петипа принимал призыв-вызов, Петипа отвечивал глубокий и учтивый поклон духовного потомка кавалера Бержерака:

*Je jette avec grâce mon feutre...*

---

Мой головной убор срываю я изящно. [\[25\]](#)

Петипа посвящал свою шпагу, шпагу Сирано, своей даме, а его шпага и честь — неотделимы: в счастье, в беде, в вечности. Но игривая нота галантной шутки звучала побочным голосом: «Не будьте, господа, слишком наивны... Не принимайте маскарада за действительность!»

Старый петиметр как начал, так и закончил: позируя, любуясь собою, уверенный в успехе и произведенном впечатлении. И если в стихах, брошенной перчатке Цветаевой, угадывался моральный пафос, унаследованный от Шиллера, то в изысканном ответе Петипа можно было уловить Парни и даже... прозу Лакло.

## БРЕМЯ ГЕТТО

*Dann denke ich: Du wärst der Letzte, dem ich mich vertraue. Und sein Blick scheint wieder zu sagen: Mag ich also wenigstens der Letzte sein.*

*Franz Kafka*<sup>[26]</sup>.

Между коридорами любой тюрьмы и общежития для русских студентов на окраине Праги большой разницы не было. Коридоры унылы всюду, безлики, а порою страшны.

«Свободарна» — четырехэтажное здание, где были поселены беженцы-стипендиаты чехословацкого правительства, — вмещала по обеим сторонам своих узких туннелей несколько сот «кабинок». Тянулись они вплотную. Отделяли их тонкие перегородки, которые не доходили до цементного пола и не упирались в потолок.

Кроме койки, отстоявшей от противоположной стены не более метра, и висевшей над нею электрической лампочки, другой обстановки не было. Через окна были видны пустыри со шлаком, фабричные трубы, пивные, а в отдалении лысые холмы.

Хмурая Прага с ее парками, древними дворцами, занятыми после войны бесчисленными канцеляриями и величественным готическим собором, была далеко. Когда под вечер студенты, в большинстве бывшие офицеры Добровольческой армии, возвращались после занятий из города, общежитие превращалось в настоящую казарму. Единственным преимуществом было то, что в ней не было утренней побудки и зори.

Каким образом С. Я. Эфрон сумел письменно связаться с Мариной, оставшейся в Москве, мне неизвестно. Об этом я его никогда не спрашивал. Путешествуя с Эфроном целый месяц в товарном неотапливаемом вагоне из Константинополя в Прагу, в длинные осенние ночи мне довелось слышать не раз от него о Марине. Природа лишила меня чувства любопытства. Если я почти ничего не знал в то время о внешней судьбе Цветаевой, мне казалось, что я уловил ее духовное существо, каким оно представлялось Эфрому. В отдельных замечаниях, в его голосе, когда он говорил о жене, звучало

тихое восхищение. Да, собственно, в этих речах имелась в виду и не жена. Марина, какую ее истолковывал Эфрон, — в поношенной шинели, грязной офицерской фуражке, с печально-тревожными глазами в ожидании какой-нибудь беды, — была кристальной чашею мудрости и писательского дарования. В его рассказах не было ни ходульного восторга, ни малейшего признака пошлого бахвальства. Втайне он безоговорочно признавал превосходство Марины над собою, над всеми современными поэтами, над всем ее окружением. Слепая любовь и всякое обожание вызывают настороженность и подозрение. Но Эфрон меньше всего напоминал человека, терзаемого тоской вождения. Факел света, который он видел в руках Марины, как я убедился потом, был воистину вручен ей судьбой. И я не боюсь досужих критиков: свыше. Этот свет, этот огонь не был ни теплом очага, ни путеводным маяком, ни вспышкой праздничного фейерверка. Это было холодное сияние Млечного Пути, его таинственное воплощение. Источник бытия вселенной, каким представлялся древним Млечный Путь, питал и творчество Марины — стихийное вне сомнения, внеземное в земном преосуществлении.

В феврале или марте 1922 года, встретившись в узком коридоре с сутулившимся Эфроном, я увидел на его лице улыбку. Усталую, но радостную. Он предложил мне войти в его кабинку. И вполголоса, чтобы не услышали за перегородкой: «Я хочу поделиться с вами новостью. Марина получила разрешение на выезд за границу». Оба мы порадовались счастливой вести. Но Эфрон попросил меня молчать об этом. Провокаторов в то время среди студентов еще не было, но Эфрон был робким, подозрительным, а подчас и неискренним человеком.



## ПРОТИВОРЕЧИЕ СЛАГАЕМЫХ

*Car les mains ont leur caractère  
C'est tout un monde en mouvement  
Où le pouce et l'auriculaire  
Donnent les poles de l'aimant.*

*Paul Verlaine, «Mains»<sup>[27]</sup>.*

---

*В руках ведь заключен особый смысл:  
В них целый мир, исполненный движенья,  
Где как мизинец, так и перст.*

Творят магнитных полюсов боренье. Глубокая, сырая лощина с дачным поселком Вшеноры недалеко от Праги неприветлива. Даже в знойный день в ней нет радости. Низкорослый вереск, черника в смешанном лесу на высоких холмах сменяются папоротником у тихо булькающего ручья. Ему вторят высокие трепещущие ольхи. Вблизи незатейливые дачи, гостиница с кегельбаном, пропахнувшим пивом, жилища железнодорожников. Но со склона северного холма открывается вид на долину. В ней покой, мир, а над нею глубокая лазурь тверди небесной. Медленно течет среди полей река. Видны волны колеблемой ветром пшеницы. Дорога круто поднимается к занимаемому мною домику.

Не торопясь, по рассыпанному щебню к забору подходят Эфрон и Марина. Она впервые переступает мой порог. Прошло много лет, как я ее не видел. На ней тяжелые тирольские желтые ботинки с болтающимися поверх шнурков языками из кожи. Глаза Марины по-прежнему так же холодны: глаза странствующего ястреба. Но они утратили веселость, слегка выцвели. Блеск взгляда сменился думой, привычным раздумьем. Стройность и гибкость юного тела исчезла. Теперь для меня это лишь мелькнувшая, растворившаяся тень той

памятной ночи, когда Роксана-Марина еще не знала, что ей будет суждено произнести: «Ah! que de choses qui sont mortes... qui sont nées!»<sup>[28]</sup> Голова пажа теперь напоминает голову гуманиста Платины, сосредоточенно уставшего. Черты всё те же? Нет, время смещает и черты лица. Овал стал шире, потерял строгую четкость. Прическа та же, напоминает облик сельской учительницы. Волосы стареют вместе с человеком: они отяжелели.

Неряшливость одежды отмечает русских. Пожалуй, даже не самой одежды, но как они ее носят. Скифская рубаха наложила на русского печать тысячелетий. С ней он не может расстаться до сих пор, и одежда менее всего была заботой Цветаевой. Она никогда не владела изяществом, никогда не думала о внешности. Пренебрежение не только к материальной культуре, но и к значению обличья Марина впитала в себя в Москве естественно, без раздумья. Платье на ней было всегда одно, независимо от его покроя, цвета, ткани: оно только наглухо прикрывало ее наготу, заставляло забывать о ней. Какой-то парижский портной, славившийся своими женскими нарядами, превосходно определил свою задачу в живом, хотя и пошлом, изречении: «Нужно достигнуть того, чтобы, одев женщину, мы чувствовали ее раздетой». Никто не умеет носить переброшенного через плечо плаща с большей непринужденностью, чем итальянец, никто, кроме кавказского горца, не знает, в чем заключается живописность башлыка, и никто не выглядит естественней в доломане, чем венгерец. Отсутствие женского обаяния в Марине обусловило и ее внешний вид. Если бы она попыталась рядиться, это было бы только смешно. Она сознавала это, но это не огорчало ее.

Опыт, пережитое, в особенности опыт голода, непередаваемы. Хотя голод первичен, ни один представитель героического земства, ни один проповедник или художник не в состоянии дать почувствовать его, вскрыть его власть. Народная мудрость запечатлела эту в веках полысевшую истину во всем известной поговорке. Марина перевезла с собою через границу если не страх, то призрак голода. Войдя, она протянула мне кое-как обернутую в газету большую кастрюлю: «Я принесла вам каши. Мы сварили ее слишком много. Я подумала: не выбрасывать же ее...» Хотя средств на существование в то время у меня было очень мало, в таком подарке я не нуждался. Он показался мне странным, неуклюже неуместным. Но побуждение Марины мне

стало ясным гораздо позже. Советская действительность не вошла, или почти не вошла, в мой жизненный опыт. Но на Марине она сказала, даже на ней, по своему существу — прирожденному бунтовщику, который в случае необходимости не остановится и перед кражей. Но Марина, кроме того, с первых сознательных дней своей жизни была художником-одиночкой. Борьба за существование для нее была особенно тяжела.

Моя гостья дымила папиросой. Курила она много и некрасиво. Это тоже признак поведения и жеста.

По сей день я не могу понять, как могла позволить себе Марина выдыхать табачный дым через ноздри. Вместо портсигара у нее была старая жестяная коробка от дорогих папирос, деревянный мунштук был прожжен. Если она не докуривала папиросы, она вкладывала ее остаток обратно в коробку. Пережитая нищета, навыки неряшества? Ее пальцы со следами никотина были довольно коротки, пластически образующей была не длина кисти, но ее ширина. Было ясно, что Марина не ухаживала за своими руками и ногтями. Что обуславливает форму руки? Раса, наследственно передаваемая профессия? На этот вопрос ответить трудно. Франц Лист не принадлежал по рождению к привилегированным кругам, но ни один аристократ его эпохи не обладал более красивыми руками. Знала ли Цветаева, что льстивый Ван Дейк, изображая руки своих светских заказчиков, пользовался одной и той же моделью, одним и тем же образцом? Знала ли Цветаева, что Артур Шнитцлер, создавая портрет «Анатоля», лакея в кафе, отгадал его драму и судьбу в необычной форме его рук? Для меня была и осталась загадочной анатомическая природа Марины: голова ее была одухотворена, как голова мыслителя, выражая сочетание разных вековых культур и народностей. Руки же... Такие руки с ненавистью сжигали не только помещичьи усадьбы, но и старый мир.

## ЖРЕБИЙ САМООТВЕРЖЕННЫХ

*К чести нашей народной гордости, надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного.*

*Гоголь*

Мы отдыхали в тени старой буковой рощи. Марина, как всегда, была без шляпы. Сидя, она прислонилась к серо-замшевому стволу стройного дерева. Сколько ему может быть лет? Мое замечание, что этот бук уже произрастал, когда читавшего стихи Андре Шенье везли на эшафот, было умышленно. В это лето Марина могла с правом повторить стихи Пушкина:

Зовет меня другая тень,  
Давно без песен, без рыданий  
С кровавой плахи в дни страданий  
Сошедшая в могильну сень.

Тень Шенье звала Марину. Чувствовалось, что ее мысль была всецело поглощена судьбою поэта, отвергшего революцию, восставшего против нового насилия, против новой лжи. Она собирала все, что можно было найти о Шенье в библиотеках, писала о нем поэму. Открытое противодействие черни, сопротивление искажителям правды, презрение к террору вдохновляли художественную совесть Марины. Однако действительная участь исторического Шенье для Цветаевой, едва ли вполне осознанно, была творчески чаемым предлогом. Не историческая быль, но этически кочующая легенда, живущая в том или ином образе, привлекала ее, как случилось это и со многими другими писателями. Использованное историческое обличье в этих случаях было только внешним обрамлением.

Марину всегда возбуждало и притягивало любое дерзание, любая борьба, если она не преследовала выгоды, но служила защите личной свободы, справедливости. Была ли восставшая личность

мифологическим Прометеем, историческим Шенье или бескорыстным участником Кубанского похода, Марину не заботило. Существенным и повелительным были для нее пафос и отвага борьбы.

«Поэта, не принимающего какой бы то ни было стихии — следовательно, и бунта, — нет», — заявила сама Цветаева. Полноценной жизнью, достойной любви и признания, была жизнь самоотверженных, судьба не страшившихся смуты. Едва ли она любила, например, поэзию Гумилева. Но имя расстрелянного поэта произносила как-то особенно: в тихом раздумье. Пример Гумилева-бунтовщика для Цветаевой был воплощением извечного мужества и мужественности, которого она искала всю жизнь, но ни в ком не нашла.

Никаких политических убеждений у Цветаевой не было. Всякая догма была для нее остывшей прописью. Живи Марина в эпоху военных поселений Аракчеева, она презирала бы так же царизм, как презирала и ненавидела большевизм. Своего прирожденного чувства и жажды свободы ни при каких обстоятельствах она не скрывала, не подавляла. «Бес разрушения», который казался некоторым в Марине, был живым негодованием перед всяким насилием и угнетением — в жизни, в искусстве. Для нее не существовало ни запретов, ни преград, ни ограничений в собственном исповедании или поведении. Полуправды для нее не существовало.

Эгоцентризм Марины порою был наивен, в особенности когда она писала о своей дочери Але, умной девочке, но сорванце. Но в конечном итоге мироощущение Цветаевой было монистично и гуманно.

Общаясь с русскими социал-революционерами в Праге, от которых отчасти зависела ее материальная судьба, поспорив однажды с ними о прошлом России и революции, она со злым торжеством бросила свой последний довод: «Убийство Александра II лежит на вашей совести!»

Неприятие Цветаевой духовного мещанства и роевого устройства жизни было прямым наследием, полученным ею еще в детстве от семьи и русских передовых кругов.

Летом 1925 года ее увлекла средневековая легенда о крысолове из Гамельна с его чудодейственной флейтой. Для Марины это была счастливая находка эстетического и одновременно этического символа.

Смысл саги, которой насчитывается около семисот лет, толкуется по-разному. Был ли ее герой для Марины избавителем или искусителем, спасителем или лукавым проходимцем? Для нее он прежде всего был кудесником, чародеем, каким он и возникает в ее истолковании. Стадо крыс — символ, колдун и наваждение его флейты — символ. Не узнает ли наша современность себя в этих образах, рассуждала Марина, в аллегории неумиряющей басни? Видимо, скрывая свое волнение, Марина прочитала в моей семье свое новое произведение. Символическая идея «Крысолова» привлекала многих художников и поэтов, в том числе и Гёте. Смысл этой легенды, помимо ее исторического и художественного обличья, представляет собою, конечно, извечную проблему борьбы правды с неправдой, истины с ложью, трагизм плотского или духовного соблазна.

Непонимание произведений Цветаевой самодовольными критиками русской печати за границей (а вниманием к своему творчеству она очень дорожила) обходилось обычно молчанием. Но однажды зашел разговор и об этом. «Рассуждения господина Х., — заметила она ядовито, — бездарнее почтового чиновника из Бахчисарая, усвоившего на досуге учебник Саводника». Исключением для нее был Ходасевич.

Мысль Марины в беседе, в противоположность ее перегруженной прозе, была отрывиста. Она не умела и не любила разглагольствовать. Если разговор порою увлекал ее, мысли Марины были сжаты, коротки, но всегда остры, напоминая сухие, мгновенные точки электрической искры. К тому же Марина умела слушать собеседника. Последнее обуславливается или воспитанием, или любознательностью. Ее эгоцентризм художника не имел ничего общего с обывательским эгоизмом. Она знала о своем «сиротстве» («Роландов Рог»), знала, что писала для тех еще неизвестных и не родившихся, которые когда-нибудь образуют новое поколение. Как писатель, а отчасти и как человек Марина Цветаева была обреченно одинока. В этом заключался ее нелегкий исторический и культурный жребий. Ибо, по ее же словам, словам мудрым: «Искусство своим жертвам не платит».

## ИЗБРАННИЦА СЛОВА

*Но если есть Страшный Суд слова — на нем я чиста.*

*М. Цветаева*

Марина знала и ощущала всем своим существом, что слово «есть высший подарок Бога человеку». Ничто не ценилось Мариной больше, чем слово. Ни близкие, ни собственная участь, ни временные блага. Для нее оно было, по ее выражению, «стихией стихий». В религиозной философии слово. Логос, — божественная сила творчества и Провидение.

Постигнутое ремесло поэзии, сознательная воля, разум, знание безмерного русского словаря — слагаемые, которые, по мнению Марины, принадлежали ей как художнику только потому, что она творила в состоянии постоянного наваждения. Старая мысль, старая, как и само искусство. Но стихия слова и жизнь Марины были нерасторжимы. Вне проверки, вне усмотрения или возможного сознательного преодоления. Если Тютчев мог примирить в себе чиновника и поэта, то Цветаева могла жить только в мире слова и для слова. Ей принадлежит признание: «...утверждаю, что ни на какое дело своего не променяла бы». Более духовно-целостного художника в русском прошлом найти трудно, а может быть, и невозможно. Вероятно, таким же был Хлебников. Но его я не встречал.

Марина не знала «мертвых» слов, так как даже мертвые слова оживают, если вещей дух истинного творца вызывает их к действительности хоровода, иные скажут — оригинальной композиции. Марина сознавала, что она была «одержимая», и это была ее высшая гордость. В будущем возможные исследователи ее приемов, размеров, построений, словаря, мелодики и контрапункта, пожалуй, смогут разъять и поверить алгеброй ее создания. Затем, на основе этих «общеобязательных» изысканий, Марине поставят «беспристрастные» отметки и определят ее степень, как поэта. Такие непогрешимые весовщики, измеряющие при помощи алгебраических и геометрических фигур и формул не только картины Пуссена,

готические соборы, но и слово, никогда не найдут главного: тайны избрания Марины Словом. Оно повелело и поручило ей с «сердцем гулким» прожить жизнь «без скаредства» («Мóлодец»).

Чуждая по своему нраву общительности и естественного побуждения к общению (Марине принадлежит признание: «...нет, позабыли мне в люльку боги дар соборной любви!»), Цветаева в последнем счете служила не себе, как несчастный Леопарди, но ближнему в лучшем значении этого понятия. В этом заключалась ее любовь к жизни, но к жизни в ее полярных возможностях и двухипостасном существе.

Мнимая асоциальность Цветаевой когда-нибудь будет пересмотрена. Поспешный, вызванный нашим временем с его прописями, этот приговор будущими поколениями будет решительно отвергнут.



## ТРУД И ТВОРЧЕСТВО

*...Легкой жизни нет ни для одного человека, ни для одного бога. Жизнь всех богов представляется нам как возвышенная печаль, как напряжение бесконечной борьбы с бесконечным трудом.*

*Карлейль*

Пытливости разума и остроте мышления Цветаевой когда-нибудь будет отведено особое место в работах о ее творчестве и литературных созданиях. Без какой бы то ни было предварительной научной подготовки или исследовательского опыта Марина постигла непосредственно изначальные истины, которые огромному большинству сообщаются или чужой мыслью, или приобретаются в итоге долгого созерцания и духовного саморазвития. Ум Цветаевой и ее способность даже в незначительно-повседневной беседе поколебать общепринятые, преестественно-утвердившиеся исповедания и взгляды не только поражали многих, но и пугали. Всякий исторический «символ веры», начиная от дикаря и кончая законодателем, был и будет Фермопилами, из-за которых идет непрекращающаяся борьба человечества. Оголенные и предельные проблемы жизни, а их, быть может, не так уж много, не привлекают рядового человека, но устрашают, а порою ввергают его в ужас. Спасаются от них по-разному — в зависимости от пола, возраста, умственно-духовного уровня. Большинство женщин находило защиту перед Цветаевой в бегстве и неосознанной клевете. Они называли ее «синим чулком». Мужчин, опасавшихся Марины, отталкивавшихся от нее, в общем можно было отнести к двум разрядам. Ханжи и трусы обвиняли Марину в бесовском цинизме, а завистники и пустоцветы—в заумности.

## БЫЛЬ И СКАЗКА

*Бледно — лицый  
Страж над плеском века —  
Рыцарь, рыцарь,  
Стережущий реку.*

*М. Цветаева, «Пражский рыцарь»*

История Чехии, прошлое Праги в творчестве Цветаевой не отразились. Это вызывает на раздумье, так как она знала, хотя бы поверхностно, какое множество событий, выдающихся личностей, художественного наследия она могла найти в минувшем страны и ее опечаленно-прекрасной столице.

Марина внимательно слушала, когда речь заходила о них. Она знала, что Праге — тысяча лет. Знала, что в ней жил совестливейший из совестливейших проповедников Ян Гус, погибший на костре, император-мистик Рудольф II, ценивший искусство больше власти, герцог Валленштейн — трагический соперник Габсбургов. «Но судьба герцога Фридландского изображена Шиллером. Вы хотите, чтобы я соперничала с ним?». — «Это только отговорка... вспомните, что музей и архивы страны хранят настоящие сокровища, начиная от монет торговцев-арабов, посещавших Прагу в X веке, и кончая данными о Суворове...»

Однажды я показал Марине пражский Карлов мост с его статуями, рассказал ей его историю и легенды, связанные с этим замечательным архитектурным созданием средневековья. На одном из мостовых устоев высится изваяние так называемого пражского Роланда, иначе — Брунцвика. Статуи подобного рода в северной Германии, олицетворяющие права и свободу горожан, восходят к XIII веку. Пражский рыцарь, сооруженный в конце XV столетия, уничтоженный шведским обстрелом города в 1648 году и возобновленный, не соответствуя, однако, фрагментам, в 1884 году Людвигом Шимеком, понравился Марине больше всего. Стройная фигура юноши в доспехах, с поднятым мечом и щитом у ног отвечала ее вкусу. Изваяния эпохи барокко, сооруженные на мосту уже в начале XVIII

века, Цветаеву не увлекли. Она не обладала соответствующей художественной подготовкой, чтобы понять их замечательные достоинства и, обусловленный католицизмом, их религиозный пафос.

Но Марину тронул, показался ей искренне-значительным герб Вацлава IV, изображающий зимородка в венке — символ женской верности, символ доброго гения, предотвращающего несчастье и беду. Зимородок по-чешски — «птачек-леднячек».

«Как хорошо звучит „птачек-леднячек“... Это название весело, ласково звучит... — повторяла она. — Но пойдёмте взглянуть еще на пражского рыцаря».

Вниз по реке медленно шли огромные плоты. Полуголые, загорелые плотовщики сплавляли корабельный лес. Близкие пороги гулко шумели. Роланд охранял реку и права горожан, на которые уже никто не посягал. Сказочный образ юного витязя, как всякая сказка, говорил Марине больше, чем история. Осенью того же года появилось стихотворение Цветаевой «Пражский рыцарь». Однако символическое изваяние для Марины послужило только предлогом для передачи личных чувств И, что можно заметить не сразу, эти стихи заключают в себе оттенок удачно переключенного и усложненного «цыганского романа».

## ЧАЕМОЕ И БЫТ

*Un homme qui s'est institué artiste n'a plus le droit de vivre comme les autres.*

*Flaubert*

*Всякий, кто избрал поприще художника, не имеет права жить как другие.* [29].

Было бы наивно думать, что Цветаева, несмотря на свою духовную исключительность и своеобразие, не менялась во времени. Художница Цибулька, которая жила до разгрома Чехии в Праге, говорила о себе: «У меня два профиля: один врубелевский, а другой — ведьмы». У Цветаевой был не один «профиль», определяющий ее существо. Однажды Марина подарила мне после долгой беседы о Крыме и его истории, восходящей к VIII веку до Рождества Христова, древнюю монету с изображением головы Афины Паллады, богини мысли и покровительницы искусства. Лик богини, которая, по преданию, была порождена не плотью, но разумом Зевса, лик, разумеется, в идеально-отвлеченном смысле, проступал отчетливо в художественной и интеллектуальной природе Цветаевой. Этот лик был отражением античной культуры и ее наследия. Мы понимаем его как взаимодействие космических благотворных сил и этических усилий и достижений человечества. Благодать эта, как я думаю, жила в Марине до конца ее дней. Другие же особенности менялись. На них отражались следы нищеты в беженстве, возраста, одиночества как художника, встреч, событий и их оценки. Оценки событий не только самой писательницей, но бегом и претворением идей, связанных с событиями.

Отбиваясь от немилосердного быта, Марина ожесточалась. В профиле Цветаевой-Платины порою проступали черты стареющей «ведьмы».

Помню одно резкое столкновение. Марина принесла мне книгу С. М. Волконского «Родина», восторженно сравнивая автора с Гёте.

Если не ошибаюсь, она, как и я, встречала когда-то Волконского и хотела узнать мое мнение. Прочитав книгу, я назвал ее «княжеской», убежденный в ее поверхностной человечности и социально-классовой ограниченности. Недоумение Марины сменилось гневом. Спор перешел с ее стороны в озлобление. Вспоминая теперь этот незадачливый день, мне кажется, что Марина сознавала тогда преувеличенность своей оценки, однако спорила из-за упрямства. Потеряв терпение, я взял со стола «Молодца» Цветаевой — ее подарок. Отыскав нужную мне страницу, прочитал вслух ее же стих:

На своем селе — мы царь  
Захотим — с конем в алтарь.

Марина не могла не понять, что имелось в виду. Несколько секунд она молчала. Затем резко: «Мне пора домой».

После этого мы долго не виделись. Случайные и редкие встречи с Мариной до ее переселения в Париж не давали повода для разговоров или споров. В те годы в Прагу приехал Максим Горький и В. Ф. Ходасевич. Цветаева отыскала меня и предложила свести к Горькому, которому заранее пообещала, что я напишу для «Беседы»<sup>[30]</sup> статью об искусстве в Чехии. Мой решительный отказ удивил ее. Когда Цветаева была недовольна, она не глядела в лицо, косила глазами в сторону.

## Нина Берберова <sup>[31]</sup>

### ИЗ КНИГИ «КУРСИВ МОЙ»

Когда мы выехали 4 ноября 1923 года в Прагу, Марина Ивановна Цветаева уже давно была там. Мы не остались в Берлине, где жить нам было нечем, мы не поехали в Италию, как Зайцевы, потому что у нас не было ни виз, ни денег, и мы не поехали в Париж, как Ремизовы, потому что боялись Парижа, да, мы оба боялись Парижа, боялись эмиграции, боялись безвозвратности, окончательности нашей судьбы и бесповоротного решения остаться в изгнании. Кажется, нам хотелось еще немного продлить неустойчивость. И мы поехали в Прагу. Вот пражский календарь из записей Ходасевича:

- 9 ноября — Р. Якобсон
- 10 ноября — Цветаева
- 13 ноября — Р. Якобсон
- 14 ноября — к Цветаевой
- 16 ноября — Цветаева
- 19 ноября — Цветаева
- 20 ноября — Р. Якобсон
- 23 ноября — Цветаева и Р. Якобсон
- 24 ноября — Р. Якобсон
- 25 ноября — Р. Якобсон, Цветаева
- 27 ноября — Р. Якобсон
- 28 ноября — Цветаева
- 29 ноября — Р. Якобсон, Цветаева
- 1 декабря — Р. Якобсон
- 5 декабря — Якобсоны
- 6 декабря — отъезд в Мариенбад.

В том неустойчивом мире, в котором мы жили в то время, где ничего не было решено и где мы вторично — за два года — растеряли людей и «атмосферу», которой я уже сильно начинала дорожить, я не смогла по-настоящему оценить Прагу: она показалась мне и благороднее Берлина, и захолустнее его. «Русская Прага» нам не открыла своих объятий: там главенствовали Чириков, Немирович-

Данченко, Ляцкий и их жены, и для них я была не более букашки, а Ходасевич — неведомого и отчасти опасного происхождения червяком. Одиночками жили Цветаева, которая там томила, Слоним и Якобсон, породы более близкой и одного поколения с Ходасевичем. Они не только выжили, но и смогли осуществить себя до конца (Якобсон — как первый в мире славист), может быть, потому, что оба были преисполнены энергией, а может быть, и «полубезумным восторгом делания». В эти недели в Праге и Ходасевич и я, вероятно, могли бы зацепиться за что-нибудь, с огромным трудом поставить одну ногу — как альпинисты — перебросить веревку, подтянуться... поставить другую... В такие минуты одна дружеская рука может удержать человека даже на острове Пасхи, но никто не удержал нас. И, вероятно, хорошо сделал. Цветаева и Слоним долго не прожили там. Якобсон, когда расправил крылья, вылетел оттуда как бабочка из кокона.

В то время М. И. Цветаева была в зените своего поэтического таланта. Жизнь ее материально была очень трудна и такой осталась до 1939 года, когда она вернулась в Россию. Одну дочь она потеряла еще в Москве, от голода, другая была с ней. Сын родился в 1925 году и был убит во вторую мировую войну. В Праге она производила впечатление человека, отодвинувшего свои заботы, полного творческих выдумок, но человека, не видящего себя, не знающего своих жизненных (и женских) возможностей, не созревшего для осознания своих настоящих и будущих реакций. Ее отщепенство, о котором она гениально написала в стихотворении «Роландов рог», через много лет выдало ее незрелость: отщепенство не есть, как думали когда-то, черта особенности человека, стоящего над другими, отщепенство есть несчастье человека — и психологическое, и онтологическое, — человека, не дозревшего до умения соединиться с миром, слиться с ним и со своим временем, то есть с историей и людьми. Ее увлечение Белой армией было нелепым, оно в какой-то степени вытекало из ее привязанности к мужу С. Эфрону, которому она «обещала сына», — она так и сказала мне: «У меня будет сын, я поклялась Сереже, что я дам ему сына». Несомненно, в Марине Ивановне это отщепенство тем более было трагично, что с годами ей все более начало хотеться слияния, что ее особенность постепенно стала тяготить ее, она изживала ее, а на ее месте ничего не возникало взамен. Она созревала

медленно, как большинство русских поэтов нашего века (противоположность веку прошлому), но так и не созрела, быть может в последние годы своей жизни поняв, что человек не может годами оставаться отверженным — и что если это так, то вина в нем, а не в его окружении. Но ее драма усугублялась тем, что в эмиграции у нее, как у поэта, не было читателей, не было отклика на то, что она делала, и возможно, что не было друзей по ее росту. Поэт со своим даром — как горбун с горбом, поэт — на необитаемом острове или ушедший в катакомбы, поэт в своей башне (из слоновой кости, из кирпича, из чего хотите), поэт — на льдине в океане, все это соблазнительные образы, которые таят бесплодную и опасную своей мертвенностью романтическую сущность. Можно вписывать эти образы в бессмертные или просто хорошие стихи, и кто-то несомненно на них внутренне отзовется, но они будут нести в себе один из самых коварных элементов поэзии — эскапизм, который если и украсит поэму, то разрушит поэта. Пражское одиночество Марины Ивановны, ее парижское отщепенство могли только привести ее к московской немоте и трагедии в Елабуге. В ней самой, в характере ее отношения к людям и миру, уже таился этот конец: он предсказан во всех этих строчках, где она кричит нам, что она — не такая, как все, что она гордится, что она не такая, как мы, что она никогда не хотела быть такой, как мы.

Она поддавалась старому декадентскому соблазну придумывать себя: поэт-урод, непризнанный и непонятный; мать своих детей и жена своего мужа; любовница молодого эфеба; человек сказочного прошлого; бард обреченного на гибель войска; ученик и друг, страстная подруга. Из этих (и других) «образов личности» она делала стихи — великие стихи нашего времени. Но она не владела собой, не строила себя, даже не знала себя (и культивировала это незнание). Она была беззащитна, беззаботна и несчастна, окружена «гнездом» и одинока, она находила, и теряла, и ошибалась без конца.

Ходасевич однажды сказал мне, что в ранней молодости Марина Ивановна напоминала ему Есенина (и наоборот): цветом волос, цветом лица, даже повадками, даже голосом. Я однажды видела сон, как оба они, совершенно одинаковые, висят в своих петлях и качаются. С тех пор я не могу не видеть этой страшной параллели и смерти обоих — внешней параллели, конечно, совпадение образа их конца, и



внутреннюю противоположную его мотивировку. Есенин мог не покончить с собой: он мог погибнуть в ссылке в Сибири (как Клюев), он мог остепениться (как Мариенгоф) или «словчиться» (как Кусиков), он мог умереть случайно (как Поплавский), его могла спасти война, перемена литературной политики в СССР, любовь к женщине, наконец — дружба с тем, кому обращено его стихотворение 1922 года, нежнейшее из всех его стихов:

Возлюбленный мой, дай мне руку...

.....

Прощай, прощай! В пожарах лунных

Дождусь ли радостного дня?

Среди прославленных и юных

Ты был всех лучше для меня

Его конец иллюзорен. Цветаева, наоборот, к этому шла через всю жизнь, через выдуманную ее любовь к мужу и детям, через воспеваемую Белую армию, через горб, несомый столь гордо, презрение к тем, кто ее не понимает, обиду, претворенную в гордую маску, через все фиаско своих увлечений и эфемерность придуманных ею себе ролей, где роли-то были выдуманы и шпаги картонные, а кровь-то все-таки текла настоящая.

Таким же неизбежным было и самоубийство Маяковского. Быть может, с этим согласятся те немногие, кто прочел внимательно и полностью последний том его сочинений, где приведены стенограммы литературных дискуссий 1929–1930 годов между РАППом (и МАППом) и Маяковским — автором поэмы (неоконченной). «Во весь голос». Сначала «во весь голос» шла ругань, потом «во весь голос» прозвучал на всю Россию его истошный крик. Потом «весь голос» замер. Раздался выстрел, и жизнь, казалось не имевшая конца, кончилась. Отступить он не привык, не умел и не хотел. «Заранее подготовленных позиций» у него не было и у поэта его судьбы и темперамента быть не могло. Он застрелил не себя только, он застрелил все свое поколение.

Трудно одолеть эти стенограммы, но, не одолев их, невозможно понять неизбежность этого выстрела.

Ранний ноябрьский вечер черен за окном. Мы сидим с трех часов при лампе в номере пражского отеля «Беранек»: Цветаева, Эфрон, Ходасевич и я. «Беранек» по-чешски значит барашек. Барашки нарисованы по стенам, на дверях, метками вышиты на наволочках, барашки украшают меню в ресторане, барашек улыбается нам со счета отеля. Ходасевич говорит, что мы живем в стаде розовых и голубых барашков. Иные с лентами, другие — с золочеными рожками, еще другие — с бубенчиками на шее. Барашек стоит у входа в гостиницу и даже крутит головкой и говорит «мэ-э-э».

Мы сидим долгие часы, пьем чай, который я кипячу на маленькой спиртовке, едим ветчину, сыр и булки, разложенные на бумажках. Все, что говорит Цветаева, мне интересно, в ней для меня сквозит смесь мудрости и каприза, я пью ее речь, но в ней, в этой речи, почти всегда есть чуждый мне, режущий меня больной надлом, восхитительный, любопытный, умный, но какой-то нервный, неуравновешенный, чем-то опасный для наших дальнейших отношений, будто сейчас нам еще весело летать по волнам и порогам, но в следующую минуту мы обе можем столкнуться и ушибиться, и я это чувствую, а она, видимо, нет, она, вероятно, думает, что со мной можно в будущем либо дружить, либо поссориться.

*1960-е годы*

## Ольга Колбасина-Чернова <sup>[32]</sup>

### МАРИНА ЦВЕТАЕВА

С Мариной Цветаевой я впервые встретилась в 1923 году в Праге, куда переехала из Берлина с дочерью Ариадной. Прага была центром русских ученых и писателей, приехавших из России, чешское правительство их поддерживало стипендиями и давало деньги на издание журналов. Я сотрудничала в одном из них.

Нам нашли комнату в предместье Праги — на горе, в Смихове. На второй день приезда в комнату постучали.

Вошла молодая женщина — коричневые волосы челкой, матовая светло-коричневая кожа лица, светлые глаза. Стройная, даже как будто неестественно прямая — «стальная выправка хребта», как сказала она в своем стихотворении о князе Сергее Волконском — слова эти подходили именно к ней. Эта прямота, несгибаемость поражала, она придавала некоторую угловатость ее стремительным движениям и некоторую неженственность. Мягкости не было.

Перетянутое кушаком коричневое платье — всегда носила туго стянутый кожаный пояс на очень тонкой, осиной талии; плечи широкие, костистые.

Беглый взблеск зеленых глаз, какая-то, я бы сказала звериная, роскошь — в сторону: видит вас, но как будто смеясь, как будто прячется от вас, — очень светлых и очень зеленых прозрачных глаз. Это ее повадка (звериная), обижавшая некоторых людей: не смотрит на вас, когда разговаривает. У меня такого впечатления не было ни сразу, ни потом, хотя я очень чувствительна к «не смотрящему прямо глазу». Я всегда чувствовала, что, отводя глаза, она смотрит на вас с интересом, но слегка со стороны, отодвигаясь или приглашает вас следовать за нею — и это даже устанавливало с нею не отчужденность, а какую-то *complicité* (общность). И еще в них выражалась ее неуловимость, которая всегда в ней присутствовала. Она здесь, но вот уже там — и вот сейчас улетучится.

— Марина Цветаева-Эфрон, — протягивает руку; ее рука также поражает: сухая, крепкая, жилистая рабочая рука, старше ее возраста,

массивный перстень на пальце. На руках широкие серебряные браслеты-запястья.

Она любила только серебро; золото — золотой телец, говорила она презрительно, для сытых, благополучных и самодовольных.

— А цвет солнца, воплощенный в золоте, а царица Савская?.. Ведь она в золотых браслетах...

— Востоку пристало, не нам. Мы — серебро. (Но я отвлеклась.)

— Мы соседи, познакомимся, пришла просить у вас вилок, ножей и ложек, у нас вечером гости — не хватает.

Я смущена: у меня нет ножей и вилок, мы только что приехали. Только две серебряные ложки уцелели, и обе с ущербом, а ножи заменяет корсиканский кинжал и складной, тоже корсиканский, нож — оба с вырезанной головой мавра в повязке, эмблема Корсики с одной стороны, а с другой надпись: *vendetta corsa*.

— Но это же чудесно: вместо кухонного ножа кинжал. Им вы крошите лук? И надпись: «Вендетта». И нет ни одной вилки, ни одной целой ложки! Серебряные, но временем изгрызенные, ущербленные, со старинными узорами! А где остальное из столового прибора — верно, было?

— Да, было — продала на Сухаревке за тяжелый круглый хлеб.

— Еще лучше, — она в восторге, глаза в смехе и блестят. — Сейчас утро. Я никогда, ни под каким предлогом не пропускаю утренних часов. Вечером гости, иду сейчас работать.

Исчезает.

Вскоре я узнала ее привычку писать с раннего утра. Никакие силы, никакие обязательства не могли заставить ее уклоняться от этой работы. Когда приехала из пансиона ее дочь, десятилетняя Аля, Марина заставляла ее по утрам убирать комнату, готовить обед, а потом, через два года, нянчить новорожденного брата, из-за чего Аля не могла поступить в школу и систематически учиться. Впрочем, это не помешало ей писать грамотно на двух языках и приобрести много знаний, но все это своими силами и способностями. Марина говорила: «Или я — моя жизнь, то есть мое творчество, или она — еще не проявившая себя, еще в будущем. А я уже емь и стихами жертвовать не могу». Мне она говорила: «Пока не научитесь все устранять, через все препятствия шагать напором, хотя бы и во вред другим — пока не

научитесь абсолютному эгоизму в отстаивании своего права на писание — большой работы не дадите».

На другой день с утра приносит корсиканские ножи:

— Кинжалом пользовалась только я, Корсика — родина моего Наполеона (в первый раз услышала я от нее слово «мой» — потом узнала «мой Пушкин», «моя Москва» и т. д.). — Как это прекрасно сходится, — а ваше имя?

— Ольга Елисеевна.

— Неужели Елисеевна? Как в сказке царевич Елисей — А ваша дочь? Она стояла тут же, еще девочка, четырнадцать лет.

— Ариадна.

— Мою дочь тоже зовут Ариадной. Почему вы так назвали? Я смущена от такого резкого допроса и говорю бессвязно:

— Так, Ариаднина нить...

— Так я и думала. Значит, нить и Тезей? Мы с вами сойдемся. А сейчас я за письменный стол.

Стол играл главную роль в ее жизни. Позже, в 1933 году, Марина Ивановна написала цикл стихов «Мой письменный верный стол!».

После этих коротких встреч начались длительные. «Самое упоительное в дружбе — узнавание». Я познакомилась с мужем Марины Цветаевой, обаятельным Сергеем Яковлевичем, и мы обе с Ариадной сдружились с ним. Их дочь Аля была тогда в пансионе в чешской провинции, кажется в Тшебове. Началась быстрая, молниеносная дружба.

В этот период я и вся наша семья открыли Пастернака — восторг и удивление Марины Ивановны, для нее Пастернак был «взрыв, обвал, удар». Она сразу почувствовала его величину и сказала: «Он сейчас больше всех, большинство из сущих были, некоторые есть, он один будет». Вдруг в заброшенном Смихове, в маленькую комнату, где нет ни кресла, ни ножей, ни вилок, врывается ливень Пастернака. Мы перебивали друг друга, в три голоса говорили его строчки. «И пахнет сырой резедой горизонт» — как это у него: «Лиловые глаза в грозу?» — «Что в грозу лиловы глаза и газоны...» — поправляет Ариадна. Или: «Топтался дождик у дверей — И пахло винной пробкой...» Марина Ивановна подхватывает: «Так пахла пыль, так пах бурьян...» И я: «Так пахли прописи дворян — О равенстве и братстве...» — «Неужели вы и на эти прописи обратили внимание? — говорит

Марина. — Ведь в них начало революции — пахнет вином — опьянением революции».

Никогда не забуду ее проникновения поэта в самую поэтическую сущность другого поэта, ее ослепительных эпитетов, ее толкования. То, что я схватывала иногда интуитивно, она озаряла светом своего понимания, всегда безошибочного.

«Сестра моя — жизнь» — это был незабываемый вечер, Марина говорила о Пастернаке, и мы перекликались его строками.

Начался роман у нее со мной и с Ариадной — с каждой порознь. Ей она напишет на книге: «Моей полу-дочке, полу-сестре». А со мной прогулки в горы и беседы: ее разговоры с острыми, иногда спорными формулировками и противоречиями. И споры, после которых часто я чувствовала себя как после бега на гору. И, конечно, стихи «без конца и без краю».

— У меня к людям, — говорит она, — бывает или равнодушие — прохожу мимо, или встречаюсь по делу, или роман: с мужчинами, с женщинами, с вещами. С вами у меня роман. — И начались подарки: я ей подарила корсиканский, дорогой для меня по воспоминаниям, нож. Перед сном нахожу в постели под одеялом медную мельницу с резьбой для турецкого кофе, который мы обе любим. В другой раз старинная серебряная ложечка, или книга стихов, или морские камушки из Коктебеля, собранные на берегу Черного моря, когда Марина жила у Макса Волошина, — мы потом оправили их я сделала кольца. И еще трость (альпеншток) — посошок, как она говорила, для гулянья в горах, лежал под простыней.

— Ну, оседлаем наших коней, — говорила она, когда мы отправлялись на дальнюю прогулку в горы. Мы дня не проводили врозь, по вечерам вместе ужинали, потом читали.

И вот в один из первых вечеров — еще в рукописи — Марина прочла свою поэму «Мблodeц». Для меня это было то же, что с нею, когда она открыла Пастернака: удар, взрыв. У меня намечена работа о Марине Цветаевой, о ее творчестве, я ее озаглавила «Непобедимые ритмы» — эти слова взяты из стихотворения Максимилиана Волошина, посвященного ей. Оно попало ей в руки уже после его смерти.

Тихо пою стих  
В неосязаемые угодия  
Ваших образов...  
Ваши молитвы —  
Малиновые мелодии  
И —  
Непобедимые ритмы.

В ее чтении поэмы «Молодец» мне прозвучали непобедимые ритмы, и Марина встала во весь рост как поэт.

Вспоминаю ее слова из «Поэмы Конца» — слова, вошедшие в наш обиход, мы часто их повторяли: «Преувеличенно — то есть во весь рост», иногда шутя. Когда Марина превозносила кого-нибудь, по своему обыкновению, без меры — до небес, я говорила ей: «Ну, это преувеличенно». Она отвечала: «Значит, во весь рост». «Но рост-то у него карликовый». Марина возражала: «Зависит от расстояния, может быть, когда отойду, издалека и увижу, что карлик, но пока — нет».

Но слова Волошина: «непобедимые ритмы» — на каком угодно расстоянии во времени непреувеличенны. Прошли три, четыре десятилетия, но ритмы Цветаевой остались непобедимыми. Они жили в ней, исходя из ее сущности. Нельзя сказать, как говорят обычно: «она владеет ими мастерски», — они ее дыхание, которое прерывается с самой жизнью. Дыхание то трудное, то ускоренное, то головокружительное на высотах, задыхающееся в беге, или тихое и ровное дыхание человека в часы раздумий. Марина Ивановна говорит: «Словотворчество — это хождение по следу слуха народного и природного. Хождение по слуху».

Эти ее слова объясняют ее творчество. По ее собственному определению, стихия играет в нем главную роль. «Наитие стихий — это творчество поэта. Наитие все равно на кого, сегодня на Пушкина, завтра на нее, Марину Цветаеву».<sup>[33]</sup>

Гений, по ее определению, — высшая степень подверженности наитию, это первое. Управление этим наитием — второе. Высшая степень душевной разъятости и высшей собранности Уйдя от стихии, поэт уходит от истоков творчества, он иссякает и гибнет.

Ее творчество — действительно, как она говорит, «наитие стихии», под напором которой она творит, выражая волю не свою, а волю стихии собственными ей ритмами. «Состояние творчества есть состояние наваждения». «Что-то, кто-то в тебя вселяется, твоя рука исполнитель — не тебя, а того, что через тебя хочет быть» — вот формула творчества Марины Цветаевой.

В жизни Марина Ивановна отчетливая, твердая, с ясным умом, с четкими, часто сухими формулировками. На одержимую в жизни она не похожа, но ею она бывает, когда отдает себя во власть стихии творчества, правда, никогда не теряя управления над нею.

И еще она бывает одержима в своем творчестве жизни. Жизнь несовершенна, отсюда ее неприятие Мариной. Оно приводит ее к собственному «мифотворчеству». Она видит людей такими, какими ей хочется их видеть. Иногда действительно на время она превращает их в тех, какие представляются ее воображению. Но какая горечь остается, когда созданный мираж исчезает.

Марина часто строит односторонний роман, создает из встреченного ею человека — свой образ: рыцаря, или героя, или даже еще не раскрывшегося, не нашедшего себя поэта — и обращается к нему как к найденному избраннику, не замечая, что он и не разделяет, и не понимает даже ее чувств.

В реальной жизни она встречает своих героев только заочно: Райнер Мария Рильке, или почти заочно: Пастернак — они ей по плечу, как она любит говорить. И вот ее пристрастие к Казанове — он меняет, он ищет в вечной тоске от ненахождения.

Вспоминаю один случай из жизни в Париже. Марина Ивановна приехала к нам на дачу. Было много гостей. Был, что называлось тогда, — «Монпарнас». Друзья приводили друзей, иногда даже не знакомых хозяевам, был большой сад, большой стол, Марина лукаво меня подталкивала: да это же гости из «Молодца» — «не знамы, не ведомы». Марина Ивановна села рядом с одной финкой, работавшей по хозяйству в одной знакомой семье. Финка приехала случайно. По виду гувернантка, сухая, очень молчаливая, совсем необразованная, но воспитанная. Марина начала ей рассказывать о своих последних стихах, об искусстве, может быть о трагедии или вечности. Я видела непонимающие глаза финки и ее усилие не показать абсолютного непонимания, она только растерянно кивала головой, пила чай,



капельки пота выступили у нее на лбу. Марина долго говорила с нею. И, встав, обратилась ко мне: «Как эта женщина умеет слушать. Кто она?» Так она и не узнала, кто была эта финка.

Из наших бесед на Смихове я помню наши споры об искусстве и художественном творчестве. Тут у нее бывали противоречия.

С одной стороны, она видит в искусстве добро: «Земля рождающая безответственна, а человек творящий ответствен. У земли произрастающей одна воля к произращению, у человека же должна быть воля к произращению доброго. Он знает, что такое добро. Произведение искусства — произведение природы, но долженствующее быть просвещенным светом разума и совести». С другой стороны, Марина признает, что художественное творчество в иных случаях — некая атрофия совести. Тот нравственный изъян, без которого ему, искусству, не быть. «Чтобы быть нравственным (не вводить в соблазн малых сих), искусству пришлось бы отказаться от доброй половины всего себя. Единственный способ искусству быть заведомо нравственным — не быть».<sup>[34]</sup>

Марина отрицает в искусстве «аполлоническое начало», как и «золотое чувство меры». «А французская литература, которую вы любите, — сказала я, — с ее точной мерой?»

— Оставьте, Расин и тем более Корнель, какая же мера? С их преувеличением чувств? Всепоглощающим Молохом — долгом, ломающим жизни, как некий ледяной идол с огненным нутром, поглощающий жертвы. Это ли мера.

Ее противоречия в оценке искусства вытекают из ее отношения к злу, она явно к нему влечется. Зла в ней нет. Она способна злиться — и еще как! — способна быть несправедливой, но зла как такового в ее природе нет. Но оно прельщает ее. Она часто говорит о своем детстве. Ей читали басни, которые она толковала по-своему. Она соглашалась с матерью, что ягненок кроткий, невинный страдалец. «Но и волк хороший», — прибавляет она к негодованию матери. Волк ей нравится потому, что он страшен и ест глупого ягненка.

Зла в ней не было, но ей было необходимо его присутствие. Марина любила, и как-то смаковала даже, — с азартом и вызовом рассказывать мне сказки, собранные Афанасьевым, — страшные, потусторонние, бездушной жестокости. Мать ненавидит свою дочь и вредит ей. Приходит с того света разрушить покой и жизнь дочери.

Таковы упыри, обреченные на преступление. Зло обольщает, зло дает равновесие.

В поэзии Марины Цветаевой много циклов, много стихий ее вдохновения. О русской стихии она писала: «Все мои вещи (произведения) стихийны, то есть грешны. Когда я пишу своего „Мóлодца“, любовь упыря к девушке и девушки к упырю, я никакому Богу не служу Я повинуюсь неизбежной необходимости. Кто меня звал? Я должна назвать, то есть создать того, кто меня звал. Как будто бы мои вещи выбирают меня сами, и я часто их писала против воли России хотелось сказаться какими то вещами, выбрали меня. И убедили, обольстили — чем? Моей собственной силой: только ты! Да, только я. И поддавшись — когда зряче, когда слепо — повиновалась, выискивая ухом какой-то заданный слуховой урок. И не я из ста слов выбирала сто первое, а она (вещь) на все сто эпитетов упирившаяся: меня не так зовут».

Марина любила иногда слушать свои стихи «Переулочки» в чтении моей дочери и говорила: «Эта поэма написана мною как во сне. Ни одного слова из нее я не вычеркну — это именно те слова, но ни одного я не вспоминаю, как оно написано».

Марину захватывала волна то одной, то другой стихии.

Стихия Греции: ее эпос, трагедия — Рок. Мариной она выражена в Федре, Тезее, Сафо.

Греческий Рок — с ним не поспоришь. Марину, своевольную и непокорную, тема рока притягивала своей непреклонностью. Она бросает вызов року, противопоставляя его извечной ледяной силе — силу и страсть огня и воли смертного. Это столкновение присутствует в некоторых ее поэмах. И везде трагедия несовместимости бренного и вечного, непреложности и своей воли.

Марина не выносила атмосферы благополучия, ее стихией была трагедия — героизма, жертвенности, бедности и гордыни, непревзойденной Мариной гордыни: Я есмь — и я иду наперекор.

## Ариадна Чернова-Сосинская <sup>[35]</sup> В ОДНОМ ДОМЕ «НА СМИХОВЕ»

Какой причудливой закономерности мы подчиняемся, называя имена любимых поэтов Александр Блок, Борис Пастернак, но просто Тютчев. Мандельштам, Заболоцкий. А Лермонтов? Нужно усилие, чтобы назвать в памяти, казалось бы, с детства затверженное имя Михаил Просто Пушкин или уже Александр Сергеевич. И непременно Аполлон Григорьев — поэт Григорьев, да есть ли такой в русской литературе?

И так уж повелось Марина Цветаева, или часто просто Марина, без фамилии Цветаева любила свое имя, редкое в ее поколении. Ее всегда занимало значение имен, и ее имя напоминало не святцы, а гордую полячку (Марину Мнишек). Но Марину Ивановну всегда коробило, когда далекие ей люди называли ее фамильярно Мариной, будто не было у нее отчества Мариной. Была она для мужа, дочери, для очень близких друзей, большей частью тех, кто знал ее в Москве в годы ее юности.

Фотографии не только плохо передают облик Марины Ивановны, но даже очень меняют его. Виден лишь линейный рисунок ее черт, тонкий с горбинкой нос на широкой светлой плоскости лица, сжатый рот, темные глаза, но совершенно теряется особая лепка ее лица, создававшаяся необычной его окраской. Оно было смуглым, зеленоватые глаза казались светлыми в окружавшем их золотисто-коричневом кольце, губы были темными, почти коричневыми от долгого куренья. Пушистые, стриженные волосы с челкой над самыми глазами, золотые в молодости, с годами темнели и мешались с сединой. Марина Ивановна начала сесть очень рано.

Во всей ее фигуре, тонкой, но не гибкой, — Марина Ивановна держалась необычайно прямо, и талия ее почти всегда была стянута кожаным поясом — выражалась предельная напряженность всех мускулов, всех жил, всей воли. Любимая ее поза: нога на ногу, сильный наклон вперед, острый локоть упирается в колено, в руках потухшая папироса. Она была очень близорука, но очков не носила, предпочитая

свой собственный мир лица людей в украшающей их дымке, огромное солнце, расплывчатые дали — отчетливому миру беспощадной оптики. Когда ей хотелось что-либо рассмотреть, она подносила к глазам лорнет, и даже этот жест, связанный в нашем представлении со старомодной небрежностью, еще больше подчеркивал предельную интенсивность всего ее существа.

Марина Ивановна редко смотрела в глаза собеседника. В ее привычке избегать чужого взгляда не было ни обычной застенчивости, ни отступления перед чужой волей, как это бывает у людей с повышенной нервной чувствительностью. Это было скорее чувство отщепенства, непринадлежности к человеческому роду — к горластой плоти, чувство неприспособленности к миру мер и чисел — частая тема ее стихов.

С Мариной Ивановной я познакомилась в Праге осенью 1923 года. Мы прожили в одном и том же доме всю зиму и весну «на Смихове», а лето провели в деревне Иловище тоже рядом. Это время она потом — через год — в одном из писем к нам вспоминала «как свою последнюю молодость, последнюю себя!». Она была еще в Праге, мы — в Париже. Вот это место в письме: «Париж! — как далеко! Другая жизнь. (Нашу вы знаете.) И сейчас не мыслю себя в ней. А прелестная была та весна на Смихове! Наша гора, прогулки под луной. Пасха — помните мою злость?! Эту гору и весну я чувствую как свою последнюю молодость, последнюю себя: „Denn dart bin ich gebogen, wo ich gelogen bin“ (ибо где я согнут — я солган). И — точно десять лет тому назад. Невозвратно».

С июня 1924 по конец 1925-го мы очень интенсивно переписывались, и все эти письма сохранились, во всяком случае письма Цветаевой. В Париже Марина Ивановна с дочерью и сыном первое время жила с нами, в нашей квартире, на Rue Rouvet.<sup>[36]</sup> Потом снова возникла переписка, когда она где-нибудь проводила лето у моря, чаще всего в Вандее. Зимой мы виделись иногда чаще, иногда реже до самого ее отъезда в Советский Союз.

**Марк Слоним** [\[37\]](#)

## **О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ**

### **Из воспоминаний**

Летом 1922 года в одном из берлинских кафе на Курфюрстендаме, где собирались русские писатели и издатели, Саша Черный познакомил меня с Мариной Ивановной Цветаевой. Я знал ее стихи, и мне очень понравился ее только что вышедший маленький сборник «Разлука». Мне хотелось поговорить о нем, но, услышав, что я живу в Праге, МИ забросала меня вопросами. Она весной приехала в Германию из Москвы, а муж ее, Сергей Яковлевич Эфрон, офицер белой армии, с которым она не виделась несколько лет, попал после эвакуации деникинцев и врангелевцев в Чехословакию, поступил там в Карлов университет, и они собирались поселиться в Праге.

Она говорила негромко, быстро, но отчетливо, опутив большие серо-зеленые глаза и не глядя на собеседника. Порою она вскидывала голову, и при этом разлетались ее легкие золотистые волосы, остриженные в скобку, с челкой на лбу. При каждом движении звенели серебряные запястья ее сильных рук, несколько толстые пальцы в кольцах — тоже серебряных — сжимали длинный деревянный мундштук: она непрерывно курила. Крупная голова на высокой шее, широкие плечи, какая-то подобранность тонкого, стройного тела и вся ее повадка производили впечатление силы и легкости, стремительности и сдержанности. Рукопожатие ее было крепкое, мужское.

В кафе мы просидели долго. МИ рассказывала о своей голодной жизни 1918–1920 годов на московском чердаке с двумя дочерьми: одна умерла, вероятно от недоедания, другую — Ариадну (все ее называли Аля) она вывезла за границу. Тогда же я услышал от нее о том, как однажды к ней забрался какой-то субъект — она потом догадалась, что вор. Сперва, приняв его по близорукости за какого-нибудь малоизвестного поэта — их много ходило к ней, — она гостеприимно предложила ему морковного чая. От скудного этого угощения он в недоумении отказался, огляделся и, оценив убогую обстановку,

ретиrowался, оставив на столе несколько рублей'. Вспоминая в юмористических тонах и об этом происшествии, и о том, как, благодаря марксистскому критику Петру Когану, она в 1921 году наконец получила писательский паек, МИ улыбалась, и усмешка приподымала кверху уголки ее большого, резко очерченного рта.

Я был в то время литературным редактором пражской «Воли России»: сперва ежедневная газета, она стала затем еженедельником, и мы собирались в ближайшем будущем превратить ее в ежемесячный журнал. Я предложил Цветаевой дать нам стихи и по приезде в Прагу зайти в редакцию в центре города, на Угольном рынке. Ей очень понравилось чешское звучание нашего адреса — Ухельни Трх, — и впоследствии она часто спрашивала меня с лукавым смешком: «Ну, как у вас там — угольный торг или политическое торжище?» Услышав, что редакция находится в пассаже XVIII века с ходами, сводами и переходами и занимает помещение, где в 1787 году Моцарт, по преданию, писал своего «Дон Жуана», в комнате с балконом на внутренний двор, МИ совершенно серьезно сказала: «Тогда я обещаю у вас сотрудничать». Я предупредил ее о политическом направлении журнала — мы были органом социалистов-революционеров. Она ответила скороговоркой: «Политикой не интересуюсь, не разбираюсь в ней, и уж, конечно, Моцарт перевешивает». Я до сих пор убежден, что именно Моцарт повлиял на ее решение.

---

После своего переезда в Прагу осенью 1922 года Цветаева с мужем и дочерью сперва поселилась в деревне, кажется в Мокропсах, а потом в городском предместье, на холмистом Смихове. В редакции она объявилась в ноябре, принесла «Широкое ложе для всех моих рек» — первое ее стихотворение, напечатанное в «Воле России», и познакомилась с моими товарищами по редакции — Владимиром Ивановичем Лебедевым, Евсеем Александровичем Сталинским и Василием Васильевичем Сухомлиным. Первые два умерли в пятидесятых годах в Нью-Йорке, а третий, возвратившийся в Советский Союз, — десятью годами позже — в Москве.

После кратких деловых разговоров мы с МИ пошли в кафе «Славия» против Городского Театра, у моста через Влтаву, и там просидели добрых часа два, беседуя на разные темы. В то время я подготовлял предисловие к первому тому воспоминаний Казановы для берлинского издательства «Нева» (он появился в 1923 году, а второй том так и не вышел, «Нева» должна была закрыться из-за отсутствия средств, как и большинство русских литературных предприятий тех лет). МИ успела в 1922–1923 годах напечатать в Берлине, помимо «Разлуки», еще и «Психею», «Стихи к Блоку», сборник «Ремесло» и второе издание поэмы-сказки «Царь-Девница» — первое было выпущено в Москве.

К моему удивлению, МИ не только отлично знала Казанову и была очарована этим неукротимым любовником и авантюристом, но и написала о нем несколько пьес в стихах. Мы тотчас же условились, что она даст для «Воли России» «Приключение» — драму в пяти картинах, основанную на материале четвертого тома «Истории моей жизни» Джакомо Казановы, кавалера де Сейнгаля. Кроме того, она обещала дополнить и несколько переделать для нас «Конец Казановы», выпущенный с искажениями в Москве, и дать ему новое название — «Феникс». У нас тотчас же загорелся спор насчет эпитафии к «Приключению». МИ перевела его — «Вы позабудете и Генриетту», а я — «Ты забудешь также и Генриетту». Возлюбленная Казаковы Генриетта вырезала алмазом эту надпись на оконном стекле гостиничной комнаты, где они любили друг друга, — он нашел ее через пятнадцать лет на том же стекле и заплакал, потому что предсказание сбылось. Я был поражен, с какой страстью МИ отстаивала свою версию и приводила самые неожиданные аргументы. «Но ведь это мелочь», — попытался я остановить ее. «Мелочь? — спросила она с каким-то зловещим присвистом, точно я был повинен в богохульстве. — Выбор слов — самое важное». Сколько раз после этого я наблюдал, как спокойствие и терпимость МИ исчезали, лишь только речь заходила о точности отдельных слов, о законности малоупотребляемых оборотов или ритмических ходов, и она становилась воительницей, готовой уничтожить противника. Для нее первый стих Евангелия от Иоанна был священным: «В начале бе Слово, и Слово бе от Бога, и Бог бе Слово». Помню целую битву в 1929 году в Медоне, где МИ читала мне «Поэму Воздуха» — одно из

ее самых лингвистически изощренных произведений, с многочисленными словообразованиями, по преимуществу отглагольными прилагательными. Там есть такие строки:

О, как воздух ливок,  
Ливок! Ливче гончей  
Сквозь овсы, а скользок!  
Волоски — а веек!

Я прекрасно понимал, из какого корня МИ вела свои «ливок» (лить-ливень) или «веек» (веять), но не удержался и заметил, что для петербуржцев это слово прозвучит двусмысленно — ведь они могут принять его за родительный падеж от «вейка» — как называли извозчиков финнов и эстонцев, промышлявших в столице во время масленицы. А так как с упразднением «ять» исчезло различие между «вейка» (через «е») и «веять» (прежде — через «ять»), то я строку «волоски—а веек» принял холодно. МИ справедливо возразила, что нельзя менять из-за наличия второстепенных местных речений, и тут же воспользовалась случаем, чтобы произвести очередное нападение на новое правописание. Она его сперва люто ненавидела, потом презрительно не любила и только к 1925 году с неохотой с ним примирилась. Но, например, нового, как она выражалась, календаря она никак не могла принять.

Те, кто упрекал Цветаеву в поэтическом буйстве и словесном неистовстве, вероятно, не подозревали, как много она работала над своими стихами, как тщательно выбирала — и по многу раз переделывала — и целые строфы, и отдельные выражения. Она не раз повторяла, что любит «вгрызаться в слово, вылущить его ядро, доискиваться до корня», и она придавала огромное значение ремеслу, недаром «ремеслом» назвала один из своих сборников. Все у нее было вымерено и проверено — не исключая и прозы. У меня сохранилась толстая тетрадь с черновиками ее сравнения Пастернака с Маяковским, в ней огромное количество поправок и вариантов первоначального текста и «попытка чистовика», как она пишет. Очень любопытна также ее работа над французским «Письмом к Амазонке» в той же тетради. Вообще в творчестве ее поражает именно это



соединение внутреннего кипения и вихревой конструкции стиха с мастерством и контролем формы, бури с тщательностью отделки. Когда было напечатано упомянутое мною стихотворение «Широкое ложе для всех моих рек», я заметил, что на самом деле русло ее стихов глубоко, но проходит в узких скалах, и она немедленно процитировала Теофила Готье:

...pour marcher droit tu chausses,  
Muse, un cothurne étroit.

---

«Для прямого шага,  
Муза, ты носишь узкий башмачок».

В течение трех лет — с 1922 по конец 1925 года — мы часто встречались с МИ, часами разговаривали, гуляли и быстро сблизились. Общность литературная скоро перешла в личную дружбу. Она продолжалась семнадцать лет и была неровной и сложной: размолвки и примирения, взлеты и снижения. В одном я оставался неизменным: я считал ее большим и исключительным поэтом, наравне с Пастернаком, Маяковским, Мандельштамом и Ахматовой, и еще в 1925 году писал, что в эмиграции ей соразмерен только Ходасевич. Этого мнения я держусь и по сей день.

Многое в характере и некоторые особенности МИ как человека постепенно стали мне ясны из ее отрывочных рассказов о собственном детстве. Она мало говорила об отце, Иване Владимировиче, но уважала и ценила его: сын бедного священника деревни Дроздово, возле Шуи Владимирской губернии, он трудом и настойчивостью достиг «цепеней высоких». Профессор Московского университета, филолог и историк искусства, он был директором Румянцевского музея и создателем художественного музея императора Александра III (ныне Пушкинского). МИ говорила, что унаследовала от него упорство и самозабвенную преданность любимой работе. Он был так поглощен своей деятельностью, что у него едва хватало времени на детей — двух от первой жены — дочери известного историка Д. Иловайского, умершей в 1890 г., — и двух от второго брака — Марину (родилась в 1892 г.) и Анастасию (родилась в 1894 г.).

Во всяком случае, когда я спрашивал о влиянии на нее отца, МИ тотчас же переводила разговор на воспоминания о матери, Марии Александровне Мейн. Полуполька из богатой семьи обрусевших балтийских немцев, культурная и образованная, она была талантливой пианисткой, ученицей Антона Рубинштейна. Замуж она вышла не по своей воле, а по настоянию отца и родни. МИ, бывало, говорила про себя, что по матери и отцу в ней слились три крови, и от них — любовь к Москве, польский гонор и привязанность к Германии. В беседах на эту тему она признавала, что природу, музыку и стихи ей открыла мать. Впрочем, Мария Александровна относилась к дочери с холодком, на ее обожание отвечала сдержанно и все старалась обуздать воображение Марины и ввести в границы ее бурный темперамент. МИ со смехом рассказывала о неудаче материнских попыток приохотить девочку к систематическим занятиям музыкой или внедрить в нее такие добродетели, как почтительность к старшим и дипломатическую вежливость. (Марину-подростка исключили из гимназии фон Дервиз за дерзость, и кончать курс учения ей пришлось у Алферовой, в 18 лет.) Но, едва научившись грамоте и нотам, она шести-семи лет читала Пушкина и слушала сонаты Бетховена. Для нее рано начался период полудетских увлечений — Сара Бернар, Наполеон, Ростан, последний пленил ее своею пьесой «Орленок» — о несчастном сыне императора, герцоге Рейхштадтском, и в молодости МИ принялась переводить ее на русский язык. Из-за Ростана мы с ней повздорили: я говорил о Ростане скептически и любовь к нему считал чуть ли не проявлением дурного вкуса, а МИ восхваляла его романтически и упрекала меня в литературном снобизме.

Благодаря матери МИ великолепно знала французский и немецкий, им ее обучали в детстве гувернантки, затем она провела почти два года (1903–1905) в пансионатах Лозанны и Шварцвальда, а 16 лет вместе с младшей сестрой слушала лекции в парижской Сорбонне. Следы материнского строгого, слегка чопорного воспитания остались в МИ на всю жизнь, в ее манерах в обществе сказывалась барышня, выросшая в барской обстановке, но я думаю, что ей недоставало материнской нежности и любви, и этим объясняется, что она всегда искала женской дружбы и, например, в своей более пожилой чешской приятельнице, Анне Тесковой, явно ценила именно

материнскую теплоту и заботу. Эта дружба была для нее заменой и компенсацией.

Мать умерла в 1906 году от чахотки, и с этого момента четырнадцатилетняя Марина росла как дичок и в общем делала все, что хотела. В восемнадцать лет она выпустила — втайне от отца и родных — свой первый сборник «Вечерний альбом», за ним через год последовал «Волшебный фонарь». В 1912 году она вышла замуж за Сергея Эфрона: ей было 20 лет, ему 19 лет. Я отчетливо помню, как МИ говорила мне: «1913-й был знаменательным годом: родилась Аля, умер отец и вышел мой сборник „Из двух книг“». Обложку для него сделала Ася Тургенева, жена Андрея Белого». В эти годы МИ дружила с Максимилианом Волошиным, Кузминым и другими поэтами и вошла в литературные и театральные круги Москвы. Несмотря на близость к выдающимся символистам и обожание Блока, она к ним не примкнула. Точно так же ее не пленили и акмеисты, хотя она очень любила Ахматову и часто встречалась и была в приятельских отношениях с Мандельштамом. Судя по ее рассказам, он был к ней равнодушен (см. «Историю одного посвящения», опубликованную мною в «Oxford Slavonic Papers», XI, 1964). Футуристы ее интересовали — особенно Маяковский и Хлебников, — но она им была чужда. После отъезда ее мужа на Дон в 1918 году она жила в Москве одна, в тяжелых условиях: они усугублялись тем, что она открыто восхваляла белое движение.

---

В конце 1922 года и особенно в 1923 году мы с МИ говорили, что наша дружба — на ходу. Мы разговаривали, блуждая по улицам и садам, и неизменно заканчивали наши прогулки в кафе. МИ как-то сказала Анне Тесковой, что благодаря мне познакомилась с десятками пражских кафе. Но она познакомилась также и с Прагой. Я очень любил — и люблю — этот замечательный, несколько трагический город и водил МИ по переулкам вокруг Клементинума, ставшего университетом, по Малой Стране, с ее дворцами и легендами, по узкой Златой улочке, с маленькими домиками, где, по преданию, в XVI и XVII столетиях жили алхимики и звездочеты, мимо великолепных дворцов Лобковица и Валленштейна, в которых высокий Ренессанс

переходит в барокко. МИ особенно привлекали еврейское кладбище с его надгробными камнями, точно раскиданными в буйной траве, и Чертовка под Карловым мостом. Там у одного из каменных быков моста на узком цоколе — статуя рыцаря с поднятым мечом. У него строгое лицо, стройное тело, из-под шлема выбиваются светлые кудри, весной и шлем и меч скрыты в листве разлапистых деревьев, птицы вьют гнезда в сгибе рыцарского локтя. Неизвестно, кто этот хранитель вод — Роланд или легендарный чешский герой Брунsvик. МИ была в восторге от рыцаря, от тишины, от запущенной Чертовки и через два дня после нашей прогулки прислала мне своего «Пражского рыцаря», вошедшего во все сборники ее стихов:

Бледно — лицый  
Страж над плеском века —  
Рыцарь, рыцарь.  
Стерегающий реку

Она всех спрашивала о рыцаре и мечтала написать о нем повесть — на фоне Праги XVIII века. Мне казалось, что она увидела в нем сходство с мужем — такое же узкое-древнее лицо и та же поза воина, обнажившего меч за правое дело. Все это соответствовало тогдашнему настроению МИ — в ее «творимой легенде» белого движения.

МИ всегда очень любила прогулки — у нее был легкий и твердый шаг, она могла ходить без усталости, недаром впоследствии написала «Оду пешему ходу» (отвергнутую в 1931 году «Современными записками»). Единственное, что нарушало ее удовольствие от наших «брождений», как она говорила, соединяя «бродить» и «хождение», — был переход улиц. Она смертельно боялась автомобилей и, ступив с тротуара на мостовую, судорожно вцеплялась в мой рукав и шептала, тщетно стараясь обратить страх в шутку: «Миленький, пожалуйста, остановитесь, вот он, негодяй, едет прямо на нас, сейчас раздавит», и не успокаивалась, пока не оказывалась на другой, безопасной стороне.

После переезда из Чехии во Францию МИ открыла, что крепко любит Прагу, и даже создала об этом нечто вроде мифа. В него входили самые различные моменты. Ее привлекали самый дух столицы, ее романтическое прошлое и чувство кровного родства с

городом, где прошли самые яркие годы ее эмигрантской жизни, полные горестей и радостей, поэтического расцвета и творческих надежд. Здесь были написаны лучшие ее произведения — «Поэма Горы», «Поэма Конца», «Крысолов», «Деревья», «Поэма Комнаты», «Лестница», «Полотерская» и ряд прекрасных лирических стихов. Впоследствии, живя в парижских предместьях, она с умилением вспоминала свои более чем скромные жилища в чешских деревнях или на холме Смихова и рвалась в Прагу, как в некую обетованную землю. Во время своего 13-летнего пребывания во Франции она постоянно писала и говорила о поездке в Прагу — хоть на две недели, и эта трогательная мечта превратилась у нее в навязчивую идею. При каждой встрече со мной в Париже в конце двадцатых и начале тридцатых годов она спрашивала совета, как устроить ее вечер в Праге и этим заработать деньги на поездку. Всякий раз, как я попадал в Чехию, я разговаривал с верным другом МИ, Анной Тесковой, которой она неоднократно писала об этом, но мы оба ясно понимали всю трудность, вернее невозможность, подобного предприятия. У меня создалось впечатление, что умная и рассудительная Тескова, зная способность МИ творить мифы и самой в них верить, боялась, что поездка в Прагу принесет МИ не радость, а разочарование.

В привязанности МИ к Чехии, помимо чисто личных переживаний души и сердца и — как она бы сама добавила — духа, значительную роль сыграла и «Воля России». Она нашла в этом журнале не только материальную, но и литературную поддержку. В отличие от «Современных записок» и «Последних новостей», где ее не понимали и стихов ее не любили и где ее произведения безжалостно сокращали, «редактировали» и подвергали нелепой цензуре, я помещал и поэзию и прозу МИ, не меняя в них ни строчки и заботясь лишь о том, чтобы наборщик не превратил «сирость» в «сырость». МИ благодарить не любила и не умела: когда редакция «Воли России» в 1925 году преподнесла ей коляску для новорожденного сына, она попросила Тескову отвести меня в сторонку и выразить восхищение подарком: «Я не умею благодарить в упор», — пишет МИ. Но даже и она открыто признавала, что была многим обязана «Воле России». До сих пор полный текст «Крысолова», самой длинной и значительной поэмы ее эмигрантского периода, напечатан только в «Воле России» 1925–1926 гг. (В московском «Избранные произведения» 1965 г.

«Крысолов» помещен с сокращениями.) В журнале также появились циклы стихов и поэмы — «Деревья», «Сивилла», «Красный бычок», «Поэма Воздуха», «Поэма Лестницы», «Попытка комнаты», «Маяковскому» (вызвавшее резкую полемику), «Сибирь», ряд лирических стихотворений — и проза — «Земные приметы», «Герой труда» (о Брюсове), «Октябрь в вагоне», «Твоя смерть» (о Рильке), «О Гончаровой», «Письма Рильке», «Поэт и время» и две уже упомянутые драмы «Приключение» и «Феникс» (конец Казановы).

МИ не знала, что мне было отнюдь не легко ввести ее в «Волю России» и утвердить ее в качестве постоянного сотрудника журнала. Как редактор литературного отдела я обладал свободой выбора материала, но на меня неоднократно вели атаку те, кого мы называли нашим окружением. У многих друзей — партийных и беспартийных — и даже сотрудников «Воли России» необычность стихов МИ вызвала недоумение и недовольство. Особенно мне доставалось от старого известного народника Егора Егоровича Лазарева. Он был — хотя лишь формально — издателем журнала и обычно не вмешивался в редакционную политику, но не скрывал своих мнений и чувств, если печатаемое нами задевало его за живое. Он родился еще при крепостном праве, учился на медные гроши, стал весьма образованным человеком, но, будучи воспитан семидесятниками, в литературе ценил только классиков, реализм и идейность. Прочитав цветаевские стихи, особенно «Земные приметы» и «Полотерскую», он приходил в редакцию, садился против меня, разводил руками, потряхивал бородкой и старческим голосом бубнил в нос: «Читаю, ничего не понимаю, Цветаева, а никаких цветов не вижу».

Однажды он вывел меня из равновесия своими причитаниями и насмешками, и я, позабыв о своей молодости и его сединах, запальчиво воскликнул: «Да вы ведь не умеете читать эти стихи!» Добрый Егор Егорыч сперва опешил, а потом промолвил с улыбочкой: «А вот до сих пор считался грамотным». Я объяснил, что Цветаеву надо читать вслух, медленно, отдельно, выделяя, подчеркивая, сглаживая звуки и рифмы — согласно ритму каждого произведения, — и тогда легче ощутить ее поэзию. Послушать мою демонстрацию такого чтения собрались все, кто находился в редакции, а когда я окончил, Егор Егорович вздохнул: «Да, так, пожалуй, яснее, ну да все равно, вам, молодежи, лишь бы были новшества, да я не судья».

Другие трудности были политические. МИ считалась «поэтом белой мечты», и бывшие офицеры Деникина и Врангеля повторяли ударные строки ее популярной «Новогодней» (1922), предлагавшей тост

За почетную рвань,  
За Тамань, за Кубань,  
За наш Дон русский —  
Старых вер Иордань  
Грянь  
Кружка о кружку.

Других ее вещей они не знали, но полагали, что ей не следует печататься в эсеровском журнале А эсеры удивлялись, почему «Воля России» помещает ее из номера в номер, и намекали мне, что ей, пожалуй, не место на страницах нашего органа «политики и культуры». Тут я приходил в ярость, называл их узколобыми сектантами, начетчиками, зараженными большевистской догмой. К счастью, меня поддержали мои товарищи по редакции, особенно В. И. Лебедев и Е. А. Сталинский, они сочувствовали моей ставке на молодых писателей и на новые течения в искусстве. Мы охотно помещали произведения Зайцева, Муратова, Осоргина, критические очерки Ходасевича и Шкловского, путевые заметки Андрея Белого, но меня особенно интересовала литературная молодежь. Мы «открыли» Поплавского и Газданова, отводили много места другим парижанам — поэтам и прозаикам — и привлекли к сотрудничеству в журнале таких еще не оперившихся пражан, как А. Эйсер, В. Лебедев, Н. Еленев, В. Федоров, Н. Андреев, Х. Кроткова, С. Рафальский, Г. Хохлов, и многих других, независимо от их политических симпатий. Все они приходили на литературные чаи, устраиваемые в редакции, — и когда на них появилась МИ, она сразу ощутила атмосферу приязни и даже любви. А она в них очень нуждалась: академические круги и писательская среда, за исключением разве семьи Чириковых, относилась к ней с осторожностью, порою даже с некоторой враждебностью и никак не считала ее большим поэтом.

МИ в 1923–1925 годах часто заходила в редакцию и познакомилась там с Лазаревым. Она ему понравилась, и он сказал ей в своей обычной манере, полушутя, полусерьезно:

«Недаром о белых сочиняете, небось генеральская дочь». — «Да, — ответила Марина, — но генерал до 12 лет без сапог ходил, как и вы в детстве, Егор Егорович». В дальнейшем разговоре кто-то упомянул об одной пражской эмигрантке, сорившей деньгами, чудившей, не знавшей, что с собой делать. Мы молчали. «Люблю богатых, — вдруг сказала МИ, беря новую папиросу, — мне их жалко». А через несколько дней прислала мне свою пародийно-саркастическую «Хвалу богатым». Помню, как в другой раз она объявила тому же Егору Егоровичу, что не любит «белоскатертных». В Париже она говорила, что нигде не чувствует себя так плохо и неудобно, как на дамских чаях, приемах и званых обедах. Но там, вероятно, ее смущало сознание своей бедности, далеко не модной одежды и полного несоответствия между скудностью, почти нищетой, в которой она жила, и обстановкой русской буржуазной эмиграции.

То, что МИ предоставили страницы самого большого русского журнала в Праге, это было для нее очень важно, но, пожалуй, еще ценнее была возможность говорить полным голосом. Впоследствии она вспоминала об этом всякий раз, как ей приходилось испытывать обиду из-за всяческих ограничений, так отравлявших ее сотрудничество в самых влиятельных органах парижской эмиграции. В «Современных записках» и «Последних новостях», говорила она, меня «терпят», но не любят и как поэта не любят. В «Воле России» ее поэзией дорожили, и я высоко ставил ее еще до нашего личного знакомства. Еще в 1922 году я указывал на значение «Разлуки» как нового этапа в ее творчестве, отмечал ее «героический идеализм, сознание своей предназначенности и чувства рока» и называл ее «одной из лучших русских поэтесс». Двумя годами позже я поставил ее имя рядом с именем Ахматовой.

Добавлю, что во время «пражского периода», да и потом, вплоть до 1932 года, гонорар из «Воли России» был основным писательским заработком МИ. И хотя она о деньгах не думала и считать их не умела, она знала, что «Воля России» — в пределах своих ограниченных возможностей — никогда не откажет ей в помощи. Во всех особо трудных моментах ее существования она обращалась ко мне — будь то



аванс или хлопоты для продления ее писательской стипендии, посылавшейся из Чехии в Париж.

Хорошее и дурное, пережитое в Праге, слилось впоследствии для МИ в некий символ интенсивного существования. Большую роль сыграло в этом ее увлечение Константином Родзевичем. Я видел его раза два, он мне показался себе на уме, хитроватым, не без юмора, довольно тусклым, среднего калибра. Некоторые из его товарищей-студентов, как, например, Н. Еленев, упрекали его в лживости и расчетливости и отзывались о нем резко отрицательно. Из отдельных замечаний МИ — она о нем говорить не любила — у меня составилось впечатление, что он был ошеломлен и испуган нахлынувшей на него волной Марининой безудержности и бежал от грозы и грома в тихую пристань буржуазного быта и приличного брака Марина, конечно, была ему не по росту, особенно когда началось ее мифотворчество. Ее попытка вознести их любовь на гору сорвалась, она за это жестоко поплатилась и поведала об этом в «Поэме Горы» и «Поэме Конца», написанных в 1924 году. Вступительная строка первой из них — «Горе началось с горы» — точно передает происшедшее.

Как всегда это бывало у нее, МИ влюбилась не в Родзевича, каким он был, а в него, каким она себе его представляла — в ее собственное отражение и мечту. Это не была простая стендалевская «кристаллизация». В своей способности к восторгу и преувеличениям она создавала воображаемые образы и чувства нереальных размеров и огромной силы. Однажды, не удержавшись, я назвал этот уклон «гигантизмом», и она долго не могла мне простить этого, по ее словам легкомысленного, выражения. А между тем именно из-за этой ее особенности отношения с современниками так часто обертывались для нее неудачей и разочарованием.

Я не знаю, какой была МИ в эпоху «Юношеских стихов» и действительно ли она, по ее собственному признанию, «грешила со страстью Господом данными чувствами — всеми пятью!» Но в годы эмиграции все ее влюбления казались мне поэтической выдумкой, «пленной мысли раздражением».

В 1924 году я жил в небольшой квартире в квартале Дейвиц, рядом с Лебедевым, и МИ часто у меня бывала. Однажды она прочла мне «Поэму Конца» и потом сказала, что если чувство иссякает, рана еще не зажила, еще больно и жжет, но уже кровь свертывается, засыхает — и тогда приходит злость на себя, что опять поверила и обманулась, и желание разрушить тобою же сотворенного кумира и этим наказать себя и его. Я потом понял, что через этот процесс возвеличения, почти обожествления, а затем гневного отрицания, враждебности, насмешки — даже мести — МИ проходила по отношению к самым разным своим знакомым. Исключение составляли два поэта — Рильке и Пастернак. МИ переписывалась с Рильке, он посвятил ей одну из своих «Дуинских элегий», но они никогда друг друга не видели. Она много о нем писала. Стихи Пастернака МИ «открыла» в 1922 году в Берлине и восхитилась, а он в это же время прочел ее «Версты» в Москве и был поражен ее талантом. Так началась их заочная — письменная — дружба. МИ часто говорила, что увлекаешься чужим, а любишь родное, а в Пастернаке — родная душа, он ей «равносителен». Своего сына, родившегося в феврале 1925 года, она хотела назвать Борисом в честь Пастернака, но муж ее переубедил, и его окрестили Георгием. Впоследствии МИ убедилась, что в плане жизненном между нею и автором «Сестра моя — жизнь» ничего произойти не может, но продолжала обожать его издалека. После писательского съезда в июне 1935 года в Париже она в кулуарах виделась и разговаривала с неожиданно приехавшим Пастернаком. Когда я спросил ее об этом свидании, она сказала с горечью, которой я никогда не забуду: «Это была „невстреча“», — и потом вдруг повторила — не закончив — последнюю строфу своих стихов к Блоку:

Но моя река — да с твоей рекой,  
Но моя рука — да с твоей рукой  
Не сойдутся...

Но все ее взлеты и поражения — в дружбе, как и вообще в восхвалении и отвержении, в любви и неприязни — к людям, книгам, городам — вытекали из ее органического романтизма.

---

Разрыв между скучными песнями земли и звуками небес, тоска сосны по воображаемой нездешней пальме — основные черты романтизма как психологической категории, неизменно пребывающей в веках и принимающей разные обличья во времени, согласно велениям определенной эпохи. Одним из таких исторических воплощений был романтизм как литературное движение на Западе конца XVIII и начала XIX столетия. Он достиг расцвета и огромного влияния, создал свой стиль и эстетическую теорию, воплотил в себе мятежную энергию, развязанную французской революцией, ее мечты и тоску, ее победы и падения.

Цветаева романтиком родилась, романтизм ее был природным, и она его громко утверждала: из-за этого многие обвиняли ее чуть ли не в актерстве и выверте — но те, кто хорошо знал ее, отлично видели всю естественность ее порывов, ее бунта и всего, что неправильно именовали ее «неистовством». Она сама себя правильно определила:

Что же мне делать, певцу и первенцу.  
В мире, где наичернейший сер,  
Где вдохновенье хранят, как в термосе,  
С этой безмерностью в мире мер.

*Апрель 1925*

Такой ее создал Бог, и такой она себя видела и принимала. Она отталкивалась от будничной реальности и совершенно искренне признавалась: «Я не люблю жизни как таковой — для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес, только в искусстве. Если бы меня взяли за океан, в рай и запретили писать, я бы отказалась от океана и рая. Мне вещь сама по себе не нужна». И опять-таки многим были не по душе ее постоянное самоутверждение (которое некоторые называли отсутствием скромности), ее гордость и та неудобная прямота, с которой она говорила о своей бедности, унижениях и ежедневных трудностях существования. На самом деле это была непоколебимая уверенность поэта в своей непохожести на других, в

своим даром — от Бога — от рода — от судьбы. Она всегда повторяла, что, если красавица делает вид, будто и не подозревает о своей красоте, она либо глупа, либо фальшивая кокетка. Сознание своей силы — правда, а не порок. Она часто мне говорила, что всегда находит в Пушкине и Гёте сознание их собственной силы — и радость от этого сознания. Она не оригинальничала, она была оригинальна и этим отпугивала глупцов, ханжей и пуританских скромников, иногда скрывавшихся под псевдоклассической маской. В эгоцентризме, типичном для большого поэта, они видели самовлюбленность и агрессивность. Впрочем, сама МИ часто давала повод к такому ложному мнению: иногда она попросту не видела окружающих, и они принимали ее уход в себя за презрение, она могла быть сухой, несправедливой и жестокой как раз с людьми, старавшимися ей помочь. Но не надо забывать каторжных условий ее существования, ее вечной обиды на судьбу: мыть посуду, готовить обед, подметать, чинить белье может каждая, а она еще умела писать стихи, но не могла отдаться им целиком именно из-за обеда, посуды, подметания, из-за всего этого обязательного труда — она себя называла чернорабочей, — и никто ее от него не избавил, и чернила приходилось разбавлять водой, потому что на новую бутылочку не хватало денег, и творить можно было лишь по ночам или рано утром, за кухонным столом вместо письменного. К жизни она была не приспособлена, но бремя свое несла честно, упорно — из сильно развитого чувства долга — по отношению к мужу, детям, семье. Быт и все повинности физического труда ненавидела, мелкие заботы не давали ей возможности отдаться писанию, она теряла время и силы на ненужное, изматывавшее и предвидела, что никогда ей не удастся творить без помех, на свободе.

Однажды в Медоне, в 1929 году, я спросил ее, когда она даст рукопись о Гончаровой для «Воли России». Она пожала плечами и ответила: «Если удастся выкроить время, через две недели». И потом, помолчав, с усмешкой и горечью добавила: «Вот у Бодлера — поэт, это альбатрос — ну, какой же я альбатрос, просто общипанная пичуга, замерзающая от холода, а вернее всего — потусторонний дух, случайно попавший на эту чуждую, страшную землю». Слова эти я тогда же записал и навсегда запомнил. Она сама себя называла «столпником», избравшим малую пядь земли для утверждения своей

правды, или же «крылатой, но безрукой», ибо могла летать, но поденщиной заниматься не умела.

Обычная ноша романтиков — разрыв между действительностью и мечтой, их одышка здесь и полное дыхание только на вершинах, в лазури, — у МИ еще была отягощена грузом постоянной нужды, тяжкого физического труда, оскорблений, унижений и одиночества. Она была трижды изгнанницей, ибо в эмиграции была чужой и как человек — трудный, неспособный к простым человеческим отношениям, и как романтик, тоскующий в земном плену, и как поэт, выполняющий свое послание. Эту свою трагедию Цветаева переживала постоянно, вплоть до последнего часа, когда выходом оказалось самоубийство.

Но помимо романтизма природного МИ принадлежала к романтизму как литературной школе. Ее учителями были главным образом немецкие романтики двадцатых годов прошлого столетия, она читала их в подлиннике, знала великолепно и цитировала наизусть — память у нее была исключительная. Она всегда перемежала разговоры со мной цитатами из своих любимцев — Гофмана, Гёльдерлина, Шамиссо, поэтов эпохи «бури и натиска». Очень любила Гейне и Клейста, а из французов — Готье, некоторые поэмы Гюго, новеллы Мериме и романы Стендаля. Одно время сильно увлекалась «Большим Мольном» Алена Фурнье.

Многих удивляли некоторые ее суждения о писателях и книгах. МИ, например, определенно не любила ни Толстого, ни Достоевского, они ей были чужды. Она со смехом говорила, что на необитаемый остров взяла бы не их романы, а «Соборяне» Лескова и «Семейную хронику» Аксакова. Пушкина она боготворила, а Лермонтов ее чем-то отталкивал, ей не по душе был его демонизм и байронизм. Напрасно в одной из наших долгих литературных бесед я доказывал ей, что Лермонтов не имитировал Байрона, а находил в нем самого себя, что юношеская поза превратилась у него в жизненную правду, восхищался силой и музыкой его стихов и даже сравнивал ее собственные непрерывные переносы (анжанбеман) — строчные, строфические и слоговые — с лермонтовскими, — она уклонялась от прямого ответа. И вдруг начинала удивляться, что у нас в XIX веке не было ни одной женщины-поэта, исключая Каролины Карловны Янш (она именно так ее называла), в тридцать лет вышедшей за Павлова, откуда и пошла ее

русская фамилия. МИ неизменно прибавляла: Каролина родилась в Ярославле, а умерла в родном Дрездене. После нее было какое-то движение в начале нашего столетия — стиль «Либерти», вроде Лохвицкой — и безжалостно цитировала: «Поля, закатом позлащенные, уходят в розовую даль, в мои мечты неизреченные вплелась вечерняя печаль». А потом вдруг — Ахматова. МИ ею восторгалась, посвящала ей стихи. Говорят, что Ахматова к цветаевской поэзии относилась сдержанно — это, впрочем, вполне естественно.

Бунина МИ считала реалистом и рассказчиком, то есть отрицала в нем истинно духовную сущность. Высоко ставила Ремизова, говорила, что его писательство — подвиг солдата на посту и для России он сделал больше, чем все эмигрантские политики, вместе взятые.

Некоторые книги МИ любила, потому что находила в них себя — иногда с радостью, как в хронике Сигрид Унсет «Кристина, дочь Лавранса» — она ее постоянно перечитывала, иногда с горечью, если речь шла, например, о Катерине Мармеладовой, с ее бедностью, горем, оборванными детьми и ненужным французским языком. Как-то я спросил, есть ли у нее мерило для оценки произведений помимо ее любимых романтиков. Она задумалась и потом сказала, что предпочитает высоту — глубине, дух парит ввысь, поэзия — это вознесение.

---

У МИ был ряд чисто внешних признаков романтизма: в молодости она представляла себя Мариной Мнишек, увлекалась фигурами бунтовщиков — Разина и Пугачева, — охотно играла в обольстительницу и писала влюбленному в нее юноше: «Милый сверстник, в вас еще душа жива, я же люблю слова — и перстни». Всю жизнь носила цыганского стиля кольца, браслеты и ожерелья и сожалела, что григорьевская «Цыганская венгерка» так затаскана, прибавляя: «Не его вина». Я думаю, что и ее попытки русского фольклора — полностью соответствовали романтической обращенности к народности.

Патриотизм, а тем более национализм она резко отвергала и не терпела показного «русизма». Она понимала, что писателям-бытовикам надо в России жить, но «лирикам, эпикам и сказочникам, самой природой творчества своего дальнзорким, лучше Россию видеть издалека». Это она написала на хранящемся у меня листе, вырванном из школьной тетрадки: он начинается с любопытного утверждения (она его часто повторяла): «Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, тот потеряет ее лишь вместе с жизнью». Это убеждение было оправданием ее эмигрантства и очень верно передавало ее чувства и мысли. Несмотря на свое европейское образование, неизменные уверения в любви к Германии, родине Бетховена и Гёте, и полное неприятие национальных, расовых и религиозных различий, она во всем — манерах, речи, душевном строе — была очень русской — и москвичкой. Недаром Москве посвятила она столько стихотворений («Москва, какой огромный, странноприимный дом»).

И о цветаевском фольклоре, и о ее чувстве родины (ее замечательное: «Тоска по родине, давно //разоблаченная морока,// мне совершенно все равно, //где совершенно одинокой// быть...») можно много спорить (как и о ее драмах и поэмах на древнегреческие темы), но несомненна их эмоциональная и литературная связь с романтизмом. При этом у нее нет ни религиозного, ни мистического уклона, обычного для многих представителей этого направления, как нет у нее и сатанизма. В «Молодце» любовь девушки к упырю лишена демонического характера. Я указывал на это в 1924 году Е. А. Ляцкому, убеждая его выпустить поэму в руководимом им академическом издательстве «Пламя». Оно, как правило, не печатало стихов, но, по моему настоянию, для «Молодца» было сделано исключение, и он появился в свет в Праге в тот же год.

Любопытно, что в произведениях МИ нет никакой религиозной настроенности. Эта внучка деревенского священника была равнодушна и к церковности, и к обрядам, теологические проблемы и рассуждения о Боге ее не интересовали, а если речь заходила о смерти, смысле жизни, вечности, святости и высшей справедливости, она скучала и переводила разговор на другую тему или цитировала

Монтеня. Она не любила, когда я над ней подтрунивал, намекая, что она втайне согласна со знаменитой строкой «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли».

Ей также не доставало открытого романтиками чувства истории. Удасть, размах привлекали ее, где бы они ни попадались — в прошлом или в настоящем, и она понимала, что от старинного кресла можно прийти и до какой-то внутренней правды, но добавляла: «для души, но не для духа», настаивая на этом существенном отличии. У нее все было в данный, нынешний момент, движения событий она не понимала, от современности была далека, газет не читала, свое творчество определяла как «заговор против века, веса, времени, дробности». Спрашивая себя, чем движется искусство, она повторяла слова своего современника: «силой, страстью, пристрастием». История над этим не имела власти.

Еще одна черта, ее знали все друзья МИ. Она себя называла «защитником потерянных дел» и настаивала, что поэт всегда должен быть с побежденными. Истинного вождя она отождествляла с Дон Кихотом («Конь — хром, Меч — ржав, Плащ — стар, Стан — прям»). Отсюда ее гимны белому движению после его разгрома и большая (очевидно, погибшая) поэма о гибели царской семьи — несмотря на то, что никаких подлинно монархических идей у нее не было, как и вообще не было политических верований.

МИ не была суеверна, но придавала особый смысл знакам, совпадениям, точно они открывали замысел судьбы. Она родилась в полночь с субботы на воскресенье (26/27 сентября 1892 г.) и в этом видела предзнаменование своего пути: от ночи к радости, от земного к духовному. И опять-таки — в этом не было никакого скрытого мистицизма — попросту пища для воображения. Точно так же не доводы социального порядка и не политические теории питали ее ненависть к мещанству и буржуазности, с необычайной силой и страстью проявленную и в «Крысолове», и в десятках стихотворений. Здесь тоже слились начало природное — органическое отталкивание от сытости и самодовольства — и наследие романтизма с его антибуржуазностью, разоблачением посредственности, плоскости, показной добродетели — недаром их высмеивали любимые писатели МИ — от Гофмана и Гейне до Стендаля и Флобера. О русской литературе я и не говорю.



---

МИ была чрезвычайно умна. У нее был острый, сильный и резкий ум — соединявший трезвость, ясность со способностью к отвлеченности и общим идеям, логическую последовательность с неожиданным взрывом интуиции. Эти ее качества с особенной яркостью проявлялись в разговорах с теми, кого она считала достойными внимания. Она была исключительным и в то же время очень трудным, многие говорили — утомительным, собеседником. Она искала и ценила людей, понимавших ее с полуслова, в ней жило некое интеллектуальное нетерпение, точно ей было неохота истолковывать брошенные наугад мысль или образ. Их надо было подхватывать на лету, разговор превращался в словесный теннис, приходилось все время быть начеку и отбивать метафоры, цитаты и афоризмы, догадываться о сути по намекам, отрывкам.

Как и в поэзии, МИ перескакивала от посылки к заключению, опуская промежуточные звенья. Самое главное для нее была молниеносная реплика — своя или чужая, иначе пропадал весь азарт игры, все возбуждение от быстроты и озарений. Я порою чувствовал себя усталым от двух-трех часов такого напряжения и по молодости лет как-то стыдился этого как признака неполноценности и скрывал это. Лишь много лет спустя я услышал от других схожие признания об этих литературных турнирах. Впрочем, иногда МИ просто рассказывала о недавних впечатлениях или о своем прошлом — о последнем — обрывками, и тут проявлялся ее юмор, ее любовь к шутке, к изображению глупости и наивности ее соседей, но смех ее нередко звучал издевкой и сарказмом. Я не ощущал доброты в ее речах.

Почти всегда, расставшись со мной, МИ вдогонку посылала письмо, ей не терпелось договорить, добавить или привести стихотворение, лучше всего выражавшее ее чувства и мнения. Вообще она охотно писала письма — и мне порою казалось, что она забывала о том, кому пишет, — так сильно было ее желание преодолеть молчание и найти «дружеское ухо». Этим объясняется множество ее умственных и эмоциональных излияний, отправленных, вероятно, не по адресу. Она писала четким, почти каллиграфическим почерком, с постскриптумами, добавлениями сверху, снизу, с боков, с

выделенными словами — подчеркнутыми и в разрядку, чтобы сохранить интонацию. В корреспонденции своей — главной ее отдушине в годы одиночества — она тоже соблюдала свой «темп бега», как я ей говорил. Письма она отправляла немедленно по написании, и если не могла этого сделать (не было ни марки, ни денег на марку) — интерес пропадал, и когда письмо залеживалось дня на два, она его рвала и выбрасывала. И ответа она требовала такого же стремительного и, если он медлил, яростно обвиняла корреспондента в небрежности, невнимании и прочих грехах.

На этой почве происходили у нее частые столкновения, и она, например, заявляла Тесковой, что я на письма не отвечаю только потому, что мой ответ из Праги в Париж запоздал на несколько дней, — обвинение совершенно несправедливое, я сказал бы, вздорное. Это было одно из тех недоразумений, каких было немало за долгие годы нашего общения, всегда сложного и после 1925 года порою двойственного — со стороны МИ, причем дело тут было не в наших спорах. А споры у нас бывали часто, и по самым различным причинам.

Например, в 1932 году МИ очень разволновалась из-за моего случайного замечания о синкретизме всех видов искусств. Я говорил, что различные формы самовысказывания — на одной плоскости, одного происхождения, и, вероятно, жест и танец предшествовали слову и выражают бессознательное, тайное в человеке — Дионисово начало до Аполлона. Как многие близорукие люди с необычайно развитым слухом, Цветаева не видела, а слышала и сама соглашалась, что в этом ее основное различие от Пастернака. Она ничего не унаследовала от отца, директора музея и искусствоведа, и живопись, скульптура и архитектура, танец до нее по-настоящему не доходили — точно так же, как мать-пианистка не внушила ей желания заниматься музыкой. И ей казалось ересью, богохульным выпадом против поэзии сравнение (не мое, я повторял) балета — движения во времени — с архитектурой, застывшим движением в пространстве или застывшей музыкой. «И вы балет сравниваете с Реймским собором!» — воскликнула она в негодовании. И тут пошла новая баталия: я был воспитан на итальянском Возрождении, а МИ — на германской готике, она инстинктивно отталкивалась от Греции и Средиземного моря. В конце концов МИ подтвердила, что не любит всяких там лазурных берегов, а признает лишь океан, а еще больше — горы, высоту. Она

мне как-то написала, что для нее высшее наслаждение — подыматься на гору, «все-таки ближе к небу».

Года три после этого разговора я чуть не поссорился с МИ из-за Гронского. Она преувеличенно хвалила его как поэта, а меня его стихи не трогали и мало интересовали. Ее это возмущало, она обвиняла меня в черствости. Но порою размолвки наши были более глубокими. Трещина в наших отношениях произошла в конце 1924 — начале 1925 года, когда выяснилось, что у нас нет того идеального согласия — литературного и личного, о каком она мечтала. Да, наши основные взгляды на поэзию, и вообще на творчество слова, совпадали, но ряд моих мнений и оценок расходился с Мариниными, и, несмотря на ее «попытки терпимости», как я их насмешливо называл, она ощущала недовольство и разочарование. Доходило до того, что она величала меня «литературным критиком» — в ее словаре это был бранный термин.

Наша личная дружба тоже прошла через ряд изменений. Она укрепилась в месяцы после разрыва МИ с Родзевичем. Она переживала его трудно, мучительно, и ей нужно было, как она говорила, «дружественное плечо, в которое можно зарыться, уткнуться — и забыться», надо было на кого-то опереться. Ей показалось, что я могу дать ей эту душевную поддержку, тем более что и я в это время разошелся с моей первой женой, и в приблизительном сходстве личных осложнений МИ увидела залог взаимного понимания. Но тут произошло столкновение наших индивидуальностей, темпераментов и устремлений. Во-первых, как обычно, МИ создала обо мне некую иллюзию: она представляла себе меня как воплощение духовности и всяческих добродетелей, совершенно не зная ни моей личной жизни, ни моих склонностей или страстей или пороков. Поднявшись в заоблачную высь, она недолго в ней парила, и приземление, как всегда, причинило ей ушибы и страдания. Во-вторых, она от близких требовала безраздельной отдачи, безоглядного растворения, включая жертву, причем хотела, чтобы принес ее не слабый, а сильный человек, слабого она бы презирала.

В одном письме к Тесковой в апреле 1929 года МИ откровенно признается: «Раньше я давала, как берут, — штурмом! Потом смирилась. Людям нужно другое, чем то, что я могу дать». Но дело было прежде всего в том, что она сама отбрасывала предложенное

другими — она желала большего. Я же не мог принять ни штурма, ни ее абсолютов, сводившихся к отказу от жизни, от самого себя, от собственного пути. Она помнила, как я однажды ответил ей: «Одна голая душа! Даже страшно». Она этого не могла мне простить, а еще пуще ее обижало, что я не испытывал к ней ни страсти, ни безумной любви и вместо них мог предложить лишь преданность и привязанность, как товарищ и родной ей человек. МИ писала: «Я хотела бы друга на всю жизнь и на каждый час (возможность каждого часа). Кто бы мне всегда, даже на смертном одре, радовался». А я знал, что наши жизненные пути не совпадают, только порою скрещиваются и что у нас обоих совершенно неодинаковые судьбы. Отсюда ее ошибочное мнение, будто я ее оттолкнул, более того, променял на ничтожных женщин, предпочел «труху гипсовую каррарскому мрамору» (так она писала в «Попытке ревности»).

А после прославления принялась говорить мне колкости при свиданиях и ругать за глаза. Одно время она это делала почти со злобой, во всяком случае со страстью, со своим всегдашним упорством в последовательности и непоследовательности, в возведении пьедесталов и разрушении статуй. Я знаю, ей это было нелегко, ведь я продолжал помогать ей, чем мог, и защищал ее во всех моих публичных выступлениях. Но прошло несколько лет, прежде чем она сменила гнев на милость и уверовала в надежность моей дружбы.

Жизнь МИ была трагической, и немалую роль в этом сыграли ее одиночество и невозможность длительных связей с людьми. Она, в сущности, была однолюбом и, несмотря на увлечения и измены, по-настоящему любила одного лишь Сергея Эфрона, ее мужа. И потом — когда стало ясным, что он, несмотря на такую же взаимную любовь, не может отказаться ни от своей политической деятельности, ни от самостоятельного, ей чуждого существования — она весь запас неистраченной нежности перенесла на сына. В отношениях с дочерью тоже происходили срывы и охлаждения. А с другими людьми все неизменно рушилось: слишком она была требовательна, слишком «швырялась» друзьями, если они ей чем-либо не угождали, и то возводила монументы, то разбивала их в прах. А некоторых своих знакомых, готовых для нее на все, как-то не замечала — и, быть может, того сама не зная, унижала и отпугивала — холодом и презрительным равнодушием. Но и тех, кто все от нее сносил, она не признавала

подлинными друзьями. У нее вспыхивало на миг чувство расположения, общности — например, к Елене Александровне Извольской, к семье кинорежиссера Туржанского, ко второй жене Леонида Андреева, Анне Ильиничне, о которой она рассказывала, что она «огнеокая и по ночам в лесу соловьев руками ловит», к Тукалевским, Лебедевым, — но прочной, постоянной связи не устанавливалось, и чувство ее угасало. Со Святополк-Мирским, сперва ее хулившим, а потом раскаявшимся, у нее была кратковременная дружба, он пригласил ее на две недели в Лондон в 1926 году и до отъезда в Россию помогал финансово, но виделась она с ним редко и случайно. Дружба с Гронским и Штейгером была, как я уже сказал, умственной, а с Тесковой — заочной. Я думаю, что после рождения сына в 1925 году никакой любовной, в широком смысле эротической, жизни у МИ больше не было. Ей минуло тогда 33 года. Во всяком случае, как раз после рождения Мура МИ решила покинуть Прагу и избавиться от чувства провинциальности, которое она там нередко испытывала. Она надеялась, что в Париже найдет и новых друзей, и читателей, и слушателей — и откроет более широкие возможности печататься. Ведь Париж стал после заката русского Берлина столицей нашей эмиграции.

У меня не было уверенности, что МИ найдет во Франции осуществление всех своих планов, но спорить с ней я не хотел, тем более что отъезд ее был сопряжен со множеством практических и денежных трудностей и она просила меня о помощи. В те годы нансеновских паспортов для переезда из одной страны в другую требовались особые разрешения. Я был хорошо знаком с французским консулом и достал для Эфронов необходимую визу. Затем нужно было закрепить за МИ чешскую писательскую субсидию и аванс из «Воли России». Под эти будущие блага Тесковой удалось устроить заем у одной знакомой дамы, и 31 октября 1925 года, временно оставив мужа в Праге, МИ, дрожа и волнуясь, пустилась в путь с Муром и Алей. В том же поезде ехала Анна Ильинична Андреева, взявшая на себя всякие пугавшие МИ хлопоты, вплоть до кормления девятимесячного младенца.

Так закончился пражский период жизни Цветаевой. 1 ноября она уже была в Париже, где ей предстояло провести тринадцать лет трудов и мук.

31 октября 1925 года Марина Цветаева, девятимесячный Мур и двенадцатилетняя Аля (Ариадна) приехали в Париж. Их приютила Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова, крестная мать Мура. Черновы жили бедно в отдаленном рабочем квартале возле Виллет, напротив канала Урк, и из своих трех комнат одну отдали приехавшим Ольга Елисеевна очень любила Марину Ивановну, ее дочери — молодые девушки Оля, Наташа и Адя — восхищались стихами Цветаевой, смотрели на нее вначале чуть ли не с обожанием, делились с гостями чем могли и старались устроить их как можно лучше. Но МИ особой благодарности к ним не испытывала и как будто не замечала их забот. В письмах называла Черновых «нашими хозяевами» (а ведь это были искренние друзья), жаловалась на тесноту, на шум убогих улиц, на невозможность сосредоточиться. Она увидела Париж фабричной окраины, и после мирной тишины ее деревенских жилищ в Чехословакии окружающая обстановка очень ее подавляла.

У Черновых ей удалось, однако, закончить свою самую длинную и, вероятно, самую значительную поэму «Крысолов» — и даже за настоящим письменным столом его дала ей Ольга Чернова (впоследствии вышедшая замуж за Вадима, сына Леонида Андреева) Такая роскошь очень редко выпадала на долю МИ — только когда она у кого-нибудь гостила. В течение долгих лет письменным столом служил ей по преимуществу кухонный, она говорила с иронией «Он у меня и для телесной и для духовной пищи». А ведь стол был в ее жизни самым главным предметом. Недаром она посвятила ему одну из своих очень характерных поэм, воспевая «тридцатую годовщину союза — верней любви».

Сосновый, дубовый, в лаке  
Дешевом, с кольцом в ноздрях  
Садовый, столовый — всякий  
Лишь бы не на трех ногах!

МИ говорила, что ее единственная собственность — дети и тетради. Но потом дети от нее ушли, остались только тетради. Своего собственного стола она никогда во Франции не имела, и в этом был символ ее неустроенности и бедности. Но ее похвала столу была не

только символической она раскрывала сущность ее творчества. В отличие от Мандельштама, который бродил по улицам, импровизируя на ходу, сразу облакая вдохновение в слова, и лишь потом их записывал или диктовал (отсюда большое количество его вариантов), Цветаеву нельзя себе вообразить без пера и бумаги, без рабочего стола. У нее вслед за наитием, за озарением следовал контроль — поиски, проверка, отбор — и все это в процессе письменного труда.

В конце 1925 года в Париж приехал муж МИ, Сергей Яковлевич Эфрон. Я видел их обоих в январе 1926 года, проездом в Гавр, где я должен был сесть на океанский лайнер я отправлялся в США для чтения лекций в разных городах и сбора средств в пользу политических заключенных в России — тогда еще существовал Политический Красный Крест, во главе его стояла Екатерина Павловна Пешкова, прежняя жена Горького.

МИ показалась мне несколько растерянной Париж ей явно не нравился, но она бодрилась, говорила об устройстве своего публичного выступления и вскользь упомянула о работе над статьей «Поэт о критике» Сергей Яковлевич переживал свое очередное увлечение — он был погружен в евразийские дела и подготовку «Верст».

В Америке я пробыл полгода, в Европу вернулся летом, отдыхал на юге Франции, а в сентябре возобновил мою обычную литературную и общественную работу в Праге. За это время я получил от МИ несколько коротких писем. Из них, а еще больше из рассказов общих знакомых, я узнал об успехе ее февральского вечера и о том, что черное платье, в котором она выступала, ей сделали Наташа и Оля Черновы, они же вышили на нем символическую бабочку — Психею. Деньги с вечера оплатили МИ майскую поездку с детьми и Ольгой Елисеевной Черновой в Вандею. В мятежниках этого края эпохи французской революции МИ видела романтических героев и любила называть русские белые армии «нашей Вандеей», поэтому и выбрала Сен Жилль на вандейском побережье для отдыха. Сергей Яковлевич остался в Париже, был занят «Верстами». В октябре вся семья поселилась в Медон-Бельвю возле Медонского леса, но ненадолго. Моя первая встреча с МИ после поездки в Америку была именно в Бельвю, 31 декабря 1926 года. Но происходила она совсем не в таких легкомысленных тонах, в каких она ее изобразила в письме к Тесковой

(карикатурные, но отнюдь не достоверные — отзвуки этого свидания имеются в поэме «Новогоднее», напечатанной в 1928 году в третьем выпуске «Верст»). Я действительно привез МИ печальное известие о кончине Райнера Мария Рильке (он умер 29, а не 30 декабря, как она пишет). Отлично зная, как она его боготворила, я сообщил ей о его смерти с большой осторожностью, а не «между прочим» (ее слова). МИ была очень взволнованна и сказала: «Я его никогда не видела и теперь никогда не увижу».

Перед уходом я спросил, не хотят ли МИ и Сергей Яковлевич встретить Новый год у наших общих знакомых, вместе с «вольероссовцами». У меня в то время было большое личное горе, ни о каких праздниках и ресторанах я и думать не мог, речь шла о скромном дружеском вечере. Сергей Яковлевич, как всегда, ждал, как решит МИ, она приглашение отклонила. Но согласилась на мою просьбу написать о Рильке для «Воли России». Через короткое время она прислала мне в Прагу «Твоя смерть», проза эта появилась в нашем журнале в марте 1927 года. Незадолго до этого я прочитал доклад о творчестве Цветаевой в Чешско-Русской Едноте. Очевидно, сведений о моем выступлении, посланных по просьбе МИ Тесковой, было ей недостаточно, и когда я приехал к ней весной 1927 года, она захотела узнать все подробности и о моей лекции, и о том, как ее приняла публика. В это время МИ уже переехала в самую деревню Медон, в трехкомнатную квартиру на авеню Жанны д'Арк.

Она тогда же рассказала мне о планах издания сборника стихов, спрашивала, нравится ли мне название книги — «После России», я его очень одобрил, а затем советовалась насчет своих дальнейших публичных выступлений в Париже, главная трудность для нее всегда была, какие стихи выбрать. «Не для себя же читаешь вслух — для других, для себя — пишешь», — говорила она. Тогда же условились, что на одном из вечеров я скажу вступительное слово о ее творчестве (это и было сделано значительно позже). Я привез ей корректуру «Твоя смерть» — и мы сговорились о ее переводах писем Рильке (они были помещены в «Воле России» в начале 1929 года).

В том же 1927 году была памятная мне встреча с МИ в Париже, куда она приехала на целый день — «по делам», как она заметила со смехом, как бы подчеркивая нелепость такого сочетания — Марина и дела. Ей стало известно, что я отныне предполагал мое трехмесячное



пребывание в Праге чередовать с тремя месяцами в Париже, и спросила, что побудило меня отказаться от постоянного жительства в Чехословакии. Я мог, конечно, ответить, что мы собирались перенести печатание журнала в Париж, приобрели для этого небольшую типографию, и все объяснить тоже делами. Но это был единственный раз, когда МИ поставила мне в упор вопрос, ответ на который — хотя бы частичный — был ей несомненно известен. Я пожал плечами. Она скороговоркой бросила: «Мне нужно знать не от чужих, а от вас лично». Тогда я рассказал ей — очень коротко, — что Лариса Бучковская, девушка, которую я полюбил, была прошлой осенью убита автомобилем председателя Совета Министров Чехословакии и полиция попыталась скрыть обстоятельства ее смерти от печати и близких. Из-за моего вмешательства дело это получило широкую огласку, включая вопрос в парламенте и доклад президенту Масарику. После всего этого мне захотелось переехать в Париж. В заключение я в свою очередь спросил МИ: «Но ведь вы все это знали, когда я приехал к вам под Новый год, разве вы не видели, в каком я был состоянии?» МИ помолчала, потом сказала: «Я была раздавлена смертью Рильке, а о ваших личных переживаниях не хотела говорить при Сергее Яковлевиче». На эту тему мы с ней никогда больше не беседовали.

---

Некоторые советские критики охотно делят жизнь и творчество Цветаевой на три периода: московский, включающий формирование поэта и стихи юности и молодости, для многих самые понятные, а потому и наиболее приемлемые; отъезд за границу в 1922 году и тяжелая жизнь в эмиграции, усугубленная тоской по родине; и, наконец, возвращение в СССР в 1939 году, как бы увенчивающее ее внутреннюю и поэтическую эволюцию. Об одном они умалчивают: ее так хорошо приняли в Советском Союзе, где дочь отправили в концлагерь, мужа убили и напечатали только одно ее старое стихотворение, что она через два года повесилась. Но вообще вся эта схема выдуманная и лживая. На самом деле все было не так, а гораздо сложнее.

Интересно было бы выяснить, как в среде символистов, акмеистов, футуристов и пролетарских поэтов первых лет революции могла сложиться такая своеобразная творческая личность, как Марина Цветаева, и эта тема еще ждет своего исследователя. Многие ее лирические стихи и поэмы, написанные между 1912 и 1922 годами, очень хороши, но она их постепенно перерастает, и в них все резче выступают черты, отличающие ее от всех ее знаменитых современников, они составляют ее оригинальную поэтику — то есть именно то, что определяет ее место и значение в русской поэзии XX века. И дар Цветаевой достигает наивысшей полноты именно в изгнании, в некоем безвоздушном пространстве чужбины. Не может быть никаких сомнений, что перелом, который я отмечал в рецензии на ее сборник «Разлука» в 1922 году, завершился в это время и что за семнадцать лет нужды, одиночества и эмиграции Цветаева написала свои самые замечательные произведения. В частности, пражский период (1922 — 1925) отмечен огромным творческим подъемом: то, что называют «цветаевской манерой», именно в 1922–1925 годах получает свою наивысшую выразительность и в отдельных лирических стихотворениях, и в «Поэме Горы», «Поэме Конца» и сатирическом «Крысолове» (хотя к последнему, как и ко всякому выдающемуся произведению, имеющему свою собственную форму, не следует приклеивать литературные ярлыки). Я думаю, что творческий расцвет Цветаевой длился до самого конца двадцатых и начала тридцатых годов, точно после быстрого разбега, взятого в Праге, она не останавливаясь все еще продолжала то же стремительное движение. «У меня бег летучий», — говорила она о самой себе. В юношеских стихах у нее: «полы ее пальто как буря» или

Мой шаг молодой и четкий  
И вся моя правота...  
Вот в этой моей походке.

*(1915, «День поэзии» М., 1965)*

Конечно, вся ее поэзия — кинетическая — в движении и полете слов и ритма. Но уже в 1931–1932 годах чувствуется некоторое

замедление темпа и растущее количество прозы. Я никак не склонен приписать это внутреннему иссяканию. Причина коренилась во всей обстановке так называемого парижского периода. Только благодаря исключительной стойкости МИ выдержала в тридцатые годы все удары судьбы и не сломилась — сломилась позже, в России.

Очень трудно сказать, в какой мере преобладание прозы над стихами в последние семь лет жизни МИ под Парижем было внутренне обоснованным и вытекало из органической потребности высказать себя в иной форме. Многое, конечно, было вызвано необходимостью: прозу легче было печатать, она доходила лучше, имела читателя, за нее больше платили.

---

Если взять все пребывание МИ во Франции, то в нем можно легко различить несколько этапов. В 1926–1927 годах, несмотря на ряд неудач и зловещих признаков, МИ была полна надежд и верила, что найдет во Франции широкую аудиторию и новые литературные возможности. Подтверждением этих иллюзий был успех ее вечера в феврале 1926 года: он превратился в целое событие, зал был полон до отказа, чтение МИ ее стихов, в том числе и отрывков из «Лебединого стана», вызвало восторженные аплодисменты, а отчеты о выступлении появились во всех русских газетах, парижских и берлинских. Обрадовала ее и перемена позиции Святополк-Мирского: недавно он называл ее «распущенной москвичкой» и даже не включил ее в свою антологию «Русская лирика» 1924 года, а после выхода в свет «Мблодца» и личного знакомства превратился в поклонника ее поэзии и преданного друга. Устроенная им поездка МИ в Англию в марте 1926 года и ее двухнедельное пребывание в Лондоне эту дружбу укрепили.

В 1926 и 1927 годах произведения МИ появились не только в «Воле России» («Крысолов», «Лестница», «Попытка комнаты», «Твоя смерть»), но и в «Верстах» («Поэма Горы», «Новогоднее», «Тезей»), и в «Благонамеренном», издававшемся в Брюсселе молодым поэтом, князем Димитрием Шаховским (ныне архиепископом Иоанном Сан-Францисским). Но именно статья ее во втором (и последнем) выпуске «Благонамеренного» сильно ухудшила ее отношения с видными

эмигрантскими критиками. Меня не было в Европе, когда появилась эта статья — «Поэт о критике», с прибавлением «Цветника» — выборки отрывков из противоречивых литературных суждений и оценок Г. В. Адамовича. В ней МИ задела и М. Осоргина, известного своим крайне отрицательным и весьма неубедительным отношением к поэзии вообще (он этим даже несколько снобировал), и Юлия Айхенвальда. Этот последний — мой дядя с материнской стороны, — судя по письму, полученному мною от него в июне, после моего возвращения из Америки, был удивлен и обижен нападками МИ — особенно потому, что он хвалил ее в своих статьях и рецензиях (под псевдонимом «Кременецкий») в «Руле», газете, издававшейся в Берлине. Он следил за всем, что МИ печатала, и считал ее выдающимся поэтом.

«Цветник» лишь углубил неприязнь Адамовича к Цветаевой. Они друг друга почти не знали, и никаких личных отношений не было. Вражда их была чисто литературной — и оказалась глубокой и длительной. Самый дух поэзии МИ был чужд Адамовичу, вышедшему из акмеизма и ценившему поэтическую сдержанность и ясность Цветаева оскорбляла его слух — она была для него слишком шумной, бурной, вычурной, он морщился от ее выкриков, резких переносов, скачущих ритмов. От прозы ее он инстинктивно отталкивался и насмехался над ее пьесами о Тезее и Федре и поэмами, навеянными русским фольклором. Я думаю, что в основном он своего отношения к Цветаевой не изменил и по сей день. Повторяю, тут главное было в столкновении различных темпераментов и эстетических подходов. Все критики (и читатели), не принимавшие романтизма как художественного направления и как мироощущения и превозносившие строгость, собранность и классическую стройность, постоянно упрекали МИ в избытке, словесном и эмоциональном расточительстве, в попытке переплеснуть, перескочить — вообще «пере» и «через». Стихийность, анархический спор Цветаевой с миром, бунт ее страстей, весь ее стиль восклицаний, междометий, прерывистого дыхания, «револьверная дробь» ее размеров казались им выходом из берегов или вулканическим взрывом.

Я полагаю, однако, что критика этого рода ошибочна: она приписывает наитию, бессознательной и неорганизованной силе, чуть ли не наваждению, то, что у Цветаевой удивительным образом

сочетается с упорной поэтической дисциплиной, строгим отбором слов, огромной работой над покорением стихии и превращением ее в сложную, но крепкую лексическую форму. Что эта форма ее собственная, повинующаяся из нее же вытекающим законам, — несомненно, но ведь в этом вся неповторимость ее поэзии и ее отличие от обычного у многих романтиков многословия и беспорядка. Повторяю сказанное раньше: достаточно бросить взгляд на цветаевские черновики, чтобы убедиться, как она умела выбирать, сокращать, резать и менять для достижения наибольшей точности и ударности. Она возмущалась, когда переделку и шлифовку рукописей называли «черной работой» — «да ведь это есть самая настоящая поэтическая работа — какая же она черная».

Весной 1928 года, при очередной встрече, МИ с иронической усмешкой сказала, что газета «Возрождение» никак не может решить, является ли творчество Цветаевой «дамским рукоделием» или «сколком с Пастернака», и поэтому называет его и тем и другим; выражения эти действительно появились в «Возрождении» в феврале. Нападки на Цветаеву усилились с разных сторон. Выход «После России» в 1928 году ничего не поправил. Об этом ее сборнике, бывшем итогом нескольких лет труда, во всей эмигрантской печати появилась только одна хвалебная рецензия — моя в «Днях». Адамович в «Последних новостях» и Ходасевич в «Возрождении» отнеслись к «После России» отрицательно. Распространение ее, конечно, шло туго — я с трудом продал несколько экземпляров этой книги в невзрачной серой обложке. Сейчас она, разумеется, стала библиографической редкостью. Значительная часть ее перепечатана в московском издании Большой Библиотеки поэта 1965 года.

МИ не подавала виду, что огорчена неудачей сборника, выпущенного после множества хлопот и усилий, благодаря финансовой поддержке одного мецената, но ей порою казалось, что против нее образовался заговор молчания. Во всяком случае, к концу 1928 и в начале 1929 года положение МИ в парижской литературной среде стало очень тяжелым и по политическим, и по литературным причинам. Правая эмиграция, забыв о «Лебедином стане», из которого были известны лишь несколько напечатанных отрывков, и не зная оставшегося в рукописи «Перекопа», неодобрительно косилась на сотрудничество МИ в «Воле России». «Цветаева кокетничает с

левыми», — заявил мне Илья Сургучев при случайной встрече и назвал «Своими путями» и другие студенческие издания. Я спросил его: а как же «Современные записки»? Он засмеялся и махнул рукой: «Одного поля ягода, только более приличны, чем другие».

Немалую роль в усиливавшейся враждебности к МИ сыграли «Версты»: ее обвиняли в близости к евразийцам, их считали полубольшевиками — и к ним принадлежали и ее муж, Сергей Эфрон, и ее друг и защитник Святополк-Мирский. Сейчас это может показаться смешным, но тогда многие возмущались тем, что «Версты» перепечатывали произведения советских писателей и что МИ не отказывалась от появления рядом с ними. В двадцатые годы споры между различными группами эмиграции были ожесточенными, разномыслие вело к личной вражде, интерес к советской литературе казался подозрительным, а объективная оценка таких писателей, как Пильняк, Бабель, Федин, Вяч. Иванов, Фадеев, Леонов, считалась изменой антибольшевизму. Благомыслящему эмигранту полагалось утверждать, что чаша русской литературы выплеснута в Европу, как писала Зинаида Гиппиус, она же Антон Крайний, и что мы не в изгнании — а в послании. С Востока не могло прийти ничего, кроме зла и распада, пропаганды и обмана. К этому присоединялось то, что я называл «литературным охранительством», то есть обязательной преданностью традициям славного прошлого.

Для Бунина, например, и для сотен средних читателей Маяковский был неприемлем не только потому, что он воспевал коммунизм, Ленина и партию (хотя и не состоял в ней), а потому, что он делал это в футуристических стихах со всевозможными словесными и стилистическими новшествами. Над Пастернаком издевались, и Тэффи в связи с ним вспоминала детский стишок:

«Танцевала рыба с раком и петрушка с пастернаком». И даже позже, в 1933 году, когда я выпустил мою книгу «Портреты советских писателей» с изображением Пастернака работы Юрия Анненкова на обложке, многие усмотрели в этом «вызов» и «советофильство». Цветаеву сопричисляли к Маяковскому и Пастернаку. Бунин сочинял о ней частушки не для печати, Зинаида Гиппиус отзывалась о ней с презрением и просила «Современные записки» не печатать ее собственных стихов рядом с цветаевскими. Вообще большинство писателей дореволюционного поколения попросту не понимали новой

поэзии. Петр Струве, несмотря на весь свой ум, видел в ней (включая и Цветаеву) некую болезнь века и осуждал ее, как ненужную и бессодержательную невнятицу. Некоторые не принимали даже Блока — из-за его «Двенадцати», — а уж о Есенине и Маяковском и речи быть не могло: все это клеймили как «революционную нечисть». Один только Бальмонт хорошо относился к Цветаевой: слышал ее ритмы. (Осоргин говорил, что ее «Крысолов» — «весьма музыкальная нелепость».) Советскую литературу двадцатых годов вообще отрицали не только Гиппиус с Мережковским, неизбежно поминавшим дьявола при всяком обсуждении московских и ленинградских писателей, но и более терпимые эмигранты. В этом повальном неприятии политическая предвзятость соединялась с литературным традиционализмом и кружковщиной, и тут в одном лагере оказывались реакционеры и кадеты, умеренные социалисты и консерваторы. «Возрождение», рупор правых и монархистов, мало чем отличалось в своей литературной позиции от либеральных «Последних новостей», и резкая критика Ходасевичем поэзии Цветаевой на страницах гукасовской газеты перекликалась с едкими замечаниями Адамовича в милюковском органе. Впоследствии, впрочем, Ходасевич смягчил и изменил свое отношение к МИ. И эсеровские руководители «Современных записок», в частности В. В. Руднев и М. В. Вишняк, мало что понимали в искусстве и были глухи к литературе, а особенно к поэзии.

Самое любопытное, что к этому единому фронту, включавшему именитых и разнокалиберных столпов эмиграции, примкнули — хотя порою и боком — представители «молодого поколения». Среди них было немало участников или последователей символистов и акмеистов, и они продолжали плыть в течении, сыгравшем большую роль в дореволюционные годы, но потом превратившемся в мелководье. Недаром такие поэты, как Мандельштам и Ахматова, вышли за пределы акмеизма, ими же созданного вместе с Гумилевым, и нашли новые пути. А эмигранты среднего возраста охотно продолжали за рубежом прежние литературные направления, уже клонившиеся к упадку. В какой-то мере они жили в прошлом. И, конечно, цветаевская мятежная поэзия, по духу революционная, по ритму и стилю новаторская, совсем их не привлекала, вернее, могла привлечь лишь немногих, по преимуществу одиночек. Помимо всего

прочего, в русском литературном Париже преобладала мода на изысканно минорную лирику, поощрявшуюся Адамовичем, — я окрестил ее тогда «франко-петербургской меланхолией». Для учеников Адамовича, сторонников «бемоля» в поэзии (Адамович охотно цитировал Валери, предостерегавшего от «диеза» и предпочитавшего «естественный тон»), цветаевское утверждение силы и страсти было грубым явлением природы, а не гармонией искусства. В 1927 году на конкурсе журнала «Звено» стихотворение Цветаевой не попало в число двадцати отобранных из анонимно присланных двухсот, но удивляться этому не приходится: в жюри входили Адамович и Гиппиус (третьим был К. Мочульский).

Обострение отношений между МИ и теми эмигрантскими кругами, которые задавали тон и считали себя представителями и выразителями русской культуры за рубежом, произошло в конце 1928 и начале 1929 года. В ноябре 1928 года Маяковский выступил в Париже с чтением своих стихов. На одном из его вечеров присутствовала МИ, и ее разговор с поэтом при выходе из кафе «Вольтер» так был ею передан в газете «Евразия» от 28 ноября: МИ вспомнила, как в апреле 1922 года, перед отъездом в Берлин, она встретила Маяковского на Кузнецком мосту и спросила: что передать от него Европе? Он ответил: «Что правда здесь». Через шесть лет ей тоже задали вопрос: что она скажет о России после выступления Маяковского? Она ответила: «Что сила там». В этом контексте слова Цветаевой можно было истолковать как противопоставление «силы там» — «правде здесь», но никто так их не понял, а, наоборот, в них заподозрили чуть ли не признание и восхваление советского режима. «Последние новости» тотчас же прекратили печатание ее стихотворений: по иронии судьбы это были отрывки из «Лебединого стана», воспевавшие белое движение. Не менее любопытно, что в это же время (в декабре 1928 г.), когда МИ заканчивала свой «Перекоп» — опять-таки о белом движении, в «Воле России» появилась ее поэма «Красный бычок», в ней были такие строки:

Бычья, бычья, бычья, бычья  
Это кличка — большевик  
Я — большак,  
Большевик,



Поля кровью крашу  
Красен мак,  
Красен бык,  
Красно время наше.

Антикоммунистическое настроение «Красного бычка» совершенно явное. Поэма не включена в советские издания избранных произведений Цветаевой 1961 и 1965 годов.

В это же время, в начале 1929 года, МИ заканчивала свой «Перекоп» и дала мне прочитать эту «белогвардейскую поэму», как она называла ее с усмешкой. При ближайшей встрече она спросила, стоит ли предложить ее «Воле России». Я сказал, что если «Перекоп» нельзя устроить в другом журнале, мы можем его напечатать, ведь мы ни одной ее вещи не отвергли — но, честно говоря, сделаем это без особого энтузиазма, она сама должна решить. «Это значит по дружбе и снисхождению, а не по убеждению», — заметила МИ, глядя куда-то вбок (она никогда не смотрела в глаза собеседнику). Затем, подумав, прибавила: «Ну, ничего, пускай полежит». Сергей Яковлевич, как я узнал впоследствии, посоветовал ей не торопиться с «Перекопом», и — редкий случай — она его послушалась. О переговорах со мной она так потом написала Тесковой: «Даже „Воля России“ отказалась, мягко, конечно, не задевая, скорее отвела, чем отказалась». Но я считал «Перекоп» слабым произведением.

Позже, кажется в 1932 году, МИ дала мне на прочтение другую рукопись — в ученической тетрадке — «Историю одного посвящения»: это были ее воспоминания о Мандельштаме в связи с «подвалом» Георгия Иванова в «Последних новостях» (февраль, 1930) под заглавием «Китайские тени». В этом фельетоне он, по своему обыкновению смешивая немного правды с обилием вымысла, рассказывал всякие небылицы об авторе «Триптихи» и якобы раскрывал жизненную подоплеку некоторых его стихотворений. МИ была возмущена ошибками и выдумками Иванова, но в своем полемическом восстановлении истины не назвала его по имени, а приятельницу, которой посвятила эту свою прозу, обозначила инициалами Е. А. И. Она понимала, что поместить «Историю одного посвящения», это свидетельство о живых людях, в парижских эмигрантских

изданиям нельзя будет, а «Воля России» уже закрылась. В 1939 году, перед отъездом, она оставила для меня пакет с этой тетрадью и другими материалами у общей знакомой, Тамары Владимировны Тукалевской (ныне покойной), с припиской: «Может быть — когда-нибудь — удастся напечатать». Я получил пакет лишь после войны и опубликовал «Историю одного посвящения» в 1964 году в XI выпуске «Славянских материалов Оксфордского университета» («Oxford Slavonic Papers»).

Во время нашей встречи в самом начале 1929 года я упомянул о моих частых беседах с художниками — Ларионовым и Гончаровой. Услыхав это имя, МИ загорелась: «Как, Наталья Гончарова? Совпадение или родство?» Мое описание Натальи Сергеевны еще более ее подзадорило. Мы условились, что она приедет завтракать со мной в ресторан Варэ на улице Сен-Бенуа, подле Сен-Жермен. Про Варэ рассказывали, будто он был не то денщиком, не то лакеем Гийома Аполлинера. Во всяком случае, в его тесном помещении под вывеской «У маленького Сен-Бенуа» бывали и Андре Жид, и Дюамель, многие видные французские писатели, журналисты и художники, обычно сидевшие за одним столом с шоферами такси и служащими соседних контор. «Маленький Сен-Бенуа» был также штаб-квартирой «вольероссовцев» и Ларионова и Гончаровой, они ежедневно в нем завтракали и обедали и туда же приглашали знакомых живописцев, скульпторов, танцоров, музыкантов, особенно тех, кто работал с ними у Дягилева.

Перед моим очередным отъездом в Прагу, в самом конце января, я познакомил в ресторане Варэ МИ с Натальей Сергеевной Гончаровой, и обе друг другу понравились. МИ сразу привлекли в Гончаровой ее тихий голос, медлительные, сдержанные манеры, внешнее спокойствие, под которым легко было угадать натуру страстную и глубокую, ее чисто русская красота. (Впоследствии, к старости, у Натальи Сергеевны стал иконописный лик — она походила на скитницу, на монахиню.)

После завтрака мы пошли в кафе «Флор», сели там в уголок, и МИ сказала, что хочет писать о двух Гончаровых, и, опустив глаза, прочла свое стихотворение о той, первой Наталье:

Счастье или грусть —  
Ничего не знать наизусть,  
В пышной тальме катать бобровой  
Сердце Пушкина теребить в руках,  
И прослыть в веках —  
Длиннобровой,  
Ни к кому не суровой —  
Гончаровой,  
Сон или смертный грех —  
Быть как шелк, как пух, как мех,  
И, не слыша стиха литого,  
Процветать себе без морщин на лбу.  
Если грустно — кусать губу,  
И потом, в гробу,  
Вспоминать Ланского.

Стихи эти очень понравились Гончаровой, и она сразу условилась с МИ о ближайшем, более длительном, свидании. Я после узнал, что они виделись несколько раз. МИ говорила, что Гончарова действует на нее успокаивающе, и была от нее в восторге. К картинам, которые Наталья Сергеевна ей показывала, она осталась довольно холодна, для нее это были как бы иллюстрации и подтверждения к тому словесному портрету Гончаровой, который она воображала и создавала — и потом запечатлела в своем очерке («Воля России», 1929, кн. 5–6, 7, 8–9).

Как я уже говорил, у МИ была не зрительная, а слуховая память, живопись — в частности гончаровскую — она воспринимала, как многие близорукие: и рисунок, и краски сливались у нее в некое общее впечатление, она переводила их на свой язык ритма и звуков. Это был обычный для нее процесс восприятия внешнего мира. Дружба, вернее, восхищение МИ длилось лишь то время, когда она писала о Гончаровой и исправляла корректуру своего очерка. Уже в конце года МИ жаловалась: «С Гончаровой что-то остыло. Приду — рада Не зовет — никогда». Странно, что МИ не ощутила сдержанности — я сказал бы эмоциональной робости — Натальи Сергеевны на людях и ее полного самовысказывания в творчестве. В этом они были слишком схожи — и это мешало их сближению. Во всяком случае, именно так я

истолковал несколько уклончивые замечания Гончаровой, когда в 1930 году я осторожно спросил ее об отношениях с МИ. Она, очевидно, сразу разгадала, что МИ создавала легенду о мужчинах и женщинах, с которыми собиралась дружить, — и любила не их, а ею сотворенный мифологический образ — и потом огорчалась и сердилась, что ему не соответствует живой человек.

Поэзия МИ находила отклик главным образом среди молодых поэтов и прозаиков, группировавшихся вокруг «Кочевья», литературного объединения, основанного под моим руководством в 1928 году.<sup>[38]</sup> На многолюдных собраниях в нижнем зале таверны Дюмениль на Монпарнасе царила полная свобода слова, и ею охотно пользовались ораторы, принадлежавшие к самым различным течениям. Однажды Д. Святополк-Мирский, прославлявший «Разгром» Фадеева — роман действительно хороший, хотя и подражательный, — громко заявил, что за несколько его глав готов отдать всего Бунина. Я не выдержал и крикнул: «Дмитрий Петрович, да вы ведь, вероятно, этого и не думаете, а говорите нарочно, чтобы раздражить гусей». Он ухмыльнулся, но промолчал. Этот умный, тонкий и блестящий критик любил поражать, своими парадоксами, «*pour épatier les bourgeois*»,<sup>[39]</sup> как говорят французы. За его пророчество, что Чехова перестанут читать через десять лет, я назвал его «литературным самодуром» — МИ долго не могла мне этого простить. Она иногда бывала на вечерах «Кочевья», например, на моем докладе о зарубежной поэзии в марте 1929 года (она о нем писала — «идеи те, слова не те»), но, как всегда, среди толпы чувствовала себя неуютно и сердилась, что я не нахожу времени для беседы с ней. Она даже написала Тесковой, что на апрельском собрании (1929) по случаю годовщины «Кочевья» я, сидя на председательском месте — «справа блондинка, слева брюнетка, к литературе непричастные», не обмолвился с ней ни словом. Впрочем, «слово» было, хотя я и должен был вести собрание и направлять шумные и бурные прения. Мы в перерыве поговорили о «деле»: сколько листов следует оставить в очередном номере «В. Р.» для первой части ее очерка о Гончаровой (весь очерк занял около восьмидесяти страниц).

Как раз в это время МИ особенно остро ощущала свое одиночество. В 1930 году, несмотря на возобновление сотрудничества в «Последних новостях», она была более изолирована в Медоне, чем за

пять лет до того в чешской деревне. В эмигрантском литературном Париже она явно пришлась не ко двору. В лучшем случае ее терпели в газетах и журналах, где она могла печататься, и сотрудничество ее часто происходило в условиях, казавшихся ей оскорбительными. Она не заняла никакого места в эмигрантском «обществе» с его салонами, политическими и литературными, где все знали друг друга, как я говорил, «сидели за одним чайным столом» и, несмотря на различие взглядов и положений, находились «среди своих». Она же была дичком, чужой, вне групп, вне личных и семейственных связей — и резко выделялась и своим обликом, и речами, и поношенным платьем, и неизгладимой печатью бедности.

В Медоне немногочисленные и случайные ее знакомые не могли создать той духовной среды, которой ей недоставало. Правда, она дружила с умной и образованной Е. А. Извольской, жившей с матерью в знаменитом доме на Авеню де ля Гар (кажется, на углу авеню маршала Жоффра). В нем обитало столько эмигрантов, что его прозвали русским. МИ иногда ходила в гости к соседям Извольских, старикам Масленниковым. Он — бывший член Государственной думы, кадет, считался либералом, остальные члены его семьи примыкали к правым и монархистам. Они были родом из Саратова, МИ говорила, что у них «покойно и тепло» «как в старой русской провинции», и, сидя у них, она вспоминала Александров Владимирской губернии, где жила в 1916 году.

Были и другие знакомые, но все те, кого она могла считать друзьями, находились за границей или в Париже, с последними виделась она редко, отчасти и потому, что поездки в город стоили денег, а ей надо было беречь каждый грош.

Ко всему этому присоединялось и одиночество в семье. О нем многие догадывались, но определенно знали лишь близкие люди. Прежде всего трудными и сложными были ее отношения с мужем, Сергеем Яковлевичем. Это был высокий, тонкий человек с узким, красивым лицом, медленными движениями и чуть глуховатым голосом.

Несмотря на широкие плечи, отличное, почти атлетическое сложение — всегда держался прямо, чувствовалась в нем военная выправка, — он был подвержен всяческому немощам. Худой, с нездоровым сероватым цветом лица и подозрительным

покашливанием, он периодически болел туберкулезом и астмой. В 1925 году по просьбе МИ я устроил его в лечебнице («здравнице») Земгора под Прагой. В 1929 году у него вновь открылся процесс в легких, и ему пришлось провести восемь месяцев в санатории в Савойе, оставив МИ одну с детьми. Он не мог долго работать, скоро уставал, его то и дело одолевала нервная астма. Я всегда видел в нем неудачника, но МИ не только его любила, но верила в его благородство и гордилась, что пражане называли его «совестью евразийства». Она и в 1932 году видела его таким же, каким описала в июне 1914 года в Коктебеле:

...Его чрезмерно узкое лицо  
Подобно шпаге.  
Безмолвен рот его, углами вниз,  
Мучительно великолепны брови.  
В его лице трагически сплелись  
Две древних крови.  
В его лице — я рыцарству верна,  
Всем вам, кто жил и умирал без страха!  
Такие — в роковые времена —  
Слагают стансы и идут на плаху

*(«Из юношеских стихов», «День поэзии». М., 1968)*

У него было сильно развито чувство долга, в преданности он мог идти до конца, упорство уживалось в нем с жаждой подвига. Как и многие слабые люди, он искал служения: в молодости служил Марине, потом Белой Мечте, затем его захватило евразийство, оно привело его к русскому коммунизму, как к исповеданию веры. Он отдался ему в каком-то фанатическом порыве, в котором соединялись патриотизм и большевизм, и готов был все принять и стерпеть во имя своего кумира. За него и от него он и погиб. Но это случилось в конце тридцатых годов. А в начале их жизни во Франции, как, впрочем, и в Праге, для Сергея Яковлевича, самолюбивого и гордого, нелегко было оставаться «мужем Цветаевой» — так его многие и представляли. Он хотел быть сам по себе, считал себя вправе — и был прав — на собственное, от

жены обособленное существование. Интересы их были разные, несмотря на «совместность», на которой так настаивала МИ, то есть многолетний брак. Общности взглядов и устремлений я у них не замечал, шли они по неодинаковым путям. МИ поэтому могла в минуту полной откровенности говорить о своем одиночестве и отсутствии большой любви: «Я дожила до сорока лет, и у меня не было человека, который бы меня любил больше всего на свете» — этим она зачеркивала всех — и даже Сергея Яковлевича. Впрочем, еще в 1913 году она писала: «Я одна с моей большой любовью к собственной моей душе».

На посторонних эта пара производила странное впечатление: они говорили друг с другом на «вы», их отношения казались формальными, их даже трудно было признать товарищескими, каждый оставался в своем углу, работали они в разных и далеких областях и встречались главным образом за семейными трапезами: тут МИ выполняла роль домашней хозяйки. Политика, социальное так же безраздельно владели Сергеем Яковлевичем, как слово, поэзия — Мариной. В этом был их коренной разлад и источник непонимания, утаивания и молчания.

Сергею Яковлевичу не много было нужно, материальной нужды он как-то не замечал и почти ничего не мог сделать, чтобы обеспечить семью самым насущным. Зарабатывать он не умел — не был к этому способен, никакой профессией или практической хваткой не обладал, да и особых усилий для устройства на работу не прилагал, не до этого ему было. И хотя МИ он несомненно любил искренне и глубоко, не постарался взять на себя все тяготы быта, освободить ее от кухонного рабства и дать ей возможность всецело посвятить себя писанию.

А ведь МИ не только воспитывала детей, варила, стирала, убирала, но и зарабатывала — ее гонорары занимали главное место в бюджете семьи. Она все это принимала, о Сергее Яковлевиче заботилась, как о больном ребенке, ему безраздельно доверяла, видела вокруг его головы ореол идейной прямоты и честности. Эта вера так ее ослепляла, что, живя бок о бок с мужем, она и не подозревала, как далеко он зашел не только в политических взглядах, но и в своих тайных действиях.

МИ очень любила сына и дочь, но забота о них только утяжеляла ношу на ее плечах. Поэт, ставший пленником мелкой обыденности,

прикованный к ежедневному постылому труду, — в этом была одна сторона цветаевской трагедии. А другая в том, что ее «век миновал». Какой горечью звучит эта фраза одного из ее писем: «Есть знакомые, которым со мной интересно, и домашние, которым со всеми интересно, кроме меня, и я дома — посуда — метла — котлеты — сама понимаю». На свою долю она никогда не жаловалась. Вероятно, поэтому я так хорошо запомнил ее слова во время одного из моих приездов к ней в Медон в 1932 году. Она сидела за кухонным столом, низко нагнувшись над тетрадью, Мур возился в углу. Я спросил, не помешал ли ей. Она, смотря вбок, по своему обыкновению не глядя на меня, ответила поразившим меня, ей не свойственным упавшим голосом, что просматривает старые черновики, а писать ей сейчас очень трудно. «Вы ведь знаете, — добавила она, — для меня самое лучшее время — утро, а тут готовь всем завтрак, надо мыть Мура, с ним гулять, потом идти на рынок выбирать что-нибудь подешевле, какое тут писание. Иногда неделями не хватает времени. При настоящей работе самое важное — вслушиваться в себя, для этого нужны досуг, тишина, одиночество, могу их добиться только урывками, часто с бою».

В письмах к разным корреспондентам она упоминала неоднократно, что «жизнь за городом непомерно тяжела, даже мне», что из-за людской толчеи и ведения хозяйства — «чувства спят». Обваливая рыбу в муке, можно думать — «но чувствовать не могу, запах мешает».<sup>[40]</sup>

Пастернаку она писала:

Дай мне руку — на весь тот свет,  
Здесь — мои обе заняты.

Когда Аля была маленькой девочкой и писала стихи, МИ была в восторге и гордилась необыкновенной дочерью: похожа на мать. Но с годами черты вундеркинда стерлись, и Аля выросла совершенно нормальной девочкой. «Она просто умная», — говорила МИ с явным сожалением. От матери она унаследовала упорство, несомненное чувство поэзии и вспышки иронического юмора, некоторую замкнутость и несколько жесткий и ревнивый характер. Я помню Алю,



когда в 1931 году ей исполнилось восемнадцать лет. Это была взрослая девушка, далеко не избалованная жизнью. Знакомые МИ на нее обращали мало внимания — и это ее раздражало. Она помогала матери, чем могла, но без большой охоты, втайне ее очень любила — несмотря на постоянные ссоры и стычки. Она — естественно — хотела быть самостоятельной, идти своей дорогой — авторитет МИ давил ее, устремления и интересы МИ не совпадали с ее собственными, гармонии в их отношениях не было. Под влиянием Сергея Яковлевича, все более и более тяготевшего к Советскому Союзу, Аля уже с 1933 года стала помышлять о возвращении на родину, и из-за этого возникали новые размолвки с матерью.

В это время — начало тридцатых годов — МИ не скрывала своих чувств по этому поводу «Все меня выталкивают в Россию, в которую я ехать не могу, здесь я не нужна, там я невозможна». «Все» — это, конечно, семья. Помню, в 1935 году она не скрывала, как она выражалась, «отхода Али», и у нее возникали сомнения насчет судьбы Мура, если ему предстояло остаться бездомным эмигрантом. Через два года — в 1937-м — Аля уехала в СССР, вскоре была арестована, провела около восемнадцати лет в лагерях и ссылке и только после смерти Сталина, кажется в 1955 году, получила возможность поселиться сперва в Тарусе, а затем и в Москве. Она отдала все свои силы на служение памяти матери, в этом видела свою миссию и долг. Она собрала архив рукописей МИ, много поработала и продолжает работать над опубликованием ее произведений, и делает это со страстью и ревнивым обожанием, как бы искупая прежние грехи и утверждая в то же время свое исключительное право распоряжаться литературным наследством матери.

Между Алей и Муром была разница в тринадцать лет. Когда ему шел пятый год, большеголовый, тучный, неприветливый, он был трудным ребенком и отнимал у МИ много времени. Она его обожала и все от него сносила безропотно. Когда ее спрашивали, какое настоящее имя Мура, она с охотой отвечала, что он — Георгий, по имени победоносца, покровителя Москвы и, по народному поверью, заступника и волков, и стад. И прибавляла он — как родившийся в воскресенье — дитя солнца (она говорила по немецки — Зонтагскинд) и поэтому понимает язык зверей и птиц МИ рассердилась, когда я пошутил, что если прозвище взято от кота ее любимого писателя

Эрнеста Теодора Амадеуса Гофмана, то произносить и писать его надо «Мурр», с двумя «р».

Мур был постоянно с взрослыми, в школу МИ его не пускала, в десять лет он принимал участие в беседах сестры и родителей на общих основаниях, вел себя как взрослый. Я его не любил, он казался мне грубоватым и избалованным. В последний раз я видел его перед отъездом в Россию, ему шел тогда пятнадцатый год. Высокий, полный, женоподобный, он выглядел старше своих лет. К матери он обращался на «вы», но это не мешало ему резко ее прерывать «вы ничего не понимаете», «это вздор» МИ терпеливо, но безуспешно пыталась объяснить ему, почему ее слова — совсем не вздор У него одно было на уме — уехать в Советский Союз, он с упорством одержимого требовал этого от матери и сыграл большую роль в ее окончательном решении.

После самоубийства Маяковского МИ сказала: «Жил, как человек, умер, как поэт», и написала большую — в семь страниц — поэму «Маяковскому» (не смешивать с 16 строками под тем же заглавием, написанными в 1921 году и помещенными в «Ремесле»:

Превыше крестов и труб,  
Крещенный в огне и дыме,  
Архангел тяжелоступ —  
Здорово в веках, Владимир!)

Она начинается четырьмя строчками запева и кончается такой же короткой концовкой:

Много храмов разрушил,  
А этот — ценней всего.  
Упокой, Господи, душу  
Усопшего врага твоего.

В одной из семи глав поэмы — разговор Маяковского с Есениным на том свете, и Маяковский спрашивает о Блоке, Сологубе и Гумилеве «Современные записки» и «Последние новости» побоялись печатать эту поэму она была мною помещена в 11–12 выпуске «Воли России» за

1930 год В московское издание избранных произведений Цветаевой 1965 года она, конечно, не вошла, хотя она была написана тридцать пять лет тому назад, ее «вольно-крамольный» язык, как выразился один советский вельможа, все еще неприемлем для московских цензоров.

У меня сохранились заметки о поездке в Медон в 1931 году вместе с Сергеем Прокофьевым. Он тогда окончил свой Пятый концерт, которым потом дирижировал в Берлине, и собирался писать «Ромео и Джульетту». Он знал стихи МИ и восхищался ими, говорил, что в них «ускоренное биение крови, пульсирование ритма», — я напомнил ему ее же слова: «Это сердце мое искрою магнетической рвет ритм». Мы ехали из Парижа в машине Прокофьева, его тогдашняя жена Лина Ивановна сидела позади и все время переругивалась с мужем. Полуиспанка, полурусская, она в свои замечания вносила южный пыл и северное упорство. Впрочем, в одном она была права: Прокофьев был никудышным водителем на обратном пути из Медона он на бульваре Экзельманс въехал в пилястру воздушной железной дороги и чуть нас не убил.

МИ была очень рада нашему посещению, накормила нас супом, читала свои стихи и много шутила. Когда Прокофьев в разговоре употребил какую то поговорку, МИ тотчас обрушилась на пословицы вообще — как выражения ограниченности и мнимой народной мудрости. И начала сыпать своими собственными переделками «Где прочно, там и рвется», «С миру по нитке, а бедный все без рубашки», «Береженого и Бог не бережет», «Тишь да гладь — не Божья благодать», «Тише воды, ниже травы — одни мертвецы», «Ум хорош, а два плохо», «Тише едешь, куда не приедешь», «Лучше с волками жить, чем по-волчьи выть». Прокофьев хохотал без удержу, Лина Ивановна улыбалась снисходительно, а Сергей Яковлевич одобрительно.

В конце вечера Прокофьев заявил, что хочет написать не один, а несколько романсов на стихи МИ, и спросил, что она хотела бы переложить на музыку. Она прочла свою «Моль», и Прокофьеву особенно понравились первые две строфы.

Емче органа и звонче бубна  
Моль — и одна для всех:

Ох — когда трудно, и ах — когда чудно,  
А не дается — эх!  
Ах — с эмпиреев, и ох — вдоль пахот,  
И согласишься, поэт,  
Что ничего, кроме этих ахов,  
Охов, у Музы нет.

«А воображение? — спросил Прокофьев — Разве не это самое главное у Музы?» Тут завязался спор. МИ утверждала, что не одна поэзия, но вся жизнь человеческая движется воображением «Колумб воображал, что между ним и Индией — вода, океан, — говорила она, — и открыл Америку. Ученые, не видя, находят звезды и микробы, тот, кто вообразил полет человека, был предтечей авиации. И нет любви без воображения». — «Что ж, по-вашему, — опять спросил Прокофьев, — это озарение?» — «Нет, это способность представлять себе и другим выдуманное как сущее и незримое как видимое». Прокофьев потом признался, что был согласен с Цветаевой, но нарочно вызывал ее на беседу Когда он заметил, что она слишком абстрактно представляет себе воображение, она обычной скороговоркой, но отчетливо выделяя слова, сказала, что воображение значит воплощение образа. А также предчувствие, предугадывание — и оно конкретно, а не абстрактно, потому что раскрывает существо предметов, не просто их описывает. И закончила со смехом «Зри в корень, но не по Козьме Пруткову». И прибавила «А вот сюрреалисты для меня, пожалуй, слишком абстрактны».

На обратном пути Прокофьев с восторгом говорил о том, с каким напряжением и силой МИ все воспринимает, даже не очень важное, а потом с таким азартом начал обсуждать, какие ее стихотворения лучше всего подойдут для пения, что, вероятно, из-за этого и въехал, куда не следовало. На другое утро позвонил мне по телефону, спрашивая о стихотворении, прочитанном МИ и кончавшемся «начинает мне монастырь сниться, отоснились вы» Я не раз слышал его в чтении МИ, но помнил только начало

Полнолуние и мех медвежий  
И бубенчиков легкий пляс.

Легкомысленнейший час, мне же —  
Глубочайший час?  
Время совье  
Птенчиков прячет мать,  
Рано вам начинать  
С любовью.  
Милый сверстник,  
В вас еще душа жива,  
Я же люблю слова  
И перстни.

---

В 1936 году, когда Аля готовилась к отъезду, а Сергей Яковлевич уже служил в Союзе возвращения на родину и полностью сотрудничал с большевиками, МИ закончила поэму об убийстве царской семьи и решила прочитать ее у Лебедевых, но попросила, чтобы среди немногих приглашенных на этот вечер обязательно был я.

МИ объяснила, что мысль о поэме зародилась у нее давно как ответ на стихотворение Маяковского «Император». Ей в нем послышалось оправдание страшной расправы, как некоего приговора истории. Она настаивала на том, что уже неоднократно высказывала поэт должен быть на стороне жертв, а не палачей, и если история жестока и несправедлива, он обязан пойти против нее.

Поэма была длинная, с описаниями Екатеринбурга и Тобольска, напомилавшими отдельные места из цветаевской «Сибири», написанной в 1930 году и напечатанной в «Воле России» (кн. 3–4, 1931). Почти все они показались мне очень яркими и смелыми. Чтение длилось больше часу, и после него все тотчас же заговорили разом. Лебедев считал, что — вольно или невольно — вышло прославление царя. МИ упрекала его в смешении разных плоскостей — политики и человечности. Я сказал, что некоторые главы взволновали меня, они прозвучали трагически и удались словесно. МИ быстро повернулась ко мне и спросила: «А вы бы решились напечатать поэму, если б у вас был сейчас свой журнал?» Я ответил, что решился бы, но с

редакционными оговорками — потому что поэма независимо от замысла и желаний автора была бы воспринята как политическое выступление. МИ пожала плечами: «Но ведь всем известно, что я не монархистка, меня и Сергея Яковлевича теперь обвиняют в большевизме». Тут все наперебой начали ее убеждать дело не в том, что вы думаете, а какое впечатление производят ваши слова. Как всегда спокойная Маргарита Николаевна Лебедева умерила наш пыл, спор ведь оставался чисто теоретическим, поэму все равно негде было печатать МИ задумалась, потом с усмешкой заметила, что, пожалуй, когда-нибудь напишут на первой странице «Из посмертного наследия Марины Цветаевой». Но этому предсказанию не суждено было сбыться Перед отъездом МИ в Россию, в 1939 году, поэма об убийстве царской семьи и значительное количество стихов и прозы, которые МИ справедливо называла «неподходящими для ввоза в СССР», были — при содействии наших иностранных друзей — отосланы для сохранения в международный социалистический архив в Амстердаме: его разбомбили гитлеровские летчики во время оккупации Голландии, и все материалы погибли в огне.

Странная участь постигла длинное письмо, посланное мне МИ на другой день после чтения поэмы, она в нем с горячностью защищала право поэта говорить безбоязненно обо всем, о чем не полагается, и как «ему поется». И это, и все другие письма Цветаевой ко мне на литературные и личные темы (их было свыше полутора ста) я дал на сохранение вместе с архивом «Воли России» одному моему парижскому знакомому А. С. С-ву. После войны он уехал в СССР и либо уничтожил то, что я ему вверил, либо увез все с собой. Я все еще надеюсь, что весь этот очень ценный материал не погиб и в будущем отыщется в каких-нибудь советских литературных архивах.

---

В 1931 году положение МИ сильно ухудшилось — во всех отношениях. Она болела, от малокровия и плохого питания у нее вылезали волосы, денег совсем не было, она писала Тесковой:

«Такая жизнь — живем в долг в лавочке, и часто нет одного франка пятнадцати сантимов, чтобы ехать в Париж, — при моей

непрестанной работе, все-таки незаслуженна. Погубило меня — терпение, моя семижильная гордость, якобы все могущая: и поднять, и сбросить, и нести, и снести». В 1932 году стало еще хуже: из экономии переехали из Медона в другой пригород — Кламар, сменили две квартиры, а позже обосновались в рабочем предместье Исси-ле-Мулино. «Воля России» закрылась, в Праге шло сокращение «русской акции», и ежемесячной субсидии в пятьсот крон (около 400 франков) не стало. Были месяцы, когда пять франков в день за вязанье Алей шапочек составляли единственный постоянный заработок семьи. «Мы медленно подышаем с голоду», — говорила МИ. Им не удалось бы выжить без помощи друзей, особенно Саломеи Николаевны Гальперн, бывшей княжны Андрониковой. «Соломинки» Мандельштама, воспетой Ахматовой («красавица тринадцатого года, всех розовой и выше»). В 1933 году я пытался организовать нечто вроде комитета, вернее группы лиц, по преимуществу состоятельных дам, которые согласились бы делать периодические взносы для МИ. Саломея Николаевна живо откликнулась на это предложение, но хлопоты — и ее, и более скромные — мои — кончились тем, что почти вся финансовая поддержка Цветаевой шла из личных средств Андрониковой-Гальперн. Кое-что иногда уделяла Тескова из своего ограниченного бюджета. Но все же МИ была неправа и несправедлива, говоря, будто ей помогали одни только женщины. Помимо Святополк-Мирского, и В. И. Лебедев, и я делали все, что могли, да и «Воля России» не была женским журналом. За три статьи, напечатанные Лебедевым на сербском языке в белградском «Русском архиве» в 1934, 1935 и 1936 годах, МИ послали тройной гонорар, присоединив к нему (без ее ведома, конечно), что причиталось мне за статью о ней в том же издании. С 1935 года Сергей Яковлевич стал платным работником Союза возвращения на родину, но МИ, конечно, и не подозревала, что деньги, которые он приносил домой, шли из особых фондов советской секретной службы.

В 1933 году МИ сообщила мне, что работает над очерками об отце — к двадцатилетию его смерти. Она его очень любила и уважала за «страсть к труду, простоту, отрешенность и спартанство». Часть очерков она написала по-русски («Открытие музея» во «Встречах» в 1934 году), а часть по-французски. У нее тогда возник проект переводов ее собственных произведений — и стихов и прозы — для

французской печати. Она переделала «Молодца» в новую поэму по-французски и после неудачных попыток ее устройства обратилась ко мне за содействием. Связей в парижских литературных кругах у нее не было, и вообще, по ее словам, она во Франции чувствовала себя не только «инородным телом, но и инородным духом». Я попробовал устроить ее французскую версию «Мблодца» у Галлимара или в его журнале «Нувель ревью франсэз», и мне в этом очень помогал мой старый друг Борис Парэн, секретарь издательства, но дело окончилось неудачей. Из ее переводов Пушкина только три — да и то значительно позже, в 1937-м, — появились в печати. Мне эти переводы не нравились. МИ скоро убедилась, что о них как источнике заработка нельзя было и думать.

Сотрудничество ее в «Последних новостях» почти совсем прекратилось, она изредка печатала главным образом прозу в «Современных записках», а позже — в 1937 и 1938 годах — в «Русских записках» и две-три незначительных мелочи во «Встречах» и «Числах».

В 1934 году мы как-то встретились с МИ в парижском кафе. «Вот и вам негде печататься, — сказала она мне, — и вы переключились на французский. А мне попросту дышать нечем». Это было после возвращения ей «Современными записками» «Оды пешему ходу»: поэма была принята и даже, кажется, набрана, но потом редакторы спохватились, боясь, что ее не поймет «средний читатель». Я никогда не видел МИ в таком безнадежном настроении. Ее ужасали наши речи о неизбежности войны с Германией, она говорила, что при одной мысли о войне ей жить не хочется. «Я совершенно одна, — повторяла она, — вокруг меня пустота». Мне показалось, что она не только болезненно переживала свое отчуждение, но даже готова была его преувеличивать. Я это сказал ей, повторив ее же слова о «заговоре века». Она покачала головой: «Нет, вы не понимаете». И, глядя в сторону, процитировала свои, незнакомые мне строки:

Но на бегу меня тяжелой дланью  
Схватила за волосы судьба.



И прибавила: «Вера моя разрушилась, надежды исчезли, силы иссякли». Мне никогда не было так ее жалко, как в тот день.

Уже в 1936 году МИ очутилась перед страшным для нее вопросом о возвращении в Россию. Ехать туда она не хотела, об этом откровенно говорила и мне, и Лебедевым и писала близким знакомым. Аля и Сергей Яковлевич со дня на день должны были получить советские паспорта и визу. Остаться одна за рубежом МИ попросту была не в силах, не считая себя вправе разбить семью и сделать эмигрантом Мура, рвавшегося в Советский Союз. Но она совершенно не знала, что Сергей Яковлевич для доказательства преданности Москве сделался агентом НКВД в Европе. Аля уехала в начале 1937 года. В сентябре произошло разоблачение роли Эфрона в убийстве Игнатия Рейсса, оно было для МИ ошеломляющим ударом. Рейсе, крупный работник ГПУ, посланный за границу с особой секретной миссией, был «ликвидирован» в Швейцарии, где он, разочаровавшись в коммунизме сталинского образца, решил искать политического убежища. Сергей Яковлевич был членом группы, выполнившей приказ Москвы об уничтожении «предателя». МИ никак не могла этому поверить, как не верила она всему, что вдруг раскрылось, — и только поспешное бегство Сергея Яковлевича в конце концов раскрыло ей глаза.

Впрочем, во время допросов во французской полиции (Сюрте) она все твердила о честности мужа, о столкновении долга с любовью и цитировала наизусть не то Корнеля, не то Расина (она сама потом об этом рассказывала сперва М. Н. Лебедевой, а потом мне). Сперва чиновники думали, что она хитрит и притворяется, но, когда она принялась читать им французские переводы Пушкина и своих собственных стихотворений, они усомнились в ее психических способностях и явившимся на помощь матерым специалистам по эмигрантским делам рекомендовали ее: «Эта полоумная русская» (*cette folle Russe*).

В то же время она обнаружила такое невежество в политических вопросах и такое неведение о деятельности мужа, что они махнули на нее рукой и отпустили с миром. Но все, что ей пришлось пережить этой страшной осенью, надломило МИ, в ней что-то надорвалось. Когда я встретил ее в октябре у Лебедевых, на ней лица не было, я был поражен, как она сразу постарела и как-то ссохлась. Я обнял ее, и она вдруг заплакала, тихо и молча, я в первый раз видел ее плачущей.

Потом, овладев собой, начала рассказывать почти в юмористических тонах о том, что называла «несчастьем». Мура при этой беседе не было. Меня потрясли и ее слезы, и отсутствие жалоб на судьбу, и какая-то безнадежная уверенность, что бороться ни к чему и надо принять неизбежное. Я помню, как просто и обыденно прозвучали ее слова. «Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура, Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна». Маргарита Николаевна спросила о ближайших планах. МИ ответила, что придется ехать в Россию, а для этого надо идти в Союз возвращения на родину, в советское консульство, все равно оставаться в Париже нельзя, и денег нет, и печататься невозможно, и затравят эмигранты, уже и сейчас повсюду недоверие и вражда. Действительно, ей скоро пришлось перебраться из-за недоброжелательства русских соседей из Исси-ле-Мулино в захудалый отель на Пастеровском бульваре.

Я затем виделся с ней в начале 1938 года. Лицо у нее все еще было осунувшееся, измученное, но она овладела собой. Жила она в большой нужде, почти ни с кем не встречаясь и избегая даже близких знакомых, но много писала и занималась разборкой своих рукописей: она понимала, что многое придется оставить за границей. Первая часть ее «Повести о Сонечке», благодаря стараниям прекрасно к ней относившегося И. И. Бунакова-Фондаминского, должна была появиться в «Русских записках», но возможности дальнейшего печатания были для нее закрыты, и писала она впрок. Именно в 1938 и 1939 годах, готовясь к отъезду, она писала великолепный цикл «Стихи к Чехии» и поэму «Автобус». Эти произведения были опубликованы лишь через 26 лет после их создания. Несколько строк из «Стихов к Чехии» передают душевное состояние МИ перед самым отъездом из Парижа:

О черная гора,  
Затмившая — весь свет!  
Пора — пора — пора  
Творцу вернуть билет.  
Отказываюсь — быть  
В Бедламе нелюдей.  
Отказываюсь — жить  
С волками площадей.

Отказываюсь — выть  
С акулами равнин.  
Отказываюсь плыть —  
Вниз — по теченью спин.  
Не надо мне ни дыр  
Ушных, ни вещих глаз.  
На твой безумный мир  
Ответ один — отказ.

---

В начале июня 1939 года МИ пришла с Муром провести у меня прощальный вечер и сообщила, что на днях — отъезд. После ужина мы начали вспоминать Прагу, наши прогулки и как однажды, засидевшись у меня до полуночи, она опоздала на поезд, я повез ее в деревню Вшеноры на таксомоторе по заснеженным зимним дорогам, и она вполголоса читала свои ранние стихи. Она задумалась и сказала, что все это было на другой планете. Мур слушал со скучающим видом и этот разговор, и последовавшее затем чтение МИ ее последней вещи — «Автобус». Я пришел в восторг от словесного блеска этой поэмы и ее чисто цветаевского юмора и не мог прийти в себя от удивления, что в эти мучительные месяцы у нее хватило и силы и чувства комического, чтобы описать, как

Препонам наперерез  
Автобус скакал, как бес.

МИ на мой вопрос ответила, что ей сейчас хочется написать как можно больше, ведь неизвестно, что ее ждет в Москве и разрешат ли печататься. Тут зевавший Мур встрепенулся и заявил: «Что вы, мама, вы всегда не верите, все будет отлично». МИ, не обращая внимания на сына, повторила свою давнишнюю фразу: «Писателю там лучше, где ему меньше всего мешают писать, то есть дышать».

МИ долго говорила о судьбе рукописей, которые она хотела оставить — помимо уже отосланных в Амстердам, «Лебединый стан», «Перекоп», вторую часть «Повести о Сонечке» и еще кое-что она собиралась отправить Елизавете Эдуардовне Малер, профессору русской литературы в Базеле, и спросила, может ли оставить один пакет для меня у Тукалевских, ее соседей по отелю.<sup>[41]</sup>

Мы засиделись допоздна. Услыхав двенадцать ударов на ближней колокольне, МИ поднялась и сказала с грустной улыбкой: «Вот и полночь, но автомобиля не надо, тут не Вшеноры, до Пастера дойдем пешком». Мур торопил ее, она медлила. На площадке перед моей квартирой мы обнялись. Я от волнения не мог говорить ни слова и безмолвно смотрел, как МИ с сыном вошли в кабину лифта, как он двинулся, и лица их уплыли вниз — навсегда.

---

МИ и Мур уехали из Парижа 15 июня 1939 года черед Гавр. Не знаю точно, когда они приехали в Москву, где МИ — по ее же словам — мечтала найти свои утраченные детство и юность.

Один мой знакомый, знавший МИ еще за границей и видевший ее в Москве перед войной, рассказывает, что она носила коричневый берет, у нее был прежний легкий, твердый шаг и крепкое рукопожатие, но она очень изменилась: поредевшие, наполовину седые волосы, от носа с горбинкой к уголкам сжатых губ две горькие продольные морщины, глаза точно выплаканные. Ей было 48 лет.

*Женева, 1971*

**Андрей Седых** [\[42\]](#)

## **ИЗ КНИГИ «ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ»**

Раннее парижское утро. Звонок у дверей. Кто бы это мог быть в 7 часов?

Встаю с постели, открываю. Почтальон протягивает «пневматичку». В конверте листок, разрисованный Ремизовым:

*«День Св. Африкана, четверг 26 марта. Готовлюсь переплыть Ламани: съел 5 фунтов мяса и 40 яиц».*

Что на это скажешь? Ремизов всю жизнь любил мистифицировать, вечно что-нибудь придумывал. Иногда присылал мне для «Календаря писателя» материал о несуществующих поэтах и книгоиздательствах: а вдруг напечатают? Иногда печатали. Пришла однажды невинная по виду заметка: «Переехавшая на постоянное жительство в Париж поэтесса Марина Цветаева становится во главе ежемесячного журнала „Щипцы“. Журнал будет посвящен главным образом печатанью стихов, но в первом номере появится новая повесть Ф. Степуна „Утопленник“».

На следующий день — яростное письмо от Марины Цветаевой, — письмо это до сих пор хранится у меня; никакого журнала «Щипцы» она издавать не собирается, Степун повести «Утопленник» не написал — все это злобная шутка, игра с ее именем.

Пришлось ехать к Цветаевой с извинениями. Жила она очень далеко, почти за городом. Сидела в сумерки на диване, много курила, смотрела в окно: туман, темные заводские корпуса, фабричные трубы... Она была совсем молода: шапка золотистых вьющихся волос, зеленые русалочьи глаза и платье — должно быть, подобранное к глазам, тоже зеленое, только тоном темнее. На Ремизова не сердилась, отошла. Говорила о том, что в современную Россию не вернется — никогда. И вернулась: для того чтобы повеситься на водосточной трубе.

На прощанье сказала:

— Знаете, что я больше всего люблю в Париже? Старух. На нашей улице есть удивительные старухи, в теплых, вязаных пелеринах. Хорошие, древние старухи.

Рукопожатие ее было крепкое, почти мужское. Засмеялась:

— Это меня Макс Волошин научил, так крепко руку пожимать. Я до Макса подавала руку как-то безразлично — механически, сбоку... Он сказал: «Почему вы руку подаете так, словно подбрасываете мертвого младенца?» Я возмутилась. Он сказал, что нужно прижимать ладонь к ладони, крепко, потому что ладонь — жизнь. Вы знали Макса. Вот вам привет от него — рукопожатие...

На обратном пути побывал я у Ремизова, — он все же немного беспокоился. Узнав, что гроза прошла, Алексей Михайлович просиял — лицо его от улыбки становилось необыкновенно добрым — и начал привычным жестом приглаживать на голове два непокорных пучка волос. Были они похожи на рожки чертенка.

Елена Извольская [43]

## ТЕНЬ НА СТЕНАХ

*А может лучшая победа  
Над временем и тяготеньем,  
Пройти, чтоб не оставить тени  
На стенах...*

*Марина Цветаева*

На экране прошлого мелькает тень. Но тень ли это? Ведь тени безмолвны безжизненны, бледны, еле трепещут. А память о Марине, как бы она ни желала кануть в «медленную Лету», полна жизни, красок, насыщена музыкой.

Моя встреча с Мариной Ивановной Цветаевой относится к двадцатым годам в Париже, или, вернее, под Парижем.

Марина только что переехала с семьей в Париж из Праги. Ее печатали «Современные записки» и «Версты». Кстати, в «Верстах» сохранилась одна из немногих имеющихся у нас фотографий, увы, этот портрет мне представляется неудачным, «ретушированным» во всяком случае, непохожим на ту Марину, которую я знала.

Была вечеринка у евразийцев, ибо двадцатые годы—это евразийства «счастливое начало», еще не расколовшееся, не подорванное, не отравленное изгибами и перегибами. Мы собрались на квартире одного из основоположников движения, к которому тогда еще примыкал и муж Марины, Сергей Эфрон. Крошечные комнаты были набиты гостями, в воздухе вились клубы дыма. Царило необычайное оживление, должно быть, присутствие нового среди нас человека, Марины, воспринималось нами как нечто загадочное неизвестное и очень значительное. Непохожа на свой портрет в «Верстах» Марина для меня потому, что на фотографии она слишком «хорошенькая», круглолицая, нарядно одетая и причесанная. Та, которую я в тот вечер увидела, была ни нарядной, ни хорошенькой худа, бледна, почти измождена, овал лица был узок, строг, стриженные волосы — еще светлые, но уже подернуты сединой, глаза потуплены.

Вся она была не хорошенькая, а иконописная. Однако несмотря на некоторую суровость, она быстро втянулась в атмосферу нашей вечеринки и приняла участие в беседе. Мне хочется тут подчеркнуть что Марина вовсе не была столь «дикой», «одинокой», «нелюдимой», как ее нынче часто изображают и как она сама себя любила изображать. По крайней мере внешне она люден не чуждалась, даже охотно с ними знакомилась, интересовалась ими. В ней была очень большая чуткость к человеку, она искренно хотела с ним общаться, но не умела, быть может, или не решалась, к этому мы еще вернемся.

На вечеринке, помнится, Марина направила на меня взгляд своих зеленоватых, мутных, близоруких и удивительно прозорливых глаз. И заговорила со мной о Пастернаке. В то время я как раз перевела на французский язык стихотворение Пастернака; «Душная ночь» Перевод мой был напечатан в литературном журнале «Коммерс», под редакцией Поля Валери. Каким-то образом Пастернак имел возможность познакомиться с моей работой и, по сообщению Марины Цветаевой, остался доволен. Цветаева очень сама любила это стихотворение, одно из «несказаннейших», как пишет она. Итак, под знаком Пастернака мы с Мариной познакомились. Кроме того, мы оказались соседями.

Я жила в «банльё»,<sup>[44]</sup> в Медоне, на улице Маршала Жоффра. Марина с семьей наняла в Медоне же квартирку на улице Жанны д'Арк. От меня к ней пешком не больше пятнадцати минут.

Мы много ходили с Мариной Ивановной по этим местам, подымались на террасу, бродили по улочкам и переулкам с историческими названиями. Но нас особенно тянуло в леса, которые простирались от Медона до Кламара (где жил Бердяев). То были старинные леса королевских охот, прорезанные широкими аллеями, ведущими к очищенным многими поколениями «рон-пуэн» — гладко выстриженным полянам перепутьям. Марина очень любила эти прогулки, и я тоже ими наслаждалась. К нам часто присоединилась ныне покойная Анна Ильинична Андреева, вдова Леонида Андреева. Мы блуждали часами по лесу. Много говорили о поэзии, о поэтах. Цветаева говорила разумеется, и о своем творчестве но никогда при нас не рисовалась. Она цитировала чаще всего своих любимых авторов Пушкина, которого называла просто «Александр Сергеевич», точно он был ее хорошим знакомым... Гете, Рильке, Пастернака Блока,



Мандельштама. Кроме друзей-поэтов у нее был еще друг — природа. Она была в тесном контакте с лесом, с лесными цветами, грибами, ягодами. Во время наших прогулок Марина собирала хворост, а порою и дрова для отопления квартиры. Посягательство на государственное лесное имущество было запрещено законом, но лесничие редко попадались нам на глаза. Топлива было в этих чащах сколько угодно. А для Марины это был клад, вроде прищвинского.

Мур сопровождал нас во время наших прогулок. Он был мальчиком очень умным, но избалованным донельзя, непослушным просто буйным. Рос он богатырем, мог бы стать Ильей Муромцем, но скорее превратился в Соловья Разбойника. Он был огромного для своих лет роста, широкоплеч, кудряв. У матери Мур научился дивному русскому языку. Он держал мать за руку, вернее, она его. Он рвался из этой «мертвой хватки». «Мама, — кричал он, — можно мне на волю?» При слове «воля» Марина отпускала сына, он убегал в чащу, и ее близорукие глаза тревожно его искали.

Марина устраивала свои вечера в Париже в весьма убогом, невзрачном зале. Она читала доклады, стихи. Приходили друзья, но их было так мало! В первом ряду сидели Сергей, Аля, Мур. Аля вязала шарф. Мур сосал карамельки. Сережа слушал, склонив романтически голову. Все трое чувствовали себя как-то неловко. И все же это была семья Марины; они без нее, как она без них, перестали бы существовать. Когда заканчивалось чтение, «публика» обступала Марину. Она, как всегда, рассеянная, близорукая, но как будто оживленная, улыбалась, жала руки. Но вся она была обвеейна холодком, холодом, непроницаемой грустью. И все же в Париже у Марины была аудитория, были друзья, поклонники, ученики. Быть может, вернувшись затем в Россию, она верила, что и там они найдутся. И там они были, но ей не дали с ними встретиться.

На наших глазах Марина Цветаева писала, на наших глазах также — увы! — трудилась непосильно, бедствовала, часто голодала. Русский Париж сознавал весь трагизм ее положения, — разве можно заработать «прожиточный минимум» стихами и беллетристикой? А другого «ремесла» у нее не было. И быть не могло. Создалось «общество помощи Марине Цветаевой», кое-как оплачивавшее квартиру и семейный паек. Сердце не камень, но чем сердце лучше

камня? Такую нищету в русской эмиграции мне редко пришлось видеть.

Мы, ее медонские соседи, тем более делили ее заботы, что постоянно у нее бывали. Чем могли, ее «выручали», но она нам со своей стороны столько давала, что ничем, абсолютно ничем нельзя было ей отплатить. И теперь уже сотой доли в памяти восстановить нельзя, только в сердце сохранить.

Все те, которые любили Марину, одни за нее самую, другие за ее творчество, третьи и за то, и за другое (так это было неразрывно!), постоянно засиживались у нее на кухне. Эфрона дома почти никогда не бывало. Аля уходила со двора. Если Мура удавалось уложить спать без протестов, мы попадали в царство Марины, в волшебный круг. В то время к ней часто заходил Д. Святополк-Мирский. Он был профессором Лондонского университета и писал свою историю русской литературы. На каникулы приезжал в Париж и немедленно направлялся в Медон, к Марине. Сутулый, чернобородый, с каким-то странным, хищным оскалом зубов, он часами просиживал на улице Жанны д'Арк. Марина ему давала в руки кофейную мельницу, какую-то особую, кажется турецкую. Мирский покорно молот кофе. Несчастный, мятежный, обреченный, он делался у нее мягким, ребячески доверчивым, почти счастливым!

Как указано выше, Марина Цветаева вовсе не была одинокой. Она любила людей, и люди ее любили. В ней была даже некая «светскость», если не кокетство, — желание блеснуть, поразить, смутить, очаровать. У нее было много друзей. Она мне часто говорила, что их ценит, охотно с ними сходится, но затем, к сожалению, теряет. Ее желание, жажда общаться почти всегда внезапно пресекалась. «Тогда, — добавляла она со вздохом не то печали, не то освобождения, — жизнь швыряет меня обратно в мою келью, за письменный стол, к творчеству».

Но не все умели так легко рвать с Мариной. Некоторые были к ней глубоко привязаны, и она к ним. У нее часто бывал князь Сергей Михайлович Волконский, бывший директор императорских театров. На старости лет Волконский попал в Париж и писал театральные отзывы в «Последних новостях». В нем сочетались русская культура и Запад, декабристы и Италия, Далькроз и русский балет, аристократизм и демократия, православие и католичество. В прошлом он владел

огромными богатствами, в изгнании же был крайне беден. Лет ему было около семидесяти. Марина искренно, даже страстно, увлекалась Волконским, его красотой, стилем, блестящим умом, верным артистическим вкусом.

Бывала у нее и молодежь. Она очень привязалась к молодому поэту, альпинисту Н. П. Гронскому, автору альпийской поэмы «Белладонна». Как ни странно, Гронский погиб не в горах, а в Париже от несчастного случая. Марина его оплакивала.

Особенно близко я подружилась с Мариной Цветаевой летом 1930 года. Сергей Эфрон в то время лечился в санатории, расположенном в Савойе. Марина наняла поблизости старый, полуразвалившийся и очень живописный крестьянский дом. К ней я переехала на каникулы. Мне отвели единственное свободное помещение, нечто вроде погреба. «Вот и ваш склепик», — иронически заметил Эфрон.

Мы жили как в пустыне, в самой примитивной обстановке. А были неизмеримо счастливы. Дома редко сидели, больше гуляли, целые дни проводили «на воле», любуясь дивным горным пейзажем. Лишь к вечеру возвращались и долго засиживались за беседой, то за книгой, то над каким-то одним Марининым стихом, в муке и радости выношенным. Не будучи специалистом по стихосложению, мне трудно установить «технику» этого творчества, но органический процесс его у Марины я хорошо запомнила. Цветаева жила постоянно в поэтическом напряжении... Все равно, что бы она ни делала: убирала ли квартиру, готовила, заботилась о семье или гуляла, была ли одна или на людях, — все так же стремительно несся в ее сознании поток слов, звуков, созвучий. Это был поток бурный, непокорный, который, как она сама говорила, «швырял ее» обратно в келью. Она не довольствовалась одним формальным «мастерством», «лабораторной работой», как пишет Ф. Степун, она слушала внутри себя, где уже не было ничего, кроме волн, вибрации, за пределами фонетики и стиха Марина научила меня вслушиваться в каждое слово, как в ЛОГОС. И каждое слово, особенно ее родное, наше русское, было оснащено огромным значением. Его нельзя было в ее присутствии произносить всуе. Как сейчас, вспоминаю, перечитывая ее стихи и прозу, голос Марины, повторяющий с упоением одно какое-нибудь словосочетание: выражение ее лица, преображенного гармонией, и как бы склоненное к земле ухо. Особенно звонкое, насыщенное ритмом выражение она

отмечала взмахом руки, кивком головы и долго оставалась затем настороженной, как бы ожидая, что где-то далеко отзовется эхо-рифма.

Марина прислушивалась так же ведь и к стихам других поэтов и в них раскрывала тайну. И не только поэтов известных, но и едва ли кому-нибудь, кроме ее, попавшихся на глаза. Она очень любила и часто повторяла при мне стихи «неизвестной монахини», которые она записала в мой молитвенник.

Особенно она любила заключительные строки:

Человечество все же богато  
Лишь порукой добра круговой!

В савойской долине мы с Мариной сидели всю ночь напролет; когда расходились, заря занималась и приветствовала какой-нибудь новый Маринин стих. «Внимало все тогда любимцу и певцу Авроры». Я возвращалась в свой «склепик» и мирно засыпала. Но не я, а Марина теперь ушла «под вечны своды». И над ней восходит вечная заря.

Даже если позабыть лицо Марины, не забыть ее голоса. Не только на эстраде, но и дома, и среди друзей она оставалась корифеем. У нее был звонкий, довольно низкий тембр, легко переходящий к высоким нотам. Она говорила сдержанно, но как власть имущая; речь ее напоминала звон бронзы.

О многом пережитом Марина нам часто рассказывала: она умела это делать необыкновенно красочно, с «изображениями в лицах», или подражала чужим голосам и интонациям. Мы не могли наслушаться. Ведь она знала всех поэтов «серебряного века» и следующих за ним поколений, от Блока до Пастернака. Со многими дружила, некоторых горячо любила, как своего «Макса» Волошина. Она мало кого ненавидела, никому не завидовала, перед поэтическим или художественным талантом других — преклонялась. Любила также обыкновенных, простых людей, привязывалась к кошкам и собакам так же страстно, как и к человеческим существам.

Она часто приходила к нам в дом, где кроме нас с матерью поселилось много русских. Напротив дома была русская бакалейная лавка, в которую мы все постоянно забегали и которая превратилась в нечто вроде клуба.

Марина была очень популярна среди жителей нашего дома, хотя лишь немногие читали ее стихи. Политические убеждения у всех были разные, и даже в семьях все горячо спорили. Марина декламировала одним стихом о белом движении, другим читала свою поэму «Мóлодец», фольклорного содержания. Ее ни те, ни другие не понимали, но установилось «мирное сосуществование».

Мы часто навещали Марину. Она всегда была рада нам и вела с нами бесконечные беседы: о поэзии, об искусстве, музыке, природе. Более блестящей собеседницы я никогда не встречала. Мы приходили к ней на огонек, и она поила нас чаем или вином. А по праздникам баловала нас: блинами на масленицу, пасхой и куличом после светлой заутрени. Мы вместе ходили в маленькую медонскую церковь Св Иоанна Воина, очень скромную, но красиво расписанную. Марина редко говорила о религии, но просто и чистосердечно соблюдала церковные обряды. Заутреня в Медоне была как бы продолжением пасхальной ночи в Москве.

В надежде облегчить трудную жизнь Марины мы однажды попытались заинтересовать в ее творчестве французские литературные круги. Как раз в это время она закончила французский перевод своего «Молодца» и была приглашена в один из известных в то время парижских литературных салонов. Я сопровождала Марину и очень надеялась, что она найдет в нем и помощь, и признание. Марина прочла свой перевод «Мóлодца». Он был выслушан в гробовом молчании. Увы! Русский парень не подошел к царствующей в этом доме снобистической атмосфере. Думаю, что в других парижских кругах ее бы оценили, но после неудачного выступления Марина замкнулась в свое одиночество.

В другой раз, однако, «Мóлодец» спас своего автора. Как известно, в 1937 году муж Марины, Сергей (Сережа) Эфрон, был заподозрен в темном деле и внезапно бежал из Франции в Испанию, а затем в Советский Союз. В ту же ночь полиция арестовала Марину, увезла ее в участок и стала допрашивать. Ничего не зная о деятельности Сережи, которую он от нее тщательно скрывал, Марина не могла ответить на вопросы французских полицейских. Можно себе представить ее ужас и страх. В то же время лояльность, абсолютное доверие к Сереже не были поколеблены. Она вдруг стала говорить очень тихо по-французски. Полицейские в недоумении ее слушали. Из

уст ее лились — стихи, стихи и еще стихи. Странное дело, но это чтение произвело огромное впечатление. Ее слушали с уважением и наконец отпустили. С тех пор ее никто не тревожил.

Этот эпизод, описанный мне достоверным другом, нас глубоко потряс. Впоследствии я видела и саму Марину. Под впечатлением всего пережитого она очень изменилась. Не то что состарилась или похудела, но в ее глазах появилось нечто холодное, чужое, точно испытанный в ту ночь страх застыл в них. Она была оскорблена, как «конь аравийский».

В эти тяжелые дни она еще приходила несколько раз к Бердяеву, который с глубоким состраданием обращался с ней, оберегал ее как больную. И действительно, была она сломлена задолго до отъезда в Россию. Я была несколько огорчена этим отъездом, но, зная ее, поняла, что она исполняла долг абсолютной верности по отношению к Сереже. Она не искала, не могла искать там ничего другого.

**Надежда Городецкая** <sup>[45]</sup>

## **В ГОСТЯХ У МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ**

«Если бы тема была — „как живет и работает“, — я бы пригласила вас к себе именно для того, чтобы вы увидели, что работать в моей обстановке (глагол: обстать) в достаточной мере невозможно. А так — предпочитаю встречу на воле».

«Воля» — один из парижских вокзалов, где я поджидаю Марину Ивановну, живущую за городом. Она не одна. В ее руку вцепился сын. Из-под синего берета торчат светлые кудерьки — в скобку, как у русского парня.

— Я люблю рисовать, — заявляет он в виде приветствия. — Смотрите, русский автомобиль.

— Который, почему русский?

— Потому что странный.

Мы пересекаем площадь и располагаемся в кафе. М. И. закуривает и говорит:

— Право же, я не могу высказываться о западной литературе. Она — не моя, и эмигрантская не моя, и советская не моя, сама литература — не моя. Не хочу говорить о том, чего до конца не знаю. Я же не специалист — читаю, что люблю. А что я знаю, я одна знаю — мои вещи...

— Вот о них и расскажите Закончена ли ваша крымская поэма? Я ее слышала в отрывках на вашем вечере.

— С «Перекопом» у меня сложная история. Закончила — но и не закончила.

— Как же так?

М. И. не смеется, но лицо у нее такое, как если бы за ним скрылся смех.

— Поэма о стодневном перекопском сидении. Жизнь вала, работа по укреплению, аэропланый налет, приезд Врангеля и, наконец, — знаменитый прорыв, когда ночью служили молебен и, «потушив огни», — двинулись. Прорвались и вышли — на Русь... Перетопили латышей. На этом я и кончила, но мне хотелось дать и последний

Перекоп, последних два-три дня, конец всего. Тут-то и начинается. Не могу найти очевидца. Предлагают мне побеседовать со штабным генералом. Но мне ведь не генерал нужен, а рядовой офицер — мелочи важны, какая погода была, какие слова говорились. Наконец, отыскали мне какого-то дроздовца — теперь работает на заводе. Пишу ему. Получаю ответ — в таком смысле по субботам мы пьем, в иные же дни некогда. А так как при вас пить неловко, то, значит, потеряем мы свой единственный день отдыха... Так ничего и не вышло. «Документ» сохранила. Наступает поистине «минута молчания».

— Правда ли, — вспоминаю я, — что вы пишете поэму по-французски?

— Да. Знаете «Молодца»? Я попробовала перевести, а потом решила — зачем же мне самой себе мешать, — кроме того, многого французы не поймут, что нам ясно. Вышло, что вокруг того же стержня заново написала. У них, например, нет слова «вьюга» — пришлось говорить о снеге, чтобы подготовить, — а когда я, наконец, произношу «gafale» — ясно, что это не ветер, а метель. Я и сама никогда не думала, что возьмусь за такую работу. Вышло это почти случайно. Наталия Гончарова, знавшая вещь по-русски, сделала иллюстрации и пожалела, что нет французского текста. Я и начала — ради иллюстраций, а потом сама вовлеклась.

— Как же вы, с вашей-то разбойничьей манерой, изломали благовоспитанный и такой установившийся французский стих? М. И. дергает плечом. В ней есть нечто мальчишеское.

— Не знаю. Вот вам одно из основных правил французского стихосложения, в каждой грамматике найдете: нельзя, чтобы встречались две гласные, так, например, нельзя написать *tu es*.<sup>[46]</sup> Скажите на милость, почему «*tuer*»<sup>[47]</sup> можно, а *tu es* — слово, которым Бог человека утвердил: ты еси, сказать нельзя? Я с этим не считаюсь. Пишу — как слышу.

— Вы стихи проверяете на слух?

— Как же иначе? Когда-то их пели. Когда нравится строка, непременно ее произносишь вслух. И если даже про себя читаешь стихи, так внутренне их все-таки выговариваешь, внутри рта.

Мальчик сидит очень тихо. Пользуясь паузой, он вздыхает:

— Хорошо — машины, и чтоб на них ездить.

Но я безжалостна.



— А что вы пишете или хотите писать по-русски?

— О царской семье. Беру именно семью, а фон — стихия. Громадная работа. Все нужно знать, что написано. А написать нужно — раз навсегда, либо вовсе не браться. В России есть люди, которые справились бы с такой темой, но тема не их, они ее любить не могут: если бы любили, там бы не жили. Так что я чувствую это на себе как долг.

— Голубчик, мне ужасно хочется вам задать один нескромный вопрос... Как вы работаете? Ну, материал, труд и так далее. Но внутри самой работы?

М. И опять — без улыбки — улыбается.

— На всякий нескромный вопрос можно ответить скромно...

Лучше всего посмотрели бы черновики. Много вариантов — из них выбираю — на слух. Я не лингвист, мне некогда было изучать; полагаюсь на врожденное чувство языка... Но если мне на две тысячи строк (как в Федре) не хватает одного слова — считаю, что вещь не закончена, как бы меня ни уверяли, что больше тут ничего не нужно. Хочу, чтобы вещь стояла, и пишу до тех пор, пока до конца, по чести не скажу себе, что сделала все, что могла... Остальное — развлечение. А развлечения — ненавижу.

— А я люблю развлечения, — вставляет Мур, начинающий ерзать.

— У нас с тобой разные страсти.

— У меня нет страстей, мама, — отвечает он, явно принимая «страсти» за какую-то вещь, которой у него нет.

— Я действительно не выношу развлечений, — говорит М. И, пряча папиросы в сумочку. — Такая на меня бешеная скука нападает. Думаю: сколько бы дома можно сделать — и написать, и стирать, и штопать. Не то что я такая хорошая хозяйка, а просто у меня руки рабочие. Увлечься, вовлечься — да «Развлечься» — нет.

— Мама, — деликатно напоминает мальчик, — когда мы пойдем на улицу, я вот так заверну рукава.

Однако, когда мы выходим, он так торопится, что забывает про все, и уже на улице приходится останавливаться и подтягивать закатившиеся рукава его вязаной курточки.

**Владимир Вейдле** [\[48\]](#)

## **ИЗ КНИГИ «О ПОЭТАХ И ПОЭЗИИ»**

Проза Цветаевой стала появляться в печати заметно для меня лишь незадолго до того, как я — в январе 34-го года — с ее автором лично познакомился.

На Сергиевском подворье. После панихиды по Андрее Белом, о которой так хорошо Цветаева говорит в конце рассказа о встрече своей с ним («Пленный дух»), посвященного Ходасевичу. Ходасевич меня ей и представил. Потом мы были все трое, не одни, но не помню с кем, у о. Сергия Булгакова. Пробыли полчаса или чуть больше, вместе вышли, кажется, и проехали вместе, под землей, часть пути. Не преувеличу, если скажу, что я долго потом в себя прийти не мог от совсем неожиданного открытия: вот она какая. Как никто. Поэт, как никто. Никогда, ни получаса, ни двух минут, я вблизи такого человека не был. Что ж мне с этим делать? Перечитать, прочесть все ею написанное, в надежде найти все это гениальным? Могла, казалось бы, такая мысль прийти мне в голову, но, помнится, не пришла. Впечатление не нуждалось в проверке. Достаточно ее самой. Пусть живет. Только бы жила. Что-то в этом роде я себе мысленно твердил. Спросил себя наконец, уж не влюбился ли я в нее. Нет. Открытие мое не меня касалось, и «вот она какая» этого не значило.

Ей было сорок два года (ненамного меньше и мне). Хороша, по снимкам судя, не была она и в юности. Из мне известных лучше всего на последнем — о, нет, нет, не в Елабуге снятом, но уже в Москве, после возвращения. Там она улыбается кротко и горько, одной стороной губ, и светится прощально. Такой я ее не знал. У о. Сергия, тогда, вид у нее был усталый и скорее тусклый. Держала она себя просто, приветливо и скромно. Говорила грудным своим голосом сдержанно и тихо. Женственна она была. Женственности ее нельзя было забыть ни на минуту. Но в том, вероятно, разгадка несходства ее — ни с кем — и заключалась, что женственность, или даже грубее — женскость, не просто вступила у нее с поэтическим даром в союз (как у Ахматовой) и не отреклась от себя, ему уступив (как у Гиппиус), а

всем своим могучим порывом в него влилась и неразрывно с ним слилась. Отсюда, должно быть, и резкое различие ее ранних (девических) стихов от зрелых — пульса, импульса, ритма их, прежде всего: то, что в тех журчит, в этих клокочет; а также, смею думать, фантастичность иных ее влюбленностей, о которых осведомили нас — едва ли не преждевременно, хоть и посмертно опубликованные письма. Читать их неловко не оттого, что они чересчур «интимны» и «темпераментны»; запачканный смысл этих слов к ним вовсе не подходит; неловкость скорее проистекает из того, что любовь и страстность пребывают всецело в какой-то лирической стратосфере, словно совсем и не ища никакой опоры на земле. Но ведь искала она все же эту опору. Письма были посланы. Адресаты их были живые люди. Жалость, острую жалость испытываешь, понимая, что и они с жалостью письма эти читали. А потом стыдишься, что их прочел, перед памятью о живой Цветаевой.

Тогда, у о. Сергия, когда я впервые ее живую увидел, Елабуга была далеко, посмертное чтение писем еще дальше. Почувствовал я в ней, однако, именно это: насыщенность всего ее существа электричеством очень высокого вольтажа, женским, если о батарее думать (я о ней лишь много позже подумал), но если о тепле и свете — поэтическим. Ничего она не говорила безразличного к интонациям и словам, а потому и не говорила ни о чем, что такое безразличие делало бы неизбежным или единственно уместным. Это не означало непременно выбора возвышенных тем, как в немножко комическом парижском «салоне» Мережковских, собиравшемся по воскресеньям, где все остальные темы назывались «обывательщиной». Ее для Цветаевой не существовало. Мелочей жизни она не замечала, если не могла их преобразить. Без натяжки она их преображала: метким и живым словом или незаметным приподнятием до того этажа, где они без неправды породнялись с вымыслом. Нет натяжки и в ее прозе, к которой близка была очарованностью и очарованием ее речь, а если там натяжка и есть, то лишь оправданно: в местах повышенных сверх терпимой в разговорах меры. Больше ее в стихах, где батарея работает сплошь на предельном напряжении, компенсируя, быть может, жизненную нерастраченность энергии или вынужденное верченье на холостом ходу.

Чтения ее не помню; кажется, и не слышал никогда. Во всяком случае, когда я бывал у нее в Кламаре, она мне стихов не читала и я не просил ее читать. Не просил, боясь, что полной хвалы не смогу им искренно воздать, что не сумею ответить им так, как было бы ей нужно. И еще потому, что вообще немножко стеснялся ее, как и она — мне кажется — меня. Вряд ли она очень усердно читала все писавшееся о ней, но, по-видимому, некоторое представление о моих критических оценках у нее было. Когда оказал я ей однажды маленькую литературную услугу, она не скрыла от меня легкого удивленья насчет того, что оказал эту услугу именно я. Мне оставалось только смущенно бормотать о всегдашнем моем почитании ее дара. Ни о чем для нее важном, и уж тем более ни о чем мучившем ее, мы с ней не говорили. Книжки я ей носил, французские и немецкие, об иностранном и беседовали мы всего чаще. Это не значит, что я часто у нее бывал раз пять, быть может, или шесть, но принимала она меня всегда мило и дружелюбно.

Услуга состояла в том, что по моей рекомендации журнал доминиканцев с улицы Латур Мобур («La vie Intellectuelle») напечатал несколько ею переведенных пушкинских стихотворений (как раз и Песня Председателя была среди них) Я хотел их устроить в «Nouvelle Revue Française», но это мне не удалось. Дело в том, что Цветаева невольно подменила французскую метрику русской. Для русского уха переводы эти прекрасны, но как только я перестроил свое на французский лад, я и сам заметил что для французов они хорошо звучать не будут. Не сказал я об этом Цветаевой, да и о неудаче в N. R. F. не сообщил. Довольно было у нее обид и без того. Трудно ей жилось и в Париже, и в русском Париже. Любили ее здесь или хотя бы достаточно уважали немногие.

Немногим она и облегла первое, во всяком случае из этих чувств.

В последний раз я был у нее сравнительно незадолго до ее отъезда. Речи об отъезде, конечно, не было, может быть и мысли. Генерал Миллер был еще цел и невредим. Эфрон тоже (я его ни когда в глаза не видел. Ничего не было сказано «такого» Раз говор был как всегда, лишь покороче. Грустна была Цветаева и как то растерянна. Комната прибранная аккуратно, казалась почему-то пустой. Две книжки я принес. Дала кому-нибудь? Увезла?

— До свиданья, Марина Ивановна.

— До свиданья.

Как будто и голос ее стал глуше... Каково-то ей было там, в Елабуге.

*1970*

Юрий Иваск <sup>[49]</sup>

## ПО МАТЕРИАЛАМ ПАРИЖСКОГО ДНЕВНИКА 1938 ГОДА

19 декабря. В 6 часов у Цветаевой: 32, rue Pasteur, Hotel Innova, <sup>[50]</sup> номер 36-й, на пятом этаже. Темная передняя, много дверей. Крики, вонь. Стучу наугад: «Эфрон — напротив, чтоб вас черт побрал, monsieur!»

С трудом пробираюсь к Марине Ивановне: весь пол уставлен утварью, и я опрокидываю кофейную мельницу.

Ее бледное лицо. Седоватые волосы. Удлиненный горбик носа. Странные птичьи движения: все под прямым углом. Мур — румяный, толстый, рыхлый.

О Гронском: он погиб на той самой станции метро Пастёр, откуда я только что вышел.

— Ему не подали первой помощи — почему-то ждали пожарных, хотя пожара не было, такое уж правило Истек кровью... Какой он был? Весь — порыв, счастливая внешность.

Марина Ивановна заговорила о деле Плевицкой: <sup>[51]</sup> защищала ее за верность мужу во всем.

Накормила меня обедом (суп, сосиски). Проиграл Муру партию в шашки. Пошли в кафе.

— Теперь Мур не учится, вытурили его из школы за совращение старших товарищей в коммунизм! Может быть, поеду в Россию: для сына, чтобы он там учился. А писать стихов не буду, займусь переводами.

— Марина Ивановна, расскажите историю моего любимого стихотворения — о Давиде:

Пустоты отроческих глаз! Провалы  
В лазурь! Как ни черны — лазурь!

— Москва двадцать первого года. Не растопить «буржуйки» — дымит, а тепла нет. Каши не сваришь, все той же пшенной каши! Стук в дверь. Входит юноша, облаченный в какой-то рогожный мешок. А глаза — очи Давида. Оказалось: поэт, приехавший с юга. Говорю ему растопите печку! Он растопил, и мы заговорились, пшено же подгорело. Стихи его были никакие, но все же — Давид! Миля Миндлин. Принципиальный лентяй...

Недавно прочел его книгу воспоминаний «Необыкновенные собеседники» (1968). Одна глава посвящена Цветаевой. Э. Л. Миндлин рассказывает и о посвящении ему «Отрока», и о том, что позднее это посвящение было снято.

Один изустный миф — о Миле МиндLINE, другой — о графе Платене.<sup>[52]</sup>

— Сицилия. Сплошное солнце, зной. Ослепляет белый песок аллеи. Иду между лаврами. Лавры — черные в этом зное, в этом солнце. Навстречу девочка: делает мне знак. Она немая. Следую за девочкой. Между черными лаврами, по белому песку выходим на круглую площадку, тоже белую. Посредине белый мрамор, бюст с надписью: August Graf von Platen (1796–1835). А я-то понятия о нем не имела! После этой сицилийской встречи прочла его, от доски до доски!

В утерянную записную книжку она вписывает строчку из Платена. Кажется, так:

...mir schlägt das Herz— so hoch  
Wie einen Fürsten bei der Tronbesteinung.

---

Сердце стучит — так сильно,  
как у князя, восходящего на престол.

Проговорили часов пять-шесть. Будто век знакомы...

21 декабря. В 4 часа опять у Цветаевой. Пошли с ней к Гронской, матери погибшего Николая. Дома не застали.

Глаза тускловатые, и их почти не видишь. Марина не смотрит на собеседника, говорит, опустив голову. Негустые удивленные брови, и опять поражают птичьи движения, не округлые, а под углом.

Стихи читает чеканно, но слишком быстро.

— Хотела бы быть дочерью малой страны: Бельгии или Сербии, чтобы все охватить, а Россия слишком велика: не охватишь! Написала бы одну книгу: большую — о маленьком народе.

Рассказывала о Ремизовых, и недоброжелательно: как они еще в России отдали дочку Наташу.

Неожиданно для меня хорошо отозвалась о Зинаиде Николаевне Гиппиус и еще лучше о ее сестре Анне Николаевне.

— У Мережковского есть серьезность. Больше того: есть сущность.

Хорошо говорила об Алле Головиной. [\[53\]](#)

— Перед отъездом отдала бы вам некоторые материалы.

— Не отдавайте, Марина Ивановна. Я живу в Печерах, в Эстонии. Вот-вот грянет война, и нас оккупирует Красная Армия. Лучше отдайте Елизавете Эдуардовне Малер, профессору Базельского университета.

Так Цветаева и сделала, и до сих пор некоторые ее бумаги хранятся в Базеле.

О стихах:

— Первые две строчки часто самые лучшие, и ими следует стихотворение заканчивать. Это мой добрый совет вам...

— Окружающие меня вещи требуют от меня выражения в поэзии, что и делаю. Делает эту работу не мое личное «я», а рабочее «я» трудолюбивой пчелы, которая самое себя не осознает.

— Люблю, когда иностранцы коверкают чужой язык, как, например, Эмиль Людвиг: он недавно выступал здесь по радио. Его французский — ломаный. Но тем лучше! Тут открываются какие-то новые возможности. Конечно, так вот говорить нельзя, но почему бы не попробовать: это вроде опыта! Прежде люди говорили без грамматики, и возникали новые диалекты: было больше разнообразия.

Сидели в кафе «Bel Air» (avenue du Main).

Пальтишко с высоким шерстяным воротником по моде двадцатых годов. По-мужски подпоясывается кожаным ремнем. Старенький колпачок с кисточкой. Серебряное кольцо, серебряный браслет.

22 декабря. Мур спал, и я подждал Марину Ивановну у подъезда отеля Иннова.



Заговорили о Диксоне,<sup>[54]</sup> рано умершем поэте. Он Ремизовых обожал и помогал им. Серафима Павловна<sup>[55]</sup> его будто бы просватала, а когда он женился — выгнала.

— Диксон был необыкновенно красив, так что даже страшно было на него глядеть — ангел!

Марина Ивановна сообщила, что послала в Прагу стихи свои о Чехии.

— Все переведут на чешский язык и даже напечатают вопреки цензуре. Несчастье Чехии — материал для песни: если не сейчас, то позднее запоют...

Еще скажу вам: вот моя заповедь. — Стреляй в убивающего насильника, но, если жертва уже убита, а убийцу преследуют городовые или ажаны, немедля спрячь его у себя под кроватью! Преследуемый всегда прав, как и убиваемый.

Живет, продавая вещи, а предложила купить мне записную книжку.

— Или подарю вам Шекспира в немецком переводе.

Я отказался.

Привез ей баночку варенья от Е. Э. Малер из Базеля.

— Знаете, Мур все съел, мне ничего не оставил, и хорошо сделал!

Вспоминала Москву, где училась в музыкальной школе Зограф-Плаксиной в Мерзляковском переулке. Там и я учился, и оба мы восхищались этой диковинной фамилией.

— Я поступила туда шести лет. Был у меня почти абсолютный слух.

А когда прощались, Марина Ивановна сказала мне:

— Если не будет accident — еще раз увидимся.

Перечел парижский дневник 1938 года и стараюсь оживить в памяти те три встречи. Усиливается впечатление и даже уверенность: Марина Ивановна все повторяла, что твердо решила в Россию вернуться, но вместе с тем как будто ждала, что ее отговорят уехать и чуть ли не насильно увезут куда-то — в противоположном направлении. Но никто не отговаривал, не мешал, не увозил.

Сергей Эфрон [\[56\]](#)  
**ВОЛШЕБНИЦА**

Одной из наших добровольных обязанностей было — стеречь почтальона.

Папа, мама, Люся, Лена, Fräulein, Андрей, даже кухарка с горничной, даже дворник — все получали письма, все, кроме нас. И все-таки, несмотря на эту ежедневно повторяющуюся несправедливость, все письма проходили через наши руки.

Что побуждало нас к этому? Желание сыграть роль в жизни старших, смутная надежда на получение своего письма, наконец — тайна, заключенная в этих больших и маленьких, узких и квадратных, надписанных различными почерками конвертах.

Каждый раз, когда приходил почтальон, мы с Женей в один голос спрашивали: «А нам есть?» — и неизменно слышали ответ: «Вам еще пишут».

Пишут? Кто? — Может быть, какой-нибудь капитан, собирающий юнг для своего корабля, может быть, маленький граф, которого украли цыгане, или Fräulein Else (она в прошлом году уехала в Германию и обещала писать), или та девочка в «Спящей красавице», или просто какой-нибудь король, которому мы понравились и который хочет сделать из нас принцев. Пока письмо не получено, открыты все возможности.

Дни по письмам делились нами на хорошие, «ничего себе» и бедные Хорошие — пять, шесть писем, открытки с картинками и газета; «ничего себе» — письма два и газета; бедные — одна газета!

Какое разочарование! Нести одну-единственную газету — какой стыд! Еще немного, и мы бы начали оправдываться при виде стольких разочарованных лиц.

Иногда мы обманывали, говоря, что нет писем. Особенно приятно было проделывать это с Люсей.

— Мне есть?

— Нет, только маме!

— Ну, хорошо! Узнают они, что значит не отвечать на письма!

— А что значит? — любопытствовали мы, с трудом сдерживая смех.

То, что я никогда, никому из них не...

— Há!

Нужно было видеть мгновенную перемену ее лица! Сдвинутые брови расходились, глаза из слишком темных снова превращались в желтые, улыбка расплывалась во все лицо... От радости она даже забывала сердиться.

Дразнить Лену не представляло для нас и половины того интереса. Более сдержанная, она ограничивалась ответами вроде: «Странно», или: «Я и сама давно не писала». Отсутствие Люсиных угроз отнимало у нас всякое желание устраивать Лене «сюрпризы». Потому мы и в этот день сразу отдали ей письмо.

— От Мары! — воскликнула она, осторожно обрывая краешек конверта.

Через минуту весь дом уже знал, что завтра, с вечерним поездом, приезжает из Петербурга ее бывшая гимназическая подруга Мара.

Каждый отнесся к этому известию по-разному: мама — спокойно, Люся — радостно, Андрей — насмешливо («какая такая Мара?»), мы — с любопытством, папа — довольно недоброжелательно.

— Она какая-то сумасшедшая, твоя Мара, — сказал он в ответ на Ленино известие. — Ни в одной гимназии не ужилась, из последнего класса вышла. Что она теперь делает?

— В предпоследнем письме она писала, что выходит замуж, но теперь все расстроилось. Оказалось, что жених выдавал ей чужие стихи за свои.

— Она увлекается стихами?

— Она сама пишет! — гордо ответила Лена.

— А сколько ей лет?

— Семнадцать.

Папа снова принялся за газету. Лена, обиженная за подругу, обратилась к нам:

— Вы рады, что она приезжает?

— А она с маленькими разговаривает?

— Конечно. Она вас даже полюбит.

— Наверное?

— Если вы будете себя хорошо вести.

В ответ на эту давно знакомую фразу Женя только выразительно свистнул. «Хорошо будем себя вести» — значит, она нас не полюбит.

Вот Лена всегда так: начнет хорошо, а кончит как большая! Мы пошли в детскую, обиженные и мстительные. Мару мы уже разлюбили.

— Но ведь папа сказал, что она сумасшедшая! — воскликнул Женя, занявшийся было увеличением дыры в занавеске (признак дурного настроения).

— Он шутил, — недоверчиво возразил я.

— Ни капельки не шутил — он даже не улыбнулся. Чего же тут особенного? Мало ли сумасшедших!

Но разве сумасшедших надо слушаться? Что ты! Они сами должны всех слушаться, они хуже маленьких.

— Откуда ты знаешь?

— Помнишь, когда мы чуть-чуть не зажарили соседскую курицу, мама сказала, что мы с ума сошли.

— Так что же?

— Значит, они хуже.

Нельзя сказать, чтобы Женино объяснение отличалось особенной ясностью, но основное было вне сомнений: Мара — сумасшедшая.

— Нужно напомнить об этом Лене, — предложил я. Мы побежали к ней в комнату.

— Что вам надо? — недовольно спросила она, закрывая какую-то тетрадку.

— Лена, а Мара нас будет слушаться?

— Слушаться — вас?

— Папа сказал, что она сумасшедшая, а сумасшедшие всех должны слушаться.

— Даже маленьких, — дополнил Женя.

— Идите и не приставайте с глупостями, — сухо сказала Лена. — Вы даже шуток не в состоянии понять! Мы вышли.

— Ей стыдно, что у нее сумасшедшая подруга, — догадался Женя.

— Я на ее месте был бы очень рад, — произнес я задумчиво. Мара-сумасшедшая нравилась нам больше Мары — «ведите себя хорошо».

## II

С самой минуты Лениного отъезда на вокзал мы беспрестанно подбегали к окнам.

Первый взрослый человек, который будет нас слушаться, — да еще сумасшедший! Нетрудно понять наше нетерпение.

Марино сумасшествие приняло со вчерашнего утра сверхъестественные размеры. Она не только все время поет, кричит и танцует (это ведь часто можно встретить и у не-сумасшедших), но, когда говорит, брызжет пеной, когда трясет волосами — мечет искры; из ноздрей ее, как у дикой разъяренной лошади, клубами вылетает пар; руки с длинными когтями, глаза как у кошки, облитой одеколоном, ноги с копытами...

В последнем, впрочем, Женья усомнился. (Рассказывал я.)

— Если она с копытами — она черт! — заявил он.

— Какой ты смешной. Разве лошадь — черт?

— Как же она будет ходить по паркету?

— Научится, — в цирке лошади даже танцуют.

— Она все вещи перебьет.

— Нужно будет все прятать.

— У нее все время пена на губах?

— Конечно.

— А вдруг она с нами полезет целоваться?

— Потом вымоешься, а может быть, тоже сделаешься сумасшедшим.

— Я не хочу.

— Так не целуйся, — скажи, что у тебя насморк.

— Очень она испугается! Я скажу: скарлатина, дифтерит...

— Чума, — предложил я.

— Да, да' — обрадовался Женья.

Время за этим разговором летело быстро. Прошло уже около часа с Лениного отъезда.

Взволнованные предстоящей встречей и собственными догадками, мы так и прилипли к стеклу. Напрасно звала нас Люся пить

молоко, напрасно со двора доносились звуки шарманки, — мы не двигались с места.

И вот наконец, когда к Мариным когтям и копытам прибавился еще хвост, раздался звонок. Коротко и резко — так звонила только Лена.

— Как же мы не видели санок?

— Мы смотрели слева, а она приехала справа.

— Пойдем отворять?

— Еще вцепится, пусть лучше Дуня откроет. Мы остановились у рояля.

Вот Дуня отодвигает засов; запела дверь. В передней Ленин голос:

— Раздевайся скорей, ты, наверное, совсем замерзла.

— Совсем не замерзла, мне всегда жарко!

Она! — Сумасшедшим всегда жарко.

Мы беремся за руки. Я, как старший, делаю шаг вперед. Вытягиваем головы. Вот кусочек Лениной шубы, вот что-то темное на полу. Сумасшедшая приехала и начала беситься!

Голос Мары:

— Такое маленькое, лиловенькое — я без него жить не могу!

Голос Лены:

— Не беспокойся, сейчас найдем. С цепочкой?

— Да, с серенькой, то есть с серебряной. Оно у меня с одиннадцати лет! Господи, Господи!

— Ты только сейчас заметила, что его нет?

— Да, на извозчике я его еще щупала.

— Надо позвать мальчиков, — они всегда все находят. Мы так и застыли. Сумасшедшая потеряла свою цепь, и мы теперь должны ее найти.

— Кира! Женя! Идите скорей!

Глядим друг другу в глаза; я дергаю Женю за руку. Секунда молчания.

— Сейчас!

Мы в передней. Лица Мары не видно, она ползает по полу спиной к нам. Лена в шубе стоит на корточках и шарит руками под вешалкой.

— Мара сейчас уронила свое сердечко; поищите хорошенько.

Сердечко? Бедная Лена!

— Что же вы стоите?

Будь, что будет! Становимся на колени, стараясь не дотрагиваться ее синего платья. Шарим под вешалкой без всякой надежды найти, — разве можно потерять сердце?

— Мара, — говорит Лена, вставая, — может быть, оно у тебя где-нибудь спрятано?

— Ты думаешь? Нет, кажется... Я сейчас посмотрю. Синяя юбка метнула меня по лицу. Сумасшедшая встала. Я тоже встаю. Большая девочка в синей матроске. Короткие светлые волосы, круглое лицо, зеленые глаза, прямо смотрящие в мои.

— Кира или Женя?

— Кира.

Она опускает руку за матросский воротник. Вынула сначала огромный складной нож, потом портсигар и маленькую кукольную голову. Опустила все обратно, роется еще. Вытащила кошелек, открыла.

— Нашлось! Женя, не ищи! Лена, смотри, вот оно! В высоко поднятой над головой руке лиловый камешек на цепочке.

— Слава Богу! Я без него жить не могу!

— Идем скорей чай пить, ты, наверное, простудилась, — озабоченно говорит Лена, успевшая за это время снять шубу. Все выходят, кроме нас.

— Копыт нет, а когти есть, — шепчет Женя.

— Видел?

— Слышал, как скреблась.

— Посмотрим ее шубу!

Рядом с Лениной шубой что-то странное, коротенькое, лохматое — медвежья шкура шерстью вверх.

— Не трогай! — останавливаю я Женю. — Еще заразишься и сам с ума сойдешь.

В столовой сидели папа, сестры, Андрей и Мара. Последняя, впрочем, не сидела, а стояла, прислонившись к печке. Люся разливала чай.

— Вам, Мара, какого? Крепкого, среднего или слабого?

— Черного, как кофе.

— Ведь это очень вредно...

— Страшно действует на нервы, отравляет весь организм, лишает сна, — скороговоркой продолжала Мара.



— Зачем же вы его пьете?

— Мне необходим подъем, только в волнении я настоящая.

— Вы слишком дорого оплачиваете это волнение. Подумайте, что с вами будет через два-три года, — сказала Люся. Мара нетерпеливо замотала головой.

— Через три года мне будет двадцать лет, — это пока ясно и несомненно. И еще ясно, что я не хочу и не могу жить долго.

Мы с интересом следили за ее ответами. Не хочет и не может жить долго? Наверное, она боится, что еще больше сойдет с ума и ее запрут в клетку. Бедная!

Папа предложил ей сесть.

— Благодарю вас, я никогда не сижу, я терпеть не могу сидеть.

— Неужели вечное стояние вас не утомляет?

— Я ведь не целый день стою, — хожу или, когда устану, лежу.

— Вы, кажется, горячий противник гигиены?

— Люди, слишком занятые своим здоровьем, мне противны. Слишком здоровое тело всегда в ущерб духу. Изречение «в здоровом теле — здоровая душа» вполне верно, — потому я и не хочу здорового тела.

Папа отодвинул чашку.

— Так здоровая душа, по-вашему?..

— Груба, глуха и слепа. Возьмите одного и того же человека здоровым и больным. Какие миры открыты ему, больному! Впрочем, все это давно известно!

Она вздохнула.

— Вы, наверное, много читаете?

— Можно мне закончить вашу мысль?

— Пожалуйста.

— Вы сейчас смотрите на меня и думаете: «Тебе семнадцать лет, ты еще ничего не видела от жизни и считаешь себя умной, потому что много читала для своих семнадцати лет». Так ведь? Я действительно считаю себя умной. Умной — да, по сравнению с другими. Но главное, что я ценю в себе, — не ум.

Она внезапно опустила глаза.

— А что же, можно спросить? — сказал папа.

— Вам, наверное, странно, что я так говорю с вами, — как равная с равным. Не беспокойтесь, никто больше меня не уважает старости.

Тут папа улыбнулся.

— Я хочу дать вам верное понятие о себе. Если бы я сейчас замолчала, вы бы сочли меня за рисующуюся, самовлюбленную девчонку. Но я не такова, потому продолжаю. Мы говорили о главном, что я ценю в себе. Это главное, пожалуй, можно назвать воображением. Мне многого не дано: я не умею доказывать, не умею жить, но воображение никогда мне не изменяло и не изменит.

— Мара, ты, наверное, устала с дороги, пойдем спать, — сказала Лена, вставая.

— Пойдем, но не спать! Я тебе ужасно много должна рассказать! — весело воскликнула Мара.

Напряженное выражение на ее лице сменилось новым, детски-лукавым и нежным. Простившись со всеми взрослыми — с папой особенно вежливо, — она подошла к нам:

— Вам скучно было все это слушать?

— Совсем нет! — в один голос ответили мы.

— Ну, скажи. Женя, что ты понял из моих слов? Я, между прочим, уверена, что ты все великолепно понял.

— Что вы не хотите долго жить, что вы умная...

— Bravo! Еще?

— Что вы боитесь... — Женя замялся.

— Чего боюсь?

— Что вас посадят в клетку.

Лена сильно дернула его сзади за рукав.

— Идем. Мара, детям спать пора. Видишь, Женя уже бредит!

— Нет, это интересно!

— Идем, — повторила Лена, делая в нашу сторону большие глаза.

— Завтра вечером ты мне это объяснишь, Женя, хорошо? Желая вам чудных снов, мальчики.

Странные сны нам снились в эту ночь.

### III

Когда мы на следующее утро вышли к чаю, мы не узнали вчерашней Мары. Серо-бледная, с крепко сжатыми губами, сидела она у стола, порывисто мешая свой кофе ложечкой. При виде нас она покраснела и молча протянула нам руку.

Обиделась ли она на Женю? Считает ли нас слишком маленькими?

Мы спросили у Лены.

— Днем она всегда такая. Только не подавайте вида, что заметили; она из-за этого способна уехать.

Странная сумасшедшая! Да вообще—сумасшедшая ли? Конечно, она не как все: курит одну папиросу за другой, вчера вечером не переставая говорила, сегодня не переставая молчит... Но где же пена у рта, дикие танцы, хохот, копыта, когти? Даже когтей у нее нет, — Женя ошибся. Просто очень длинные ногти. Не совсем понятно тоже, почему она сегодня сидела за столом, когда этого терпеть не может? Разве ее кто-нибудь заставлял? И почему покраснела, здороваясь с нами?

К завтраку она не вышла. Напрасно все по очереди, не исключая папы, приглашали ее.

— Благодарю вас, мне не хочется есть.

— Но вы и утром ничего не ели. Разве можно жить одним черным кофе? Вы совсем ослабеете.

— Наоборот, — чем меньше я ем, тем лучше себя чувствую. Когда подали сладкое, мама послала нас с Женей еще раз позвать ее. Первым начал я.

— Мара, мама очень просит вас съесть сладкое.

— Какое сладкое?

— Как каждый день, такое же. Тут вмешался Женя:

— Мама сказала, чтобы мы привели вас к столу. Мы сейчас едим компот, и вам еще много осталось.

— Слушайте, мальчики, — начала Мара, затеняя лицо руками, — скажите маме, что я очень благодарна ей, но никогда завтракать не буду. Ни сегодня, ни завтра — никогда.

— Почему? — спросили мы в один голос.

— Вы когда-нибудь бывали совершенно сыты? Так сыты, что противно даже думать о еде?

Мы помолчали. Потом Женя сказал:

— Бывали — один раз, на именинах у дяди Володи Я тогда съел семь пирожных, а Кира девять.

— Отлично. Ну, а я всегда сыта, точно одна съела семь и девять пирожных.

— Да ну-у? — почтительно удивился Женя.

— Совершенно так. Поняли? Теперь подите и скажите это маме. И ради Бога, не возвращайтесь больше с этим!

Марины слова, в точности нами переданные, страшно рассмешили всех, кроме Лены.

— Очень странно смеяться над такой простой вещью, что человеку не хочется есть, — сказала она.

— Не в святые ли она собирается? — насмешливо спросил Андрей.

Лена, не отвечая, вышла из столовой. Мама с папой переглянулись.

До самого обеда Мара не показывалась.

— Я прямо не знаю, как с ней быть, — говорила мама Лене, — ведь это твоя подруга, ты должна же знать ее немножко.

— Я ее очень хорошо знаю — не ее, а ее привычки. Она непременно будет обедать. При лампе она никого не стесняется.

За обедом — она обедала стоя — снова начался разговор о еде.

— Мне так неприятно доставлять вам беспокойство, — говорила она, пуская дым кольцами, — я бы так хотела объяснить вам, что питание — совершенно второстепенная вещь.

— Я и не утверждаю, что в нем весь смысл жизни, — улыбаясь, сказал папа.

— Значит, в этом мы сходимся. Но я скажу больше: еда — явление совершенно отрицательное. После обеда люди всегда глупеют. Разве сытому человеку придет в голову что-нибудь необыкновенное? Разве в минуту подъема человек думает о еде? Чем умнее человек, тем меньше он ест...

— Судя по тому, как мало вы кушаете, вы, должно быть...

— Андрей! — сердито воскликнула Лена. Мара пожала плечами.

— Вы совершенно правы, — продолжала она спокойно, — и я могу привести вам много примеров.

— Пожалуйста.

— Но я этого не сделаю.

— Почему?

— Вспомните бисер и свиней!

— Благодарю вас!

Мама нагнулась к Андрею и что-то пошептала ему на ухо. Он покраснел и налил себе воды. Все замолчали.

Мара, давно отставившая тарелку, стояла, высоко подняв голову, — теперь кудри лежали у нее по плечам — и рассматривала свой дым.

Так кончился обед.

## IV

— Мальчики, вы спите?

— Нет, не спим.

— Я пришла поговорить с вами.

Пахнуло дымом. На пороге темная, тонкая фигура Мары.

— Почему вы не спите?

— Кира рассказывает мне сказку.

— О чем?

— О колодце и девочке, которая по ночам не спит.

— Значит, обо мне?

Мара садится на мою постель.

— Нет: вы не девочка, вы большая.

— Я не большая! — тихо смеется она. — Я совсем маленькая — как ты, как Женя.

— Вам семнадцать лет!

— Кто это тебе сказал?

— Лена.

— Лена не знает. Впрочем, я сама не знаю. Мне и семь, и семнадцать, и семьдесят.

— Значит, вы совсем старая? — доносится с другой кровати испуганный голосок Жени.

— Иногда. Сейчас я совсем маленькая. Кира, расскажи же мне свою сказку, — говорит она, помолчав.

— Вы будете смеяться.

— Нет, я не буду смеяться.

— Про что же мне рассказывать?

— То же самое, что Жене, — о колодце и девочке. Только, мальчики, говорите мне «ты», или я вам буду говорить «вы».

— Мы всем большим гостям говорим «вы».

— Я — маленькая.

Я приподнимаюсь на локте и тихонько трогаю ее локоны.

— Вы не рассердитесь, если я вам... тебе скажу одну вещь?

— Конечно, нет. Говори!

— Другие говорят, что ты сумасшедшая. Мара молчит, потом берет мою руку, — ту, что гладила ее по волосам.

— Значит, вы меня боитесь оба?

— Нет, ты совсем не страшная Мы думали, ты с когтями и копытами, а ты просто большая девочка.

— Маленькая, — поправляет она.

— Почему же у тебя такое длинное платье?

— Платье — вздор. Впрочем, ты прав, — оно ужасно длинное. Я бы хотела быть мальчиком.

— Fräulein нам рассказывала, что когда вся земля затрясется, все мальчики будут девочки, а все девочки — мальчики, — задумчиво говорит Женя.

— Ты наверное это знаешь?

— Наверное.

— Это будет чудно! Ну, что же, Кира, а сказка?

— Раз был один колодец — глубокий, глубокий; в нем была серебряная вода. И была еще одна маленькая... нет, большая девочка с золотыми кудрями.

— Ты говорил — с черными, — обиженно поправляет Женя.

— А теперь она с золотыми. Эта девочка никогда по ночам не спала, — все бегала, всюду рылась. Она была очень непослушная девочка. Ну, вот, когда мама заснула, она выбежала в сад. А ночь была темная, страшная-страшная. Она испугалась и стала кричать, но никто ее не слышал, потому что все спали. Тогда она еще больше стала кричать. И вдруг за ней кто-то затопал. Она не знала, что это добрый медведь, и побежала. Бежала, бежала и — бух в колодец. А вода в нем была серебряная.

— А потом? — спросила Мара.

— Потом — не знаю, Я еще не выдумал.

— Это прекрасная сказка. Твоя девочка очень похожа на меня — я тоже никого не слушаюсь и тоже не сплю по ночам.

— Что же ты делаешь?

— Читаю, пишу, курю, хожу по комнате.

— А тебе не страшно ночью?

— Иногда страшно — когда я забываю о своем сердечке. Это мой талисман. Мне его подарил один человек, когда мне было одиннадцать лет. С тех пор я с ним не расстаюсь.

— Что это—талисман?

— Вещь, которая бережет от несчастья. Пока на тебе талисман, ты не утонешь, не наделаешь глупостей. Я недавно сделала страшную глупость.

— Какую?

— Я не знаю, поймете ли вы... Нет, конечно поймете! Дело в том, что один человек читал мне чудные стихи и говорил, что он их сам сочинил. Мне они ужасно нравились, и я сделалась невестой этого человека.

— Как невестой? Ведь ты маленькая!

— Это было ужасной глупостью Во-первых, я маленькая, а во-вторых, это были не его стихи, а чужие. Он мне все выдумывал. Я сказала ему, что презираю его, и уехала.

— К нам?

— Да.

— А он за тобой не приедет?

— Пусть попробует! Я ему покажу! — сердито воскликнула Мара, и я видел, как вздрогнули ее тонкие ноздри.

— Ты на него очень сердисься? — спросил Женя.

Она встала с постели и несколько раз прошлась по комнате. Потом, наклонясь над Женей, спросила:

— Представь себе, что человек, которого ты любишь и в которого веришь, ну Люся или Лена, тебя обманул. Что бы ты ему сказал?

— Что это очень плохо!

— Понимаешь, если бы этот человек прямо сказал мне: «Это прекрасные стихи, но писал их мой товарищ», — я бы тогда не сердилась. Но сказать, что сочинил их он, и знать, что я люблю его за чужие стихи, — какая гадость! Я бы хотела, чтобы он уехал в Америку!

— Я тоже хочу в Америку, — сказал я.

— Зачем?

— Так... Интересно на корабле. Ты когда-нибудь ездила на корабле?

— На воздушном.

— Разве есть воздушные корабли?

— Конечно, есть. Мы еще с вами поедем!

— Правда? Когда?



— Как-нибудь вечером. Послезавтра, кажется, будет новолуние — это лучшее время для такой поездки.

— Ты нарочно это говоришь?

Сердце мое забилося.

— Я говорю вполне серьезно. Царь луны, мальчик-месяц, мой большой друг. У него много воздушных кораблей, и он с удовольствием даст мне один.

— Он добрый?

— Очень добрый. Послезавтра вы о нем узнаете. Комната мало-помалу наполнялась дымом. Мара курила не переставая. То и дело трещал, открываясь и закрываясь, металлический портсигар, то и дело чиркала спичка. Окруженная облаком дыма и сиянием коротких пышных кудрей, это была уже не Ленина подруга Мара, которая утром краснела и за обедом спорила с папой.

— Мара, — сказал я тихо, — я знаю, кто ты.

— Кто?

Ее блестящие глаза пристально взглянули в мои.

— Ты — волшебница. Правда, Женья?

— Правда!

— Догадались? Как я рада! Я сразу увидела, что вы меня поймете.

Как же вы это узнали?

— Ты знакома с мальчиком-месяцем?

— Ты так легко ходишь!

— У тебя такие глаза, такое сердечко!

— И такие волосы.

— Ты по ночам не спишь, ты ничего не ешь, у тебя...

— Ты такая чудная!

— Мальчики мои! Ты, Кира, — золото, ты, Женья, — бриллиант! вы оба — аметистовые сердечки, как у меня на шее!

— А другие знают, что ты волшебница?

— Никто не знает.

— Даже Лена?

— И она не знает, — только вы, мои золотые, серебряные мальчики. Недаром у вас аквамариновые глаза. Это такой драгоценный камень цвета морской воды.

— Ты любишь море?

— Вы любите стихи, да? Ну, слушайте:

Пока огнями смеется бал,  
Душа не уснет в покое  
Но имя Бог мне иное дал:  
Морское оно, морское!  
В круженье вальса, под нежный вздох  
Забыть не могу тоски я.  
Мечты иные мне подал Бог:  
Морские они, морские!  
Поет огнями манящий зал,  
Поет и зовет, сверкая.  
Но душу Бог мне иную дал  
Морская она, морская!<sup>[57]</sup>

Мара кончила. Имя морское, душа морская, — может быть, она русалка?

— Ты русалка, Мара?

— Я все — и волшебница, и русалка, и маленькая девочка, и старуха, и барабанщик, и амазонка, — все! Я всем могу быть, все люблю, всего хочу! Понимаете?

— Конечно, ты волшебница!

— Закройте глаза!

Когда мы их открыли — она уже исчезла.

Часы в гостиной пробили двенадцать.

Снова ночь, снова вспыхивающий огонек папиросы, снова моя рука в спутанных волосах волшебницы Мары. Лица ее не видно; от всей Мары — только голос. Три перекликающихся голоса в темноте.

— Кира, что, по-твоему, старость?

— Это когда ходят с палкой, надевают очки и кашляют. Все лицо в складочках, и после каждого слова: «э-э-э».

— А по-твоему, Женя?

— Это когда мальчик растет, растет и вдруг седой станет и у него уже внуки.

— Ты бы хотел быть старым?

— Нет, старому страшно. Идет, ничего не видит и раз — под конку! А ты бы хотела быть старой?

— Тоже нет. Сейчас мне семнадцать лет, и я все могу. Хочется лезть на дерево — лезу, кататься по ковру — катаюсь. Мне все позволено. Но представь себе пожилую даму, лезущую на дерево, — нелепо, правда?

Мы расхохотались.

— Вот видите, вам смешно. А по-настоящему это не смешно, а ужасно. Положим, я живу все дальше и дальше. Мне уже не семнадцать, а двадцать семь, а тридцать семь, а сорок семь лет. Обо мне говорят уже не «молодая девушка», а «пожилая дама». От меня требуют разумного поведения, спокойного взгляда на жизнь, знания ее. А в глубине я все тот же сорванец, та же семнадцатилетняя, с тем же сердцем и той же душой. Я прекрасно знаю, что кататься по полу со старым лицом — нельзя, невозможно, нелепо, смешно. Мне приходится сдерживать себя, изменять настоящей себе из-за этого старого лица, — быть почтенной дамой, над которой я сама смеюсь. Это ужасно, ужасно!

— Ты, наверное, уж скоро будешь старой?

— Лет через десять, — то есть не старой, а среднего возраста. Это еще хуже... Впрочем, довольно об этом!

Она вздохнула и положила голову рядом с моей на подушку. Мне вдруг захотелось ее утешить.

— Ты — волшебница, а волшебницы всегда молодые и красивые. Я читал в сказках.

— И у тебя ведь волшебная палочка, — добавил Женя. Мара слегка приподняла голову, мягко щекоча меня по щеке волосами.

— Какие вы оба умные! Конечно, я не могу состариться. Я только пошутила, я ничего не боюсь. Довольно об этом! Будем говорить о веселом. Расскажите мне что-нибудь страшно глупое!

— Мы про глупое ничего не знаем, — с достоинством ответил Женя.

— Мы, когда были маленькие, очень много говорили глупостей, но теперь мы все позабыли, — отозвался я.

— Жалко! Ну, тогда другое. Ты, Кира, начни что-нибудь рассказывать, потом будет продолжать Женя, за Женей я. Начинай, Кира!

— Когда один человек играл на рояле, у него сломался палец. Он пошел на улицу и схватил одного другого человека за руку и оторвал у него палец. Тот разозлился и пошел к городовому. Тогда тот, с роялем, тоже оторвал у городского палец. Городовой заплакал, и другой человек тоже. И вот они плакали, плакали, плакали...

— Довольно, Женя, дальше!

— И вот они плакали, плакали, и вокруг них уже было целое озеро. Против городского жила одна девочка. Она выбросила свои калоши из окна, потому что они ей надоели. А ей как раз нужно было ехать на бал. Вот она вышла на улицу и видит: всюду вода, все извозчики потонули, и от домов — одни крыши. Как же теперь без калош?

— Довольно, Женя! Я продолжаю. Тут она вспомнила, что ее няня всегда сравнивала ее губы с калошами. Она страшно обрадовалась, вытянула губы и — представьте себе! — вместо калош получился целый мост. Было уже поздно, бал уже давно начался, — пришлось бежать по собственным губам. В замке уже звенела музыка, сияли все люстры, кружились пары... Она вбегает в залу и — о, ужас! — громкий смех! Оглядывается, за ней тащится весь мост! Продолжай, Кира!

— Тогда она подняла мост, как слон хобот, и начала всех им бить, и скоро все убежали. Она осталась одна и до утра танцевала. — Все!

— Прекрасный рассказ! — воскликнула Мара. — А вы еще думали, что все это забыли. Нет, глупостей нельзя забывать. Только в них спасенье!

— Но ты сама ведь умная? — спросил Женя.

— Только умные люди делают настоящие, самые глупые глупости. Ты сейчас поймешь. Положим, что как-нибудь утром мама скажет тебе: «Бегай, играй, гуляй целый день, только не учись!»

— Мама так не скажет! — мгновенно вставил я.

— Представь себе такое чудо. Бывают же чудеса!

— Бывают: я раз утром нашел у себя в постели шоколадку. Как она туда попала, совсем не знаю!

— Вот видишь! Итак, мама позволила тебе целый день ничего не делать. Ты вышел на двор, погнался за соседской кошкой, порыл колодец, залез к Каштану в будку, попробовал в сарае испорченный велосипед — словом, взял от свободы все, что мог. И вот ты вернулся домой пить чай.

— Мне чая не дают, только по воскресеньям, и то с молоком.

— Хорошо. Ты выпил свое молоко и опять побежал играть. Опять роешь колодец, подманиваешь кошку и т. д. В этом кончается день. На другое утро мама вдруг запрещает тебе выходить из комнаты, ты должен сидеть и учиться. Только вечером тебе удастся поиграть на дворе. Когда же веселей играть — после целого дня игры или целого дня учения?

— Если я целый день буду учиться, я умру. Это доктор сказал.

— Или сойдешь с ума, — что говорю я. Да, к чему я тебе рассказывала всю эту скучную историю?

— Я не знаю.

— И я тоже не знаю. Иногда мелькнет какая-нибудь мысль, попробуешь подтвердить ее примером — и кончено, исчезла! Это все равно что, идя куда-нибудь на елку, заходить по дороге во все дома, где тоже елка. В конце концов забываешь, куда шел. Положим...

— Ты все время говоришь «положим».

— «Положим» то же самое, что «представь себе». Жизнь так скучна, — ты скоро в этом убедишься, — что все время нужно представлять себе разные вещи. Впрочем, воображение — тоже жизнь. Где граница? Что такое действительность? Принято этим именем называть все, лишненное крыльев, — принято мной, по крайней мере.

Но разве Шенбрунн — не действительность? Камерата, герцог Рейхштадтский... Ведь был же момент, когда она, бледнея, поднесла к губам его руку! Ведь все это было! Господи, Господи!

— Ты, когда была маленькая, тоже все время представляла разные вещи?

— С самого дня рождения!

— И тоже так много говорила?

— Мое первое слово было — «гамма» Поэтому мама вообразила, что из меня выйдет, по крайней мере, Рубинштейн. Семи лет меня отдали в музыкальную школу. Что это было! Дома — два часа у рояля, в школе — два часа... Когда меня сбавляли одну, я мгновенно слезала с табуретки и делала реверанс воображаемой публике. Я так хотела славы! Теперь это прошло. В нашей школе устраивались музыкальные вечера, на которых присутствовали родители учащихся. Как я помню свое первое выступление! Мне надели розовое платье с широким поясом, завязали в волосы бант и отмыли пемзой чернила с пальцев. На извозчике я, при свете фонарей, перечитывала программу, где на первом месте стояло мое имя. Наконец мы приехали. Я сразу побежала в темный класс и, не снимая перчаток, сыграла свою пьеску. Публика понемногу собиралась. Гул голосов, смех У входа на эстраду уже стояла Женя Брусова, звезда нашей школы. С ней я должна была играть в четыре руки. Мне было семь лет, ей лет семнадцать-восемнадцать. Я играла плохо, она чудно. Я ее обожала. Наконец — третий звонок. Занавес поднимается. Я вбегаю по лесенке на эстраду, делаю реверанс. Сколько людей! И как они все на меня смотрят! Сажусь Женя пододвигает табуретку со мной к роялю. Оправляю платье. Женя шепчет: «Только не спеши! Ну, раз, два, три!» Мы начинаем. Все идет хорошо: я нигде не ошибаюсь, не тороплюсь, — скоро уж вторая часть. Вдруг — смех, все громче, громче... Я смотрю на Женю у нее как-то странно дрожат губы. Что же это такое? Тут я заметила, что с первого такта считала вслух: «Раз и, два и, три и, четыре и», как дома и на уроке. Поняв это, я замолчала. Смех быстро затих. Но когда я делала прощальный реверанс, все лица улыбались.

— А потом? — спросили мы в один голос.

— А потом меня с лесенки подхватил директор, подбросил в воздух и сказал. «Молодец, Мара!» Я побежала к маме, она смеялась. Все смеялись и поздравляли меня. К концу вечера у меня слипались

глаза. Когда мы с мамой одевались, в переднюю вошел директор, положил мне в муфту руку и вынул оттуда яблоко. «Что это у тебя. Марочка, в муфте яблоки растут?» Я отлично поняла, что это он сам положил туда яблоко, но стеснялась сказать. «Отвечай же, Мара!» — строго сказала мама. Но я упорно не поднимала головы. Тут меня выручила Женя: «Мара, наверное, сейчас седьмой сон видит!» И, нагнувшись, поцеловала меня. Потом мы с мамой сели в санки и поехали по тихим, снежным переулкам.

— А яблоко ты съела?

— Конечно, тут же!

— А что теперь с Женей?

— Не знаю. Десяти лет я уехала за границу и больше не возвращалась в школу.

— Ты ее и теперь любишь?

— Да, как все прошлое.

— Расскажи еще!

— Вот другой случай, тоже смешной. Мне тогда было четыре года. Мы с мамой пришли в гости к моей крестной в чудный дом, заставленный старинной мебелью, пальмами, зеркалами. На столах лежали дорогие безделушки и конфеты, на полу — белые медведи в виде ковров. (Помню, как я целовала одного прямо в морду!) После чая мама отпустила меня погулять по комнатам. «Только ничего не трогай на столе! Не будешь?» — «Не буду!» — «Ну, иди!» Я пошла. Я, маленькая, была очень серьезная и неподвижная, с большой головой и волосами до бровей. Ну, иду, рассматриваю вещи, ничего не трогаю. Вдруг — кресло. Раз оно не на столе, его можно трогать. Тронула, обхватила, потащила. Тащу через все комнаты, — покраснелась, запыхалась. Ставлю прямо перед мамой. «Ты зачем его принесла?» — «Оно не на столе было!» Общий хохот. Прощаясь, крестная сказала мне: «Приходи к нам. Марочка, комнаты у нас просторные, конфет много».

«Да, — серьезно ответила я, — комнаты-то и у нас просторные, только конфеты у мамы заперты».

— Твоя мама всегда запирала конфеты?

— К несчастью, да. Но как-то раз к нам приехала одна мамина знакомая и привезла нам три шоколадных яйца. Мы с Адей — это мой брат — сразу съели свои, а Аля — моя маленькая сестра — побоялась

огорчить маму и не съела. Приезжает мама. Няня ей еще в передней успела что-то рассказать про яйца. «Ну, дети, покажите мне шоколадные яйца!» Мы стоим рядом. Аля за спиной передает Аде свое яйцо: «Вот». — «А твое, Мара?» Адя мгновенно прячет его за спину и передает мне. Я храбро показываю. «Дай-ка его мне на минутку!» Кончено, — бедная Аля! Мама сначала очень рассердилась, а потом смеялась и хвалила Алю.

— Аля тоже была с большой головой?

— Нет, с маленькой. Она была совсем другая, — веселая, ласковая, приветливая, всем улыбалась, ко всем шла. Когда ей было три года, она снималась. Сама положила ногу на ногу, сложила руки, улыбнулась и спросила фотографа: «Хорошо?» Но она ужасно часто плакала. Чуть подадут суп, сейчас же: «И-и-и». Мама — упрасивать: «Аленька, милая, золотая!» — «Аинька не хочет». (Она сама себя звала Аинькой.) «Ну, одну ложку! Ну, ради мамы!» — «И-и-и». Или мы что-нибудь отнимем у нее, сейчас — к маме. Идет по лестнице: «И-и-и», — в зале, в гостиной уже тише (нужно же беречь голос!), а как подойдет к маминой двери, сразу изо всех сил.

— Она хитрая была!

— А вы не хитрые?

— Тоже хитрые. Мара, я у тебя хочу одну вещь попросить!

— Какую?

— Хочешь быть моей сестрой?

— И моей тоже!

— Нет, одной моей! Я первый сказал. Правда, Мара, я первый сказал?

— Правда, Кира, но я все-таки не согласна.

— Почему?

— Если я буду твоей сестрой, мне придется читать тебе нравоучения, заставлять тебя мыть руки, не позволять на прогулках водить пальцем по заборам. Ты меня в конце концов разлюбишь. Когда ты через несколько лет прочтешь «La Princesse lointaine»,<sup>[58]</sup> ты меня поймешь.

— Какая это Princesse?

— Лучшая из всех, — лучше Спящей красавицы, лучше Золушки и всех других. У меня к вам одна просьба, мальчики: каждый вечер



молитесь о здоровье и долгой жизни Ростана. Это принц, который нашел эту принцессу.

— Где?

— В замке Триполи, на берегу моря. Он, кроме нее, нашел еще одного принца — сына Наполеона, герцога Рейхштадтского.

— Я про Наполеона знаю. Он все у всех отнял, а потом его посадили на остров, и он умер.

— Он был герой! Мученик славы! Молитесь и за него, мальчики! За него и за его сына — Наполеона II.

— Он тоже воевал?

— Нет. До четырех лет он жил во Франции, катался в колясочке, запряженной козами, сидел у Наполеона на коленях. По вечерам французская няня пела ему песни. А потом проклятые австрийцы увезли его к себе. Он не хотел уезжать из дворца. — «Когда папы нет, я здесь хозяин!» Хватался за портьеру, плакал. Но его все-таки увезли. А через год англичане обманом взяли Наполеона в плен. Он на своем острове все время думал о сыне, тосковал о нем. Маленький Наполеон тоже не мог забыть своего отца. Хотя ему было четыре с половиной года, он упорно не хотел говорить по-немецки, и учитель прямо не знал, что с ним делать.

— Совсем как с нами! — вырвалось у меня.

— Потом он, конечно, выучился, но всю жизнь, до самой смерти, был в душе сыном Наполеона и французом.

— Он давно умер?

— Давно, почти сто лет тому назад Он умер от тоски по Франции, юный, прекрасный, в печальном шенбруннском замке. Вы будете за него молиться?

— Да, и за ту принцессу, и за принца Ростана, который их обоих нашел. Будем молиться, Женя?

— Да, три поклона за каждого.

— Сделайте это сейчас, милые!

У каждой кровати по белой склоненной фигурке. Два детских голоса:

— Упокой, Господи, душу той принцессы...

— Упокой, Господи, душу Наполеона и его сына, маленького Наполеона...

— Дай, Господи, здоровье и долгую жизнь принцу Ростану.

На коленях третья фигурка — темная. В темноте третий голос:  
— Упокой, Господи, душу Наполеона II, короля Римского, принца  
Пармского, герцога Рейхштадтского...

Там, где молятся трое...

Дорогие мальчики!

Вы сейчас спите и не знаете, как неблагодарно и неблагородно поступит с вами ваша Мара. Эти две ночи с вами дали мне больше, чем два года в обществе самых умных и утонченных людей. Чего я хочу от жизни? Безумия и волшебства.

С первого взгляда вы признали во мне сумасшедшую, взглядевшись пристальнее — волшебницу.

У меня нет дороги. Столько дорог в мире, сколько золотых тропинок, как выбирать?

У меня нет цели. Идти к чему-нибудь одному, хотя бы к славе, значит отрешиться от всего другого. А я хочу — всего! До встречи с вами я бы сказала у меня нет друзей. Но теперь они есть. Больше, чем друзья! Так, как я вас люблю, друзей не любят. У меня к вам и обожание и жалость. Да, я жалею вас, маленькие волшебные мальчики, с вашими сказками о серебряных колодцах и златокудрых девочках, которые «по ночам не спят». Златокудрые девочки вырастают, и много ночей вам придется не спать из-за того, что вода в колодцах всегда только вода.

Сейчас шесть часов утра. Надо кончать. Я не простилась с вами, потому что слишком вас люблю.

*Мара*

P. S. Не забывайте каждый вечер молиться о маленьком Наполеоне!

# Надежда Мандельштам О М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

## *Вторая книга*

В романе с Мариной Цветаевой нечто совсем другое — прекрасный порыв высокой женской души — «в тебе божественного мальчика десятилетнего я чту». По всему, что Марина сказала о себе, видно, что у нее была душевная щедрость и бескорыстие, которым нет равных, и управлялись они своеволием и порывистостью, тоже не знавшими равных. Она из тех русских женщин, которые рвутся к подвигу и готовы омыть раны Дон Кихота, только почему-то всегда случается так, что в минуту, когда Дон Кихот истекает кровью, они поглощены чем-то другим и не замечают его ран. Недаром Мандельштам почувствовал, что «с такой монашкой туманной остаться, — значит, быть беде»... Все стихи Марине, кроме первого, в котором она «дарила ему Москву», овеяны предчувствием беды: «... связанные руки затекли. Царевича везут, немеет страшно тело и рыжую солому подожгли...» Бедный мой царевич — он помнил, что его кровь отягощена «наследством овцеводов, патриархов и царей»... Во многих стихах — предчувствие насильного увоза и страшной смерти, но нигде не сказано, что это будет массовая депортация в набитых до отказа теплушках, созданных для перевозки животных, а не людей.

\* \* \*

Мандельштам легко жил среди обыкновенных людей и дал несколько формул своего отношения к ним. Ему хотелось «еще побыть и поиграть с людьми», и он всегда был готов «тянуться с нежностью бессмысленно к чужому». Это говорит о притяжении, а не об отталкиванье. Цветаева, например, при любых условиях вошла бы в конфликт с окружающим... Это было заложено в ее природе.

Мандельштам без людей непредставим, и отношения облегчались тем, что в нем начисто отсутствовала учительская жилка и себя он считал хуже других. Глубокие религиозно-нравственные и историософские конфликты, поиски социальной справедливости и осмысление гуманистических тенденций, проверка наследства отцов и предков — все это может быть лучшей основой биографии, чем примитивные конфликты с государством и обществом, которые в нормальных условиях не принимают форму погони специально выдрессированной своры за ошалевшим зайцем.

\* \* \*

Ахматова называла Цветаеву «поэтом силы», но сила, вероятно, женское свойство, потому что и в открытом буйстве Цветаевой, и в сдержанном бесновании Ахматовой поражает не что иное, как сила.

\* \* \*

В Цветаевой Мандельштам ценил способность увлекаться не только стихами, но и поэтами. В этом было удивительное бескорыстие. Увлечения Цветаевой были, как мне говорили, недолговечными, но зато бурными, как ураган. Наиболее стойким оказалось ее увлечение Пастернаком, после того как вышла «Сестра моя — жизнь».

Пастернак много лет безраздельно владел всеми поэтами, и никто не мог выбиться из-под его влияния. Ахматова говорила, что лишь Цветаева с честью вышла из этого испытания: Пастернак обогатил ее, и она не только сохранила, но, может, даже обрела благодаря ему настоящий голос. Я тоже думаю, что поэмы («Горы», «Лестницы» и др.) — самое сильное, что сделала Цветаева.

Мне пришлось несколько раз встречаться с Цветаевой, но знакомства не получилось. Известную роль сыграло то, что я отдала вакансию Ахматовой и потому Цветаеву проглядела, но в основном инициатива «недружбы» шла от нее. Возможно, что она вообще с полной нетерпимостью относилась к женам своих друзей (еще меня обвиняла в ревности — с больной головы да на здоровую!), но самое

главное — в ту пору и, пожалуй, до конца своих дней Цветаева с полным равнодушием относилась к стихам Мандельштама. Я прочла в письмах, изданных в Самиздате: Цветаева считала, что сама может писать, как Мандельштам, как бы владеет его секретом. Тайной для нее вскоре после нашей встречи стал Пастернак. Умные они все были люди, но судили о вещах, точнее, о собственном ремесле с полной наивностью: настоящий поэт никогда не может писать, как другой настоящий поэт. Стихи неповторимы, как личность. Даже крохотный подлинный поэт имеет свой неповторимый голос. Умеют писать под другого поэта только специалисты по пародиям и версификаторы. Они-то и есть «журнальная поэзия»...

В результате равнодушия друг к другу, предвзятого отношения и коллекции вздорных характеров — никто из нас не сумел сказать ни одного человеческого слова или, как говорили в старину, разбить лед. Мы все нахохлились и сами себя обокрали.

Дело происходило в Москве летом 1922 года. Мандельштам повел меня к Цветаевой в один из переулков на Поварской — недалеко от Трубниковского, куда я бегала смотреть знаменитую коллекцию икон Остроухова. Мы постучались — звонки были отменены революцией. Открыла Марина. Она ахнула, увидав Мандельштама, но мне еле протянула руку, глядя при этом не на меня, а на него. Всем своим поведением она продемонстрировала, что до всяких жен ей никакого дела нет. «Пойдем к Але, — сказала она. — Вы ведь помните Алю...» А потом, не глядя на меня, прибавила: «А вы подождите здесь — Аля терпеть не может чужих...»

Мандельштам позеленел от злости, но к Але все-таки пошел. Парадная дверь захлопнулась, и я осталась в чем-то вроде прихожей, совершенно темной комнате, заваленной барахлом. Как потом мне сказал Мандельштам, там была раньше столовая с верхним светом, но фонарь, не мытый со времен революции, не пропускал ни одного луча, а только сероватую дымку. Пыль, грязь и разорение царили во всех барских квартирах, но здесь прибавилось что-то ведьмовское — на стенах чучела каких-то зверьков, всюду игрушки старого образца, в которые играли, наверное, детьми еще сестры Цветаевы — все три по очереди. Еще — большая кровать с матрасом, ничем не прикрытая, и деревянный конь на качалке. Мне мерещились огромные пауки,

которых в такой темноте я разглядеть не могла, танцующие мыши и всякая нечисть. Все это добавило мое злорадное воображение...

Визит к Але длился меньше малого — несколько минут. Мандельштам выскочил от Али, вернее, из жилой комнаты (там, как оказалось, была еще одна жилая комната, куда Марина не соблаговолила меня пригласить), поговорил с хозяйкой в прихожей, где она догадалась зажечь свет... Сестр он отказался, и они оба стояли, а я сидела посреди комнаты на скрипучем и шатком стуле и бесцеремонно разглядывала Марину. Она уже, очевидно, почувствовала, что переборщила, и старалась завязать разговор, но Мандельштам отвечал односложно и холодно — самым что ни на есть петербургским голосом. (Дурень, выругал бы Цветаеву глупо-откровенным голосом, как поступил бы в тридцатые годы, когда помолодел и повеселел, и все бы сразу вошло в свою колею...) Марина успела рассказать о смерти второй дочки, которую ей пришлось отдать в детдом, потому что не могла прокормить двоих. В рассказе были ужасные детали, которые не надо вспоминать. Еще она сняла со стены чучело не то кошки, не то обезьянки и спросила Мандельштама: «Помните?» Это была «заветная заметка», но покрытая пылью. Мандельштам с ужасом посмотрел на зверька, заверил Марину, что все помнит, и взглянул на меня, чтобы я встала. Я знака не приняла.

Разговора не вышло, знакомство не состоялось, и, воспользовавшись первой паузой, Мандельштам увел меня. Одно из самых нелепых ощущений «семейной жизни» — быть уводимой. Мандельштам взглядом говорил мне, что пора уходить. Я из упрямства ничего не замечала, тогда он говорил «идем» или без слов подходил и вроде как помогал мне встать. Получалось, будто он тащит меня за шкурку, как котенка. Вероятно, я царапалась, но уходить приходилось, когда ему заблагорассудится.

....Цветаева готовилась к отъезду. В ее комнату — большую, рядом с той, куда она водила Мандельштама к дочери, — въехал Шенгели. Заходя к нему, мы сталкивались с Цветаевой. Теперь она заговаривала и со мной, и с Мандельштамом. Он прикрывался ледяной вежливостью, а я, запомнив первую встречу, насмешничала и сводила разговор на нет... Однажды Марина рассказала, как ходила за деньгами к Никитиной и, ничего не получив, разругалась с незадачливой издательницей. Аля, обидевшись за мать, стянула со

стола книжку Цветаевой и выскочила на улицу. Она не хотела, чтобы в доме, где обижают мать, лежала ее книга. Я целиком на стороне Цветаевой и Али — тем более что устойчивость Никитиной кажется мне странной. Каким образом она по нынешний день сохранила свой архив, хотя за строчку дневника или тень архивных заметок людей годами гноили в лагерях. Просто ли ей повезло или что-нибудь способствовало удаче? И все же лучше, чтобы дети росли без подобных эмоций. Не знаю, можно ли их охранить в обреченной среде. Я бы не могла. Хорошо, что мы вовремя сообразили, что живем не в идиллическую эпоху, и не завели детей.

Марина Цветаева произвела на меня впечатление абсолютной естественности и сногшибательного своенравия. Я запомнила стриженую голову, легкую — просто мальчишескую — походку и голос, удивительно похожий на стихи. Она была с норовом, но это не только свойство характера, а еще и жизненная установка. Ни за что не подвергла бы она себя самообузданию, как Ахматова. Сейчас, прочтя стихи и письма Цветаевой, я поняла, что она везде и во всем искала упоения и полноты чувств. Ей требовалось упоение не только любовью, но и покинутостью, заброшенностью, неудачей... В такой установке я вижу редкостное благородство, но меня смущает связанное с ней равнодушие к людям, которые в данную минуту не нужны или чем-то мешают «пиру чувств». Нечто подобное я заметила у ее сестры Аси, с которой сложились гораздо более человеческие отношения, чем с Мариной. Да и не только у сестер Цветаевых видела я удивительное сочетание неистовства и равнодушия. Такова была мода времени — своеобразное мелкое своеволие, построенное на «хочу — не хочу»... Оно культивировалось в десятые годы и дало нелепые варианты у менее талантливых представительниц двадцатых. У последышей роскоши чувств не было и в помине, но небрежность к тем, кто казался в эту минуту «малоинтересным», подчеркивалась всеми силами. То, что у сестер Цветаевых вырывалось с почти стихийной силой (в особенности у старшей), выглядело у москвички двадцатых годов, причастной к искусству, разумеется, обыкновенной невоспитанностью. (Я сама была б в их числе, но при Мандельштаме осуществить все «номера» не удалось бы никому — приходилось выбирать: либо он, либо элегантные трюки современности.) Я знала неудачливую художницу, которая ложилась спиной к гостям мужа,



человека выдающегося, чтобы показать, что она живет отдельной жизнью и равнодушна ко всему, что не имеет отношения к ее искусству. Лечь спиной к гостям — характерный для двадцатых годов поступок. Эти женщины, мелкие «хочу — не хочу», были начисто лишены «приветливости, которая все-таки украшает жизнь». У женщин мелкое своеволие выражалось в домашнем свинстве, у мужчин внешние признаки не так бросались в глаза, но их общественное поведение — и это несравненно существеннее — сводилось к тому же «хочу — не хочу», в основе которого лежит «выгодно — невыгодно». Блестящее и талантливое своеволие десятых годов, вырождаясь, обнаруживало свои свойства. Не следует жаловаться на внешние обстоятельства — мы получили то, что заслужили. В каждом из нас был «мирок», в котором отражался весь внешний мир, и каждый своим «миром» подготавливал события внешнего мира. Это относится к прошлому, но ведь и сейчас происходит тот же процесс: не пора ли подумать, как каждый из ныне действующих людей, как бы мало он ни соотносился с теми сферами, где делается будущее, влияет своим душевным строем, своими мыслями и желаниями на это складывающееся и, как кажется на первый взгляд, неотвратимое будущее. Оно складывается из духа времени, из расположения каждого человека, его вкусов, мыслей и желаний, его «хочу — не хочу».

Цветаева уехала, и больше мы с ней не встречались. Когда она вернулась в Москву, я уже жила в провинции, и никому не пришло в голову сказать мне об ее возвращении. Действовал инстинкт сталинского времени, когда игнорировали вернувшихся с Запада и не замечали случайно уцелевших родичей погибших. Обо мне почти сразу Харджиев или Герштейн сообщили Ахматовой, что я «опровинциалилась» и стала «учительницей», чего и всегда следовало ожидать. (Провинциальные учительницы были гораздо больше похожи на людей, чем мои блестящие москвичи.) Ахматова не захотела выдавать «доносчика», да я и не настаивала, потому что случай типический. От семьи ссыльного отказываться неудобно — лучшие среди нас искали для своего отказа приличный предлог. Чаще всего они объясняли свое отступление тем, что им стало неинтересно с загнанным, потому что он поблек, стал другим... В роскошной империи нового стиля шел пир, и каждый день приносил новости.

Обсуждали пьесы Светлова, стихи Сельвинского, базис и надстройку, фильм с псами-рыцарями и течение рек, которые собирались повернуть вспять. Какое было дело вдове какого-то Мандельштама до какой-то Цветаевой? Обе они «опровинциализались» — одна в Париже, другая в стоверстной зоне.

Я быстро научилась никому не звонить по телефону и никуда не заходить без упорного зова. (До войны никто и не звал, после войны — чуть-чуть, двое-трое. Одна Ахматова была тверда в своей дружбе, как никто.) Цветаева не выдержала еще одной изоляции, в которую попала в прикамском городке. Асеев и Тренев поучали ее смирению: в дни войны никого не интересуют отдельные судьбы и бывшие поэты... Отдельные судьбы не волновали никого ни в дни войны, ни в годы великих и малых достижений. На том стоим. Это совсем нетрудно — стоять на таком. Техника отлично разработана.

Я пожалела, что не видела Цветаеву, когда в Ташкенте Ахматова рассказала про встречу с ней — это была первая и единственная встреча за всю жизнь. Цветаева жаловалась на брехню Георгия Иванова, который переадресовал обращенные к ней стихи Мандельштама неизвестной докторше, содержанке богатого армянина. (Ну и воображение у этого холуя!) Я отлично знала, что стихи написаны Цветаевой («На розвальнях, уложенных соломой...», «В разноголосице девического хора...» и «Не веря воскресенья чуду»). А может, лучше, что мы не встретились. Автор «Попытки ревности», она, видимо, презирала всех жен и любовниц своих бывших друзей, а меня подозревала, что это я не позволила Мандельштаму «посвятить» ей стихи. Где она видела посвящения над любовными стихами? Цветаева отлично знала разницу между посвящением и обращением. Стихи Мандельштама обращены к ней, говорят о ней, а посвящение — дело нейтральное, совсем иное, так что «недавняя и ревнивая жена», то есть я, в этом деле совершенно ни при чем. И Ахматова, и Цветаева — великие ревнивицы, настоящие и блистательные женщины, и мне до них как до звезды небесной. Ахматова справедливо считала отсутствие ревности женской бездарностью и с восторгом повторяла слова Г. К.,<sup>[59]</sup> что, появившись у нее соперница, она ее задушит собственными руками. Ахматова грозила другу, что «из-за плеча твоей невесты глянут мои полузакрытые глаза» и «берегись твоей подруге страстной поведать мой неповторимый бред», но со своими

соперницами дружила и даже жалела их: «Но скажи мне, на крестную муку ты другую посмеешь послать?». Ее гнев и ревность были обращены против реальных виновников всех бед. Цветаева же здорово растоптала соперницу: «Как живется вам с простою женщиною? Без божеств?.. С пошлиной бессмертной пошлости... Как живется вам с товаром рыночным?.. Как живется вам с сто-тысячной — вам, познавшему Лилит...» Она бы мне, «рыночному товару», показала, что не следует соваться в чужие и запретные области... Я поражаюсь неистовой силе и самоотдаче Цветаевой. Такие женщины — чудо. Она, конечно, права, что топчет всех, кто не знает пира чувств. Эти две, Цветаева и Ахматова, умели извлекать из любви максимум радости и боли. Им можно только позавидовать. Я ведь действительно не знала боли в любви и не ценила боль. (Меня наградили другой болью — никому не пожелаю.) Простым смертным это не дано.

# ДОПОЛНЕНИЯ [\[60\]](#)

## **Валентина Перегудова**

# **МОЕ ЗНАКОМСТВО С НЕЙ НАЧАЛОСЬ В ГИМНАЗИИ...**

Оглядываясь сейчас назад через всю эту длинную-длинную вереницу прожитых лет, кажется трудной задачей извлечь из глубины памяти события более чем полувековой давности. Но настойчивое желание внести свою, хотя бы крохотную, долю в труд по составлению биографии когда-то любимой мной Марины Цветаевой помогает мне напрячь память. И все образы, эпизоды, события постепенно всплывают в памяти один за другим. Перед глазами как бы раскрываются страницы из книг жизни, повествующие о Марине.

Мое знакомство с ней началось в гимназии Ф. Д.,<sup>[61]</sup> где я училась пансионеркой. Когда я была в шестом классе, к нам перешла из другой гимназии Марина, и тоже пансионеркой. Начало ее прибывания среди нас сохранилось в моей памяти довольно смутно, может быть потому, что она поступила не в наш класс, а классом ниже, хотя мы были с ней однолетки. Но, поскольку ежедневно по вечерам пансионерки старшего возраста собирались вместе в одном из классов для приготовления уроков, я не могла не замечать сидящую на одной из парт девочку, всегда склонившуюся над книгой или что-то пишущую. Очки, которые она никогда не снимала (она была очень близорука), довольно угрюмое лицо, постоянная углубленность в себя, медленная походка, сутулящаяся фигура делали ее более взрослой, чем она была на самом деле. Марина ни с кем особенно не общалась и, казалось, ни на кого из девочек не обращала внимания. Впервые я стала к ней присматриваться после того, как мне дали прочитать написанный ею рассказ, ходивший у всех на руках..<sup>[62]</sup>

Название его и содержание я забыла, но начало его хорошо запомнилось: «Их было четыре, — четыре звезды приготовительного класса...» Затем следовали их имена и фамилии. Помню мое удивление, когда среди этих «звезд» я увидела себя. Мне было, конечно, весьма лестно находиться среди «звезд», но рассказ был совершенно неправдоподобен. Марина «приготовишкой» меня не

знала и своей богатой фантазией превратила меня, самого обыкновенного ребенка, любившего в то время играть в куклы, прыгать по дорожкам сада через веревочку или играть в «классы», в какую-то необыкновенную, бог весть чем только не одаренную девочку.

На почве этого события состоялся наш первый настоящий разговор с Мариной, в котором я пыталась убедить ее в неправдоподобности данной мне в ее рассказе характеристики. И тут я впервые увидела такую знакомую мне потом улыбку Марины, когда она сказала: «А мне захотелось сделать вас такой!» Тут, кстати, замечу, что, несмотря на нашу в дальнейшем дружбу, мы всегда оставались с ней на «вы». После этого разговора я стала замечать, что Марина очень часто не меня смотрит, как бы желая что-то мне сказать.

В нашем саду при гимназии стояла деревянная гора для катанья зимой на санках. На перилах ее верхушки я любила сидеть, когда там никого не было, отдыхая от вечного шума и гама, царивших в кругу девочек. Марина, гуляя по саду, заинтересовалась (как она мне потом говорила) этой фигурой, с «глубокомысленным» видом высиживавшей положенное для прогулки время на верхушке горы. Девочки подшучивали надо мной, считая, что я «позирую», «бью на оригинальность». Возможно, что доля правды в этом и была, — за кем из нас в том возрасте подобных грехов не водилось! Я видела, как Марина иногда останавливалась у горы как бы в раздумье: подняться или нет? Но на гору она не поднялась, а как-то вечером подошла к моей парте и положила передо мной записку.

Очень хорошо помню начало этой записки, написанной характерным почерком Марины, установившимся с детских лет: «Это будет последний и решительный бой, — хотите Вы моей дружбы?» Решительным боем оканчивались предшествующие ему внутренние бои — колебания Марины из-за боязни быть навязчивой (так говорила мне она).

Марина меня уже давно интересовала, и подружиться с ней мне бы хотелось, поэтому я запиской ответила ей о своем согласии. С той поры мы стали много времени проводить вместе. Встречи и разговоры наши происходили обычно в дортуаре, неизменно на моей кровати, после того как всегда дежурившая «ночная дама» укладывалась спать, а начальница гимназии, завершив свой обычный, обязательный для нее

обход удалялась. Марина пробиралась ко мне бесшумно, и разговаривали мы тихо, чтобы не разбудить соседок по кроватям. Мы делились всем, что нас интересовало, волновало в нашей повседневной жизни, рассказывали друг другу о том, что было в нашей жизни до нашей с ней встречи, мечтали о будущем, вернее, делилась своими мечтами Марина. Мне рассказывать о себе особенно нечего было, жизнь моя протекала как у большинства наших девочек, ничего в ней примечательного не было. Мечты о будущем были у меня в то время весьма неопределенными, никакой целеустремленности не было. Зато Марину я всегда слушала буквально затаив дыхание. Она была очень умна, не по летам развитая, начитанная и обладала прекрасной памятью, позволявшей ей быть изумительной пересказчицей прочитанного.

Марина была очень увлекающейся натурой, но увлекалась она в тот период нашей жизни не педагогами нашей гимназии, не знаменитыми в то время актерами или же обыкновенными «героями» романов, что свойственно было большинству наших пансионеров. Увлекали ее героини книг, в бесчисленном количестве прочитанных ею. Марина восторгалась описанными в книгах людьми сильной воли, смелыми, отважными, всегда готовыми к великим подвигам. Преклоняясь перед борцами революции, мечтала и сама принимать участие в борьбе за свободу и светлое будущее людей. Помню, в каком возбуждении она была, когда рассказывала мне о потрясшей ее демонстрации на похоронах Баумана, на которых она была с кем-то из взрослых, будучи сама еще совсем девочкой (в 1905 г.). Марина старалась и меня познакомить с революционным движением, снабжая меня запрещенными в то время книгами (в памяти остался лишь «Андрей Кожухов» Степняка-Кравчинского) и разными брошюрами, которые она ухитрялась где-то достать.

Наряду с мечтой принимать участие в революционном движении большое место в планах на будущее было отведено Мариной литературному творчеству. Она мечтала стать писательницей, поэтессой и верила в свои способности к этому. Слушая по ночам стихи Марины, которые они читала мне на память, я тоже верила, что она выйдет настоящим поэтом.

В Марине было много того, чего не хватало мне, заурядной девочке, и меня неудержимо влекло к ней, такой особенной, так

выделявшейся среди других девочек своим внутренним миром. Ко мне она привязалась, по-видимому, за мое ласковое к ней отношение, за умение и любовь слушать ее, за мое восхищение ее способностями к литературному творчеству, о которых я могла судить по ее дневникам, рассказам и стихам.

Многие не любили Марину за ее кажущееся самомнение и отчужденность от других пансионеров; они применяли к ней детское выражение «задирает нос». Среди девочек она держала себя обычно деланно развязно, порой резкой и грубоватой, и никто не мог подозревать, что под этой маской скрывается застенчивый человек с мягким характером и нежной, чуткой душой. Помню, как во время наших разговоров она доверчиво прижималась ко мне, как бы ища защиты от чего-то нависающего над ней, и ощущение ее теплой ласки сохранилось у меня и по сей день.

Марина никогда прямо не жаловалась мне на отсутствие теплоты по отношению к ней со стороны лиц, окружавших ее в домашней обстановке. Но не раз во время наших «ночных бдений» я чувствовала в ее рассказах неудовлетворенную потребность в ласке, в теплом к ней отношении. Когда я прочитала в «Тарусских страницах» ее рассказ «Кирилловны», я убедилась, что не ошибалась тогда в своих предположениях. Вот несколько подтверждающих мою правоту строк: «Кирилловны, удостоверяю это с усладой, меня любили больше всех...» И дальше: «А меня хлыстовки больше любят, — с этой мыслью я, обиженная, засыпала. — Асю больше любит мама, Августа Ивановна, няня (папа по доброте „больше любит“ — всех), а меня зато — бабушка и хлыстовки».

Так было в ее детские годы, так, видимо, было и в дальнейшей ее жизни.

О незаурядности Марины можно судить и по тому, что дневник свой она начала вести с самого раннего детства, когда она жила с матерью в Италии, в Нерви. Сколько ей было тогда лет, я не знаю, и было ли это до событий, описанных ею в «Кирилловнах» или после, тоже не знаю. По рассказам Марины, она научилась читать, а главное — по-настоящему писать с 4-летнего возраста. Я перечитала все толстые клеенчатые тетради (ее детские дневники), которые Марина постепенно перетаскала мне после воскресных пребываний дома. Меня поражало, когда я читала ее детские записи, как мог маленький



ребенок так осмысленно, почти по-взрослому, описывать свою жизнь, то есть свои радости, горести, игры и шалости, обиды, наказания и прочие детские переживания. В основном же, как и в дневниках (уже более старшего возраста), так и в своих письмах, Марина скупо описывала какие-нибудь события из своей жизни, а больше в них было размышлений и рассуждений на самые разнообразные темы. Я пытаюсь сейчас вспомнить о каких-либо событиях, описанных в ее дневниках, но безуспешно. Марина дала мне однажды прочитать дневник своей матери, написанный на французском языке (как, значит, она мне доверяла!), из содержания которого у меня кое-что сохранилось в памяти.

Я не имею права касаться жизни этого постороннего для меня человека, но хочется сказать, что при сопоставлении сейчас образов Марины и ее матери чувствуется общая им цельность натуры, несмотря на разницу в условиях жизни, в воспитании, во взглядах на жизнь.

Дружба с Мариной была яркой страницей в моей однообразной жизни в пансионате. К сожалению, Марина очень недолго пробыла в нашей гимназии, всего лишь один учебный год. Говорили, что ей предложили уйти от нас якобы за «свободомыслие». После ее ухода мы долго переписывались, но все ее письма и стихи погибли во время моей кочевой замужней жизни. Каким-то образом уцелели две дорогие мне открытки. Одну из них я получила в адрес гимназии, будучи в 8-м (выпускном) классе, после моего посещения Марины у нее дома в Трехпрудном переулке. Эта встреча с Мариной хорошо запомнилась мне.

Как сейчас, вижу домик, огороженный забором, слышу скрип снега под ногами на дорожке, ведущей от калитки к крыльцу. Был вечер. Снег сверкал при свете электрического фонаря красиво и радостно. Радостно встретила меня и Марина, поджидавшая меня, так как мы предварительно договорились о встрече. Провела меня в «свой кабинет» — маленькую комнату, почти все пространство которой занимали большой письменный стол и диван. Перед глазами и сейчас зажженная лампа на столе, а под ней, свернувшись калачиком, спящий кот. И всюду книги: и на столе, и на диване, и даже на полу. Мы уселись на диван и, не спуская друг с друга глаз, говорили и говорили. Я была невероятно рада видеть Марину, — мы не виделись с ней

больше года. В силу сложившихся условий нашей тогдашней жизни мы не имели возможности где-либо встречаться. В течение двух лет после ухода Марины из нашей гимназии я продолжала учиться там. На праздники я уходила в отпуска к очень близким мне людям, но те не любили Марину, и вопрос о встречах с ней в их доме, естественно, отпадал. К себе домой Марина меня не звала, считая это, по-видимому, неудобным по каким-либо соображениям, спрашивать о которых мне не позволяла моя обычная стеснительность. Поэтому нам приходилось довольствоваться перепиской и редкими встречами на улице; может быть, благодаря всему этому устроенная Мариной встреча у нее дома так хорошо запечатлелась в моей памяти. Говорила, как всегда, больше Марина. Она говорила о прочитанных за последнее время книгах, о своих новых стихах, которые дала мне прочитать. Содержание их я не помню, но запомнилось, что в них, то есть в их форме, появилось что-то для меня новое, делающее их более сложными для восприятия. Марина обещала прислать мне их. Помню, на диване лежала книга «Война и мир» Л. Н. Толстого, которую она перечитывала. Я не забыла, как Марина возмущалась Наташей Ростовской, вышедшей замуж и превратившейся, по ее словам, из многообещающей девочки в обыкновенную «наседку», ушедшую с головой в житейские мелочи. Уверяла, что в предстоящей ей в будущем личной жизни она будет свободной от пут заурядного семейного быта, отдаваясь целиком работе на революционном и литературном поприще.

В общем, передо мной была все та же Марина, так отличавшаяся от окружающих меня тогда девочек-девушек, но по виду значительно повзрослевшая (нам было тогда по шестнадцати лет).

Вспомнила, конечно, и пансион, наши встречи в дортуаре. На мои вопросы об учебе в новой гимназии Марина отвечала весьма скупой: «Ничего интересного. Все то же, что и везде».

К концу дня я познакомилась с отцом Марины в его полутемном кабинете, с выделяющимися своей белизной бюстами каких-то греческих мыслителей. Меня потянуло скорей уйти оттуда — почему-то мрачным мне все там показалось. Затем, поужинав в столовой, мы поднялись по деревянной лестнице наверх, где была комната Марины, Аси и брата. По просьбе Марины я осталась у них ночевать, и, конечно, мы не спали почти до утра, увлеченные прерванным ужином разговором. В то же посещение я увидела у нее на столе фото с какой-

то группы, среди которой была и Марина. Мне понравилось лицо Марины с такой знакомой мне милой улыбкой, и она не задумываясь вырезала себя и протянула мне этот маленький снимок, который сейчас лежит передо мной на столе и так отчетливо напоминает мне далекое прошлое. Через день после этого посещения Марины я получила от нее письмо:

*«Дорогая Валенька! Мне сегодня было с Вами хорошо, как во сне. Никогда не думала, что встречу с Вами при таких обстоятельствах. Так ясно вспоминалось мне милое прошлое. Я люблю Вас по-прежнему, Валенька, больше всех, глубже. Никогда я не уйду от Вас. Что мне сказать Вам? Слишком много могу сказать. Будь я средневековым рыцарем, я бы ради Вашей улыбки на смерть пошла. Вам теперь очень грустно. Как мне жаль, что я не могу быть с Вами. Милая Кисенька моя, думаю, что вскоре напишу Вам длинное письмо. Если будете слишком грустить — напишите мне, я Вас пойму. Помните, что я Вас очень люблю.*

*Ваша МЦ*

*Перечитала сегодня Ваши письма. У меня они все. Стихи пришлю, Кисенька милая».*

Эта встреча была в начале 1909 года. Стихи Марина действительно мне прислала и переписка у нас продолжалась до моего отъезда из Москвы.

Второе из сохранившихся у меня писем я получила от Марины после нашей прощальной встречи на Страстной площади перед моим отъездом из Москвы в начале 1910 года.

*«Конечно, Валя, так и нужно было ожидать. Все хорошее кончается всегда. Сошлись на мгновение, взяли за руки, посмотрели друг другу в глаза и прочли там, я думаю, хорошие слова. Вы такая чуткая и нежная! Лучшие Вас друга не найду никогда. Думаю о Вас и тоскую и желаю Вам быть*

*счастливой, как только можно быть. А я пойду одна на борьбу, пойду, нерадостная.*

*Кто знает? Может быть, мы еще встретимся с Вами в жизни, может быть, заглянув друг другу в глаза, рассмеемся и скажем: „Да, это та!“ Все возможно. А теперь мы ничего не знаем. Будущее скрыто. Как хотелось бы мне крепко прижаться к Вам и „завыть“. Эх!..»*

Мы действительно еще встретились, но как все было по-другому!

Заканчивая воспоминания о первом периоде моего знакомства с Мариной, хочется рассказать об одном стихотворении Марины, сохранившемся в моей памяти. Как-то, в бытность Марины в нашей гимназии, когда мы вечером были, как обычно, в классе для приготовления уроков, одна из девочек неожиданно обидела в моем присутствии другую девочку. Неожиданно для самой себя я вскочила с парты и весьма горячо (что вообще несвойственно было мне из-за ненужной застенчивости) выступила в защиту обиженной девочки. Тем же вечером, вернее, как всегда, ночью, Марина принесла мне стихотворение, посвященное мне, сказав: «Увидела сегодня еще незнакомые мне огни в ваших глазах».

Я два озера встретила на дальнем пути —  
Голубые, далекие, чистые.  
В них дрожали огни убежавшей реки,  
Отражались звезды лучистые.  
Темный лес их глубокий покой сторожил,  
Их порывы ревниво берег,  
Но порой в них метался и бил  
Бурной жизни кипучий поток.

Пусть стихотворение это несовершенно по форме, пусть по-детски наивно, но в нем — свойственное Марине немедленное реагирование на заинтересовавшее ее какое-либо событие стихами или прозой.

В атмосфере, царившей у нас в пансионе, наши с Мариной отношения многим казались непонятными и кое-кого из взрослых

беспокоил. Марина считалась «неблагонадежной», и боялись ее влияния на меня. Некоторые же девочки объясняли мою близость с Мариной опять-таки желанием пооригинальничать. Мы не были подругами в общепринятом понимании этого слова. Между нами была какая-то особенная дружба, большая, искренняя, родившаяся благодаря такому особенному человеку, каким была Марина.

В начале 1910 года я уехала из Москвы в Саратов к родственникам, думая, что ненадолго, но неожиданно уехала в Сибирь к братьям, где и застряла на несколько лет. Вернулась в Москву осенью 1915 года замужней женщиной с двумя детьми и мужем. Я поглощена была своей семейной жизнью, за пять с лишним лет успела, как казалось, отвыкнуть от московских знакомых и на первых порах не пыталась найти кого-нибудь из них. Но сама судьба напомнила мне о Марине.

Однажды (было это, по-моему, в конце 1916 года, может быть — 1915-го) шла я по Борисоглебскому переулку и увидела немного впереди себя небольшую веселую компанию, среди которой была женщина, оживленно что-то рассказывавшая своим спутникам. Я шла быстрее этой компании и вскоре приблизилась к ней. И вдруг... знакомый-знакомый голос с таким, когда-то милым мне, небольшим дефектом в произношении (не сумею его охарактеризовать)... Да ведь это Марина! — подсказало мне екнувшее сердце. Вторгнуться в незнакомую компанию мне не позволило мое пансионское воспитание, и я быстро обогнала ее и оглянулась, чтобы увидеть лицо женщины. Это действительно была Марина, но какая Марина! Я увидела знакомое мне лицо, но без очков (она мне всегда очень нравилась, когда снимала очки), очень похорошевшее, веселое и, я сказала бы, какое-то озорное. Она, жестикулируя, что-то весело рассказывала, и кругом дружно смеялись. Полная какого-то смятенья и волнения, я пошла своей дорогой, стараясь воспроизвести в памяти только что поразившую меня картину. Марина, но совсем, совсем другая: в красном пальто с пелериной, отделанной по краям мехом, в такой же шапочке, в модных туфлях на высоких каблуках, с свободной и легкой походкой. Все это я разглядела, еще когда шла позади нее. Да неужели это та самая Марина, так мало раньше занимавшаяся своей внешностью, всегда скромно и даже немного небрежно одевавшаяся и издевавшаяся в пансионе над девочками, рассказывавшими,

захлебываясь от восхищения, о виденных ими на ком-то «туалетах»? Настолько резок был контраст между прежней Мариной и вновь увиденной, что эта встреча навсегда запечатлелась в моей памяти со всеми подробностями. Сразу мелькнула мысль: Марина полюбила кого-то, в ней проснулась женщина, желающая нравиться. Невольно вспомнились ее наивные клятвы отказаться от личного счастья, всю себя отдать борьбе за светлое будущее для всего человечества.

Но и сейчас я верю, что тогда, в юные годы, это был совершенно искренний, предначертанный ею для себя жизненный путь, а не юношеская рисовка. Слишком глубокая натура была у Марины для того, чтобы играть фразами, не выражающими на самом деле искренность чувств.

Не помню, сколько прошло времени после этой встречи и каким образом и от кого я узнала, что Марина хочет меня видеть. Не забуду, с каким волнением собиралась я к ней на Борисоглебский, 6.

И эта встреча (последняя) так же хорошо запечатлелась у меня, как только что описанная.

Я подошла к небольшому дому. Позвонила. Кто-то открыл дверь и показал, куда мне идти. Я вошла в полутемную комнату, где прежде всего бросился в глаза большой портрет, вернее, как мне тогда показалось, картина во весь выступ в стене с изображением сидящего в кресле (если мне память не изменяет) молодого человека. Абажур был надет на лампу так, что свет падал именно на портрет, оставляя остальные части комнаты слабо освещенными.

Марина лежала на стоящем под портретом диване, чем-то прикрытая. Меня сразу поразило ее усталое лицо с выражением, не имеющим ничего общего с виденным тогда на улице. Марина усадила меня рядом с собой и, увидев, что я смотрю на портрет, сказала: «Это мой муж, Эфрон».

Она, видимо, думала, что фамилия эта знакома мне, когда подчеркивала ее, но я слышала ее впервые. Мы стали разговаривать. Я, помнится, рассказывала ей о моих путешествиях по Сибири, о ее красотах и скупое о себе, о своей личной жизни. Марина же как будто избегала рассказывать что-либо, касающееся ее настоящего. Мне было как-то не по себе. Я видела, что Марина была настолько поглощена какими-то своими мыслями, что с трудом отрывалась от них для разговора со мной. Кто-то привел к нам маленькую девочку.

«Это моя дочка Ариадна», — сказала Марина. Помню, что меня сперва удивило данное девочке имя, такое необычное, но потом вспомнила, что Марина когда-то любила греческую мифологию. Я задавала девочке какие-то вопросы, она на них отвечала, но в памяти моей не сохранилось, какое впечатление произвел на меня ребенок. Когда нас позвали ужинать и Марина встала с дивана, я поняла причину ее лежания на диване, — она была в ожидание другого ребенка, и ей, по-видимому, не хотелось, чтобы я сразу же обратила внимание на ее изменившуюся внешность. Проходя мимо какой-то комнаты, Марина достала из кармана ключ, открыла запертую дверь, остановила меня у порога комнаты и сказала: «Здесь все осталось так, как было в момент ухода отсюда моего С. Я ничего не позволяю трогать». В памяти сохранилась лишь стоявшая налево от двери кровать с наполовину сползшей на пол простыней. С каким-то тяжелым осадком на душе отошла я от двери. Несколько ступенек, если память мне не изменяет, вели в комнату сестры Маринино мужа, куда нас позвали ужинать.. [63]

Марина познакомила меня с молодой женщиной, но внешность ее в памяти моей не сохранилась. Мы недолго там пробыли, вернулись вниз, и вскоре я собралась уходить, не в состоянии больше справиться с каким-то гнетущим меня чувством, боясь, что Марина его заметит. О прошлом, нашем общем прошлом не было сказано ни слова, как будто и не было никогда между нами той близости, какая связывала нас когда-то. Марине явно было не до него, а я будоражить воспоминания при создавшейся обстановке не хотела.

Расставаясь со мной, Марина улыбнулась прежней милой улыбкой и сказала: «Я зайду к вам, Валенька». Но не зашла. Вместо себя прислала ко мне Асю, поручив ей передать мне, что плохо себя чувствует и просит Асю повидать моих детей и рассказать о них ей.

Очень четко помню, что в момент прихода Аси дети купались, но, поскольку Ася куда-то спешила, она решила посмотреть на них во время купанья. Войдя в ванную комнату, мы увидели сидящих в воде друг против друга ребятшек с торчащими мокрыми хохолками на головах и тарасивших удивленные глазенки на «чужую тетю», ворвавшуюся в ванную комнату. Я даже не забыла фразу, сказанную рассерженной няней, заявившей мне при Асе, что детей надо показывать посторонним людям не в голом виде, а в хорошеньких

платьях. Не помню уж, какое впечатление произвела эта сцена на Асю, и не знаю, что она рассказывала Марине о своем посещении меня.

На этом оборвалась связь с Мариной. Вскоре я с семьей снова уехала в Сибирь, где опять пробыла несколько лет. Вернувшись в Москву, я от кого-то узнала, что Марина за границей.

Больше я ничего не знала о ней до тех пор, пока не прочитала в журнале «Новый мир» написанные И. Эренбургом воспоминания «Люди, годы, жизнь», где среди других его встреч в Париже, он описывает и встречи с Мариной.

До глубины души потряс меня уход Марины из жизни. Перед глазами часто всплывают строки стихотворения Марины, приведенные И. Эренбургом в его воспоминаниях:

По улицам оставленной Москвы  
Поеду я, и побредете вы,  
И не один дорогою отстанет,  
И первый ком о крышку гроба грянет,  
И наконец-то будет разрешен  
Себялюбивый одинокий сон...  
Прости, Господь, погибшей от гордыни  
Новопредставленной болярыне Марины.

Позднее, когда у меня появилась книга «Тарусские страницы», я из помещенных в ней стихов Марины многое поняла, разобралась во многом, что раньше для меня было неясным. Узнала и прочувствовала, сколько горя и страданий и как мало радостей выпало на долю Марины. Той Марины, которую я знала и любила в юности, которую думала я, ждет содержательная, яркая, насыщенная радостями творчества жизнь, достойная такого незаурядного человека.



## Софья Липеровская <sup>[64]</sup>

### ЮНЫЕ ГОДЫ

Среди просторных каменных особняков, спокойных тихих переулков старой Москвы, недалеко от Разгуляя и Земляного вала и сейчас еще стоит построенное в 1870 году в Гороховском переулке двухэтажное здание бывшей женской гимназии фон Дервиз с большими классами, широкими, светлыми коридорами, спальнями и громадным двусветным залом. Окна зала выходили в большой сад с вековыми деревьями. Прогулки в этом саду были любимым развлечением пансионеров.

В 1906 учебном году внимание всех гимназисток привлекла «новенькая» пансионерка, очень живая, экспансивная девочка с пытливым взглядом серых глаз и насмешливой улыбкой тонких губ. Причесана под мальчика, с челкой, закрывающей высокий лоб. Смотрела на всех дерзко, вызывающе, не только на старших по классу, но и на учителей и классных дам.

Марина Цветаева поступила в четвертый класс, хотя по годам была ровесницей шестиклассниц. Очень способная к гуманитарным наукам, все схватывала на лету, но не хотела приложить усилий, чтобы овладеть навыками точных наук. Остаться долго в одной гимназии ей казалось скучным, и она вела себя так, что педагоги старались от нее избавиться, спешили перевести в другое учебное заведение.

К тому, кто чем-нибудь интересовал Марину, она подходила прямо, с неожиданными вопросами и необоснованными утверждениями, которые провоцировали реплику, протест... Начинался горячий спор — этого она и добивалась и тогда закрепляла вражду или дружбу беседами, записками, обращениями. Одноклассницами своими интересовалась мало — привлекали старшие.

Спокойствие гимназисток было нарушено — они почувствовали себя вовлеченными в бурю новых ощущений, переживаний. Марина сближалась то с одной, то с другой; каждая открывалась ей какой-то своей стороной, проявляла те качества, в которых в ней раньше не замечали.

В каждом человеке старалась пробудить к жизни скрытые в нем сокровища — стремления, увлечения, мечты... Сама «мятежница с вихрем в крови», она звала к мятежу, к бурному выражению чувств, к подъему всех душевных сил. «Все, в чем был этот тайный жир, я любила...» И не любила бесстрастных, холодных, будничных людей.

Как-то по своему она читала Пушкина, лирику его и прозу. Романтическим настроениям юной Марины вполне отвечали строки его стихов:

Есть упоение в бою  
И бездны мрачной на краю...  
Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья...

Прожить короткую, но яркую жизнь было девизом Марины. Бессильная старость казалось ей унижением человека.

В «Капитанской дочке» признавала только одного героя — Пугачева: он отвечал вольной, ищущей натуре Марины, бушевавшим в ней страстям. С пренебрежением отзывалась о Маше Мироновой. Как можно отдать свое чувство ограниченному, недалекому Петру Гриневу, когда рядом... смелый, сильный герой; он свою жизнь отдает за счастье народа!

Многое изменилось у шестиклассниц под влиянием Марины. К ней обращались за советом, какую книгу прочитать, и она умела подсказать каждому хорошую, интересную книгу. «Читайте „Путешествие маленького Нильса с дикими гусями“ Сельмы Лагерлеф Вам понравится. Хорошо пишет». Через Марину познакомились с пьесами французского драматурга Ростана, полюбили его «Орленка», солнечного «Шантеклера», задумались над романтическим образом Сирано де Бержерака. Марина сама приносила книги — ходили по рукам сборники «Знания», часто звучало имя Максима Горького. Читали стихи Бунина, рассказы Куприна... Особенно увлекал Степняк-Кравчинский; Андрей Кожухов стал любимым героем. Марина пополняла арсенал «недозволенных» книг. Свою горячую страстность

вносила в споры о новых людях Чернышевского, Тургенева, Горького, о жизни в будущем.

Новые идеи проникали сквозь толщу стен гимназии, будоражили, волновали умы, согревали сердца, возбуждали мечты о неведомой и невиданной жизни, пробуждали дремлющие силы, желание говорить во весь голос, писать о том, что думаешь, любишь и чувствуешь. Вызывали активный протест против всех преград, ограничений, против мелочного надзора и покровительственной опеки.

Романам Лажечникова, Загоскина, Эберса, которыми увлекались раньше, старшеклассницы теперь предпочитали сочинения Белинского, Герцена, Писарева, Чернышевского. Книги приходилось тщательно скрывать от взгляда начальства.

Вольные мысли высказывались в потаенных дневника и письмах и в первых попытках собственного творчества — в стихах и сюжетах рассказов и повестей. Романы Тургенева «Рудин», «Отцы и дети» и «Новь» широко обсуждались учащимися, даже на занятиях прорывались смелые высказывания в защиту любимых героев. Хотя программа по литературе официально кончалась изучением произведений Н. В. Гоголя, горячий, преданный делу воспитания молодого поколения учитель Н. Н. Завьялов ставил на обсуждение образу Рудина и Базарова, упоминал даже героев романа «Кто виноват?» Герцена. Под покровом показной благопристойности бушевали страсти, пробивались живые ростки интересов передовой молодежи.

Остались в памяти также вечера и спектакли. Роли исполняли ученицы и учителя. В главной роли в пьесе «Сорванец» В. Крылова впервые выступала будущая артистка МХАТа, тогда еще ученица гимназии Вера Попова.

Передовые учителя навстречу интересам молодежи. Любимыми были предметы литературы (Н. Н. Завьялов), истории (В. А. Петрушевский), географии (И. В. Юркевич)..<sup>[65]</sup>

Гимназистки с увлечением готовились к докладам, читали дополнительную литературу, посещали лекции и музеи. В высших учебных заведениях они не отставали от товарищей — помогли усвоенные еще в школе методы работы над книгой. Бывшие ученицы гимназии Дервиз и теперь с благодарностью вспоминают своих учителей.

Бывали, конечно, и конфликты с учителями и с классными дамами, но они кончались мирно заучиванием наизусть страниц иностранного текста, вязаньем сверх нормы салфеток (для пансионеров), а иногда чистосердечным раскаянием и беспредметными обещаниями не нарушать больше воли начальствующих лиц. Как писала Марина Цветаева (из цикла «Муза»)..[\[66\]](#)

...И залепетать, и вспыхнуть,  
И круто потупить взгляд.  
И, всхлипывая, затихнуть,  
Как в детстве, когда простят.

Марина всегда говорила смело, подчеркнуто резко, отмечая все старое, отжившее. Во внешней манере, в мальчишеских ухватках, в крепком пожатии руки (по-мужски), в прическе напоминала тогда Марка Волохова из «Обрыва» Гончарова. При первом знакомстве предупреждала: «Вы знаете... Деньги займы я беру, но не имею привычки их возвращать. Так не обижайтесь...»

Из-под челки насмешливо глядели ее чудесные глаза. Денег она ни у кого не брала, но внимательно следила за тем, какое отношение вызовут эти ее слова.

Особенно привлекала Марину тихая, задумчивая Валя Генерозова — блондинка с лучистыми серыми глазами. Валя не была похожа на других. Доброжелательная, ласковая со всеми, она не искала общества подруг, часто оставалась одна. Она жила в своем поэтическом мире.

Очень эмоциональная, музыкальная, выступала на вечерах: пела романсы, читала стихи. Ее заветная мечта — учиться после гимназии музыке — не осуществилась из-за недостатка средств. Так и погиб ее талант, и она не нашла своей самостоятельной дороги.

Марина первая подошла к Вале и предложила ей дружить. Они писали друг другу письма, а ночью, когда все спали, Марина пробиралась к Вале, и до рассвета у них длилась тихая, душевная беседа.

У Вали появились тетрадки, книги, которые она читала по ночам и прятала не только от начальствующих лиц, но даже от наших

ревнивых глаз. Потом я узнала, что это были дневники Марины и ее матери. Если было тогда для Марины что-нибудь святое, о чем она говорила без тени осуждения, это память о матери и ее любовь к ней.

Гордость и независимость, а вместе с тем и беспредельная нежность, неудовлетворенная потребность «прижаться» к любимому человеку — эти противоречия в характере Марины оставались с ней до конца жизни.

Жаждой любви и ласки можно объяснить ревнивое чувство Марины: ей казалось, что мать любит ее меньше, чем других детей, и она страдала от этого с детских лет. Судя по дневникам матери и по стихам Марины, обращенным к матери, она не была счастлива: «Мы помним... твою молодую печать и капельки слез на ресницах, когда замолкала рояль».

Дружба с Мариной была для Вали плодотворна. Она подняла ее в собственных глазах и в глазах других. Валя стала глубже и требовательнее к себе, хотя на некоторое время забросила ученье, отвечала на уроках невпопад, потому что мысли ее были далеко — или читала письма Марины к ней, или сама писала Марине письма.

«Я люблю Вас по-прежнему, Валенька, больше всех и глубже всех. Никогда не уйду от Вас. Будь я средневековым рыцарем, я бы ради Вашей улыбки на смерть пошла», — писала Марина Вале, ученице 8-го класса.

Такие романтические отношения сохранились у них и после гимназии, до замужества Марины, когда она

Наконец-то встретила  
Надобного — мне:  
У кого-то смертная  
Надоба — во мне.  
Что для ока — радуга,  
Злаку — чернозем,  
Человеку — надоба  
Человека — в нем.

Еще в гимназии Марина начала писать повесть. Главные героини — светлая трепетная Валя и гордая, замкнутая, умная, с холодным

сердцем Маргарита Ватсон. Повесть осталась неоконченной. Марина к ней потом не возвращалась, это была проба пера.

Цветаева оставалась в гимназии фон Дервиз недолго. Ее дерзости учителям и всем начальствующим лицам не могли не встретить сопротивления. Ее вызывали к директору, пытались уговорить, примирить, заставить подчиниться установленным порядкам. Но это было невозможно. Марина ни в чем не знала меры, всегда шла напролом, не считалась ни с какими обстоятельствами.

Из кабинета директора был слышен громкий голос Марины: «Горбатого могила исправит! Не пытайтесь меня уговорить. Не боюсь ваших предупреждений и никаких угроз. Вы хотите меня исключить — исключайте. Пойду в другую гимназию — ничего не потеряю. Уже привыкла кочевать. Это даже интересно. Новые лица...»

Отцу Марины пришлось перевести дочь в другую гимназию. Иван Владимирович Цветаев, профессор, ученый с мировым именем, специалист по античному искусству, был поглощен своей работой: он создавал большой музей, замечательный памятник искусства Греции, Рима, Египта.

Отец не был другом своих детей: трех дочерей и сына. Он мало знал об их жизни и интересах, редко видел и, вероятно, не умел воспитывать. Помощников ему в этом деле не было. Старшая сестра Марины и Аси, дочь первой жены Ивана Владимировича, не брала на себя ответственность за воспитание сестер, не принимала в них участия: дети жили самостоятельно, обособленно.

В гимназии фон Дервиз долго помнили Марину, жалели, что ее перевели, однако только двое — Валя и я — продолжали с ней дружить и встречаться вне стен гимназии.

Я бывала у Марины в Трехпрудном переулке. Познакомилась с ее семьей — с отцом, сестрой Асей и с братом Андреем.

Весь уклад жизни семьи Марины был для меня необычен: разобщенность членов семьи, своеволие каждого, разница характеров, взглядов, поведения, нежелание считаться с другими и какая-то потаенность, нервозность — все противоречило отношениям в моей семье. Мои братья старше меня,<sup>[67]</sup> я была тогда под их влиянием, у нас с ними общие интересы в мире искусства — мы любим музыку, театр. Наши воспитатели — Третьяковская галерея и художественные выставки Союза художников, «Мир искусства», Московский

художественный театр и симфонические концерты. Премьера в Художественном театре — большое событие в нашей жизни. Мы ходили на генеральные репетиции и на первые спектакли, ждали их. Они нас волновали, и эти чувства мы бережно хранили всю жизнь. Любили Ибсена, Гауптмана, Чехова. Нас удивляли и восхищали оригинальные пьесы Леонида Андреева: «Жизнь человека» и «Анатема».

Сколько трепета и радостного ожидания связано с первым спектаклем в Художественном театре — с «Брандом» Ибсена! Бесценным сокровищем казался тогда этот билет с рисунком чайки. Василий Иванович Качалов воплотил в себе образ любимого героя и стал моим кумиром. Никогда не забыть два вечера «Братьев Карамазовых» в Художественном театре! Много дней я потом жила в этом мире своих впечатлений, и ничто не могло отвлечь меня от них.

Пьесу Кнута Гамсуна «У врат царства» с Качаловым в главной роли смотрела на генеральной репетиции и в четырех спектаклях кряду. «Нора» и «Пер-Гюнт» Ибсена были открытиями. Нас увлекали романы Гамсуна, Стефана Жеромского. Со всеми вопросами жизни, поведения, мировоззрения мы шли к любимым драматургам и писателям.

У Марины иной круг интересов и друзей. Ее мир — поэзия, герои — поэты, и все мечты ее с ними. Хотя по характеру и укладу жизни, по отношению к искусству и к науке мы различны, Марина и Ася бывали в моей семье. Их привлекала студенческая молодежь, общество моих братьев. Они с ними дружили. В дарственной надписи к сборнику стихов «Волшебный фонарь» (1912) Марина назвала моего брата:<sup>[68]</sup> «другом моих пятнадцати лет».

С чувством какого-то особого волнения шла я по Тверскому бульвару к Трехпрудному переулку, где жили Цветаевы в одноэтажном деревянном особняке, расположенном от улицы отступя в глубину сада. Я проходила по тропинке к дому, вбегала по лесенке на мезонин и заставляла Марину за книгами. У нее были всегда новинки нашей и иностранной литературы и сборники стихов. Как-то раз она встретила меня афоризмами немецкого философа Ницше — молодежь тогда им увлекалась. Марина любила подразнить меня, ошеломить неожиданным парадоксом, громкой фразой. И вот в маленькой комнате

мезонина звучал призыв Заратустры покинуть дома, хижины, долины, подняться к вершинам, дышать горным воздухом.

Сама Марина и ее суждения казались мне каждый раз новыми. Чаще всего она была насмешливой, буйной, озорной, иногда — задумчивой, нежной и грустной, вспоминала берега южной Франции, Средиземное море и счастливое время, когда жила там с матерью.

Я редко соглашалась с Мариной, но спорить было трудно — так страстно, убедительно, горячо отстаивала она свое мнение.

Семья Цветаевых собиралась вместе только в столовой. Иногда Марина оставляла меня пить с ними чай. С большим интересом прислушивалась я к общему разговору, в котором участвовал и Иван Владимирович. Он охотно рассказывал о своей работе, о путешествиях за материалами для музея в Египет, Грецию и Италию, о замечательных сокровищах, которые там хранятся. Меня особенно увлекали рассказы об античном искусстве. На семинаре профессора Тураева мы, студенты Московского университета, пытались разбирать египетские иероглифы и мечтали о поездке в Грецию и Египет, чтобы изучать в подлинниках искусство этих стран.

Иногда Марина и Ася переводили беседу на темы сегодняшнего дня — о революционном движении, о забастовках, о выборах в Государственную думу. Они пользовались случаем упрекнуть отца за реакционность его взглядов. «Кому же ты отдашь свой голос? — спрашивает Марина у отца и смотрит на него с усмешкой. — Ведь профессура все больше за кадетов голосует! Неужели ты не с ними?» Я смотрю с упреком на Марину. В моей семье подобные вопросы отцу да еще в такой форме были бы немыслимы. Мы воспитывались на признании авторитета отца.

Возвращалась от Марины возбужденная, взволнованная и обогащенная. Много новых вопросов вставало передо мной и настоятельно требовало решения.

Строительство Музея изобразительных искусств заканчивалось в 1912 году. Иван Владимирович был часто в отъезде — собирал материалы для экспозиции. Из Египта были вывезены подлинные мумии, саркофаги. Профессор Цветаев задумал построить музей как дворец культуры, своего рода лабораторию в помощь научным работникам, историками и искусствоведам. В музее большая библиотека, прекрасны кабинет гравюры, читальный зал.



На постройку здания и на организацию музея затрачены громадные суммы, которые Иван Владимирович умел добывать от крупных фабрикантов и знати. Хотя в музее был целый штат сотрудников, самые трудные дела он брал на себя.

Приближался день открытия музея. Иван Владимирович предложил показать экспозицию сотрудникам, научным работникам и своим друзьям.

Марина и Ася позвали на эту экскурсию и меня.

Ивана Владимировича я видела до этого в домашней обстановке в Трехпрудном переулке, когда ему приходилось отвечать на насмешливые заявления дочерей и на их упреки в консерватизме. Здесь, в музее, он показался мне человеком большой воли, кипучей энергии. С увлечением рассказывал о преодолении трудностей в поисках материала и при пересылке в Москву драгоценного груза.

Когда мы шли по лестнице, украшенной колоннами из розового мрамора, он обратил наше внимание на две колонны: они едва заметно отличались по цвету от других. Оказывается, в пути разбились две колонны. Как заменить, когда найти точно такие невозможно! Только после долгих поисков, переговоров удалось купить еще две колонны, подобные тем, какие были уже поставлены. Иван Владимирович сообщал нам об этом как о большой победе.

Сколько забот и внимания, не говоря уже о больших капиталах, вложил он в дело своей жизни. А воспользоваться плодами этих усилий не пришлось — он умер вскоре после того, как ему поручили быть директором музея. Последними словами его были: «Я сделал все, что мог».

Ушел из жизни человек, до последней минуты преданный любимому делу. Его заслуги оценили по достоинству только после его смерти.

Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина стал подлинным очагом культуры, хранилищем ценнейших произведений живописи и скульптуры и своеобразной лабораторией для научных работников, изучающих искусство.

Детство верни нам, верни  
Все разноцветные бусы, —  
Маленькой, мирной Тарусы

Летние дни.

### *В Тарусе*

Летом Марина уезжала в Тарусу к своей тете..<sup>[69]</sup>

Как-то она мне предложила: «Едем со мной в Тарусу! Живем там у тетки. Это осколок старого мира. Она отгораживается от современности — двери держит на запоре, на окнах спущены занавески, никого не принимает... Но жизнь вторгается и к ней».

«А как же она нас встретит? — сомневалась я. — Ведь для нее я чужой человек?»

«Ты ей не мешаешь. Ты скромная, тихая, говоришь по-французски — она это ценит. Мы с ней не спорим, но и не очень-то считаемся. Тетя двери запрет, а мы — в окно. Ты к этому не приучена. У вас в семье через окно не лазят, ну, ничего, привыкнешь. Асю ты знаешь, Андрея мы почти не видим, он с девчонками не водится!»

Как могла я устоять против такого соблазна!

Ехали пароходом по Оке. Было это летом 1907 года, нам обеим — по пятнадцать лет.

Завенят-поют, забвению мешая,  
В моей душе слова: «пятнадцать лет».  
О, для чего я выросла большая?  
Спасенья нет!  
Еще вчера в зеленые березки  
Я убегала, вольная, с утра.  
Еще вчера шалила без прически,  
Еще вчера!..

После пыльной и жаркой Москвы так хорошо плыть спокойно, медленно по голубой Оке, любоваться живописными берегами во время сенокоса. С заливных лугов доносится на палубу парохода аромат свежего сена — радостно-привольно дышать запахом только что скошенных трав!

В вечер приезда в Тарусу мы не увидели владелицы дома. Она редко выходила из спальни. Однако на всех комнатах, на мягкой мебели, покрытой белыми полотняными чехлами, в плотных белых занавесях, закрывавших все окна, чтобы «чужая» жизнь не вторгалась в этот замкнутый круг, отражался образ хозяйки.

Долго мы сидели с Мариной в гостиной и слушали мелодичную музыку старинных стенных часов. Часы в деревянном с искусной резьбой футляре занимали весь угол комнаты почти до потолка. Каждую четверть часа они играли мелодичные пьесы, и тогда весь дом будто оживал и наполнялся звуками из старой-старой сказки.

На следующий день Марина познакомила меня со своей тетей. Я увидела худую, сухонькую старушку в белом чепчике с лентами и вы длинном белом капоте с оборками и вышивками. Она вышла в полдень на террасу с мешочком какой-то крупы, которую сыпала в кормушку, и к ней слетались, садились ей на руки и на плечи белые-белые голуби.

Лишь один раз видела я хозяйку необыкновенного дома, и образ ее остался у меня в памяти.

По правилам дома, мы должны были возвращаться с прогулки в 10 часов вечера. Тогда запирались все двери и тетя ложилась в кровать, уверенная в том, что все правила, предписанные ею, неуклонно выполняются.

Однако с этого часа и начиналась наша «настоящая» жизнь. Открывались окна, и мы бежали на речку, к лодкам. В светлые ночи гребли к лунной дорожке и плыли далеко-далеко, всматриваясь в потемневшие крутые берега Оки, заросшие густым кустарником. Становилось жутко от этих берегов, оврагов, казалось, что кто-то невидимый скрывается в них, и... вот-вот выйдет оттуда, темный и страшный.

Марина любила быть с человеком «один на один», и всякий лишний ей стал бы мешать. Ася и Андрей не ходили с нами. К Асе Марина относилась как к человеку своему, они почти не расставались. Ася была моложе, еще девочка, а в тринадцать — пятнадцать разница лет очень чувствуется.

Кто для Аси нужнее Марины?  
Милой Асеньки кто мне нужней?  
Мы идем, оживленные, рядом,

Все впивая...  
Мы идем, ни на миг не смолкая,  
Все родные — слова, все родные — черты!

Любили мы ездить на пароме. Что-то в нем было своеобразное, русское, что-то от прежних времен, от истории нашей страны. Мы наблюдали медлительные движения паромщика, который терпеливо дожидался, пока все соберутся, и потом медленно перебирал руками проволоку от берега до берега. Под нами неторопливо бежала вода, темная, густая в безлунные ночи, а при луне светлая дорожка, которую паром рассекал поперек.

Мы вспоминали события героического прошлого нашей страны, набеги врагов и мужественное, упорное сопротивление народа.

Ночь проводили, укрываясь в копнах сена, которые еще стояли на заливных лугах по берегам Оки. Забирались в копну, чтобы не было холодно. Луна заливала светом часть луга; за лугами темнели леса; с берегом Оки поднимался туман, иногда к нам доносилась песнь соловья. Зачарованные красотой летней ночи, увлеченные поэтическими образами, мы были счастливы. Марина читала любимые строки Пушкина и немецких романтиков: Гете и Гейне.

Валерия Брюсова Марина не любила, а любовь к Блоку пришла позднее.

Читала и свои стихи, некоторые из них потом вошли в сборники «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный фонарь» (1912). Марине не уставала читать стихи. Они были созвучны переживаниям. Творческая напряженность никогда ее не покидала.

На рассвете выбирались из копны и шли росистыми лугами. Местами не скошенная еще трава почти совсем закрывала нас и обдавала свежей росой. Мы дрожали от холодного предрассветного ветерка, возвращались промокшие, утомленные, но полные живых, всякий раз новых впечатлений.

Ах, золотые деньки!  
Где уголки потайные,  
Где вы, луга заливные

## Синей Оки?

С особенной нежностью относились мы к тарусским далям во время захода солнца. Взбирались на высокий берег Оки и смотрели на «далекие зализы песка», на луга «разливные» и на воды, отливающие золотом.

Все так же сонными лугами  
Лениво движется Ока.  
О, дни, где утро было рай  
И полдень рай и все закаты!  
Куда ушли в какую даль вы?  
Что между нами пролегло?

Иногда зори казались нам кровавыми, как предвещение трагической судьбы. Жутко становилось...

А было это за семь лет до объявления войны 1914–1918 года. Эта война и последующие за ней события отдалили от нас дни юности.

Широкий мир твой взгляд зажег,  
Но счастье даст тебе ль?  
Зачем переросла дружок,  
Свою ты колыбель?

Позднее, в тридцатые годы, когда Цветаева была за рубежом, любовь к родине стала для нее мучительной до боли:

Даль, прирожденная, как боль.  
Настолько родина и столь —  
Рок, что повсюду, через всю  
Даль — всю ее с собой несусь!

Предчувствие трагического конца было у Марины даже и тогда, в счастливую пору юности. Смерть любимой матери, ревнивое чувство

неудовлетворенной нежности и тревога общей неустроенности жизни наложила печать на легко ранимое, чуткое сердце. Даже среди обычного разговора иногда взгляд Марины затуманивался, и она без видимой связи с темой беседы, как будто видя страшный призрак, говорила: «Я умру молодой. Ты, Соня, долго будешь жить, может быть, скучно, но долго проживешь, а я!» — и она показывала жестом, что надевает на шею петлю. Я не верила тогда Марине, думала — романтизм, подражание поэтам-пессимистам, и все же было страшно... Никакие усилия отвлечь ее от мрачных мыслей и вернуть к радостному творчеству не имели успеха. 22 сентября 1915 года — Марине было 23 года — она писала:

С большою нежностью — потому,  
Что скоро уйду от всех, —  
Я все раздумываю, кому  
Достанется волчий мех.  
И все записки, и все цветы,  
Которых хранить невмочь...  
Последняя рифма моя — и ты,  
Последняя моя ночь!

И совсем страшно звучат в устах молодой поэтессы слова о «новопреставленной болярыне Марине».

Каково же мне было пережить в начале войны с фашистами, в 1941 году, известие о гибели Марины!

Когда наши братья и мужья были призваны в 1914 году в действующую армию, я уехала из Москвы, и мы расстались с Мариной надолго. Встретились только один раз, и эта наша встреча была последней.

В конце 30-х годов Марина вернулась из-за границы, позвонила мне, и мы условились, что она ко мне придет.

Пока Марина жила за границей, мы с ней не переписывались, но я знала о ее тяжелых переживаниях и о трудной жизни с больным мужем и двумя детьми за пределами родины, где относились к ней с недоверием, даже враждебно, стихов не печатали, она голодала — ей было не на что жить.

Я шла с волнением к метро Белорусского вокзала, где меня ждала Марина. Встретились как друзья после долгой разлуки. Дружба юности не меркнет, она теплится до конца жизни, открытая, доверчивая. Марину я нашла утомленной, похудевшей, тревожной и нервной. Заглянув ей в глаза, не увидела смелого, светлого блеска ее глаз, которые я так любила. Стерлась насмешливая улыбка, освещавшая когда-то в юности ее лицо. Я чувствовала: душа живая, но не радостная, замкнувшаяся в своем одиночестве.

Она пришла ко мне с сыном, которого называла Мур.

Марина не могла оставить сына на чужбине, но даже любовь к сыну не оторвала ее от Родины. 22 января она пишет:

Езжай, мой сын, домой — вперед —  
В свой край, в свой век, в свой час, от нас —  
В Россию...

На родину, единственную, которую она теперь видела в СССР.

У нас Марина читала свои стихи к Блоку. Блок был для нее «вседержитель моей души». Она вспоминала с горечью о том, что при встрече с ним не позволила себе подойти к нему. Она оставалась верна образу, который дала в стихотворении «К Блоку»:

И по имени не окликну,  
И руками не потянусь,  
Восковому святому лику  
Только издали поклонюсь.

Горько было думать, что навсегда лишила себя радости общения с Блоком. Этими заветными мыслями поделилась тогда с нами Марина.

Мы не хотели расстраивать ее воспоминаниями о пережитом. Не спрашивали. Мы знали, что делом ее жизни всегда было творчество, и никто из нас не сомневался, что здесь, на родине, она сможет развернуться во всю силу своего таланта.

«Я могу только писать стихи — ничего другого делать не умею», — говорила она. И это была правда. Не обманывала себя: ее стихи печатать не будут. Ей предложили переводы, и она не сетовала

на это — лишь бы встать на ноги и иметь возможность отдать все силы любимой работе.

Мы интересовались образованием и воспитанием молодежи в зарубежных странах, рассказывали о советской школе, где учились мои дети, о преподавали литературы и точных наук в средней и высшей школе. Мой сын только что кончил университет и начинал работать в Академии наук. Он говорил с увлечением о проблемах советской науки, о коренной перестройке промышленности в связи с изучением космических лучей, расщепления атомного ядра и об осуществлении подземной газификации угля.

Мур произвел на нас впечатление любознательного, умного подростка — ему было тогда 14 лет. Неприятно поразил нас только его небрежный, резкий тон в обращении с матерью, желание показать свою независимость, отмежеваться от ее взглядов.

Марина мучительно переживала мысль о том, что она служит помехой в жизни сына, мешает ему стать равноправным членом союза молодежи. Быть может, эти отношения с сыном и были последней каплей, переполнившей чашу терпения Марины.

В голосе Марины, в ее обращении к Муру можно было угадать глубокую материнскую любовь, дружеское участие, готовность все понять, простить, быть вместе с ним.

«Молодежь должна отстаивать свои права, ей принадлежит будущее. Они будут строить новую жизнь», — говорила Марина. Бодро звучали тогда голоса молодежи, радостно было слышать о стремлении встать в первые ряды строительства нашей республики!

Не знали мы тогда, что недалек тот час, когда наши сыновья отдадут свои силы и жизнь в борьбе против фашистов — оба они погибли в Великую Отечественную войну, защищая свою Родину. Но Марина не дождала до гибели сына: 31 августа 1941 года сама оборвала безрадостную жизнь.

О себе она могла бы сказать словами оправдания, которыми ответила на смерть Сергея Есенина:

...И не жалость — мало жил,  
И не горечь — мало дал, —  
Много жил, — кто в наши жил



Дни, все дал — кто песню дал.

Не осуществилось ее скромной желание, «чтобы на одном из... холмов... поставили с тарусской каменоломни камень:<sup>[70]</sup>

„Здесь хотела бы лежать  
Марина Цветаева“».

*Начало 1960-х годов*

## Татьяна Астапова<sup>[71]</sup> В НАШЕМ КЛАССЕ...

С тех пор как мы учились вместе с Мариной Цветаевой в двух старших классах гимназии, прошло более полувека. Ей было тогда лет 16–17.

Между нами не было никаких дружеских отношений, мы были слишком разными по характеру и склонностям, но, несмотря на это Цветаева всегда интересовала меня, привлекала мое внимание, и иногда я невольно наблюдала за ней. Мне казалось, что за своенравием, порой даже эксцентричностью ее поступков скрывается нечто более глубокое, что свойственно только незаурядной, одаренной натуре. Многие из нас знали, вернее угадывали, что Цветаева что-то пишет, но она никому не показывала своих стихов, и нам было неведомо, чем она живет, какие строки слагались в ту пору в ее уме. Это были строки ее «Вечернего альбома», где уже проявились и богатство воображения, и подлинный поэтический дар. Впечатление, оставленное Цветаевой, не изгладилось с годами — в памяти моей легко оживают сказанные ею слова, какой-нибудь жест, улыбка, а бывает, что вижу ее во сне. Всегда при этом станет так радостно, хочется сказать ей что-нибудь хорошее, какой отклик находит ее поэзия в сердцах путников, идущих вослед...

В нашу гимназию (М. Г. Брюхоненко)<sup>[72]</sup> Цветаева поступила в 1908 году и проучилась в ней два года, в 6-м и 7-м (выпускном) классе. Но, пожалуй, вернее было бы сказать: не проучилась, а пробыла в ней два года. Это была ученица совсем особого склада. Не шла к ней гимназическая форма, ни тесная школьная парта. И в самом деле, в то время как все мы — а нас в классе было 40 человек — приходили в гимназию изо дня в день, готовили дома уроки, отвечали при вызове, Цветаева каким-то образом была вне гимназической сферы, вне обычного распорядка. Среди нас она была как экзотическая птица, случайно залетевшая в стайку пернатых северного леса. Кругом движенье, гомон, щебетанье, но у нее иной полет, иной язык.

Из ее внешнего облика мне особенно запечатлелся нежный, «жемчужный» цвет лица, взгляд близоруких глаз с золотистым

отблеском сквозь прищуренные ресницы. Короткие русые волосы мягко ложатся вокруг головы и округлых щек. Но, пожалуй, самым характерным для нее были движения, походка — легкая, неслышная. Она как-то внезапно, вдруг появится перед вами, скажет несколько слов и снова исчезнет. И гимназию Цветаева посещала с перерывами: походит несколько дней, и опять ее нет. А потом смотришь, вот она снова сидит на самой последней парте (7-й ряд) и, склонив голову, читает книгу. Она неизменно читала или что-то писала на уроках, явно безразличная к тому, что происходит в классе; только изредка вдруг приподнимет голову, заслышав что-то стоящее внимания, иногда сделает какое-нибудь замечание и снова погрузится в чтение.

В то время в нашей передовой гимназии была сделана попытка исключить отметки среди года. За ответ преподаватели ставили зашифрованный значок в свой журнал, а табель с отметками мы получали только в конце учебного года. Все как будто шло хорошо. Но как быть с такой непокорной ученицей, как Цветаева? Некоторые предметы, как, например, по естествознанию, ей были неинтересны, она просто не хотела ими заниматься, а длительные отсутствия вызывали у педагогов тревожные замечания: «Она должна подчиниться общим правилам!». «Так нельзя посещать гимназию». Об этом поговорят, а в общем все оставалось по-старому.

Вот уроки русской литературы. Казалось бы, сам предмет должен быть близок Цветаевой, но преподает Ю. А. Веселовский без особого подъема, несколько рутинно, и Цветаева по-прежнему читает что-то свое и не слышит, о чем не спеша, ровным голосом рассказывает Юрий Алексеевич.

Однажды Ю. А. Веселовский принес в класс статью Писарева о Пушкине, и одна из учениц читала вслух «издевательскую» критику на письмо Татьяны. То и дело раздавались взрывы смеха. Большое оживление в классе заставило Цветаеву приподнять голову и прислушаться. Некоторое время она слушала молча, без тени улыбки в раскрытых глазах было удивление. «Что это?» — наконец спросила она. «Это Писарев, Писарев», — с разных сторон зашептали ее ближайšie соседки. «Боже мой!» — Цветаева возмущенно и пренебрежительно пожала плечами и снова погрузилась в чтение. (Этот презрительный жест произвел на меня впечатление. Я тогда

много читала Писарева, и возникшие в уме сомнения улеглись еще не совсем.)

Урок истории... В классе легкий гул. Е. И. Вишняков рассказывает как будто и умно, и с революционным духом и иногда прочитает умело подобранный отрывок, а все же слушают его плохо и не обращают внимания на раздающиеся время от времени призывы к тишине. Вот он вызывает Цветаеву. А надо сказать, что преподаватели вызывали ее очень редко, как будто решили — лучше ее не тревожить. Цветаева рассказывает о французской революции. Вишняков внимательно смотрит на нее и не прерывает до конца ни единым вопросом. А рассказывает Цветаева долго, и, конечно, не по учебнику, а по таким источникам, которые мы тогда еще не держали в руках. Мы слышим о Мирабо, о жирондистах, Марате. Речь ее льется свободно, красиво, она воодушевлена. Не могу сказать, что рассказ ее захватил меня своим содержанием, в то время оно было мне не по плечу, да и интересы мои клонились в другую сторону, но мне стало ясно, насколько эта девочка стоит выше всех в классе по своему интеллектуальному развитию. И преподаватель понял, что этот «ответ» не укладывается в рамки обычного, что нелепо прервать его, и так и закончился он только со звонком, возвестившим об окончании урока.

Вишняков был удивлен, с уважением посматривал на «свою ученицу» и, сколько помнится, благодарил.

Уроки французского и немецкого языка в частных гимназиях велись на высоком уровне, с разбором фольклора и старых классиков. Иностранные языки Цветаева знала прекрасно, но и здесь она не удостаивалась «учить уроки» и никогда не знала «что задано». Это ходячий в школах вопрос нельзя было услышать из уст Цветаевой. Зато она отвечала с места, подавала реплики, порой веселые, остроумные. Однажды преподавательница французского языка вызвала одну хорошенькую глупенькую девочку. Та стоит, наклонив, как козленок, свой выпуклый смуглый лобик. Вопрос — молчание. Еще вопрос — опять молчание. Тогда Цветаева, сидевшая сзади, подсказывает ей что-то совсем несуразное. Девочка доверчиво повторяет. В классе взрыв смеха. «Quelle betise!»<sup>[73]</sup> — восклицает преподавательница.

В другой раз наша немка рассказывает о Нибелунгах: «Nach dreizehn Jahren Krimhide...»<sup>[74]</sup>

И тогда моя подруга Радугина восклицает разочарованно: «Nach dreizehn Jahren?! Krimhilde ist schon sanz alt geworden!» — «Warum so?!»<sup>[75]</sup> — возражает немка: «Siebzehn und dreizehn macht dreisig». — «Denken sie, das dreisig Jahre Kann man schon das Alter nennen?» — «Jawohl»,<sup>[76]</sup> — отвечает Радугина. Повсюду улыбки, немка немного смущена. После урока Цветаева подходит к Радугиной, говорит с лукавым огоньком в глазах: «Ах, Радугина, до чего же у Вас хорошо вышло это: „Sie ist schon ganz alt geworden!“».<sup>[77]</sup>

На уроках естествознания (физики, химии, анатомии человека, физиологии растений), которые проходили у нас в физическом кабинете, были хорошо поставлены и увлекали весь класс, и на уроках математики Цветаеву я просто не помню.

Однажды у Цветаевой появилось небывалое желание: стать прилежной ученицей. Придя утром в класс, она уселась на первую парту в среднем ряду, разложила учебники, тетради, ничуть не заботясь о том, что заняла чужое место. Оно принадлежало одной тихонькой, малозаметной девочке. Когда та пришла и растерянно остановилась около своей парты, Цветаева во всеуслышание заявила, что с этого дня будет заниматься по-настоящему, слушать на уроках, записывать и никуда отсюда не уйдет. В классе зашумели, заспорили, девочка чуть не плакала. Со всех сторон слышались упреки, порицания — ничто ни помогало. Цветаева возражала, что на последней парте трудно следить за уроком, что она долго пробыла там и почему-то должна оставаться там навсегда. И в конце концов ее оставили в покое, а огорченную девочку где-то пристроили в сторонке. Как и следовало ожидать, дня через три внезапно нахлынувшее рвение исчезло. Цветаевой не понравилось сидеть слишком близко от кафедры, и, забрав свои книги, она вернулась на свое прежнее место. Инцидент был исчерпан, и все пошло по-старому.

В классе Цветаева держалась особняком. Она присматривалась ко многим, но найти среди нас настоящей подруги не могла. Бывало и так: кто-нибудь из учениц другого класса вызовет в ней восхищение, она начнет ее идеализировать, сближается с ней, но, узнав поближе, разочаруется, отойдет. Однажды она подошла ко мне: «Пойдемте походим». В ее манере подходить к людям было что-то подкупающе-мягкое и вместе с тем властное. Ей никто не отказывал. Она легко взяла меня под руку, и мы сделали несколько туров по залу. Я поняла,

что ей захотелось меня «прощупать». Меня больше всего интересовало естествознание, и я сообщила, какие предметы особенно люблю и чем они меня привлекают. «Нет, — сказала Цветаева, — по-моему, они скучны. Вот химия мне еще нравится, пожалуй: во время опытов в пробирках получают такие красивые цвета!»

Из всего класса Цветаева уделяла внимание только моей подруге Радугиной, беседовала только с ней одной. Моя подруга была старше меня на два года, умная, сдержанная, воспитанная, со способностями в равной мере как к гуманитарным, так и к естественным наукам. Бывало, мы ходили с Радугиной на переменах по коридору или по большому залу, подойдет Цветаева, возьмет ее под руку с другой стороны, расскажет что-нибудь и отойдет. Однажды медленно, почти про себя Цветаева начала скандировать стихи: «Был тихий вечер, вечер бала...» — «Был тихий вальс...» — в тон ей продолжила моя подруга. «Радугина, — радостно воскликнула Цветаева, — вы знаете стихи Виктора Гофмана?! Как хорошо!»

Иногда она делала беглые замечания о ком-нибудь из учениц. «Мне нравится лицо Дьянычевой. Я часто смотрю на нее», — сказала она как-то об одной девочке, напоминавшей молодых послушниц с картин Нестерова. В другой раз, внимательно посмотрев на меня, сказала: «У вас янтарные глаза. Вы читали Мережковского „Воскресшие боги“? У ведьмы Кассандры были янтарные глаза». А когда мы как-то выходили после уроков из гимназии, спросила: «Вы, наверное, катаетесь на коньках?» — «Да, почему вы узнали?» — «Я так ясно представила себе вас на льду, на катке, в этой пушистой шапочке». Она могла легко опоэтизировать действительность, порой искажала ее... «Нет, как могла я так ошибиться!» — с волнением говорила она об одной ученице из старшего класса, которая недавно приглянулась ей. Цветаева рассказывала, что они долго ходили с ней вечером по Москве, много говорили, и все очарование исчезло. «Сначала мне почудилось в ней сходство с одной девушкой, живой, энергичной, порывистой, а внешне такой худенькой, хрупкой. Оказалось, совсем на то: она груба, неинтересна, и что за привычка говорить и наваливаться всей своей тяжестью на чужое плечо. Это так неприятно!» — Цветаева сделала брезгливый жест рукой, как бы стряхивая что-то со своего плеча.

Если она возымела неприязнь к кому-нибудь, то это чувство проявлялось в ней с такой же силой, как и разгоревшееся увлечение.

В нашем классе была одна ученица, охотно принимавшая участие в школьных спорах, конфликтах; размеренным тонким голосом она доказывала, убеждала... «Что она все пищит? — говорила Цветаева. — Она думает, что это умно. А она просто пискля». Их антипатия была взаимной. «В ней есть что-то кошачье. Терпеть не могу кошек», — говорила «пискля».

Как-то раз, когда мы ходили втроем по коридору, навстречу прошла одна «новенькая» из другого класса, армянка или еврейка с большим ястребиным носом. «Какой у этой девочки громадный нос!» — невольно вырвалось у меня. Цветаева помолчала немного и потом задумчиво начала: «Вот так всю жизнь при встрече с этой девочкой будут думать — „какой у нее большой нос“, и всегда прежде всего всем будет бросаться в глаза ее нос. У нее будет радость или горе, она с волнением будет рассказывать об этом, а все невольно будут смотреть на ее нос». Радугина засмеялась. «Ну полно, Цветаева, что это вы, перестаньте...»

А то, бывало, она сообщит что-нибудь забавное: она подала домашнее сочинение, написанное в синей тетради, на которой ей пришлось заменить ярлык. Приклеив новый белый лоскут бумаги красным сургучом и посмотрев на свое изделие, она сделала в уголке надпись: «Сочетание цветов, допустимое только во Франции». После проверки тетрадь пришла с зачеркнутыми «крамольными» словами, а наверху рукой Ю. А. Веселовского написано: «Прошу не делать на тетрадях никаких посторонних надписей».

Вообще Цветаева была далеко не прочь напраказывать, и шутки ее бывали такими, какие мне никогда не пришли бы в голову. Мы как-то целой ватагой возвращались из гимназии. Впереди шел молодой человек, не то военный, не то лицеист, не припомню, но в форме с иголочки. Он всегда заходил за одной гимназисткой из выпускного класса, а в тот день, вероятно узнав о ее отсутствии, возвращался один. «Тираспольская!» — вдруг отчетливо и громко произнесла Цветаева. Лицеист вздрогнул, круто обернулся и увидел в упор незнакомые юные лица, веселые, насмешливые глаза; он смутился и, прибавив шагу, поспешил скрыться, затерявшись среди прохожих.

Однажды Цветаева, появившись утром в классе, вызвала всеобщее удивление: волосы у нее за один день стали необычного соломенного цвета, и к ним была прикреплена голубая бархатная лента. По-видимому, в ее воображении все это должно было выглядеть иначе. Быть может, тут сыграло какую-то роль название сборника стихов Андрея Белого «Золото в лазури». Ее волосы привлекли внимание, ей задавали вопросы. Вероятно, Цветаевой это надоело, а возможно, эта причуда разодралась и самой, но только вскоре она остриглась наголо и некоторое время носила черный чепец.

Мне кажется, что если Цветаева и держалась обособленно от других учениц, то это все же не исходило из гордости или сознательного намерения уединиться, а получалось как-то само собой. Она не отказывалась принять иногда участие в наших литературных чтениях, которые мы устраивали в классе или у кого-нибудь из учениц на дому, в совместных прогулках. Помню ее на одном из таких чтений. На этот раз мы читали одну из «проповеднических» статей Льва Толстого, в то время все еще находивших отклик среди молодежи. Цветаева участвовала в обсуждении прочитанного и отнеслась отрицательно к жизни «в келье под елью». Кроме того, ей не нравилось, что Толстой, ратуя за непотворение, старался доказать, что доброе в ответ на злое приносит хорошие плоды и самому «непотворенцу», то есть оказывается как бы выгодным для него.

А вот мы в Петровско-Разумовском раннею весной. С нами и Цветаева. Мы приехали на маленьком паровичке, совершавшем сюда свой путь каждые полчаса от Бутырской заставы, и здесь среди полей и лесов, всем стало легко и радостно. Вот Цветаева ловит лягушку, подносит к близоруким глазам, внимательно рассматривает, стоящая рядом Лопатина испуганно отскакивает. Цветаеву это забавляет, ей хочется подразнить, она подходит ближе. Лопатина отмахивается руками и наконец спасается бегством. За ней легко несется Цветаева с болтающейся лягушкой на вытянутой руке. Из группы девочек раздаются упреки, призывы прекратить погоню. Я стояла поодаль и смотрела на них со стороны. Лопатина с ее визгом, искаженным от страха лицом была жалка, а бег-полет Цветаевой показался мне красивым. Ведунья! Потом Цветаева внезапно остановилась, отбросила лягушку в сторону, пошла прочь.



На обратном пути Цветаева рассказала мне как недавно решила впервые зайти вечером к Радугиной (ее не было с нами на прогулке). Радугина жила не в родной семье, а у своей тети, где все было чинно, даже чопорно. Цветаеву встретили неприветливо, окинули взглядом с головы до ног, стали задавать вопросы, а затем сказали, что Фани нет дома. Цветаева была неприятно удивлена. «Это что же, так у них заведено? И это всегда так?» — спрашивала она. Цветаева не хотела связывать себя ненужными условностями, тогдашними понятиями о приличии, о том, что не пристало молодой девушке из «хорошего общества»; она любила чувствовать себя свободной, а мою подругу оберегали, каждый день провожали в гимназию и заходили за ней после уроков, хоть и жила она неподалеку.

Настоящим другом Цветаевой была ее младшая сестра Ася, учившаяся в той же гимназии. Меня всегда удивляло, с какой радостью встречает Цветаева сестру и как подолгу они ходят вместе и оживленно беседуют друг с другом. Можно подумать, что они давным-давно не видались. Вот вижу их на площадке второго этажа, откуда три большие двустворчатые двери ведут в зал, в кабинет начальницы и в столовую. Они стоят возле пролета лестницы, возле чугунных перил; если донна говорит, другая слушает внимательно и с улыбкой смотрит на сестру. Ася младше Марины года на два, на три и не похожа на нее — тоненькая, нежная, с гладко причесанной головкой, на высоких каблучках, с изящным ридикюлем в руке. В ней было что-то старомодное, что-то от тургеневских времен. Я посматривала на них и не переставала удивляться их долгой беседе. У меня тоже любимая сестра училась в той же гимназии, но мне казалось бы странным приветствовать ее при встрече и разговаривать с ней. Ведь мы же каждый день видимся дома, а здесь столько девочек, столько общих интересов в кругу своих одноклассниц.

Я совсем не помню Цветаеву на выпускных экзаменах. Может быть, это зависело от того, что вызывали у нас по алфавиту, и, ответив первой, я вскоре уходила домой.

Мне остается только рассказать о поездке в Крым, которую наша гимназия устроила на пасхальные каникулы для старших классов. Мы были тогда в шестом классе. Цветаева ездила с нами. К сожалению, нас не предупредили, что в Крыму об эту пору погода переменчива, и мы в своих легких весенних пальто очень зябли. В Севастополе нас

разместили в гостинице группами по пять-шесть человек. Когда наша шестерка вошла в отведенный нам номер, Цветаева тотчас распахнула все окна, дверь на балкон и быстрым легким шагом принялась ходить по комнате. Она была легко одета, а подходя к балкону, с наслаждением подставляла лицо свежему, порывистому ветру. Озябшие девочки запротестовали, начали спорить. Цветаева сначала упорствовала, настаивала на своем, потом внезапно, как это было ей свойственно, покинула нас и переключилась на другую группу из выпускного класса. Среди учениц этого класса была одна армянка — высокая, стройная девушка с выразительным, энергичным лицом, с красивыми черными глазами, горделиво смотревшими из-под дуговидно изогнутых бровей. Сильная, ловкая, она прекрасно лазила по горам, а своими рискованными прыжками с камня на камень у края отвесных скал вызвала однажды испуганный возглас педагога: «Госпожа Джамгарова! Мы верим, что вы смелы, но просим прекратить это опасное занятие!» Она была колоритной фигурой на фоне Крымских гор. Цветаева отдала ей день своего восхищения и держалась около нее во все время нашей поездки.

Из Севастополя в Ялту мы переправлялись на пароходе. Дул сильный ветер, и многих укачало. Помню, как мы с Радугиной, хмурые, притихшие, сидели на палубе, прижавшись друг к другу, закутанные в плед. Выглянув из-под пледа, я увидела Цветаеву, бодро ходившую по палубе в оживленной беседе с кем-то из пассажиров. Но вот она стремительно отбегает в сторону, перегибается через борт, а через минуту снова продолжает прерванный разговор.

В Ялте повеяло теплом. Каждый день мы совершали экскурсии то на линейках, то пешком. Розовые облака цветущего миндаля на яркой синеве неба показались нам волшебной сказкой. Но погода все еще не установилась. Во время нашей поездки на Ай-Петри вдруг повалили густые хлопья снега. Но никогда я не видела, чтобы Цветаева зябла и куталась, как остальные. Она предпочитала ездить рядом с возницей, и я помню ее фигуру на козлах с развевающимися волосами, легко одетую, с бусами вокруг шеи. Она часто покупала ожерелья из всевозможных ракушек, разноцветных камушков. Бывало, перебирает их пальцами, прислушивается к их шелесту, скажет с улыбкой: «Люблю эти гадюльки», — потом нацепит на себя. И они к ней шли.

На обратном пути домой все были веселы и от новых впечатлений, и от предстоящей встречи с родными. Затеяли игру во мнения. О Цветаевой мне запомнилось только одно — мнение нашего преподавателя по естествознанию А. Н. Брюхоненко: «Душа поэта». Сказано это было со снисходительной усмешкой, так как сам он был совсем другой ориентации. Когда собирали мнения о Радугиной, Цветаева старательно искала в уме, что сказать о ней, и обратилась ко мне за советом. Я назвала какую-то смешную черточку в ее характере. «Нет, нет, — сказала Цветаева, — я хочу сказать что-нибудь хорошее». Мне и запомнилось, на чем она остановилась. Мнение Цветаевой обо мне было: «Нуждается в ласке». Именно так понимала она мою дружбу с Радугиной.

Помню еще, как Цветаевой захотелось выкинуть какую-нибудь забавную шутку. «У кого есть старший брат?» — спросила она. «У меня», — сказала я. «Как его зовут?» — «Борис». — «Сейчас я напишу ему открытку с дороги». И она тут же, поглядывая временами в окно, написала моему брату письмо в духе наивной, восторженной гимназистки. «Милый Боря!» — начала она, а дальше было что-то о необъятном просторе, о селах и деревушках, живописно раскинувшихся среди полей и нив, о маленьких беленьких домиках, утопавших в кудрявой зелени.

А то один раз я подбежала в вагоне к своей скамейке и вижу: на моем месте, свернувшись калачиком, спит маленькая девочка из 5-го класса. Сидевшая рядом Цветаева остановила меня: «Не будите ее, смотрите, как хорошо она спит». В ее голосе и глазах было много ласки.

Ехали мы двое суток. Цветаева уже отошла от Джамгаровой и ее одноклассниц и снова была с нами. Вечерами она любила стоять в тамбуре в вагоне. Однажды мы с Радугиной последовали за ней. Проносились полосы света, мелькали причудливые тени, грохотало и лязгало железо. В полумраке дрожало бледное пятно ее лица. Вот она меняет его выражение, поднимает руки, шевелит пальцами, что-то говорит, страдая нас. Нам и жутко и весело.

Она могла, если захочет, как магнит притягивать к себе людей и, думается, легко могла и оттолкнуть.

По окончании семи классов мы с Радугиной проучились в гимназии еще один год, в восьмом (педагогическом) классе. Цветаева в

нем не осталась, и я больше ее никогда не встречала. Но, будучи гимназистками 8-го класса, мы держали в руках ее первый сборник стихов, и нам вспоминались ее вскользь брошенные слова: «Вскоре я вас всех удивлю». Я читала и перечитывала стихи из «Вечернего альбома» и вышедшего вслед за ним «Волшебного фонаря». Мне нравились поэтические образы ее юной фантазии, и хотелось лучше понять «душу поэта».

Перед моими глазами проносились целой вереницей — и ожившие саксонские фигурки, и рано угасший орленок, и девочка-смерть с дрожащим медальоном на тоненькой шейке, и маленький принц, кормящий лебедей, вставляли картины из ее детства.

И понятен был ее возглас:

Боже, верни мне, верни  
Все разноцветные бусы —  
Маленькой мирной Тарусы  
Светлые дни!

Мне открылось, что еще тогда, на школьной скамье, у Марины Цветаевой

В декабре на заре было счастье,  
Длилось миг!  
Настоящее, первое счастье,  
Не из книг!  
В январе на заре было горе,  
Длилось — час.  
Настоящее, горькое горе,  
В первый раз!

Марина Цветаева выросла, талант ее развернулся и вширь и вглубь, былая напевность сменилась переменчивым взволнованным ритмом, но строки, написанные еще не окрепшей рукой («О если б Вы знали, как слабы у розовой юности руки!»), когда юность печалилась своей отдаленностью от настоящей жизни («Можно тени любить, но

живут ли тенями восемнадцати лет на земле?!»), навсегда сохраняют для меня свое неповторимое очарование.

*1960-е годы*

**Елизавета Тараховская** [\[78\]](#)

## **ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С М. ЦВЕТАЕВОЙ**

Моя встреча с Мариной Цветаевой впервые состоялась в 1915 году, когда я, еще учась в таганрогской гимназии, приехала в гости к моей сестре, поэтессе Софии Парнок. Мы снимали две комнаты в Хлебном переулке, и Марина Цветаева, дружившая с моей сестрой, очень часто приходила к нам, так как жила очень близко, в Борисоглебском переулке. У нее был бунтарский, ни на кого не похожий характер. Предполагая, что кому-нибудь из прохожих покажется смешной ее шуба «под тигра», сшитая из рыжего одеяла с коричневыми пятнами, она, не дожидаясь насмешек встречных, первая начинала говорить им дерзости и оскорблять их. Она была необузданна в своих поступках и мыслях и мне казалось (как это впоследствии обнаружилось) человеком, ни на кого не похожим. Она была стройна, как юноша, круглолица, светловолоса. Противоположно ее нежному юному виду, руки ее были грубы, как руки чернорабочего, хотя и были унизаны огромным количеством цыганских серебряных перстней и браслетов.

Хотя в то время она уже была замужем за Сергеем Эфроном, она нисколько не заботилась ни о муже, ни о дочке Але. Всякий быт был ей отвратителен. Она жила наперерез и наперекор всем и всему.

Помню, что однажды она сказала мне, что ежедневно садится за письменный стол и пишет одно или два стихотворения. Эта ежедневная упорная работа над словом сделала ее впоследствии лучшей русской поэтессой. Те новаторские рифмы и ритмы, над которыми она работала еще в 1915 году, заимствованы теперь молодыми поэтами — талантливыми эпигонами.

Повторяю, что она была необузданна во всех своих действиях и поступках. У нее был кратковременный «роман» и с Осипом Мандельштамом, и с Тихоном Чурилиным. Каждому из них она посвящала стихи. Так, например, стихотворение «Откуда такая нежность?» посвящено высокомерному Осипу Мандельштаму, которого кто-то остроумно назвал «мраморной мухой».

Она легко влюблялась и наделяла любимых свойствами, которыми они не обладали, и так же легко и просто оставляла любимых, одаривая их браслетами, кольцами, расшитыми золотом подушками и т. д.

Могли ли она предполагать, что ее «легкомыслие» кончится так трагично.

Однажды она, Вера Инбер и моя сестра Софья Парнок гадали о своей судьбе, наугад отыскивая строчку стихов. На долю Марины выпало слово «плаха». Как страшно сбылось это предсказание и как мало легкомыслия было в этой трагической судьбе. Мне ярко запомнилась ее стройная, девическая фигура в красном ситцевом купальном костюме на фоне ослепительно синего коктебельского моря. Она мыла голову илом со дна моря и казалась мне необычайно счастливой. Во время чтот в мастерской Макса Волошина она читала замечательные стихи. Когда я вспоминаю покойную Марину Цветаеву и недавно умершую Анну Ахматову, тоже замечательную поэтессу, то первая (то есть Марина) кажется мне яркой молнией, а вторая тихой лампадой, а их обоих, лучших русских поэтесс, травили и довели до гибели. А обе они были настоящими русскими патриотками. К счастью, позднее Ахматова получила докторскую степень в Лондоне, а затем какую-то премию в Италии.<sup>[79]</sup>

Таким образом она хотя бы перед смертью нашла должное признание. Марина часто выступала в литературных модных салонах. Одновременно с Есениным, Клюевым и моей сестрой. Затем Марина выступала в каком-то литературном объединении на Большой Дмитровке. Она вместе с сестрой Асей выступали и читали Маринины стихи, так сказать, «дуэтом». Голоса их были очень похожи, и это чтение выглядело каким-то интересным эстрадным номером. Причем все мысли и ощущения, и характер, ни на кого не похожий, принадлежал Марине, а Ася была лишь ее отголоском, как бы эхом Марины, несмотря на том, что сама была талантливым прозаиком и написала несколько книг, главным образом о себе самой. Книга «Королевские размышления» и другие известны любителям литературы, а сейчас, в 1965 году, в журнале «Новый мир» вышли ее воспоминания, где дана старая Москва, ее отец профессор И. Цветаев, ее мать, но отсутствует сама Марина. Возможно, что, если бы эти

воспоминания были напечатаны не в сокращенном виде, у меня сложилось бы о них другое мнение.



**Р. М. Хин-Гольдовская**<sup>[80]</sup>  
**ИЗ ДНЕВНИКОВ**

*Понедельник, 18 февраля 1913 г.*

Вчера были у детей, вернулись в 3 часа! Они, в первый раз, принимали своих знакомых, у которых они бывали эту зиму. Центральное место занимала, конечно, вся волошинская компания, которая состоит из двух частей: «обормотников» — сюда входит своеобразная коммуна: мать Волошина<sup>[81]</sup> (старуха в штанах и казакине!), он сам и две сестры Эфрон — Лиля и Вера..<sup>[82]</sup>

Они живут все на одной квартире, которую они сами окрестили именем: «обормотник»... Остальные: Марина Цветаева, двадцатилетняя поэтесса, жена 19-летнего Сережи Эфрона, ее младшая сестра Ася, тоже замужем за каким-то мальчиком (обе эти четы имеют уже потомство — у Марины девочка, 6 месяцев, у Аси такой же мальчик, причем каждый из этих младенцев перебивал у 6 кормилиц — по одной на месяц! Я называю эти «менажи» — «Детский Сад»). Марина, Ася, Майя<sup>[83]</sup> (18-летняя русская француженка, пишет — и как читает! очаровательные французские стихи) — так сказать — естественные сочлены «Обормотника». Толстые — хотя и тесно с ними дружат, но уже понемножечку «отодвигаются» от этого кочевого табора и стремятся занять более солидное положение. Кандауров и Богаевский<sup>[84]</sup> — что-то вроде почетных, сочувствующих посетителей. Как зрелище вся эта компания забавна чрезвычайно. Сестры Эфрон — очень хороши собой, особенно Лия. Марина и Ася вдвоем читают Мариныны стихи. Стройные, хорошенькие, в старинных платьях, с детскими личиками, детскими нежными голосами, с детскими вздохами, по-детски нараспев они читают, стоя рядышком у стенки, чистые, трогательные, милые стихи... Ужасно странное впечатление! — какое-то далекое-далекое, забытое, не нынешнее, словно на миг мелькнувшее во сне прошлое, которое сейчас-сейчас исчезнет. Майя читала по-французски — про «королеву», «pastour'a»,

[85] рыцаря — такие далекие, лунные баллады. Читал и Макс — как всегда хорошо и как всегда аффектированно, он отчеканивал каждое слово. Милый, добрый, ласковый, всезнающий, всех любящий — и ко всем равнодушный Макс!.. Ученый эклектик, перипатетик, поэт, художник, философ, хиромант и божий человек, юродивый «без руля и без ветрил» — русский «обормот» с головой Зевса и животом Фальстафа. Все они точно не живые, какая-то любопытная нелепость... Они ходят, говорят, декламируют, сочиняют, пишут, танцуют, бракосочетаются, рожают детей, едят, пьют, курят папиросы... И все это они проделывают, как выражается Таня, — по-«игрушкиному»...

*Суббота, 12 июля 1914 г.*

В «Обормотнике» (так окрестил сам Макс свой «фаланстер» на Сивцевом Вражке и в Коктебеле) — выбросили за борт все «условности», т. е. всякий порядок, всякую дисциплину... Но как и во всякой «коммуне», там создался свой «устав» — в конце фальшивый и карикатурный. Взаимные восторги перед красотой, свободой и «лирической насыщенностью» каждого «момента»... Все любят друг друга, собой, все на «ты». Брат Эфрон, Сергей, в 16 лет женился на 17-летней поэтессе Марине Цветаевой (очень красивая особа, с решительными, дерзкими до нахальства манерами); сестра этой Марины 15-летняя гимназистка вышла замуж за 15-летнего же гимназиста, кажется, третьеклассника, но зато пьяницу — первоклассного. Этот супружеский «детский сад» обзавелся потомством — у Марины девочка, у Аси — не знаю кто. Марина, богатая и жадная, вообще несмотря на поэзию — баба кулак! Муж ее — красивый, несчастный мальчик Сережа — туберкулезный, чахоточный. Имеется еще брат, старший, Петр, [86] который со смерти матери был в ссоре с сестрами из-за «наследства». Он обвинял сестер в утайке денег. Теперь он третий месяц умирает от злой чахотки, сестры поместили его в лечебницу, а сами расположились во флигеле у Миши! [87]

Причем ни Миша, ни Эва [88] не сочли нужным — перед отъездом даже предупредить нас, что они у нас в доме поселили жильцов. А

жильцы расположились в доме, как у себя, — целый месяц не давали паспорта, занимали нашу прислугу, запаковали весь флигель. Но и этого показалось им мало. Несколько дней тому назад, никого не предупредив, в два часа ночи — Лиля водворила во флигеле прибывших из Коктебеля Марину, Сережу, их няньку с ребенком и кошку. В четыре часа утра Марина по телефону разбудила Милю<sup>[89]</sup> (с которым она едва знакома) и спрашивали — нет ли у него знакомого доктора, так как ее супруг захворал. Утром Онисим Борисович<sup>[90]</sup> уже не мог пить чай и заниматься в своем саду, ибо им уже завладела нянька с ребенком. Постель Миши занял больной, комнату Тани — нянька с ребенком, кабинет — Марина, столовую — Лиля. Дом сразу обратился в хлев. Когда дворник попросил паспорт, Марина ответила: мы его забыли на даче — и по телефону пожаловалась Миле на «приставанье» дворника. Миля сказал, что в Москве — забастовки, и полиция может нас подвергнуть за держание беспаспортных 500 рубл. штрафа. Марина гордо ответила: я тогда сама заплачу! Миля возразил, что за это, кроме штрафа, домовладельцу грозит тюрьма. Поэтесса не смутилась и ответила: бог милостив, не посадят!

*Среда, 16 июля 1914 г.*

Думаю, что дети теперь скоро вернуться. В Москве, в их флигеле, окончательно расположилась вся семья Эфронов. Сестрицы, братец, его жена (совершенно ломовой извозчик — эта поэтесса «Марина Цветаева»), ребенок, нянька, кошка. Они заполнили весь дом, весь двор, загоняли прислугу. Мы очутились точно в плену у башибузуков. При этом никто из них не только не счел нужным спросить — могут ли они занять флигель, а даже не кланялись с Онисимом Борисовичем. Он, бедный, перестал ходить в сад! Когда дворник просил их дать паспорта, ему отвечали: не стоит, мы скоро уедем. А между тем в Москве введена чрезвычайная охрана! Флигель превратился в хлев. Я решила действовать энергично. Послала Макара, и он объявил, что «покорнейше» просит освободить флигель скорее, т. к. он нам необходим. Цыганский табор снялся. Но «дебелая Лиля» пожелала меня проучить: велела нашему канцелярскому мальчику передать мне конверт — без адреса — в котором лежала записка — без обращения

— гласящая: С. Я. Эфрон не болен заразной болезнью. Подпись: д-р —  
фамилия неразборчива.

## Мария Кузнецова (Гринева)<sup>[91]</sup>

### ВОСПОМИНАНИЯ

#### Первая встреча

Помню зимой 1912 года праздничный веер у нас на «Курсах драмы» Софьи Васильевны Халютиной (ныне покойной актрисы Московского Художественного театра).

Я вбегаю в нашу разведку, чтобы сбросить с себя шубу и лететь как на крыльях наверх, по нашей мраморной лестнице. Скорее наверх! Там музыка, говор, радость! смех! Спешу к зеркалу поправить прическу. Увы! Зеркало занято! Я вижу в нем лицо незнакомой девушки в капоре. Она развязывает у подбородка ленты, рот ее крепко сжат, нежно-розовое лицо строго. Ленты развязаны, капор снят, и я вижу пышную шапку золотых ее тонких волос. Я стою за ее спиной. С ней молодой человек. Кто он? брат? муж? Он не спускает глаз со своей дамы. Я отхожу в сторону, за вешалку, он не видит меня. Я спокойно наблюдаю за ним. Молодой, высокий, чуть сутулится, худой, большой. Голова красивой, благородной формы, — густые, прямые черные волосы гладко причесаны на косой пробор. В больших серо-синих печальных глазах вдруг вспыхивает тонкий мальчишеский озорной юмор. Он помогает ей снять шубу. Я решаю быстро пройти мимо них и тут же изумленная замираю на месте. Какое на ней платье! Я испытываю настоящий восторг! Опять делаю вид, что поправляю свою прическу, а сама не могу отвести глаз. Необыкновенное! восхитительное платье принцессы! Шелковое, коричнево-золотое. Широкая, пышная юбка до полу, а наверху густые сборки крепко обняли ее тонкую талию, старинный корсаж, у чуть открытой шеи — камей. Это волшебная девушка из XVIII столетия. Я чувствую себя жалкой, безобразно одетой, в узкой, короткой юбке с разрезом внизу, как у всех! Я вбегаю наверх:

— Нина! Нина! В раздевалке у нас такая интересная пара!

— Знаем! Мы уже видели их, — отвечают обе, — это брат нашей Веры Эфрон, с женой. Она поэтесса, Марина Цветаева. Неужели ты не слышала о ней?

— Нет! Никогда! И никогда не видела такого очарования!

— Пожалуйте в зал, господа! Прошу занять места! — громко приглашаются всех нас всегдашний распорядитель, ученик 3-го курса Никола Шелонский.

Небольшой зал наш шумел и заполнялся, оставляя узкий проход к сцене. Шум вдруг скатился куда-то вниз и погас: Никола почтительно провожает чудесную пару к первому ряду.

Как велико было изумление всех наших учеников и учениц! Надменно прошуршало старинным шелком пышное золотое платье, легкими струями колыхались густые сборки, стянутые на тонкой талии.

Я не спускаю глаз с Марины Цветаевой. Под золотой шапкой волос я вижу овал ее лица, вверху широкий, книзу сужавшийся, вижу тонкий нос с чуть заметной горбинкой и зеленоватые глаза ее, глаза волшебницы. Таня шепчет мне в левое ухо:

— Такое носит, наверно, во всей Москве только она одна.

— Точно такие платья, — шепчет Нина Окунева мне в правое ухо, — я видела в сундуке у моей мачехи, это были платья ее двух бабушек.

— Какая очаровательная смелость — пройти в таком платье в общество! — шепчу я Нине.

— По-моему, это явное презрение к моде, — отвечает Нина, — это отвращение к нашему обезьянству. Мы все как одна в узких юбках с разрезом, — смеется Нина, — и потому, что вся Москва в таких! Разве мы осмелимся надеть такое, которое носили двести лет тому назад? А она вот — наперекор всем! — взяла и надела.

— Это потому, что она поэтесса, — шепчет Таня.

— Таня права, — говорю я, — мы связаны режиссером, директором, партнером, мы не свободные, а поэт всегда свободен.

— А может быть, она из презренья к нам? — шепчет опять Нина. — К будущим актеркам? а? Как ты думаешь?

Начался опять шум, все стали просить начать вечер стихами Марины Ивановны. Лицо Марины тонко порозовело. Она как-то особенно подняла голову и словно окаменела.

«О-о-о! — сразу взволновалась я тут. — Как я сочувствую тебе, милая! Я знаю! Это не гордость! Это чрезвычайная, мучительная застенчивость, с которой ты сейчас борешься! О! Как я понимаю тебя! Тебе достался такой чудесный дар!» — так хотелось мне сказать ей.

— Тише, господа! — робко крикнул кто-то. — Начинаем!

Марина быстро пошла к сцене. Приподняв спереди длинное платье, она легко, как горная козочка, взошла на сцену.

Нас сразу поразила ее манера читать стихи, совсем незнакомая, непохожая на то, как нас учили. Обаятельная, интимная, музыкальная, ритмическая ее манера читать пленила нас.

В перерыве начались горячие споры, одни были в восторге, другие доказывали, что так читать можно только дома, наедине. Софья Васильевна сияла. Она любила стихи. Прожившая совсем нелегкую жизнь, она осталась радостной, как в 15 лет.

— Чудно! чудно! — повторяла она. — Какие стихи! Дал же Бог такой талант! Она совсем еще молодая, вот увидите, она вырастет в большого поэта! Я уверена в этом!

После 15-минутного шумного перерыва Марина Цветаева опять читала нам свои чудесные стихи. По лицам я угадывала, что и другие переживают то же что и я. Бурными аплодисментами мы провожали нашу ровесницу Марину Цветаеву в раздевалку, где не прекращались вопросы, пока она одевалась.

— Вы давно пишете стихи?

— С пяти лет — говорит Марина Цветаева.

— А вы печатаете свои стихи?

— Да... у меня вышли две книжки стихов: «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь».

Стихи ее и она сама так глубоко взволновали тогда нас всех, что мы совсем забыли в это время о ее смелом наряде. Мы поняли, что она имеет право на такой необычный наряд, потому что стихи ее необычны, читает она их необычно и сама она тоже совсем необычная! Совсем не похожа ни на кого!

— Марина Ивановна! Приходите к нам еще! Пожалуйста! Мы будем очень! очень! очень рады! Сергей Яковлевич! Приходите обязательно! — от всего сердца кричали мы вдогонку уходящим гостям.

## **Оборотник**

1913, 14-й, 15-й годы.

Милая Малая Молчановка! Милый дом № 8! Семь этажей. Тяжелые входные двери, а справа и слева у них по огромному льву. Мы, три актрисы Камерного театра, Вера, Лена и я, усталые после спектакля, входим в подъезд. Мягко, пружинисто идем по ковровой дорожке к лифту. Поднимаемся до последнего, седьмого этажа. Из лифта налево — наша квартира, в ней шесть больших комнат. Мы живем большой, дружной, веселой семьей. В 1-й комнате я с Леной Позоевой, во 2-й — Вера и Лиля Эфрон. В 3-й молодой профессор Борис Александрович Грифцов<sup>[92]</sup> (читал у нас на курсах Халютиной историю искусств). В 4-й наша Пра. Так от слова Праматерь, звали мы мать поэта Максимилиана Волошина, Елену Оттобальдовну, которая заменяла нам всем родную мать — отчасти, а духовную — горячо, от всего сердца. В 5-й комнате — Инна Быстренина (учительница пластики на курсах Халютиной). В 6-й — пианистка с мужем. И 7-я — маленькая комната при кухне — эта наша столовая и гостиная, куда вечером, постепенно, один за другим, собирались мы после работы. Кто-нибудь из друзей уже ждал нас тут. Наши друзья приводили с собой своих друзей, и каким-то чудом мы все усаживались за одним узким, длинным столом. С одной стороны вдоль стола служил диваном огромный сундук, покрытый мягким, ярким, цветастым ковром изделия поморов. С другой — два стула, табуретка и старое уютное кресло для нашей любимой Пра. На столе всегда стояло огромное блюдо с винегретом. Раздавались новые звонки, приходили старые и новые друзья, и чаще всех приходили Марина с Сережей. Бывали у нас поэты, актеры, музыканты, художники. Всегда не хватало стульев. Мы бежали за ними в свои комнаты, боясь пропустить чью-нибудь интересную новость или остроумную шутку. Володя Соколов, тоже актер Камерного театра, «наш Сокол», или «Пудель», как прозвала его Марина за кудрявую голову, своим неисчерпаемым юмором доводил нас всех до упаду, до изнеможения, так неудержимо хохотали мы все. Пра в своем уютном кресле, покуривая тонкую папироску в янтарном мундштуке, слушая, улыбалась, а часто, услышав удачную остроту, тоже громко, по-молодому хохотала, откинув назад седую голову, подстриженную в скобку. Милая, красивая, хохотушка Лиля Эфрон украшала эти вечера своим чудесным, радостным, заразительным смехом, на редкость приятного тембра.



В этом же доме, на 5-м этаже, снимал квартиру ныне покойный писатель Алексей Николаевич Толстой. Он приходил всегда «на минуту», но быстро заражался общим настроением веселья, начинал удачно каламбурить, всегда по-своему озоровать, забывал, зачем пришел, и вдруг спохватывался: «А! Ну вас! Меня работа ждет, до свидания!» — и тут же убегал. Звали мы его Алехан. Однажды, поднявшись к нам на 7-й этаж, он тихо спросил Веру:

— Обормоты все дома?

— Алехан, — засмеялась Вера, — как вам не стыдно называть нас так?

— Почему стыдно? — удивился он. — Я весь ваш обормотник очень люблю.

С тех пор нас многие стали звать обормотами, а нашу квартиру — Обормотником. Ярко вспоминаются отдельные куски жизни в Обормотнике. Помню, я осторожно спросила Веру:

— Что с тобой? Чем ты расстроена?

— Ах, меня раздражают Сережка с Мариной. Обещали прийти, я купила дорогих конфет к чаю, а их до сих пор нет. Очевидно, раздумали.

Тут же долгий резкий звонок. Первой вошла Марина, свежая, румяная с мороза. За ней Сережка, темноволосый, узколицый, большой, красивый. Я вижу, как он, глядя на всех, напряженно делает строгое лицо, рот его крепко сжат, углы рта подтянуты, и я уже с трудом сдерживаю смех, так как знаю, что за этой строгостью притаилось и в глазах еле-еле сдерживалось то, что в народе называется «черти в свайку играют». А Сережа+Сокол — это уже «двести чертей» играют. Смех начался такой, что одни убегали из столовой от болей «под ложечкой», другие хохотали до спазм. Я помню, как меня охватил ужас от бессилья, от полной невозможности остановить свой смех. Я тогда расплакалась. Сережа и Сокол просили у меня прощенья, но просили так уморительно смешно, что я испугалась, не охватил бы меня опять тот смех, с которым невозможно справиться.

Когда у Марины рождались новые стихи, она обычно приходила читать их к нам первым. Мы все любили ее ритмическую манеру читать, недаром она в детстве успешно училась музыке.

Иногда Марина очень оживлялась и начинала тогда в своей манере — сдержанно, серьезно и так талантливо, так своеобразно — рассказывать смешные, трогательные беседы ее и споры с ее трехлетней дочкой Алей. Рассказы эти были очаровательны и очень забавны. На другой же день мы передавали их у себя в театре. Громкий смех раздавался то в женской, то в мужской артистической уборной, то перекатывался из конца в конец коридора. Все наши актеры так полюбили этот жанр, что стали внимательно слушать своих детей, а у кого их не было, слушали чужих детей и часто в театре рассказывали забавные детские сценки. Это уже стало тогда модой. Больше всех увлекался этим Володя Соколов. Ежедневно он приносил все новые, интереснейшие рассказы о детях. Все поражались такому обилию неповторимых и таких неожиданных детских сценок. К Соколову приставали рассказать еще раз тем, кто не слышал, и так осаждали его, чтобы послушать второй раз, что он не выдержал однажды и откровенно признался, что все это он выдумывал по дороге в театр и что все это ему уже надоело.

## Дикий вепрь

Марина была предельно беспомощна в хозяйстве. Вот один из примеров.

— Что прикажете сегодня готовить? — спрашивает ее пожилая грамотная прислуга.

— Сейчас, — отвечает Марина и идет в свою комнату.

Там у нее помощник и советник, толстый «Молоховец», книга для хозяек.

— Вчера вы что готовили?.. Приготовьте следующий номер... — говорит она, рассеянно передавая «Молоховца» прислуге.

Часа через два измученная прислуга вернулась домой.

— О-ох! Хозяюшка! Заморилась я совсем! Как есть все мясные обошла! Как спрошу, дайте мне, мол, голову дикого вепря, так все продавцы за животы и схватятся! Вот ржали-то. «Бабка! Да где ты его видела? А кто он, веприй-то? баран ай козел? ай рыба? Бабка! Он домовый!» Ну и ржали!

— Придумайте что-нибудь сами! Мы все равно что — отмахнулась Марина, закрыв за собой дверь и опять села за свой стол.

Но долго не могла успокоиться, сама хохотала над этим вепрем, а вечером рассказывала нам, как ее прислуга искала голову дикого вепря. Дикий хохот стоял у нас в Обормотнике.

## **Волчья шкура**

Леле Позоевой не хватало на что-то денег, и она решила продать волчью шкуру, которую ей подарил какой-то поклонник ее, убивший этого волка. Марина, видимо, сказала сестре своей Асе об этом волке, и Ася пришла к нам первый раз в Обормотник. Ася вошла в пальто и в шапке, подчеркивая, что пришла на минуту и только по делу. Поразила меня бледность ее лица, только где-то местами чуть покрытая нежно-розоватой тенью. Я сразу увидела большое сходство с Мариной, но Ася меньше, тоньше, нежнее. У нее добрая, прелестная улыбка полных губ. Ее ярко-желтые, вернее золотые, глаза прямо, доверчиво и ласково глядят в чужие глаза. Голос очень похож на Маринин, но нежнее. Держит она себя просто, доверчиво, любезно, нет и тени Мариной застенчивости и гордости. Ася вошла не одна, а с каким-то мужчиной, которого я совсем не помню, все мое внимание было устремлено на нее. Помню, как уходил он, унося на спине купленного волка. Это была моя первая встреча с сестрой Марины, с первой женой<sup>[93]</sup> моего мужа.

## **Ее шаг**

В комнате Пра был балкон. Все у нас знали, что я с детства боюсь высоты, и никто никогда не мог заменить меня туда. Впрочем, одни раз заманили. Ранней весной Пра уехала в Коктебель. Комната ее была открыта. Сережа Эфрон и Соколов втолкнули меня на балкон и заперли за мной дверь. Но когда через минуту заглянули ко мне сквозь стекло двери, то испугались не меньше меня; такое, должно быть, у меня было лицо, вся кровь схлынула с него. Рванув дверь, они втащили меня в комнату, умоляя простить их за грубую, неуместную шутку.

Как-то раз случилось, что, кроме меня, никого не было дома. И мне вдруг захотелось проверить свой страх высоты. Может быть, теперь это для меня возможно? Я робко открыла дверь и со страхом

(мурашки по всему телу) сделала шаг на балкон и встала замерев, словно каменная, боясь сделать малейшее движение, дрожа от мысли посмотреть вниз с 7-го этажа. Я старалась смотреть только вдаль, вправо, на Ржевский переулок. Было тихо, не видно людей, не слышно голосов, вечерело... И вдруг что-то меня отвлекло от моего состояния: из-за угла Ржевского переулочка выплыла тонкая высокая женская фигура в чем-то длинном, черном и... нежданно свернув на Малую Молчановку, шла как-то особенно, бесшумно, как бы едва касаясь тротуара. Шаг ее был так легкий и так стремителен, что казалось — она очень спешит, но это ей совсем не трудно, так послушны ее легкие длинные ноги. Они несли ее, и им было легко ее нести, она была почти невесома. И я так любовалась ею, что забыла про высоту. Я никогда не видела, чтобы кто-то шел так, словно ветер нес его. И вот она идет уже мимо балкона, уже прошла его, я вижу ее теперь со спины.

Я подошла к барьеру балкона и не спускала с нее глаз, боясь, что она повернет в переулок и исчезнет. Может быть, эта легкость ее мне кажется потому, что у меня кружится голова от высоты. Я закрыла глаза на секунду, открыла их снова — голова не кружилась. Я тут же поймала ее взглядом и опять смотрела на эту тонкую летящую женщину в черном. Я первый раз в жизни видела такую походку — «перекати-поле».

Вечером к нам пришли Сережа с Мариной. Я открыла им дверь.

— Маруся! Вы больше не боитесь балкона? — спросила вдруг Марина.

— А почему вы спрашиваете меня об этом? — поражено сказала я.

— Я проходила сегодня перед вечером мимо вашего дома и видела вас на балконе.

— Как? Это были вы? — удивилась я, еще более пораженная. — Вы были в черном?

— Да, это мое старое черное платье, сшитое еще в талию. Я люблю его. Ненавижу эти модные широченные халаты.

— Марина! А я вас не узнала. Вы не шли. Вы летели!

— Да. Я всегда хожу быстро. Терпеть не могу тащиться, я тогда сразу устаю! — сказала Марина.

Помню свою крайнюю усталость в этот день. После репетиции было страстное желание поскорее уйти домой и лечь в свою кровать. Отдохнуть надо было еще и от 2-часовой гимнастики: нас учили, как надо естественнее падать в обморок на сцене. Я добилась полного успеха: падала словно подкошенная, вытянувшись на полу, как покойница. Я спешила домой, так сладко казалось лечь скорее в постель. Но... отдышать не пришлось. Дверь открыл мне Борис:

— Сейчас звонила Марина, просила нас с тобой обязательно прийти к ним на елку.

— Очень рада! — ответила я. И тут же достала из шкафа свое новое синее платье, покрытое черным шифоном. Помню свое волнение: там я увижу первую жену Бориса<sup>[94]</sup> и его 3-летнего сына Андрюшу.<sup>[95]</sup>

Я была уверена, что нас позовут на елку и зашла недавно в игрушечный магазин и купила для Андрюши и Али две изящно сделанные дудочки, издававшие звук, похожий на тот, в котором пассажиры слышат приказ к отправлению поезда.

Я не помню, как мы с Борисом пришли, кто нас встретил, с кем нас познакомили, все это абсолютно исчезло из памяти. Но как ясно помню себя в самой большой комнате в их квартире, в Алиной детской. Большая елка в огнях на ковре посреди комнаты. Вижу около Бориса Сережу; как сейчас, слышу их заразительный смех, но ярче всего в памяти остался Андрюша, изящный, красивый мальчик с тонким голоском.

— Я могу взлезть к вам на плечи! — первое, что он сказал мне.

— Я боюсь тебя. Я упаду тогда и наверное умру, — говорю я.

— Неправда! Не умрете! — звонко хохочет Андрюша и карабкается, вцепляясь в мое платье.

Я медленно, мягко падаю в обморок, который только что изучила. Андрюша визжит от восторга.

— Нет! Нет! Она живая! Папа! — тащит он отца. — Ты тоже так упали! Ты умеешь?

— Ну уж нет! Дудки, чтоб я так упал! — смеется Борис.

— Дудки! Дудки! — закричал Андрюша от восторга.

— Боря, где мой сверток? — спросила я.

— Я забыла его на подзеркальнике в передней.

— Принесите его, пожалуйста!

— А что там? — спросил осторожно Андрюша.

— Там дудки, — говорю я.

— А чьи они? — спросил он очень тихо.

— Сейчас будет одна дудка твоя, а другая Алина.

И тут же робко выглянула из-за елки детская головка с большими глазами небесного цвета. Она, видимо, давно спряталась за елку, наблюдая за нами.

Вошла Ася.

— Мама! Мама! — восторженно закричал Андрюша. — У меня дудка сейчас будет!

— Здравствуйте, — сказала Ася, очень приветливо улыбаясь, протягивая мне руку.

В этот вечер она казалась мне еще милее. Я не заметила, как вошла и встала у дверей Марина. Мы говорили о чем-то с Асей, и мой взгляд словно был притянут вдруг внимательным, зорким взглядом Марины. Весь этот вечер она была так мила и добра ко мне, из чего я поняла, как сестры любят друг друга. Марина громко позвала нас всех к столу. Оказывается, стол был накрыт наверху, в Сережиной комнате. За столом было уже много народу. Здесь я познакомилась с Асиным будущим мужем, милым Маврикием Александровичем..<sup>[96]</sup>

Все гости благодарили его за необыкновенный торт. Все видели такой впервые. Торт был красивый и слегка жидкий, пропитанный волшебным сиропом, он таял во рту.

На другой день после елки Марина просила меня прийти к ним днем. В Мариной комнате мы были втроем: Ася, я и Марина. Так интересно, радостно и весело завязывался узел нашей дружбы и родства втроем. Мы так много и счастливо смеялись, так много истратили энергии, что все трое очень устали, утомились и легли втроем на широком Марином диване. Но смех не оставлял и душил нас, мы все трое почувствовали большую слабость и только тут поняли, что мы очень проголодались. Марина тут же пошла в кухню, но нашла там только огромное блюдо клюквенного киселя. Помню, как хотелось есть, и мы опять не могли, мы опять изнемогали от смеха. Мы все так ослабели, что еле держали ложки в руках. И все-таки прикончили весь кисель.

**Таракан. (Годы начавшихся материальных недостатков)**

Как-то утром звонит к нам Марина:

— Вы с Борисом ели сегодня что-нибудь?

— Нет. У нас нет ничего.

— Сию же минуту одевайтесь и идите ко мне.

Марина с какой-то страстью кормила тех, кого она любила, а время было голодное.

— Я в шкафу у себя нашла кулек с мукой и пеку сейчас блины, а вчера мне в одном доме подарили селедку. Идите скорее, пока горячие! — Крикнув вдруг: — Ой! у мне блин горит! — она бросила трубку.

Мы с Борисом тут же отправились. Поднимаемся наверх, в кухню. Чад ужасный! Алы рыдает!

— Перестань! — кричит Марина. — Стыдно реветь! Видишь Борис с Марусей пришли. Сейчас будем блины есть.

— А почему она плачет? — спрашиваю я.

— Мне на голову с потолка упал таракан, — смеется Марина. — Она никак не может пережить такое для меня оскорбление.

— Бедный таракан! Так мне жаль его! — говорю я плаксивым голосом. — Он такой маленький, он так испугался огромной Марины! Его сбросили на пол, он больно ушибся, у него сломались ножки.

— А как он смеет... — еле выговаривает Аля сквозь слезы, — прыгать на мамину голову?

Аля была умным ребенком, и мне всегда казалось, что она с самого раннего детства чувствовала разницу между Мариной и остальными, кого она знала. Детским чутьем она рано учуяла жизненный масштаб Марины и цену ей. Поэтому в отношении к матери у нее было обожание.

## **Марина и Аля у меня**

Поздно вечером Марина пришла ко мне с Алей по какому-то делу. (Я жил тогда в уютной 4-комнатной квартире одна. Борис был на фронте. Моя подруга по сцене срочно выучилась на курсах сестер милосердия и уехала на фронт к мужу, уговорив меня поселиться в ее квартире.) Мы засиделись допоздна. Аля начала дремать. Я уговорила Марину остаться у меня ночевать. Предложила ей лечь с Алей на мою широкую кровать. «Сама я лягу на пол», — сказала я. Марина резко

отказалась от кровати. «У меня есть мягкий тюфяк, я положу его на пол, на ковер, и прекрасно буду спать!» — уговаривала я Марину. «Я сама очень люблю спать на полу, — заявила Марина, лукаво улыбаясь, — на полу всегда снятся чудные сны!»

Мы долго не могли заснуть. Мы так много смеялись то над Алей, то сами над собой. От смеха утомились наконец и незаметно заснули.

В другой раз Марина с утра привела Алю ко мне. Ей куда-то спешно надо было идти, она боялась опоздать. Как ребенку, Але все было ново и интересно у меня. Бесперывно она о чем-нибудь спрашивала меня. Чтобы Аля мне не мешала, я открыла ей все ящики в шкафу, все чемоданы, набитые театральными костюмами, шляпами, лентами, яркими лоскутами, вуалями и прочим. У Али при виде всего этого удивленно и широко открылись ее огромные синие глаза.

— Все это твое, можешь рядиться во все это. А мне не мешай! Хорошо?

Поразительно, с каким уменьем, стоя перед зеркалом, украшала она себя в пять с половиной лет всей этой пленившей ее красотой. До прихода Марины она не задала мне ни одного вопроса, так она была возбуждена и занята театральным блеском.

Но... какво было негодование Марины! Вернувшись ко мне за дочерью, она увидела сияющую Алю в фантастической, красной с перьями шляпе с вуалью, с головы до ног всю в лентах, кружевах, в белых бальных туфлях на высоких каблуках.

Вспухнув от гнева румянцем, задыхаясь, негодующая Марина еле произнесла:

— Как... вы могли это допустить? Как... это... пришло вам в голову? — раздраженно упрекала меня Марина.

Я вспомнила тут, что Марина не выносит никакой нарядности. Сама она была одета всегда скромно и просто. И в дореволюционное время я никогда не видела на ней бриллиантов. Но в то же время в ней крепко сидела любовь к цыганским кольцам, бусам, браслетам.

— Неужели вы не понимаете, как можно этим навредить ребенку? Она ведь не забудет это никогда, она начнет теперь мечтать об этой мишуре! И эта тряпочная дрянь так крепко осядет в ее мозгу и, как ядовитое семя, заразит ее такой любовью ко всей этой чуши, что излечить ее уже нельзя будет! — кипела Марина.



— Я, конечно, виновата, — сказала я. — Это большая неосторожность с моей стороны, простите меня, Марина.

Марина молча одевала Алю, торопясь домой. Ушла, едва простившись.

Утром — телефон!

— Это я, Марина. Приходите, Маруся, к нам сейчас! У нас очень вкусный завтрак. Мне вчера подарили настоящий кофе и бутылку сливок. Я знаю, вы все это любите.

— Спасибо, Марина! Но я не могу! Мне к часу на репетицию.

— Ну и что же? Вполне успеете! Покушаете у меня как следует и пойдете. Я жду вас, слышите? Непременно!

— Никак не могу, Марина! Я выпью в театре стакан кофе и съем пирожное.

— Это не еда! — кричит Марина. — Это один вред! Я жду вас!

— Марина! — чуть не плачу я. — Я же боюсь опоздать! Меня оштрафуют!

В — Покушаете, возьмете извозчика и успеете.

Я тут же пошла к ней. Ее горячность всегда очень трогала меня и побеждала. Еще больше трогало меня то, что она так старалась раньше победить свое чувство неприязни ко мне. Я узнала позднее, что она звала меня не иначе как Змиевна и долго не могла простить мне, что я вышла замуж за Бориса Трухачева, первого мужа ее любимой сестры Аси, хотя прошло уже три года, как Ася с Борисом рассталась и была уже замужем за прекрасным человеком. Марина трогательно ревновала тогда ко мне Бориса, непосредственно, почти по-детски: Борис, мол, наш, а не твой! И перестала ревновать только, когда она увидела, что Ася была мне очень мила и я полюбила ее, а когда я прочла только что вышедшую из печати Асину книгу «Дым, дым и дым», Ася стала так близка моему сердцу, что я не расставалась с ее книгой. Во все поездки со спектаклями, во все города, во все театры я брала эту книгу с собой. А когда мне предстояло играть трудную драматическую сцену, я в антракте прочитывала в Асиной книге главу о Стеньке Разине и персидской княжне, это помогало мне поднять зрительный зал до высокой ноты волнения. Когда Марина узнала, что я не расстаюсь с Асиной книгой, мы окончательно подружились с ней.

**Кукла. (Гражданская война. Голод. Пайки. Але 9 лет)**

После трудной репетиции с 10 утра до 4 часов дня иду из театра голодная к себе домой, на Малую Молчановку, дом 6. Дохожу до своего подъезда. Нет, абсолютно нет никаких сил подняться на 4-й этаж. Стою. Думаю. Что делать? В квартире у меня ни-ко-го! И нет у меня там ни-че-го. Пойду к Марине. Считаю: 20 шагов до Ржевского переулка, 15 шагов до Большой Молчановки, 10 шагов кругом Церкви Николы на курьих ножках. Свернуть вправо в Борисоглебский переулок — 10 шагов до дома № 6. Шесть шагов по лестнице до 2-го этажа. 61 шаг! Решаюсь, иду. На двери у Марины висит деревянный молоток. Стучу. Открывает Аля. Вхожу в столовую, большую, прохладную комнату с камином и с потолочным окном-фонарем. В середине большой круглый стол. Вокруг него уютные стулья красного дерева. У стен большие книжные шкафы. На стенах картины и портреты. Марина стирает на большом столе полинялую мужскую рубашку. Расстелив ее на столе, она намыливает одежную щетку и из всех сил трет ею рубашку поэта Миндлина,<sup>[97]</sup> которого Марина приютила у себя.

— Бросьте, Марина, стирать такую дрянную рубашку, да еще такому дрянному поэту.

— Неправда! Вы сегодня злая, у него есть очень хорошие стихи! — спорит Марина. — И потом, кто же ему выстирает? Он такой бедный, такой одинокий в Москве.

— Путь сам стирает! У него руки больше ваших и здоровее ваших.

— Не ворчите, Маруся! Его надо жалеть... А вы, наверное, голодная: У нас есть борщ! Аля! Поставь скорее борщ разогревать! Там еще есть кусочек мяса для вас.

Тщательно выполоскав рубашку, Марина вешает ее на спинку стула красного дерева.

— Марина! Знаете что? Я хочу вам предложить... вот что... Хотя... Вы, наверное, откажетесь.

— Обязательно откажусь. Я сейчас запоем пишу...

— Очень жаль. Вахтанг Леванович Мchedелов...<sup>[98]</sup>

— Вы знаете его по школе Халютиной, дал мне два билета на послезавтра во 2-ю студию на премьеру. Все говорят, что очень интересный спектакль. Пойдемте, Марина!

— Давайте отложим это до завтра. Приходите к обеду и тогда решим, идти или нет. Аля! Борщ вскипел?

— Да! — кричит Аля. — Кипит!

— Сними его, налей в тарелку и неси сюда! на стол!

Осторожно передвигая ноги, Аля напряженно глядит в тарелку, крепко вцепившись в ее края. Медленно двигаясь к столу, ставит тарелку с борщом на край стола и глубоко облегченно вздыхает. Марина близоруко нагибается над тарелкой и недовольным голосом:

— Аля! Почему ты никогда не делаешь так, как тебе велят? Я тебе ясно сказала: «Там остался кусок мяса, положи его Марусе в тарелку!»

Аля краснеет до слез и, встав на цыпочки, обняв Марину за шею, что-то нервно шепчет ей в ухо. Марина слушает и... вдруг закатывается таким неудержимым смехом, что никак не может выговорить какое-то слово.

— Я думаю, там кусочек мяса, а там Алина кукла! Аля! Возьми другую тарелку и принеси в ней эту куклу! Осторожно вынимай! Не обожгись!

Марина долго и внимательно разглядывает маленькую фарфоровую мокрую куклу со всех сторон и созерцательно:

— Вот черти! Как замечательно делают! Три с половиной часа борщ кипел, когда его варили. Почти неделю ежедневно разогревали его до кипенья, а кукла... как была, такой и осталась. Глаза, брови, губы, все краски точно сейчас из магазина! Только вот... бархатное платье... оно было темно-лиловое, а теперь — бледно-розовое. Будете есть борщ?

— Буду! — сказала я. — От ее платья, я думаю, не отравлюсь?

— Борщ очень вкусный, — говорю я, — но как попала кукла в борщ?

— Я помню, она лежала на столе рядом с мясными костями — сказала, задумавшись, Марина — я спешила очень и сгребла все в кастрюлю..<sup>[99]</sup>

## 2-я студия

Марина согласилась идти со мною во 2-ую студию. Когда я пришла к ней, она была уже готова и волновалась, что мы опоздаем. Как только

мы вышли из подъезда, Марина стала развивать такой ход, что я начала задыхаться:

— Ой, Марина! Я не могу так лететь!

— Ниче-го-о! — протянула она, улыбаясь. — Это очень полезно!

Тут я сразу вспоминали и балкон, и ее шаг, и тонкую летящую женщину в черном.

После спектакля мы заспешили было домой, но к нам неожиданно подошел режиссер этого спектакля и мой бывший учитель (в школе Халютиной) Вахтанг Леванович Мчделов. Я сразу поняла, что он подошел с целью познакомиться с Мариной. И опять я страдала за нее, как тогда в школе Халютиной на ее вечере: от неожиданности она опять вдруг растерялась, вспыхнула до ушей и так смутилась, что начала торопиться скорее домой:

— Я оставила свою дочь на попечение мне малознакомой женщины, я очень спешу.

Вид у Марины был очень гордый. Она прятала за ним свое смущение. Я начала было хвалить спектакль, его постановку, но из этого ничего не получилось. Марина стала прощаться. По дороге домой мы долго молчали. Потом начали хохотать над собой, потом над Мчделовым.

— Я поняла бы ваше смущение, Марина, если бы еще подошел красивый интересный мужчина, а ведь тут маленький толстяк, вам по плечо, некрасивый, с пухлым ртом и тоже всегда крайне конфузющийся. Мне было обоих вас жалко, я злилась также на свое неуменье помочь вам.

Наконец мы обе признались, что не обладаем умением где угодно, в любом обществе спокойно вести любую беседу, на любую тему.

— В нас есть еще что-то от девчонок, — сказала Марина.

— Ох! Марина! Когда я была девчонкой, не дай Бог, как я боялась прихода гостей. Страх, что меня заставят здороваться, делать реверанс, гости будут что-то спрашивать. Я в ужасе сразу бежала на кухню и пряталась там за печку, умоляя прислугу не выдавать меня.

— Маленькая девчонка — это еще ничего — сказала Марина. — А я, помню, взрослая уже была, и мне надо было быстро расписаться «Марина Ивановна Цветаева», а так как около меня стояли человек восемь и все уставились и следили, как я пишу, от смущенья я

пропустила две буквы в двух словах. Получилось: «Марна Ивановна Цветава».

От хохота у меня ослабели ноги, и я упала на колени прямо на тротуар, держась за юбку Марины.

Утром Марина позвонила мне и позвала к себе пить кофе. За столом уже она сказала, что получила интересное большое письмо от Мчеделова. Я ждала, то она даст прочесть мне, но она не дала и ни слова не сказала, о чем он ей пишет.

## Прощальные дни

В 1921 году Марина узнала от И. Эренбурга, что ее муж жив. В 1922 году друзья Марины выхлопотали ей возможность ехать к нему. В последние дни, уже перед отъездом, она особенно тосковала, металась. То ей было жаль оставляемых, то ей не верилось, что едет к мужу. Мне хотелось быть с ней, около нее, но, как нарочно, у меня начались поездки с Мозжухиным и с Лисенко по разным городам со спектаклями. Вернувшись из Воронежа, я помню, побежала к Марине. Внешне она показалась мне спокойной, иногда даже шутила, смеялась над собой.

— Что вы считаете самым тяжелым в жизни? — вдруг спросила Марина.

— По народной пословице, нет ничего тяжелее, — сказала я, — как платить долги, родителей кормить и Богу молиться.

— Все это ерунда по сравнению с моей страдой! — сказала Марина.

Мы сидели в бывшей Алиной детской, где был чудовищный беспорядок.

— Пойдемте ко мне, — позвала меня Марина.

Когда она открыла дверь в столовую, я оторопела. Ненавистный ей быт выглядел как после пожара. Книжные шкафы пусты и раскрыты настежь. Стулья свалены в угол. Пола не видно, он весь завален кипами книг, нотами, рукописями, огромным количеством портретов и фотографий родных и друзей в сломанных рамках с разбитыми вдребезги стеклами, снятыми со стен и брошенными на пол картинами. Шагов наших не слышно. Кажется, что идешь по трясине, ноги утопают в мякоти, под ними хрустят стекла.

— Был дом, а теперь в нем все вверх дном — говорю я и тут же спотыкаюсь зацепив ногой за что-то твердое.

Под ногой у меня большая фотография кого-то. Я хочу поднять ее.

— Не надо! Не надо поднимать! — кричит Марина. — Все в печку! Завтра с утра будем жечь все в камине.

На столе аккуратно сложены разные вещи. Их мало. Это, должно быть то, что Марина хочет взять с собой. Аля ходит притихшая. Изредка она беспокойно смотрит на мать.

В следующие дни мне удастся побыть у Марины с утра и до 4-х дня. В 5 часов у меня репетиция, а на 3-й день я опять уезжаю с Мозжухиным в Нижний Новгород, куда везем три спектакля.

— Марина! Дорогая! (Мне первый раз в жизни захотелось сказать ей «ты».) Может быть, я тебя не застану уж, ты уедешь!

Марина нежно обняла меня, мы крепко поцеловались.

— Если я действительно уеду, через год у меня будет сын, — сказала Марина с полной серьезностью, — и я назову его Георгием.

— Ну как это можно знать? — сказала я вдруг каким-то недобрый, насмешливым тоном. — Может быть, будет дочь, а может быть, никого не будет!

— Я тебе напишу тогда! — уверенно сказала Марина.

Я никогда не могла простить себе (до сих пор!) тот насмешливый тон мой, на миг допущенный мною в нашу последнюю встречу. Я не имела права говорить с ней так. А главное! Марина оказалась права. Там и правда через два года с чем-то у нее родился сын, и она назвала его Георгием.

Когда я вернулась из Нижнего Новгорода, я тут же позвонила Марине. К телефону никто не подошел. Я заспешила в Борисоглебский переулок. Молотка на двери не было. Звонила, стучала, мне не открыли. Я пошла в домоуправление. Там равнодушно сказали:

— Она вчера уехала. Завтра в эту квартиру переезжают новые жильцы.

## **Последняя встреча**

1939 год. Лето. Единственная моя дочь в 13 лет заболела неизлечимым недугом. Я была предельно несчастна и одинока.

Оставлять ее одну нельзя было. Если я уходила по делу, я нанимала сиделку, которая не отходила от больной, пока я не вернусь домой.

Помню, стою одна у трамвайной остановки на углу (бывшей) Большой Никитской и Ржевского переулка. Жду с нетерпением трамвая. Идет! Увы, номер не мой! Трамвай останавливается. Вижу стремительно бегущую к нему женщину. Она хватается за поручень, боясь не успеть. Одной ногой уже на ступеньке.

— Ася! — вскрикиваю я и срываюсь бежать к ней. «Какая седая стала!» — вижу я и... Нет! Это не Ася, и Ася не может быть здесь. Она похожа на Асю, но выше ростом. Она втискивается в толпу, хочет пройти в вагон. Я зорко всматриваюсь и вновь бросаюсь к трамваю. — Ма-ри-на! — кричу я, но трамвай уже тронулся и Марина не услышала мой зов.

Через два дня мне позвонила Вера Звягинцева: [\[100\]](#)

— Вчера у меня была Марина. Вы знаете, что они все приехали? Она с нежностью вспоминает вам, вы были у них на елке в синем платье. Вспомнила, как вы с ней всегда до упаду смеялись.

— Вера Клавдиевна! Если бы вы знали, как я хочу увидеть их всех! — шепотом почти говорю я в трубку. — Но вы понимаете меня... и потом у меня смертельно больна дочь, мне не с кем ее оставлять, а ко мне... я не решаюсь... Вы понимаете меня. Но, Боже мой! Как я рада, что вернулись! Спасибо вам, что позвонили мне.

— Я рассказала Марине о болезни вашей дочери. Она очень, очень жалеет вас. «Я послала Марусе две открытки, — сказала Марина, — поздравляла ее с рождением дочери».

— Скажите Марине, что я берегу эти открытки, передайте это ей!

В 1941 году Марина погибла в эвакуации, и только 24 года спустя я встретила Алю на вечере 50-летия Музея изящных искусств, создателем которого был дед Али Иван Владимирович Цветаев.

Я так и не увидела Георгия, о котором заспорили при прощании с Мариной. Он ушел на фронт, и там кончилась его 19-летняя жизнь. Я не увидела и родного Сережу, друга моего мужа Бориса. Моя последняя встреча с Мариной, покончившей с собой в эвакуации в 1941 году, была в 39-м году у остановки трамвая, где я узнала ее, позвала ее, но она не услышала, трамвай тронулся.

## Елизавета Кривошапкина <sup>[101]</sup> В ФЕОДОСИИ

Человек умер — его нет нигде. Неясная его тень живет в памяти теперь уже немногих людей. Но тень эта — только сон о нем. И все же куски этого сна ярки, как то, что случилось вчера. И вот он стоит перед тобой. Кажется, можно взять почти мальчишескую на вид, загорелую руку. На руке широкий серебряный браслет с бирюзой. Вот она, уверенная в себе и самоуверенная, вот она, насмешливая и грустная. Можно заглянуть в прозрачные близорукие глаза. Можно тронуть рукой русую челку, которую сдувает в сторону морской ветер. Можно услышать нежный голос, почти поющий, а не читающий стихи. Можно?.. Нет, нельзя. Этого давно уже нет нигде. «Совсем ушла, со всем ушла», как писала она сама о другом погибшем поэте.

Наперекор этому хочу попытаться, как ни мало способна к этому, удержать несколько черт того неповторимого, навсегда погибшего... Хочу написать о том, как зиму 1913–1914 года прожила с Мариной Цветаевой и ее семьей в одном доме.

В то время Марине Ивановне был двадцать один год, мне — шестнадцать. На моем столе лежали две первые книги ее стихов. То, что было в этих стихах, удивительно отвечало мечам и мыслям в шестнадцать лет. Интерес, волнение и страх, которые вызывала жизнь, безмерно возрастали при встречах с художником. Пугали и насмешливый взгляд сквозь пенсне, и гордо откинута голова.

Марина со своим мужем Сергеем Эфроном и годовалой дочерью Алей поселилась на год в Феодосии из-за того, что Сергей был болен туберкулезом, а кроме того, он женился, не окончив гимназию, и, чтобы поступить в университет, должен был сдать экзамен на аттестат зрелости. Для этого годилась феодосийская гимназия, которая была в пяти минутах от нашего дома.

Вначале я только смотрела на них из окна своей комнаты. Часто видела, как Марина шла по дорожке мимо больших кустов золотого дождя, широко шагая, откинув голову и прищутив близорукие глаза. Когда они шли вдвоем, обычно она оживленно говорила и смеялась, а



он, высокий, очень красивый, добродушно улыбался, смотрел на нее сверху.

Они входили в свою дверь, за которой начиналась их особенная, удивительная, настоящая жизнь, не похожая на нашу обыкновенную. За этой дверью была еще Аля, прелестный ребенок с очень большими, светлыми, серо-голубыми глазами в черных ресницах. Она была мила и забавна. Позднее я часто сидела, держа ее на коленях, на скамейке в саду. Она уморительно разговаривала с морем, которое было перед нами. Здоровалась с ним, а когда гудел пароход, смотрела на меня круглыми глазами и говорила: «Моле клицит». Однажды, когда на море напал туман, она стала играть с ним в прятки, кричала звонко на весь сад: «Моле, ку-ку!»

Сначала я, как всех чужих, мучительно стеснялась ее родителей, но они были милы и доброжелательны, и я привыкла понемногу к ним. Иногда по вечерам они приходили в мою комнату, и мы разговаривали часами. А потом я металась от одного учебника к другому, не зная, что же учить.

В одно теплое октябрьское утро они увезли меня на целый день в Коктебель. Ехали на извозчике. Помпоны, которыми был обшит тент над экипажем, плясали, лошади в соломенных шляпках кивали головами тушканчикам, стоявшим столбиками на обочине шоссе, за ними простиралась выжженная степь и такие же рыжие холмы. На склонах холмов невысокое солнце пронизывало осенние холмы. На склонах холмов невысокое солнце пронизывало осенние виноградники, и листья их становились прозрачными, кроваво-красными, и было понятно, что оттуда и берется вино.

Невыученные уроки рядом со всем этим были сущим пустяком. Но Марина принялась рассказывать мне «Ундину», которую я не успела прочесть к понедельнику. Она находила такие поэтические и выразительные слова, какие и не снились Жуковскому, и все показывала.

— Вот как Ундина слушала рыцаря, — говорит она, упершись локтями в колени, охватив ладонями щеки и глядя вдаль задумчивыми, близорукими глазами.

Я смотрела на нее и знала, что все должно сбыться, что жизнь превзойдет мечты.

Коктебель, как и степь, стал рыже-бурым и овечьим нежной прохладой. Было тихо и пусто. Никто жадно не рылся в гальке, и большие малахитовые волны свободно и легко ложились на пляж. На даче никто не жил, кроме Волошина и Елены Оттобальдовны.

Весь день читала стихи то в доме, то идя по пляжу, то взбираясь на горы. Все сильнее дул ветер, осенние волны шумели и все дальше забегали на берег. Было почти темно, когда мы поехали домой. Скоро настала ночь с большими звездами. Лошади бежали быстро в прохладную даль. Говорить не хотелось, и, мне кажется, все троим было почему-то грустно. Никто из нас не мог, к счастью, знать, какая страшная судьба ждет их обоих. А пока вокруг все было полно надежд и мечтаний, и оба, добрые, юные и красивые, ехали со мной по ночной степи, а потом улицами города, где в освещенных желтым светом пустых в этот час фруктовых лавках за чашкой кофе дремали толстые армянки. Ехали по улицам, где сильный морской ветер качал фонари и металась перистые тени акаций по белым стенам невысоких домов.

Стихи Марины двух первых книг написаны были гимназисткой. Были они романтичны, иногда чересчур восторженны, но всегда талантливы. Трудно теперь уловить их связь с теми удивительными стихами, что она писала взрослой, испытавшей много бед женщиной. И все же я боялась ее. Грустно, что это помешало мне узнать ее ближе. Но я вижу ее, двадцатидвухлетнюю, так ясно, как будто рассталась с ней вчера, и хочу попытаться показать некоторые черты ее тогдашней, хотя и смотрела на нее с уровня своих шестнадцати лет. Я несколько раз встречала ее в Москве года через три года и уже лучше разглядела в ней человека и художника.

Они с Сергеем забавлялись моим восторгом, рассказывали о «рае», куда я рвалась день и ночь, — о Москве. Особенно то, о чем говорила Марина, было прекрасно.

Услышав, что я не знаю, быть мне врачом или художником, Марина возмутилась и насмешливо воскликнула: «Выбрать медицину, а не искусство!»

Сергей мягко защищал меня, говорил, что это очень понятно, что именно медицину, потому что это жизнь для людей. А она пугала меня презрительным взглядом и словами: «А искусство не для людей?»

Внешность Марины была до странности неровной. Иногда она казалась красивой. Хороши были золотистые волосы, прозрачные глаза

и горячий, яркий румянец. Но глаза за поблескивающими стеклами пенсне часто смотрели насмешливо и неуловимо. А лицо вдруг тяжелело и становилось бледным и равнодушным. Говорливая и насмешливая, она внезапно делалась молчаливой и рассеянной, смотрела поверх голов безразличным взглядом. Я понимала, что таким должен быть поэт. И потом уже прочла об этом у Анненского:

Мой взгляд рассеянный в молчанье заприметь  
И не мешай другим вокруг меня шуметь.  
Так лучше. Только бы меня не замечали  
В тумане, может быть, и творческой печали...

Как-то она спросила меня, люблю ли Брюсова, и, не дожидаясь ответа, с недобрый смехом сказала, что он похож на монумент, что как-то она в курительном фойе театра пустила ему в лицо дым от папиросы и, улыбнувшись как можно ласковее, сказала: «Фимиаи».

Люди, которых она встречала в Феодосии, давали пищу ее веселым насмешкам и, несмотря на это, очень интересовали эту молодую, очень уверенную в себе москвичку.

Внизу, в городе, жила ее младшая сестра Ася. Они очень любили друг друга. У них были совершенно одинаковые голоса, и было между ними большое родственное сходство. Обе были очень самоуверенны — и все же совершенно разные.

Мне кажется, Марина увлеченно интересовалась всем, а то, что любила, любила горячо. Все было интересно, все было материалом для ее искусства. Себя и свою жизнь она любила наравне с людьми, природой, потому что она и ее жизнь были самым захватывающим материалом для стихов. Она была художником.

Асю я не знала близко. Не в пример Марине, которую интересовало все, ей, конечно, не было дела до глупости застенчивой провинциальной гимназистки. Поэтому я так и не узнала, за что ее так любила Марина, наверно, было за что, так как в отношении к близким у Марины не было никакой излишней чувствительности. Правда, тогда она часто вспоминала свою рано умершую мать, становилась восторженной и грустной. Так же она говорила и о Тарусе, где провела детство. И говорила так убедительно, что казалось, не было на земле

более прекрасного человека, чем ее мать, и другого рая, похожего на Тарусу.

Недавно я прочла несколько отрывков из ее воспоминаний. И тут о матери она писала с легкой любовной иронией, но то, что было о Тарусе, было полно того же восторга, той же поэзии.

Сестры Цветаевы часто читали вдвоем стихи Марины. Их голоса были так похожи, этот голос раздваивался. Выступали они в Феодосии публично и пользовались большим успехом. Многие стихи Марины того времени были доступны даже неискушенной публике. И чем больше их знали, тем больше они старались «эпатировать» людей. Помню, как-то весенним днем они вдвоем шли по Итальянской в одних платьях, с открытыми головами и несли на закорках одна сына, а другая дочь. Встречные узнавали их и возмущенно переговаривались и переглядывались. Дочери известного профессора ведут себя так неприлично. А те хохотали, дерзко глядя им в глаза. Это молодое «наперекор принятому» долго, а может быть, всегда жило в Марине.

В Москве на двери ее квартиры вместо звонка висел дверной молоток, как в старой Англии.

Весной приехала Вера.<sup>[102]</sup>

Как-то вечером Марина повела нас в гости к жене писателя Потапенко. У него была своя широкая публика, его читали. Жена его была маленькая увядшая, черноволосая женщина, очень говорливая и подвижная. Давно уже разведенная жена, она была без ума от своего мужа, полна гордости и желания «все рассказать». Она суетливо и бестолково сновала по затхлой, заставленной и забросанной вещами комнате и не умолкая говорила. Все это было смешно и даже страшновато.

Марина сидела с видом светской дамы, пришедшей с визитом, и задавала вежливые коварные вопросы. Когда хозяйка отворачивалась, Марина бросала на нас торжествующие взгляды.

Мы шли обратно, она ликовала, хохотала, вспоминала все невероятные вещи, которые мы слышали от мадам Потапенко.

А еще раньше, как-то вечером, ранней весной, Марина уговорила меня пойти с ней к одному их знакомому. Это был полный, черноглазый, очень вежливый грек. Он был судьей и дальним родственником Айвазовского. В квартире, обставленной красным деревом, он поил нас чаем, рассказывал о старой Феодосии и,

пощипывая гитару, пел романсы, которые, наверное, были хорошо известны нашим бабушкам.

Ах, оставьте меня, не тревожьте меня  
Вы, надежды, мечты золотые.  
Мне уж с вами не быть, мне вас не с кем делить.  
Я один, а кругом все чужие.

И еще много другого в этом роде. Он решил проводить нас домой. Мы поджидали его на улице, стоя у низкого белого дома под черепичной крышей у обнаженных, размахивающих ветками акаций. С моря дул сырой, холодный ветер. Бесприютно гудел паровоз, и ему отвечал из порта низкий бас. Это уходил длинный белый пароход, привозивший паломников из Мекки. Днем я видела большую толпу людей в халатах, в белых и зеленых чалмах, их вели в карантин.

Карантин был за городом на склоне горы, у старых Генуэзских башен. Он был окружен изломанной линией стен, покрашенных известкой, часть этих стен тоже была построена генуэзцами.

В Феодосии того времени жило очарование уходящего прошлого, которое вдруг приостановилось, смотрело на вас окнами низких домов, зеркалами комнат и глазами старых людей. Многие поколения их предков жили здесь всю жизнь: итальянцы, греки, русские и евреи.

Марина молчала весь вечер, да и теперь ничего не говорила. Наш хозяин запер ключом дверь, выходящую прямо на тротуар, и мы молча пошли по пустынным улицам, продуваемым морским ветром. Такой задумчивой и тихой я редко ее видела. Насмешки, подтрунивание были так ей свойственны, что это иногда становилось неприятным. Ее шутки казались легкомысленными и неосторожными. Мне уже тогда думалось, что неосторожно сказанное слово может повлиять на жизнь. Слово «умрет» могло принести смерть. Всегда как и многие, говорила о смерти «если что-нибудь случится». Но Марина, видно, ничего этого не боялась.

Весной у Сергея Яковлевича обострился процесс в легком. Ему так стало плохо, что на экзаменах он отвечал, сидя на стуле. Я слышала, как она сказала: «Ну, на последний экзамен вы пойдете с комфортом, отвезу вас на катафалке». (Они говорили друг другу «вы».)

Летом в Коктебеле я как-то вошла на террасу, на которой художница Магда Максимилиановна Нахман.<sup>[103]</sup> Писала портрет Сергея Яковлевича. Он лежал в шезлонге. Тут же, на полу, обхватив руками колени, сидела и курила Марина. Щурясь от дыма папироски, она сказала: «Сережа, закройте глаза», а потом со смехом: «Какой симпатичный получается покойник». Я, по наивности своих тогдашних лет, возмутилась и не могла понять, как эта женщина, которая пишет о «письме на розовой бумаге», о «потонувших в заре голубых, как месяц, триремах», может так грубо шутить.

В эту зиму часто приезжала к нам из Коктебеля Волошин. Помню, как смотрела она на него, куда исчезала ее самоуверенность.

Она умела любить восторженно. Так же она относилась и к актрисе Г.<sup>[104]</sup>

Мы тоже знали близко. Это была талантливая актриса. Были у нее огромные глаза на маленьком бледном лице. Она очень хорошо читала «Белые ночи» Достоевского. Одно время К. С. Станиславский считал ее почти гениальной. Но потом охладел, как случалось с ним часто. Училась она с Верой в школе Художественного театра, и они были очень дружны. И Марина дружила с ней в страшный голодный девятнадцатый год. Марина где-то купила очень красивое старинное платье, просила Соню надевать его и, часами разговаривая с ней, сидела у ее ног. Потом Марина исчезла в эмиграции, а С. Г. работала в провинции, изъездила всю Россию. Приезжая в Москву, приходила к нам. В последний приезд она была у меня и говорила, что с ней что-то неладно: «Все теряю сознание». Недели через две хирург Юдин сделал ей операцию, оказалась последняя стадия рака желудка.

Вера в это время приехала в Москву и часто бывала у нее в больнице. Соня мечтала о том, что уже весной будет играть. При Вере Юдин уверял ее, что скоро выпишет из больницы.

Как-то Вера ушла, а Соня, повернувшись к стене, попросила переменить воду в банке с цветами, а затем сказала сестре: «Ну, теперь посплю», — и во сне умерла.

Очевидно, любовь к своему другу Марина пронесла через все тяжелые годы эмиграции. Как только ее дочь Аля приехала из Парижа в Москву, она, по просьбе Марины, которая уже знала о смерти Сони, пришла ко мне, чтобы узнать все о ней. Я рассказала все, что знала.

Трудно мне было узнать в двадцатипятилетней красивой девушке ту феодосийскую малышку. Остались неизменившимися только удивительные эфроновские глаза. Когда Марина приехала из эмиграции, мы с ней не встречались, но я все яснее вижу теперь, глядя в прошлое, то, что в ней пробивалось сквозь «заботы суетного света» и в тихой Феодосии, и среди неземных далей моря и гор Коктебеля. А теперь прошло уже много лет с того дня, когда Марина твердой рукой погасила все, что я любила и ненавидела, все, чем восторгалась и чему ужасалась, и горше всего себя:

Легкий огонь над кудрями пляшущий,  
Дуновение вдохновения...

**Павел Антокольский**<sup>[105]</sup>

## **ИЗ ЦИКЛА ОЧЕРКОВ «СОВРЕМЕННОИКИ»**

Мне выпало счастье встретить и узнать Марину Цветаеву и подружиться с нею на самой заре юности, в 1918 году. Ей было тогда двадцать шесть — двадцать семь лет, мне двадцать два — двадцать три года: юношеская пора совпала с ранней зарей нашего общества и нашей поэзии. С того времени прошло без малого пятьдесят лет, вся сознательная жизнь поколения.

Марина Цветаева — статная, широкоплечая женщина с широко расставленными серо-зелеными глазами. Ее русые волосы коротко острижены, высокий лоб спрятан под челку. Темно-синее платье не модного, да и не старомодного, а самого что ни на есть простейшего покроя, напоминающего подрясник, туго стянуто в талии широким желтым ремнем. Через плечо перекинута желтая кожаная сумка вроде офицерской полевой или охотничьего патронташа — и в этой не женской сумке умещаются и сотни две папирос, и клеенчатая тетрадь со стихами. Куда бы ни шла эта женщина, она кажется странницей, путешественницей. Широкими мужскими шагами пересекает она Арбат и близлежащие переулки, выгребая правым плечом против ветра, дождя, вьюги, — не то монастырская послушница, не то только что мобилизованная сестра милосердия. Все ее существо горит поэтическим огнем, и он дает знать о себе в первый же час знакомства.

Речь ее быстра, точна, отчетлива. Любое случайное наблюдение, любая шутка, ответ на любой вопрос сразу отливаются в легко найденные, счастливо отточенные слова и так же легко и непринужденно могут превратиться в стихотворную строку. Это значит, что между нею, деловой, обычной, будничной, и ею же — поэтом разницы нет. Расстояние между обеими неуловимо и ничтожно.

Мы выходим в Борисоглебский переулок, ведущий от Собачьей площадки на Поварскую улицу (ныне улица Воровского)..<sup>[106]</sup>

Из-за забора свешиваются ветви мощного столетнего тополя. Это любимец Марины, ее давний товарищ и собеседник. Она живет в деревянном двухэтажном оштукатуренном доме, каких еще недавно



было великое множество в междуречье Арбата и Поварской. По деревянной лестнице мы поднимаемся на второй этаж.

Первая большая комната совсем нежилая — разве только на одной из голых стен висит вверх колесами старый велосипед в деревянной раме. Вторая комната также пуста, но зато очень жилая. Здесь на кроватках спят две дочки Марины Ивановны — старшая четырех лет, Аля-Ариадна, и меньшая, полуторагодовалая, неизлечимо больная, вскоре погибшая.

По другой лестнице — половина или даже треть витка крутой спирали — мы поднялись на чердак. Под крышей — самый обжитой угол жилища, спальня и рабочая комната Марины, ее сон и бессонница, ее гнездо. К стене прибито чучело орла, все сплошь затянуто коврами, даже окно, так что и днем на столе должна гореть лампа. На тяжелом маленьком секретере — времен очаковских и покоренья Крыма — множество старых книжек в истрепанных кожаных переплетах: Державин, Гете, Лермонтов, Гюго, Мюссе...

С первого взгляда эта тесная мансарда показалась мне чем-то вроде каюты на старом паруснике, ныряющем вне времени, вне географических координат где-то в мировом океане. Хозяйка и ее необычный облик усиливали это впечатление. Несмотря на мебель, так много повидавшую на своем веку в московском особняке, несмотря на окружавший нас густой быт времен военного коммунизма, ощущение каюты было очень явственным, так что над крышей мерещился надутый парус и сквозь воображаемые, плохо задраенные иллюминаторы к нам проникали брызги летящего времени.

Не хочу настаивать на фантастике. Все-таки реальное время и место действия существовали во всей своей суровой близости. Все было — и ужасающая нужда, и ее безвыходность, и отсутствие известий о муже, находившемся далеко на Дону в белой армии, и неизлечимая болезнь младшей дочери. В тот или другой час жизни Марина рассказала бы об этом точно и гордо, не выдавая своих чувств, в какой-то мере безучастно и отрешенно. Но ведь горе и беда остаются горем и бедою, даже если на них не жалуются, — они только еще резче дают знать о себе.

Итак, я впервые был у нее в тот поздний ночной час. И между двумя еще очень молодыми людьми возникла еще не дружба, а одна только легкая и таинственная ее возможность. Можно сказать по-

диккенсовски: у нас все было впереди — у нас ничего не было впереди.

Марина по природе и по призванию ночная птица, а сверх того никакая не хозяйка. Домовитость, чувство оседлости, забота о быте чужды и неприятны ей. К тому же, как уже сказано, она ужасающе бедна. На ее рабочем столе появился черный, как деготь, кофе, согретый на керосинке, и черные соленые сухари; и снова московский чердак превращается в корабельную каюту...

Это октябрь восемнадцатого года. Все мы одинаково бедны и голодны, как волки зимою, но мало от того страдаем.

У Марины поразительное, только ей присущее свойство. Если собеседник, недавний знакомый, показался ей внимательным, так или иначе заслужил ее внимание, она сразу находит для него определение — фантастическое, малодостоверное, но в ее глазах оно уже обрело жизнь. Ей того и нужно! И тогда выходит, что такой-то в ее глазах «молодой Державин», другой — «Казанова», третий — «Гоголь», а четвертый — «черт-дьявол» собственной персоной. На таком шатком, но для нее достаточном основании выдумщица строит систему складывающихся отношений, всю их фабулу. Марина верна ей — себе на радость, товарищу на поучение! Но вот что странно: эта легкая и прихотливая постройка обязывала к чему-то большему, более содержательному и ценному, чем обязывает сама жизнь! И тогда могли возникнуть стихи. Например, такие (цитирую по памяти):

И я вошла, и я сказала: «Здравствуй!  
Пора, король, во Францию, домой!»  
И я опять веду тебя на царство,  
И ты опять обманешь, Карл Седьмой!..  
И был Руан, в Руане старый рынок.  
Все будет вновь — последний взор коня,  
И первый треск невинных хворостинок,  
И первый всплеск соснового огня.  
А за плечом товарищ мой крылатый  
Опять шепчет: «Терпение, сестра!» —  
Когда сверкнут серебряные латы  
Основой кровью моего костра.

Марина Цветаева была первым поэтом, которого я узнал лично и близко. Мало того, первым поэтом, который во мне угадал собрата и поэта. Рядом с нею, восхищаясь ею, я все-таки понял, что не боги обжигают нашу глиняную утварь, что утварь, что утварь — дело рук человеческих, хоть и нелегкое, но обыкновенное, по-своему домашнее и хозяйственное. Эта наука была весьма полезна для беспутного дилетанта, совершенно не верившего в себя, каким я тогда был.

Несколько позже Марина Ивановна привела меня в некий респектабельный литературный дом, по тогдашней терминологии «салон», в чью-то буржуазную квартиру, где собирались чуть ли не все известные поэты, проживавшие в Москве. Оказалось, что Марина ни с кем из них не близка, да и не нуждается в близости. Разве только с самым старым из них, К. Д. Бальмонтом, ее связывал товарищеское и ласковое чувство — скорее всего «по соседству»: Бальмонт жил рядом с Борисоглебским переулком — в Николо-Песковском.

В своей мансарде, полной табачного дыма и рифм, мечтаний и споров, Марина была принципиально беспечна и принципиально горда. Ее пылкие и восторженные привязанности возникали внезапно и исчезали бесследно. След от них оставался только в стихах. Марина зачеркивала не стихи, а причину их возникновения. Она никогда не лгала, ничего не преувеличивала. Зрение и слух были у нее свои собственные, непохожие, была и настройка на собственную волну, если применить термин современного обихода. Этого было достаточно для нее, чтобы жить и дышать в русском языке, в ритмах, подсказанных одной только живой интонацией, весьма свободной и далекой от какой бы то ни было просодии. В этом отношении молодая Марина Цветаева была одинаково противоположна и ученым символистам, и неученым футуристам с их предвзятым стремлением скомпрометировать ученость. Та и другая тенденция была не только чужда, но и смешна ей.

В предисловии к маленькой книжке с пьесой «Конец Казановы» Марины Цветаева писала: «Не чту театра, не тянусь к театру и не считаюсь с театром. Театр мне всегда казался подспорьем для нищих духом, обеспечением для хитрецов породы Фомы неверного, верящих лишь в то, что видят, еще больше: в то, что осязают. Некоей азбукой для слепых. А сущность поэта — „верить на слово“» («Конец Казановы», драматический этюд. М. 1920).

Марина Цветаева далеко не первый поэт, ополчившийся на театр, на его грубую природу. Тяжба поэта с театром продолжалась все первое двадцатилетие нашего века. Марина Цветаева по молодости лет и в силу безоглядной искренности выразила общие для эпохи мысли наивно и неосторожно. В этом ее заслуга.

Я не слишком верю ее отречению от театра! Я был свидетелем противоположного — трогательной тяги Марины Ивановны к театру, к молодому актерскому коллективу, к ученикам Е. Б. Вахтангова, к маленькой сцене в Мансуровском переулке на Остоженке в 1919–1920 годах. Тяга эта возникла не потому, что рядом с Мариной Цветаевой оказались симпатичные ей люди, так или иначе занимательные для нее, к тому же и сами к ней тянувшиеся. Причина была важнее. Марина была затронута глубже. Она полюбила атмосферу театральных буден, репетиционную страду — этот хрупкий и в то же время надежный материал, из которого с трудом, ошибками, просчетами и простоями рождается в бессонных ночах будущее представление. Еще больше полюбила она атмосферу театральных праздников, таких редких у молодежи: не выветрившийся со сцены запах клея и краски, появление в зрительном зале чужих, неизвестных и всегда загадочных людей, ожидание, сомнение, неуверенность, страх, провал, успех и все прочее, сопровождающее «премьеру» у молодежи. Этой премьерой было «Искушение святого Антония»<sup>[107]</sup> Метерлинка, впоследствии прославившее вахтанговцев.

Коротко же — Марина Цветаева прониклась симпатией к самой природе театрального искусства, самого грубого и самого прямого из всех искусств. Все это, впервые увиденное и пережитое, живо волновало в те времена Марину Цветаеву.

И мне представляется, что именно отсюда, из этой светящейся в ночной Москве двадцатых годов точки, возникло желание лирического поэта попробовать силы в новом для нее жанре, в драматургии.

В те годы крылатое и легкое шло от всего облика Марины Цветаевой. Она была полна пушкинской «внутренней свободы» — в непрестанном устремлении, бессонная, смелая. По-настоящему любила она — не себя, а свою речь, свое слово, свой труд. Но и чужое слово любила бескорыстно и готова была трубить в честь чужой удачи в самые золотые трубы. Это прекрасное чувство товарищества было

признаком высокого артистизма, скорее всего свойственного людям театра.

Внезапно Марина Цветаева исчезла с московского горизонта. В скором времени мы узнали, что она за рубежом.

Но мне была суждена еще одна встреча с нею — на чужбине, на жизненном перепутье, встреча случайная и короткая. В 1928 году в Париже, во время гастролей Театра имени Вахтангова, я был у Марины Ивановны в знаменитом предместье Медон, в том самом, где за четыре века до нас служил священником, Франсуа Рабле, в доме, который своей неприкаянной бедностью очень напоминал ее жилье в Борисоглебском переулке.

Рядом с Мариной был ее муж, рано поседевший красавец, Сергей Яковлевич Эфрон, дочка Ариадна, подросток. Был еще толстенький мальчик трех лет, Мур... Только что вышла книга Марины Цветаевой «После России», в которой так явственно обозначилось ее одиночество в эмиграции. Уже были написаны и поэма «Крысолов», и две античные трагедии.

Все существо Марины дышало кроткой семейственностью — мужем, двумя детьми, бедным домом, увитым виноградом и плющом.

В каком-то случайном кафе на бульваре Сен-Мишель за стаканчиком «чензаносек» (ее выбор) о прошлом мы совсем не вспоминали, а о Москве, о России она избегала много распространяться — ей это было явно тяжело. Мы прощались наспех на чужом, людном, бешеном перекрестке без мысли о будущей встрече, без надежды на встречу.

Тогда, в 1928 году, узнав ее новые вещи, читая и перечитывая подаренную мне книгу «После России», я впервые понял, почувствовал, оценил значение и место Марины Цветаевой в русской поэзии. Все оказалось неожиданно и чудесно выросшим — впервые с такой силой звучащее в родном языке. Заново раскрылась для меня и ранняя лирика Марины Цветаевой.

Трагический парадокс ее судьбы заключался в том, что чем горше было ее неприканное одиночество, тем выше вырастала она как поэт — ровесница Маяковского и Пастернака, прямая наследница Александра Блока.

И когда в последующие годы, случалось, в Москву долетал ее заклинаящий голос, он звучал с гипнотической силой, возбуждал

сочувствие, сострадание, сорадование. Пускай далеко не часто долетал он, пускай очень немногим довелось тогда прочесть и оценить стихи Марины Цветаевой, дело, в сущности, от того не меняется! Как бы там ни было, но возвращение прекрасного поэта на родину началось уже тогда. Оно было решено бесповоротно ее собственной тоской по родине.

Да, встречи между нами могло и не быть больше, как это уже сказано в связи с 1928 годом. Могло и не быть. Но она была.

Перед самой Отечественной войной Марина Цветаева возвратилась в Москву с шестнадцатилетним<sup>[108]</sup> сыном, высоким красавцем, очень похожим на нее в молодости. Да и разве могло быть иначе с нею — автором страшных по силе ненависти к фашизму «Стихов к Чехии» (1939–1939). Неприкрытая политическая сущность этого цикла хорошо известна. Конечно, в годы войны ей нечего было делать на Западе, в любом из европейских городов, не только в Париже. И Марина Цветаева вернулась в Советский Союз после восемнадцати лет эмиграции.

Несколько раз я встретился с нею — седою, немногословной, отчасти и настороженной. Разговор наш был деловой, профессиональный, скучный, скудный. Я слышал чтение ее «Поэмы Лестницы» у Виктора Гольцева.<sup>[109]</sup>

Миновал еще один год, когда в Москве осенью 1941 года мы узнали о гибели Марины Цветаевой. О ее страшном самоубийстве на Каме, в Елабуге.

Шла война. Многие известия о гибели друзей и близких скрещивались друг с другом, как прожектора в ночном небе. Они сиротливо вытягивали длинные беспомощные ручищи, — эти горестные вести об утратах личных и общих, об утратах знаменитых и безымянных, оплаканных горько и совсем не оплаканных. А небо оставалось черным, беззвездным — полное новых угроз, которые большей частью сбывались.

**Илья Эренбург**<sup>[110]</sup>

## **ИЗ КНИГИ «ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ»**

Марине Ивановне Цветаевой, когда я с нею познакомился, было двадцать пять лет. В ней поражало сочетание надменности и растерянности; осанка была горделивой — голова, откинутаая назад, с очень высоким лбом; а растерянность выдавали глаза: большие, беспомощные, как будто невидящие — Марина страдала близорукостью. Волосы были коротко подстрижены в скобку. Она казалась не то барышней-недотрогой, не то деревенским пареньком.

В одном стихотворении Цветаева говорила о своих бабках: одна была простой русской женщиной, сельской попадеей, другая — польской аристократкой. Марина совмещала в себе старомодную учтивость и бунтарство, высокомерность и застенчивость, книжный романтизм и душевную простоту.

Когда я впервые пришел к Цветаевой, я знал ее стихи; некоторые мне нравились, особенно одно, написанное за год до революции, где Марина говорила о своих будущих похоронах:

По улицам оставленной Москвы  
Поеду — я, и побредете — вы.  
И не один дорогою отстанет.  
И первый ком о крышку гроба грянет, —  
И наконец-то будет разрешен  
Себялюбивый, одинокий сон.  
И нечего не надобно отныне  
Новопреставленной боярыне Марине.

Войдя в небольшую квартиру, я растерялся: трудно было представить себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но внешний быт еще сохранялся; а Марина как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом. Ко мне подошла маленькая, очень худенькая, бледная девочка и, прижавшись доверчиво, зашептала:

Какие бледные платья!  
Какая странная тишь!  
И лилий полны объятья,  
И ты без мысли глядишь...

Я похолодел от ужаса: дочке Цветаевой — Але — было тогда лет пять, и она декламировала стихи Блока. Все было неестественным, вымышленным: и квартира, и Аля, и разговоры, самой Марины — она оказалась увлеченной политикой, говорила, что агитирует за кадетов.

В ранних стихах Цветаева воспевала вольницу Разина. По природе она была создана скорее для бунта, чем для добротного порядка, о котором тосковали летом 1917 года перепуганные обыватели. У Цветаевой с ними не было ничего общего: но она отшатнулась от революции, создала в своем воображении романтическую Вандею; жалела царя (хотя и осуждала:

Помянет потомство  
Еще не раз —  
Византийское вероломство  
Ваших ясных глаз).

Повторяла:

Ох, ты барская, ты царская моя тоска...

Почему ее муж, Сережа Эфрон, ушел в белую армию? Я знал в Париже старшего брата Сережи — актера Петра Яковлевича Эфрона, больного туберкулезом и рано умершего. Сережа ходил на него — был очень мягким, скромным, задумчивым. Никак не могу себе представить, что ему захотелось стать шуаном.

Он уехал, а Марина писала неистовые стихи: «За Софью — на Петра!» Писала:

Андре Шенье взошел на эшафот.  
А я живу — и это страшный грех.



Она читала эти стихи на литературных вечерах; никто ее за это не преследовал. Все было книжной выдумкой, нелепой романтикой, за которую Марина расплатилась своей искалеченной, труднейшей жизнью.

Когда осенью 1920 года я пробрался из Коктебеля в Москву, я нашел Марину все в том же иступленном одиночестве. Она закончила книгу стихов, прославлявшую белых, — «Лебединый стан». К тому времени я успел многое повидать, в том числе и «русскую Вандею», многое продумал. Я попытался рассказать ей о подлинном облике белогвардейцев, — она не верила; пробовал я поспорить — Марина сердилась. У нее был трудный характер, и больше всех от этого страдала она сама. У меня сохранилась ее книга «Разлука», на которой она написала: «Вам, чья дружба мне далась дороже любой вражды и чья вражда мне дороже любой дружбы. Эренбургу от Марины Цветаевой. Берлин, 29 мая 1922 года». (С ятями, даже с твердыми знаками, хотя к тому времени от прежних твердых позиций в ней оставалось мало что.)

Когда весной 1921 года я поехал одним из первых советских граждан за границу, Цветаева попросила меня попытаться разыскать ее мужа. Мне удалось узнать, что С. Я. Эфрон жив и находится в Праге; я написал об этом Марине. Она воспрянула духом и начала хлопотать о заграничном паспорте. Она рассказывала, что паспорт ей сразу дали; в Наркоминделе Миркин сказал: «Вы еще пожалеете о том, что уезжаете...» Цветаева везла с собой рукопись книги «Лебединый стан».

Ее встреча с мужем была драматичной. Сергей Яковлевич был человек обостренной совести. Он рассказал ей о зверствах белогвардейцев, о погромах, о душевной пустоте. Лебеди в его рассказах выглядели воронами. Марина растерялась. В Берлине я с ней как-то проговорил ночь напролет, и в конце нашего разговора она сказала, что не будет печатать свою книгу.

Мне хочется углубить, да и расширить разговор об опозитизированной Мариной Цветаевой Вандее, сказать о том, как порой искусство становится позой, бутафорией, одеждой.

У меня не сохранилось старых писем. Часть своего архива Цветаева привезла в Москву. Есть в нем черновики некоторых писем ко мне. В одном из них Марина писала: «Тогда, в 1918 году, Вы отметали моих Дон Жуанов („плащ“, неприкрывающий и неоткрывающий), теперь, в 1922 году, — моих Царь-девиц и Егорушек (Русь во мне, то есть вторичное). И тогда и теперь Вы хотели от меня одного — меня, то есть костяка, вне плащей и вне кафтанов, лучше всего ободранную. Замысел, фигуры, выявление через все это для Вас было более или менее бутафорией. Вы хотели от меня главного — без чего я — не я... Я Вас ни разу не сбила (себя постоянно и буду). Вы оказались зорче меня. Тогда, в 1918 году, и теперь, в 1922 году, Вы были жестоки — ни одной прихоти!.. Вы правы. Блуд (прихоть) в стихах ничуть не лучше блуда (прихоти, своеволия) в жизни. Другие — впрочем, два разряда — одни, блюстители порядка: „В стихах — что угодно, только ведите себя хорошо в жизни“; вторые, эстеты: „Все, что угодно, в жизни — только пишите хорошие стихи“. И Вы один: „Не блудите ни в стихах, ни в жизни. Этого Вас не нужно“. Вы правы, потому что к этому я молча иду».

Она шла и пришла к той цели, которую перед собой поставила, пришла дорогой страданий, одиночества, отверженности.

Сложны и мучительны были ее отношения с поэзией. Она написала о В. Я. Брюсове много несправедливого: видела внешность и не попыталась заглянуть глубже, задуматься; но, разумеется, ее должны были возмутить строки:

Быть может, все в жизни лишь средство  
Для ярко-певучих стихов,  
И ты с беспечального детства  
Ищи сочетания слов.

Цветаева отвечала: «Слов вместо смысла, рифм вместо чувств? Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются...» Вместе с тем она жила в плену у поэзии. Вспоминая слова Каролины Павловой, Цветаева назвала одну из своих книг «Ремесло». В ней она писала:

Ищи себе доверчивых подруг,  
Не выправивших чуда на число.  
Я знаю, что Венера — дело рук,  
Ремесленник — и знаю ремесло.<sup>[111]</sup>

Марина многих в жизни называла своими друзьями; дружба внезапно обрывалась, и Марина расставалась с очередной иллюзией. Был, однако, один друг, которому она оставалась верна до конца:

Да, был человек возлюблен!  
И сей человек был — стол...  
ее рабочий стол — стихи:

Я встречал в жизни поэтов, знаю, как тяжело расплачивается художник за свою страсть к искусству; но, кажется, нет в моих воспоминаниях более трагического образа, чем Марина. Все в ее биографии зыбко, иллюзорно: и политические идеи, и критические суждения, и личные драмы — все, кроме поэзии.

С отрочества до смерти она была одинокой, и эта ее отверженность была связана с постоянным отталкиванием от окружающего: «Я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием». Очувившись в эмиграции, Цветаева оказалась снова одинокой; ее неохотно печатали эмигрантские журналы, а когда она написала восторженно о Маяковском, заподозрили в «измене». В одном из писем Цветаева рассказывала: «В эмиграции меня сначала (сгоряча!) печатают, потом, опомнившись, изымают из обращения, почуяв не свое: тамошнее. Содержание будто „наше“, „а голос — ихний“».

В том, что обычно называют политикой, Цветаева была наивна, упряма, искренна. В 1922 году я выпускал вместе с художником Э. Лисицким журнал «Вещь» — он выходил по-русски, по-французски и по-немецки. Марина по своему желанию перевела для журнала на французский язык обличительное стихотворение Маяковского «Слушайте, сволочи!» В тридцатые годы, давно охладев к русской Вандее, она все еще не могла примириться с новым стилем — я

говорю не об искусстве, а о календаре. (Я вспоминаю рассказы о первом годе Советской власти; в Петрограде на одном из совещаний Блок страстно отстаивал старую орфографию — все он принимал, а вот «лес» без ятя ему казался не лесом.)

В годы первой мировой войны Цветаева писала:

Германия, мое безумье!  
Германия, моя любовь!

(Она не была одинока в этой любви — Блок тоже говорил о своей приверженности к немецкой культуре.)

Четверть века спустил немецкие дивизии вступили в преданную Прагу, и Марина их прокляла:

О мания! О мумия  
Величия!  
Сгоришь,  
Германия!  
Безумие,  
Безумие  
Творишь!

Наши встречи в тридцатые годы были редкими, случайными, пустыми. Я не знал, как она живет, чем живет; не знал ее новых стихов. Это были для Цветаевой годы больших испытаний и большой работы: теперь я вижу, как она поэтически росла, освобождалась от последних «плащей», находила простые и пронзительные слова.

Жилось ей очень плохо: «Муж болен и работать не может. Дочь вязкой шапочек зарабатывает пять франков в день, на них вчетвером (у меня сын 8-ми лет, Георгий) живем, то есть просто медленно подышаем с голоду».

С. Я. Эфрон стал евразийцем,<sup>[112]</sup> потом одним из организаторов «Союза возвращения на родину».

Обращаясь к своему сыну, к молодым, родившимся в эмиграции, Марина писала:

Перестаньте справлять поминки  
По Эдему, в котором вас  
Не было!..

Аля уехала в Москву; вскоре за нею последовал С. Я. Эфрон.  
Но не было в мнимом эдеме и самой Цветаевой. Прошлый мир  
никогда ей не казался потерянным раем.

Я слишком сама любила  
Смеяться, когда нельзя.

Она многое любила именно потому, что «нельзя», аплодировала  
не в те минуты, что ее соседи, глядела одна на опустившийся занавес,  
уходила во время действия из зрительного зала и плакала в темном  
пустом коридоре.

Девочкой Марина увлекалась «Орленком» и всей условной  
романтикой Ростана. С годами ее увлечения стали глубже: Гете,  
«Гамлет», «Федра». Она иногда писала стихи по-французски, по-  
немецки. Однако повсюду, кроме России, она чувствовала себя  
иностранкой. Все в ней связано с родным пейзажем — от «жаркой  
рябины» молодости до последней кровавой бузины. Основными  
темами ее поэзии были любовь, смерть, искусство, и эти темы она  
решала по-русски. Любовь для нее тот «поединок роковой», о котором  
говорил Тютчев. Цветаева писала о пушкинской Татьяне: «У кого из  
народов такая любовная героиня: смелая и достойная, влюбленная и  
непреклонная, ясновидящая и любящая?» Пуще всего Марина  
ненавидела заменители любви:

Сколько их, сколько их ест из рук,  
Белых и сизых!  
Целые царства воркуют вокруг  
Уст твоих, Низость!

Она сама была «влюбленной и непреклонной».

Цветаева вернулась на родину с четырнадцатилетним сыном в 1939 году. Кажется, одним из ее последних стихотворений было написанное после того, как фашисты прикончили Испанию и вторглись в Чехословакию.

Отказываюсь — быть.  
В Бедламе нелюдей  
Отказываюсь — жить.  
С волками площадей  
Отказываюсь — выть...

С. Я. Эфрон погиб. Аля была далеко. Марина и в Москве оказалась одинокой.

Она пришла ко мне в августе 1941 года; мы встретились после многих лет, и встреча не вышла — по моей вине. Это было утром, «тарелка» успела уже рассказать: «Наши части оставили...» Мои мысли были далеко. Марина сразу это почувствовала и придала разговору деловую видимость: пришла посоветоваться о работе — о переводах. Когда она уходила, я сказал: «Марина, нам нужно повидаться, поговорить...» Нет, мы больше не встретились: Цветаева покончила с собой в Елабуге, куда ее занесла эвакуация.

Сын Марины погиб на фронте. Алю я иногда вижу; она собрала неизданные стихи Марины.

От некоторых строк Цветаевой я не могу освободиться — они засели в памяти на всю жизнь. Дело не только в огромном поэтическом даре. Дороги у нас были разные, и, кажется, мы ни разу не встретились на одном из перекрестков, где человек, в действительности или только в своих иллюзиях, выбирает себе дорогу. Но есть в поэтической судьбе Цветаевой нечто мне очень близкое — постоянные сомнения в правах искусства и одновременно невозможность от него отойти. Марина Ивановна часто спрашивала себя, что важнее — поэзия или созидание реальной жизни, отвечала: «За исключением дармоедов во всех их разновидностях — все важнее нас (поэтов)». Она писала после смерти Маяковского: «Прожил, как человек, и умер, как поэт...» Никогда Цветаева не пыталась укрыться от жизни; напротив, хотела жить с людьми: одиночество было для нее не программой, а проклятием, оно

было тесно связано с тем единственным другом Марины, о котором она сказала: «Сей человек был стол...» Она не была никогда в «Ротонде», не знавала Модильяни, а записала:

Гетто избранничеств! Вал и ров.  
Пощады не жди!  
В сем христианнейшем из миров  
Поэты — жиды!

Слово «избранничество» может сбить с толку; но Цветаева считала «гетто» не гордым отъединением, а обреченностью: «Какой поэт из бывших и сущих не негр?»

Когда я перечитываю стихи Цветаевой, я вдруг перестаю думать о поэзии, перехожу к воспоминаниям, к судьбе многих моих друзей, к своему — люди, годы, жизнь...

Эм. Миндлин <sup>[113]</sup>

## ИЗ КНИГИ «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СОБЕСЕДНИКИ»

### I

В силуэте, рисованном <sup>[114]</sup> Кругликовой, все, даже отложной белый воротничок на широкой «цыганской» блузе, и короткие волнистые волосы, и девическое выражение округлого лица, — все напоминает мне Марину Цветаеву такой, какой я встретил ее весной 1921 года в Москве.

Она сказала, тряхнув головой и вынимая изо рта папиросу: «Ася мне писала о вас». Ася — ее сестра Анастасия Цветаева, автор двух книг: «Дым, дым и дым» и «Королевские размышления».

В ту пору я был бездомен в Москве. По вечерам я приходил в «Домино» — кафе поэтов, и кто-нибудь из поэтов давал мне ночной приют в своем московском жилище.

В ожидании, когда судьба ниспошлет мне «приютодавца», я просиживал стулья за пустыми столиками кафе «Домино», слушал стихи и споры, спорил и сам читал, сквозь стихотворный чад — в какую бы сторону ни смотрел! — видел писанные на стенах лики поэтов Брюсова, Кириллова, Бальмонта, чьи-то еще.

На эстраде Вадим Шершеневич читал стихи из книги «Лошадь, как лошадь», а огромный (Портос из «Трех мушкетеров»!) Арго, с шарфом на шее, в невообразимо широкой блузе, с узловатой палкой в руках, стоял в кулисах и неумоимо острил. В втором зале (в него надо было взойти по двум ступенькам) за столиком у стены, спиной к эстраднему залу, в обществе дамы сидел Маяковский. Ему прислуживал сам хозяин буфета «папа Ройзман». Рукопись стихов Валерия Брюсова, посвященных «папе Ройзману» в рамке под стеклом висела над столиком, за которым ужинал Маяковский.

Моим первым «приютодавцем» был поэт Николай Адуев. Он жил неподалеку от кафе — на Большой Дмитровке. В своей маленькой комнате он устроил меня на сдвинутых стульях, покрыв их



сплюснутым в блин матрацем. Адуев ужаснулся и посочувствовал, узнав, что я еще не читал «Первого свидания» Андрея Белого, — раскрыл книжку-новинку и вслух прочитал всю поэму. Уснули мы только под утро, очастливленные стихами.

В другой раз какой-то красноармеец, любитель поэзии, завсегдатай кафе «Домино», дал мне приют в своей казарме. Сидя на казарменной койке, угощал меня остывшей пшенной кашей из котелка и тоже читал стихи. Каждовечерне я приходил в кафе «Домино», и всегда встречалась добрая человеческая душа и одаривала меня приютом.

То был время добрых, нищих и вдохновленных людей.

Но вот однажды поэт Элиша Родин (когда-то я сдружился с ним в доме Максимилиана Волошина) привел меня в удивительную семью своих друзей. Странные эти люди жили в полуподвальной квартире четырехэтажного дома в Большом Афанасьевском переулке вблизи Арбата. Родин подвел меня к распахнутому из полуподвала окну и предложил через окно с улицы прыгнуть в чужую квартиру. Послушать его — здесь принято только так. Он спрыгнул первым и снизу поманил меня пальцем. Я бесстрашно сиганул следом за ним. В полутемной комнате нас приветили милые люди — и нисколько не удивились нашим прыжкам с тротуара в окно. Родин не выдумал: здесь и впрямь было так принято. Но было принято здесь и более странное. Молодая хозяйка, остриженная коротко по-мужски, в немнущемся белом фартуке, жестом пригласила в соседнюю комнату. Тотчас она внесла и поставила на пол таз с горячей водой и попросила меня разуться: я должен позволить ей вымыть мне ноги! Я рванулся было вон из полуподвала. Но Родин в дверях преградил дорогу.

— Не оскорбляй хозяйку отказом!

Я не посмел ее оскорбить отказом. Тихая, как монашенка, она усадила меня и опустила передо мной на колени — вымыла и обтерла мои ноги своим белым и прохладным фартуком. И как было строго и неподвижно при этом ее лицо! Пылая смущеньем, я пролепетал слова благодарности.

Она в ответ поклонилась — да в пояс!

— Вам, вам спасибо.

Я прожил в этом загадочном обществе две недели. К хозяевам моим приходили, перешептывались друг с другом и исчезали потом

длинноволосые мужчины и коротковолосые женщины. К вечеру оставались в квартире одни — опрятная молодая хозяйка с неподвижным лицом и ее тощий, с длинными волосами по плечи супруг. Мне было сказано: ни о чем не расспрашивать моих добрых и странных хозяев. Они тоже ни о чем не расспрашивали и словно не замечали меня в полутемном своем жилище.

Однажды хозяйка предупредила, что лучше бы мне оставить их дом. Мол, тучи над домом, а ей не хотелось бы, чтобы и я безо всякой вины «влип» в неприятности.

Вот тогда-то я и ушел из Большого Афанасьевского переуллка на Плющиху. Где-то там, кажется в 7-м Ростовском переулку, жила Анастасия Цветаева. У своих соседей она и выпросила комнату для меня до возвращения с дачи жильца.

Марина Ивановна с девятилетней дочерью Алей часто приходила в дом по 7-му Ростовскому переулку. Здесь началась наша дружба. Я, правда, и до этого бывал у нее в Борисоглебском с Анастасией Ивановной и Майей Кудашевой. Но чаще встречались мы на Плющихе. Помню большой провинциальный двор, заросший травой, как в детстве, и мы все — Марина, Ася, Аля, Майя и я — лежим на траве и по очереди читаем стихи — свои, чужие.

Я недолго жил на Плющихе. Вернулся с дачи жилец и снова я стал бесприютен. Выручила Марина Ивановна. В Борисоглебском переулке была у нее квартира — три комнаты. Жили они с маленькой Алей вдвоем.

Вот уже четыре десятка лет всякий раз, проходя мимо двухэтажного дома с крылечком в Борисоглебском переулке, я взволнованно снимаю шляпу и кланяюсь дому, крыльцу, прошлому.

А по другую сторону переуллка, напротив дома Марины и возле того самого дома, где в прошлом столетии жил Писемский, стояли два причудливо наклоненных дерева и, стоя, старчески кланялись друг другу. Когда-то — в августе 1919 года — Цветаева писала о них:

Два дерева хотят друг к другу,  
Два дерева. Напротив дом мой.  
Деревья старые. Дом старый.  
Я молода, я то б, пожалуй,

Чужих деревьев не жалела.

Эренбургу казалось: эти два дерева кланяются дому Цветаевой. Может быть, они кланялись уголку Москвы между Арбатом и Поварской, освященному именами Пушкина, Гоголя, Хомякова, Островского, Писемского, Скрябина, Андрея Белого и Марины Цветаевой, — одному из старых московских гнездовий русской культуры!

Я представляю себе немислимое — как бы сейчас, сегодня я ходил бы по строящемуся проспекту Калинина вместе с Цветаевой, пусть с тенью ее. И как бы вспоминали с ней так хорошо знакомую — ей куда больше, чем мне! — исчезнувшую ныне Собачью площадку. И как ни ей, ни мне не найти на обкатанном черном асфальте проспекта место безводного фонтанчика, описанного Андреем Белым...

Отсюда, от скверика с безводным фонтанчиком, звездными лучами расходились издавна проложенные тропы к очагам русской культуры. Может быть, мы вновь заговорили бы с Мариной о взаимосвязи поколений русских людей культуры и об ответственности, — нет, слово не то, не ее, — о чувстве долга одних перед другими, о вечном долге предком перед потомками и потомков перед своими потомками. И всех вместе — перед общей им всем Россией. Ибо не было для нее долга выше долга русского поэта перед его Россией, и русской женщины перед ее народом, и дочери своего отца — трудолюбца русской культуры — перед всеми трудолюбцами русской истории. Не от этого ли чувства долга и то чувство духовной связи Цветаевой со всем, что наращивалось, готовилось предками для нее, что вырастило, взрастило ее самое — Цветаеву! И не от этого ли чувства связи вся нежность ее, верность бывшей Собачьей площадке?

Я мысленно прохожу с ней по черному асфальту проспекта. «Марина, вот там стоял дом Хомяковых, где Гоголь...» — «Да, — кивает она, — мой сводный брат Андрюша работал в этом домемузее». И я смутно припоминаю, как однажды видел ее Андрюшу, когда он приходил в домик Марины в Борисоглебском в 1921 году... «Но дальше, дальше, Марина! Вот здесь стоял дом, в котором Островский...» — «Да, да, — вспоминает Марина, — и изо всех его

пьес лучший русский язык в его „Комике XVII столетия“...» И вдруг на память начинает читать из пьесы:

Беседовать прохладно я желаю,  
От разума и от писаний книжных,  
О том о сем, о суете житейской.  
Вопросами друг друга испытую,  
Паришь умом над всей земной юдолью.  
Красноглаголиво, преизощренно,  
И мнишься быти, новый Златоуст.  
Люблю словес извитие и жажду  
Его душой...

Мы — там, где был скверик с фонтанчиком... Андрей Белый... «Котик Летаев»... «У меня были странные отношения с Белым... Словно недоверчиво друг к другу присматривались... У его прозы больший успех, чем у его стихов... А он больше поэт, чем прозаик...» Поди знай, что многие годы спустя в эмиграции за рубежами России она получит от Белого полное восхищений ее стихами письмо. И вдруг ей откроется, что она сама как поэт так много значит для Белого!..

Нет, нам еще нельзя уходить с места, где некогда бил безводный фонтан. Сегодня я еще мог бы ей показать: тут стоял Дом советских композиторов, почему и площадка была переименована в Композиторскую. Но Дом композиторов — это уже после Цветаевой. И почему переименовали, она все равно не поняла бы — не любила переименований дорогой старины. Наверняка огорчилась бы. А вот там, неподалеку от Дома композиторов, жил — и тоже уже после отъезда Цветаевой — Г. В. Чичерин, — ушел с поста народного комиссара по иностранным делам и писал книгу о Моцарте. То, что писал о Моцарте, и то, что писал именно в этих местах, — это и она поняла бы. Но в ее московские дни Чичерин был нарком по иностранным делам — в его наркомат она ходила за визой на выезд... Вот ближний отсюда, правда, еще старый, не тронутый перестройкой Театр Вахтангова, ей хорошо знакомый. «Вахтангов был гениален. И его ученик Цемах тоже был гениален. „Гадибук“ в „Габиме“ — гениальный спектакль».<sup>[115]</sup>

«Гадибук» — пьеса в постановке Е. Б. Вахтангова (1922) — крупнейшее театральное событие.

И делится впечатлениями, не своими — Шаляпина, — одновременно с ним смотрела «Гадибук» в выпестованной Вахтанговым, чужой ей по языку «Габиме»...

«А вот дом композитора Скрябина, Марина». Сколько раз она здесь бывала и сколько раз я провожал ее к Татьяне Федоровне Скрябиной<sup>[116]</sup> вдове композитора! И вдруг вспомнит — даже не Татьяну Федоровну, а дочь Скрябина — Ариадну.<sup>[117]</sup>

В пору самого начала двадцатых годов Ариадне Скрябиной было двенадцать лет. Ариадна Скрябина — тезка маленькой Али, Мариной дочери, — вышла замуж за французского композитора; мать двоих детей смешанной русско-французской крови стала героиней французского Сопротивления, казнена гитлеровцами в годы оккупации Франции. Французенка? «Русская, русская, настоящая русская женщина», — скажет о ней Марина.

«Но теперь пойдем в сторону Поварской, Марина, — улицы Воровского». — «Воровского? Вот как?» — спросит она. «Пойдем в знакомый переулок, бывший Борисоглебский». — «Бывший?» — насторожится. «Улица Писемского», — потороплюсь объяснить. «А, Писемского, понятно». Дом Писемского стоял напротив дома Марины, и два дерева по сторонам этого дома кланялись друг другу. Нет уже дома Писемского. Но дом Марины еще стоит — маленький, двухэтажный, хилый.

Вот в этом доме, во втором этаже, в сумерках комнаты с «петухивом» и с печкой-буржуйкой, копоть которой льнула к матовым стеклам квадратного окна в потолке (другого в комнате не было), на плоском деревянном диване поселила меня Цветаева.

## II

«Петухив» — добрый дух жилища Цветаевой. По его имени комната называлась «петухивной». Петухив — в прошлом — лисье чучело. Шкурку чучела содрали, а может быть, и выменяли в голодный год на крупу. Остался диковинный зверь из соломы и ваты, — Цветаева не выбросила его. Диковинный зверь прижился. Пришел водопроводчик чинить водопровод в квартире (в 1965 году Аля

вспомнила: не починил!), увидел ободранное чучело над камином, удивился: «Это что за петухив вы развесили?» — «петухов» по-украински. Мне запомнился один «петухив». Но Аля пишет в письме: «О них (петухивах) только мы с Вами помним». Возможно, до моего поселения у Цветаевой был не один — два или три «петухива». Я застал одного.

Ободранное чучело в комнате с потолочным окном так и осталось для всех — и для самой Марины Ивановны — «петухивом», а комната — «петухивной».

Петухив был признан духом дома Цветаевой и до самого отъезда ее из Москвы висел на стене над охладевшим навек камином.

Петухивная комната — первая от стеклянной входной двери из передней — была центром всей дневной жизни квартиры. Здесь Цветаева принимала гостей — известных всей России писателей, поэтов, философов, художников и просто примечательных чудаков мужского и женского пола. Они постоянно лепились к ней. Здесь за столом мы пили суррогатный чай и ели оладьи из отрубей, которые Марина пекла на «буржуйке». А колоть дрова во дворе и растапливать «буржуйку» было моей заботой. Здесь же бережная мать Марины прилежно кормила девятилетнюю Алю. Она беседовала с дочерью, как со взрослой, всегда серьезно. Это не походило на беседы матери с маленькой дочкой. Кажется, Аля в ее детские годы была так же одинока, как и ее 29-летняя мать, несмотря на обширный круг знакомств, на ежедневных гостей, часами просиживающих у печки. Аля, если не гуляла, сидела дома, читала, рисовала, писала стихи. Это были вполне взрослые, зрелые стихи, под которыми охотно подписались бы многие из печатавшихся тогда поэтесс. К своей маленькой книжечке стихов «Версты», вышедшей в издательстве «Костры» в 1921 году, Цветаева поставила эпитафию:

В их телегах походных заря  
Мариулы, Марины...

И подписала эпитафию: «Стихи моей дочери».

В девять лет Аля дивила своими стихами, серьезностью суждений, знаний русских поэтов, культурой речи.

После отъезда с матерью за границу в 1922 году Аля жила с родителями в Чехословакии и во Франции. В Париже окончила училище при Луврском музее — изучала там историю изобразительных искусств, окончила училище прикладного искусства.

В 1937 году вернулась на Родину, но долгие годы прожила далеко от Москвы и только через 14 лет после смерти матери снова оказалась в Москве. В 1962 году Алю — ныне Ариадну Сергеевну Эфрон-Цветаеву — приняли в члены Союза писателей СССР, как талантливого поэта-переводчика. Переводит она Бодлера, Скаррона, Лопе де Вега, современных персидских и арабских поэтов, Рабиндраната Тагора... Подготавливает к печати книги своей матери, бережно собирает рукописи Марины Цветаевой, чудесным образом сохранившиеся у старых друзей...

А в 1921 году Ариадна Сергеевна была серьезным ребенком и подолгу рисовала что-то цветными карандашами за небольшим овальным столом в комнате с петухивом...

Я не догадывался тогда, что она не только рисует своим карандашиком и пишет стихи, но — кто бы подумал! — ведет дневниковые записи!

Сижу, прикрыв себя пледом Марины, и безнадежно заплатываю обветшавшие свои единственные, неповторимые, синие в диагональку брюки. А тем временем это занесено уже в девчонский дневник — то, как я сижу и тщусь заплатками заделать неистребимые дыры на брюках. И то, что вечером накануне ходил к профессору Львову-Рогачевскому, и то, что извел все чернила в доме, переписывая свою пьесу «Звезда-Земля».

Мать через десятилетия мытарства пронесла — сумела сберечь дочерние детские дневники... И в 1966 году Аля выписала из них то, что девятилетней занесла в эти дневники обо мне... «На память о тех баснословных временах...»

«...Приходит к нам человек с мягким и грустным лицом в голубой бумазейной куртке и в татарской шапочке — из Крыма Асин знакомый. Рассказывает Марине обо всем и, кажется, читает стихи. Фамилия его была Миндлин, голос тихий и неуверенный: глаза испуганные. Он был очень удивлен Москвой, мечтал напечатать книжку. Он скоро ушел...

Борис<sup>[118]</sup> заболел малярией, и его забрала к себе Ася. А у ней в то время жил Э. Л. Миндлин. Мы поменялись. Ася получила Бориса, а

мы Эм. Ль-ча. Он начал жить у нас. Он был страшно бестолков. Когда Марина просила ему вымыть кастрюльку, то он просто вытирал ее наружную копоть. Скоро Борис вернулся в свое прежнее логово. Я помню одно большое событие из жизни Э. Л. Это его пиджак. Он как-то вздумал продать его на рынке за 200 или 250 т. Часа через два он вернулся... но увы... с пиджаком. С тех пор он стал каждый день ходить на рынок и все убавлял и убавлял цену. По ночам Б. и Э. Л. разговаривали и мне мешали спать. Борис учился у Э. Л. писать стихи и написал три стиха. Борис все время писал заявления, а Э. Л. переписывал свою Звезду Земную. Он извел почти все наши чернила, а Борис Марину — чтением и „как лучше?“. Я помню, как Борис устроил Э. Л. службу на Разгуляе и Э. Л. ходил только в два места — на Разгуляй и к Львову-Рогачевскому. И когда он принимал уходную осанку, то я всегда спрашивала утром: „Вы на Разгуляй?“ — или вечером: „Вы к Льв. — Рог.“ Его любимое место было у печки. У него всегда все выкипало и пригорало. Главное его несчастье были брюки. Он каждую минуту их штопал; лоскутьев не хватало. Из-за них он в гостях сидел в пальто, хотя там была жара...

Еще немного о ночах, „которые даны в отдых“. Как только Э. Л. пошевеливался в постели, бодрствующий Борис начинал задурять того стихами. Один стих был про бронированный век, другой про красный октябрь. Э. Л. всегда ночью кричал и думал, что тонет. Это время обыкновенно выбирал Борис для чтения стихов. Миндлин, напуганный мнимой бурей, опровергал стихи. Утром он выслушивал их заново и должен был вежливо хвалить...»

Теперь обнаружилось, что не только семилетняя Аля, но кое-кто из взрослых тогда людей записывал будни петухивной комнаты Марины Цветаевой. И если та или иная страничка чьего-то рассказа о ней нечаянно сохраняет и мое имя, то для меня это — напоминание о великой душевной щедрости Марины Цветаевой, о великой ее доброте ко мне и неоплаченном моем долге Марине...

Одна из общих наших знакомых — покойная ныне М. И. Гринева.

И — начинает свой рассказ о Цветаевой с того, что пришла к ней и застала ее в петухивной за стиркой...

Вероятно, царица (если б своенравность судьбы заставила царицу стирать) стирала бы, как она, не наклоняясь над тазом с вьедчивой мыльной пеной и ни в малость не унижаясь нецарским трудом. Она



оставалась равной себе — и выше всякой возможности унижения. Она не стирала — рубашка сама простирывалась в мыльной теплой воде, а Цветаева только присутствовала. Не по-женски она пришивала пуговицы и не по-женски вдевала в игольное ушко драгоценную в бедное время нитку. Ей надобно было только повелеть послушной иголке с ниткой, чтоб иголка не баловала, чтоб шила себе, как сказано, задано, велено ей Мариной.

Так же и олады на сковородке — сами собой пеклись, а она только присутствовала, надзирала, чтобы они сами собой пеклись.

Она занималась бытом, чтобы быть от быта свободной. Быт был в тягость не потому, что она чуралась труда и надо было стряпать, стирать, шить, штопать, тряпкой смахивать пыль с жадных до пыли домашних вещей, а потому, что, стряпая, стирая, кормя, штопая, моя и вытирая тарелки, миски, кастрюли и убирая дом, изо дня в день она усекала время своих стихов, время раздумий и время книг. Стирая белье, оборонялась от стирки белья. Стряпая, обороняла себя от стряпни. Посмотреть на нее — ей ничто не трудно. Ни жалобы, ни вздоха единого. Мусор веничком подбирает — будто державой правит.

Разве только в своей комнате-кеleyке с окошком во двор, наедине с собой, сама себе скажет без слов, каково ей. И кроме нее самой, ни одна душа не услышит, в чем призналась себе Марина. Закроется у себя — и словно нет ее ни дома, ни на планете. Вся в себе. Все свое готова другим отдать. Отнять от себя для нее значило приобрести, обрести, умножить свое богатство. С одним, с последним своим не расстанется до последнего вздоха — с правом на одиночество, единственным своим правом — оставаться наедине с собой, судить не других — себя. К другим была терпимее, чем к себе. Спрос с себя куда строже, чем спрос с другого. Уж на что редкостно свойство ее души — понимать человеческие слабости других! Даже о людях, ей досаждавших, враждебных ей, ни о ком не говорила со злобой. Несла себя по кочковатой дороге жизни, не расплескивая, не растрчивая себя на злобу, на осуждение неправых. Несла самое себя в свое будущее. Несла в себе все свое прошлое и не только свое — детство, отрочество, женскую молодую пору, прошлое — семьи, рода, народа, всех русских женщин («О, вопль женщин всех времен!») — от неукротимой боярыни Морозовой до Надежды Дуровой, кавалерист-девицы, и до Марии Башкирцевой,<sup>[119]</sup> этой излюбленной ею

ослепительно одаренной русской девушки — французской художницы. О дневнике Марии Башкирцевой (изданном в России до революции) Цветаева говорила с вниманием, пониманием, болью и восторгом сочувствия. Все они, русские женщины, были с ней, и в ней — вся Россия! — когда она оставалась с собою наедине в своей келейке. По многу часов не выходила оттуда, а выходила умиротворенная, примиренная, высказавшая себя себе. Не в немоте прожила день своей жизни поэта.

По вечерам, сидя на полу, я сторожил гулкий печной огонь, а на сковородке пеклись оладьи из отрубей и булькало и шипело горькое конопляное масло, мы бывали втроем.

Иногда и мне доверяли стряпать на печке-буржуйке. В ноябре 1962 года Аля — Ариадна Сергеевна — писала мне из Тарусы: «Я помню, как Вы кашу варили на нашей „буржуйке“ и как она, каша, сгорела вместе с котелком...»

У «буржуйки» в петухивной комнате, освещенной гулом огня в печи, не текли — стояли наши тихие вечера. Цветаева на полу зарывалась в ворох теней — ими была загромождена по вечерам петухивная. Не было видно ее лица, печной огонь выхватывал из зыбкого мшистого мрака только белую нежную кисть руки, брошенную на складки широкой юбки. А другой, опущенной в тень рукой, откинувшись, подавшись назад во мрак, она опиралась о пол.

Так, сидя на исчерканном поленьями дров полу, Цветаева читала свои стихи — Але и мне. А иногда все трое в безмолвии слушали трубный, грудной, оранжевый гул огня. Я с самого детства пристрастился слушать огонь в печи и чуть ли не в печь окунался лицом. Марина Ивановна подшучивала надо мной, называла «огнепоклонником». Однажды посвятила огнепоклонству моему стихотворение — оно вошло потом в цикл стихов под общим названием «Отрок», которым она одарила меня. (На восемь лет старше была, а меня отроком называла — это в двадцать один-то!). Четыре стихотворения (первые!) написаны за четыре дня августа 1921 года.

Но цикл начался не с «Огнепоклонника», а с восьмистишия, что первым открыло весь этот цикл. Из всего цикла только это восьмистишие и осталось не перепосвященным за границей другому. И родилось это восьмистишие из его последней строки, вспыхнувшей в ее устах на Воздвиженке, когда мы возвращались с ней от

Волконских. Может быть, так и не вспыхнула бы эта строка, не ушибись я об угол дома. Шел, как слепой, читая стихи, и, как слепой, налетел на дом. И еще потирал ушибленное колено, и руку, и лоб, когда она, дожидаясь меня, сказала:

— Налетаете на дома. Тесно вам в городе. А в сущности, городские дома вас спасают, хоть вы и бьетесь о них. Вам в открытом месте нельзя — в небо ступнете!

Пришли домой — она, только войдя, дочери без улыбки сообщила:

— Аля, Э. Л. опять чуть в самое небо не ступил.

А на другой день у печки прочла восьмистишие. Последние две строки:

— Остановись! —  
В небо ступнешь...

А еще через день — после того, как ночью (и не впервые) криком своим во сне перепугал и Марину и Алю, — прочла второе стихотворение из цикла:

...Вздых — и огромных выдох,  
И крови ропщущей подземный гул.  
Так по ночам, тревожа сон Давидов,  
Захлебывался царь Саул.

И только потом — об огне, огнепоклоннике — третье и четвертое о грустноглазом народе... И на пятый день все четыре переписала и к вечеру, когда загудел, завихрился в моей печурке огонь, вынесла из кельи своей листок: вам о вас, от меня.

Десятки лет хранятся у меня среди других рукописей Цветаевой и книг с ее дорогими мне дарственными надписями листки линованной почтовой бумаги, бисерно исписанные красными чернилами,<sup>[120]</sup> — с посвящением мне наверху первой страницы.

Если не бывало гостей, мы подолгу сидели на полу перед печкой-буржуйкой. Аля оставалась на жестком деревянном диване за столом.

Докурив папиросу, Цветаева дуновением губ отгоняла от себя дым, кидала окурок в огонь и, помолчав, начинала читать стихи.

Она читала, опершись рукой о пол, твердо и вся отдавшись ритму стихов. Читала, словно ворожкой заговаривала, время от времени встряхивая головой — обычно в конце строфы. В отличие от Мандельштама, читая, не смотрела на слушателя, будто читала для себя одной.

Иногда у нее бывал смущенный, даже как бы виноватый вид, когда она начинала читать, и становился державным после третьей, пятой строки. Последнюю строку она произносила скороговоркой, почти глотая, словно спохватываясь, что долго читает, и спешила поскорее закончить.

### III

Цветаева не любила, когда к ней приходили днем и отрывали ее от работы. Работала она неистово. Писала — как колдовала, запершись у себя с утра после суррогатного чая с оладьями из отрубей. Она была подвижницей в поэзии, как и в жизни.

В поте — пишуций, в поте — пашуций!  
Нам знакомо иное рвение:  
Легкий огонь, над кудрями пляшущий, —  
Дуновение — вдохновения!

Это «дуновение — вдохновения» накрепко и каждодневно надолго прибывало ее к рабочему столику у окошка в ее келейке, стесненной огромным выступом голландской печи, с самодельной тахтой под стареньким ковриком. В 1933 году, уже за границей, она посвятила своему столу исповедь поэта, для которого рабочий стол был в Борисоглебском переулке в Москве тем же, чем он был для него в городах чужеземных стран.

Ее отношения с рабочим столом не менялись. Каков бы ни был этот рабочий стол и где бы он ни стоял.

Так будь же благословен —  
Лбом, локтем, узлом колен  
Испытанный, — как пила,  
В грудь вьевшийся — край стола!

Был благословен этот рабочий стол Марины и в Москве, и в Праге, и в Берлине, и в Париже. Не стал благословенным только в темной Елабуге на широкой Каме.

За двадцать три года до смерти Марина Цветаева сотворила такие стихи:

Доблесть и девственность! Сей союз  
Древен и дивен, как смерть и слава.  
Красною кровью своей клянусь  
И головою своей кудрявой —  
Ноши не будет у этих плеч,  
Кроме божественной ноши — Мира!  
Нежную руку кладу на меч:  
На лебединую шею Лиры!

Она отняла свою руку от лебединой шеи Лиры только однажды, чтобы этой рукой накинуть петлю на шею.

Эренбург приводит ее слова о Маяковском: «Жил, как человек, умер, как поэт». Эренбургу кажется, что Цветаева «жила, как поэт, умерла, как человек». Я думаю, что она и жила и умерла, как поэт.

Она был очень русской и свою связь с народом чувствовала прежде всего через родной язык. Она не то чтобы просто любила русский язык — он был для нее воздухом, которым она дышала. Язык был царством ее свободы. Цветаева жила в царстве этой свободы. Жила в нем. Жила им. Русский язык — биосфера Цветаевой, для нее — сфера жизни, жизнеподдерживающая, жизнеобразующая сфера. Вне биосферы не возникает жизнь. Вне ее не дышать живому.

Цветаева очень болезненно откликалась на каждую измену духу русского языка. Вот так же болезненно можно восчувствовать отравление воздуха, которым должен дышать.

Пришла Анастасия Ивановна и сказала, что на Большой Никитской напротив Консерватории появилась вывеска с названием нового учреждения «ЦУПВОСО». Марина не поверила: «Ася, ты шутишь!» — «Поди сама посмотри». Марина обернулась ко мне: «Пойдем посмотрим». Мы пошли к Большой Никитской, почти бежали. Пришли и видим: да, действительно: «ЦУПВОСО». Стояли, смотрели, молчали. Обрато шли молча и медленно. Она шла бледная, слегка склонив голову на плечо, курила папиросу за папиросой. Два-три дня ни слова о вывеске на Большой Никитской. И вдруг вечером у печки схватилась за голову: «О боже мой! Цупвосо!»

В перепечатанном на машинке стихотворении Волошина, которое я показал ей, была строка:

... Иль в кровавой луже поскользнусь...

Цветаева запротестовала. «Поскользнусь» — плохо. Макс не мог так написать. Это ошибка. Макс, наверное, написал «оскользнусь». Она была на стороне своего друга Сергея Михайловича Волконского, частого посетителя ее жилища в Борисоглебском. Волконский возмущался тем, что слово «обязательно» употребляется ныне как синоним «неприменно».

— Сергей Михайлович, милый, он прав, прав! Можно «обязательно отнестись», даже «обязательно улыбнуться». А сказать «я обязательно приду» или «обязательно буду» и тому подобное по-русски нельзя. Надо сказать «неприменно приду» или «неприменно буду». Обещать «прийти обязательно» — не по-русски. Нельзя!

На одной из своих книг, подаренных мне, она написала:

«Стихи, как всякое благородство, обязывают».

Ее нравственные представления о роли поэта, ее изумительное чувство русского языка, ее родство с народом через язык, любовь к русской культуре, к России и в то же время знание и понимание иноземной культуры (особенно германской, хотя она свободно писала и по-французски не только письма, но и стихи) — весь круг ее интересов и привязанностей с детства определился средой, в которой она родилась и выросла. Она очень русская, очень московская и — как русская и московская — с очень открытой душевной ширью и

глубиной и способностью понимать все чужое. Вот уже кто с наибольшим правом мог произнести блоковские строки:

Нам внятно все — и острый галльский смысл,  
И сумрачный германский гений...

Ее семья — это семья москвичей высокой культуры. Портрет отца Марины Ивановны — известного профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева — висит в здании московского Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Профессор Цветаев — инициатор и создатель музея. Высеченный на камне барельеф профессора Ивана Цветаева каждый входящий в этот музей видит у главного входа. Ивану Цветаеву Москва обязана созданием этого великолепного хранилища слепков величайших произведений скульптуры всех времен и народов.

Семья Цветаевых была тесно связана с виднейшими людьми русской литературы, философии и науки.

В начале двадцатых годов Марина Ивановна еще сохраняла обрывки этих уже разрозненных связей. Но под сумеречным окном в потолке петухивной комнаты нечаянно, порою причудливо сталкивались люди бесконечно отдаленных один от другого миров. Придет, собираясь в отъезд за границу, длинноволосый, сидящий знаменитый философ Николай Бердяев — учитель современных экзистенциалистов — и в ожидании, пока выйдет из своей комнаты-кеleyки Марина Цветаева, беседует (не понимая своего собеседника!) с молодым словоохотливым коммунистом — красноармейцем Борисом Бессарабовым. Или заглянет ненадолго с младенцем-дочерью на руках жена поэта Павла Антокольского и встретится у моей печки-буржуйки с бывшим директором императорских театров С. М. Волконским. И никто никому не помеха в петухивном жилище. Цветаева со всеми разговаривала терпимо, больше выслушивала, чем говорила сама, дымя папиросой и дуновением губ легко отгоняя от себя витки горького дешевого дыма.

Много бывало разных людей в петухивной комнате у Цветаевой. Но, кажется, ничей приход не был ей так мил, как приход Волконского. Сергей Михайлович был по душе ей больше, чем кто другой.

Бывший директор императорских театров, бывший князь Волконский, автор нескольких книг об искусстве театра, внешне был совершеннейший Дон Кихот, точно списанный с иллюстраций Гюстава Доре шестидесятилетний рыцарь Печального Образа. Худой — хоть пунктиром его рисуй! — с просоленными сединой волосами, гладкими — на пробор, с эспаньолкой — сэль а пуавр (соль с перцем), на тончайших ножках-жердях, в коротеньких, до колен, штанишках, в серо-зеленой курточке нерусского образца — так выглядел внук прославленной Марии Волконской.

Волконский заходил часто, и беседы с ним текли либо в петухивной у печки, которую я разжигал, либо, в зависимости от времени суток, в келейке Цветаевой. Не помню, чтобы при Волконском она когда-либо читала стихи. Ее манера читать не могла ему нравиться. Мою же манеру — скандировать — он просто не выносил. У него была своя теория чтения стихов со «смысловыми ударениями». Последняя изданная в России книга его называлась «Законы живой речи и правила чтения». Тютчевым он восхищался, чаще всего читал «Люблю грозу в начале мая», но музыка стихотворной строки в его чтении исчезала.

Никогда ни слова о политике! Да он, кажется, и во всю свою жизнь ничем, кроме искусства, не интересовался. Он с большим уважением отзывался о Станиславском и очень сдержанно говорил о своих несогласиях с ним.

В 1921 году Волконский читал лекции в Московской филармонии. Станиславский уважительно относился к Волконскому и в одном из своих выступлений назвал учеников Сергея Михайловича «волконистами». Это дошло до Волконского и очень огорчило его. Он принес Цветаевой и прочитал ей и мне свое письмо Станиславскому. Волконский утверждал, что никакого своего особого «учения о театре» у него нет и уже поэтому учеников-последователей у него быть не может. Но особенно горячо он возражал против употребления Станиславским выражения «волконисты». Он доказывал, что словообразование это чужеродно духу русского языка, умоляя Станиславского слово это больше не произносить.

Не знаю, что ответил ему Станиславский. И ответил ли? Волконский вскоре после своего письма Станиславскому уехал из СССР.



Цветаева уехала позже Волконского. За границей они встречались. Ее дочь писала мне: «С С. М. (Волконским) мама и все мы продолжали дружить и в Чехии, и во Франции».

## IV

Должно быть, мы оба с ней выглядели странно, когда шли по московской улице.

Цветаева ходила в широких, почти цыганских юбках, в свободной блузе с белым отложным воротничком. Вид ее с челкой и с папиросой в уголке тонкогубого рта, с кожаной сумочкой на ремешке через плечо, а тем более мой вид даже в тогдашней уличной толпе не мог не дивить людей. На мне был вывезенный из Крыма мой единственный и несменяемый наряд — светло-синяя подпоясанная блуза из бумазеи, синие брюки и коричневые чулки до колен, поперх брюк.

Однажды мы спешили к издателю, печатавшему книжку Цветаевой «Версты». Сгорбленная старуха остановилась на углу Борисоглебского и Поварской. Когда мы с ней поравнялись, робка спросила:

— Вы кто, китайцы будете?

— Нет, бабушка, русские, русские мы, — очень серьезно сказала Цветаева и в доказательство даже перекрестилась.

Через несколько шагов я оглянулся: старуха смотрела нам вслед, осуждающе качала седой головой в платке.

В наших повседневных нарядах появились мы с Мариной Цветаевой и в салоне Волконского в Шереметьевском переулке.

Как-то Сергей Михайлович пригласил Марину Цветаеву и меня во Всероссийское театральное общество. Помещалось тогда ВТО на Большой Никитской. Здесь он читал главы из неизданной своей книги воспоминаний.

Собрались не только выдающиеся деятели искусства, но кое-кто из представителей старой аристократии — петербургских и московских друзей Волконского.

Наряды мужчин и женщин были так респектабельны, что Цветаева не решилась войти в общий зал, а тем более ввести в этот зал меня в моей синей блузе и чулках поперх брюк.

Мы слушали Волконского из соседней комнаты, у открытых дверей, среди нескольких столь же непритязательно одетых.

Сергей Михайлович Волконский читал при свечах в полуосвещенной зале-гостиной.

Его считали знатоком русской речи, одним из ее хранителей. В 1960 году в книге «Путь слова» Леонид Боровой привел интересный факт, подтверждающий признание Волконского как хранителя чистоты русской речи за рубежом. Убежденные, что вместе с ними уходит в небытие «золотая русская речь», эмигранты записали на пленку для сохранения в веках «обыкновенный разговор» князя С. М. Волконского как последний образец этой чистой «золотой русской речи».

С Волконским мне приходилось беседовать много раз. Десятки раз я бывал слушателем его «золотой русской речи». Эта речь всегда производила впечатление чересчур правильной, чтобы называться подлинное русской, в том смысле, в каком подлинно русской и действительно «золотой» была повседневная речь Марины Цветаевой. Волконский говорил так, как чересчур правильно «стерильно» говорят иностранцы, очень хорошо изучившие все писанные законы русской речи. Волконский никогда не допускал в своей речи той животворной языковой свободы, которая только и делает речь живой, а живую русскую речь действительно золотой.

Вот этим «осторожным», чистым, как дистиллированная вода, и, как она, лишенным живой жизни языком были написаны и его очень любопытные воспоминания.

В каком-то месте воспоминания Сергей Михайлович помянул добрым словом отца Марины — профессора Ивана Владимировича Цветаева.

Вынув изо рта папиросу, Цветаева прошептала:

— Милый Сергей Михайлович! Молодец. — Она была благодарна ему. В те дни барельеф ее отца еще не был вделан в стену у входа в музей, как ныне.

Самой интересной главой в воспоминаниях Сергея Волконского была глава «Фижмы». Еще до чтения в ВТО Волконский как-то пришел к Цветаевой и в петухивной комнате читал эту главу Марине Цветаевой, Але и мне. Девятилетняя Аля слушала Дон Кихота в коротких штанишках с тем же вниманием, что и взрослые люди.

Только когда Волконский кончил, она спросила у матери: «Что такое фижмы, Марина?» Аля называла свою мать по имени.

Марина Ивановна объяснила, что больше ста лет назад женщины носили юбки с фижмами — с особым каркасом по бокам.

«Фижмы» — рассказ о том, как и почему князь С. М. Волконский перестал быть директором императорских театров. Все произошло из-за известной балерины Кшесинской, бывшей любовницы Николая II. В каком-то балете, где ей полагалось танцевать в фижмах. Кшесинская вышла на сцену без фижм. На другой день, разгневанный нарушением правил, Волконский закатил «солистке его величества» выговор. Приказ директора императорских театров с выговором Кшесинской был вывешен за кулисами Мариинского театра. Ни к чему подобному Кшесинская не привыкла. Она тотчас поехала во дворец жаловаться на Волконского. Волконский был немедленно вызван к царю. По воспоминаниям Сергея Михайловича, царь принял его рассерженным. Он стоял вполоборота к Волконскому и, глядя не на него, а в окно, высказал ему свое недовольство. Царь предложил Волконскому отменить выговор. Ослушаться Николая II Волконский не мог. Приказ с выговором Кшесинской был отменен, но Волконский тут же подал в отставку...

После чтения в ВТО Сергей Михайлович пригласил Марину Ивановну и меня к себе.

Волконские занимали громадную квартиру в Шереметьевском переулке.

«Семья» Волконского — нечто довольно условное. Его брак с Еленой Николаевной Арнольд д'Арко знакомые называли «браком-дружбой».

Елена Николаевна была на редкость эффектной и эксцентричной рыжеволосой особой лет, вероятно, тридцати пяти. Где-то и при каких-то драматических обстоятельствах она спасла Сергея Михайловича, вызволила его из беды. Кто был ее первый муж и отец ее шестнадцатилетнего сына, я не знаю. В пору моего с ней знакомства она и ее сын уже назывались Волконскими.

Она хорошо знала живопись, музыку, литературу, свободно говорила и писала на нескольких языках, в том числе и на латинском, и даже переводила на латинский язык стихи Валерия Брюсова. Читала она нам свои латинские стихи постоянно.

Она не присутствовала в ВТО на чтении воспоминаний Сергея Михайловича. Но, когда после чтения мы пришли к Волконским и навестила болящую в ее спальне, она встретила нас, стоя на кровати в легком халатике, с распущенными длинными волосами, и, едва поздоровавшись, стала читать сочиненные в этот день стихи на латинском языке. Это были современные стихи о России!.. Ее сын стоял в дверях и не дыша почтительно слушал мать. Странная это была семья! Но люди бывали здесь интересные: крупнейшие музыканты, режиссеры, художники. И когда из Петрограда приезжали знаменитые петроградцы (их по старинке называли здесь петербуржцами), они неизменно приходили сюда навестить своего старого и когда-то знатного петербуржца Волконского.

Теплее всего в этой большой и холодной квартире было в кухне. Гостей, по крайней мере своих, Волконский принимал на кухне. Мы с Цветаевой бывали в этом доме не столько гостями «мадам», сколько его гостями. Поэтому чащу всего сиживали, попивая чай, за обширным кухонным столом. Вот здесь он и показал нам однажды альбом своей бабки Марии Волконской. Это был очень большой альбом — его можно было держать только двумя руками. В нем — множество картинок из французских журналов и очень много французских стихов. Некоторые листы из альбома были старательно вырезаны. Волконский объяснил, что с альбомом он не захотел расставаться, а листы со стихами Пушкина, лично записанными поэтом, вырезал и отдал в архив.

Из известных тогда в Москве людей особенно часто бывал у Волконских пианист Игумнов..<sup>[121]</sup>

Помню его исполнение бетховенской «Аппассионаты» в очень большой и очень холодной гостиной. Сергей Михайлович в своих обмотках и серо-зеленой курточке слушал, потрясывая козлиной бородкой. Мадам зябко куталась в розовую шерстяную накидку. Гость из Петрограда граф Зубов<sup>[122]</sup> в черном бархатном пиджачке стоял, опершись о спинку дивана. Зубов был искусствовед и еще до революции основал нечто вроде института искусств. Недоумевая, шептались о нем: граф-большевик?!

Марина Ивановна в своей цыганской кофте сидела в углу и неслышным дуновением губ отгоняла от себя дымок папироски. Дымок доплывал до бородки Волконского и застревал в ней надолго.

Я тщательно прятал свои ноги в дырявых башмаках под стул и слушал Игумнова.

Игумнов играл Бетховена, а за высокими окнами по полуосвещенным улицам Москвы 1921 года, торопливо расходясь по домам, полуголодные москвичи тащили в кошелках или закинутых за плечи мешочках «рабочие и служащие» пайки пшена и воблы.

Пайковый сахар в семье Волконских сохранялся в именных пакетиках. После концерта Игумнов и Зубов пили чай с сахаром из пакетика рыжеволосой хозяйки дома. Цветаева и я — с сахаром из пакетика Сергея Михайловича.

## V

В то время все жили главным образом на пайки. Цветаева, как и Волконский, получала академический. Свой — отнюдь не академический — я получил в 18-м железнодорожном полку за то, что дважды в неделю рассказывал красноармейцам-железнодорожникам о великой русской литературе. Не помню, как я попал в этот полк. Кажется, «сосватал» мне эту работу добрый мой покровитель профессор Василий Львович Львов-Рогачевский. Помещался штаб полка где-то на Разгуляе, туда я ходил из Борисоглебского переулка пешком — через всю Москву — и оттуда раз в месяц приносил свой благословенный паек к Цветаевой.

Иногда удавалось стихами заработать ужин в кафе «Домино»: <sup>[123]</sup> поэтам, выступавшим на эстраде кафе, полагался в вечер их выступления бесплатный ужин. Раз в месяц и я выступал на эстраде и получал за это ужин такой же плохой, как и стихи, которые я читал.

Цветаева очень редко бывала в кафе «Домино». Но всякий раз, когда я возвращался оттуда, расспрашивала: кто сегодня читал стихи, с кем встретился, о чем говорят поэты?

Руководителем кафе «Домино» главою СОПО (Союз поэтов) был тогда Иван Александрович Аксенов, в ту пору яростно рыжебородый. Огненную бороду свою он сбрил, когда кафе «Домино» было уже закрыто. Острили, что в пламени Аксеновой бороды, не сгорая, горит кафе.. <sup>[124]</sup>

Аксенов — известный переводчик «елисаветинцев» и Шекспира, один из главарей издательства «Центрифуга», а впоследствии —

соратник Мейерхольда (ему же принадлежит перевод «Великодушного рогоносца») и теоретик мейерхольдовской биомеханики. Со своими стихами Аксенов не выступал в «Домино», но вес списки и устанавливал очередь желающих выступить на нем.

Иногда устраивались вечера, посвященные тому или иному поэту или группе поэтов. Так был устроен вечер Цветаевой и мой. Публики набралось больше обычного. Надо ли еще объяснять, что пришли слушать Цветаеву и меньше всего меня.

Если «Флак» в Феодосии в годы 1919—1920-е был провинциальным «ноевым ковчегом» поэтов, то «Домино» в Москве в начале двадцатых годов было «ноевым ковчегом» столичным и потому более многолюдным.

Вероятно, о «Домино» кто-нибудь еще напишет подробно или живописно изобразит его в романе, посвященном литературной жизни Москвы начала двадцатых годов. Я о «Домино» пишу сейчас только «попутно».

Бывали там и недюжинные поэты, но всех вместе было так много, что тон задавали стихописатели — имя же им легион.

Поэтических школ было великое множество, и сборнички стихов выходили с указанием, к какой школе принадлежит тот или иной поэт. Были кроме старых и уже вошедших в историю символистов, акмеистов и футуристов также имажинисты, центрифугисты, эклектики, неоромантики, парнасцы, фуисты, заумники, беспредметники, ничевоки, экспрессионисты и прочие.

Цветаева не причисляла себя ни к одной из школ. Она говорила:  
— Я до всяких школ.

Тринадцать лет спустя она призналась:

Двадцатого столетья — он.

А я — до всякого столетья!

В оглавлении сборника «Союз поэтов», изданного в 1922 году, ее стихотворение отнесено под рубрику «Вне групп». Рядом, также «вне групп», стояло стихотворение молодого Сельвинского. Но вскоре вышла книжечка Алексея Чичерина и Ильи Сельвинского под маркой группы конструктивистов.. [125]

А четверо юных завсегдатаев «Домино» — Борис Лапин, Сергей Спасский, Ипполит Соколов и Евгений Габрилович — подарили мне с дружественными надписями свой сборник «Экспрессионисты». Лапин стал отличным писателем. В Великую Отечественную войну он погиб на фронте вместе со своим другом и многолетним соавтором Захаром Хацревиным. С Лапиным в «Домино» я особенно много встречался, часто мы гуляли с ним по темным улицам и бульварам ночной Москвы. Он был знатоком европейской поэзии, читал свои переводы немецких поэтов и собственные лирические стихи:

Бог воркующих в осоке горлиц,  
Бог хрустящих по капусте зайцев,  
Выйди из своих лубочных горниц,  
Выйди вверх и солнцем не кидайся.

Хорошим прозаиком стал впоследствии Сергей Спасский. Ипполит Соколов — теоретиком в кино, а Габрилович — признанным сценаристом. Многие из других молодых завсегдатаев «Домино» стали в последующие годы известными как поэты или писатели.

Самой приметной, во всяком случае наиболее шумной, из всех посетителей «Домино» была Н. Хабиас-Комарова. Говорили, будто она из бывших графинь, называли ее «Похабиас». Хабиас была полной розовощекой дамой с монгольскими чертами лица, замой в роскошном котиковом манто, летом в режущих глаза пестрых и дорогих нарядах. Она выпустила внецензурное издание книжки стихов с изображением фаллоса на обложке. Книжка открыто продавалась в кафе «Домино» и пользовалась невообразимым успехом у московских извозчиков. Черным по белому стихотворными строками были в ней напечатаны настолько циничные выражения, что даже извозчики не решались читать их вслух.

В один из вечеров в «Домино» Хабиас торжественно сообщила мне о сделанном ею сенсационном открытии: ее сожитель, поэт-имажинист Иван Грузинов, не кто иной, как сам... Иисус Христос!

Во втором сборнике «Союза поэтов» стихи ее были напечатаны под рубрикой «Беспредметники».

У меня сохранился сборник «Собачий ящик, или Труды Творческого Бюро Ничевоков», выпущенный 1 апреля 1922 года в количестве 500 экземпляров. На отдельной странице напечатано: «Посвящается белой расе». В предисловии сказано: «Сфабрикован „Собачий ящик“ для целей разложения и деморализации изящной словесности, согласно постановлению Творческого Бюро Ничевоков от 5 декабря 1920 г.».

Часть сборника ничевоков была отведена объявлениям. Одно из них возвещало: «Поэт-ничевок Рюрик Рок<sup>[126]</sup> извещает всех граждан РСФСР, что с такого-то числа считает расторгнутым свой брак с поэтессой Сусанной Марр по причине выхода поэтессы из Становища ничевоков». И рядом печаталось заявление поэтессы о выходе ее из Становища ничевоков по причине перехода в имажинистки.

Среди всех этих шумных и забавных фигур терялась фигура тихого и милого Тараса Мачтета,<sup>[127]</sup> с головой, вжатой в узкие плечи, сына некогда широко известного беллетриста. Мачтету было тогда, наверное, года двадцать три или двадцать четыре. Он искренне удивился, когда услышал от меня, что его отец — Григорий Мачтет — был в свое время очень известным русским писателем.

Куда более самоуверенно, нежели Тарас Мачтет, держался в кафе «Домино» поэт Дир Туманный. Читал он с эстрады необыкновенно громко — вопил! — и выглядел совершенным юнцом. Цветаева говорила, что Дир Туманный гораздо старше, чем кажется. Но теперь, когда Тир Туманный стал хорошо известным писателем Николаем Пановым, добрым моим соседом по дому, я уже твердо знаю, что в пору кафе «Домино» он был действительно юн.

Но вот однажды в кафе «Домино» появилась фигура очень уж необычного незнакомца. (Кажется, весной 1922 года, когда я уже не жил у Цветаевой.)

Широкое, длиннополое, почти до земли, пальто делало его похожим на священника, прошагавшего по пыльной дороге бог весть сколько десятков верст. Да и весь этот новоявленный дервиш производил впечатление вывалянного в пыли. Не только его шапчонка на голове, но и борода была пыльного цвета. Пылью были припудрены брови, из-под которых глядели необычайного блеска и остроты глаза.

Слишком много диковинного вида людей бывало в кафе «Домино», но дервиш своей диковинностью превзошел их всех.



Кто-то спросил у пыльного человека, что ему надо. Наверное, он не туда попал!

— Туда, — уверенно ответил дервиш вполголоса.

Он направился в глубь помещения, и было похоже, что знал дорогу. Официант, заподозрив недоброе, не отставал от него. Он, конечно, не сомневался, что этот нищий попросту забрел на огонек, тускло светившийся над входом в поэтическое кафе.

— Что вам угодно, куда вы? — спрашивал официант, уже терявший терпение.

Запыленная борода и нависшие поля головного убора закрывали лицо незнакомца. Сидевшие за столиками не обратили на него никакого внимания. Кто только не появлялся тогда в кафе «Домино» и чей облик мог тогда удивить его завсегдатаев!

Дервиш вошел в маленькую комнату правления. Я был им заинтригован, шагнул следом за ним. Еще недавно сидевшие здесь Иван Аксенов и Сергей-Бобров вышли куда-то. Комната была пуста, и это опечалило дервиша. Он сел на диван и сказал официанту, что у него денег нет, а он хочет есть.

Появился содержатель буфета «папа Ройзман».

— Бесплатно здесь кормят только поэтов, — строго заметил буфетчик, надвигаясь на дервиша. — И только тех, кто сегодня читает стихи.

— Пожалуйста. Я тоже могу читать стихи. Потом. Сначала накормите меня!

Он вдруг запустил руку за пазуху, порылся там. И мы услышали шуршание бумаг за пазухой дервиша. Он вытащил какой-то листок и протянул его нам:

— Вот здесь все сказано обо мне.

Мы прочли самое невероятное удостоверение личности, какое когда-либо приходилось видеть. Оно было выдано каким-то харьковским учреждением. «Гражданин РСФСР Велемир Хлебников, не имеющий постоянного местожительства, как душевнобольной, не отвечает за свои поступки, что подписями и приложением печати удостоверяется».

Буфетчику имя Хлебникова ничего не сказало. Напрасно я пытался объяснить ему, что перед ним знаменитый русский поэт, друг и учитель Владимира Маяковского, родоначальник русского

футуризма. Он уже готов был выдворить Хлебникова из кафе. И тут в комнату правления вошел Иван Аксенов.

— Иван Александрович! Хлебников! — закричал я.

Аксенов тотчас узнал поэта, несмотря на его бороду, слои пыли, покрывшие его лицо и одежду. Аксенов потребовал наилучшего ужина для Хлебникова. Хозяин буфета был недоволен. Он не хочет верить, что этот бродяга, не отвечающий за свои поступки, на самом деле выдающийся русский поэт. Но, как ни ворчал, послушаться Аксенова он не мог. Хлебникову принесли еду. Не обращая внимания на окружающих его, он сидел за столом правления, словно наедине с собой, и поедал «бесплатный ужин поэта».

С ним сговорились об устройстве в кафе «Домино» вечера его поэзии. Вскоре появилось объявление о вечере Велемира Хлебникова. Но вечер не состоялся. Хлебников не явился. Никто не знал, где он и не ушел ли он из Москвы, все так же «не отвечая за свои поступки».

Я рассказал Цветаевой о «явлении» Хлебникова в кафе «Домино». Она не улыбнулась, услышав о бумажке, «освобождающей от ответственности за поступки».

— Поступки поэта — его стихи. — Она помолчала, затянулась, закинув голову и выдохнула. — Хлебников отстраняется этой бумажкой от быта. Это как «не трогайте моих чертежей». Это его «не мешайте мне». Его не понимают — поймут.

Три года спустя на чужбине она вспомнила Хлебникова в «Поэме конца»:

..... школы  
Хлебникова соловьиный стон.

О себе она когда-то сказала: «Я до всяких школ». Верно, что «до». Но и верно, что с Хлебниковым рядом, где-то во Вселенной русской поэтической речи. Ни голосом, ни осанкой не схожи, а кровь одна. В молодые годы Цветаевой — до чужбины — это в стихах ее не высвечивалось, не замечалось на слух. А позже, во многом, что написано на чужбине и по возвращении снова на Родину, вдруг высветилось в ее стихах. Ни с кем рядом в русской поэзии ее не

поставишь — сама по себе, ни с кем не родня. А с Хлебниковым рядом стоит — как с братом, непохожая на брата сестра!

В годы, когда возможность печататься была сведена почти на нет, кафе поэтов (стало быть и кафе «Домино») частично заменяли издательства и журналы. Но вот нэп стал входить и в издательский мир — все чаще начали появляться на свет издания частных и кооперативных издательств. Возможность печататься расширялась день ото дня. И день ото дня поэты и писатели все реже и реже посещали свое кафе.

У Цветаевой всегда было настороженное отношение к «Домино». Ни с кем из посетителей «Домино», да и вообще ни с кем из членов СОПО, не было у нее сколько-нибудь близкой дружбы. Но многие из них были ее знакомыми. И ни о ком из них, даже о людях, недружественных к ней, не отзывалась она с осуждением. Без раздражения, словно бы не обиженная, говорила она о Сергее Боброве, [128] одном из главных заправил кафе «Домино» и Союза поэтов. А между тем Сергей Бобров и впрямь обидел ее. Она сдала в Госиздат книжку стихов «Версты». Под тем же названием за год до того в издательстве «Костры» вышла у нее книжечка стихов — меньшая по объему. «Версты» рецензировал в Госиздате Сергей Бобров. Цветаева показывала мне очень злую его рецензию. Правда, рецензия эта не повлияла на судьбу «Верст», стихов Цветаевой, посвященном Анне Ахматовой. У Ахматовой и Цветаевой была заочная дружба, не очень близкая, но полная глубокого уважения друг к другу. Одно время был у Марины Цветаевой «ахматовский период», когда целыми циклами она писала стихи Ахматовой, об Ахматовой и о Льве — сыне Ахматовой и Гумилева.

В стихах своих она называла Ахматову «Анна всея Руси», и этим особенно возмущался Сергей Бобров.

А они обе были «всея Руси» — Марина и Анна.

С красноармейцем Борисом Бессарабовым Цветаева послала Ахматовой свою старинную кашемировую шаль. Бессарабов привез от Ахматовой стихи и кольцо — Марине, тоже очень старинное...

Изредка они посылали друг другу подарки.

В летние и осенние вечера Марина Ивановна любила сидеть на крыльце своего дома в Борисоглебском переулке, совсем как и в провинции. Здесь на крыльце происходили и приемы гостей. Приходили и сиживали на ступеньках и Анастасия Цветаева, и Волконский, и Майя Кудашева.

На крыльчке мы много беседовали с Цветаевой о белой армии. Никогда она белой армии не видала, на земле, занятой белогвардейцами, не жила, и у нее сложилось какое-то фантастическое представление о белых.

В ее представлении, на знаменах белой армии были написаны имена Пушкина, Блока, Россия, братство, любовь, рыцарство, христианская милость в сочетании с героизмом, святость, народность, доблесть, девственность, благородство. Все, во что она верила, все, что было дорого ей! А я рассказывал ей о том, какой видел эту белую армию на Украине и в Крыму. Рассказывал об офицерских пьяных разгулах, о расстрелах и грабежах, о попойках буквально на костях и крови, о целых табунах спекулянтов, о таких бандитах, как генерал Шкуро. Цветаева слушала, бледная, курила, отдувала от себя дым, склоняла голову на плечи и... верила. Да, верила, что все так и было, как я ей описывал. Но, вынув изо рта папиросу, тихо чуть ли не шепотом говорила, что настоящей белой армии я не видел. Та, о которой я рассказывал, это, мол, другая белая армия, не настоящая, это армия презренных изменников, падших людей России. Будто бы есть и другая армия — святая, борющаяся за Пушкина и за Блока, за русский язык и свободу, за рыцарство и любовь. Какая? Где? Она выдумала ее себе. Эта выдуманная ею белая армия жила только в ее воображении.

Москву, всю Москву впервые мне показывала она. Но как показывала! У каждого камня, у каждой кирпичины останавливалась и читала все, какие только написаны об этом камне, стихи русских поэтов! И свои, разумеется. Стихов о Москве у нее множество, и о Москве она писала с какой-то удивительной радостью.

— Я в грудь тебя целую,  
Московская земля!

Мы ходили с ней вокруг Кремлю и подолгу останавливались возле каждой кремлевской башни. Хорошо, что в те дни люди в Москве не многому удивлялись. Они едва оглядывались на молодую женщину с короткими волнистыми волосами, с челкой на лбу, в цыганской одежде с белым воротничком гувернантки, читающую стихи, будто колдовской заговор творящую!

В Александровском саду — тогда без цветов, заброшенном и безлюдном — она подвела меня к гроту.

— Это — детство. — Она заглянула в грот, он был завален щебнем, замусорен. — Бедный, — вздохнула Марина. — В детстве нас с Алей водили сюда. Александровский сад был как праздник. — И вспомнила: — Нас редко водили в Александровский сад.

Кажется, это единственный случай, когда при мне она вспомнила свои детские годы. Да, она вообще никогда не говорила о прошлом.

Мы обошли с ней пустынный, неухоженный Александровский сад. Цветаева почти все время молчала, не возвращалась к стихам, нигде после грота не задерживалась и зелеными, прозрачными до самого дна глазами недоуменно смотрела на опустошение.

Прогулка по Александровскому саду была безмолвной — первой без рассказов о старой Москве и без стихов.

Ходили и вокруг уже не существующего теперь<sup>[129]</sup> храма Христа Спасителя. Она с увлечением рассказывала о проекте Витберга — памятника на Воробьевых горах, вместо которого построен был этот огромный храм. Всегда вспоминаю прогулки с Цветаевой, когда прохожу мимо плавательного бассейна на месте снесенного храма Христа...

Вспоминаю прогулки и по Тверской — тогда еще узкой, тесной — от древней церквушки Дмитрия Солунского, что на углу площади — в те времена Страстной ныне Пушкинской, — вниз по направлению к Иверской часовне<sup>[130]</sup> возле Исторического музея. По пути Цветаева всегда останавливалась возле Московского Совета лицом к обелиску Свободы. Она называла обелиск лучшим, единственным красивым памятником, воздвигнутым в первые годы советской власти. Прочие наспех сооруженные памятники, скульптуры — конструктивистские — скорее огорчали, чем возмущали Марину Ивановну. Увидев какой-либо из них, она вздыхала: «Портят Москву!» Но обелиск Свободы на

площади Моссовета любила. «Смотрите, как ему здесь хорошо! И всей площади с ним хорошо! И домам вокруг!»

Обелиск этот потом убрали. Поставили Юрия Долгорукого на пряничном коне. И площади с пряничным конем под Юрием Долгоруким стало «нехорошо». Доживи Цветаева до нынешних дней, наверняка была бы с теми, кто предлагает вновь воздвигнуть обелиск Свободы на площади Моссовета!

Она очень любила Новодевичий монастырь. Однажды отправились туда втроем — Марина, Аля и я. У стен монастыря, на заросшем травой берегу Москвы-реки, Цветаева читала то самое стихотворение о Москве, которое позднее, при нашем прощании, переписала на чистой странице книжки «Москва» своим бисерным почерком красными и поныне не выцветшими чернилами. Стихи были старые — еще 1916 года. А книжку она сама переплела для меня и написала на ней: «В добрый путь...» Путь добрым не был. Но книжка — вот она стоит рядом с другими ею подаренными, и, открывая ее, читаю:

Москва! Какой огромный  
Странноприимный дом!  
Всяк на Руси — бездомный.  
Мы все к тебе придем.

Но бывали у нас и не лирические и не исторические прогулки, а просто-напросто веселые.

Как-то Марина повела меня и Алю и не сказала — куда. «После узнаете!» И пока не подошла к воротам Зоопарка, я и не знал, куда она ведет нас. Зоопарк в ту пору был беде, птиц и зверей в нем — немного, и все звери — голодные. Мы забавлялись тем, что, переходя от клетки к клетке, загадывали — на кого из наших знакомых похоже то или иное животное в клетке?

Цветаева всерьез взялись знакомить меня с Москвой. Мало было одних прогулок.

— Пойдем поищем грибоедовскую Москву.

Я и не сразу понял — какую это «грибоедовскую Москву» искать. Почему искать ее надо в Алиной комнате, самой большой в квартире?

Отделяла ее и от петухивной, и от келейки Марины маленькая, проходная темная комнатка, без окон, но с тремя дверями. Одна дверь — в петухивную, вторая — направо от петухивной в келейку и третья — в большую и светлую комнату. Тут спала Аля, и тут стоял черный, набитый книгами шкаф. Мы уселись на полу перед книжным шкафом, и когда распахнулись его черные дверцы, словно приглашая войти, из недр шкафа вывалились на пол и нам на колени груды стиснутых дверцами книг. Из шкафа пахло детством начала века, стойким запахом коленкоровых переплетов, убажующим уютom старой, милой, добротом собранной домашней библиотечки — всего, что уцелело от разметанной в центробежном стремительном лете жизни русской московской семьи книголюбов.

Цветаева принялась разгребать вывалившееся из шкафа книги и наконец наткнулась на цель своих книжных розысков. Это была ныне почти забытая прекрасная книга М. О. Гершензона «Грибоедовская Москва», ценимая Мариной Цветаевой. Так вот за какой «грибоедовской Москвой» она повела меня в Алину комнату! И, протягивая мне «Грибоедовскую Москву» Гершензона, потребовала, чтобы сначала я прочитал эту книгу дома, а после с книгой в руках обошел все места Москвы, осмотрел все улицы, дома и усадьбы, описанные или лишь названные на страницах труда Гершензона.

Она собрала для меня стихи о Москве, сочиненные русскими поэтами в девятнадцатом и двадцатом столетиях. Она помнила все эти стихи наизусть, а собирать ей надо было, лишь извлекая их из собственной памяти. Но три имени в русской поэзии были ей особенно дороги и близки — и все три петербургских поэтов — Пушкина, Блока, Ахматовой.

Блоку, как и Ахматовой, она посвятила циклы своих стихов. Смерть Блока ранила ее, как может ранить смерть любимого человека, хотя лично Блока Цветаева почти не знала.

Я услышал о его смерти все в том же кафе «Домино» и бросился с Тверской в Борисоглебский переулок к Цветаевой.

Стеклянная дверь с площадки в петухивную была на ключе. Я стучал и кричал: «Марина! Блок умер! Блок умер! Марина!» За матовым стеклом двери, как нарисованный на мокрой бумаге, расплылся ее силуэт. Она долго не могла справиться с запертой дверью. Я видел, как ее руки беспомощно, жалостно шарили по стеклу

и не находили замка. Она словно ослепла. Когда она впустила меня, я ее не узнал. У нее не хватило сил даже закурить папиросу. Я никогда не видел ее такой смятенной, несчастной. Она не плакала. Я вообще не могу представить себе Цветаеву плачущей в великом горе. Только несколько дней спустя она стала вспоминать, каким видела Блока в его последний приезд в Москву. Рассказывала: «Он глухо, все глуше и глуше читал стихи и, читая, все дальше отодвигался от слушателей к стене, словно хотел войти в стену».

Потом заперлась у себя и несколько дней кряду писала стихи о Блоке.

На углу Тверской и Большого Чернышевского переулка (нынешней улицы Станкевича) в зеркальном помещении бывшей кондитерской собирались члены литературного объединения «Кузница». В один из траурных блоковских дней я зашел в этот переполненный кондитерский пестрый зал. В глубине зала на кафедре стоял популярный исследователь западноевропейских литератур профессор Петр Семенович Коган. Он говорил о Блоке. И вдруг заплакал навзрыд, как ребенок.

Вечером в петухивной я рассказал Цветаевой о плачущем Когане. Она удивилась: «Плакал на людях? Публично?»

Должно быть, ей представлялось, что если уж плакать, то только наедине с собой.

Цветаева подумывала о поездке в Прагу — там жил ее муж, отец маленькой Али, Сергей Эфрон.

Визы желающим уехать за границу давались довольно часто. Бывал у Цветаевой режиссер Чабров..<sup>[131]</sup>

Он постоянно расписывал, как его ждет Париж. И я уже начинал верить, что Парижу и впрямь не терпится встретиться с Чабровым. Чабров вскоре уехал, а театральный Париж так и не был им осчастливлен. Во Франции он принял католицизм и стал священником, по словам Али — «беднейшего прихода на Корсике».

Аля рассказывает о Чаброве:

«В 30-е годы разыскал нас, приехал в Париж, раза 2–3 приходил в бедной потрепанной сутане, с тонзурой на темечке и... все такой же».

Цветаева подала в Наркоминдел ходатайство о разрешении и ей с дочерью выехать к мужу в Прагу. Она старалась как можно больше оставить мне на память о нашей дружбе. Уже давно была подарена



книжка стихов с надписью, в которую она вложила все свое доброе и великодушное отношение ко мне: «Поэту и другу». Сама сшила и заполнила своими стихами тетрадь. И, даря ее, в верхнем углу серой обложки на сургуче оттиснула печатку своего старинного перстня. Трехмачтовое судно еще и сегодня видно на уже растрескавшемся и, увы, частично обсыпавшемся сургуче. В 1965 году дочь Марины Ивановны сообщила мне, что перстень этот с печаткой уцелел. Он дошел до нее «невероятными путями», весь истерт, тыльная сторона его истончилась, от суденышка с тремя мачтами и следа не осталось. А перстень был морской, самодельный — и с надписью: «Тебе моя синпатия» (подчеркнуто в письме А. Эфрон).

Перед прощанием своими руками переплела и подарила мне издание «Универсальной библиотеки» — маленькую и толстую книгу «Москва — сборник стихов о Москве и рассказов путешественников разных эпох. „В добрый путь...“» — написала она на книге. А на обороте титульного листа переписала свое стихотворение о Москве — то самое, которое когда-то читала на жухлой траве под стенами Новодевичьего монастыря.

Я уезжал на две недели в Крым, в Феодосию, по семейным делам — шел на вокзал пешком с корзиной в руках. Марина и Аля провожали меня до Лубянской площади. В корзине лежали хлеб и оладьи, испеченные для меня Мариной. У Никольских ворот мы остановились. Марина вдруг отошла от нас, на углу у торговки купила яблок и набила ими мои кармины — мне на дорогу. Потом обе благословили меня, чтоб путь мой был добрым и легким. Мы обнялись, расцеловались и снова расцеловались, и я наклонился, чтоб маленькая Аля могла обнять меня на прощанье.

В дневнике 1921 года, выписки из которого прислала мне А. Эфрон, она записала:

*«Наши гости скоро уехали. Сперва уехал Борис на извозчике с чемоданом и непродавшимся Репиным. После его отъезда мы пошли на рынок за грибами усладить отъезд Миндлина. Мы его хотели проводить. Скоро настал этот день... Вышли из дома. Э. Л. нес свою корзину, я палку. Мы проводили Миндлина до Лубянской площади. Подошли к углу, и Марина купила Миндлину два кармана яблок и отдала ему*

*последние 20 тысяч. Мы поцеловались и поцеловались еще раз и еще раз. Мы его перекрестили, и он пошел. Пошли и мы».*

Я взвалил свою легонькую корзинку на плечи и зашагал, пересекая булыжную площадь. Посреди площади оглянулся — в ту же минуту оглянулась Марина с Алей. Мы помахали друг другу — и пошли в противоположные стороны, они в Борисоглебский, домой, я на Курский вокзал.

Я шагал по Мясницкой, все еще ощущая прикосновение нежных, как лепестки фиалок, губ девятилетней Али. Тогда я еще не знал, что маленькая Аля вела дневник и вносила в него записи обо мне. Еще менее я мог представить себе, что в то время, когда я жил у Цветаевой, Аля писала Елене Оттобальдовне Волошиной, матери поэта, — Пра, как называли ее все окружающие и ее сын, — о моей жизни у Марины Цветаевой.

17 августа (ст. стиля) 1921 года Аля писала Пра:

*«Сейчас у нас гостит молодой Фавн (не по веселости, а по чуткости), ничего не понимающий в жизни, любимый зверь его карегрустноглазый бизон (грустная, добрая, побежденная тяжесть). Видели вместе в зверинце. (Сказывается лесная чуткость к тяжелым шагам.) Наш гость — странный: ничего не ест, никогда не сердится. Это молодой поэт Э. Л. Миндлин. У него есть фотография Макса: полулежит на диване в рубашке».*

Другое ее письмо — в день моего отъезда. 6 сентября (ст. стиля) 1921 г.:

*«... это письмо Вам передаст Э. Л. Миндлин. Он был нам хорошим другом, помогла во всем. Это было особенно трогательно, потому что он сам совершенно беспомощен и такой же медленный, как я. Завидую ему: он увидит Вас и море».*

Возвратясь из Крыма, я застал Цветаеву в сборах к отъезду.

Виза была ей обещана — она ждала ее со дня на день. Разговоров только и было что об отъезде.

Она не представляла себе, на сколько времени покидает свою Москву. Никаких определенных планов на будущее! Наверняка не предполагала, что покидает ее почти на два десятилетия. Задумываться о будущем, строить планы вообще было не в духе Цветаевой.

Я больше не жил в петухивной. Там еще оставался какой-то мой узелок. Я уже стал обладателем собственной комнаты — получил по ордеру сущим чудом.

Комната была в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома на Садово-Самотечной. Вода в доме не шла, тащить надо было ее с первого этажа по нескончаемой лестнице — лифт в те годы нигде в Москве не работал. Но трудно ли в 21 год втащить на восьмой этаж наполненное водой ведро, взятое у хозяйки квартиры!

Это была моя первая «собственная» комната в Москве: Цветаеву забавляло, когда я взахлеб рассказывал о своем жилище.

По легкомыслию лет, по юношеской своей слепоте, по эгоизму молодого человека, увлеченного устройством своей жизни, я не замечал, как ей трудно и как сложно ее душевное состояние перед разлукой с ее Россией, перед чужбиной, перед тем неведомым, что ожидает ее там — за Россией...

Теперь мы куда реже, чем прежде, беседовали. Да и видеться с ней стали все реже и реже.

Уехала Марина Цветаева в мае 1922 года. На протяжении многих лет стихи ее, доходившие из-за границы, вызывали на ее родине интерес еще больший, гораздо больший, чем те, что писала она до своего отъезда.

В альманахе (кажется, он назывался «Эпоха», а может быть, «Эпопея»),<sup>[132]</sup> изданном в Берлине то ли в 1923-м, то ли в 1924 году, я увидел напечатанным цикл «Отрок», когда-то мне посвященный, но без первого восьмистишья «В небо ступнешь!». В посвящении трех (из четырех подаренных мне) стихотворений моего имени не было. Коротко посвящалось: «Геликону»..<sup>[133]</sup>

Что же? Перепосвятила? Три из бывших «моих» четырех — неизвестному мне «Геликону»? но стихи-то ведь написаны до Берлина!

Из четырех оставила мне только первое, предостережение-восьмистишие: «Остановись! В небо ступнешь!»

...И вдруг вспомнился ее рассказ о Евгении Ланне. О том, как посвятила ему стихи, а потом взяла да перепосвятила другому.. [\[134\]](#)

Ланна, когда разобиделся, рассердился, успокоила: «Посвящение, как любовь, как славу, делить нельзя. Множить можно. Ланн, я помножила, не разделила».

Разделить нельзя, ну а вычесть можно? Не сняла ли она мое имя, изменив ко мне отношение? Тогда я еще не знал — смутился. Слишком поздно узнал, что доброе ее отношение ко мне не изменилось с годами...

Весть о том, что в Елабуге повесилась одинокая русская поэтесса Марина Цветаева, распространилась по литературной Москве еще до того, как из Чистополя пришли первые письма...

Три года прошло после ее смерти в Елабуге. Отечественная война еще не закончилась, но бои шли уже на германской земле, все ближе к Берлину. И только тогда я узнал о вечере стихов Марины Цветаевой в писательском Доме творчества в Голицыне под Москвой.

Хозяйка писательского Дома в Голицыне Серафима Ивановна Фонская вспомнила и рассказала об этом, увы, после смерти Цветаевой.

Писатели, жившие в то время в Голицыне, попросили Цветаеву устроить вечер ее стихов. И среди многих, которые она читала, Марина Ивановна прочла цикл «Отрок». Ее спросили — о ком эти стихи? Кто этот «огнепоклонник»? кому стихи?

Марина Ивановна, по словам Серафимы Фонской, ответила:

— Стихи написаны в тысяча девятьсот двадцать первом году. Они посвящены моему другу, в то время молодому поэту... — и назвала мое имя.

*1961–1965, 1980*

## Петр Зайцев<sup>[135]</sup> ...У НАС В ГИЗЕ

Однажды в 1910–1911 годах на одной из «суббот» у Эллиса в «Доне» заговорили о только что вышедшем тогда сборнике молодой, еще неизвестной поэтессы Марины Цветаевой — «Вечерний альбом». Оживленно оценивая стихи этого сборника, Макс Волошин хвалил их, хвалил поэтессу как свежее молодое дарование.

Эллис, покручивая черносмольные усики и бородку, тоже хвалил. Мы, мусagetская молодежь, человек 10–14, внимательно прислушивались. В те же дни, вырвавшись в рабочие часы из своей китaiгородской конторы на полчаса, я побежал на Кузнецкий мост к Вольфу и купил этот сборник — «Вечерний альбом». Стоил он недешево, рубль, — крупная цена! Был довольно объемистый, толстый...

Вечером, придя домой, я за один присест, не отрываясь прочитал его. Прежде всего меня поразило, как много успела написать эта молодая поэтесса, почти девочка, и каких стихов!..

Это были не беспомощные стихи молоденькой гимназистки, нет, они были естественны, непосредственны и очень искренни. В них сказывалась сама душа молодого автора. Первого сборника Цветаевой — «Волшебный фонарь»<sup>[136]</sup> — мне не удалось достать: небольшой его тираж быстро разошелся и был весь распродан.

Тогда еще не знали, какая яркая звезда всходила на небе русской поэзии. Девочка-подросток, 17–18 лет. А в те годы в Москве уже были поэтессы с заслуженным литературным именем: Мариэтта Шагинян, Любовь Столица, Любовь Копылова, Надежда Львова, Ада Чуменко — поэтесса бунинской школы. Были свои поэтессы в Петербурге — и первой из них тогда была Анна Ахматова. Прозвучала для нас и поэзия Марии Моравской. Появилась даже первая женщина-футуристка — Елена Гуро со своими «Небесными верблюжатами» — книгой прозы.

— Аня, да ты уже вполне готовый поэт — заметил Н. С. Гумилев, вернувшийся из Африки, Ахматовой, тетрадку стихов которой он прочитал сразу же после возвращения. Ахматова в 1910 году присоединилась к акмеистам, а Цеху поэтов.

Марина Цветаева своими двумя первыми сборниками сразу выдвинулась в первый ряд поэтов. Я не был еще знаком с ней лично, но, проглядывая выходившие журналы и сборники, с интересом прочитывались стихи о генералах 1812 года. Они пленили меня героической романтикой и выразительностью образов молодых героев Отечественной войны 1812-го. Вероятно, эти стихи были навеяны Цветаевой столетней годовщиной славного Бородина. Стихи очень искренние, подлинно патриотические и глубоко волнующие. Ее талант явно рос, развивался и крепнул, мужал и обещал раскрыться в очень крупной дарование.

Не сомневаюсь, что Марина Цветаева бывала в редакции «Мусажета» на проходивших там вечерах, возможно, она бывала и в студии Крахта, но там я с ней не познакомился, хотя тоже навещался туда.

Встретился я с ней весной 1922 года в совершенно естественном и деловом порядке, по своей работе в Госиздате.

Николай Леонидович Мещеряков, тогдашний глава Госиздата, принял к изданию книгу Цветаевой «Версты», кажется, третья книгу стихов молодой поэтессы. (Еще до этого, в 1921 году, в одном из сборников «Костры» или «Северные дни» были напечатаны ее стихи о Разине,<sup>[137]</sup> мне очень понравившиеся тогда.)

М. И. Цветаева и в эти годы придерживалась еще старой орфографии, которой придерживались и многие старые писатели. По старой орфографии было написано и ее письмо ко мне от апреля 1922 года с обращением: «Милый господин Зайцев». Она в этом письме обращалась ко мне с какой-то просьбой...

В Госиздате я и познакомился с ней. Она была и по внешности — преинтересная! Ее небольшая, стройная фигурка производила впечатление своей строгой очерченностью, воздушной оконтуренностью форм и своей простотой и естественной грацией. Невысокая, стройная, строгая, с тихими глазами, в которых таилась насмешливость, вот-вот готовая вспыхнуть острой эпиграммой.

Появлялась она у нас в ГИЗе в скромном, простом черном костюме, в маленькой шляпке на стройной головке, в черной жакетке и с перекинутой через плечо сумочкой-портфельчиком: не то школьница старших классов, не то пешеходная туристка, готовая исходить своими

небольшими, но сильными ногами десятки километров, свои «версты», не выражая особой усталости.

Жила она на Поварской, на углу Борисоглебского переулка. <sup>[138]</sup>

Жила на втором этаже, но комната у нее казалась полуподвальной оттого, что, поднявшись на второй этаж, приходилось спускаться на несколько ступенек вниз по внутренней лестнице. В комнате было что-то суровое и аскетическое. Сурово, может быть, казалось оттого, что все у нее было перетасовано, сдвинуто, свернуто: она готовилась к отъезду. Обитала она со своей маленькой дочкой и в этом доме помещалась среди прочих жильцов — литераторов и поэтов. Там они жили целой «колонией»: Цветаева, Мандельштам с женой, <sup>[139]</sup> Георгий Шенгели и др.

Рассказывая о своих соседях, Цветаева несколько насмешливо отзывалась о Мандельштаме как о наивном и простодушном человеке, слишком уж явно и открыто проявлявшем свои эмоции из-за ревности: он ревновал свою молоденькую жену, полудевочку-полуженщину с хрустальными ясными глазами, к поэту Георгию Шенгели.

Марина Ивановна рассказывала мне о своем детстве, о своем отце И. В. Цветаеве, директоре Музея изящных искусств в Москве. Ее воспоминания о детстве и отце вызвали у нее другое воспоминание об одной игре, которая проводилась в небольшом литературном кругу. Игра состояла в том, что каждый из присутствующих должен был вспомнить самое раннее из своего детства, можно сказать — первый вспых сознания, и, вспомнив, честно о нем рассказать. Марина Ивановна вспомнила во время этой игры, как она, еще очень маленькой девочкой, сидела с отцом у ярко горящего камина, и золотые угли, их фантастический переливчатый блеск привел ее в восторг. Она видела — огонь. А. П. Коган, тоже принимавший участие в этой игре, вспомнил, как его отец показал ему золотую монету... и даже не одну, а несколько.

Мы с Цветаевой оба невольно улыбнулись, подумав: одному вспомнилось живое, текучее, переливчатое золото огня, другому — реальное, конкретное золото, мертвая материя...

Тогдашний руководитель ГИЗа, Н. Л. Мещеряков питал слабость к поэтическому таланту Цветаевой. Он любил и ценил ее стихи и купил у нее две книги для ГИЗа: «Царь-Девница» и «Версты». Марина

Ивановна заходила в Госиздат, когда хлопотала о своем отъезде за границу к мужу — Сергею Эфрону.

Видался я с Мариной Ивановной в 1922 году несколько раз. Вскоре она уехала за границу, и больше я с ней не встречался.

1960-е годы



**А. Эфрон**  
**ОДИНОЧЕСТВО МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ**  
**(Неопубликованный отрывок из рукописи**  
**«Страниц былого»)**

Марина казалась той же, что и в Москве, — та же челка, те же серебряные браслеты, те же глаза, глядящие мимо собеседника в свою и его даль, и те же неукоснительные привычки — к утренней работе, ночной бессоннице, долгим прогулкам, черному кофе, и те же взаимоисключающие свойства — сдержанность и неукротимость, непримиримость и кротость, долготерпение и вспыльчивость, общительность и жажда уединения, та же увлеченность (увлекаемость) людьми при внутренней неспособности, невозможности длить с ними отношения.

Но совершился в ней — человеке, в ней — поэте необратимый, еще простым глазом не видимый и неискушенным ухом не слышимый, поворот, перелом отлученности от окружающей жизни, участником которой она перестала себя ощущать. Отключилась способность находиться на поверхности жизни, на плаву, вместе с ней, хотя бы наперекор, определилась незаряженность ею и неслиянность с нею, чужой, чужим принадлежащей, во вне находящейся. О недоверии к окружающему, о недоверности его, несмотря на «успех».

Человек не среды, а страны, Марина расставшись со страной, замены ей в «среде» какой бы то ни было — не искала да и не могла искать. Эмиграция же сразу превратилась именно в «среду» ращепившуюся, распавшуюся к тому же на ненадежные микро-мирки группировок, приходов, землячеств, в которых Марине не хватало бы ни воздуха, ни пространства, если бы она и попыталась бы сжиться с ними и вжиться в них, ни просто смысла. На ладони ее судьбы начала обозначаться жесткая, глубокая линия одиночества.

*(1973)*

Роман Гуль [\[140\]](#)

## ИЗ КНИГИ «Я УНЕС РОССИЮ»

В Берлине с Мариной Цветаевой познакомил меня Эренбург. Было это вскоре после ее приезда из Москвы. Она остановилась в том же Прагер-пансионе, где жил Эренбурги. И как-то Эренбург сказал, что Цветаева хочет со мной встретиться. Я пришел. Постучал в дверь комнаты. Услышал: «Войдите!» Вошел. Марина Ивановна лежала на каком-то странном предмете, по-моему, на сундуке, покрытом ковром. Первое, что бросилось мне в глаза, — ее руки — все в серебряных браслетах и кольцах (дешевых), как у цыганки.

Разговор начался с Москвы, с ее приезда. Свое первое впечатление от облика Цветаевой я ярко запомнил. Цветаева — хорошего (для женщины) роста, худое, темное лицо, нос с горбинкой, прямые волосы, подстриженная челка. Глаза ничем не примечательные. Взгляд быстрый и умный. Руки без всякой женской нежности, рука была скорее мужская, видно сразу — не белоручка. Марина Ивановна сама говорила о себе, что умеет только писать стихи и готовить обед (плохой). Вот от этих «плохих» обедов и тяжелой московской жизни руки и были не холеные, а рабочие. Платье на ней было какое-то очень дешевое, без всякой «Элегантности». Как женщина Цветаева не была привлекательна. В Цветаевой было что-то мужественное. Ходила широким шагом, на ногах — полумужские ботинки (особенно она любила какие-то «бергшуэ»).. [\[141\]](#)

Помню, в середине разговора Марина Ивановна неожиданно спросила: «Вы любите ходить?» — «Люблю, много хожу». — «Я тоже. Пойдемте по городку?» И мы вышли из пансиона. Пошли, помню, по Кайзералле, шли долго, разговаривая. Я больше слушал рассказы о Москве, о тяжелой жизни там. Я предложил зайти в кафе. Зашли. Кафе было странное — большое, белое, с гремящим негритянским джаз-бандом. Негры в Берлине были редкостью. Откуда они сюда залетели?

В кафе мы просидели, проговорили долго. Марина Ивановна прочла мне свои последние стихи. Видимо, она была внимательный и наблюдательный собеседник. Во всяком случае, она открыла у меня какой-то жест, о котором я не имел понятия. Оказывается, слушая ее, я

иногда проводил рукой по волосам. Этот жест Марина Ивановна мне «вернула», извинившись «за мечь»; я блондин, а в стихотворении, присланном мне, она окрасила мои волосы в «воронову» мать:

Вкрадчивостью волос,  
Вгладь и в лоск,  
Оторопью продольной  
Синь полуночную масть  
Воронову. Вгладь и власть  
Оторопи вдоль — ладонью.

Это (не Бог весть какое) стихотворение я опубликовал в «Новом журнале» в письмах ко мне Цветаевой из Праги в Берлине. Оно вошло и в последнюю зарубежную книгу Цветаевой «После России».

С Мариной Ивановной отношения у нас сложились сразу дружеские. Говорить с ней было интересно обо всем: о жизни, о литературе, о пустяках. В ней чувствовался и настоящий, и большой, и талантливый, и глубоко чувствующий человек. Да и говорила она как-то интересно-странно, словно какой-то стихотворной прозой, что ли, каким-то «белым стихом».

Помню, она позвала меня к себе, сказав, что хочет познакомить с только что приехавшим в Берлин ее мужем Сергеем Эфроном. Я пришел. Эфрон был высокий, худой блондин,<sup>[142]</sup> довольно красивый, с правильными чертами лица и голубыми глазами. Отец его был русский еврей, мать — русская дворянка Дурново. В нем чувствовалось хорошее воспитание, хорошие манеры. Разговор с Эфроном я хорошо помню. Эфрон весь был еще охвачен белой идеей, он служил, не помню уж, в каком полку, в Добровольческой армии, кажется, в чине поручика, был до конца на Перекопе. Разговор двух бывших добровольцев был довольно странный. Я в белой идее давно разочаровался и говорил о том, что всё было неправильно зачато, вожди армии не сумели сделать ее народной и потому белые и проиграли. Теперь я был сторонником замирения России. Он — наоборот, никакого замирения не хотел, говорил, что Белая армия спасла честь России, против чего я не возражал: сам участвовал в спасении чести. Но конечной целью войны должно было быть ведь не

спасение чести, а — победа. Ее не было. Эфрон возражал очень страстно, как истый рыцарь Белой Идеи. Марина Ивановна почти не говорила, больше молчала. Но была, конечно, не со мной, а с Эфроном, с побежденными белыми. В это время у нее был уже готов сборник «Лебединый стан»:

Не лебедей это в небе стая:  
Белогвардейская рать святая  
Белым видением тает, тает:  
Старого мира последний сон:  
Молодость — Доблесть — Вандея — Дон...

И как это не странно, но всем известно, чем кончил апологет белой идеи Сергей Эфрон в эмиграции. Вскоре он стал левым евразийцем (не с мировоззренческим, а политическим уклоном, как князь Д. Святополк-Мирский,<sup>[143]</sup> П. Арапов<sup>[144]</sup> и др.), потом — председатель просоветского «Союза возвращения на Родину» и ультрасоветский патриот.

Бывая у Марины Ивановны, я видел ее дочь Алю. Аля производила впечатление странного ребенка, какого-то диковатого, держалась с людьми молчаливо, неприветливо. Она вернулась в Советскую Россию еще раньше Эфрона и отбыла там ни за что ни про что большой срок в концлагере.

Когда Марина Ивановна (в тот же год нашей встречи) переехала из Берлина в Мокропсы, под Прагой, у нас завязалась переписка. Но длилась не очень долго. В «Новом журнале» я опубликовал некоторую часть ее писем, считая, что другие печатать не нужно. Марина Ивановна вечно нуждалась в близкой (очень близкой) дружбе, даже больше — в любви. Этого она везде и всюду душевно искала и была даже неразборчива, желая душевно полонить всякого. Я знаю случай, когда она нежно переписывалась с одним русским берлинцем, которого никогда в жизни не видела. Из этой переписки ничего, разумеется, кроме ее огорчений, не вышло. Мне писать Марина Ивановна стала довольно часто. Я отвечал, но, вероятно, не так, как она бы хотела. И в конце концов переписка оборвалась после письма

Марины Ивановны, что больше она писать не будет, ибо чувствует, что мне отвечать ей в тягость.

Но одно время Цветаева попросила, чтобы я пересылал ее письма в Москву для Бориса Пастернака (прямо писать не хочет, чтобы письма не попадали «в руки жены»). Борис Пастернак тогда приезжал в Берлин, тоже сидел с Эренбургом в Прагердилле. В Берлине, в издательстве «Геликон», он выпустил «Темы и вариации», «Сестру мою — жизнь». Марина его никогда не видела. Но полюбила страстно и как поэта, и ей казалось, что любит его и как женщина. Цветаева написал тогда (в Чехии) громокипящий панегирик Пастернаку — «Световой ливень». Письма, которые она присылала для Пастернака, я должен был отсылать своему знакомому в Москве, верному человеку, а он — передавать по назначению. Причем Марина Ивановна просила, чтобы я письма обязательно читал. Я читал все эти письма. Они были необычайным литературным произведением, причем эта литература была неистовой. Помню, в одном из писем Марина Ивановна писала, что у нее родился сын (это Мур) и что этот Мур родился от Пастернака (которого Марина не видела,<sup>[145]</sup> но это неважно, Цветаева любила мифы, неистовства, и расстояние тут роли не играло).

Марк Слоним, который очень дружил с Мариной в Праге, в воспоминаниях о ней рассказывает о том же вечном неутолении любви, о жажде дружбы до конца. Дружа со Слонимом, Марина внутренне требовала от него большего, чем дружба, а Слоним... Слоним этого дать ей не мог: он женился на очень милой, интересной женщине Татьяне Владимировне. Это — как «измена» — вызвало взрыв негодования Марины, вылившийся в блистательное, по-моему, самое замечательное ее стихотворение «Попытка ревности»:

С помощью бессмертной пошлости  
Как справляетесь, бедняк?...

Думаю, что в Марине было что-то для нее самой природно-тяжелое. В ней не было настоящей женщины. В ней было что-то андрогинное, и так как внешность ее была непривлекательна, то создавались взрывы неудовлетворенности чувств, драмы, трагедии.

После того как наша переписка прекратилась, я увидел Марину Ивановну уже в Париже в 1933 году. Она давала вечер своей поэзии. Мы с женой пошли. Я уже знал, что Эфрон ультрасоветский, поэтому не хотел встречаться и с Мариной. Но мы все-таки встретились, когда после вечера случайно вместе выходили на улицу. Марина Ивановна мне сказала: «Приезжайте как-нибудь к нам, я буду рада», — и дала адрес. Но я не поехал к ней, ибо не хотел встречаться с Эфроном.

Что сказать о Цветаевой? Цветаева, конечно, большой поэт и большой образованный, блестяще умный человек. Общаться с ней было действительно подлинным платоническим наслаждением. Но иногда у Марины Ивановны, как у всякого смертного, проскальзывали и другие, сниженные черты. Когда-то Адамович, полемизируя с ней, написал, что в творчестве Цветаевой есть что-то не вечно-женственное, а вечно-бабье. Не знаю, можно ли было такую вещь написать, в особенности Адамовичу. Но не в творчестве, а в жизни у Цветаевой вырывалась иногда странная безудержность. А в творчестве своем Цветаева, наоборот, была, я бы сказала, мужественна. Женственные ноты в ее лирике прорывались нечасто, но когда прорывались, то прорывались прекрасно. Я больше всего любил лирику Цветаевой, а не ее резко-романтические, головные поэмы (хотя Белый восхвалял именно ее «малиновые ритмы»).

Ну, вот. Конец. Осталась у меня в памяти Цветаева как удивительный человек и удивительный поэт. Она никак не была литератором. Она была каким-то Божьим ребенком в мире людей. И этот мир ее со всех сторон своими углами резал и ранил. Давно, из Мокропсов она писала мне в одном письме: «Гуль, я не люблю земной жизни, никогда ее не любила, в особенности — людей. Я люблю небо и ангелов: там и с ними я бы сумела». Да, может быть.

**Евгения Каннак**<sup>[146]</sup>

## **ВОСПОМИНАНИЯ О «ГЕЛИКОНЕ»**

### **Отрывок**

Берлин, 1922 год: это была эпоха, когда русские писатели, оказавшиеся за границей, стояли еще на перепутье и не знали: возвращаться ли им домой, оставаться ли на чужбине?

Двери не были еще на запоре, железный занавес еще не опустился: одни литераторы приезжали — большей частью под предлогом лечения — и уезжали обратно, другие обосновывались окончательно за границей. Впрочем, и это «окончательно» сводилось в их представлении к сроку, не превышавшему в худшем случае пяти лет. Слово «навсегда» еще не было произнесено.

Русские издательства развивали тогда в Берлине кипучую деятельность, которую Виктор Шкловский назвал даже как-то «издательским бешенством матки». Не случайно, конечно, центром издательского дела оказался именно Берлин: это объяснялось галопирующей инфляцией, дешевизной бумаги, дешевизной рабочих рук. Но такими практическими соображениями прикрывался фантастический в сущности характер самой деятельности: книги не пропускались в СССР, читательский же спрос за границей покрывался довольно быстро. Но на складах непрерывно, неумолимо росли кучи новых книг, писатели продолжали писать, а издатели издавать.

На углу двух таких улиц берлинского Вестерна возникло, кажется, в конце 1921 года издательство «Геликон», во главе которого стоял Абрам Григорьевич Вишняк.

Я только что окончила немецкую школу, когда, заменяя заболевшую секретаршу, на время поступила в «Геликон». В этой угловой светлой лавочке мне привелось познакомиться (летом 1922 года) с русской литературой на чужбине: сюда приходили Белый и Шкловский, Цветаева и Пастернак, Ремизов, Гершензон, Эренбург и еще много народа поменьше, — особенно из начинающих поэтов.

Из других посетителей «Геликона» хочется особенно отметить Марину Цветаеву. Молодая, с гладкими стриженными волосами и

челкой на лбу, скромно одетая, всегда в коричневом или темно-синем — она приходила в издательство, ведя за руку свою дочку Алю, тогда толстенькую девочку лет восьми или девяти. Эта Аля, выросшая в писательской среде, всеми балованная, под влиянием матери тоже писала: вела дневник, который Марина Цветаева читала нам вслух с нескрываемой гордостью. Из Алиного дневника мне запомнилось описание «Геликона»: «Вроде приюта, куда ходят старушки за пенсионом». Старинное слово «пенсион» умиляло Марину Цветаеву (я подозревала, впрочем, что именно она внушила его дочке), в описании же издательства была доля истины: писатели ходили туда главным образом в надежде на проблематичный аванс.

Ко мне лично Марина Цветаева была очень добра: она жалела меня за то, что я занималась таким, по ее мнению, скучным делом — перепиской рукописей на машинке, не подозревая, что я почитала для себя честью вращаться в орбите этой странствующей планеты: русской литературы в изгнании.

Помню, когда я переписывала новую рукопись Эренбурга («Тринадцать трубок») и пожаловалась как-то Цветаевой на его неразборчивые каракули, она сказала мне очень серьезно: «А вы бросьте, не переписывайте. Это вообще стыд, что такую девочку, как вы, заставляют читать непристойную пошлятину».

Эренбург жил тогда недалеко от «Геликона», на Прагер-Плац, и забредал к нам почти ежедневно. Угрюмый, молчаливый, он был очень некрасив; к старости — много лет спустя мне случилось встретиться с ним в Париже — стал гораздо благороднее; но в те далекие годы, со своей лохматой, нечесаной шевелюрой, сутулостью, вечно опущенной головой и холодно-неприветливым выражением, он не внушал нам с Бубриком особой симпатии. В ответ на мои жалобы он брал у меня рукопись, одним духом прочитывал неразборчивую длинную фразу (начало которой медленно от меня ускользало, пока он доходил до конца) и, не прибавив ни слова, отправлялся в кабинет к Вишняку.

Марина Цветаева дала несколько статей в «Эпопею» — среди них была и статья о Пастернаке со знаменитой фразой: «Пастернак похож на араба и на его коня». Она высоко ценила поэта и была с ним очень дружна. Сам Пастернак, приехавший тогда ненадолго в Германию, тоже заглядывал к нам: высокий, стройный молодой человек со смуглым скуластым лицом и прекрасными темными глазами,



сидевшими глубоко в орбитах. Он был тогда автором всего лишь нескольких сборников, но многие мои сверстники — и я в том числе — знали наизусть его стихи, особенно из сборника «Сестра моя жизнь», и всегда удивлялись, что старшему поколению они казались непонятными.

**Валентина Чирикова** [\[147\]](#)

## **КОСТЕР МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ**

Годы 1922 и 1923-й. Наша семья живет в дачной местности Вшеноры, недалеко от Праги. На том же берегу притока Влтавы, в соседнем поселке, носящем ироническое название Мокропсы, — семья Цветаевой-Эфрон. Мы часто встречаемся. Цветаева дружит с отцом, читает ему свои стихи и поэмы. Отец восторгается ее даром творить квазинародную речь, хотя это словотворчество подчас и называет ребусами.

Моя сестра, Людмила Евгеньевна, работает в Берлине книжным графиком при русских издательствах. Там она и познакомилась с Цветаевой на ее пути через Берлин в Чехию. Потом исполняет обложку и графические украшения для ее поэмы «Царь-Девница» и ряд поручений, связанных с изданием ее книг. Между ними и завязывается переписка. Взаимное понимание связывает их нежной дружбой. Из Берлина сестра уезжает в Париж, а когда там поселяется Цветаева, сестра — уже за океаном. Переписка их обрывается.

Письма Цветаевой к сестре раскрывают весь трагизм ее жизни в эмиграции. В те годы ценителей ее творчества было не так уж много, а теперь меня часто называют счастливой: «Вы встречались с Цветаевой». Это побуждает меня рассказать о своих впечатлениях от этих встреч, какой я помню Марину Цветаеву и каким я вижу ее внутренний облик.

У Цветаевой был собственный стиль одежды и прически: платье-рубашка, перевязанная поясом простым узлом; волосы — прямоугольно стриженные, не для украшения лица, а как оконный пролет в мир; туфли-вездеходы. И все так: чтобы не мешало, не отвлекало.

Она любила ходить по береговым горным тропинкам одна или вдвоем. Я часто разделяла ее любовь к этим «уводящим» тропинкам. Небольшая и легкая фигура Марины Цветаевой, шагающей решительно и ритмично, словно с прицелом на большие расстояния, — это силуэт юноши, странника-послушника. Она и была послушником своего призвания:

Быть мальчиком твоим светлоголовым, —  
О, через все века! —  
За пыльным пурпуром твоим брести в суровом  
Плаще ученика.  
Улавливать сквозь всю людскую гущу  
Твой вздох животворящ...

*(Стихотворение «Ученик», 1921. Сб. «Ремесло».)*

С какими бы людьми Марина Цветаева ни встречалась, она искала в них «вздох животворящ» или сразу относила к людской гуще. У Цветаевой было два взгляда и две улыбки. Один взгляд — внутрь и в суть и — улыбка разгадка; улыбка мгновенно сотворенному образу. Перед ее взглядом человек представал внутренне обнаженным: она мгновенно составляла как бы формулу его человеческой сути. Как будто стенографически записывая за жизнью, Цветаева мимоходом высказывала вслух свои мысли-формулы: несколько отрывисто брошенных слов, но как много в себе вмещавших! При этом в ее голосе слышался умный смешок и как бы удары молотка, мимоходом забивающего гвоздь там, где нужно.

Боль человеческую от неприятия жизненной правды, когда она в сущности — ложь. Цветаева чувствовала в других людях как ей родственное. Когда я уезжала из Чехии, она подарила мне на вокзале свой сборник стихов «Ремесло» с такой надписью:

*«Валентине Евгеньевне Чириковой — моей сестре в болевом, т. е. единственно верном и вечном, — эту, как говорят, радостную книгу, а по мне — совсем не книгу! — от всего сердца*

*Марина Цветаева.*

*Прага, 15 октября 1923 г. Вильсоновский  
(хороший) вокзал».*

В Париже я посетила Цветаеву в 27-м году. Вид у нее был озабоченный и усталый, у С. Я. Эфрона — приподнятый,

возбужденный надеждой на возвращение на Родину. С ним я и беседовала. За окном, выходящим на замкнутый стенами двор, скучно болталось мокрое белье. Маленький сынишка Цветаевой, устроенный в углу дивана, сидел так тихо, что я заметила его только тогда, когда он громко изрек: «Народу — много, денег — мало» (совсем по-цветаевски!).

Творцы со счастливой жизненной судьбой стоят ногами на земле, а головой уходят в небо. Но Марина Цветаева крепко стоять на земле не умела, что сама сознавала и чего не хотела, ибо презирала все минутное и злободневное. В этом, мне думается, — исток трагизма ее жизненной судьбы. Цветаеву можно сравнить с Ван Гогом по одержимости творчеством и неуклонной ему преданности. Ван Гог жил в нищете и был презираем обывателями как бездельник и запойный рисовальщик. Оба они не хотели и не умели жить ни по законам мещанства, ни по законам буржуазии. Оба они страдали от унижений со стороны «благополучных», но изменить своему призванию, изменить себе они не могли.

В чешском поселке Цветаева терпела неустроенность жизни, презрение добропорядочных хозяев, косившихся на ее неспособность быть как все они: уметь чисто и быстро вымыть пол, старательно приготовить обед, не упустить случай подработать деньги. Они ополчились на нее за скверный уход за жилищем, из которого стали выселять ее судом. А в этом жилище главным персонажем был грубо сколоченный стол. Вопль страдания слышится в ее письмах к моей сестре, в ее вере в тот час, когда «будут судимы судьи», презиравшие ее, в ее вере в день оправдания и ликования, вере в свое бессмертие.

Как-то в разговоре со мной по поводу самоубийства Цветаева высказалась так: «Одному человеку не хватает одной жизни, другому — ее слишком много». Почему Цветаева, эвакуированная в Елабугу во время войны, покончила с собой?.. Только разгром всего, чем она дорожила, мог дать ей страдание, которое она не смогла пережить, и безмерное унижение не захотела переносить.

А творчество? Разве оно возможно, когда фашисты идут наглым победным маршем, готовые затоптать все русское прошлое народа, его настоящее, его будущее!

Творец умирает первым. Пророчески звучат конечные строки стихотворения Цветаевой «Ученик», напечатанного в книге

«Ремесло»:

(О, этот стих не самовольно прерван!

Нож чересчур остер!)

...И — дерзновенно улыбнувшись — первым

Взойти на твой костер.

Дмитрий Мейснер [\[148\]](#)

## ИЗ ЗАПИСОК ЭМИГРАНТА

Вспоминаю замечательную русскую поэтессу, жившую в Чехии, потом в Париже, — Марину Цветаеву. На редкость безрадостно сложилась жизнь этой, по мнению всех вдумчивых и авторитетных людей, необыкновенно одаренной женщины. Она была женой моего близкого пражского приятеля С. Я. Эфрона, высокого истощенного человека, с подчеркнута эффектной, интеллигентной внешностью, с мягкими, как бы безвольными движениями. Уже на заре эмиграции он числился человеком прогрессивным, а потом в Париже стал совсем советским человеком.

Марина же Цветаева в начале эмиграции еще упорствовала, еще читала и печатала иногда некоторые свои стихи, говорящие о преданности белой армии, так она была настроена тогда. Вскоре это увлечение прошло начисто. Оба они, и Цветаева, и Эфрон, были люди непрактичные и не умели даже в минимальной степени организовать быт. Жили они под Прагой в душной, неряшливой комнатке, в сущности в настоящей бедности, иногда почти нищете.

В той же Праге кончал тогда, в конце двадцатых годов, русский юридический факультет молодой человек, весьма обходительный и ловкий — К. Родзевич, умевший произносить на эмигрантских собраниях шаблонно-сладкие, но недурно склеенные речи. На разного рода юбилеях он был неизменным оратором, правда, когда не выступали первые номера. Он близко подошел к семье Эфронов и на многие годы стал близким ее другом.

На литературных вечерах, устраивавшихся под Прагой, в городке Збраслав, Марина Цветаева впервые прочла также отрывки из своих воспоминаний, представляющих, по общему тогда признанию, исключительные по блеску страницы русской мемуарной прозы. Женщина она была тогда молодая, но вся какая-то нескладная. Глаза ее смотрели всегда так, что видно было, как нетрудно им разгадать нового человека. Нрава она была нелегкого, прежде всего для самой себя.

Цветаева с семьей, а потом и Родзевич уехали в Париж, и я потерял было их след, пока не прочел в журнале «Современные записки» первые страницы воспоминаний поэтессы. В литературной жизни эмиграции это было большое событие, откликнулись на них и на родине. Потом я узнал, что Эфрон и Родзевич приняли участие в испанской войне на стороне демократии, так же как и способный молодой поэт эмиграции А. Эйсер.

А затем газеты сообщили, что Марина Цветаева с мужем и детьми вернулась на родину.

**Г. И. Альтшуллер**<sup>[149]</sup>

## **МАРИНА ЦВЕТАЕВА: ВОСПОМИНАНИЯ ВРАЧА**

В 1922 г. Марине Цветаевой было разрешено покинуть Советскую Россию, и она с маленькой дочерью Алей приехала через Германию в Прагу в поисках своего мужа Сергея Эфрона. Марина потеряла с ним связь в годы революции, когда он был офицером Белой армии. После поражения Белого движения Эфрон эмигрировал в Прагу, как и тысячи других солдат и офицеров разгромленной армии. Президент Чехословакии Т. Г. Масарик<sup>[150]</sup> предоставил им убежище, при этом студенты — медики, юристы и инженеры — получили возможность завершить образование. Чешское правительство предложило покрыть все расходы, связанные с их обучением, проживанием, обеспечением их продовольствием и одеждой вплоть до окончания ими учебного заведения.

Марина Цветаева воссоединилась с мужем в 1922 году в Праге. Они поселились в окрестностях города, в полутора часах езды на поезде, в небольшой и довольно бедной деревне под названием «Мокропсы» («Мокрые псы»).

Я прибыл с семьей в Прагу в том же году, и мы обосновались в той же деревне. Там я впервые и встретился с ней, уже хорошо известным поэтом, чьи книги получили в Москве высокую оценку Пастернака и Мандельштама.

В то время в Мокропсах жили всего лишь шесть или семь русских семей, но впоследствии число их заметно возросло. В 1922–1924 годах мы виделись с Мариной только случайно, так как вскоре после моего приезда я стал штатным сотрудником Чешской университетской клиники внутренних болезней (я изучал медицину в Московском университете)..<sup>[151]</sup>

Как и многие, кто учился или работал в Праге, я уезжал из деревни и рано утром и возвращался к семье поздно ночью с последним поездом. По воскресеньям, однако, я оставался в деревне на целый день, и в скором времени ее русское население стало



обращаться ко мне по поводу различных медицинских проблем, касавшихся преимущественно их детей. В деревне жил практикующий врач, но он был местным и говорил только по-чешски, и как бы там ни было, ни один русский не пошел бы к нему за медицинской помощью.

Другой русский доктор, живший в Праге, — прелестная женщина и опытный врач-терапевт — работал при Комитете, который занимался русскими беженцами. Но русские обитали многих деревнях, раскиданных вокруг Праги, и ей удавалось приехать в Мокропсы только в редких и экстренных случаях. Вот и получилось так, что посещать русских в нашей деревне пришлось мен, и мои воскресные обходы приобрели постоянный характер.

Мужчины учились или работали в городе. Женщины, особенно те, у кого были маленькие дети, оставались дома. Они постепенно познакомились друг с другом, делая покупки и гуляя с детьми в полях или близлежащем лесу. Я виделся с ними во время моих «воскресных обходов», а также на небольших эмигрантских собраниях. Там я встречал и Марину Цветаеву, с которой довольно хорошо познакомился. Это была замечательная молодая женщина, целиком поглощенная своей литературной деятельностью, созданием и публикацией ярких и оригинальных стихов, перепиской с друзьями-поэтами в России, в Германии и во Франции. В Праге у нее было несколько друзей в узком кругу русской интеллигенции и литераторов, но большую часть времени она избегала общения и проводила за своим рабочим столом.

Мне запомнился эпизод, который показывает ее резко независимый характер. Однажды жарким летним вечером мы ужинали с группой молодых друзей. Сидевшие за столом дамы сняли туфли, Марина тоже. Под стол забралась маленькая девочка и стала менять местами обувь. Приблизившись к Марине, она поползла дальше, не тронув ее туфель. Когда мы встали из-за стола, то были и смущение, и улыбки, и сердитые замечания. Только Цветаева оставалась сидеть спокойной и невозмутимой. Все посмотрели на нее, и кто-то спросил: «Марина, почему она не переставила ваши туфли?» — «Все очень просто, — ответила Цветаева, показав булавку. — Когда она подползла ко мне в первый раз, я уколола ее булавкой в ногу. Она не сказала ни слова и только посмотрела на меня, а я — на нее, и она поняла, что я

могу уколоть еще раз. Больше она не трогала моих туфель». В этом была Марина!

После 1922 года судьба ее мужа драматически изменилась. Бывший офицер Белой армии, страстный монархист, державший на своем столе портрет царя и царской семьи, религиозный человек, у которого на стене висела икона, он неожиданно стал столь же ревностным приверженцем Советов и сторонником коммунистов. Вскоре он был вовлечен в запутанную и темную политическую историю, произошедшую во Франции, после чего бежал в Советскую Россию, где и закончил свои дни. Марина не была причастна к его делам. Политика ее интересовала мало. К огромному удивлению всех, кто ее знал, она страстно влюбилась в одного русского эмигранта, с которым рассталась после нескольких месяцев бурных отношений. Этот человек покинул ее..<sup>[152]</sup>

Шел 1924 год. Она была беременна.

Она не хотела называть ребенка — если бы родился мальчик — в честь его отца, своего мужа. Она дала сыну имя Георгий, но всегда звала его «Муром», ласкательным именем, которое не имело никакого отношения ни к кому из членов ее семьи.

Она писала 10 мая 1925 года другу: «Борис — Георгий — Барсик — мур. Все вело к Муру. Во-первых, в родстве с моим именем, во-вторых — Kater Murr — Германия, в-третьих, само, вне символики, как утро в комнату. Словом — Мур». Далее в том же письме она добавляет: «Не пытайтесь достать иконку для Мура. (Кстати, что должно быть на такой иконке? Очевидно — кот? Или старший в роде — тигр?» Kater Murr — это знаменитый незавершенный роман Э. Т. Гофмана, созданный в 1819–1921 гг., полное название произведения — Житейские воззрения кота Мурра с присовокуплением макулатурных листов с биографией капельмейстера Иоганнеса Крейсера. Мурр — это ученый кот, который записывает свои воспоминания на оборотной стороне листов с автобиографией его хозяина.

Марина переносила беременность нормально и в первый раз показала доктору в декабре 1924 года. «Она посоветовала мне, — писала Цветаева после визита к врачу, — возможно больше стирать белья для укрепления мускулов живота». Еще ей предложили лечь в лечебницу «Государственная охрана матерей и младенцев». Но это

напоминало ей о советских больницах, и она содрогалась при мысли о большой общей палате с тридцатью младенцами, чешских докторов и чешском языке, запрете курить, возможном затягивании пребывания там с девяти положенных дней до двадцати девяти. «Во что я обращаюсь? Подумать жутко» (письмо от 3 декабря 1924 г.).

Вскоре после этого, в один воскресный день, она пришла посоветоваться со мной и сказала: «Вы будете принимать моего ребенка».

Удивленный ее неожиданным заявлением, я попытался возразить ей, что этого делать не буду, что ничего об этом не знаю, но она, улыбаясь, тихо повторила: «Вы будете принимать моего ребенка», — не слушая ответ: «Нет, я не буду». На этом мы и расстались.

В дальнейшем, при наших случайных встречах, она не раз повторяла, что ее ребенка буду принимать я. Мое решительное «нет» не оказывало на нее никакого воздействия.

К тому времени Цветаева с мужем и дочерью переехала в соседнюю деревню Вшеноры, которая была и больше и лучше Мокропсов. Эти деревни были разделены густым лесом, протяженностью около двух километров. В зимнюю пору — а зима в Праге длинная и суровая, с глубоким снегом, который неделями лежит на дорогах и тропах, — добраться до Вшенор через лес было целым путешествием, а обычная дорога удваивала путь.

Это случилось ночью в последний январский день 1925 года, около девяти часов, когда уже стемнело. Шел снег — страшная метель, занесшая все снегом. Из деревни, где жила Цветаева, ко мне прибежал чешский мальчик. Ее муж в тот день отсутствовал, дочь тоже уехала с отцом. Марина была одна.

Мальчик вбежал в комнату и сказал: «Пани Цветаева хочет, чтобы вы немедленно к ней пришли, у нее уже схватки! Вам следует поторопиться, это уже началось». Что я мог сказать? Я быстро оделся и пошел через лес — снег был мне по колени — в яростную бурю.

Я открыл дверь и вошел. В тусклом свете единственной электрической лампочки в углу комнаты были видны кипы книг, достававшие почти до потолка. Скопившийся мусор был сметен в другой угол. Марина лежала на постели, пуская кольца дыма, — ребенок уже выходил. Она весело меня поприветствовала: «Вы почти опоздали!» Я оглядел комнату в поисках какой-нибудь чистой ткани и

кусочка мыла. Не оказалось ничего: ни чистого носового платка, ни тряпки. Марина лежала в кровати, курила и говорила, улыбаясь: «Я же сказала вам, что вы будете принимать моего ребенка. Вы пришли — и теперь это не мое, а ваше дело».

Чешский врач отлучился из деревни. Местная повивальная бабка принимала роды в пятнадцати километрах отсюда, за горами. Она смогла бы вернуться только на следующий день. Выхода не было. Я позвал жену<sup>[153]</sup> известного писателя Чирикова, который жил по соседству и которого я хорошо знал, умолял ее прийти мне помочь. «Приходите как можно быстрее, принесите какого-нибудь чистого белья из дома, вскипятите чайник!» Когда белью прокипятилось, я приготовился к предстоящей работе.

Все шло достаточно гладко. Однако ребенок родился с пуповиной, обмотанной вокруг шеи так плотно, что едва мог дышать. Он был весь синий. В письме к другу, написанном спустя две недели после родов, Цветаева рассказывала: «А знаете ли Вы, что он родился в глубоком обмороке? Минут двадцать откачивали. (В транскрипции Лелика, наслушавшегося чего не следует: „Родился в лассо!“) Если бы не воскресенье, не Сережа дома, не Альтшулер<sup>[154]</sup> — погиб бы. А может быть и я. Молодой Альтшуллер по-настоящему нас спас. Без него — никого понимающего, только знакомые...» (письмо от 14 февраля 1925 г.).

Я отчаянно пытался восстановить дыхание младенца, и наконец он начал дышать и из синего превратился в розового. Все это время Марина курила, не проронив ни звука, и не сводила глаз с ребенка, меня и госпожи Чириковой. Мальчик теперь дышал спокойно; и только я почувствовал, что опасность миновала, как вошла повивальная бабка. Взглянув на меня, она суровым тоном спросила: «Что здесь происходит?» От усталости мне не хотелось с ней объясняться. «Послушайте, — сказал я ей, — приступайте к делу. Никаких денег я за это не беру. А вам заплатят, это все ваше. Примите ребенка». Она посмотрела на новорожденного и произнесла: «Все неправильно, пуповина и все остальное. Вы не знаете, что вы делали!» — «Хорошо, сделайте лучше, — перебил я. — Возьмите!» Она взяла у меня ребенка: «Дышит он нормально, но выполнено было все неправильно». Она все еще сердилась, но гнев ее проходил. Марина продолжала курить, бледная и измученная, но несомненно счастливая,

глядя на ребенка, которого принесла ей акушерка. Через час или около того я отправился домой через заснеженный лес.

Я вернулся на следующий день, чтобы осмотреть ребенка, и в дальнейшем делал это каждое воскресенье в течение длительного времени. В другом письме (от 10 мая 1925 г.) Марина писала: «Мур перед каждой едой получает по чайной ложке лимона, живого, без сахара, а есть пережаренную дочерна муку на масле, разведенную в 200 граммах воды и молока (125 воды, 75 молока — разовая порция). Это — система германского профессора Черни,<sup>[155]</sup> спасающая в Германии во время войны сотни тысяч детей. Ведет Мура Альтшулер, с гордостью и любовью. Навещает каждое воскресенье, выстукивает, выслушивает, производит какие-то арифметические выкладки — расписание еды на неделю (мука и масло постепенно повышается), помнит каждый предыдущий вес. У меня временами безумное желание просто взять и поцеловать ему руку — что я еще могу?! Денег он не берет — но — 1) за ним по пятам, как луна за солнцем (или землею? забыла) ходит А. И. Андреева, влюбленная в Мура, а всякий поцелуй, на глазах, теряет, 2) боюсь смутить: он руки никому не целует. Но есть у него две девочки — Катя (4 года) и Наташа (1 ½ года, тоже Черни) — если кто-нибудь из знакомых случайно что-нибудь для этого пола и возраста предложит, нет: если у кого-нибудь из знакомых неслучайно можно что-нибудь вытянуть — тяните. Семья нищая, от такого бескорыстия тяжело».

Рос мальчик быстро и стал здоровым ребенком, обожаемым матерью и ее друзьями. Последний раз я видел его, когда ему еще не было и года. В то время Марина переехала во Францию, где провела последующие четырнадцать лет. Георгий пошел в школу и вскоре принялся ревностно изучать литературу, музыку и искусство. В 1936 году его двадцатилетняя<sup>[156]</sup> сестра Аля покинула семью и Францию и вслед за отцом вернулась в Советскую Россию. Марина осталась во Франции одна с юным сыном, в изоляции от русских эмигрантских кругов, а также в крайних трудностях, финансовых и моральных. В 1939 году она получила советскую визу и вместе с сыном вернулась в Москву.

Спустя два года, в августе 1941 года, ее жизнь трагически оборвалась.

Война продолжалась. Молодой Георгий Эфрон попал на фронт. «Прощай, литература, музыка, школа», — писал он своей сестре. Под письмом стояла подпись «Мур». Как солдат он показал себя мужественным и бесстрашным бойцом, принимал участие во многих сражениях и погиб в июле 1944 года, став одной из тысяч жертв битвы под деревней Друйка на Западном фронте. Ему было всего лишь двадцать лет.

## Екатерина Рейтлингер-Кист<sup>[157]</sup> В ЧЕХИИ

Приехав в Чехию и поселившись за городом, Марина, при ее жизненной неприспособленности, с трудом ориентировалась в чужом городе, с чужим языком, и Эфрон предложил мне встречать ее на городском вокзале (когда ей нужно было приезжать по делам) и сопровождать ее по всем тем местам, куда надо было идти. Когда Марина задерживалась в городе, она ночевала у меня (я жила с сестрой в пригороде, который отразился в ее стихах о пригородах). В такие дни было и чтение стихов, и определение окружающего, и рассказы о прошлом, которые я с восхищением слушала.

Сама я была характера активного, бурно и без размышлений реагируя на окружающее, без той многопланности, которая была у них обоих, всегда готовая помочь и восхититься теми, кого полюбила. Как могла, конечно, неумело (но пылко) комментировала Марину и ее стихи, за что и получила сборник ее стихов с посвящением: «Моему благородному и беспомощному защитнику в г. Праге».

Отношение ко мне было, думаю, неплохое, но с некоторым снисходительным смешком (как поняла впоследствии)..<sup>[158]</sup>

Марина, всегда подтянутая, не по моде, но по-своему одетая (с браслетами на руках и в спортивных полуботинках), выглядела изящнее и острее, чем на фотографиях, всматриваясь близорукими глазами в окружающий ее, чуждый ей мир.

Редкое сочетание несмелости (почти робости) с необычайной гордостью. Я не могла себе представить, чтобы она возмутилась или рассердилась «по-человечески». Чем больше накал несогласия, тем более вкрадчивое выражение и... убийственный отпор тому, что ей «не по духу», а не по духу ей было почти все в то время. Знакомясь, отворачивала голову и едва отвечала. Постепенно (если что-то заинтересовало) голова с профилем оборачивалась en face, но если неприемлемое, то кроткая улыбка (одновременно неуловимо язвительное в ней), и наповал уничтожала собеседника своей репликой — молниеносной, острой, отточенной и часто блестяще парадоксальной. Круг людей, которых она признавала (и которые

ценили ее), был очень невелик. Своим «я» за всех противу всех и остротой выражения она часто раздражала многослойную, но в чем-то монолитную группировку русских в Чехии.

Поклонники и доброжелатели устраивали ее выступления (я помню два среди других).

...Вот стоит она, близоруко оглядывая четь надменным взглядом собравшихся, и читает свои стихи.

Восхищает... Немногих...

После выступления многие знакомые (зная мое восхищение) просили «объяснить», что она хотела выразить?

В быту — абсолютная неустроенность и неуменье одолеть «быт» выражалась в неопишемом хаосе комнат, в которых жила. (Только тетради и стол были священны.) Но эта неустроенность и грязь (при моих поездках к ним) как-то совершенно нас не касались. Мы общались «в другом плане» — полноценно и для меня так интересно.

Мне даже казалось нелепым и несправедливым, что Марина должна была все же что-то готовить и мыть. (Были и комичные случаи несъедобности того, что приготовила.)

Как Марина познакомилась с Тесковыми, я не помню, но эти две пожилые учительницы, особенно Анна Антоновна, восхитившись ею, несмотря на совершенно чуждый им душевный климат Марины, стали ее главной опорой в материальном и бытовом устройстве и знакомстве с чешской интеллигенцией.

Сохранившиеся славянизмы языка, например: «Sidce rusne radosti» — сердце разорвется от радости. «Zivot je krasnu» — жизнь прекрасна или «Ruze tak voni» — роза так благоухает... (сознательная вековая защита от онемечения) и вместе с тем очень «немецкий» дух в быту и общественной жизни (широкую русскую натуру раздражали запреты, ограничения и всяческие «клеточки» — туда нельзя, тут не разрешено и т. д.) мешали многим из нас в сближении с чешской средой.

Впоследствии это совершенно прошло, и многие из нас (в том числе и я) имели много прекрасных чешских друзей, а во время оккупации вместе с ними включались в борьбу с фашистами. В Праге сосредоточились наиболее культурные люди русской интеллигенции, и чешское правительство всячески шло навстречу нуждам русских беженцев. Был даже построен «Профессорский дом» для русских



ученых и профессоров, была предоставлена возможность читать лекции (на русском языке), возникало множество всяких культурных организаций, и мы «варились в собственном соку» под эгидой чешского правительства.

Эфрон в какой-то степени принимал в этом участие, но как-то впустую.

Эфрон вспоминается мне в какой-то мучительной несогласованности всего его внутреннего мира с окружающей обстановкой (хотя многие люди, не менее культурные, как-то сумели найти свое место и встать на ноги).

Эфрона, еще до приезда Марины, мы с сестрой воспринимали: «помочь» (даже не зная, чем и как?).

«Человек с большим шармом, одновременно „страдающие“ глаза, и его рот уже едва сдерживает смех и издевательское настроение».

Он был очень общителен (в противовес Марине). Общался с различными людьми, и его многие любили и ценили, как бы сглаживая ее резкость. Характера очень мягкого (деликатен очень) и скорее слабовольного, был легко уносим очередными фантастическими планами, ничем не кончавшимися. Его мягкотелость оборачивалась в своего рода двуличие при остроте восприятия, и он мог иногда тонко высмеять тех, с кем только что дружески общался. Думая, что так он воспринимал и мое к себе отношение.

Вообще чувство смешного было у обоих необыкновенно развито.

Говорить Эфрон умел и любил много и интересно. Рассказы Марины и Эфрона даже о событиях, в которых я сама принимала участие, были всегда так талантливы, что я, смеясь, замечала: «Не знала, что это было так интересно».

Когда Эфроны переселились в город, они наняли комнату на Smichove — это склон той горы, о которой поэма, <sup>[159]</sup> а на другом склоне этой горы жила я. Гора эта была раньше полигоном военных упражнений во время первой мировой войны. Полузасыпанные траншеи, бугры и ямы, ни одного дерева, ни строения и редкие пешеходы, пересекавшие ее. Ночью — никого. Мы ходили друг к другу через эту гору (она и для меня была «приемной комнатой»). В ней была какая-то первозданная прелесть, никак не вязавшаяся с близкими пригородами долины, о городе забывалось.

В плане наших отношений никаких разговоров о личной их жизни и даже о их делах не было, но многое чувствовалось без слов.

Как я понимала, Эфрон воспринимал Марину настолько над и вне жизни и вместе с тем был так неразрывно с ней связан, что принятые нормы применять к ней было бессмысленно и не к месту.

Я же безоговорочно принимала ее во всем, а ее окончание стихотворения (еще на родине) «Богиня верности, распни рабу»<sup>[160]</sup> воспринимала как автобиографическую данность.

Ко времени рождения Мура и их отъезда моя собственная жизнь отнесла меня далеко от них, и остались только редкие встречи.

Но, когда я ездила в Париж, я неизменно посещала их, и меня больно огорчила еще большая неустроенность Марины, горечь и даже озлобление (чего не было в Чехии), работа Али (вместо образования) и недоброжелательность или полнейшее равнодушие к ее судьбе у окружающих.

Эфрон много и вдохновенно говорил о «новой эре человечества», сравнивал с временами первохристианства. Один из вечеров я провела у «возвращенцев», с интересом слушали их разговоры.

Когда же я узнала, что они собираются ехать в Союз (мы тоже об этом думали), я очень взволновалась за Марину, зная ее отталкивание от всего, что «принято» и обязательно (всегда была против всех), но ее трагедия превзошла все мои страхи.

В это мое посещение (кажется, 1933 г.) я и видела их в последний раз.

Только в Париже Марина оценила все, что получила в Чехии и от чехов, а также их сущность.

Ее прекрасные стихи о Чехии — это дань того, что ретроспективно отложилось в душе.

Родзевича я видала у Эфронов (да и на всяких собраниях). Очень уверенный в себе (чувствовалось, что привык всегда и всех очаровывать), умевший не только голосу, но и глазам придавать соответствующие нюансы (значительные, ласковые или насмешливые). Говорил очень гладко и легко. Я его воспринимала как позера, и что-то от Рудина было в нем.

Характерно, что, когда вся группа возвращенцев, перейдя от слова к делу, решила ехать в Союз, он не присоединился к ним, остался в Париже.

Меня иногда спрашивают: была ли Марина Ивановна верующей? По-моему, определенно — да... [161]

Но, конечно, не в каком-нибудь узкоконфессиональном смысле. Основываю я свое мнение на том, что она с большим уважением относилась к людям, в каком-то смысле посвятившим себя Богу, даже сравнивая их с другими, тоже религиозными, но как бы желавшими соединить свою веру с радостью жизни, что вполне и законно, но что не вызвало ее одобрение по свойственному ей максимализму.

Что еще очень характерно для нее в этом вопросе — это то, что несмотря на ее очень высокое мнение о своем призвании и очень высокое место, на которое она ставила искусство, все же у нее оно четко отделялось от сферы духа в религиозном смысле и не заменяло место Бога. Помню очень четко и ясно одно ее высказывание на эту тему — о том, что поэзия все же, несмотря на ее огромную ценность, не есть высшая и последняя ценность, — она сказала: «У постели умирающего нужен не поэт, а священник».

К этому же относится ее высказывание на одном ее публичном чтении в Париже, на котором она говорила о том, что для нее дороже всего в поэзии. Трудно передать эти мысли своими словами, но точных ее слов, за множеством протекших лет с того времени, — не помню. Она привела как пример одни беспомощные в смысле формы стихи одной знакомой монахини, которые ей дороже самых мастерских и изысканных строк профессиональных поэтов. Они звучали примерно так:

Расточайте безумно и смело  
Вы сокровища вашей души.  
Человечество живо...(??)  
Круговую порукой добра. [162]

Я совершенно точно помню это собрание и то, что она приводила эти стихи как пример того, что ей в поэзии всего важнее ее духовное содержание, а не форма.)

На этом же собрании присутствовал тогда еще совсем молодой поэт Эйснер и даже выступал в обсуждениях, и Марина Ивановна его

благодарила тут же с кафедры: «А Эйснера благодарю за понимание» (от чего он был в полном восторге).

Много позднее, когда я, отчаявшись найти человека для писания текстов религиозных листков для детей, обратилась к ней с просьбой писать их, она очень живо откликнулась, но сказала, что может писать только о том, что сама пережила, и набросала свое переживание: стоя девочкой в церкви, она глядела в окно на ветку дерева — эта ветка очень много выражала, и она хотела идти от нее в своем описании.

На эту тему помню еще один рассказ Марины, когда ее сын был еще мал: «Мур меня спросил (как все современные дети): почему самолет летит, а Бога не встречает?» На это я ему объяснила, что такое «умное небо».

*Конец 1970-х годов*

**Борис Лосский**<sup>[163]</sup>

## **ЧТО МНЕ ВСПОМИНАЕТСЯ**

Имя Марины Цветаевой я впервые услышал в Праге весной 1923 года из уст одной ее яркой почитательницы и как бы ученицы — поэтессы Екатерины Рейтлингер, тогда 23—24-летней студентки архитектуры в Пражской техникуме. Она была талантливой рисовальщицей, с духовным взглядом, обращенным, как у Иеронима Босха, на мир карикатурной чертовщины, в котором она находила мотивы, чтобы иллюстрировать ею же самой вымышленные сюжеты. Все это — будучи по-своему набожной прихожанкой пражского православного собора, как и ее сестра Юлия (будущая послушница о. Сергия Булгакова и монахиня). Пишу об этом, потому что таковым, наверно, был и ее стихотворный — с Цветаевой связанный — мир, с каковым мне познакомиться не довелось.

К концу 1923 года, в результате еще нескольких встреч с Екатериной Рейтлингер, ее многих других высказываний на разные темы и некоторых ситуаций (спешу сказать) чисто психологического порядка, которые уязвили мое 18-летнее самолюбие достоевского Подростка, мое несколько критическое отношение к этой особе выродилось в саркастическую неприязнь, разлившуюся и на предметы ее преклонения, в частности и на Марину Цветаеву: заглазно, потому что я ее тогда еще нигде не встречал.

С такими-то неблагоприятными чувствами мне и довелось узреть в первый раз поэтессу летом 1924 года. Было это в одном из местечек, расположенных на речке Бороунк, в 20—30 километрах от Праги, где русские жили тогда не только летом, но (из-за квартирного кризиса) и зимой. Помню только три их названия: Cernosice, Revnoce i Horni Mokropsy. В одной из этих деревень и жили Эфроны-Цветаевы. Как и в Збраслеве над Влтавой, где долгое время прожила наша семья и еще многие русские пражане, на берегах Бороунки установился обычай собираться для бесед, лекций, игр, спектаклей и концертов. Там это происходило в своего рода *salle des fetes*<sup>[164]</sup> окруженной зеленью, и на их, как и на наши, вечера приходили русские из соседних деревень и даже приезжали из Праги.

Во время антракта одного из таких вечеров, когда еще было светло и компания, в которой находились мы с братом Володей, вышла наружу подышать свежим воздухом, кто-то мне указал на выходявшую из зала на крыльцо Цветаеву. Я увидел в профиль совсем не глупо-самодовольное (как я этого почему-то злостно ожидал), а интересное и умное, если не красивое, лицо. Она смотрела поверх голов спускавшихся по ступенькам людей и как-то «изощренно» улыбалась не то освещенным последними лучами заката листьям деревьев, не то на какую-то свою мысль, только что высказанную или готовую быть высказанной идущему рядом или сзади собеседнику. Впрочем, последняя деталь большого значения, наверное, не имела, потому что, по ее словам, о которых я узнал после, окружающих ее людей она не очень отличала от мебели и прочих неодушевленных предметов. Все это можно было ожидать от «погибшей от гордыни боярыни Марины», как гласило заключение какого-то ее стихотворения,<sup>[165]</sup> где-то с раздражением вычитанного Володи́ей, бывшим большим мизантропом, чем я.

Но большой сдвиг в «доброкачественную» для нас сторону произошел, и у меня и у него, в октябре 1925 (или 26) года, когда мы благоволили пойти на литературный вечер, где выступала как бы «солисткой» Марина Цветаева, читая свою прозу и некоторые стихи. Прозой были страницы — полагаю, свеженаписанные — воспоминаний о другом литературном вечере, состоявшемся лет шесть перед тем, зимою в Москве, по инициативе и под председательством Валерия Брюсова, который явно принял на себя роль Аполлона Мусагета, подобравши для него букет из десяти более-менее молодых поэтесс — явно в честь девяти муз, как догадалась Цветаева. Помню, что в ее повествовании всех слушателей живо позабавил пассаж, относящийся к брюсовскому классицизму: его прогулка с маленьким сынишкой,<sup>[166]</sup> которого он учит различать архитектурные ордера по капителям колонн московских ампирных особняков. Хорошо усвоивший отцовские уроки, мальчуган указывает на песика с загнутым крючком хвостиком и узнает в нем «ионическую собачку». Я мог бы воспроизвести еще многие эпизоды из этого, ею прочтенного и, конечно, опубликованного, очерка, который у меня особенно ярко стоит в памяти еще теперь. 55 лет спустя. Думаю, что уже это является гарантией «добротности» литературного дарования Цветаевой. А

кроме того, хочу сказать, что именно «ионическая собачка» меня задела за живое своим скрюченным хвостиком и сильно поспособствовала моему излечению от глупо сложившегося антицветаевского комплекса. Нельзя было на этом вечере не почувствовать силы и тонкости ее таланта. Помню, что Володя оценил в ее изложении свойственное женскому писательскому таланту изящество мысли и стиля.

Среди продекламированных ею стихов вспоминаются те, которые начинаются вроде так: «Все мы не величества, высочества, сиятельства»,<sup>[167]</sup> и другое со своего рода припевом из слов белогвардейской песни «Марш вперед, трубят в поход»,<sup>[168]</sup> который она произносила в ускоренном темпе, повысив ноты голоса и как бы звукоподражательно. Помню еще: «Москва! Какой огромный странноприимный дом!» — и в том же другом стихотворении что-то о предутреннем часе, когда пробуждаются звонари, и еще что-то о «колокольной груди» Москвы.<sup>[169]</sup>

Во всех этих московских мотивах даже мы, с нашими с отрочества развившимися петербургскими антимосковскими комплексами, не могли не почувствовать чего-то привлекательного и милого для каждого русского человека.

Думаю, что в течение 1926-го или в самом начале 1927 года в жизни семьи Эфронов наступила большая перемена в связи с переездом из Праги в Париж. Туда в это время перебралось также и немало русских из Берлина, в их числе семьи Бердяева и Карсавина. Около каждого из этих философов, которые поселились в Кламаре, образовался круг почитателей и единомышленников. Карсавин в это время очутился во главе обновленного «парижского», удаляющего от «пражского», Евразийства. На это дело нашлись, кажется, какие-то меценаты, и мен думается, что в связи с этой «конъюнктурой», по крайней мере отчасти и со стороны Сергея Яковлевича, а не Марины Ивановны, и состоялся этот переезд семьи Эфронов. Не знаю, был ли Сергей Яковлевич в большой связи с пражскими евразийцами, но в Париже он стал активным членом кламарского кружка нового «евразиарха» (как его называл Володя) Карсавина. Также не знаю, в какой мере Марина Ивановна была близка к евразийским увлечениям своего мужа. Во всяком случае, в карсавинском доме (куда я повадился ходить зимою 27/28 года, перебравшись из Праги в Париж) мне ее



встречать не случилось. Думаю, что все это оставалось за пределами ее эгоцентрического мира.

Со всем этим неовразийским кругом, мы прожили в тесном и дружеском соседстве летние каникулы 1928 года на берегу океана, в Понтайак и Гуаяна.

Помню подаренный ею (Мариной Ивановной) Володе на именины экземпляр недавно перед этим вышедшего сборника ее стихов «После России» с посвящением, датой и указанием места: Понтайак — кириллицей, что меня удивило. А теперь вижу, что это было одним из проявлений ее непреклонного стилистического пуризма, как и ее старая орфография вплоть до фиты и ижицы.

С Мариной Ивановной мы общались немного, хотя на пляже была вся русская компания, и она среди нее. Иногда нам случалось гулять в ее обществе.

Из ее высказываний и рассказов стоит в моей памяти — главным образом — следующее. Вот, например, фрагмент устных воспоминаний о жизни русской колонии в Горних Мокропсах и в Черношицах, году в 1924-м. Там где-то жила тогда семья Евгения Николаевича Чирикова. Жена писателя, Валентина Георгиевна, в молодости актриса, была, как мы позже ее узнали, милейшим и нелепейшим созданием. Говорила с рельефными интонациями и такой же мимикой. Была, однако, тоже не лишена и некоторых мегаломанных заскоков, когда дело касалось, как ей казалось, чести ее дома, русской литературы, коей ее супруг был представителем, России как покровительницы славянства, русской эмиграции как ее подлинного воплощения и прочего подобного. Вот о каком-то недоразумении, связанном с этою чертой характера Валентины Георгиевны, рассказала нам в лицах Марина Ивановна.

Вторым действующим лицом ее повествования была другая милейшая и благороднейшая особа — Анна Антоновна Тескова, человек большой литературной культуры, знавшая теоретически хорошо русский язык и, можно сказать, отдавшаяся служению пражской русской интеллигенции. Наша семья хранит о ней самое дружеское, благодарное воспоминание, а о дружеских ее отношениях и переписки с Мариной Цветаевой имеется целый печатный труд Вадима Морковина (молодого члена пражского «Скита Поэтов» в 30-х годах)..<sup>[170]</sup>



Предполагаю, что из этой переписки явствует многое, относящееся к разным заботам и услугам, оказанным Анной Антоновной Марине Цветаевой, которая, наверно, принимала их с должной признательностью. То же, наверно, можно было бы сказать и о Чириковых, но, как мне кажется (может быть, несправедливо), в мыслях Валентины Георгиевны это была естественная и «должная» дань чехов русской культуре...

Итак, году в 1924-м милейшая Тескова собиралась оказать Чириковым какую-то очередную услугу с помощью какой-то своей приятельницы. Но осуществить это дело не смогла из-за несчастного случая с этой приятельницей, которая упала с велосипеда и сломала себе не то руку, не то ногу. То, как Тескова пришла рассказать об этом помехе, со всеми извинениями, Чириковой, у меня осталось в памяти из рассказа Цветаевой. Она необычайно талантливо и «подлинно» передавала взволнованные интонации и чешский акцент Анны Антоновны, сообщавшей о том, как ее приятельница «упала с колеса и разломилась».

Знание литературы французской было у Цветаевой, должно быть, очень большое. Как-то раз мне случилось вспомнить при ней о какой-то детали романа Гюго «Труженики моря», и она тут же процитировала, должно быть, со всей точностью, пассаж, к которому эта деталь относилась.

Говорили мы как-то относительно процесса стихо- и прозосложения с примерами о рукописях и даже корректных листах поэтов и писателей, таких, как Пушкин, Тургенев и Толстый (можно было бы прибавить и Бальзака), полных зачеркнутыми или переставленными словами и испещренных всякими поправками. На это она сказала (надеюсь, что не искажаю смысла), что именно путем многих переделок стихотворение приобретает характер целостности, как будто оно было создано *d'un bloc*... <sup>[171]</sup>

Это французское выражение она произнесла (на мое тогдашнее ухо) особенно доброкачественно, с «*o fermé*»<sup>[172]</sup> из чего мне стало ясно, насколько у нас, большинства прочих русских, хромает французское произношение.

**Валентин Булгаков** [\[173\]](#)

**МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА**

**(Из неопубликованных записок «Как прожита жизнь»)**

**Прага, 1924**

Сергей Яковлевич Эфрон, молодой человек лет 28-ми, поджарый, немного сутуловатый, с довольно красивым, бледным, типично интеллигентским лицом, без усов и бороды, с темными глазами и приятной улыбкой выразительно очерченных губ, хотя и отличался милым, покладистым характером, умом и литературной образованностью, пожалуй, совсем или долго не выдвинулся бы и не занял бы заметного положения среди множества наводнившей Прагу русской интеллигенции, если бы он не был мужем знаменитости, а именно — очень талантливой поэтессы и своеобразной женщины Марины Ивановны Цветаевой, дочери основателя и директора Музея изящных искусств в Москве проф. И. В. Цветаева. Супруги любили друг друга, жили общими интересами, были неразрывны, — и таким образом Марина Ивановна невольно «вводила» своего мужа во всякое общество, в каком принимали и ее, а ее принимали охотно и с почетом во всяком обществе.

Наше знакомство началось с того, что М. И. Цветаева была избрана вместе со мною и проф. Завадским в состав редакционного комитета задуманного Союзом русских зарубежных писателей литературного сборника. Поэтому, приступив к своей работе в Союзе в качестве его председателя, я сталкивался столько же с ее мужем, членом Правления, как и с нею самой, так что и говорить о них обоих мне удобнее и сподручнее совместно.

Должен сказать, что я очень с этой парой подружился. Молодость ли обоих Эфронов или их литературное развитие, или вольный, смелый полет их мысли, еще не связанной по рукам и ногам принадлежностью к какому-нибудь, ограничившемуся в самом себе, как в крепости, мировоззрению, меня привлекали, тогда я не задумывался об этом. Но мне с Эфроном и Цветаевой всегда было

хорошо, весело, интересно и свободно. Гений Марины (как называл свою жену Сергей Яковлевич) блистал не только в стихах, но и в беседе и в личном общении с людьми, и это, разумеется, также не могло не привлекать меня.

В Правлении Союза С. Я. Эфрон был очень приятен и полезен. Скромный, тактичный, тонкий, хорошо разбирающийся в людях, он подавал, бывало, мнения, ничуть не менее рассудительные и достойные, чем мнения наших стариков. Во всех предприятиях Союза можно было считаться с его добросовестно и охотно предлагаемой помощью.

В совместной работе — общественной с Эфроном, и литературной — с Мариной Ивановной, мы понимали друг друга с полуслова. Может быть, понемногу преклонение мое перед Мариной Ивановной, как перед выдающейся поэтессой и блестяще образованной, острого, мужского ума женщиной (Сафо! Жорж Санд! София Ковалевская!) окрасилось и восполнилось изнутри, незаметно и незнаемо для меня самого, примесью чувства более нежного, более личного, более интимного, — не могу отрицать. Но если и так, то не могло быть привязанности более духовной, более целомудренной, более любовно-бескорыстной, чем эта привязанность моя к необыкновенной женщине. Не знаю, чувствовала ли она ее. Может быть, нет. Но не ошибусь, если скажу, что муж поэтессы внутренне ценил мое отношение к ней, тем более что среди русской пражской грубо-бесцеремонной и «праздноболтающей» толпы ему, — если не прямо, так косвенно, — приходилось то и дело встречаться с нелепыми, предубежденными, поверхностными или завистливо-недоброжелательными отзывами о его жене — писательнице.

Они говорили между собой на «вы»: «вы — Сережа», «вы — Марина». Кому это нравилось, кому нет. Во мне этот своеобразный обычай вызывал почтение.

«...День, в которой я вас не видал, день, который я провел не вместе с вами, я считаю потерянным», — писал временно уехавший из дому Сергей Марине. Эту, и только эту, фразу я совершенно случайно прочел в одном письме Сергея Яковлевича к Марине Ивановне, подняв это письмо на полу кладовой чужой квартиры, откуда я должен был, по просьбе Эфронов, тогда уже переехавших в Париж, выслать им из Чехии чемодан с их вещами... Таким же сильным, постоянным

чувством платила своему мужу Марина Ивановна. И это — несмотря на разницу их политических симпатий и настроений. Эфрон, юношей затянутый в гражданскую войну, участник корниловского «ледяного похода», за границей заинтересовался социалистическими идеями, понял грандиозный характер пережитого Родиной социально-революционного переворота и в журнальчике «Своими путями», издававшемся им вместе с Антиповым, Воеводиным и другими публицистами из молодежи, усердно отмечал все положительное и прекрасное в жизни Советского Союза. Правда, интерес к идеям коммунизма сливался у него с интересом к народившемуся за рубежом учению о «Евразии», но я легко себе представлял, как эти понятия — колоссального СССР и огромной, охватывающей два континента Евразии, сливаются воедино в представлении Эфрона, привыкшего мыслить в рамках или, вернее, в размахе грандиозных национальных идеалов.

Так это было у мужа. Что касается Марины Ивановны, то, при всем своем уме и при всей любви и привязанности к мужу, она оставалась до конца верной прежнему идеалу — любви к старой России, московской России, России Трубниковского переулка,<sup>[174]</sup> в котором она проживала до революции и с которым сжилась неразделимо. Ни какой-то «Евразии» и никакой другой, новой России она себе не представляла и, должно быть, представить не могла или не хотела. В этом была ее трагедия и эмигрантская обреченность.

В любви к России и к Москве мы были едины с Мариной Ивановной. Но ее «белогвардейство» и слепота к социальному прогрессу, осуществляющемуся на Родине, были мне чужды. Обращать ее в свою веру, пытаться привить ей свои антимилитаристские взгляды, любовь к трудовому крестьянству, высокое и чистое мировоззрение Толстого я, впрочем, не пробовал, а если бы и попробовал, то, наверное, успеха бы не имел. Она жила всецело искусством, поэзией и к религии, кажется, вообще была довольно равнодушна, а если и тяготела сколько-нибудь к ней, то лишь в форме православия. О Толстом я вообще боялся с ней разговаривать, предполагая, что близкий Толстому христианский дух «смирennemудрия», «терпения и любви» (по Ефрему Сирину) ей довольно-таки чужд. Она тоже не слишком любопытствовала спрашивать меня о Льве Николаевиче, а если, отвечая больше на

вопросы ее мужа, я рассказывал что-нибудь о Толстом, о его последних днях, о Ясной Поляне, то слушала внимательно, но молча.

Общей была у нас с Мариной Ивановной еще любовь к Германии, которую я скоро увидел и где она с детства подолгу жила. Она чрезвычайно ценила общий, идеалистический дух высокой старой германской культуры. И язык, и поэзию, и литературу, и искусство, и чудные города Германии она отлично знала и часто говорила о них с восхищением. Из германских поэтов она любила больше других Райнера Марию Рильке. (Из русских, кстати сказать, выше всех современных поэтов ставила Бориса Пастернака.)

Покойная мать Марины Ивановны — существо, судя по рассказам дочери, очень тонкое, необыкновенное — принадлежала к многочисленным в Европе поклонницам поэтического баварского короля, строителя замечательных замков и покровителя Рихарда Вагнера красавца Людвига II, в 1886 году покончившего жизнь самоубийством. Марина Ивановна любила рассказывать, что ее мать, проезжая мимо Штарембергского озера в Баварии, где утонул при невыясненных до сих пор обстоятельствах Людвиг II, бросила в «волны озера» свое кольцо и, таким образом, обручилась с духом короля.

— Так что кольцо моей матери, — говорила Марина Ивановна, — и до сих пор лежит на дне Штарембергского озера... И выходит, что и я как-то прихожусь сродни этому королю!..

На одном из первых общих собраний Союза писателей, скучая бесплодными прениями, я послал Марине Ивановне через коллег свой литературный альбом с приложением записочки, в которой просил ее написать мне что-нибудь в этот альбом. Так же, через два или три ряда сидевших между нами литераторов, она вернула мне альбом. В середине его, на одной из множества пустых еще страниц оказалось вписанным следующее стихотворение М. Цветаевой:

Проста моя осанка,  
Нищ мой домашний кров.  
Ведь я островитянка  
С далеких островов!  
Живу — никто не нужен,  
Взошел — ночей не сплю.

Согреть чужому ужин —  
Жилье свое спалю.  
Взглянул — так и знакомый!  
Вошел — так и живи!  
Просты наши законы:  
Написаны в крови.  
Луну заманив с неба  
В ладонь, коли мала!  
Ну, а ушел — как не был,  
И я как не была.  
Гляжу на след ножовый:  
Успеет ли зажечь  
До первого чужого,  
Который скажет: пить.

...Пишу и — думаю: почему же я ничего не сказал о наружности Марины Ивановны?

Без сомнения, потому, что не наружность играла главную роль в искреннем преклонении моем перед этой замечательной женщиной. Марина Цветаева была ниже среднего роста, хорошо и крепко сложена. Волосы на довольно крупной и круглой голове ее были подстрижены почти что «в кружок», как раньше стригли «под горшок» мужиков в России, — разве что чуть подлиннее. Концы их естественно завивались. Глаза были серые, большие, острые и смелые, «соколиные». Нос — довольно крупный, с горбинкой. Подбородок крутой и энергичный. Никогда — ни кровинки в лице. Ни румянца. Так странно и... жалко! Однообразный, белесовато-желтый цвет лица, шеи, рук. Головка посажена на шее гордо и также гордо, и быстро, и энергично обращалась — направо, налево. Походка и все движения Марины Ивановны вообще были быстры и решительны. Смех был громкий и заразительный. Плачущей и даже только унывающей я ее никогда не видел. Подчас она все же грустила, жаловалась на судьбу, например — на разлуку с Россией, на переобремененность хозяйством и домашними делами, отвлекающими от литературной работы, но жалобы и сетования ее — вообще редкие — никогда не звучали жалобно и жалко; напротив, всегда гордо, и я бы даже сказал —

вызывающе, вызывающе — по отношению к судьбе и людям. Среди не просто бедной, а буквально нищенской обстановки своей квартиры Марина Ивановна, с ее бледным лицом и гордо поднятой головой, передвигалась как королева: спокойная и уверенная в себе...

Искусство свое — поэзию — Марина любила превыше всего. Работала — литературно — очень много. Муж ее не раз повторял мне, что «Марина работает героически»: ни тяжелые условия жизни без прислуги, ни нужда, ни бедность, ни забота о детях (их было двое у Эфронов) не могли ее отвлечь от литературной работы. Живя за границей, она написала ряд крупных поэм («Царь-девица», «Молодец», «Крысолов», «Поэма конца» и другие), много мелких стихотворений, ряд блестящих статей, в том числе воспоминаний о Валерии Брюсове, «Пушкин и Пугачев» и другие. Союз русских писателей в Праге мог гордиться таким человеком.

## Ариадна Тыркова-Вильямс <sup>[175]</sup> Я РАДОСТНО СЛУШАЛА РУССКУЮ РЕЧЬ

Приезжала Марина Цветаева. <sup>[176]</sup>

(Мирский прочел о ней вздорную лекцию по-английски, хотя на самом деле как будто захлебывался от восторга ее стихов).

Она была у нас, и я два раза слушала ее в Школе Восточных Языков. Она читала стихи, свои и чужие. Читает плохо. Но я слушала радостно ритм русской речи.

Она тоненькая, ножки стройные. Черное, гладкое платье. Вязаный шерстяной линючий зеленый платок. Вероятно, еще в 1922 году из Москвы привезла. Волосы тускло-русые, острижены в скобку, чуть взлохмачены над ушами. Тоже по-московски, но сейчас почти модно. Лицо серое, изможденное, губы синие, точно цинготная.

Но есть в ней и своя женская прелесть. Глаза светло-серые и прозеленью. Смотрят редко на человека, хотя она независимая и смелая.

Со мной прощалась ласково. Я ей сказала, что давно ее стихи знаю. Она: «Да нет, тут не стихи, тут просто от человека к человеку» и сделала рукой круглое движение.

Если это искренне, я рада. Порой тяжело быть вечно иностранкой, жить в огромном городе, как в пустыне, вернее, построив свой город, таинственный, полный теней.



**Вера Андреева**<sup>[177]</sup>

## **ИЗ КНИГИ «ЭХО ПРОШЕДШЕГО»**

Мне было лет четырнадцать, когда я в первый раз увидела Марину Цветаеву. Мое неосторожное ухо уловило слово «поэтесса» — оно прозвучало для меня куда менее возвышенно и гордо, чем слово «поэт». Надо сказать, что в моем понятии все настоящие поэты давным-давно умерли, — живые поэты, с которыми мне доводилось встречаться, только утвердили меня в этом мнении, так как их стихи были очень далеки от Пушкина или Лермонтова, а следовательно, никуда не годились. А тут — живая поэтесса... При ближайшем рассмотрении поэтесса оказалась самой обыкновенной женщиной — небольшого роста, худощавая, двигается быстро, энергично, по сторонам не смотрит, только изредка бросает как бы сбоку быстрые, как зеленая молния, узкие, как лезвие ножа, взгляды, от которых как-то не по себе. Когда читала, надевала очки. У нее муж, Сергей Яковлевич, высокий, необыкновенно худой, с большими добрыми, светло-голубыми глазами навывкате, — очень симпатичный муж. За худобу мы с братьями тут же окрестили его Царь-Голод. Сергей Яковлевич очень располагал к себе. Он был дружен с моей мамой, мы его любили. И еще — что уже совершенно не подходило к образу поэта и окончательно расстроило мои представления о них — у поэтессы дочь, девочка лет одиннадцати-двенадцати, с таким же бледно-голубыми, почти белыми глазами навывкате, как у Царя Голода, и маленький сын, которого эта девочка вечно возила в колясочке. Про Алечку, так звали дочку Марины Цветаевой, говорили, что она вундеркинд и что уже сейчас пишет прелестные стихи. Я робела перед нею и старалась не попадаться на глаза.

Это было в Чехословакии, недалеко от Праги, в местечке, носившем довольно неблагозвучное имя Вшеноры. Это было очень красивое место, вернее, небольшой дачный поселок, живописно растянувший свои аккуратные домики среди невысоких холмов. Домики поселка напоминали виллы. Эти виллы имели названия. Мы жили в вилле «Боженка». Помню еще название дома — «Татьяна». Там были все атрибуты чешской деревни: высокие заборы, за которыми

прятались дома побогаче, именуемые виллами, маленький грязный пруд — весь зеленый, с плавающим по поверхности мутной воды гусиным пухом, невероятное количество самих гусей, злобно шипевших на всех прохожих и норовящих щипнуть их за ногу. Резкое гоготанье, хлопанье их крыльев по воде до сих пор стоят у меня в ушах, как только я вспоминаю чешскую деревню. Чешские хозяйки имели совершенно варварский обычай — они ощипывали своих гусей, так сказать еще при жизни, и эти несчастные после этой процедуры имели чрезвычайно жалкий вид — покрытые настоящей «гусиной» кожей, неприятно розовевшей сквозь оставшийся пух, волоча ощипанные крылья по земле и напрасно пытаясь удержать их на боках, они ковыляли, странно худые и неуклюжие, к пруду, и собственные гусята, наверное, с трудом узнавали их.

Рядом со Вшенорам была еще одна деревня, менее аристократическая, без всяких вилл. Ее вали Мокропсы — мне даже казалось сначала, что такого названия не может быть на самом деле, что это шутка, но нет — многие знакомые жили там. Жители обеих деревень — среди них было много русских — ездили в город с одной и той же станции, вернее полустанка, мимо которого, поднимая вороха бумажек и тучи пыли, ровно в пять часов вечера стремительно проносился скорый поезд Париж—Прага.

Во Вшенорах жило много интересных людей: Евгений Николаевич Чириков с многочисленной семьей, замечательный врач и пианист Альтшуллер, еще какие-то деятели литературы и искусства. При содействии моей матери — Анны Ильиничны Андреевой — организовывались даже некие музыкально-вокально-литературные четверги, где зять Чирикова играл на скрипке, Альтшуллер или моя мать на рояле, жених моей сестры играл на виолончели, а Марина Цветаева читала стихи. Ее стихи мне казались очень странными — я ничего не поняла, прямо-таки ни слова. Этот плачевный факт еще усилил мое недоверие к способностям поэтессы. На этих вечерах мой брат делал зарисовки присутствующих, рисовал он и Цветаеву. Не знаю, сохранились ли эти рисунки.

Настал день, когда моя мать не выдержала захолустной скуки и мещанского уклада жизни в чешской деревне, и вот мы проносимся в этом самом скором поезде Прага—Париж мимо знакомого полустанка, обдавая бумажками и пылью стоящих на платформе людей, наугад

машущих нам руками... С нами уехала и Марина Цветаева, крепко подружившаяся с моей матерью, которая ее и уговорила ехать, считая чешскую деревню «дырой».

Некоторое время в Париже наши семьи жили довольно далеко друг от друга, но мать часто посещала Марину Ивановну, и их дружба продолжалась. У нас же Цветаева бывала редко.

Одним жарким и пыльным парижским летом мать отправила нас под предводительством тетки в крохотную рыбацью деревушку на берегу Атлантического океана, в устье мутной и илистой речонки, носившей странное название — Ви (Жизнь). Эту «дачу», если можно так выразиться, нам порекомендовала Марина Ивановна, которая снимала домик на самом берегу моря. К нему вела песчаная дорога по берегу бухты, где причаливали возвращающиеся с моря рыбацьи лодки. Рыбаки в синих блузах вываливали из корзин трепещущую серебристую массу сардин и других мелких рыб, стройные вандейки с накрахмаленными кружевами на головах, в сабо и коротких юбках в складку, принимали улов. Во время отлива вода в бухте сильно убывала, обнажалось илистое дно, усеянное гниющими водорослями и всякими отбросами, стоявшие у причала барки ложились набок, и начинало невыносимо вонять гнилью, — тошнотворный запах заставлял нас затыкать нос и чуть ли не бегом преодолевать подъем на гребень дюны — еще несколько шагов в сыпучем, мелком, почти белом песке, раскаленном солнцем, и вот в лицо бьет свежий ветер, преодолевший тысячи километров пустынных водных просторов, ветер, настолько напоенный солью, йодом, всеми испарениями океана, что кажется подлинным его дыханием.

Домик Цветаевых стоял на самом гребне дюны, и ветер с моря, еще не оскверненный земными запахами, мог беспрепятственно проникать в окна и двери. Там всегда стоял страшный сквозняк, под ногами хрустел песок, и около дверей и окон из него образовывались миниатюрные дюны и крошечные барханчики. С бесподобно загорелым видом, — это были какие-то негры-альбиносы, с выгоревшими почти добела волосами и черными лицами, на которых ярко светились светло-голубые, почти белые глаза и такие же белые зубы.

Когда я увидела Марину Ивановну на пляже, я в первый раз поняла, как ей идет ее имя — Марина, что значит «морская». Она

лежала на песке, опершись на локоть, и, прищурившись, смотрела на море — глаза у нее были того же цвета, что океанские волны, — серо-зелено-голубые и такие же диковато-загадочные и своенравные. Серовато-пепельные волосы удивительно гармонировали с цветом бело-синего, выцветшего на солнце купального костюма. Стройные, худощавые, темно загорелые ее ноги спокойно и легко лежали на бледном песке. Совсем цыганская — худая и нервная — рука вдумчиво и нежно пересыпала сквозь длинные пальцы песок. С сотворения мира все люди, придя к морю, садятся на песок и начинают пересыпать его сквозь пальцы. Что-то гипнотизирующее есть в этом медленном скольжении теплой струйки, что-то как будто говорящее о текучести времени, о тщете всего земного, о бесконечном и напрасном движении ничтожных частиц, одной из которых является человек перед лицом вечного моря и вечного неба.

Я не знаю, конечно, о чем думала Марина Цветаева, глядя на море, но на ее лице было странное выражение затаенной печали и страстного ожидания — как будто бы она безмолвно звала кого-то, а тот не приходил и никогда, наверное, не придет. У бронзовой андерсоновской русалки, которая сидит на большом гладком камне у входа в гавань Копенгагена, такое выражение, — рожденная морем, она вечно тоскует о земной, недостижимой для нее стране, о теплоте и ласке людских рук.

Мы с Алей играли на пляже, строили крепости из песка после отлива океана. В конце сентября мы уехали в Париж. Мне было около 16 лет. Я училась в русской гимназии в Париже, в 6-м классе, где почти все преподавание велось на французском языке. Я жутко отставала по языку и могла остаться на 2-й год. А в Праге у меня осталась лучшая гимназическая подруга. При той гимназии был пансион. Видимо, это обстоятельство, а также полное отставание по французскому языку привели меня к мысли поехать учиться в Прагу. Серей Яковлевич поддержал меня. Мать возражала, но ему удалось убедить ее. В это время во Франции гостили Чириковы. Уезжая обратно, они взяли меня с собой в Прагу. Там я училась, летом приезжала в Париж.

И еще другое лето мы провели с Мариной Ивановной и ее семьей на море — на этот раз это не было такое уединенное место, как та рыбацья деревушка в устье реки Жизни, а достаточно большой и достаточно шумный курорт. Он размещался недалеко от устья

Жиронды, в местечке Понтайяк. Цветаева снимала полдома, а в другой половине разместились мы (тетя Наташа с детьми). Русских там было много, так что, когда Марина Ивановна в сопровождении своего семейства подходила к своему излюбленному уголку пляжа, там уже находилось несколько человек знакомых. Сергей Яковлевич редко бывал дома и в компании.

Всегда подтянутая, энергичная, она двигалась легким упругим шагом, как будто бы не шла по сыпучему вязкому песку, а, невесомая, летела, чуть прикасаясь к нему смуглыми ногами. И опять я ее вижу, лежащую на песке, — вокруг нее знакомые, все что-то говорят, Марина Ивановна возражает, делая быстрые жесты своими нервными руками и изредка бросая короткие, как удар ножа, сине-зеленые взгляды на собеседников. Я боялась ее, она казалась мне непостижимо умной, необыкновенно образованной — ее эрудиция была просто фантастической. Я робела перед нею и старалась поскорее стушеваться, так как чувствовала свою умственную неуклюжесть.

А рядом, поджав по-турецки ноги, сидел шестилетний,<sup>[178]</sup> страшно толстый сын Марины Цветаевой — Мур. Стыдно сказать, но я, тогда семнадцатилетняя большая девушка, робела перед этим ребенком. Впрочем, Мур только по возрасту был ребенком — мне он казался чуть ли не стариком, — он спокойно и уверенно вмешивался в разговор взрослых, употребляя совершенно кстати и всегда правильно умные иностранные слова: «рентабельно», «я констатировал», «декаденты». Мне он напоминал одного из императоров времени упадка Римской империи — кажется, Каракаллу. У него было жирное, надменно-равнодушное лицо, золотые кудри падали на высокий лоб, прекрасного ясно-голубого цвета глаза спокойно и не по-детски мудро глядели на окружающих, Марина Ивановна страстно обожала сына. Аля и Мур называли Марину Ивановну и Сергея Яковлевича на «вы». Нам было это странно слушать. Помню еще, что Марина Ивановна никогда не говорила «сегодня», а говорила «нынче».

Марина Ивановна была одета всегда предельно скромно, в некое подобие «дирдели-клейд» — стилизованную одежду немецких девушек подросткового возраста. Это — платье из ситца или другой, похожей на ситец, материи, какого-нибудь неярко цвета, с неяркими же, мелкими цветочками. Оно шито в талию, у него широкая сборчатая юбка и четырехугольный вырез; рукава короткие. Это платье

удивительно шло Марине Ивановне — короткая юбка не скрывала стройных очертаний ее загорелых ног, на сухощавых мускулистых руках всегда были надеты широкие серебряные браслеты под цвет ее серебряно-пепельным волосам — стриженным, с короткой челкой. Гладкая смуглая кожа в сочетании со светлыми серо-зелено-синими глазами делала Марину Ивановну очень интересной женщиной.

В Париже мы переехали на другую квартиру, Марина Ивановна тоже переехала, и мы очутились живущими в парижском окраинном районе. Иссиле-Мулино совсем недалеко друг от друга. Моя мать и Марина Ивановна получили возможность часто видеться и навещать друг друга. Их взаимная симпатия переросла в крепкую дружбу. Мои братья тоже много общались с Мариной Ивановной — когда у них возникало какое-нибудь затруднение, когда они искали дружеского совета или критики того или другого своего намерения, мать всегда говорила: идите к Марине Ивановне, поговорите с нею. Анна Ильинична безгранично уважала Цветаеву, верила ей, преклонялась перед ее умом и эрудицией. Сама очень умная и образованная, моя мать могла часами беседовать с Мариной Ивановной. Было интересно смотреть со стороны на этих двух необыкновенных женщин, — окруженные клубами синевато-серого табачного дыма, внешностью очень непохожие друг на друга, ничего не замечая вокруг, они увлеченно разговаривали на самые разные темы, не имевшие ничего общего с повседневной жизнью, настолько далекие от нее и абстрактные, что, прислушавшись, я часто не понимала ни слова.

Квартирка у Марины Цветаевой была, без преувеличения, нищенской. Деревянная мрачная лестница, какие-то две темные комнатухи, темная кухня со скошенным потолком в чаду арахисового масла, на котором всегда что-то жарилось. Помню, раз Марина Ивановна позвала нас — братьев и меня — на блины. По темной, кривой лестнице, где пахло кошками и помойным ведром, мы вошли на кухню и чинно уселись у стола, на котором было расставлено угощение: соленая селедочная икра и молоки — на саму селедку денег не было, сметана, вернее подобие ее, сделанное из творога, разбавленного молоком, и стопка румяных поджаристых блинов. Сначала мы стеснялись, но Алечка, искусно жарившая блины, раскрасневшаяся и улыбающаяся, была так мила, Марина Ивановна

так радушно угощала нас, что мы перестали дичиться и с отменным аппетитом принялись за еду. Все было необыкновенно вкусно.

Тут в строгой, «морской» Марине Ивановне, которой я боялась, вдруг проглянула простая радужная русская женщина, глаза которой лучились теплотой и ласковым вниманием к гостям. К одухотворенному, несколько абстрактному и космополитическому ее образу вдруг прибавился теплый земной штрих, показавший, насколько глубокой русской душой обладала эта женщина, с детства покоренная утонченными произведениями изящной французской литературы и поэзии.

Много раз потом я встречала Марину Ивановну с базарной сумкой, погруженную в невеселые хозяйственные заботы, прикидывающую в уме, не дешевле ли будет купить на рынке вместо второсортного мяса вот эту, давно уснувшую сельдь? Она всматривалась в тусклые рыбы глаза, заглядывала под темные жабры, — не особенно свежей была эта рыба, прогорклый чад от жаренья которой наполнял тошнотворным запахом жилище парижской бедноты. Вообще, Марина Ивановна учила меня выбирать свежую селедку по ряду признаков: жабры должны быть красные, глаза рыбы белые, спинка у головы должна пружинить при нажатии на нее пальцем. Часто Марина Ивановна покупала маленькие ракушки-мидии, которые были очень дешевые.

Мне было мучительно жаль этого изысканного, необычайно одаренного человеческого духа, стиснутого тесными рамками беспросветной нужды, задыхающегося в темных, обшарпанных комнатухах, насквозь пропахших кошками и нищетой. Какая ужасная судьба у Марины Ивановны! Ей бы цветы, ей бы дворец на берегу моря, ей бы лазурь и изумруды морских просторов — все заслужила, всего достойна ее многострадальная мятущаяся душа. А может быть, и этого всего ей не надо было, может быть, ей нужен был тихий арбатский переулок, деревянный покосившийся дом в глубине запущенного сада? А может быть, просто пыльная проселочная дорога, белой лентой вьющаяся среди полей, поросших кашкой и полынью, звон невидимого жаворонка «над подруженькой своей» в слепящей синеве русского неба? Может быть, только мнила она себя безразличной к времени и пространству, к равнодушию среды, из которой ей неминуемо «быть вытесненной»? Вся горечь непонятого,

одинокого, гордого и несчастного сердца вылилась у Марины Цветаевой в строчках:

Всяк дом не чужд, всяк храм мне пуст,  
И все — равно, и все — едино.  
Но если по дороге куст  
Встает, особенно — рябина...

Сколько невысказанного, громадного чувства в этом многоточии, сколько скрытой тоски и неумной боли! Вымученное признание это звучит как внезапный крик, вырвавшийся с самого дна души, — встрепенулась в ней душа, рванулась, отметая и попирая все прежде думанное и пережитое, рванулась к своему родному пределу. Она достигла его, но было уже поздно...

1979



**Вадим Андреев** [\[179\]](#)

## **ВОСПОМИНАНИЯ-ЛЕКЦИЯ О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ**

*Лекция В. Л. Андреева с воспоминаниями о Цветаевой печ. по тексту, опубликованному в «Русской мысли». Париж. 1995. 4 января.* [\[180\]](#)

В Берлине в 1922 г. с Мариной Ивановной Цветаевой мы не встретились. Но так случилось, что шел я по ее следам, встречался с людьми, хорошо ее знавшими, много рассказывал мне о ней Андрей Белый. Впервые по-настоящему познакомился с ее стихами: только что вышел сборник «Психея» — самое очаровательное из всего, что она написала: [\[181\]](#)

У меня в Москве — купола горят!  
Я молюсь тебе — до зари.

Когда мы встретились в первый раз в Париже, в 1925 г., я не мог отделаться от двойственного чувства — той Цветаевой, которой я ожидал, — не оказалось: я думал, что она золотоволосая, воздушная, прозрачная — Психея, — и вместо этого встретился с женщиной еще очень молодой — ей тогда было 32—3 года, но поразившей меня своей неженственностью: большие, выразительные, мужские руки, движения резкие и порывистые, голос жесткий и отчетливый. Все было в ней резко и неуютно. Особенно взгляд очень близорукого человека — невидящий. И эта манера смотреть — не в глаза, а в лоб, мимо встречного взгляда. Понадобился не один месяц частых встреч, иногда почти ежедневных (мы жили в одном доме), [\[182\]](#) для того чтобы понять, что вся эта внешняя резкость не настоящая, а игра, маска, прикрывающая подлинного человека и прежде всего человека очень женственного, гордого до болезненности, замученного бедностью, бросающего—свою нищету как вызов всем, даже таким же нищим, как и она. Вот ее стихотворение «Хвала Богатым»:

И засим, упредив заранее  
Подтверждаю: люблю богатых!

Но вот наконец я разглядел уже другие черты, менее яркие, но сколь для Цветаевой характерные: она, например, не носила очков, несмотря на большую близорукость, говоря, что предпочитает мир затуманенный и облагороженный ее невидением миру действительному; запомнил челку русых волос, — уже седеющую! — почти всегда обожженную: когда Марина Ивановна задумывалась — обычный жест опереться на левую руку, в которой крепко зажата неизменная папироса, большие перстни и серебряные браслеты на смуглых руках и главное, — тяжелую и непрерывную борьбу с бытом. В жизни Марина Ивановна была только поэтом. Все, что было вне поэзии, представлялось ей как нечто лично ей враждебное. Но ее жизнь сложилась так, что это враждебное преследовало ее неустанно: бедность, граничащая с нищетой, была ее постоянным уделом. Об этом она говорила в стихах к дочери:

Не знаю где ты, и где я  
Две странницы: кормимся миром.

Марина Ивановна всегда была матерью страстной до болезненности — сперва Аля, потом Мур — дочь и сын — сыгравшие столь большую и часто столь тяжелую роль в ее жизни. Страстность матери, забота о хлебе насущном (не для себя, конечно, но для детей) приковывали ее к плите — почти целые дни проводила она на кухне, всегда в аккуратном переднике, и здесь же, на кухне, поджаривая котлеты и варя кашу. Марина Ивановна<sup>[183]</sup> читала стихи. В эти минуты все окружающие ее предметы бывали для нее остро враждебны: плита, обжигающая ее, сковорода, с ее чадом и шипеньем, — она сражалась с ними. Иногда, устав от безнадежности этой борьбы, она искала отдыха в юморе, в игре.

Над стихами по-настоящему она работала по утрам, вставая очень рано, со светом, пока в доме все еще спали. Работала ежедневно, как

над заданным уроком. Не признавала писания по ночам, считая, что ночной труд создает искусственное возбуждение.

Самое большой ее страстью, смертный грех, который владел ею вполне, — была гордость, несокрушимая гордыня. Любимое слово — самоутверждение. И всегда, все — в превосходной степени.

То, что вчера — по пояс  
Во весь рост.

Или

Что же мне делать, певцу  
и первенцу  
В мире мер?!

Она не любила жалости, смирения, скромности — все это было ей органически чуждо.

Не там — где спрошено  
Тебе моей.

Марина Ивановна никогда не встречала нового человека просто, но всегда играя некую роль и всегда стараясь показаться не такую, какой она была, худшею, чем на самом деле: «полюби черненькую, беленькую всякий полюбит». И многих, конечно, отпугивала. Но те, кто сквозь игру умел разглядеть настоящего человека и большого подлинного поэта — поэта во всем — и в жизни, и в чудачествах, и в ненависти, и в любви, привязывались к ней крепко и надолго. Для того, чтобы узнать по-настоящему Марину Ивановну и дружить с нею, нужно было оторвать ее от быта, вывести из дому, уйти с нею на прогулку. Она любила дальние прогулки, ходила быстро и бывала неутомима. Во время таких прогулок она, наконец, становилась настоящей — умной, зоркой, несмотря на свою близорукость, всегда интересной и живой. А в разговоре больше всего ценила реплику, быстроту ответа — Цветаеву никогда нельзя было только слушать, ей

всегда надо было отвечать. В суждениях о стихах бывала пристрастна и субъективна. Свои стихи никому не позволяла критиковать — всякую критику принимала как<sup>[184]</sup> оскорбление, считая, что она одна обладает абсолютным слухом. Любила больше всего тех, кто уже был признан: Ахматову, Пастернака, Маяковского, Мандельштама. (Что Вам, молодой Державин, Мой невоспитанный стих!) И, конечно, больше всех и неизменнее всех — Блока.

Имя твое — птица в руке  
С именем твоим — сон глубок.

Но несмотря на любовь к Блоку, блоковская поэзия никак не отразилась в произведениях Цветаевой: для этого была она слишком индивидуальна, самоутверждающа и самостоятельна.

Одна из самых характерных особенностей Цветаевой была ее русскость. Не только из всех поэтов, живущих за рубежом, она была самою русской, но и в самой России ни один поэт не мог с нею в этом сравниться. В «Молодце» и «Царь-Девице» она впервые после Пушкина уловила настоящий склад русской сказки. (Оговариваюсь: это замечание не мое, а Ходасевича.)

Бегут русы,  
То-ль не жар-костер — да в дом!

Но эта русскость нисколько не мешала ей любить Запад — она прекрасно знала и любила французскую литературу и поэзию, писала даже французские стихи<sup>[185]</sup> и переводила с русского на французский. Особенно любила французский XVIII век. (Казанова, Лозэн — ее герои.)

Плащ прихотливый, как руно  
Антуанеты домино.

Французский романтизм отразился в том же «Плаще» очаровательными стихами:

И другу на руку легло  
С моею нежностью проклятой.

Любила она и Германию, но не настоящую, а воображаемую. (В Германии она жила в детстве.) Прекрасны ее стихи на смерть Рильке, [186] с которым она была в переписке. Ее любовь всегда сводилась к литературе, к братству поэтов, она чувствовала с необыкновенной остротой единство избранных и отверженных:

Жизнь, это место, где жить нельзя  
Поэты — жиды!

В конце концов, тема избранных Богом и отверженных землей основная тема поэзии Цветаевой. Несоответствие между тем, что жизнь есть, и тем, чем она должна быть. Цветаева всегда противопоставляла быт — бытию. Быть, а не иметь — ее девиз. Это ощущение свойственно многим, но немногие могли сказать это с такой силой и страстностью. Большая поэма «Крысолов» направлена против мещанства, против благополучия, ибо только в напряжении и в борьбе находила она удовлетворение.

В заключение я прочту стихотворение Цветаевой «Плач цыганки по графу Зубову»:

Расколюсь — так в склянь,  
И в прах и в...

Это стихотворение очень любила Марина Ивановна и охотно его читала — гораздо лучше, чем я прочел его. В «Плаче цыганки» нельзя не чувствовать той звуковой стихии, которая захватывала, поглощала Цветаеву. Неудержимый ритм, бешеный и мучительный, со срывами и взлетами, разбушевавшаяся стихия слова, когда раскрывается тайная сущность, звуковой смысл того, что было простым сочетанием гласных и согласных, когда стихотворение становится равнодействующей между смыслом и звуком.

В последний раз я видел Цветаеву незадолго до ее отъезда в Россию. Мне пришлось перед тем с нею не встречаться в течение 2 лет, и когда я пришел к Марине Ивановне (она жила за городом, на границе Кламара и Малакова), в большом доме с полуобвалившимися лестницами, выбитыми окнами, таинственными закоулками, в доме, который мог бы символизировать нищету рабочего пригорода,<sup>[187]</sup> меня поразило то, как Цветаева постарела, в недолгий, сравнительно, срок. Ее волосы почти совсем поседели, появились морщины на худом лице, обострилась горбинка на носу, но все ее движения стали менее резкими и острыми. В первый раз я увидел в Марине Ивановне усталость, и не физическую только, но глубокую, душевную, то которой уже человек не может отдохнуть. Марина Ивановна на газовой плите жарила котлеты. По количеству котлет я было подумал, что она ждет гостей, но мы сели обедать втроем — Марина Ивановна, ее сын Мур и я. Муру в то время было 14 лет, но выглядел он двадцатилетним парнем, огромный, толстый, странная антитеза всего облика Марины Ивановны. За обедом почти все котлеты были уничтожены Муром.

После вынужденного отъезда ее мужа Марина Ивановна осталась в одиночестве: многие ее бывшие друзья начали усиленно заботиться о «чистоте своих риз». Поэтому я с особенно большой радостью узнал, что накануне у нее был с дружеским визитом Илья Исидорович Фондаминский..<sup>[188]</sup>

Мы говорили о стихах, Марина Ивановна прочла несколько своих переводов на французский,<sup>[189]</sup> она по-прежнему много и упорно работала. Потом разговор перешел на ее отъезд в СССР, о тех, кто уже уехал — Святополк-Мирском, поэте Эйснере, о тех, кто остается в Париже. Это было в 1938 году, и о возможности войны мы, конечно, не говорили — в то время в войну никто не верил. Прощаясь, мы оба были уверены, что прощаемся не навсегда.

Известие о ее самоубийстве поразило нас всех<sup>[190]</sup> — бывших ее друзей (тем более, что никому не известны причины, побудившие ее к этому шагу).

**Наталья Резникова** [\[191\]](#)

## **ВСЕ В НЕЙ БЫЛО НЕПОМЕРНО, КАК ЕЕ ТАЛАНТ**

О Марине Цветаевой сейчас много пишут. Непревзойденный мастер, она стала любимым поэтом в России. Стихи ее издают, и они имеют влияние на русских поэтов. При встрече с нами, знавшими ее за границей, жадно спрашивают о ней, о ее трудной жизни во Франции.

В зарубежной литературе ей посвящают стихи и статьи (указываю на статью М. Слонима в «Новом журнале», на воспоминание моей матери О. Е. Колбасиной-Черновой — «Мосты», № 15), печатают ее личную переписку. В Париже еще жива память, люди, встречаясь, могут говорить о ней, вспоминая.

Я подумала, что мне, знавшей ее и какое-то время жившей с ней под одной крышей, стоит записать то, что я помню, чтобы помочь запечатлеть ее образ, сохранить ее подлинные слова. Звука ее голоса — не передать, хотя он и звучит во мне, когда я вспоминаю ее или читаю некоторые ее стихи. Она любила свое имя: Марина Цветаева.

Принято писать о том, как ей было трудно жить. Ей, поэту, обычная женская доля была тяжелее, чем другим: быт, с которым она мужественно боролась, придавливал. Она не могла писать... но писала! И как писала!

Все в ней было непомерно, как ее талант. Жизнь молодой, счастливой матери превращается в драму единоборства с безликим чудовищем — повседневной жизнью. Но эта женщина-мать пишет — как никто — стихи, поэмы одну за другой.

Бедность была большая, но не было настоящей нужды, — все ведь под одним знаком бедности. И было много друзей, понимавших и помогавших как и чем могли.

Я думаю, трагизм был не в условиях жизни, а в ней самой, в отпущенной ей доле вместе с ее громадным талантом. В одном из писем к моей матери она пишет: «Боюсь, что беда (судьба) во мне, я ничего по-настоящему не люблю, не умею любить, кроме своей души,

то есть тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и его пределам. Мне во всем и в каждом человеке и чувстве тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить во днях, каждый день — всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима, и зовется — душа».

В стихах (1923 года) она пишет:

Что же мне делать, слепцу и пасынку,  
В мире, где каждый и отч и зряч?

.....

Что же мне делать, певцу и первенцу,  
В мире, где наичернейший — сер!  
Где вдохновенье хранят, как в термосе!  
С этой безмерностью  
В мире мер?!

Я переносюсь в те годы, когда молодая, в полной силе своего могучего таланта, она приехала в Париж в 1925 году. Ей было тридцать с чем-то лет, с нею дочь 13 лет и годовалый сын.. [\[192\]](#)

Кроме стихов (последняя книга «Ремесло» была издана в Берлине в 1923 г.), ею были только что написаны поэмы: «Поэмы Горы», «Поэма Конца», «Крысолов», «Казанова», «Молодец», «Тезей» (над ним еще работала). У меня хранится книга — «Илиада», которой пользовалась Марина Цветаева. Предисловие Гнедича, и местами текст «Илиады» крепко подчеркнут синим карандашом.

Я хочу сказать: Марина Цветаева была не только одареннейшим, талантливым, исключительным поэтом — она была необыкновенным существом. Она была рожденным поэтом — она вся была создана из какого-то другого материала. Была поэтом всем своим существом — костями, кожей, «ребром и помыслом», как говорит она сама. Это независимо от того, любят ли ее поэзию и близок ли ее поэтический мир. Может быть, этот полученный ею дар был ее трагедией и закланием рока.

Вначале немногие ее понимали. Теперь легко говорить и писать, что в эмиграции ее не поняли, что Париж ее холодно встретил и т. д.

Ничьей вины не было и нет.



Своим творчеством она опережала свое время. Марсель Пруст много пишет о квартетах Бетховена. В то время, когда Бетховен их сочинял, эти квартеты были непонятны большинству. Их не могли понимать: создавать их, Бетховен двигал музыку вперед, в еще неведомую область, и только через некоторое время люди, музыкально воспитанные этими квартетами, стали воспринимать их.

Так происходит со всеми большими творцами в искусстве — они приносят новое, до них не виданное или не слыханное. Ритмы Пастернака, ритмы Цветаевой прогремели как гром, осветили поэтическую жизнь, многих ошеломили, оттолкнули, других восхитили. Потом уже начали их понимать, оценивать, разбирать.

Моя мать была из тех, сравнительно немногих (этих немногих было вовсе не мало!), сразу воспринявших поэзию Цветаевой, как бы на лету. Мама познакомилась с нею в Праге и сразу очень горячо подружилась. Жизнь в Праге была тяжела для Марины Ивановны. Мама верила в чудо, в возможность одному человеку изменить что-то в судьбе другого. Мама пригласила Марину Цветаеву переехать в Париж и жить у нас. Осенью 1925 года Марина Ивановна приехала к нам с детьми.

Мы все помним нашу эмигрантскую бедность, теперь трудно людям дать понятие о ней. В лучшие — праздничные — дни кусочек ветчины делился на четыре части! Была картошка, макароны — иногда с «красным» и с тертым сыром, иногда белые. Суп из кубиков и растительное масло. О витаминах и не думали, хотя это слово было уже известно. Осенью были простые маленькие дешевые яблочки, красные. Но была молодость, задор, любовь к стихам.

Квартира наша в 19-м округе была новая (в новом доме), чистая и светлая: большой заказ на куклы позволил нам внести залог. Мебели почти не было. Из трех комнат одну, со светлыми обоями, мы дали М. И. с детьми. Сестра Ольга отдала ей свой письменный стол. Сергей Яковлевич Эфрон, муж Цветаевой, приехал позже.

В Праге мама и младшая сестра Ариадна случайно познакомились, а потом крепко подружилась с М. И. Когда она приехала в Париж прославленным поэтом, мама чуть ли не обоготворяла ее. Разница лет и ее исключительный талант, при моей застенчивости, не позволили мне к ней подойти непосредственно и просто. Поэтому личных, особенных отношений у меня с ней не

установилось. С моей стороны было восхищение ее стихами, человеческая симпатия и желание помочь.

Для нее я была «одна из многих», «голос из хора» — тех, кто любил ее поэзию и в жизни готов был ее поддержать, как мог.

Сухая, легкая, с отчетливыми стремительными движениями, с когда-то золотыми, теперь седеющими волосами (у нее была мания их мыть почти каждый день, может быть, отсюда ее ранняя седина?). Моя мать очень хорошо описала взгляд вбок ее светлых — светящихся — зеленых глаз..<sup>[193]</sup>

Она не глядела на собеседника. Что-то даже ведьминское было в этом взгляде. Родись она в средние века, было бы за нее страшно. Полуулыбка тонких губ, немного надменная, немного застенчивая (близорукость?). Коричневатый цвет гладкой кожи лица. Очень воспитанная, она была внимательна, охотно читала, когда ее просили.

Известно, как она «швырялась людьми» — ее переписка полна задевающими друзей замечаниями. За самоотверженную помощь платила иронической критикой, насмешкой. Но делала она это, как бы шая. И сама называла такие слова поступки «из гнусности», как будто бы действовала не она, а кто-то другой, а она глядела со стороны.

Этими словами она разрешала себе то, чего она иначе не сделала бы. Но словами «Я это сделала из гнусности» все превращала в шалость. Но все это было несерьезно, и я это подчеркиваю (так же, как моя мать), — зла в ее природе не было. Может быть, только игра в зло.

Не надо забывать о ее романтическом культе героев. (Тут я попутно хочу заметить, проводя параллель между Цветаевой и Пастернаком, которых так часто любят сблизать: Пастернак высоко ценил стихи Цветаевой и ее саму как человека, ее дисциплину и ее ремесло, но «миры» их были совсем несхожи, я бы сказала — противоположны друг другу. В «Докторе Живаго» Пастернак говорит, что с наступлением в мире христианства больше нет наций, нет героев — есть только личности. Повседневность, которую презирала Цветаева, была священна для Пастернака.) При ее пренебрежении к смиренной прозаической человеческой жизни, быту, как она говорила, Марина Ивановна всегда готова была стать на сторону обездоленных — и в творчестве, и в жизни.

Марина Цветаева была благородной и всегда была на стороне побежденных, а не победителей. «Госпожа жизни», — говорила она

про богатую, счастливую женщину, представительницу совсем чужого и далекого ей мира.

В жизни высказывания и формулировки М. И. были замечательны. Думая о ней, я вспоминаю ее мысль: «Сила человека часто заключается в том, чего он не может сделать, а не в том, что он может».

Говоря о стихах Марины Цветаевой, я хочу отметить в них песенное начало, которое было так дорого ей. Марина говорила, что для нее в поэзии оно очень важно. Сейчас для многих любителей стихов и литературоведов Некрасов вычеркнут из списка больших русских поэтов. Мне приходится спорить, и я напоминаю, что Блок и Ремизов очень высоко ценили Некрасова. Два очень больших поэта-женщины — Ахматова и Цветаева, — любили Некрасова. Ахматова говорила моей сестре Ольге Андреевой, что неизменно любит Некрасова, в особенности «Мороз, Красный нос». А Цветаева любила песенное начало у Некрасова: «Кому на Руси жить хорошо» и «Коробейники».

Я отмечаю любовь М. И. к песенному началу как одну из особенностей ее как поэта и ее чувства поэзии. Она любила элемент песни в стихах: стихи, которые можно переложить на песню, представляли для нее особенное достоинство. Она часто повторяла кем-то сложенные строчки, говоря, что для нее они в каком-то смысле — вершина поэзии: «Коромысло гнется, гнется. Вода льется-льется-льется. Девица смеется». Когда-то в Москве вместе с кем-то из друзей она ходила подслушивать под окном хлыстовские радения, которые нашли отклик в цикле «Переулки».

Народная песня навеяла ей стихи о Стеньке Разине; я привожу из них отрывки; в момент, когда Разин бросает в Волгу персияночку:

В небе-то — ясно,  
Темно — на дне.  
Красный один  
Башмачок на корме...  
Вот и вся тебе персияночка,  
Полоняночка.  
И снится Разину — сон:  
Словно плачется болотная цапля.

И снится Разину — звон;  
Ровно капельки серебряные каплют.  
И снится Разину — дно —  
Цветами, что плат ковровый.  
И снится лицо одно —  
Забытое, чернобровое.  
Сидит, ровно Божья Мать,  
Да жемчуг на нитку нижет.  
И хочет он ей сказать,  
Да только губами движет...  
Рулевой зарею правил  
Вниз по Волге-реке.  
Ты зачем меня оставил  
Об одном башмачке?  
Кто красавицу захочет  
В башмачке одном?  
Я приду к тебе, дружочек,  
За другим башмачком!  
И звенят-звенят, звенят-звенят запястья:  
— Затонуло ты, Степаново счастье!

Быт нашей совместной жизни был бедный — жили делясь, но были ее стихи, и запомнился голос: «Молодец», «Цыганская свадьба», цикл «Поэт», «Поэма Конца», «Плач цыганки над графом Зубовым»<sup>[194]</sup> — здесь голос звучал резко, как пила, — и многое другое. Чтение «Тезея» — и почему теперь надобно только плакать и жалеть ее, вспоминая те годы. Ведь даже для тех, кто просто слушал ее чтение, это было богатство. А ее восприятие чужих стихов — Пастернака или Бодлера, как много в них слышала, вычитывала, понимала, углубляла смысл, выявляла музыку.

У меня с ней были добрые дружеские отношения, увлекательные разговоры и чувство товарищества молодых женщин, бедных, работающих для того, чтобы прожить, которым не во что было одеться. В этом была солидарность: мы делились платьями — подарками «благодетелей», то есть менее бедных друзей. Платья были старые и украсить не могли, но был смех, были шутки и крылатые

слова Марины: «ситцевые линиялости». Марина любила делать подарки, и у меня чудом сохранилось подаренное ею ожерелье. В нем много от нее самой: коричневый, любимый ее цвет и дерево (Сивилла). Ведь от Марины Цветаевой, искавшей невещественного в жизни: «Не сущность вещей — вещественность сути».

М. И. и Сергей Яковлевич были удивительными рассказчиками. Говорили о ее молодости и детстве, о ее замечательной семье. Сама она много помнила из своего детства. Прочитанные в детстве книги жили с нею.

У меня сохранилось трогательное воспоминание. «Трогательно» — это было ее слово, она часто его произносила.

Вскоре после свадьбы моей сестры я была одна с Мариной Ивановной в квартире. Я лежала больная в общей проходной комнате, у меня был жар. Вдруг М. И. встрепенулась: «Я буду вас лечить!» Пошла на кухню, я помню ее легкий, отчетливый шаг, принесла чашку дымившегося горячего красного вина с сахаром и чем-то ароматным. «Выпейте! — ведь это как больного Жоликер лечили!» (обезьянка из романа «Без семьи» Г. Мало). Как было мне не выздороветь? Этого случая я никогда не забуду.

Потом мы разъехались, мы поселились в Кламаре. Я завела собаку — волка. Марина Ивановна приходила к нам из Медона. Иногда «по делу», то есть давала мне и сестре работу.

Я помню, как волновались, когда готовились к первому вечеру чтения стихов Марины Цветаевой..<sup>[195]</sup>

Мы сестрой сшили ей черное репсовой платье, как ей хотелось.

М. И. думала, что лучше нас на свете никто не умеет шить. После какого-нибудь гонорара она покупала шерстяную красно-коричневую материю. Мы умели так кроить, что получалось две юбки вместо одной.

Как сейчас, вижу стол и швейную машинку, в окнах зелень и сирень. М. И. на коленях перед собакой. Прятала глаза в шерсти — я даже немного боялась. «Ты мое божество!» — и кормила собаку принесенными обрезками мяса (большой пакет).

Дорога из Медона шла через базар. М. И. повторяла шутки торговцев. Мы смеялись. Применяли юбки. М. И. была довольна, и никакие протесты не могли заставить ее не платить. Помню ее

прекрасную, рабочую, творческую руку, и в ней серебряную монету в 10 франков. Трудовые деньги — за труд.

Всегда буду помнить ее приход к нам, последний, прощальный. Было тревожно за нее, до боли; слова не приходили на ум. Я не могу забыть сказанное ею маме при прощании: «Я верю, я знаю, Ольга Елисеевна, что вы — вы верите, что Сережа не виноват в том, в чем его обвиняют». Это было сказано так, что никакого сомнения не может быть в том, что она сама верила в невиновность мужа.

Как страшен был ее конец. Сколько равнодушия и сухости встретила она на ставшей бездушной и скудной родной земле.

Много лет спустя в Греции я жила возле церкви святой Марины. Помяни, Господи, душу рабы твоей.

**Александр Бахрах** <sup>[196]</sup>

## **ИЗ КНИГИ «ПО ПАМЯТИ, ПО ЗАПИСЯМ»**

Моя первая парижская встреча с Цветаевой — после предшествовавшей ей длительной переписки — произошла на квартире ее друзей, у которых по приезде в Париж она на короткий срок поселилась. Встреча эта произошла при многочисленных свидетелях и была окружена оттенком показной «светскости» и с бисквитами к чаю. Что-то в окружающей обстановке звучало как фальшивая нота. Сама Цветаева это сознавала и спустя несколько лет писала мне: «Я перед вами виновата, знаю. Знаете в чем? В неуместной веселости нашей встречи. Хотите другую — первую — всерьез?»

Но что-то за эти годы ушло, что-то выветрилось. Если быть суеверным, то надо признать, что Рок (одно из излюбленных цветаевских словечек, которое она всегда писала с заглавной буквы) был явно против нас, и какие-то «бесенята» вмешивались в наши дружеские отношения, которые так и не удалось наладить. Хотя почта в те дни действовала безукоризненно, цветаевские письма ко мне, как и мои к ней, пропадали или достигали меня с таким запозданием, что я никак не мог свидеться с ней в назначенный час. Пропал даже пакет с ее книгами, который я ей выслал по ее просьбе. Что-то ей было нужно, а у нее иссякали авторские экземпляры.

И так случилось, что за все ее парижские годы я побывал у нее считанное число раз — но я не хочу взваливать за это вину на почту! Вероятно, это происходило потому, что разговор с ней у меня никогда не клеился, мне казалось, что приходится подниматься на крутую гору. Хоть и был он утонченно литературен, но вместе с тем в каждой брошенной ею фразе, в любом ее полуслове мне чудился какой-то второй смысл, намек на что-то, что перегорело или, строго говоря, что было измышлено.

«Я у вас сейчас: я — переписка и я — встреча, в глазах двоюсь, хочу восстановить единство», — писала она, но, очевидно, для этого сроки были упущены.

Хотя у меня самого эта полоса жизни была очень тяжелой или, может быть, более нелепой, чем тяжелой, я нередко с сокрушением и болью думал о Цветаевой. Я мысленно восстанавливал ту обстановку в которой текла ее жизнь, и иногда перед моими глазами маячили какие-то полусломанные табуретки, дымящая, угарная печурка, чашки разных цветов и фасонов, но как будто все с отломанными ручками, и виделся густой папиросный дым, обволакивающий все помещение. Один письменный стол выделялся, он мне казался особенным, хотя, вероятно, был тоже убогим, но я знал, что на нем в ночные часы Цветаева своим бисерным почерком исписывает лист за листом, заноса на бумагу неиссякаемый поток рвущихся из нее строк и звучаний.

В 1928 году ей удалось выпустить последний прижизненный сборник стихов, который был назван «После России», хотя, вероятно, было бы более дальнорочно назвать его «До России», потому что он включал все то, что уже потом не могло быть высказано, что никак не вязалось с ее краткой жизнью в Москве.

Этому сборнику надлежало бы стать событием в российской литературной жизни. А кто его заметил по-настоящему? Времена были такие, что никакая русская книга не могла стать «событием», экземпляры цветаевского сборника, отпечатанные на особой бумаге, приходилось навязывать «меценатам», ставшим более редкими, чем ископаемые, и которым до поэзии было мало дела.

Книга эта у меня уцелела и стоит на книжной полке. Она мне тем более дорога, что Цветаева включила в нее, не указывая адресата, ряд стихотворений, которые когда-то, в дни «туманной юности», когда еще мало думалось о жизненной прозе, она мне заочно посвятила (добавлю при этом, что с ней не раз бывало, что свои стихи она затем перепосвящала другим, но можно ли было за это на нее обижаться?). Экземпляр «После России», вероятно ее последний осязаемый привет, она прислала мне с лаконическим «на память», без каких-либо дальнейших уточнений, и это единственная сохранившаяся у меня ее книга с автографом.

В последний раз я встретил Марину Ивановну случайно за год или за два до ее отъезда в одном из бюрократических учреждений, которые ведали делами эмигрантов. По близорукости она не сразу меня узнала, и мы только обменялись почти безмолвным



рукопожатием. Оба спешили и едва ли кто-либо из нас был способен предвидеть, что эта встреча — последняя.

Уезжала она полуконспиративно, мало кого о своем решении предупредила, прощаться, конечно, ни к кому не ездила ей было не до того... Только одному из своих корреспондентов написала: «Все меня выталкивает в Россию, в которую я ехать не могу. Здесь я не нужна. Там я невозможна...»

Другими словами, она отдавала себе ясный отчет в том, что впереди ее ждет некий крестный путь, хоть всего его трагизма она, конечно, предвидеть не могла.

**Алексей Эйсер**<sup>[197]</sup>

## **ОНА МНОГОЕ ПОНИМАЛА ЛУЧШЕ НАС...**

Я как-то написал своему воркутинскому другу: «Не могу понять (я вижу, что это не мода), чем объясняется гораздо больший интерес нашей интеллигенции к Цветаевой, чем даже к Пастернаку или Мандельштаму?» Он мне ответил: «Это, наверное, биографически объясняется. Она была, кажется, единственным человеком среди наших поэтов, который никогда, ни с кем не шел в ногу». Я думаю, что это одна из разгадок. Она шла своим путем. И кто бы ей сбоку чего ни говорил, ни командовал, она ни с кем не шла в ногу. И, по-видимому, это сейчас к ней и привлекает — ее индивидуальность, невхождение или в какие группы, непринадлежность ни к каким партиям, нежелание никого слушаться, кроме своего внутреннего голоса поэта. Вот такое объяснение дал мне Адриан Владимирович Македонов.

По возрасту я принадлежу к людям, которым никто Цветаеву не открывал. И одна из радостей, оставшихся мне в жизни, — это сознание, что я сам ее открыл, когда в Париже не собиралось столько народа ее послушать...

Я рос там — за границей. Вернулся в 1940 году через Испанию, до этого — Первый кадетский корпус в Петрограде потом учился в Русском кадетском корпусе в Сараево, в Югославии. Директором корпуса был Адамович,<sup>[198]</sup> брат Георгия Адамовича, поэта из гумилевского окружения. Он тоже интересовался литературой (что совсем не обязательно для директора корпуса) и создал кружок, где стихи читали, стихи писали... Там я и начал писать стихи классе в шестом. Тогда же я в первый раз прочел стихи Марины Ивановны, которая только что приехала в Прагу из Москвы и была принята вполне радушно. Никто не знал, как она будет себя вести, что она будет делать. Стали ее печатать, а она еще была полна тем, что вырвалась к Сереже и была полна негодованием...

В это время Петр Беригардович Струве издавал «Русскую мысль» (был такое толстый литературный журнал), где Цветаева стала печатать свои стихи. Там было продолжение «Перекопа»,<sup>[199]</sup> там был «Плач Ярославны». Стихи показались мне необычными. До этого я

читал пять — семь стихотворений Цветаевой, которые еще можно отнести, на мой взгляд, к «лицейским» стихам.

Я приехал в Прагу в августе 1925 года — собирался учиться в Карловом университете. Марина Ивановна с Сергеем Яковлевичем Эфроном, дочкой и недавно родившимся сыном находилась там. Я не бросился искать их — я спокойно обходился без них. Я жил так, как живут люди, когда им около двадцати лет... И как-то мне кто-то подсовывает «Волю России» и говорит: «Ты посмотри, что они там делают, что они пишут, и это все печатают!»

Ну, я прочел из «Крысолова» какую-то строфу:

Первому? — браво!  
Встречному? — ново!  
— За крысодава?  
— За крысолова?  
Бессахарника?  
— За каторжника;  
Общий ров.  
Гроб в обрез.  
Ни венков.  
Ни словес.

«Да, действительно!» Как-то остался у меня номер, я стал читать, и вдруг оказалось, что это чудо, что это событие, что это не шалость, это такой ритм, такой разговор... Схватился сначала. И стал песню за песней, главу за главой читать...

Кончилось это довольно скоро тем, что, когда был напечатан весь «Крысолов», я стал читать его вслух. Одному из первых — Вадиму Морковину.<sup>[200]</sup>

Я стал читать «Крысолова» с начала до конца.

После этого я уже ни одной ее сточки не пропускал. Печатали ее в разных местах, и за этим было нелегко уследить. Я стал ее читать по-настоящему. Немного тогда было людей, которые понимали, что это такое. Я не думаю, что Слоним понимал, когда ее печатал, что это такое. Но дело в том, что в «Воле России» тогда никто не печатался. Это был второй журнал, потоньше, чем «Современные записки»,

печатавшиеся тоже на чешские деньги. Никаких там Буниных и даже Чириковых не было, они туда не шли: какие-то левые эсеры... Поэтому печатали там тех, кто подвернется. Печатали Г. Газданова, ставшего потом настоящим прозаиком, печатали Сосинского — он тогда только начинал. А тут целая поэма! Наверное, Мирский (я имею в виду Святополк-Мирского) настоял на том, что надо печатать. Он ведь первый сказал, что это гениальный поэт. Во всяком случае, ее печатали в «Воле России» более или менее аккуратно. Она писала больше, чем они могли напечатать, и, кроме того, они платили крону за строчку. Что такое крона? Это довольно трудно сейчас объяснить. Если вы заходили в кафе, выпивали пол-литра молока и съедали две жемли — такие булочки, то это стоило крону двадцать. Студенческая стипендия была 400 крон, примерно то же, что сейчас у нас 40 рублей. За сто строчек своей «Конницы» я получил сто крон.

Еще в Праге я услышал о Сергее Эфроне. Там выходил журнал «Своими путями», в котором Сережа был одним из редакторов. Печатался журнал в Париже, где это стоило дешевле: бумага и типография, а издавался в Праге. Когда я услышал об Эфроне, он уже уехал в Париж. По-настоящему я узнал о нем уже в период евразийского издательства, в 1926–1927 годах. Он был одним из редакторов журнала «Версты», газеты «Евразия» (уже после раскола евразийцев). Тогда он стал для меня одним из тех, за которыми я шел, — это было то направление, которое я принимал. Я сочувствовал газете «Евразия», но, к сожалению, вышло всего семь или девять номеров этой газеты. Когда я приехал в Париж в июле 1930-го то довольно скоро — уж не помню, при каких обстоятельствах — я познакомился с Эфроном, и он позвал меня к себе. В это время евразийские издательства уже кончились и Сергей работал статистом на киностудии.

Тогдашняя эмиграция в массе своей жила очень тяжело. Не только во французских фильмах фигурируют русские офицеры — шоферы такси. Полковников гвардии, ставших таксистами, было, очень много.

Марина Цветаева получала от чехов писательскую стипендию — 600 крон в месяц, которую ею продолжали выплачивать и после отъезда из Праги. Эту стипендию чехи давали всем писателям, но с известной градацией. Так, например, Чириков получал 1200 крон, Василий Иванович Немирович-Данченко (который кажется мне более

значительной фигурой, чем Владимир Иванович) — 1500, я получал 400 крон, а Цветаева — 600. Они все-таки видели разницу между мной и Мариной Цветаевой... Когда я уехал из Чехословакии, мне выплатили за 3 месяца, чтобы я катился, и больше я ничего не получал, а ей продолжали платить. (Я думаю, что тут главную роль сыграла Тескова.) Кроме этих 600 крон Цветаева зарабатывала публикацией стихов, но в то время, например, Поль Клодель, большой французский поэт, был послом и жил на то, что он посол, а не на то, что он поэт. Даже Поль Валери был каким-то сотрудником Министерства иностранных дел. Первое издание «Фальшивомонетчиков» Андре Жида было всего 1500 экземпляров. Литература во Франции могла кормить Сименона и больше никого. Особенно эмигрантская литература. И, конечно, она не кормила Цветаеву. За строчку платили один франк, а чтобы прожить вчетвером, надо было минимально 2 тысячи франков в месяц. Это при очень скромной жизни — без театров, без выездов, без платьев, без такси. Аля, дочь Марины Ивановны, вязала шапочки, Сережа что-то получал, вместе они наскребали, наверно, 2 тысячи на полунищую жизнь. Тогда не только эмиграция, но и вся Франция жила несравнимо с теперешней. Прожиточный минимум одинокого рабочего был около 1000 франков. Я получал 400 франков — это была первая стипендия безработного. Заработок квалифицированного металлиста составлял полторы тысячи франков в месяц, грубо говоря, вся семья Цветаевой получала столько, сколько один квалифицированный металлист, но их было четверо. Кроме того, они не умели жить так, как рабочий. Он хорошо питался, но ходил обтрепанный, своей одеждой подчеркивал, что он пролетарий. Потом это быстро исчезло, но тогда было так.

...И вот я пришел к Цветаевым. Помню, я был поражен тем, как туго им живется. Я сам в это время зарабатывал мытьем окон, тоже не был буржуа, но я ужаснулся их жизни. Я вошел в их дом. Порога между улицей и передней не было; когда шел дождь, на пол клали тряпку, чтобы в дом не затекала вода. Две крохотных комнатки, кухонька в нашем теперешнем вкусе. Неуютно, темно: какие-то тусклые лампочки. Меня пригласили пить чай, такой, какой в Москве часто пьют, вероятно, это не просто вода, такой чуть желтенький; угощали каким-то печеньем из соседнего магазина. За столом сидели молчаливые Аля и Мур.

Познакомился я с Мариной Ивановной. Мне было тогда 25 лет, она на 12 с кусочком старше меня. Молодые двадцатипятилетние люди даму под 40, как бы сказать, не воспринимают... Как поэта я ее воспринимал, как женщину, конечно, нет. Я ожидал увидеть даму. Дамы в ней не было. Это было особенно, ни на что не похожее существо. Воспоминания — это ведь особая точка зрения, кто что видит. Вот Аля пишет, что мать была высокого роста. Конечно, все меняется. Я сейчас карлик, а был всю жизнь среднего роста. Марина Ивановна была ниже меня, никак нельзя считать, что она была высокой. Она была очень прямая, такой прямой, абсолютно лишенной всякой внешней женственности. Полное отсутствие внимания к себе. Оказывается, оно было, но какое-то такое сублимированное. Вот, например, она с большим вниманием относилась к тому, какие у нее серебряные браслеты или кольца. Кольца эти она дарила, заводила новые. И еще она внимательно относилась к своей прическе, у нее были довольно хорошие, очень коротко подстриженные волосы. Когда я целовал ей руку, я заметил в порах следы угля. Она не ухаживала за руками, наоборот, клала уголь в печку руками. Хотя совок все-таки был. Она не только не боролась с бытом, она покорялась ему, позволяла быту над собой измываться. В «Поэмы Лестницы» это видно во многих местах. Она настолько презирала жизнь, которой ей приходилось жить, и она настолько была вне внешних условий жизни, что даже не старались особенно отмыть руки от угольной пыли. Я сам видел, как она клала уголь руками, «чтоб мне было хуже». Там такие «буле» продавались — прессованная угольная пыль, — так вот она эти буле совала в печь руками, пальцами. Я смотрел на нее...

Сейчас хочу отойти в сторону. Был такой известный наш генерал, Герой Советского Союза, мой друг по Испании, последний мой начальник там, после гибели Мате Залки, Мамсуров, Хаджи, Мамсуров. Он уже много лет как умер. Мне поручили написать статью о Ларисе Рейснер. Я спросил его: «Это правда, что она была такая красавица, на фотографиях она необыкновенно красива, ты ее когда-нибудь видел!» — «Как же, я слушал ее в Политехническом музее, она делала доклад». — «Что — она действительно была так хороша?» — «Алеша, я слушал лектора, я не видел, красивая она или некрасивая».

Я тоже так. Я пришел к поэту. Я не видел, красивая она или некрасивая. Я пришел не к женщине, я пришел к поэту, и разговаривал

я с поэтом. А Сережа и слушал, он умел молчать. Слушал, как разговаривает Марина, которой он всегда говорил: «Марина, вы». А она ему: «Сережа, вы». Я просидел у них часа три, очень много интересного услышал, к сожалению, я не только слушал, но и сам говорил. Я ведь не знал, что буду одним из ее эскерманов, а том, может быть, сидел бы и записывал.

Марина Ивановна казалась мне несколько, что ли, театральной. Когда я прочел книгу воспоминаний Анастасии Ивановны, я понял, что никакого ломания, позы, никакого актерства не было, она на самом деле была такая. Это было другое поколение, 12 лет разницы. Мы ужасно не любили громких слов, нас ими немного задавили. Встречаю я, например, в Париже Ладинского:<sup>[201]</sup> «Ну, как, Антонин Петрович?» — «Да вот, стишок написал», — говорит он. «А я вот романчик пишу сейчас». Она говорила об этом туманно: «Я написала поэму». Меня это шокировало. Мне казалось, что все это какое-то притворство. Эту многозначительность я заметил сразу.

Она очень много курила. У нее были желтые, как у солдата, пальцы. Разговаривала она скороговоркой и чуть-чуть лепетом. И все время говорила что-то очень интересное, очень острое. К сожалению, я ничего не записывал. Вот когда она меня припечатала... (о чем я узнал через несколько дней). Она рассказывала: «У нас был Эйснер, он мне очень понравился, он так интересно говорил о Серафиме Саровском и Серафиме Павловне Ремизовой». Действительно, это были Серафим и Серафима, и действительно я о Серафиме говорил очень горячо: только что я прочитал воспоминания о нем, совершенно потрясающие. Я был церковником, для меня все это было несомненно, вот я все и выкладывал. А Ремизова была крупным ученым, она была больна слоновой болезнью. Это меня поразило. Вот тогда я увидел, что Цветаева не только милые слова произносит, что она может гарпуном пронзить любого, попавшегося ей на язычок, она так накалывала, как в «собрании насекомых». Помню, что она сказала: «Эйснер никогда ничего не напишет, он сначала все расскажет». Тоже очень здорово. Все же это оказалось не совсем уж верно, но очень зло. Но одно я запомнил: когда она заводила речь о стихах, то говорила обязательно что-то точно и твердо.

Здесь говорят, что я, оказывается, в чем-то помогал Цветаевой, устраивал ее вечер, ничего этого я абсолютно не помню. Помню, что я

что-то внушал Фондаминскому — это один из пяти членов боевой организации эсеров, который ушел из партии после разоблачения Азефа, потому что дрался за него до конца, и стал заниматься только литературой — так вот я что-то внушал Фондаминскому по поводу Цветаевой, а он мне ответил: «Да, мы прекрасно понимаем, что она большой поэт, но она очень трудно дается. Что нам делать, если лимитрофные барышни предпочитают Георгия Иванова».

Я всю жизнь был уверен, что никогда никаким великим не писал. Но вот в сборнике Цветаевой напечатано стихотворение «Челюскинцам», и из примечаний вижу, что я написал ей: «Как это Вы миновали такую тему, как челюскинцы?» Я сидел тогда в Праге. А челюскинцы еще как-то совпали с временем. Это было безумно жаркое лето в Европе. Это же играет роль... Эти льды, эти документальные фильмы, «Красин», поиски челюскинцев, льды, холод, ветер. А тут все сидят, пьют, едят мороженое. Это стало модной, животрепещущей темой. Я ей и написал: «Как вы это могли миновать? Вы и ах, Аля (Ариадна Эфрон) в примечаниях привела эти мои слова их письма». Ответное письмо Цветаевой не сохранилось, потому что в тот момент жизни, когда я оказался в соответствующих местах, пропало все, что у меня было. Не думаю, что главное украшение сборника Цветаевой эти «Челюскинцы». Их актрисы читают вместе с юношескими стихами Марины Цветаевой и читают так всегда... У нее так кончаются стихи: «Сегодня — да здравствует Советский Союз!» Они так читают: «Сегодня — да здравствует Советский Союз!» — и «сегодня» пропадает, как это умеют делать актеры. Пример этот доказывает, какими мы были наивными, трогательными мальчишками и как легко клюнула сама Марина Ивановна, несмотря на свое отношение к делу, на эту тему.

Такими случайными кусками я вдруг стал вспоминать, что какие-то довольно долгие отношения были. В этот период я часто видел ее у Клепониных. Сергей Эфрон и Николай Клепинин<sup>[202]</sup> — оба работали в НКВД, и им не полагалось официально встречаться, поэтому Эфрон сам туда не ходил, а Марина Ивановна могла ходить как, так сказать, дама посторонняя. Она всегда приходила с Муром — с Муром она не могла расстаться. Она в кухню — он в кухню, он выйдет в другую комнату — она за ним.



А потом, где-то с 32-го года, я бросил писать стихи. Тут Цветаева стала очень плохо ко мне относиться, потому что, значит, я ее обманул. Поэт не может бросить писать стихи. Она считала, что я поэт, и она ко мне хорошо, нежно относилась. А я бросил, значит, я притворился поэтом. Она ко мне потеряла интерес, больше со мной не имела дела, то есть руку мне подавала, я руку целовал, но она со мной почти не разговаривала, цедила что-то сквозь зубы.

А потом я уехал в Испанию. В этот период наше знакомство окончательно разладилось. Она видела, что я фанатик, так же как ее Сережа и его друзья. А она искала настоящих людей, без всякого фанатизма.

Последний раз я видел ее во Франции в 1939 году.

Так что я не имею права сказать, что был с ней в дружбе долгое время. Я думаю, что никто не имеет права это сказать, кроме Сергея Эфрона.

Достаточно вспомнить о ее дружбе с Натальей Гончаровой. Эта дружба продолжалась полгода и была безумной, неразливной. Марина Ивановна была человеком совершенно потрясающей страстей, чувств, необыкновенного ума, человеком, невероятно жадным к жизни. На каждого человека она по возможности бросалась... Проглотила или высосала и отбросила, он ей больше не нужен. Так же и с Натальей Гончаровой. Она умудрилась о ней написать, никогда не занимаясь изобразительным искусством, по-настоящему им не интересуясь... (Известно, что она считала, что все вторично по сравнению с поэзией). Когда советский искусствовед, приехавший в Париж, повел ее в Лувр убедить, что все-таки изобразительное искусство — это чудо, она, когда вышла, сказала: «А все-таки в начале было слово...»

А о Гончаровой она написала как крупный и серьезный специалист в живописи. Совершенно пронзительно, точно ее определяя. И все. Больше она никогда в жизни изобразительным искусством не занималась. Кончился духовный роман с Гончаровой — она получила оттуда все, что могла получить.

А «Повесть о Сонечке». Сонечка... Вы помните, как это кончилось? Сонечка взяла и полюбила мужчину. То, что нормально было для Сонечки и что Марина Ивановна должна была понимать. Но для нее все кончилось. Это был для нее огромный кусок мира, она его выложила на бумагу. Но Сонечка-то кончилась раз и навсегда. Сонечка

еще жила здесь, но Цветаева ее не видела и ничего о ней не знала. И так со всеми.

Герой «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» — Константин Родзевич. Красивый, изящный, маленький человек, похож на Андрея Болконского. Был сыном главного врача медицинской службы царской армии. В 1918 году командовал Южной флотилией Красной Армии на Днестре. Попал в плен. Генерал Слащев<sup>[203]</sup> отменил расстрел Родзевича. Родзевич был прямой противоположностью Сергея Эфрона — ироничен, остроумен, мужествен, суховат, а в душе очень нежен. Был евразийцем, затем крупным резидентом НКВД. Его послали в Испанию комиссаром, в батальон белых эмигрантов. Там его звали Корде. В начале шестидесятых приезжал в СССР, встречался с Алей. Позже рассказывал: «Я был у нее в Тарусе, она святая, она носит в ведрах воду».

Я чувствую себя страшно виноватым перед Мариной Ивановной, виноватым в том, что мы, ее ближайшее окружение, друзья Сережи Эфрона, все в это время устремившиеся сюда (я был там самым молодым, а остальные — белые офицеры с разным уровнем образования), считали, что она, конечно, поэт гениальный, но в политике ничего не понимает. Мне надо было пережить все, что я пережил, чтобы, читая «Письма к Тесковой», увидеть, что она многое понимала лучше нас, людей восторженных, романтичных и руководствовавшихся главным образом романтикой и моралью политграмоты: строится справедливое общество и строится в нашей стране — мы должны быть там. Марина Ивановна относилась к этому совершенно иначе, и, перечитав ее письма, я увидел, что не она ничего не понимала, а это мы ничего не понимали. Она гораздо трезвее смотрела на вещи. В одном письме она пишет: «С. весь там, но видит там не то, что есть, а то, что хочет». Я не знаю, видела ли Цветаева то, что есть, или то, что было тогда, но, во всяком случае, в ней никакого нашего романтизма не было. Она судила трезво.

Сергей Эфрон с точки зрения человеческого поведения был антиподом Цветаевой — очень сдержанный, с тихим голосом. Повидимому, он был человеком очень твердым в основных вопросах. Он вел работу против эмиграции. Он был резидентом НКВД в борьбе против эмиграции. Цветаева об этом не знала. Ей в 1937 году рассказал это Бунаков-Фондаминский. Она плакала, узнав об этом... Когда

Эфрон и его помощник вынуждены были уехать, Марину Ивановну вызвали в полицию, и надо сказать, что она вела себя благороднейшим образом. Она сказала: «Что бы вы мне ни говорили и о чем бы ни спрашивали, я ничего об этой деятельности моего мужа не знала. Я знаю только, что это благороднейший и чистейший человек и ничего дурного он сделать не может».

Можно было видеть в Париже, как многие постепенно от нее отворачивались. Среди них был Георгий Адамович, которого я очень хорошо знал. Это блестящий, тонкий критик, очень интересный мыслитель и очень интересный поэт, напечатавший за всю жизнь вряд ли больше двадцати стихотворений. Цветаева его раза два «ударилла гарпуном» в своих статьях. В конце жизни он об этом забыл и посвятил ей хорошее стихотворение.

Однажды вечером мы сидели в компании, и Ходасевич «крыл» Горького. Ходасевич был блестящий, особенный поэт, но очень желчный, тяжелый и даже грубый человек. Под псевдонимом «Гулливер» он напечатал статью на смерть Маяковского, где писал: «Лошадиной поступью прошел он по русской литературе... Пятнадцать лет — лошадиный век»..<sup>[204]</sup>

После этого я перестал с ним здороваться. Когда Ходасевич ругал Горького, Цветаева встала и сказала: «Старая хлеб-соль забывается». Дело в том, что Горький полтора года кормил Ходасевича в Берлине.

Марину Ивановну я видел незадолго до отъезда. Она приходила в дом, где я жил, для оформления документов, получала деньги на дорогу и на какие-то мелкие покупки. Одно из самых трагических ее писем — последнее письмо к Тесковой, которое она бросила на вокзале. Его трудно читать без слез. В этом письме Цветаева пишет, что едет из-за мужа и детей, и есть там фраза: «Здесь меня не печатают, там не дадут писать»...

**Х. П. Кроткова**<sup>[205]</sup>  
**ИЗ ДНЕВНИКОВ**

*7 декабря 1922 г.*

Я была на первом интимнике «Скита», где читала свои стихи Марина Цветаева. На меня она произвела малоинтеллигентное впечатление, как это ни странно. Может быть, в этом виновата и ее манера держать себя. Напыщенность может быть искупаема только неподдельным пафосом, и отсутствие искренности в этом убийственно безвкусыостью.

*15 мая 1923*

Что-то он С. М. Рафальский<sup>[206]</sup> обругал по обыкновению Цветаеву за мужеподобность, за то, что «не соответствует», и кстати прибавил, что женщина всегда была тем, что требовалось мужчине, то рабой, то игрушкой, то товарищем, когда мужчина ослабел. Ну, Рейтлингер<sup>[207]</sup> взяла и очень фальшиво начала протестовать и сказала, что ненавидит его и не может с ним разговаривать. А он засмеялся и сказал: «Знаете, почему Вы меня ненавидите? Потому, что в глубине души согласны со мной». Это очень верно. Ну, и я сказала: зачем он так оскорбляет женщин, и неужели так их низко ставит, и что он может относиться только так к женщине, а не как к человеку?

*17 января 1931 г.*

Любить современных, еще живущих поэтов трудно, и рискованно, и неблагодарно... Никогда нельзя из экономии совмещать две потребности — одна всегда будет в обиде. Взять надо за правило: с родственниками не вести денежных дел; не жениться на идеале; не идеичничать с кухаркой; не дружить с людьми, ценность которых для

тебя в их отдельных, не касающихся тебя особенностях. Пуще всего нельзя знакомиться со знаменитостями (а хочется, все надеешься, что они интереснее обыкновенных людей). Иллюзии всегда терпят крушение при соприкосновении с действительностью, а редко кто обладает счастливым даром любить действительность.

Все это удерживало меня от желания встретиться и поговорить с Вами М. И. Цветаевой. Впрочем, встречалась я с Вами уже не раз, но разговаривать я избегала. Первый раз — в Мокропсах, у знакомых студенток. Вы вошли, сказали о своих квартирных неприятностях несколько фраз, говоря громко, глядя в окошко, думая не о том. День был осенний, но солнце светило ярко. В окно я видела, как Вы подымались на гору, где гулял веселый, осенний ветер, ведя за руку свою дочку (не ветер, а Вы).

Второй раз в том же 1922 году читали в «Ските поэтов» свои стихи. Я рассматривала Вас с интересом и недружелюбием — о Вашем пути я уже слышала, стихи и «Королевские размышления» читала и знала, что мой путь иной. Читали Вы красиво, как и соответствовало Вашим стихам. Они были сложны, мне не хотелось несколько фраз, исчерпывающих и осмысливающих весь мир. Волосы стрижены не то по-купечески, не то по-ямщицки, как-то по-московски. И говор московский. Этот размах, эта удаль меня и восхищала, и несколько обижала — она была высокомерна и поглощена собой.

Третий раз — на Пасхе. Шли вместе к заутрене. Служили ее в шесть вечера, так как в полночь священник должен был служить в Праге. Вы пришли из Еловищ, спустились с гор. Разговаривали не со мной и сыпали афоризмами. Мне хотелось ответить Вам такими же афоризмами, но я молчала с девятнадцатилетней гордостью.

Было еще несколько встреч. Одна — в столовой Земгора, в подземном зале, днем всегда освещенном по-вечернему.

*30 мая 1931 г.*

Только что с вечера Марины Цветаевой. [\[208\]](#)

Билеты дорогие, но публики довольно много. С изрядным опозданием на деревянной сцене появляется она — в ярко-красном вечернем платье, декольте. Держит себя очень непосредственно, но

почти не бестактно. Звонкий, не низкий голос, которым она прекрасно владеет. Вероятно, из нее вышла бы неплохая актриса. Она из тех женщин, что любят себя, умеют собой наслаждаться. Она никогда не скажет истины, потому что истина — общее место, одинаковое для всех. Но по-своему она всегда права, парадоксально права. Тем, что она сама себя так любит, она умело подчеркивает, что в ней и другим можно любить. О Мандельштаме было не очень много. Главное было доказать, что он ее любил. Очень остроумно, талант ключом бьет и не угасает. Я очень люблю этот тип — издалека. Ее красное платье и самовлюбленность меня шокировали. И все же общее впечатление прекрасное, и главное, что от нее можно еще многого ждать. Это не конец.

Был кое-кто из литературных знакомых, но мне не хотелось разговаривать ни с кем. Очень уж все это далеко от литературы. Цветаева навела меня на многие мысли, и что хорошо, мысли, имеющие отношение ко мне. Я так ясно чувствую свою противоположность ей. Во мне совершенно нет блеска.

### *Неотправленное письмо Марине Цветаевой*

Многоуважаемая и многолюбимая Марина!

Часто, очень часто собиралась я написать Вам письмо. Когда душа раздражена и целый день занимаешься «не тем», и очень тяжелым «не тем», вечером возвращаешься домой (2 километра от станции, по берегу Марны), и нарочно, назло начинаешь думать, продолжая годы назад неначатое письмо Вам. Назло — судьбе, которая самым очевидным образом «не та». Чтобы Вы не поняли, надо было бы писать подробно: о шестом чувстве бумаги с детства, о стихах с шести лет, о Тарусе — уездном городе в три тысячи жителей, расположенном на берегу Оки, в котором я провела детство и где жили Вы. Вы приезжали туда на пароходе со станции «Ока», маленькой суетливой «Бабушке», или на «Владимире Святом». Или же со станции Тарусской, 17 верст на лошадях. Выезжая из Страховского леса, лошади разгонялись и к Оке подлетали во весь дух. Где Вы гуляли в Тарусе? Вдоль смирной речки Таруски, на Игнатьевской горе, где росли самые крупные ландыши, или ездили лодкой на Улайские

обрывы над Окой, о которых ходили жуткие легенды — говорили, что и до сих пор там бродит разбойник Улай, лишенный за свои грехи смерти и предлагающий одиноким заблудившимся путникам поменяться с ним судьбой.<sup>[209]</sup>

(Вы бы с ним поменялись?).

Надо бы написать Вам также о Праге, о Мокропсах, о Еловищах. В Мокропсах я увидел Вас в первый раз. Мы ведь с Вами даже знакомы. Помню, шли вместе с какой-то компанией в заутрене на русскую Пасху. Вы шли не останавливаясь и говорили тоже не останавливаясь — то афоризмы, то парадоксы, по очереди, и получалось довольно надменно — говорили ни для кого, а просто потому что приходило в голову. Все это меня злило — мне казалось, что я могла бы достойно Вам ответить, но не решалась, и так и промолчала все время.

Впрочем, самый первый раз я видела Вас на вечере «Скита поэтов», где Вы читали свои стихи. Вы мне не понравились, то есть, Вы были не такая, какой я требовала быть поэтессе. Но стихи Вы читали хорошо, и если Вы оказались не такой, как мне хотелось, то все же очень интересной, может быть, даже интересней, чем я могла бы придумать.

В Земгоровской столовой, помещавшейся в каком-то подвале (впрочем, с зеркальными стенами), я встречалась с моим другом — как и я, студенткой-химичкой. Я не только писала стихи, я жила ими. Прочитанная строчка давала оттенок ближайшим дням. Словесный орнамент становился символом и маячил над неделями. То Блок, то Пастернак, то Мандельштам, то Белый, то Вы. Тогда для меня звучали все поэты, даже самые бесталанные — я угадывала, что у них дрожало в душе, то, что у них не удавалось, а иногда это интереснее удавшегося.

Сидим с Таней<sup>[210]</sup> в Земгоре над остывшим борцом. Декламируем Гумилева, который затмевает все: стынувший борщ и лабораторию («Давай пропустим сегодня, будем стихи читать...»), и вообще всю жизнь, которую пора, пора устраивать, ведь это еще не жизнь, а какое-то предвкушение; не жизнь, а ветер, несмолкающий ветер кругом, который слышишь, который хочешь видеть, и кто, неуловим, гремит вокруг тебя.

И вдруг входите Вы. И садитесь за наш столик. Я на Вас смотрю. То есть я на Вас не смотрю. Я только посмотрела через Вашу голову, заметила Ваши волосы. Гумилев захлопнут. К Вам кто-то подходит, и Вы с ним разговариваете о Вашем сборнике. Вы выливаете кофе на свое коричневое платье и говорите рассеянно:

— Талантливо, талантливо...

Я боюсь, что подойдет К. Р. Кочаровский<sup>[211]</sup> и, как всегда грозился, познакомит меня с Вами. Я этого не хочу.

И еще один раз в том же самом Земгоре. На этот раз я сидела одна, как всегда очень взволнованная стихами и жизнью. Ждала не то обеда, не то Таню, не то судьбу. Входите Вы. Садитесь за соседний столик, лицом ко мне. Полчаса я мысленно разговариваю с Вами. Я начала бы так:

— Вы знаете, я тоже пишу стихи... (процитировала бы что-нибудь, самое удачное).

Или:

— Катя Рейтлингер мне говорила, что Вы написали стихи о жаворонке, слушаешь, улетаешь (Вы мне читаете, я критикую, очень тонко, и Вы понимаете, что я понимаю).

От времени до времени я взглядываю на Вас. Начать уже? Нет, надо сначала хорошенько обдумать. Пообедав, Вы встали и ушли. Я очень расстроилась, неужели Вы не могли еще подождать.

Кочаровский познакомил меня с Ч...<sup>[212]</sup>

Вашей доброй знакомой, с которой Вы часто виделись. Вы жили тогда в Еловищах, я встретила Вас с ней в лесу. Вы говорили о пляже в Мокропсах, о рыбе, о Версале. Я обещала к Вам прийти. Никогда не пришла. Из гордости. Впрочем, и незачем было идти.

Стихи Ваши я полюбила позже. Вы уже уехали в Париж, я вернулась из Италии, делала докторат по химии (на каждой странице вперемежку формулы и черновики стихов). Дома часами читала и писала стихи. (За чтение часами вслух приобрела любовь богобоязненной старушки-соседки — молодая, а каждый день псалмы читает, душу спасть не забывает...)

В Париже я один раз была на Вашем вечере, когда Вы читали о Мандельштаме. Вы оказались неувядаемее меня — Вы еще говорили к людям, вероятно, Вам это было еще интересно. Ваша живость меня утомляла (я в тот день не обедала). Ваше красное платье дразнило



меня, как быка. Ваша дочь выросла, а Вы нет. Стихи у меня в душе проходили медленнее и чревоущательнее. Мне казалось, что меня отделяет от людей не воздух, а плотная струящаяся вода, и через нее лучи доходили преломленные, а звуки звонкие, но искаженные.

Еще один раз я видела Вас на каком-то литературном вечере. По заметке в газете я знала, что Вы будете. Я разглядывала публику и не могла Вас узнать, а узнав, дрогнула. Что с Вами стало? Что сделало Вас тихой и ласковой? Это грустнее всего, что можно было бы себе вообразить. Я знаю, что и внутренне, и внешне Ваша жизнь тяжела (будь она легкой, Вы бы инстинктивно сделали бы ее тяжелой). Я знаю, что сейчас Ваша настольная книга — Эпиктет, что Вы в смиренном искусстве чистите картошку и воспитываете сына, отрывая священное время от стихов. При Вашей строптивости, сложности, размахе — почему вдруг тишина, почему внимательность, хоть временные? Откуда и куда они?

Кончаю сейчас писать, но это еще не конец наших отношений, ибо и Вы как-то ко мне относитесь. Это мне, безымянному, но понимающему читателю, пишите Вы свои неистовые стихи.

Пока же, просыпаясь ночью, если усталость и возбуждение не дают спать, буду продолжать мысленно писать Вам. На сегодня довольно, дорогая Марина, примите без снисхождения это необъяснение в любви.

# **Елена Извольская**

## **ПОЭТ ОБРЕЧЕННОСТИ**

### **(Из воспоминаний о Марине Цветаевой)**

*Я изучил науку расставанья*

*Осип Мандельштам*

В сороковых годах, в самый разгар борьбы против Гитлера, в литературном мире произошло два трагических события, так или иначе связанных с войной. Писательница Вирджиния Вульф погибла в Англии, поэт Марина Цветаева — в Советской России. Обе покончили жизнь самоубийством.

Причины, толкнувшие английскую писательницу на путь отчаяния, до сих пор не вполне ясны. Она не пострадала от войны в прямом смысле слова. Хотя и подверглась бомбардировкам и лишилась некоторой части имущества, однако она не была выбита из колеи, не потеряла близкого на войне. Но из записей в ее дневнике, внесенных чуть ли не накануне смерти, мы знаем, что кажущееся в то время окончательным торжество нацизма повлияло на ее психику, уже долгое время подорванную частыми припадками депрессии.

Марина погибла от войны и хаоса, созданного вторжением Гитлера в пределы России. Погибла также и от страшных личных бед: она не только потеряла расстрелянного мужа и убитого на фронте обожаемого сына,<sup>[213]</sup> но и сама оказалась нежеланной гостьей, загнанной в жуткий тупик.

Осталась ли бы Марина Цветаева жива, в других, менее трагических обстоятельствах? Вот вопрос, который невольно встает перед нами. Трудно на него ответить. Для меня особенно, так хорошо ее знавшей и глубоко ее любившей. Мне кажется, что гибель ее не так легко отнести только к последним событиям. Вся жизнь ее была «залогом свиданья» с именно такой смертью.

Марина Цветаева была обреченным поэтом и поэтом обреченности. Это вовсе не значит, однако, что она страдала от какой либо врожденной меланхолии. Она была удивительно вынослива и

физически и духовно, особенно духовно. За все десять лет, когда мы с ней почти постоянно встречались, она ни разу при мене не падала духом, ни разу не жаловалась на судьбу. Иногда бунтовала, «щетинилась», стиснув зубы и сжав кулаки, когда становилось «невтерпеж». Но и в такие минуты, она с удивительной стойкостью переносила нищету, одиночество и отсутствие признания со стороны других. Она принимала свою судьбу таковой, какой она была, потому, что это была — судьба поэта.

Нищета, непризнанность, одиночество, — эти три креста отметили жизненный путь Марины задолго до ее трагического конца. И под сенью этих крестов вспоминается мне она. Люди, окружавшие ее в эмиграции, и те, которых она встретила в Советской России, несут каждые по своему, ответственность за ее страдания. Не нашлось для нее за рубежом не только оценки и помощи, но той простой человеческой теплоты, на которую она имела бесспорное право. Кроме нескольких друзей искренно почитавших ее дарования, с ней обращались незаслуженно сурово. А там, на вновь обретенной родине, к ней отнеслись крайне безжалостно.

Однако все это не дает нам ключа к трагической развязке. И, быть может, совсем напрасно там его искать. Развязка, как во всякой подлинной трагедии была заложена с самого пролога. И если не было хора, то сама Марина была не только действующим лицом, но и корифеем.

Вот почему Марина — незабываема. Все, что она делала, говорила, думала (часто при нас, вслух) носило печать какой-то избранности. Покуда она была жива среди нас, многие ее думы оставались непонятными. Только теперь, после ее смерти, начинаю их мало помалу расшифровывать.

Время уходит так быстро и с ним дорогие образы. Минуло уже двадцать лет с лишним со дня смерти Марины. Ее начинают признавать в Советской России, о ней много пишут и ее часто печатают за рубежом. Но мало осталось людей, не только хорошо ее знавших, но вообще не помнящих.

Вот и я уже вижу лицо Марины в тумане, боюсь утратить черты, которые по непонятной мне причине не одна фотография не воспроизводит в точности. Да и мало вообще осталось от нее фотографий или рисунков. И все же, думаю, что не забуду! Такой

большой, трудный, странный и обаятельный человек, как она, продолжает жить вне времени и пространства.

Постараюсь восстановить ее образ; если он несколько стушевался, если нет портретов, могущих удовлетворить меня, — есть зато автопортреты. Так я назову ее собственные самоописания, а их очень много и в стихах и в прозе. Стоит только внимательно ее перечесть.

Для тех, кто не знал ее, эти самоописания могут показаться лишь случайными набросками, намеками на что-то неопределенное, брошенное мимоходом. Другим эти зарисовки наоборот покажутся «деланными». Уж очень много в них пафоса, а иногда вдруг они переходят в игру, в кокетство... То Марина сравнивает себя с аравийским конем, то с юным офицером. Некая суровость сочетается с удальством, женская ласковость с мужественной, мужской твердостью. Она изображает себя то как неземное, эфирное существо, тол как патетическую, необыкновенно возвышенную героиню, почти пророчицу.

«Неужели Цветаева действительно была такой?» — спрашивает недоуменный читатель. На это я могу ответить: «Да, именно такой я ее знала».

Марина не только раскрывала в писаниях свою душу, или вернее частицу своей души. Она очень метко и остроумно зарисовывала свой физический облик. При всей своей близорукости, хорошо себя видела, совсем как в зеркале. Даже чуть-чуть иронизировала, усмехаясь, сдвигая брови, чтобы лучше себя разглядеть. Вот один из ее автопортретов изображающий ее на вечере «девяти поэтесс» в 1920-м году, в Москве:

«Я в тот день была явлена миру в зеленом, вроде подрясника — платьем не назовешь... честно, то есть тесно стянутом не офицерским, а юнкерским, 1-ой Петергофской школы прапорщиков, ремнем. Через плечо, офицерская уже сумка (коричневая, кожаная) для полевого бинокля или папирос... Хвалили тонкость талии, о ремне молчали».

Молчали потому, что этот юнкерский ремень принадлежал ее мужу, Сергею Эфрону, в то время ушедшему на Дон с добровольческой армией. И Марина во всеуслышанье читала на этом вечере при коммунистах свои стихи из «Лебединого Стана»:

— Что делали? — Да принимали муки,  
Потом устали и легли на сон.  
И в словари задумчивые внуки  
За словом: долг напишут слово: Дон.

Портрет юмористический молодой женщины в зеленом «подрячнике»; портрет бесстрашия! Несомненно, читать такие стихи в Москве двадцатых годов, да еще в присутствии знатных коммунистов, было не безопасно. О гражданских стихах Марины Цветаевой нужно было бы написать особо. Быть может, их нельзя назвать «гражданскими» в узком смысле слова. Она сама пишет в своих воспоминаниях, что если в те дни и «бросала чепчик в воздух», то этот чепчик летел «выше башен», «минуя литой венец на челе истукана — к звездам».

Портрет свободного духа Марины: ее отказ от служения каким либо богам-истуканам! Эту черту необходимо учесть тем, которые пытаются отнести Марину к тому или иному другому лагерю. «Двух станов не боец» могло бы быть сказано именно о ней; во всяком случае по всему ею написанному на этот счет совершенно невозможно толковать ее возвращение в Россию как «возвращенство». В ней не было гражданского культа. Однако же было, в стихах, чувство истории, отзвук на события, особенно в первых своих сочинениях.

Но вернемся к внешнему облику Марину. Да, она была именно такой, как себя описала на вечере «поэтесс», и такой я ее встретила в тридцатых годах в Париже. Правда, у нее больше не было «сумки для бинокля», но было всегда множество сумок и мешков, в руках и «через плечо». И непременно — большой клеенчатый базарный кошель. Она в нем носила все, что удавалось достать для своего бедного житья-бытья: дешевая провизия, лакомства, которые ей дарили друзья, и собранные во время прогулок трофеи: грибы, ягоды, хворост и цветы. Был, конечно, у нее портфель, набитый бумагами, книгами и папиросами. Так запомнилась мне Марина, как некрасовский Влас, с «сумой». Но и с тонкой талией, перетянутой ремнем, уже не юнкерским, а каким-то черкесским.

Недаром, недаром черкесская талья  
И тесный ременных кушак.

Интересно повторение темы «тесного» кушака, ремня. Это — принадлежность Маринино одеяния, и символ ее внутренней строгости, собранности.

Платья Марины, наскоро сшитые или перекроенные, все так же напоминали «подрясники». В них было что-то монашеское. Но как ни странно, она всегда нам казалась изящной. Для вечеров, на которых она читала свои произведения, Марина приодевалась и появлялась в зале в красивом костюме, в ожерельях и браслетах. В эти праздничные дни, но и в будни она поражала своей стройностью, достоинством:

Как будто сама я была офицером  
В октябрьские смертные дни.

И действительно, Октябрь, революционная Москва, голод, холод, страх этих уже далеких голых двадцатых годов еще как будто тяготели над ней тогда, как многие уже успели о них забыть, устроившись на теплые места.

У Марины был тонкий, точно из слоновой кости выточенный профиль. Вся она производила впечатление тонкости, легкости, невесомости, но насыщенных напряжением мускулов, нервов, духа. В юности, как она рассказывает, ее раз приняли за Есенина, из за вьющихся светлых волос на затылке, казавшийся тогда мальчишеским. Это ее очень забавляло, но я ее такой не знала.

Помню ее коротко-обстриженные, гладкие волосы, чуть подернутые дымкой первых серебристых нитей. Туман усталости, скрытой скорби, заволакивал ее бледно-зеленые, близорукие глаза. Она была очень бледна, точно вся кровь отхлынула. Тонкие губы были сжаты. Но когда она читала свои стихи, она оживала, искрилась, как озаренная ярким солнцем.

Вот, кстати, ее автопортрет за чтение стихов на вечере «поэтесс»:

«Стою как всегда на эстраде, опустив близорукие глаза к высокоподнятой тетрадке, — спокойная, переживаю (сейчас же

наступающую) тишину: и явственнейшей из дикций, убедительнейшим из голосов...»

Да, именно так читала Марина и при мне, в Париже. Хочется воскликнуть: «Как похоже! Как верно схвачено! Тут и крайняя близорукость, и жест высокоподнятой руки с тетрадкой, точно дирижирует оркестром, или хором, и „убедительнейшие“, властные интонации».

Даже если позабыть лицо Марины, не забыть ее голоса. Не только на эстраде, но и дома, и среди друзей, она оставалась корифеем. У нее был звонкий, довольно низкий тембр, легко переходивший к высоким нотам. Она говорила сдержанно, но как власть имущая; речь ее напоминала звон бронзы.

Не будучи чисто автобиографическими, стихи Цветаевой почти все отражают важные, значительные моменты ее жизни, или перелом в настроении, новый решительный этап. Очень характерно ее стихотворение «Тоска по Родине». В этих стихах она отрешается от прошлого (Россия) но не принимает и приюта в чужой стране. «Тоска по родине, давно разоблаченная морока», пишет она и далее:

Мне совершенно все равно  
Где совершенно одинокой  
Быть, по каким камням  
Брести с кошелкою базарной.

И вот базарный кошель «сума», превращаются в символ вечной странницу. Жаль, что стихи эти не помечены никакой датой, но мысль о своей страннической судьбе Марина часто при мне выражала, это была ее любимая стихия: не отречение, а отреченность. Ужиться, в бытовом смысле, она могла «все равно». Но одну Россию чувствовала и понимала. Если не ошибаюсь, иностранных пейзажей, в ее творчестве почти нет.

О многом пережитом Марина нам часто рассказывала: она умела это делать необыкновенно красочно и живо, с «изображениями в лицах», или подражая чужим голосам и интонациям. Мы не могли послушаться. Ведь она знала всех поэтов «Серебряного Века» и следующими за ними поколениями, от Блока до Пастернака. Со

многими дружила, некоторых горячо любила, как своего «Макса» Волошина. Она мало кого ненавидела, никому не завидовала, перед поэтическим или художественным талантом других — преклонялась. Любила также обыкновенных, простых людей, привязывалась к кошкам и собакам также страстно, как и к человеческим существам.

В тридцатых годах мы с Мариной жили почти рядом в Медоне, маленьком и живописном парижском предместье. Она часто приходила к нам в дом, где, кроме нас с матерью, поселилось много русских. Напротив дома была русская бакалейная лавка, в которую мы все постоянно забегали, и которая превратилась в нечто вроде клуба.

Марина была очень популярна среди жителей нашего дома, хотя лишь немногие читали ее стихи. Политические убеждения у всех были разные, и даже в семьях все горячо спорили. Марина декламировала одним стихом о белом движении, другим читала свою поэму «Молодец», фольклорного содержания. Ее ни те, ни другие не понимали, но установилось «мирное сосуществование».

Мы часто навещали Марину. Она всегда была рада нам и вела с нами, бесконечные беседы: о поэзии, об искусстве, музыке, природе. Более блестящей собеседницы я никогда не встречала. Мы приходили к ней на огонек и она поила нас чаем или вином. А по праздникам баловала нас: блинами на масляницу, пасхой и куличом после светлой заутрени. Мы вместо ходили в маленькую медонскую церковь Св. Иоанна Воина, очень скромную, но красиво расписанную. Марина редко говорила о религии, но просто и чистосердечно соблюдала церковные обряды. Заутреня в Медоне была как-то продолжением пасхальной ночи в Москве.

В надежде облегчить трудную жизнь Марины мы однажды попытались заинтересовать в ее творчестве французские литературные круги. Как раз в это время она закончила французский перевод своего «Молодца», и была приглашена в один из известных в то время парижских литературных салонов..<sup>[214]</sup>

Я сопровождала Марину и очень надеялась, что она найдет в нем и помощь и признание. Марина прочла свой перевод «Молодца». Он был выслушан в гробовом молчании. Увы! Русский парень не подошел к царствующей в этом доме снобистической атмосфере. Думаю, что в других парижских кругах ее бы оценили, но после неудачного выступления — Марина замкнулась в свое одиночество.



В другой раз, однако, «Молодец» спас своего автора. Как известно, в 1930 году, муж Марины, Сергей (Сереза) Эфрон был заподозрен в темном деле и внезапно бежал из Франции в Испанию, а затем в Советский Союз. В ту же ночь полиция арестовала Марину, увезла ее в участок и стала допрашивать. Ничего не зная о деятельности Серези, которую он от нее тщательно скрывал, Марина не могла ответить на вопросы французских полицейских. Можно себе представить ее ужас и страх. В то же время, лояльность, абсолютное доверие к Серезе, не были поколеблены. Она вдруг стала говорить очень тихо по-французски. Полицейские в недоумении ее слушали. Из уст ее лились — стихи, стихи и еще стихи. Странное дело, но это чтение произвело огромное впечатление. Ее слушали с уважением и наконец отпустили. С тех пор никто не тревожил.

Этот эпизод, описанный мне достоверным другом, нас глубоко потряс. Впоследствии я видела и саму Марину. Под впечатлением всего пережитого она очень изменилась. Не то что состарилась, или похудела, но в ее глазах появилось нечто холодное, чужое, точно испытанный в ту ночь страх застыл в них. Она была оскорблена, как «конь арабийский».

В эти тяжелые дни она еще приходила несколько раз к Бердяеву, который с глубоким состраданием обращался с ней, оберегал ее, как больную. И действительно, она была сломлена задолго до отъезда в Россию. Я была несказанно огорчена этим отъездом, но зная ее, поняла, что она исполняла долг абсолютной верности по отношению к Серезе. Она не искала, не могла искать там ничего другого. Раскроем еще раз ее воспоминания: в них она пишет о том, что в детстве она как будто выбрала уже свою судьбу, или вернее судьбу Татьяны. У пушкинской героини были, как пишет Марина, «все козыри», но она не «играла». И как Татьяна, она, Марина, сделала свой выбор «между полнотой страдания и пустотой счастья».

В этих словах, мы находим, наконец, ключ, который многие ее биографы ищут и еще долго будут искать совершенно, нам кажется, понапрасну. Она была человеком обреченным и поэтом обреченным по собственному выбору, «отродясь и дородясь», как она сама пишет.

Будучи сама обреченной, Марина Цветаева делила обреченность других. Она любила, дружила, «шла в ногу» с теми, которые страдали, теряли, «не играли» и не «выигрывали». Почти все ее стихи и многие,

многие строки ее прекрасной прозы полны словами о потере, разлуке, расставании, смерти. Читая ее переписку с Анатолием Штейгером, мне было совершенно ясно, что это была для нее в первую очередь и только — переписка с умирающим, — с самой смертью. Не нужно искать в ее письмах к нему каких-то посяганий на земное счастье, на какие-то встречи, здесь, под нашим солнцем. Правда, она пишет об этой встрече, о возможности выздоровления, она напрягает эту тему, как струну, до отказа, зная, что она оборвется. В этом было, как она сама говорила «величие мифа».

Даже обыкновенную дружбу Марина умела преобразить в «миф». Приведу пример из личных моих с ней отношений. Во время нашего пребывания в Медоне мне пришлось принять важное решение: уехать надолго из Франции. Решение это было для меня очень трудным. Марина превратила мой отъезд в настоящую драму. Это не значит, что она особенно горевала обо мне. Нет, в ее глазах, в моей жизни кончались «будни», наступило время тревоги, неуверенности, полета в неизвестность.

Марина ко мне зачастила, приходила ко мне несколько раз в день, баловала, дарила книги, развлекала стихами и рассказами, помогала мне укладываться, или, скорее, мешала своей хлопотливостью. Мое приближающееся путешествие превратилось в миф. Разлука действительно сделалась трагедией. Помню Марину на вокзале, когда я села в вагон. Она стояла на перроне, бледная, безмолвная, неподвижная, как статуя. Эти проводы напоминали скорее похороны.

Волею судеб я вернулась во Франции через несколько месяцев. Марина не выказала особой радости. Мы продолжали дружить, но прежний пафос, пафос разлуки навсегда исчез. Я перестала быть героиней мифа!

Увы, ни она, ни я не думали, что вскоре нам предстоит иная разлука. Или быть может тогда, на вокзальном перроне, провожая меня, она уже прощалась со мной навеки, не в земном только плане. Было нечто пророческое в этой неподвижной фигуре. Да, то было предвестием катастрофы, ее катастрофы. Марина ушла в ночь и у меня ничего не осталось, кроме печали о ней навсегда.

**Лидия Эпштейн-Дикая**<sup>[215]</sup>

## **ВСТРЕЧА В БЕЛЬГИИ**

Клуб русских евреев был создан выходцами из России при Антверпенской диамантной бирже. В программу клуба входили культурные начинания.

В зимний сезон 1932 года клуб пригласил Марину Цветаеву. Главными членами клуба были диамантёры,<sup>[216]</sup> но и малоимущий слой русско-еврейской интеллигенции принимал участие в его деятельности.

Так что встречу Марины Ивановны на Центральном вокзале возглавлял Леонид Семенович Пумпянский, горный инженер из Петрограда, который заведовал студенческим пансионом при участии бывшей земской фельдшерицы Елены Васильевны Соколовской.

Пансион занимал типичный скромный бельгийский домик. С улицы дверь открывалась в коридор, который, минуя лестницу, ведущую в этажи, упираясь в кухню. Из коридора дверь направо вела в гостиную, с порванным, почерневшим линолеумом на полу, с двумя истрепанными креслами, тахтой, круглым столиком и пианино. Гостиная переходила непосредственно в столовую с окнами во двор, и, таким образом, две приемные комнаты занимали всю длину дома, от улицы до двора. Удобства самого примитивного образца находились во дворе, куда можно было проникнуть только через кухню. В это «палаццо» и привели Марину Ивановну.

Почему никто из диамантёров, располагавших прекрасными квартирами, не оказал гостеприимства приглашенной поэтессе, осталось неизвестным. А вот нам посчастливилось.

Марина Ивановна оказалась стройной худой женщиной, очень скромно одетой, с уставшим бледным лицом. Так она мне запомнилась.

Перекочевав на ночь к подруге, я предоставила свою комнату Марине Ивановне. Постелила чистые простыни, затопила печурку, принесла из кухни ведро угля и кувшин воды для умывания.

Марине Ивановне не потребовалось и четверти часа, чтоб освоиться на новом месте. После чего она вышла на лестницу и,

встретив меня, сообщила, что с удовольствием провела бы оставшееся до ужина время со студенческой молодежью, которую и приглашает в свою комнату.

Нас было человек шесть. Мы расположились на тахте, а Марина Ивановна села в кресло к нам лицом и читала нам свои стихи. Читала она очень просто, точно вела беседу. Окончив чтение, спросила, если ли среди нас кто-либо, кто пишет стихи, и благосклонно прослушала бойкие стихи одного юноши. Затем начала с нами знакомиться, то есть расспрашивать о каждом из нас.

Мы предложили Марине Ивановне показать ей город и порт и гурьбой дошли до Шельды, где небольшой пароход делал поворот. Возвращаясь с противоположного берега, мы любовались ярким заревом, на фоне которого вырисовывались собор, башни и высокие здания Антверпена.

— А останется ли у вас в памяти наша встреча и этот прекрасный вид и отразится ли это как-нибудь на вашем творчестве? — спросил Цветаеву Яша.

— Это вполне возможно, — отвечала Марина Ивановна, — ведь никакие впечатления не остаются бесследными.

После ужина решено было запечатлеть нашу встречу с М. И. на фотографии. Мы сгруппировались в гостиной, и Яша навел объектив, но вдруг опустил аппарат и обратился к Елене Васильевне, которая встала в центр группы, прося ее обменяться местами с Мариной Ивановной, стоявшей сбоку.

— Что, — грозно сказала хозяйка, — эту ободранную кошку в середину, а меня с краю! В этом случае я предпочитаю не сниматься...

— Вы себя неприлично ведете, — воскликнул Пумпянский, пока Елена Васильевна гордо выплывала из комнаты, а мы окружили Марину Ивановну, которая никак не реагировала на случившееся, будто бы это ее и не касалось.

Снимок был сделан с Цветаевой в центре нашей группы и пропал во время войны и оккупации.

На следующий день состоялось чтение в клубе с несомненным успехом.

Перед своим отъездом Марина Ивановна снова собрала нас в своей комнате. Яше она написала стихи на память. Узнав, что я летом езжу к родителям во Францию, приглашала меня к себе в Париж,

обещала познакомить меня со своей дочкой Алей, почти что моей сверстницей, и тоже написала мне стихи на память. Наизусть я этих стихов не помню, но знаю, о чем в них шла речь: «В пустыне подходит изможденный путник к шатру одинокой женщины. Приютив его под своим кровом, она за ним ухаживает. Набравшись сил, он продолжает свой путь. Она остается одна в ожидании случайного путника, нуждающегося в помощи»..[\[217\]](#)

Это то, что сохранила моя память. Но верна ли она?

*Париж, январь 1990 г.*

**Галина Родионова** [\[218\]](#)

## **В ПРОВАНСЕ В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ...**

Я знала Марину Ивановну Цветаеву и даже была с ней в дружеских отношениях. Я встретила с ней, когда мы обе прошли половину нашего сложного, с неожиданными поворотами пути, на полдороге очень трудной жизни Марины. Наши стежки-дорожки неожиданно сошлись в жарком синем Провансе в предвоенные годы, и мы сразу же пошли рядом, и на довольно долгое время.

Впервые увидела я ее среди приморских сосен и виноградников Фавьера — так называется местность на берегу Средиземного моря, у подножия невысоких отрогов Маврских гор. В живописный этот, благословенный уголок Прованса съезжалась творческая богема всех стран — художников привлекали яркие краски, писатели и поэты искали здесь вдохновения.

Потянулась в Фарвьер русская интеллигенция: Саша Черный построил сказочный «пряничный» домик среди сосен, причудливо расписал свой теремок Иван Билибин, маститый Гречанинов, любивший комфорт, снимал на лето одну из фавьерских вилл. Во главе с вдовой Ильи Мечникова поселились здесь и русские ученые, сотрудники Пастеровского института. Возник целый русский городок, его называли *cité Russe* — так и писали на конвертах писем.

Предприимчивые дамы из Одессы понастроили длинные домишки с отдельными комнатками, дешевое общежитие, его называли Авгиевы конюшни. Хозяйки кормили дешево своих постояльцев русским борщом и пирожками. Вот сюда и приехала погреться на солнце, отдохнуть от тяжелой парижской зимы Марина, поселилась в «конюшнях».

Весть о приезде Цветаевой взволновала русский поселок, многим захотелось ее повидать, послушать, как она сама читает свои стихи. Февьерская творческая интеллигенция, зная об очень трудном материальном положении Цветаевой, воспользовалась таким желанием, и на террасе одной из вилл были организованы ее чтения. Приглашались все желающие, деньги «за билет» опускали в ларек-копилку у входа на виллу.

Вот на таком чтении я и увидела впервые Марину, услышала своеобразные ритмы и интонации в ее чтении, услышала ее глуховатый, негромкий голос. Многие стихи я уже знала, но вот «Девический дагерротип души моей» (о ее девичьей комнате) и «Я в смерти нарядной пребуду» (об осенней рябине)<sup>[219]</sup> услышала впервые. После чтения я подошла к Марине, поблагодарила ее, сказала ей что-то о стихах. Она посмотрела на меня внимательно, невидящим и в то же время чуть колючим взглядом.

Я не совсем согласна с Эренбургом, когда он пишет, что у Марины были «растерянные глаза».<sup>[220]</sup>

Она просто была очень близорукой, ничего не видела, натыкалась на предметы, не видела, что подавали ей на тарелке. Почему она не носила ни очков, ни пенсне, я не знаю. Когда же на близком расстоянии она всматривалась в кого-нибудь, глаза ее делались пронизывающими, часто — колючими, очень редко — ласковыми, иногда они мерцали. У нее была привычка морщить лоб — возможно, от близорукости, что придавало ей слегка надменный вид. Одета она была очень обычно: светлое платье с коричневым узором, не очень элегантное, но и не некрасивое. Коротко острижена, много седины в ее когда-то светлых волосах, что французы называют метко «sel et poivre» (перец и соль). Легка, по-девичьи тоненькая, узкие ладони, узкие длинные ступни ног.

Мои взволнованные замечания, по-видимому, чем-то ее заинтересовали, и мы договорились встретиться на пляже и побеседовать в спокойной обстановке.

Я пришла в названные ею время и место, она уже поджидала меня. На ней были синие полотняные шорты и светлая блузка, легкая провансальская большая шляпа. Она показалась мне прощу, не такой надменной. Обычно Марина носила шорты. Она не любила одеваться: ей было безразлично, что на ней надето, ничем не украшала она свои скромные туалеты, не носила ни брошек, ни бус, ни клипсов. Была в ней какая-то усталость, надломленность (приходили на память слова: «Острою секирой ранена береза»)<sup>[221]</sup> и в то же время страстность и порою исступленность. Говорила быстро, оживленно, всегда интересно, даже и обычный разговор превращался в философский театр.

Мы стали встречаться на пляже ежедневно. В Фавьер на лето приезжали русские, но Марина сторонилась их, вероятно, потому, что и я часто бывала одна (я была француженкой — по паспорту). Марина легко как-то пошла навстречу мне, моей дружбе. Как и я. Марина не находила общих с эмигрантами слов, ей не по душе было их чванство: они считали себя вше «этих французигов», которых, в сущности, и не знали, гордились тем, что у них «есть душа» (у французов ее нет), сравнивали культуру своего умного профессора с культурой виноградаря-фермера. Марина посмеивалась над тем, что все они были офицерами императорской гвардии или гвардейского экипажа, к своим русским фамилиям приписывали аристократическую приставку «де» — «де-Пряжкин», «де-Иванов». Настоящая же знать, аристократия чуждалась этих «гвардейцев», вращаясь во французском обществе, с которым была связана узами смешанных браком. (Буржуазия, имевшая деньги в заграничных банках, жила тоже очень замкнуто.) Что особенно возмущало Марину, так это язык эмигрантов; они, гордясь тем, что говорят по-русски, говорили на какой-то невероятной тарабарщине, прибавляя русский суффиксы и флексии к французским словам, спрягая и склоняя эти слова по правилам русской грамматики. Марина говорила возмущенно: «Галя, да ведь это же настоящее варварство». Она смеялась над тем, как две эмигрантки — одна из Парижа, другая из Берлина — не могли никак понять друг друга. Об этом в веселом фельетоне рассказала Тэффи, и Марина, у которой были иные, чем у Тэффи, взгляды и убеждения, говорила смеясь: «Спасибо Тэффи. Вот молодец. Как остроумно!» Эмигранты говорили об авионах (самолетах), аксиданах (авариях), ели они «паты» (макароны), их жены хорошо «кудрили» (шили) и т. д. «Ну кто же их в Москве поймет, когда они вернутся — и если вернутся туда?» — возмущалась Марина.

Однажды Марина сказала мне: «Знаете, Галя, очень мне нравится сказочное фавьерское лукоморье — хотя вместо дуба и растет вот эта старая большая сосна и нет ученого кота. Но мне очень трудно жить и работать в „конюшнях“, раздражает варварская тарабарщина, раздражает и то, что смотрят на меня как на любопытный экспонат, хотя многие моих стихов не читали или не поняли. Не знаю, что и делать! И в Париж не хочется возвращаться!» Я посоветовала ей снять помещение у фермеров. У меня были товарищи среди фермеров-



коммунистов, и у одного из них я нашла чердак над хозяйственной постройкой. Чердак большой, прохладный, с отдельным ходом — нужно было подниматься по деревянной крутой лестнице. Вот и поселилась там Марина, и этот чердак на довольно долгое время стал ее пристанищем.

Я зашла посмотреть, как она там устроилась, и немало удивилась. Она не пыталась создать в этом помещении, где ей предстояло жить, даже видимость «грошового» уюта, здесь не было ничего, что бы говорило о присутствии женщины. Даже постоянного спутника женщины — зеркала, ни большого, ни маленького, не было. Только одно, очень небольшое в сумочке. Ни любимых гравюр, ни эстампов, ни фотографий. В Провансе — изобилие цветов, но ни одной розы или амариллиса на столе. Два топчана, покрытых чем-то темным, без всяких пестрых подушек и подушечек. Большой стол завален книгами, открытками, закрытыми, белыми листами не исписанной еще бумаги, остро отточенные карандаши, и все засыпано пеплом и мелкой крошкой пахучего табака-самосада. На углу стола — керогаз для приготовления несложного обеда. Как безразлично было Марине, что на ней надето, ей было безразлично, что есть. Она и не говорила никогда о своих меню и не делала попыток, как другие приезжие женщины, приготовить вкусные и острые провансальские блюда. Вот большой бонбон вина (большую бутылку оплетенную мягкой соломой) по ее просьбе я ей достала. Я никогда не видела, чтобы Марина пила скверную эмигрантскую водку, но терпкое, самодельное виноградное фермерское вино — пинар — она очень любила медленно потягивать из большого стакана. Мы пристроили бонбон на чердаке.

Мне случалось бывать в богемных квартирах, но обиталище Марины нельзя было сравнить даже с ними. Казалось, что здесь начали и не закончили уборку или собираются уезжать. Очень накурено. Но Марина чувствовала себя здесь отлично, никогда ничего не искала, все необходимое было у нее под рукой. Организованный беспорядок.

Впрочем, на чердаке она проводила только небольшую часть времени. Писала, работала она регулярно каждое утро, а затем шла или на пляж, или мы уходили в дальние прогулки по окрестностям Фавьера.

Мне было приятно, что Марина понимала мой Прованс, очарование сухих меловых гор, покрытых нищенским покровом, который солнце превращало в роскошные сверкающие одежды. Слушала она сухой шорох тростника над речонкой, а на золотом пляже, глядя на меняющийся лик моря, следила движения ветра. Вот несется вдоль узкого коридора Роны озорной, веселый мистраль, треплет сосны, хлопает окнами, сдергивает с путника шляпку, поднимает юбки и разгоняет облака, а небо ярко-синее, море тоже, и спокойна его сверкающая гладь — но обманчив этот покой: мистраль дует от берега в море и может легко увлечь за собой и лодку, и неосторожного пловца. Когда же влажный восточный ветер хлещет по лицу, мокрыми полотенцами, задерживая небо тяжелыми тучами, поднимаются огромные волны, задерживая небо тяжелыми тучами, поднимаются огромные волны, с жадным ревом набрасываются на дюны, швыряют лодки, как мячи. Жутко! Но ветер дует на берег, море все равно вынесет и лодку, и пловца, только не растеряться, только смело, под углом волны, продолжать путь. По душе это было Марине! Она купалась с наслаждением, яростно боролась с волной. Иногда же мы слушали, как ласковый «испанец», западный душистый ветер, ведет обратно воды отогнанные мистралем, и они вкрадчиво и ласково шумят.

Тут же, на пляже, на страницах блокнота Марина писала звучные стихи. Где они, эти фавьерские блокноты? Я не знаю. Наизусть, к сожалению, стихов я не запомнила. Осталось в памяти, что однажды, отождествляя душу поэта с жизнью природы, она приписала довольно неожиданно — в конце: «А лира (поэта) — обет бедности...»

Когда же из Африки налетал душный, обжигающий сирокко, вихрем кружил песок и он противно скрипел на зубах, мы торопливо собирали пляжное имущество и убегали домой. И о сирокко писала Марина.

Иногда я предлагала ей пойти подальше, куда-нибудь в рыбацкий поселок, где «никого нет», кроме местных жителей, а жемчужные заливы похожи на изображения прерафаэлитов и напоминают золотые мифы Эллады. Марина охотно соглашалась на экскурсии в «мифоланд», просила только «прихватить двух-трех мужчин» на случай, если захочется «зайти куда-нибудь выпить» — одним неудобно, а жара страшная, только прибавляла она — «неболтливых,

чтобы не раздражали пошлыми замечаниями и не портили нам настроения».

Я подыскивала подходящих спутников, и мы отправлялись — быстроногая Марина в большой шляпе, в шортах, с толстым самодельным «посохом», двое-трое русских и я. Путь наш проходил параллельно пляжу, поднимался на холм, пересекая рощицы приморской сосны, и выводил на берег какого-то эллинского синего залива, и мерещилось нам, что из сверкающих вод появится златокудрая Венера или проплывет по его синеве на серебряном дельфине розовощекий младенец, трубя в серебряный же рог. Стихи о заливах были и у других поэтов. И у Марины были стихи об этом заливе.

Отдыхали мы под пестрым тентом рыбацкой забегаловки, курили, пили кисловатый пинар. Подсаживались рыбаки, и Марина оживленно беседовала с ними. Они рассказывали о ночном лове рыбы, о сетях, о своей несложной, но трудной жизни. Они, конечно, и понятия не имели, кто такая Цветаева, но чувствовали и понимали, что с ними разговаривает необычная женщина, смеялись ее остроумным шуткам, удивлялись меткой сущности ее вопросов. Спутники наши слушали ее благоговейно, стараясь, очевидно, запомнить слова Марины Цветаевой. Кто были эти случайные и добровольные наши спутники? Я не помню, да и тогда толком не знала. И где-то они сейчас?..

Иногда же я тащила Марину в нашу «столицу» — «наш райцентр» — Борм. По крутым тропкам, где когда-то проходили пилигримы и рыцари, мы поднимались в средневековый городок, с башнями, замком, узкими ступенчатыми улочками и с поэтическим названием *Bormes les Mimoses* («Бормы под мимозами»). Действительно, он утопает в пушистом золоте мимоз, яркими фонтанами сверкающих на синем экране моря. Мы бродили по крутым улочкам с забавными, озорными названиями, например: «Cassecou» — «сломай шею», с трепетом входили в замок синьоров XIII века, бродили по обширным его залам. Там были огромные каминь, над ними — гербы, вырезанные на плитах, и Марина говорила: «Представьте, вечером в камине жарко пылают целые сосны, при их мерцающем неровном освещении сидят рыцари и дамы, слушают моих далеких предшественников — трубадуров, смеются, вздыхают, плачут».

С главной, почетной террасы, из долины, открывался вид на меловые, синие горы, и вдали, как в сапфировой чаше, курилось в легкой дымке море. Марина стояла на террасе, смотрела на море, и мне казалось, что она стоит и ждет своего Тристана la shâtelaine (владелица замка) Изольда. А Марина говорила: «Знаете, как странно. Я очень интересуюсь историей и Рима, и Эллады — какие удивительные, целые эпохи. Но ближе всего я чувствую средневековье: я как будто бы вижу пеструю толпу монахов, рыцарей, трубадуров, чувствую их движение, живу в нем...» Приводила на память стихи Гумилева, они кончились строфой: «И пахнет звездами и морем твой плащ широкий, Женевьева!». (это говорил поэт тех времен своей возлюбленной). Марина продолжала: «Ведь подумайте, сколько они знали, ничего „настоящему“ не зная. Правильно лечили многие болезни (золоченым жемчугом, вытяжками из печени животных), знали, что золото — элемент, который можно получить из других элементов, только не знали — почему и как! У них было очень развито чувство интуиции». Разговор переходил на Бергсона. Этот философ-интуитивист интересовал Марину, хотя и не все его постулаты принимала она безоговорочно. Бергсон пытался провести черту между знанием, основанным на точных данных разума, и познанием, возникающим вне разума, — интуицией. Поиски границы этой ее очень тогда занимали, очень интересовали ее и вопросы наследственности.

Она часто говорила мне: «Как мне хочется снова увидеть родину, русские просторы: русское небо, рябину, мне хочется, чтобы похоронили меня на берегу Оки, под белым камнем». И задумчиво добавляла: «Ведь она моя бабка была сельской попадьей, простой русской женщиной, это она зовет меня туда, а другая была польская панночка».

Так вот откуда надменность, какая-то «барская тоска».

А она продолжала: «Я их обеих в себе чувствую — они живут во мне». И мы обсуждали загадочный тогда для нас вопрос наследственности — не формы носа, рта, лица, а духовной наследственности. Мы тогда ничего не знали о кодовой информации, заложенной в хромосомах клеток, генах, определяющих облик человека, но Марина чувствовала, что это большой, непростой вопрос, и пыталась его как-то решать по-своему.

Мы говорили об этом в недолгие летние ночи на ступеньках лестницы, ведущей на чердак. Говорили, конечно, и о поэзии. Марина очень любила Гёте и читала наизусть по-немецки его стихи, восторгалась ритмами и образами. Она знакомила меня с творчеством Райнера Мария Рильке, я плохо знала творчество этого поэта, а Марина им очень увлекалась. Иногда она говорила и об эмигрантском поэте, бывшем сатириконе Доне Аминадо (Шполянском). Аминадо писал сатирические, юмористические стихотворения, правда, очень талантливо, но относились к нему как-то несерьезно, подлинным поэтом его не считали. А Марина уверяла меня, что он — настоящий поэт, чуткий и одаренный, в доказательство читала его стихи. «Послушайте хотя бы только вот это!» — говорила она.

Чтоб размотать на конус синий  
Тяжелых дум веретено,  
Чтоб выпить этот воздух синий,  
Как пьют блаженное вино.

«Разве это не хорошо? Ведь так сказать мог только поэт».

«А ведь действительно хорошо, — думала я, — „конус синий“... „синий воздух“, — и начинала тоже „серьезнее“ относиться к этому всегда веселому, смуглому, улыбчивому Дону Аминадо, который, по-видимому, и сам не знал, что он подлинный поэт, весело зарабатывая на хлеб насущный, конечно, „у Милюкова“». [\[222\]](#)

Я тогда увлекалась Анной Ахматовой. Сказала об этом Марине, боялась, как бы она не осудила слишком субъективную тематику Ахматовой и ограниченное ее видение, — мне было бы больно... Но, оказывается, Марина тоже считала Ахматову большим поэтом («Как Блок!»), ее тоже увлекала взволнованная искренность и умение «владеть своим ремеслом». Писать стихи Марина считала ремеслом, требующим большого мастерства. «У Анны Ахматовой свои настроения, — говорила Марина, — у меня — свои. У нас — разные читатели и ценители. Но мы оба — поэты. Разные — и одинаковые. Я написала ей, что нам не о чем спорить, и кончила обращение так:

Твой Петроград —  
Моя Москва!»

Вот так и говорили мы ночью — о поэтах, о различных вопросах, нас интересовавших тогда. Ее еще очень интересовал вопрос о свободной воле. Для нее, такой непреклонной, гордой, человек должен быть хозяином своей судьбы, и все-таки такое безапелляционное решение ее не совсем «устраивало». Слова «судьба», «мек туб» (рок — по-арабски) имели для нее какое-то скрытое значение. У нее были где-то добытые ею стихи Нострадамуса, поэта XVI века. Он изложил историю Европы в закодированных стихах. Марина часами разгадывала этот шифр. «Смотрите, — говорила она, — смерть Людовика XVI предсказана, описана, и предсказано даже, что его предаст масло!» (его предал торговец маслом). «А вот что-то о том, что будет война, какой еще не было, и погибнут миллионы людей». Я ей возражала, что такие предсказания были и раньше, и были войны и еще будут — войны всегда можно предсказать, а зная о событиях, «понять» шифровку. Она соглашалась: ведь этот «mek tub» казался ей унижительным для человека, лишал жизнь всякого значения... И все-таки этот «рок» чем-то тревожил ее, уж очень сложным был ее духовный склад, множество ручейков, сталкиваясь, бурлили в ее глубине.

Была она очень эмоциональна и события все воспринимала как-то по-своему, исключительно через импульсы своих рецепторов, иногда «рассудку вопреки». События волновали ее своей эмоциональной, красочной, spectacularной стороной — это тоже была одна из причин, почему она не ладила с эмиграцией, — левые считали ее «правой», а правые — ругали за «левизну» и «обзывали» большевичкой. Я спросила ее: «Стихи стихами, но все-таки как же вы относитесь к событиям?!» А она ответила: «Знаете, когда Гёте спросили, как он относится к французской революции, он ответил: „Что вы меня спрашиваете! Я занимаюсь эпохами тысячелетий (он был геолог), а вы спрашиваете меня о каком-то быстро проходящем моменте!“» — «Гёте мог так сказать, — возразила я, — он — немец, революция — французская, но мы-то живем в этот моменте, мы сами — творцы момента!» — «Да, конечно, творцы момента — в этом вы правы... не

знаю! Знаю одно — мне лично одного хочется, очень хочу туда!» — «Это куда же?» — удивилась и не поняла я. — «Туда, домой, домой, на Оку!» И долго молчала.

Мы шли, возвращаясь с прогулки, угожьями богатых фермеров. «Чья земля?» — спросила Марина. «Мутонши, — ответила я, улыбаясь, — так русские переделали фамилию Mouton, и там ее земля...» — «А лес?» — «И лес ее». — «Вот так маркиза Карабаса! — засмеялась Марина. — Как только эта земля ее не давит ни при жизни, ни в могиле! Да нет — наверное, все-таки давит! — И опять спросила: — А сосна-то эта — тоже ее? Забавно, — сказала Марина, — свое дерево! Еще понимаю: своя комната, свой дом... но свое дерево! А знаете — это ведь, пожалуй, и хорошо: мое дерево!» Ей, ничем не владевшей, — все ее имущество можно было без труда уложить в две авоськи, — казалось, что владеть сосной, деревом очень «забавно», а в какой-то степени даже приятно. А мы все шли виноградниками «маркизы» Мутонши.

«Эти кисти тяжелого темного винограда похожи на те, что несет посланцы земли ханаанской на полотне — не помню какого художника». Я тоже не могла вспомнить имя, но полотно это знала. Действительно — похоже. У Марины — зоркие близорукие глаза. А вот виноград похож на розовый град — *barbarovos*. Марина смеялась над озорными названиями «в стиле Рабле». Ей же больше нравились звучные названия «аликанте», «Изабелла», «мускат»... «Как это хорошо, — говорила Марина, — „аликанте“!» И у нее уже пели звонкие стихотворные строчки. «Давно люди возделывают виноградники, с библейских времен, и здесь, конечно, тоже. Сколько прошло поколений, событий, сколько было перемен, а вот так же сверкают янтарем на солнце аликанте и темная бархатная „Изабелла“. Какое равнодушие природы! Знаете, оно мне иногда кажется жутким, иногда раздражает и часто импонирует. Что бы ни происходило, она, природа, всегда равнодушна. Случается — ее разрушают, а она опять восстанавливается. Что еще произойдет, какие события промчатся, а эти виноградники, как в далекие рыцарские времена, да еще и задолго до рыцарей, будут сверкать и зеленить среди приморских сосен».

(Да, действительно, потом была война, была жуткая фашистская оккупация, сколько разрушений... Исчез русский поселок *cité Russe*, как не бывало его, нет Марины, а виноградники у подножия

прибрежных холмов сверкает красками, плоды их претворяют в вино, вспоминаются, глядя на них, библейские сцены и мифы. «Равнодушные, неизменные, прекрасные!»)

Наша беседа опять вернулась к стихам — таким разным по настроенности: «Увидите, они напечатают мои стихи — и те и другие. Напечатает Милюков». И он действительно напечатал в своей газете «Последние новости». Милюков печатал различных авторов — и непонятную Цветаеву, и скучного Вишняка, и эрудированного Фондаминского, и монархиста князя Барятинского, — было бы только интересно, хорошо, талантливо написано. Творчество Марины вполне соответствовало этим условиям. Правда, у нее бывали частые стычки с редакторами и газеты, и «Современных записок». Однажды один из них сказал ей: «Пишите понятнее для среднего читателя. Вас нелегко воспринимать!» — «Я не знаю, — ответила Марина, — что такое „средний читатель“, не видела, а вот среднего редактора я вижу перед собой». Редактор очень рассердился, но стихи напечатал.

«А как же им не напечатать!» — смеялась Марина, рассказывая мне об этом, сидя на чердачной лестнице и распаковывая новый синий пакет крепчайших солдатских *gouloises*<sup>[223]</sup> (иногда она курила большие неуклюжие самокрутки с самосадом). «Они же знают: если есть в сборнике мое, он непременно разойдется». И хотя не всех устраивали трудные ритмы Цветаевой, не все симпатизировали ей лично, и левые и правые бывали на нее в большой и постоянной обиде, но читали ее всегда с интересом. И Марина знала это, знала, что талантлива, что пишет настоящие и хорошие стихи и интересные статьи. Скромной она не была, да и не хотела быть скромной. О своих неполадках в редакциях она рассказывала мне по ночам, выкуривая за ночь пакет сигарет. Уже бледнело небо, исчезали звезды на нем, и только сияла голубым светом звезда, которую так просто и красиво называют французы «Etoile du Berga» (звезда пастыря). Марине нравилось это название...

Пора расходиться! Давно ее сын Мур спит крепким сном на своем топчане. Очень крупный, ширококостный, кудрявый — не похож на Марину и несколько малоподвижный. Марина не просто его любила, она его обожала трогательным глубоким обожанием. Объектом всех забот и волнений ее такой трудной жизни был Мур. У него была хорошая черта: был тактичен, молчалив и не мешал нашим беседам на



пляже, во время длительных экскурсий тоже молчал, думал, очевидно, о чем-то своем, сопровождал нас тоже в большой шляпе и с посохом.

Приезжала в Фавьер и дочь Марины Алечка. Почему-то казалось — может быть, и не совсем так, — что Марина относилась к ней не с такой нежностью, как к Муру. Ведь дочь была старше. Алечка в трудные зимы в Париже, когда не мог работать больной отец, вязала на продажу шарфы, шапочки, варежки и тем помогала кое-как сводить концы с концами более чем скромного бюджета. А Аля была прелестной девушкой, сверкающая свежестью, вся какая-то чистая, как новая куколка, и очень естественная. Она отличалась от своих сверстниц тем, что не гримировалась, носила простое светлое платье с очень короткими рукавами. Белые красивые девичьи руки. Ходила в Фавьере босиком. Это босоножье очень ей шло: такая вот сказочная, светлая «принцесса-босоножка», она и по лесу пыталась ходить босиком, и по каменистым тропам. Аля вскоре уехала в Советский Союз.

Марина несколько раз говорила мне, что собирается в Советский Союз. Ведь туда поехал Сергей Яковлевич. Мне всегда казалось, что Марина любит Сергея Эфрона большой и верной любовью. Когда она узнала (от Эренбурга), что Эфрон в Праге, она помчалась туда, потом вместе они приехали в Париж, а теперь этот «шатун», «белый лебедь», пересмотрел свои позиции — и уехал в Советский Союз. Женским чутьем я чувствовала, что со стороны Сергея Яковлевича не было к Марине такого же чувства, хотя он относился к ней всегда очень заботливо и нежно. В Фавьере он поселился не с Мариной — в другом месте, к ней только «заходил»..[\[224\]](#)

Теперь он уехал в Союз — и Марине вдруг непременно захотелось поехать туда же. Я ее спрашивала: «Почему вас так хочется туда?» Она мне отвечала, что ей надоело жить *en marge* (на полях) жизни и литературы, ей неприятно видеть: «Смотрите, какой-то мальчик ест персики, а я не могу дать их Муру. И костюм у него... Мур носит то, что нам присылает Красный Крест». И еще: «Мне хочется иметь настоящих читателей — большую, чуткую аудиторию, а не эмигрантскую элиту, с ней у меня нет ничего общего».

Описываемые мной события происходили накануне войны. Вскоре и началась война. Я узнала, что Марина уехала в Союз. Я занималась парижскими делами, и надолго была оторвана от всех и

вся. Выполняла партийные задания, [\[225\]](#) была в тюрьме-одиночке и т. п. Смерть прошла мимо... После войны вернулась — уже советской гражданкой — в Советский Союз. И уже здесь узнала о трагической гибели Марины.

*Начало 1970-х годов*

**Зинаида Шаховская** [\[226\]](#)  
**ИЗ КНИГИ «ОТРАЖЕНИЯ»**

*Тише, тише, тише, век мой громкий!  
За меня потоки и потомки.*

Сидя как-то у меня в Брюсселе, Марина Цветаева взяла в руки «Якорь» — антологию зарубежной поэзии и, найдя в ней свои стихи, сперва поставила знак ударенья в последней строке своего стихотворения «Заочность» на слове «для», на полях отметив «NB! о дить», а затем приписала под стихотворением «Роландов рог» это двустишие:

*Тише, тише, тише, век мой громкий!  
За меня потоки и потомки...*

И подписалась — Марина Цветаева. И нет, пожалуй, лучшего эпиграфа для моих воспоминаний о ней.

Узнала я имя Марины Цветаевой, прочти в 1923 году (было мне 16 лет) ее юношеское стихотворение «К вам всем, кто мне, ни в чем не знавшей меры, чужие и свои». Не лучшее, конечно, из цветаевских, но очень мне понравившееся. Затем в 1926 году в журнале «Благонамеренный», издававшемся моим братом в Брюсселе, были напечатаны ее стихотворения «Марина» и ее статья «О благодарности», и опять все понравилось. А во втором и последнем номере «Благонамеренного» Марина Цветаева в статье «Поэт о критике» высказала горькую обиду на Георгия Адамовича, не оценившего присланного на конкурс «Звена» ее стихотворения. В сущности, по молодости лет мне трудно было разобраться, кто из них прав: поэт или критик, но на Марину Цветаеву обрушились такие потоки брани в зарубежных газетах, что инстинктивно обиделась я за поэта. Как-то выжили у меня среди прочих вырезок того времени две статьи, одна из «Возрождения» (№ 338) и называется «О пустоутробии и озорстве». Автора не знаю.. [\[227\]](#)

Цитирую только одну фразу: «Но уныние вызывает у меня и то, что пишет г-жа Цветаева. И то и другое огорчительно не потому, что бездарно, а потому что совсем не нужно». Еще хуже фельетон Александра Яблоновского. <sup>[228]</sup>

«В халате», где Марина Цветаева приравнена к Вербицкой: «Она приходит в литературу в папильотках и в купальном халате, как будто в ванную комнату вошла» — и т. д. И все это мне вспомнилось, когда в 1938 году, уезжая навстречу смерти в СССР. Марина Цветаева в последний раз посетила нас в Брюсселе и сказала со вздохом: «Некуда податься — выпихивает меня эмиграция».

Но об этом потом. Двойственность моей литературной жизни, с перевесом на Францию, и подвижность моего существования вносили в мои встречи с русскими писателями элемент не постоянства, а случайности. И не так уже много раз встречалась я с Мариной Цветаевой. Думаю, впервые видела я ее в начале тридцатых годов. Она была не намного старше меня, всего на 15 лет, но казалось мне отдаленной во времени и вообще совсем особой, ни на кого не похожей. Скажу даже, ни один из самых знаменитых писателей, русских или иностранных, в личном обращении не вызывал во мне такого трепета, а иногда и священного ужаса... Как будто она жила совсем в другом плане, чем все, парила на каких-то высотах, ходила по каким-то вершинам, совершенно не замечая «плена земли», тяжести быта. Стихи Пушкина

...Пока не требует поэта  
К священной жертве Аполлон  
В заботы мелочного света  
Он малодушно погружен

никак не подходили Марине Цветаевой. Я никогда не видала ее погруженность «в заботы мелочного света», только нагруженной ими, как она сама пишет в одном из своих писем. Руки ее штопали, чистили, мыли, душа же оставалась свободной, а ум парил в высотах. И душа ее никогда не вкушала «сладкий сон».

Поэтому и дружбы настоящей между нами не было — но было какое-то внутреннее доверие, которое ее заменяло.

В юности настолько я была взволнована, поражена стихами Цветаевой, что даже, в Брюсселе, пыталась писать под нее, пока не поняла, что всякое «под» — дело фальшивомонетчиков, иногда талантливых, но никогда не подлинных.

По странной случайности я никогда не видела Марину Цветаеву вместе с каким-нибудь членом ее семьи. Я встречала Сергея Эфрона без нее, а Марину Цветаеву всегда видела одну, без мужа, без сына, без дочери, поэтому она мне и предстоит всегда в предельном одиночестве и явной безземельности.

В Марине Цветаевой чувствовалась обреченность, рок тяготел над ней несомненно, но в ней ощущалась также и удивительная жизнеспособность, не в материальных вещах, конечно, но как воля, стремление к жизни, крепкие земляные корни, любовь к существованию — т. е. в ее случае, к творчеству на «земле живых». В противовес Поплавскому, она, вопреки страшной своей кончине, самоуничтоженья не искала. Рок раздавил ее, лишив возможности жить — творить.

Вижу Марину Цветаеву в ее нищенской квартире в предместье Парижа, Ванв. Стоим на кухне. Марина Цветаева почему-то варит яйца в маленькой кастрюльке и говорит мне о Райнер Марии Рильке. Я, зачарованно, слушаю неповторимый ритм и неповторимое содержание ее речи, но вот ничего не помню о Рильке. Помню только лицо Марины Цветаевой и эти самые высоты, на которые она меня влекла с такой неудержимой силой, не зная, что следовать за ней я не могла. И обыденность, конечно, сразу отомстила за презренье к ней: вода в кастрюльке выкипела до дна, яйца не сварились, а спеклись и лопнули, алюминий же прогорел...

Меня, конечно, удивляло, как водопадная Марина Цветаева могла любить и ценить ручейкового автора Орленка и Шантеклера, Ростана, или Анри де Ренье. (Менее удивительна была любовь Замятина к Анатолю Франсу, писателю стиля изящного и совсем не серапионовского, но ирониста, атеиста и скептика, как сам Замятин.)

Думаю, что, хоть о вкусах не спорят, все же отчасти разница оценок объясняется не так разницей поколений, как эпох, в которые мы выросли.

Помню, стояли и сундук какой-то, напоминающий и Россию, и беженскую судьбу. А за окном томительно-грустный пейзаж

пригорода, серость, сырость, дождь. Я замечала это, замечала ли Марина Цветаева?

Помню выступление Марины Цветаевой то в Париже, то в Брюсселе, на улице Конкорд. Зал никогда не ломился от публики, народной любовью Марина Цветаева не пользовалась — но приходили. Она в скромном, затрапезном платье, с жидковатой челкой на лбу, волосы неопределенного цвета, блондинистые, пепельные с проседью, бледное лицо, слегка желтоватое. Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках. Глаза зеленые, но не таинственно-зеленые, не поражающие красотой, смотрят вперед, как глаза ночной птицы, ослепленные светом. Так, явно не видящая тех, кто пришел на нее посмотреть или ее послушать, Марина Цветаева читает свои стихи, громко, скандируя слова, подчеркивая ударенья, как бы бросая вызов кому-то, и нисколько не заботясь о том впечатлении, которое она производит. Я не встречала никого, из выступающих перед публикой, более свободного от желания понравиться. Так, утесом стояла Марина Цветаева на своем возвышении, бросая свои заклинания, шла напролом, рубила сплеча, а потом как-то по-мужски кланялась тем, кого продолжала не видеть, погруженная

В себя, в единоличье чувств  
Камчатским медведем без льдины...

Как странны упреки, высказываемые при жизни Марины Цветаевой в неестественности ее стиля, ее подбора слов. Она и говорила как писала, как жила, тем же ритмом, ей принадлежащим, т. е. для нее предельно естественным. Высокое косноязычие было ей отпущено, как и Мандельштаму. Я знала заумных поэтов, и русских, и иностранных, но деловые или частные письма они писали вполне понятно, обычным, бытовым языком — а вот каждое письмо Цветаевой, даже наспех набросанное, всегда «цветаевское», никогда не обычное.

В частной жизни тоже было у Марины Цветаевой полное отсутствие женского шарма, несмотря на то, что с любовью была знакома, была подвержена ее закону, способна на молниеносные ее радости и трагедии, в которые бросалась опять напролом, не разглядев

объекта; в любви или дружбе наделяя простых смертных тем, что хотели видеть в них, то есть, собственной сутью. А кто мог, кто смел жить на ее крутизнах? Может быть одно из самых ярких тому примеров — ее стихотворение «Попытка ревности». С каким, вероятно, облегчением тот, думая о ком она его написала, обратился от вдохновенной Лилит к самой обыкновенной женщине... Позднее ей казалось, что нашла она родственную ей душу в молодом поэте Николае Гронском, трагическая смерть которого была для нее, увы, не последним тяжелым ударом.

В ее сношениях с другими трагическим было то, что и в зрелом возрасте она на всякого другого прожектировала свой собственный свет, как влюбленная девушка в стихах у Алексея Толстого:

То жизни луч из сердца ярко бьет  
И золотит лаская без разбора  
Все, что к нему случайно подойдет...

И вот всегда предлагала, даже навязывала свою дружбу, свою любовь.

Да, как жадно искала она в других (может быть и во мне) того верного, а главное, созвучного друга, своего alter ego и ясно, не находила.

За князем род, за серафимом сонм,  
За каждым тысячи таких, как он...

И продолжала трубить, одновременно в безнадежности и в надежде, в Роландов рог:

Одна за всех — из всех — противу всех  
Стою и шлю, закаменев от взлету  
Сей громкий зов в небесные пустоты.  
И сей пожар в груди — тому залог  
Что некий Карл тебя услышит, Рог!  
И услышали Карлы, но посмертно...

Что помню еще о Марине Цветаевой? Того, что можно назвать «бабьим», в ней не было ни крошки. Ни хитрости, ни лукавства — и сплетничать не умела (это «бабье» присуще и многим мужчинам). Бороться и восставать, это она умела, но передавать физически не могла. Верность ее была верностью дамасской стали. Я видела ее в 1937, когда в связи с делом об убийстве троцкиста Игнатия Рейса в швейцарской санатории, Сергей Эфрон, давно уже замешанный в советской организации «Союз возвращения на родину» и приложивший руку к советизации газеты «Евразия» был разыскиваем полицией. Эфрон скрылся — Марину Цветаеву допрашивали. Она рассказала мне о допросе. Запомнился мне ее, чисто цветаевский ответ следователю, когда тот привел ей доказательство о причастности Эфрона к преступлению: «*Sa bonne foi a pu être surprise, la mienne en lui reste intacte*»)..<sup>[229]</sup>

И так было это, вероятно, сказано, что несмотря на бесправность ее беженского положения, Марину Цветаеву оставили сразу же в покое, очистили от подозрения в каком-либо сообщничестве.

В другом плане, но все о том же врожденном, «подкожном» ее благородстве. Марина Цветаева была вольнолюбивица и по существу демократка. Помню, в Брюсселе, идя с ней в зал, где было ее выступление, мы столкнулись с двумя рабочими, несшими какие-то ящики, и сейчас же, сторонясь и отстраняя меня, уступая дорогу, Марина Цветаева громко, несколько нарочито-программно сказала: «Дорогу труду!» Но несмотря на народность свою, а может быть именно из-за нее, Марина Цветаева никогда не попыталась лягнуть демократическим копытом поверженных мира сего, на падших не наступала — уважая их несчастье и то, что в истории с ними связано, пример этому — ее статья «Открытие музея».

О чем бы она ни писала, ко всему относилась серьезно, юмора не знала, собственно, и я не помню, чтобы я когда-нибудь смеялась вместе с нею. О религии или вере в Бога мне не пришлось с ней говорить, но я была ей благодарна за то, что никогда не прочла у нее ни одной строчки, которая показалась бы мне оскорблением моей веры. Для нее — Поэт «никогда не атеист, всегда многобожец, с той только разницей, что высшие знают старшего... Большинство же и этого не знает и слепо чередуют Христа с Дионисом, не понимая, что уже сопоставление этих имен — кощунство и святотатство».



И вот этого-то святотатства Марина Цветаева никогда не совершала, инстинктивно зная сравнительность ценностей.

1938 год. Начало конца Марины Цветаевой. Много событий в западной Европы, свидетельницей, а иногда и участницей которых я была, с тех пор заслонили от меня предвоенное время, но, если не ошибаюсь, путь Марины Цветаевой на родину, в ту самую Россию, которая пожирает как «глупая чушка своих детей», шел через Брюссель и Варшаву.

Воспоминания, повторяю, смутные, но без каких-то оснований они бы не существовали. Мне кажется, что именно Брюссель был последней остановкой Марины перед ее возвращением в СССР.

Я сказала ей (это помню твердо) в ответ на ее слова: «Ничего не поделаешь! Выпихивает меня эмиграция!» — «Марина Ивановна, подумайте, живя за границей, вы можете еще мечтать, что где-то в России вам будет хорошо — а приехав туда и мечтать будет больше не о чем, и не на что надеяться. Ну, как вы с вашим характером, с вашей непреклонностью можете там ужиться?»

На это Марина Цветаева ответила: «Знайте одно, что и там буду с преследуемыми, а не с преследователями, с жертвами, а не с палачами». Этого она могла бы и не говорить. Я твердо знала, что на компромиссы пойти ей было физически невозможно. Гордость защищала ее от двуязычья и даже под ножом не сказала бы она похвального слова Сталину.

С каким чувством покидала Марина Цветаева Францию? В 1950 году поэтесса Алла Головина, видевшая ее в Париже перед отъездом, сказала мне, что спросила ее, не будет ли она жалеть о Франции и о Париже. Марина Цветаева ответила экспромтом:

Мне Франции нету милее страны  
И мне на прощание слезы даны.  
Как перлы они на ресницах висят.  
Дано мне прощанье Марии Стюарт.

А дальше, что было дальше! Едва уехала Марина, как кто-то сообщил мне о гибели Сергея Эфрона, о том, что его будто бы расстреляли, ликвидировали, как обычно всех тех, кто принимает

участие в преступлениях режима. И вот тут-то, видимо, был у меня какой-то адрес друзей в Варшаве, у которых Марина Цветаева должна была остановиться. Может быть телеграмму я послала Льву Гомолицкому, с которым была в переписке, но Марину Цветаеву в Варшаве ни эта вест, ни моя телеграмма не застали. Повторяю, эти данные я проверить не могу, нет возможности, но мне помнится, что было именно так.

Тише, тише, тише, век мой громкий  
За меня потоки и потомки...

Так и остался, и живет во мне образ русского большого поэта, Марины Цветаевой, поэта, обреченного, как и многие другие русские поэты, на тяжелую судьбу, на мученический конец. И карарский мрамор перемалывают жернова истории...

**Ирина Одоевцева** [\[230\]](#)

## **НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА**

Париж. Лето 38 года. [\[231\]](#)

Послезавтра мы с Георгием Ивановым едем в Биорриц на целых три месяца. К океану. И я уже полна легким радостным волнением.

Сегодня я целый день бегала по магазинам. Я очень устала. И все-таки мне не хочется оставаться дома и провести вечер, читая или слушая радио.

— Пойдем куда-нибудь, Жорж!

Георгий Иванов, как всегда, согласен. Только куда пойти? Все наши друзья и знакомые уже разъехались. Даже на Монпарнасе никого не встретишь.

— Хочешь, пойдем в кинематограф?

Нет, решительно не хочу. Я сейчас совсем не в состоянии неподвижно сидеть перед экраном.

— А Гингеры? — вдруг вспоминает он. — Они еще в Париже. Сегодня четверг, по четвергам у них «Свидание поэтов». Хочешь, пойдем к ним? Мы бесконечно давно у них не бывали. Они будут очень, очень довольны.

— Больше чем довольны — в восторге. И Гингер, и Присманова [\[232\]](#) — оба — они так тебя любят. Едем. Но непременно в такси, а не в метро. Туда и обратно в такси. Я страшно устала.

И мы едем.

Дверь нам открывает сам Гингер. Но, к моему удивлению, он не только не выражает восторга от неожиданного появления Георгия Иванова, а скорее смущен и растерян, хотя и старается скрыть это.

— Вот уж кого никак не ждал. Великолепно, чудесно. Спасибо, — отрывчато произносит он, неловко топчась перед нами, укладывая наши шляпы на комод в прихожей, как бы желая задержать нас подольше. И вдруг, будто решаясь:

— А у нас Марина Ивановна. Пришла проститься перед своим отъездом в Москву. [\[233\]](#)

Ах, вот в чем дело — Марина Цветаева здесь. Она терпеть не может ни Георгия Иванова, ни Адамовича, ни меня, считая нас

петербургскими снобами-эстетами.

Особенно Георгия Иванова, с тех пор как он — по ошибке — в своих «Петербургских зимах» приписал стихотворение Мандельштама «Как скоро ты смуглянкой стала»,<sup>[234]</sup> посвященное ей, какой-то «хорошенькой, вульгарной зубоврачихе».

Но о романе Цветаевой и Мандельштама никто в Петербурге не слышал. Сам Мандельштам никогда в разговоре не упоминал ее имени, а о хорошенькой «зубоврачихе», вставившей ему искусственные зубы в кредит, вспоминал с удовольствием довольно часто.

Марина Цветаева сочла себя обобранной, решила огласить свои права на это стихотворение в прессе, в фельетоне, написанном ею для «Последних новостей». Но Милюков не пожелал напечатать его, что глубоко возмутило ее и еще больше восстановил против Георгия Иванова.

Совершенно понятно, что наше неурочное появление обеспокоило бедного Гингера. Ему казалось, что оно может испортить его «последний вечер с Цветаевой».

Впрочем, страх его был неосновательным. Нам нередко приходилось встречаться с Мариной Цветаевой на литературных вечерах и в гостях у «меценатов». Иногда мы даже обменивались несколькими ничего не значащими словами, хотя она всегда старательно избегала нас, как и мы ее.

Но сейчас пути к отступлению были отрезаны. Гингер вводит нас в комнату, где за столом перед листом бумаги сидит Марина Цветаева. Тут же Софиев, Корвин-Пиотровский, Закович и еще несколько так называемых молодых поэтов.

Присманова кидается нам навстречу. Ей и в голову не приходит, что из-за нас может произойти какое-нибудь недоразумение. Она вообще вряд ли знает о взаимоотношениях своих друзей и знакомых. Это ее не интересует. Она выше всего этого, постоянно витая в заоблачных сферах поэзии.

Георгий Иванов спешно здоровается с ней.

Марина Цветаева смотрит на нас прищурившись. Она очень близорука, но, казалось бы, из совсем не свойственного ей кокетства не носит очков.

Наше появление ей явно неприятно. Она гордо выпрямляется и как-то вся ощетиливается, становясь — по своему собственному

определению — тем «камчатским медведем без льдины», которого я привыкла видеть в гостях у меценатов, где она всегда как будто готова принять бой. И сейчас она тоже как будто готовится к бою.

Но Георгию Иванов быстро подходит к ней и целует ей руку, которую она с некоторой задержкой подает ему.

— Марина Ивановна! Как я рад! Я боялся, что мне не удастся проститься с вами перед вашим отъездом.

— Рады? — холодно переспрашивает она. — Вот не ожидала.

— Страшно рад! — горячо подтверждает он. — Ведь мы вряд ли скоро увидимся.

— Никогда больше не увидимся. Никогда, — так же холодно отрезает она. И уже мне, чуть потеплевшим голосом: — А вы, скажите, тоже рады?

— Ужасно рада! — совершенно искренно говорю я.

Она пожимает плечами.

— Просто чудеса в решете. Что же? Я почти готова поверить. А ведь меня теперь большинство прежних знакомых на улице не узнает; не кланяются мне, отворачиваются от меня.

— Мерзавцы! — отчеканивает Гингер. — Повесить бы их всех, буржуев и богачей.

— А мы, — перебивает его Закович, обращаясь к Георгию Иванову, — как раз одному такому буржую, по инициативе Марины Ивановны, сочиняем коллективную просьбу дать деньги на каникулы N.N.

N.N. — милая молодая писательница, только что перенесшая тяжелую болезнь. Ей действительно необходимо отдохнуть где-нибудь в горах или у моря. И мы с Георгием Ивановым с полной готовностью включаемся в «коллективную работу». Ею руководит Марина Цветаева.

— Софиев, прочтите-ка, что мы написали начерно.

Софиев читает:

— Глубокоуважаемый и дорогой...

— Не дорогой, а милый, — поправляет она, — милый — чувствительней, — буржуй ведь сентиментален. Дальше?

Софиев продолжает:

— Мы, зная ваше золотое сердце и то, что вы всегда оказываете щедрую помощь...

— Золотое сердце — это хорошо, — прерывает чтение Марина Цветаева. — Польсти, польсти! Зальем его лестью, пусть захлебнется в ней — авось раскошелится.

— Не беспокойтесь, Марина Ивановна, раскошелиться. Мы его, как лягушку, на эту бумажку поймаем, — и Георгий Иванов указывает на исписанный лист, — если бы кто-нибудь из нас с глазу на глаз его просил — безусловно отказал бы, но ведь тут гласность, общественность — не отвертится.

Текст бумажки, на которую, как лягушку, поймают купца-богача, обсуждается фраза за фразой и трижды переделывается. Георгий Иванов острит, как всегда, и смешит всех. И не думала, что Марина Цветаева может так звонко и весело смеяться. Я никогда не видала ее такой оживленной и дружелюбной. И я вполне очарована ею.

Наконец «бумажка» готова и красиво и четко переписана.

— Теперь подписи. Первым вы, Георгий Владимирович. Очень красиво с росчерком. Ведь вы любимец «Современных записок», не то что я. Мне в них ходу не давали, ни моим стихам, ни прозе. Сколько раз возвращали...

Наконец и с подписями покончено, и даже адрес на конверте каллиграфически выведен.

Марина Цветаева смотрит на часы, висящие на стене.

— Господи! Половина двенадцатого, а Мур еще не ужинал, и завтра мне надо встать в половине шестого!

— Зато, — сентенциозно заявляет Пиотровский, — благодаря вам N.N. сможет отдохнуть на берегу моря. Вы совершили доброе дело, Марина Ивановна.

Все шумно и весело прощаются с Присмановой и Гингером. Они оба сияют — такого удачного «свидания поэтов» у них еще не было.

Мы выходим гурьбой на пустынную, спящую улицу, залитую лунным светом.

— Проводим Марину Ивановну до метро. Тут все равно такси не найти, — предлагает мне Георгий Иванов.

Мы едем к метро попарно. Впереди Марина Ивановна со мной, остальные — немного отстав от нас.

Она торопится, быстро и легко широко шагает, недовольно морщась.

— Как далеко они живут от метро.

Да, далеко, но я хотела бы, чтобы еще гораздо дальше, чтобы я могла еще долго идти с ней так рядом, плечо к плечу.

— С вами удобно ходить. Вы хорошо держите шаг. А мне казалось, что вы на своих высоких каблучках должны ходить неровно, с прискоком, по-дамски. По походке узнаешь человека не меньше, чем по рукопожатию, — говорит она убежденно.

— Марина Ивановна, вы рады, что возвращаетесь в Россию? — задаю я ей вопрос, преследовавший меня весь вечер. — Очень рады?

Она качает головой.

— Ах, нет, совсем нет. Вот если бы я могла вернуться в Германию, в детство. Туда бы я хотела — там такие широкие площади и старинные готические здания. А в России все теперь чужое. И враждебное мне. Даже люди. Я всем там чужая.

Она вздыхает и замедляет шаг.

— Все же я довольна, что покидаю Париж. Я его изжила. Его больше не существует для меня. Сколько горя, сколько обид я в нем перенесла. Негде я не была так несчастна. А когда-то в Праге — там я очень скучала — я мечтала, как хорошо будет в Париже. А в Париже Прага стала казаться мне чуть ли не потерянным раем. А теперь я еду в Москву. Сыну там будет лучше. Но мне?.. Выперла меня эмиграция.

Она снова вздыхает.

Луна ярко светит. Слишком ярко. В ее свете мне все начинает казаться нереальным. Меня охватывает странное ощущение. Я как будто теряю чувство времени и места. Разве это Париж и лето 1938 года?

И вдруг я, как сквозь сон, вспоминаю, что когда-то совсем такой же теплой, летней, лунной ночью я много лет тому назад шла рядом с Анной Ахматовой по пустым, спящим улицам Петербурга — в первый и в последний раз в жизни. Совсем так, как сейчас иду с Мариной Цветаевой. Да, совсем так, — в первый и в последний раз в жизни.

Но тогда уезжала не Ахматова, а я, — уезжала, полная радостных надежд. А теперь уезжаю не я, а Марина Цветаева, уезжает в безнадежной, бездонной тоске.

Я смотрю на ее бледное, усталое, грустное лицо.

У меня сжимается сердце. Мне ее мучительно жаль. И страшно за нее. Нет, нет — ей нельзя ехать туда! Там ее ждет гибель. Там она погибнет, как погиб Мандельштам. И сколько других. Мне хочется

крикнуть ей: «Не уезжайте! Вам нельзя ехать». Но я не решаюсь. И она все равно не послушается меня. Даже если я стану перед ней на колени и буду умолять ее.

Я совершенно беспомощна. Я ничем не могу помочь ей. Но если бы я могла хоть немного утешить ее. И я говорю:

— Марина Ивановна, я хочу, чтобы вы знали, что я всегда страшно любила ваши стихи. Еще в Петербурге Гумилев мне подарил ваш «Вечерний альбом», и я просто бредила им. Он читал мне наизусть ваши чудные стихи Блоку, Ахматовой. Он восхищался ими.

— Правда, — недоверчиво спрашивает она. — Неужели правд? Я почему-то думала, что Гумилев был против меня. И вы все тоже. Цеховая смычка. Отсюда и преследование меня Адамовичем. Хорошо, что вы сказали, — она слабо улыбается, и лицо ее молодеет. — Мне приятно, что Гумилев любил мои стихи.

И вот уже вход в метро, и надо расставаться. Мне так грустно, что я еле сдерживаю слезы.

— А вы совсем другая, чем мне казались. Очень жаль. Значит, еще одной несостоявшейся встречей больше. Сколько их было в моей жизни, этих несостоявшихся встреч! И вот еще одна.

Она протягивает мне руку.

— Прощайте. Прощайте навсегда. Будьте счастливы. А мне ни счастья, ни счастливого пути не желайте. Ни к чему это мне.

К нам подходят догнавшие нас Георгий Иванов и Пиотровский. Она прощается с Георгием Ивановым. Он несколько раз подряд целует ей руку. Ее серебряные кольца тускло поблескивают.

Я смотрю на нее, стараясь как можно лучше и точнее запомнить ее — всю, во всех подробностях, навсегда сохранить ее в памяти такой, какой я вижу ее сейчас. Ведь я никогда больше не увижу ее. Никогда.

Последние рукопожатия.

— Так не забывайте о нашей несостоявшейся встрече. — Она грустно улыбается. — И меня не забывайте.

Мне хочется ее перекрестить, но я не решаюсь.

И вот она уже спускается по лестнице рядом с Пиотровским. Я смотрю ей вслед. Но она не оборачивается.

И вот ее уже не видно...



**Е. Н. Федотова** [\[235\]](#)

## **О ЦВЕТАЕВОЙ**

Г. П. Федотов был издавна большим поклонником поэзии Марины Цветаевой. Помню, с каким восторгом он читал ее «Поэму Горы». Но познакомился он с Цветаевой довольно поздно. Вероятно, посредником был наш общий приятель, пражский поэт Алексей Эйсер, вернувшийся в 1939 году в СССР в награду за участие в Испанской войне. Помню, с каким восторгом он читал нам «Крысолова» и хлопотал об издании этой поэмы, напечатанной только в «Воле России». Деньги для издания собирались, вероятно, в недостаточном количестве и, увы, уходили на неотложные нужды.

Думаю, что рассказы Эйсера о чтении у нас «Крысолова» и о восторге Г. П. Федотова послужила поводом для первого письма Марины Ивановны с просьбой принять участие в прениях по ее докладу «Искусство при свете совести».

Дальнейшая переписка (всего 12 писем с 16-го мая 1932 года по 24 мая 1933 года) посвящена судорожным попыткам М. И. пристроить свои статьи и стихи, а также борьбе с сокращениями и исправлениями ее работ редактором «Современных записок» В. Рудневым.

Я не знаю, почему переписка так резко оборвалась.. [\[236\]](#)

Может быть, тут сыграло роль «самоопределение» мужа Марины Цветаевой — С. Я. Эфрона в сторону «возвращения на родину», к которому Г. П. Федотов относился с предельным возмущением. А, может быть, переписка стала ненужной, когда Марина Ивановна поселилась так близко от Бердяева, где Федотов бывал каждое воскресенье и где она иногда бывала, так что общение могло продолжаться просто в личных беседах и во время прогулок.

Ко мне Марина Ивановна отнеслась крайне милостиво, несмотря на несколько презрительное отношение к простым смертным — не творцам и неспособным вдохновлять к творчеству (см. 305 стр. в «Прозе» Цветаевой, изд. им. Чехова, об Асе Тургеневой: «Я поняла, что внушить стихи больше, чем писать стихи, большая богоизбранность, что не будь в мире Аси — не было бы в мире стихов»). Эту точную формулировку я прочла сравнительно недавно, но

тогда в своей наивности была искренне изумлена и даже возмущена ее словами, что существование матери Марии оправдано тем, что Блок посвятил ей стихи. Снисхождение ко мне с творческих высот так трогательно объяснено во втором письме от 26.XI-32, что перефразировать его не стоит.

В заключение последняя трагическая встреча. Осенью 1938 г. вся русская эмиграция, да и не только эмиграция, была потрясена похищением генерала Миллера в Париже, а также и убийством на швейцарской границе коммуниста Рейсса, повинного, насколько я знаю, в обличительном письме Сталину. Из наших, слава Богу, бывших знакомых немедленно исчезли супруги Клепинины и... Сергей Эфрон. К Марине Ивановне сейчас же бросился покойный Ил. Ис. Фондаминский, всегдашняя опора всех «труждающихся и обремененных». Он рассказывал нам, что М. И. рыдала и готова была клясться, что Эфрон не мог участвовать в кровавом деле.

Через несколько месяцев я зашла к знакомой в небольшой отель (13, Бульвар Пастер) и она сказала мне, что тут живет Марина Цветаева с сыном и что, по-видимому, она очень несчастна. Я решилась постучать в дверь. Марина Ивановна как будто обрадовалась посетительнице и стала объяснять мне, что она должна уехать в Россию, что из Кламара ей пришлось бежать от соседей, мальчика нельзя было держать в школе (французской?) из-за товарищей, что, наконец, ввиду надвигающейся войны она просто умрет с голоду, что и печатать ее никто не станет. Тут же она, к моей большой радости, прочла свою погребальную песню Чехословакии: «Двести лет неволи, двадцать лет свободы». Впоследствии Ил. Ис. говорил мне, что он очень просил ее дать ему эту поэму для «Современных записок», но что она, уже приняв роковое решение, вероятно, боялась печататься в эмигрантской печати.

В комнате был ее сын, который, не стесняясь посетительницы, не только не закрыл, но даже не приглушил радио. И вдруг понеслись ужасные сообщения. Диктор рассказывал этап за этапом гибель парохода «Париж» — двойника «Нормандии». Помню ее слова: «Господи, сколько человеческого труда погибает».

На этом мы расстались. После ее отъезда пронесся слух, что когда она уже была на пароходе, уносящей ее к роковому концу, в Париж

(164) пришло известие, что Эфрон расстрелян. Проверить этот слух, конечно, не было возможности.

Мне невольно вспоминаются сейчас слова Пастернака, им сказанные Цветаевой шепотом во время чествования советских писателей в Париже: «Марина, не езжай в Россию, там холодно, сплошной сквозняк» (Новый журнал. Нью-Йорк. 1961. Кн. 63. С. 162–172).

**Нина Гордон** [\[237\]](#)

## **МЕНЯ ОНА ПОКОРИЛА СРАЗУ ПРОСТОТОЙ ОБРАЩЕНИЯ**

В январе 1961 года я получила из Тарусы от дочери М. И. Цветаевой Ариадны Сергеевны Эфрон письмо. Она писала:

«У меня к тебе, Нинаша, преогромная просьба, которую ты, несомненно, всем сердцем поймешь. Я собираю (и небезуспешно, о чем расскажу при встрече) мамино и о маме. Время летит быстро, память слабеет, тускнеет, и я тороплюсь у него, времени, вырвать все, что только возможно, о маме. Запиши, дружок, для меня то, что тебе еще помнится о ней. Ты ведь была последним человеком, видевшим ее накануне отъезда, очень незадолго до смерти... Хорошо бы записать все, что помнится: как и где ты видела ее в первый раз? Что запомнилось из последующих встреч? Что запомнилось из слов, из разговоров? Какой показалась внешность? Теперь, Нинуша, каждая мелочь — бесценна, и то, что помнишь ты, не помнит уже больше никто. Мама очень тебя любила, о чем писала мне — еще успела написать — в Коми. И ты ее полюбила искренне. И единственное, что можем мы, любившие и любящие, единственное, чем можем победить ее смерть, — это запечатлеть ее живую... Все записанное, все собранное мною я завещаю Литературному Музею, и, когда по-настоящему настанет мамин час, будущие ее друзья и почитатели найдут живую правду о ней. Это очень важно. Уже сейчас возникают о ней неправдивые „легенды“, уже люди, мало, а то и вовсе не знавшие ее, претендуют на „раскрытие“ ее стихов, поступков, жизни, немилосердно искажая — часто лишь по недомыслию — то, к чему они чаще всего не имели ни малейшего касательства. А „выдумывать“ ее ни к чему. Таковую не выдумаешь.

И не задумывайся над тем, „как“ писать. Всякие подобные раздумья только тормозят. Пиши так просто, как письмо...»

И я написала ей письмо.

Дорогая моя Аля, прости, что так долго выполняла твою просьбу. Кроме всяких житейских причин подвела и память. Казалось — все помню, а как стала вспоминать конкретно — не тут-то было. Очень многое ушло безвозвратно. Но то, что записала, — хорошо помню, Аля, как в первый раз увидела твою маму. Это было у вас на даче, в Болшеве, куда ты пригласила меня на воскресенье, чтобы познакомиться с Мариной Ивановной. Приехала я довольно рано, ты меня встретила и пошла за мамой в комнаты, а я осталась на большой пустой вашей террасе и с некоторым смущением ждала, когда появится Марина. Я столько слышала о ней от тебя, а в последние дни от Мули, [\[238\]](#) что мне было очень интересно и чуть-чуть боязно.

Марина вышла на террасу своей легкой быстрой походкой и очень просто, как со старой знакомой, поздоровалась со мной: «Нина, милая, здравствуйте». И как-то сразу мне стала самой очень легко, просто и весело.

Одета она была в широкую летнюю юбку и блузку с короткими рукавами, а поверх был одет пронзивший меня тогда фартук — синий, с большими карманами, закрывавший всю юбку. Была она очень изящная. Волосы, по-моему, уже тогда с сильной сединой, коротко стрижены, лицо молодое, чуть холодноватое и строгое. Взгляд внимательный, пытливый. Как живую вижу ее сейчас перед собой.

Меня она покорила сразу простотой обращения. И тогда, и много раз потом — все всегда было с ней просто.

Помню, какой это был хороший, легкий и веселый день. Вечером, когда я собиралась уже уезжать, Марина ушла в комнату, быстро вернулась, неся в руках бусы из голубого хрусталя. «Нина, это вам. Они очень пойдут к вашим глазам». От счастья я была на десятом небе, хотя в глубине души чувствовала себя без вины виноватой перед тобой, ибо к твоим глазам они пошли бы не меньше, и я понимала, что тебе хотелось бы их иметь тоже. Марина сказала: «Дайте я вам их надену, в первый раз всегда так трудно завернуть этот боченочек у застежки!». Эти бусы самые дорогие до сих пор для меня, и потому, что они очень красивы и потому, что мне их подарила и надела на меня Марина. Она сказала еще: «Это из Чехии».

Помню, как однажды, все там же, на даче в Болшеве, Марина рассердилась на тебя, когда ты показала то ли ей, то ли Сергею Яковлевичу язык, и как потом, обняв меня за плечи, она долго ходила

со мною в сосенках, у вас же в саду, говорила, что ты бываешь груба, и сказала, что «просила Сереженьку тебя приструнить».

Обрадовалась, когда я сказала, что очень вкусный она приготовила на обед суп. Довольная, переспросила: «Вас понравилось? Я очень рада. Но ведь Нина, милая, я не готовилась в кухарки! Суп я готовлю по раз освоенному рецепту — кладку как можно больше овощей. В Париже я покупала на базаре всевозможные овощи, все, что было, — и бросала их в кастрюлю. И получался неплохой суп. Весь вкус от овощей».

Узнав у Мули о твоём аресте, я поехала на дачу, к Марине. Внешне она и отец были спокойны, и только глаза выдавали запрятанную боль. Я долго пробыла там. Говорили мало. Обедали. Потом Марина собралась гладить, — я сказала, дайте я поглажу, я люблю гладить. Она посмотрела долгим, отсутствующим взглядом, потом сказала: «Спасибо, погладьте», — и, помолчав, добавила: «Аля тоже любила гладить». Сергей Яковлевич сидел на постели, у стола, напротив меня, и неотрывно смотрел, как я глажу. Его глаза забыть невозможно!

Помню еще один свой приезд на дачу в Болшево. Сережи уже не было. Нины тоже, а накануне взяли Доду.<sup>[239]</sup>

Марина глухим голосом рассказывала мне, как приехали его арестовывать, как было страшно на него смотреть, особенно страшно из-за его одиночества. Он был совсем-совсем один, и только собака (помнишь этого боксера с человеческими глазами?) все время ластилась к нему и все прыгала на колени. А он все прижимался и прижимался к ней, к единственному живому существу, оставшемуся около него, видимо, только в ней одной чувствуя человеческое тепло и любовь.

Дача была мертвая, пустая. Я прошла на терраску, где когда-то спала ты, там, на Нининой половине. На твоём окошечке так и висели марлевые занавески, серые от пыли, на подоконнике стояли запыленные игрушки, висели паутинки. Терраска была совершенно пуста, Мур там уже тоже не спал.

Мура я в этот раз не помню — по-моему, его не было, он куда-то уходил, а мы долго сидели с Мариной молча в темноте. Она собиралась переезжать в Москву, Мулька искал комнату. Больше я там не была.

Пригласила я как-то Марину и Мура ко мне на день рождения. Было это уже в 41-м году, в марте. Что-то я смастерила к чаю. Была еще моя мама — и больше никого. Марина принесла мне в подарок маленькую чашечку из металла, чешскую.

«Я люблю Чехию, какая прелестная страна, какая чудесная Прага, какой хороший и добрый народ, — говорила она. — Я купила эту чашечку на старом базаре. Там есть маленькие магазинчики, вроде антикварных старьевщиков. Чашечка была очень темная, но ее можно чистить, и она светлеет. Я очень люблю такие вещи. У нее чудесное свойство — если нальешь горячее — всегда горячо, если холодное — холодно...»

Потом, посмотрев на меня, она добавила: «Я думаю, что я ошиблась, вам надо было подарить какое-нибудь платье. Вам, вероятно, это было бы приятнее и нужнее».

Долго я не могла понять, почему было как-то скучно, и чем-то она была то ли недовольна, то ли удручена или огорчена. Уходя, она ненароком спросила, почему нет Мули, и, узнав, что я его не позвала, по-моему, очень рассердилась и быстро с Муром ушла. Я окончательно убедилась в этом на другой день, когда позвонил Муля и довольно резко и сурово спросил, чему я его не позвала, что ему звонила удивленная Марина Ивановна. Я ему гордо ответила, что он уже много раз бывала на моих именинах и мог бы запомнить этот день. Оба повесили трубки, недовольные друг другом.

С Мулькой же пошли мы как-то навестить Марину в Троицкий переулок, где в этот день она была у твоей тети, кажется, матери-Кота. [\[240\]](#)

Тетю я что-то не помню, помню только, что в комнате было страшно все навалено, сдвинуто, неуютно и горела под потолком темноватая маленькая лампочка. Возможно, что тети тогда не было, а был только Кот. Сидели мы недолго, не раздеваясь. Была зима, и морозищи были сильные. Марина куталась в большой шерстяной бледно-голубой платок. Муля говорил о том, как ему удалось через кого-то отправить тебе посылку, и кажется, отправил или соберется отправить тебе сшитое для тебя теплое пальто и валенки.

Потом мы попрощались и, закрыв дверь, уже вышли на площадку и хотели спускаться с лестницы, вдруг слышим, дверь открывается, выбегает Марина. Мы повернулись, сделали шаг навстречу. Она

обняла меня за шею и крепко поцеловала, потом также поцеловала Мулю и ушла. И все молча.

Много раз она трогательно заботилась обо мне, беспокоилась. Помню, как-то я пришла к ней зимой (жила она уже тогда на Покровском бульваре) вечером в гости. Ходила я в демисезонном пальтишке. Она пришла в ужас и, когда я уходила, заставила меня надеть коротенькую коричневую курточку под мех, а сверху натянула темно-зеленое (если не ошибаюсь) кожаное пальтишко. «Это Алино, — сказала она. — Когда она вернется — будет другое. Я не могу смотреть на вас, в вашем пальтишке в эти морозы. Кожа — это тепло, она не пропускает ветер, а курточка с воротником, воротник большой и закрывает вам шею».

Тебе мама писала о нашей с ней прогулке в парке культуры. Марина позвонила мне как-то в воскресенье утром и предложила пойти в Музей восточных культур, на Воронцовом поле. Я обрадовалась, тоже тосковала одна, и мы договорились встретиться часа в два, потому что она варила обед и хотела накормить Мура. Потом она еще звонила, что немножко задерживается, и встретились мы у музея уже около пяти часов. Музей был закрыт — то ли мы опоздали, то ли он вообще почему-то не работал. Мы огорченно постояли около, почитали всякие объявления, а потом решили поехать в Центральный парк культуры.

Это была замечательная прогулка. Помню как сейчас: чудесный холодный солнечный прозрачный день поздней осени. В парке пустынно, по той крайней дорожке у реки вообще никого не было. Мы шли долго-долго, почти до самого Нескучного сада. Кругом где голые, где, наоборот, золотые деревья, а дорожка густым слоем усыпана сухими шуршащими листьями. Была у меня щемящая грусть и тоска — я ведь вечно тосковала по Юзу,<sup>[241]</sup> но в то же время от всего окружающего сходил и какой-то покой на душу. И у Марины было похожее настроение, потому что шла она молча, со строгим, но спокойным и как бы смягченным лицом, так дошли до Нескучного. Солнце светило в спину, освещая все впереди, — красота была действительно чарующая.

Когда пошли обратно, Марина заговорила и долго, очень спокойно говорила о будущем, о своих планах на это будущее. Мечтала жить в



маленьком городе, поближе к морю. «Как вы думаете, Симферополь хороший город? — спросила она. — А может быть, Феодосия лучше?»

Я сказала, что не была ни там, ни тут, что в Феодосии была только два часа, проездом, когда ездила с Михаилом Кольцовым и бригадой «Правды», проверяла работу транспорта, — но что заочно люблю эти южные города.

Она мечтала о том, как они «с Сереженькой» поселятся в таком городе, как будут работать; и насколько ей больше нравятся маленькие города у моря. «Знаете, Нина, мне даже не страшно, что Сереженька не сможет жить после освобождения в Москве. Але и Муру, может быть, и нужна Москва, а нам нет, нам лучше будет там...»

Расстались мы уже поздно вечером. Она меня крепко обняла на прощанье и сказала, что она давно так чудесно, так покойно не проводила время. Что она даже очень рада, что мы не попали в музей, так ей понравилась прогулка.

Помню, как я пришла в начале зимы 41-го года к Марине вечером домой на Покровский бульвар. Большой домина, двор — колодец. Жила она то ли на шестом, то ли на седьмом этаже. Небольшая двух- или трехкомнатная квартира у Марины Ивановны вместе с Муром комнатка метров 12–13. Я эту комнату помню отлично: одно окно, вдоль окна вплотную простой продолговатый деревянный стол. Рядом с ним впритык кровать Марины, вернее, не кровать, а топчан с матрасом, или же два составленные рядом кофра, на них — матрас, а сверху плед. Во всяком случае, жесткое и неудобное ложе. Я сидела на нем и чувствовала, как жестко. Комната неприбранная, масса брошенных вещей: через всю комнату и над столом — веревки с висящим на них тряпками из мохнатых полотенец и просто полотенца. На столе в беспорядке еда и посуда — чистая и грязная, книги, карандаши, бумага — как бывает на столах, за которыми и едят и работают. Под потолком — тусклая, желтоватая, неудобная лампочка без абажура. С другой стороны стола кровать Мура. Один или два стула, чемоданы. Что-то шкафа я не припомню, может быть, был в стене, но помню хорошо, что на стене, около топчана Марины — под простыней — платья и пальто; также и на другой стене около кровати Мура.

Марина Ивановна пожаловалась на соседей — был конфликт из-за брюк Мура. «Поймите, Нина, они не дают мне вешать выстиранные

брюки Мура над плитой. Пойдемте, я вам покажу, как они висят».

Кухня большая, светлая, пустая, чистая, деревянные полы. Над газовой плитой протянута веревка — и на ней мокрые синие, из «чертовой» материи брюки Мура. Обе штанины низко свисают над плитой, и с них капает прямо на кастрюли. Соседей никого не было.

Я робко заметила Марине, почему бы ей, чтобы не нервничать и не ссориться с жильцами, не повесить эти штаны к другой стене, где высоко под потолком были протянуты веревки и где брюки явно никому бы не помешали и не капало бы с них на еду. Ведь плита всем нужна! «Да, конечно, — ответила Марина, — плита всем нужна, но ведь брюки над плитой высохнут быстрее. Я их никуда не буду перевешивать».

Мы вернулись в комнату, уселись вместе на ее кровать, и она предложила мне почитать вслух свои переводы стихов (она тогда переводила кого-то из поэтов Союзных республику). Сначала она прочитала мне подстрочник, а потом свои переводы. Тут я, кажется, впервые воочию до конца поняла, ощутила сердцем, какой передо мной сидит талант. После абракадабры-подстрочника я услышала музыку в стихах. Я просто сидела ошарашенная, и Марина видела это. Я чувствовала, как она рада, как осветилось, смягчилось ее лицо. Думаю, она была еще рада и тому, что ее слушал близкий живой человек, близкий в ее страшном одиночестве.

А она была очень одинока. Одну фразу ее я запомнила на всю жизнь: «Нина, милая, я не чувствую себя одинокой только в бомбоубежище». Без боли я не могла тогда слушать эту фразу и без боли не могу ее вспоминать и сейчас. Чем я могла тогда подбодрить ее, что могла сказать ей, чем помочь, когда она все понимала. Понимала и молчала. Я не помню, чтобы она когда-нибудь жаловалась на все, что произошло; она даже редко говорила о тебе и папе — это была ее боль, ее горе, ее страдания. Ее, и только ее, и она не хотела ни с кем делиться ими, даже со мной и Мулей. Но мне кажется, мысли ее всегда были с вами. Она часто задумывалась. Глаза ее были большей частью строгие, вдумчивые. Но никогда, ни разу за все мое знакомство с ней, после всех несчастий, посыпавшихся на ее голову, и после твоего ареста, и после ареста Сергея Яковлевича, я не видела ее плачущей, несчастной. Холодная, спокойная и гордая. Бесконечное чувство уважения испытываю я к ней за ее железную выдержку, за ее гордость.

Она понимала, что многие боятся общаться с ней, что она окружена пустотой. А тех людей, которые льнули к ней, но которых она мало знала, она боялась сама. Помню такого Семенова — не могу вспомнить, как его звали, то ли Святополк, то ли Ярополк. Он работал в нашей Сценарной студии редактором и, узнав, что я знакома с Мариной Ивановной, чуть не сошел с ума от радости. У него в рукописях были, по-моему, чуть ли не все стихи Марины; всеми правдами и неправдами он доставал все, что было издано у нас до революции, все, что было издано за границей, — и переписывал для себя. Творчество ее он знал и любил. Помню он как-то вечером, после работы, затащил меня в свой студийный кабинетик и читал мне пьесу Марины «Конец Казановы». Я этой пьесы не знала и сидела оглушенная и потрясенная. Отдать справедливость — и прочел он блестяще.

Семенов все просил меня познакомить его с Мариной Ивановной, но я без разрешения Марины не спешила с этим. Все же он потом сам познакомился с ней, — Марина рассказывала мне об этом — я не помню уже где — не то в Союзе, не то в каком-то клубе, — провожал ее домой. Потом часто приходил к ней, звонил, слушал ее, читал ей стихи сам. И вот она мне сказала, что она его боится. «А может быть, он из НКВД? Почему он ко мне так хорошо относится? А может быть, подослан? Я боюсь его».

Она понимала, что если это не ее родные, не старые знакомые, если это не Муля и не я, волею судеб еще до ее приезда вошедшие в ее семью, если это просто люди со стороны, не знавшие ее ранее и так желавшие быть около нее тогда, в 40-м и 41-м, люди, бесспорно, рисковавшие, и ей и верилось и не верилось, что еще могли быть такие чистые и смелые люди, готовые, несмотря на страх, быть около нее ради нее. И она была настороже и, несмотря на одиночество, не рвалась общаться с ними. Боялась и за себя, и за Мура.

Мне помнится, что Марина Ивановна говорила мне об Эренбурге, который не пожелал с нею разговаривать и, кажется, не принял ее дома то ли не пустил дальше своей прихожей. Она не сердилась на него, а сказала спокойно, что понимает, что он просто боится с ней общаться. Но от этого ей не было легче.

Она была довольна, когда Гослитиздат собирался выпустить ее сборник. Говорила мне, что «сама с этим не обращалась и не

кланялась», что ей позвонили из издательства и сами предложили. Говорила о том, что включила в сборник, какие стихи; считала, что не лучшие, но понимала, что тут спорить не приходится. Но зато потом, когда редактор сборника или кто-то из редакции позвонил ей, попросив зайти и изменить некоторые строки некоторых стихов, она наотрез отказалась. Она рассказывала мне, как была в редакции и как твердо заявила, что ничего, ни одного слова из написанного ею она менять не будет. «Хотите печатайте так как есть, хотите — нет!» Сборник, как ты знаешь, не вышел. Она была расстроена этим; конечно, ей хотелось увидеть книгу, свою книгу, изданную у нас, да и материально ее бы это поддержало, — но она была твердой и непреклонной и менять в стихах ничего не стала.

Началась война. Они жили с Муром все в том же доме и в той же комнате. Мур, как и все ребята, дежурил на крыше во время воздушных налетов немцев, ловил и тушил «зажигалки». И это стало ее мучением — она безумно боялась, ему выбьет осколком глаз. Она не боялась ничего другого, она не думала, что он может быть убит, как любой из нас во время налетов, а боялась именно осколков в глаз. Сколько раз она мне говорила: «Я не могу, не могу переносить, когда он на крыше. Он может остаться без глаза. Я схожу с ума от беспокойства за него».

Мур сердился, уговаривал ее, говорил, что он не может оставаться дома или в убежище, когда другие ребята дежурят. И он был прав, она понимала это и пускала его. А сама сходила с ума, думаю, что эти дежурства Мура сыграли огромную роль в ее решении уехать из Москвы. Да она и не скрывала, говорила мне, что не может потерять и последнего человека, не может потерять Мура, не может рисковать им.

Хорошо помню ее отъезд. Утром на работу — это было 7 августа 1941 года — мне позвонил Муля и сказал, что Марина Ивановна собирается срочно, завтра же, уехать в Елабугу и что надо ее во что бы то ни стало от этого отговорить. Я сказала, что в обед сбегаю к ней и скажу (телефона у нее, по-моему, не было или его уже сняли), что вечером мы оба к ней придем и все вместе обсудим и решим.

Я прибежала днем (работала я тогда в Сценарной студии, которая помещалась в тыльной стороне здания кинотеатра «Колизей» на Чистых прудах) — Марина была одна и в очень возбужденном состоянии. Мура не было. В комнате все вверх дном — сдвинуты

чемоданы, открыты кофры, на полу — большие коричневые брезентовые мешки. Хорошие вещи — костюмы, пальто Сергея Яковлевича — откладывались в сторону, а в мешки, которые она брала с собой, пихались все те же мохнатые тряпки и полотенца, которые она срывала с веревок.

— Марина Ивановна, дорогая, что вы делаете?

— Нина, милая, умоляю, вас мне помочь — сходите в домоуправление, возьмите на меня и Мура справку, что мы здесь проживаем. Мне необходима эта справка, а я сама боюсь идти туда. Боюсь, а вдруг меня там заберут... А вы не боитесь? Вы сходите?

Я сказала, что, конечно, я сейчас же схожу, конечно, я не боюсь, но что ей надо успокоиться, не надо так волноваться, и нам надо обо всем поговорить.

Чтобы успокоить ее, я действительно тут же помчалась в домоуправление, но оно было закрыто — очевидно, на обед. Вернувшись, сказала Марине об этом и успокоила ее тем, что перед уходом еще раз схожу.

Потом стала мягко и даже робко уговаривать ее не уезжать. Я видела, в каком она состоянии, что раньше всего ее надо как-то успокоить. Очень помню ее глаза в этот день — блестящие, бегающие, отсутствующие. Она как будто слушала вас и даже отвечала впопад, но тем не менее было ясно, что мысли ее заняты чем-то своим, другим. И вся она была как пружина — нервная, резкая, быстрая. И все время говорила.

Я решила, что вечером с Мулей, который всегда на нее действовал успокаивающе, и она чувствовала в нем какую-то опору, может быть, удастся повлиять на нее.

Тут пришел Мур. Увидев мешки и сборы, он довольно грубо и резко заявил ей, что никуда не поедет и пусть она, если она хочет, едет одна.

После работы я опять была там, пришел и Муля. Наперебой мы доказывали ей, что если она все-таки хочет уехать, то не обязательно ехать завтра же, именно с этой группой писателей, что будут еще группы через неделю-другую, что за это время надо как-то подготовиться, продать какие-то вещи и поехать хотя бы с деньгами.

Она начала колебаться, но возражала, что вещи могут не так скоро продать в комиссионке. Муля предложил сдать вещи на мой паспорт и

чтобы я, по мере продажи вещей, высылала ей деньги. Это ее очень обрадовало и как-то успокоило. Она дважды переспросила меня — согласна ли я это сделать, не боюсь ли я — и стала соображать, что продать, что взять с собой, что отдать на хранение каким-то ее старым знакомым, которые жили в каком-то бывшем монастыре, в подвальном этаже, который «не пробьют бомбы». По-моему, в бывшем Симоновском, а может быть, я ошибаюсь.

Кроме того, мы уговорили ее вынуть из мешков тряпки и стали доказывать, что с собой надо брать именно хорошие вещи, чтобы и там их можно было продать или просто поменять на продукты.

Состояние ее и вечером мне очень не понравилось; возбуждение не проходило, глаза лихорадочно бегающие; то она быстро со всем соглашалась, но тут же опять возражала, то опять как будто соглашалась. Мы пробыли там до поздней ночи, то есть до того времени, позже которого нельзя было ходить по улицам. Уговаривали втроем — и Муля, и Мур, и я. Под конец она сдалась, успокоилась, уже ровным голосом сказала, что согласна с нами, что поедет позже с другой группой, что Муля должен узнать завтра же в Союзе писателей, когда намечается отъезд следующей партии писателей и их жен, а пока постарается кое-что продать и собраться как следует. Мы договорились с ней твердо в воскресенье с утра пойти вместе в комиссионку и сдать вещи на продажу. Она как-то даже повеселела.

Незадолго до нашего ухода к ней пришли какие-то старухи, как выяснилось потом, те самые, что жили в монастыре.

Расставаясь, она крепко меня обняла и поцеловала.

На следующий день утром; как только я пришла на работу, раздался телефонный звонок. Звонил Муля: «Нинка, Марина Ивановна в шесть утра сегодня уехала в Елабугу...» — голос у него был глухой, усталый и даже какой-то тоскливый. Я совершенно пришибленная опустилась на стул.

Потом он ко мне зашел и рассказал, что узнал от соседей: Марина всю ночь судорожно собиралась, ссорилась с Муром, но настояла на своем; к шести утра за ними приехал грузовик (наверное, она все же созвонилась с союзом), и она уехала вместе с Муром.

Больше я ее не видала. О ее смерти я узнала от какого-то писателя, пришедшего в Сценарную студию. Кто это был, не помню, но помню, как он вошел в большую угловую комнату студии —

кабинет главного редактора Николая Аркадьевича Коварского, где было много народу, тогда, в начале войны, без конца толпившегося в студии, — мне кажется, были там тогда Шкловский, Исаев, Коварский, Прут и еще кто-то — и сказал: «Вы слышали, повесилась Марина Цветаева!»

Помню жуткую тишину, наступившую в комнате.

Сказал, что маму после смерти не видел, что не мог, не было сил войти в избу, где она лежала. Не помню, ходил ли он ее хоронить.

Показывая мне открытку, оставленную ему Мариной; обыкновенная, простая желтенькая почтовая открытка с красной маркой, и на ней несколько строк. Быть может, она сохранилась у тебя, Аля? Не могу поручиться дословно за точность, но, если не изменяет мне память, написано было так:

*«Дорогой Мур, прости, но жить больше я не могу. Если увидишь папу и Алю, обними их за меня.*

*Мама».*

## Дмитрий Сеземан <sup>[242]</sup> ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Печ. по публикации воспоминаний Д. Сеземана в «Литературной газете» (1990. 21 ноября. № 47).

Болшевская дача, на которой нас разместили, ранее принадлежала покончившему самоубийством Томскому. Места в ней хватило на два семейства: наше и Эфронов, то есть Сергея Яковлевича и Али. Марина Ивановна и Мур, ее сын и мой товарищ, еще оставались в Париже, их приезд на социалистическую родину состоялся в 1939 году. Мы же, Клепинины, были все вместе: моя мать, отчим и я.

Пока что, в 1938 году, жизнь на болшевской даче протекала странно, хоть и спокойно. Странно, потому что обитатели ее жили безбедно, несмотря на то что из нас всех только Аля работала в редакции московского журнала «Ревю де Моску» на французском языке. Сам же Сережа предавался сибаритству, совершенно не свойственному тогдашней советской жизни. Он читал книги, журналы, привозимые Алей из Москвы, объяснял мне систему Станиславского, иногда жаловался на здоровье — не уточняя, что именно у него болело, и ждал гостей. Гости у нас не так чтобы толпились, однако бывали. Приезжала Сережина сестра, Елизавета Яковлевна Эфрон, грузная, тяжело дышавшая женщина, с невероятно красивыми карими, отливающими золотом глазами. Она была режиссером у знаменитого чтеца Дмитрия Николаевича Журавлева, который часто ее сопровождал и пробовал на нас свои новые работы.

В такие дни, вернее, вечера, болшевский дом как бы отключался от внешнего мира, в котором царили страх, доносительство и смерть, и вокруг камина возникала на несколько часов прежняя прекрасная жизнь. Моя мама, обожавшая Толстого, обнаруживала феноменальное знание текста «Войны и мира» (она точно помнила, какие в конце романа Рьер привозим всем домашним подарки из столицы) и хотя бы на один вечер выходила из того состояния подавленного ожидания конца, в котором пребывала едва ли не с первого дня возвращения на родину. Сережа Эфрон из растерянного пожилого человека превращался в милого, одаренного, интеллигентного мальчика-



идеалиста, каким он был когда-то, двадцать с небольшим лет до того. А ведь случилось, что в тот же день, но несколькими часами раньше из Серезиной комнаты из-за деревянной перегородки вдруг слышались громкие, отчаянные рыдания, и мама бросалась Серезю успокаивать, — я теперь часто задаю себе вопрос: ну разве могла она чем-нибудь его утешить?

...Приезд Марины Ивановны и Мура изменил обстановку в доме. Я-то, конечно, радовался появлению Мура; мне сильно недоставало общения с этим мальчиком, который был моложе меня годами, но взрослее умом, его критического, даже злого взгляда на мир и людей, его остроумных суждений. К тому же он мне привез свежие вести из Франции, по которой я успел изрядно истосковаться. А вот появление Марины Ивановны внесло не только в ее семью, но и в нашу — так как дача, хоть и просторная, была все-таки коммунальной — высокий градус напряженности. Конечно, это можно объяснить тем, что гений образует вокруг себя нечто вроде магнитного поля. Я видел человека, совершенно не приспособленного для общежития в прямом смысле слова, то есть для сосуществования с себе подобными.

Однажды мы сидели в большой общей комнате болшевской дачи. Из чужих был, кажется, Дмитрий Николаевич Журавлев. Вдруг из кухни выходит Марина, лицо серее обычного, искажено какой-то вселенской мукой. Направляется к маме, останавливается в двух шагах от нее и говорит осипшим от негодования голосом: «Нина, я всегда знала, что вы ко мне плохо относитесь, но я никогда не думала, что вы меня презираете!» — «Марина, что вы говорите, ну что еще случилось?» — «То есть как — что?! Вы взяли мою коробку с солью, а обратно поставили не на полку, как я привыкла, а на стол. Как вы могли?..».

Остальная часть вечера прошла в судорожных усилиях всех присутствовавших успокоить Марину, убедить, что ее и любят, и чтут. Не принимал участия в этой психодраме один Мур. Он наблюдал за происходящим спокойным взором светлых глаз, не выказывая никаких чувств, даже столь привычной для него насмешливой иронии.

Мать приложила немало усилий, чтобы заставить меня смотреть на Марину Ивановну не как на соседку с трудным характером, а как на поэта. «Она большой поэт. Кто знает, придется ли тебе когда-нибудь встретить такого». В этой сфере я матери вполне доверял, тем более

что были моменты, когда даже не чрезмерно чуткому мальчишке открывалось в Марине Ивановне такое, что решительно отличало ее от каждого из нас. Это происходило, когда она читала стихи и на эти чтения нас не только допускала, но даже приглашала.

Она сидела на краю тахты так прямо, как только умели сидеть бывшие воспитанницы пансионов и институтов благородных девиц. Вся она была как бы выполнена в серых тонах — коротко стриженные волосы, лицо, папиросный дым, платье и даже тяжелые серебряные запястья — все было серым. Сами стихи меня смущали, слишком были не похожи на те, которые мне нравились и которые мне так часто читала мать. А в верности своего поэтического вкуса я нисколько не сомневался. Но то, как она читала, с каким вызовом или даже отчаянием, производило на меня прямо магическое, завораживающее действие, никогда с тех пор мною не испытанное. Всем своим видом, Нина кого не глядя, она как бы утверждала, что за каждый стих она готова ответить жизнью, потому что каждый стих — во всяком случае, в эти мгновения — был единственным оправданием ее жизни. Цветаева читала, как на плахе, хоть это и не идеальная позиция для чтения стихов.

Вот так протекала жизнь в Болшеве, удивительная жизнь, какая-то нереальная; мне она тогда казалась, скорее, приятной; ведь не мог я знать, что почти для всех жителей злополучной дачи это будет последним отдыхом, последней отсрочкой до погружения во тьму, по замечательному выражению Олега Волкова. Потом пришли славные чекисты и увели Алю, увели Сережу, увели Николая Андреевича, увели маму...

**Ноях Лурье**<sup>[243]</sup>

## **ЗИМОЙ В ГОЛИЦЫНЕ**

Зимой 1939–1940 года, живя в Голицыне, я ежедневно встречался с Мариной Цветаевой, которая, как и я, одно время жила,<sup>[244]</sup> а затем столовалась в Доме творчества. Марина Ивановна любила поговорить, говорила интересно, подчас весьма язвительно. Помню ее импровизированные, совершенно блестящие, беспощадные наброски портретов Андрея Белого и Ремизова. У нее была злая хватка мастера, голос — громкий, резкий. Но за уверенностью тона и суждений чувствовалась растерянность и страшное одиночество. Муж и дочь были арестованы, с сыном у нее, по моим наблюдениям, не было общего языка. Писатели избегали общения с ней как с бывшей эмигранткой. В глазах этой седой женщины с незаурядным лицом иногда вдруг появлялось такое выражение отчаяния и муки, которое сильнее всяких слов говорило о ее состоянии.

После обеда, после ужина я часто присаживался к ней. Она рассказывала о жизни русских писателей за границей. О своих встречах с Маяковским, которого она считала большим «органически-революционным» поэтом, но «почему-то не очень счастливым, несмотря на то что у него, казалось, было все, что нужно для счастья: согласие с временем, талант, дерзание и даже такая житейская черта, как отсутствие щепетильности».

Марина Ивановна, по-видимому, ценила эти наши беседы, огорчалась, когда, случалось, я проводил досуг не с нею, играл в шахматы и т. п.

Одна наша встреча мне особенно запомнилась. Как-то, проработав с утра часа три, я после завтрака предложил Марине Ивановне пойти прогуляться. День был чудесный, солнечный, безветренный, при легком морозце. Мы долго бродили сначала по террасе, затем по заснеженному лесу, лишь изредка обмениваясь несколькими словами. Зная по себе, какой целительный покой приносит душе подобная прогулка, я старался не отвлекать мою спутницу разговорами. Но душевная, неурядица тревожившая эту замечательно одаренную

женщину, была, видимо, слишком велика, чтобы успокоить ее такими средствами.

— Нехорошо мне, Н. Г., — неожиданно заговорила она со свойственной ей прямоотой и резкостью. — Вот я вернулась. Душная, отравленная атмосфера эмиграции давно мне опостылела. Я старалась общаться больше с французами. Они любезны, с ними легко, но этого мне было мало. Потянуло домой — сама не знаю, что я себе при этом представляла. Но смотрите, что получилось. Я здесь оказалась еще более чужой, чем там. Мужа забрали, дочь забрали, меня все сторонятся. Я ничего не понимаю в том, что тут происходит, и меня никто не понимает. Когда я была там, у меня хоть в мечтах была родина. Когда я приехала, у меня и мечту отняли.

Так приблизительно она говорила. Я пытался ее успокоить. Положение трудное, напряженное. Бдительность вырождается в неоправданную, даже болезненную подозрительность. Со временем, будем надеяться, это пройдет. Она была безутешна.

— Боюсь, мне не справиться с этой путаницей. Уж разумнее было бы в таком случае не давать таким, как я, разрешения на въезд.

На обратном пути, когда мы уже вошли в поселок, нам встретился старик, очевидно из местных жителей, коренастый, сильный мужик с очень выразительным умным лицом, и вдруг Марина Ивановна, глубоко задышав, жарко, словно в бреду, прошептала:

— Какой он зрячий! Я его как родину люблю....

*Конец 1950-х годов*

## Людмила Веприцкая <sup>[245]</sup> ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В конце 1939 года я находилась в Доме творчества в Голицыне. За несколько дней до приезда сюда Цветаевой уже все знали об этом. Известно было и то, что в комнате ей было отказано из-за несовершеннолетия ее сына, Мура. Во всяком случае, так нам объяснила Серафима Ивановна Фонская, заведующая Домом творчества. Для Марины Цветаевой Союз писателей снял комнату в другом доме, а питаться они должны были за общим столом.

Первый раз я увидела ее в день ее приезда. Я шла с завтрака и увидела внизу в маленьком переднем зале спиной ко мне сидящую статную женщину, а рядом высокого юношу. Затем я услышала голос Фонской: «Белье я Вам дать обязана, подушки, одеяла». Марина Ивановна спросила, как быть со светом, в той комнате, где она должна жить, нет электричества (или оно было, но практически не работало). Фонская ответила, что у нее нет лишних керосиновых ламп, они все розданы живущим здесь писателям. Марина Ивановна ничего не ответила и вышла с Муром на улицу.

На следующее утро Цветаева с сыном пришли на завтрак. За столом было тихо. Я попросила Тагера, чтобы он не торопился уходить после завтрака. Когда почти все ушли, я подошла к Марине Ивановне и спросила, дали ли ей лампу. Она сказала: «Нет, ведь лишних не оказалось». Тогда я попросила ее подождать несколько минут и позвала горничную Анюту. «Анюта, сходите ко мне наверх и возьмите у меня одну из двух моих ламп, и возьмите у Тагера одну лампу и принесите сюда». «Но Серафима Ивановна будет возражать», — сказала Анюта. «Это я беру на себя», — ответила я. Тагер был не очень доволен, но смирился. В окно я видела, как мимо прошла Марина Ивановна, за ней Мур с лампой, следом Анюта с другой лампой. Пришла Фонская и высказала недовольство моими действиями. Я ответила, что не прошу у нее дополнительной лампы, а этот поступок — мое личное дело. Вообще Фонская плохо относилась к Цветаевой. Ей принадлежит фраза про Марину Ивановну: «Когда мы строили революцию, они там в Париже пряниками объедались...»

К Марине Ивановне многие тянулись, но боялись. Она была несколько резка в суждениях, за столом говорила громче, чем в комнате. Помню ее в синем свитере, с короткой стрижкой, земельного цвета лицом. Аля, ее дочь, позднее удивлялась, что я не разглядела ее зеленых глаз. Но я помню не зеленые, а серые, как бы выцветшие глаза Марины Ивановны.

Мур был довольно красив, учился в голицынской школе. Прекрасно знал литературу. Тагер, однажды погуляв с ним по лесу и поговорив о литературе, пришел и сказал: «Я не встречал в таком возрасте такого знания литературы». Однако с математикой у Мура было плохо, и Марина Ивановна нанимала ему репетитора. Деньги давала я. Вообще деньги явились одной из причин, почему после Голицыно мы не встретились. Во-первых, я не знала, где ее искать, а самое главное, что Марина Ивановна подумает, будто искала я ее из-за денег.

Цветаева в Голицыно мало с кем общалась. Однажды Марк Живов, переводчик с польского, желая поближе познакомиться с Мариной Ивановной, прочел ей в моем присутствии стихотворение из «Волшебного фонаря» «Мы слишком молоды, чтобы простить...». Цветаева сразу стала строгой и сказала, что ей нужно уйти, она не хочет задерживать Людмилу Васильевну. Мы поднялись с ней ко мне. Я спросила, почему она рассердилась. «А как бы Вы отнеслись к тому, — сказала Марина Ивановна, — если бы Вам в нос сунули Ваши пеленки?» Я возразила, что стихи не такие плохие. На это Цветаева посетовала, что ее знают лишь по первым сборникам и «Верстам», т. е. не лучшим ее стихам. И это обидно.

Марина Ивановна переводила в это время поэму Важа Пшавела «Гоготур и Апшина». Она терпеть не могла эту работу. Мур говорил: «Мама опять гоготурится».

Под Новый год Марина Ивановна поднялась ко мне на второй этаж. Постучала. Я читала в это время томик Тютчева. «Войдите», — сказала я и заложила пальцем книгу на читаемом стихотворении. Палец лег на строфу:

Дни сочтены, утрат не перечесть,  
Живая жизнь давно уж позади,  
Передового нет, и я как есть

На роковой стою очереди.

Марина Ивановна попросила показать ей заложенное место, прочла строфу и сказала: «Это про меня, ведь я постучала к Вам, и Вы сказали, чтобы я вошла. Поэтому эта строфа непременно относится ко мне».

\* \* \*

Мы гуляли в лесу. Почему-то Марина Ивановна сказала: «Такой народ, как наш, который живет в таком климате, заслуживает более мягкого правительства».

Зашел разговор об Ахматовой. Говорила одна Цветаева. Сказала, что очень хотела бы повидать ее. В конце произнесла: «Если я умру, скажите, что я ее любила».

\* \* \*

Однажды мы сидели в столовой, и кто-то сказал, что арестовали такого-то человека. Воцарилось гнетущее молчание. В этой тишине Мур произнес: «Лес рубят, щепки летят».

Цветаева все время перед отъездом из Франции в СССР колебалась, ехать или нет. Но когда в посольстве все формальности были выполнены, пришла домой, посмотрела на книги и подумала, что теперь все пути, чтобы остаться, отрезаны.

\* \* \*

Однажды Марина Ивановна рассказала о каком-то актрисе, чтице из США, которая просила Цветаеву перевести какие-то стихи на французский. Продюсер актрисы предложил Марине Ивановне приехать в шикарную гостиницу, на что Цветаева ответила: «Я ей нужна, а не она мне». Те приехали к ней, в предместье Парижа,

Цветаева стихи перевела. Во время визита актриса увидела три больших окна, выходящих на зеленый участок, и много книг на стенах, и сказала при этом, что так и должен жить поэт. Цветаева ответила, что давно ей не говорили таких хороших слов.

Марина Ивановна показывала мне иллюстрированные журналы с рисунками Ариадны, также она рассказывала мне об аресте Сергея и дочери.

Цветаева написала мне несколько писем. Я их давала прочесть лишь Але и больше никому. Я долго не знала, что Аля жива. Как-то я написала Эренбургу про письма Цветаевой ко мне и спросила про Ариадну Сергеевну. Он дал ее адрес и телефон. Но сначала встречи не получилось. Аля потом говорила, что ее просили остерегаться Веприцкой. Затем Николай Оттен сказал Ариадне Сергеевне про меня и рассказал, кто я такая. Так я встретила с Алей. Она показала мне толстую тетрадь («Гроссбух»), где была написан черновик первого, самого большого, письма Цветаевой ко мне. Ариадна Сергеевна говорила мне при этом, что в период 1939–1941 годов ее мать никому подобных писем не писала, что это лучшее письмо тех дней. Когда Аля брала у меня письма Цветаевой, она сказала, что мать ее не одобрила бы разглашения писем, что Марина Ивановна вообще против ознакомления с письмами других лиц, что письмо написано единственно одному человеку, что этот человек только и может его читать.

Ариадна Сергеевна писала мне большие и хорошие письма. Но я их сожгла, как ранее сожгла записи воспоминаний о Марине Цветаевой, которые вела в 1940 году.

Последний раз я видела Марину Ивановну в Центральном доме литераторов, когда там составлялись списки эвакуированных. Я спустилась на первый этаж и пошла через зал к буфету. Обернулась и увидела в дверях входа Марину Ивановну и Мура. Она по близорукости меня не увидела, Мур тоже не среагировал. Я же не подошла по той же причине, что и ранее.

\* \* \*



Ходасевич, по словам Цветаевой, советовал ей сделать на двери табличку: «Живет в пещере, по старой вере».

\* \* \*

Когда стал вопрос о предоставлении Ариадне Сергеевне возможности вступить в жилищный кооператив, ее не было в Москве, она была в Прибалтике. Собрали здесь деньги, 3000 рублей дал Павел Антокольский. Когда Аля приехала, то сказала: «Кто угодно, только не он». Я ее поддержала. Она не взяла у Антокольского денег, а взяла у меня. Примерно через год она мне их вернула. Этот долг тоже дал некоторую размолвку, так как я хотела видеться с Ариадной Сергеевной задолго до отдачи денег, но та под предлогом своего долга не приходила, говорила, что ей стыдно смотреть мне в глаза. Когда она отдала деньги, я ей высказала на этот счет. Аля такая же чудная, как ее мать.

## **Елизавета Тараховская**

### **ВТОРАЯ ВСТРЕЧА С М. ЦВЕТАЕВОЙ**

Вторая встреча произошла у меня с Мариной в Голицыне после того, как она вернулась из-за границы. В то время все настоящие люди, как, например, Маршак, Тарковский, Левик и многие другие, ценили ее талант, устраивали ее блестящие переводы с грузинского и других языков в журналы и издательства. Но многие трусы и подхалимы боялись того, что она бывшая эмигрантка, ее игнорировали и с ней не здоровались. Из золотоволосой, юной Марины она превратилась в седую старуху. Я подошла к ней, напомнила ей о наших встречах в Хлебном переулке и в Коктебеле, возвратила ей подаренную мне фотокарточку, где она была снята вместе с крохотной Алей. Она была этим очень растрогана. Марина всегда относилась ко мне дружелюбно и подарила мне на память свои книги, которые были украдены во время войны. Она дала мне прочитать свою прозу, посвященную некой актрисе Соне Голлидэй, преклонявшейся перед Мариной и обожавшей ее. Прочитав эту рукопись, я спросила: «Как вы можете писать о благоговении и почти влюбленности актрисы Голлидэй? Мне это кажется нескромным». Она ответила: «Я имею на это полное право, я этого заслуживаю». И, действительно, она заслужила это право, так как была необыкновенным существом, к котором все обычные мерки были неприменимы. Запомнился мне и еще один разговор. Я спросила: «Марина, неужели вы в Париже не скучали по России?» — «Моя родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под этим окном», — ответила она. В другом разговоре она сказала, что как только вступила на сходни парохода, увозившего ее на родину, она почувствовала, что погибла. Это было второе провидение настоящего поэта.

Марина Цветаева, несмотря на свое кажущееся легкомыслие, о котором писала, поехала в Чехословакию после революции к своему мужу с дочкой Ариадной (Алей), но в Париже, где ее сначала печатали, она очень скоро почувствовала нарастающее разногласие с эмигрантской средой и предпочла полное одиночество и нищету, перестала печататься в эмигрантских журналах. В Праге она родила

сына, назвав его Муром. Она жила в нищете и отрешенности от всех, несмотря на то, что эмигрантские круги звали ее в Америку, и в Англию, где ей было бы обеспечено полное благосостояние. Вместе с мужем, дочкой и сыном она вернулась в Советскую Россию. Здесь, как я уже говорила, был арестован и расстрелян ее муж, выслана из Москвы ее дочь. Марина Цветаева осталась в Москве вместе со своим сыном Муром.

Москву уже бомбили. Из Союза писателей нам звонили о том, что готовится несколько эшелонов для эвакуации писателей из Москвы, были намечены несколько городов — Ташкент, Куйбышев, Казань, Чистополь на Волге, Алма-Ата, эвакуация предполагалась в октябре 1941 года, но матерям с детьми была дана возможность уехать еще в июле для того, чтобы вывезти детей. Нам всегда звонили из союза об эвакуации, так как считалось, что остающиеся в Москве ждут немцев. Пока что мы дежурили на крышах и в здании Союза писателей, тушили фугаски и делали все то, что полагается делать советскому писателю.

Как-то раз в июле Марина, встретившая меня в клубе писателей, сказала мне: «Лиза, поедemте в Чистополь». Я ответила ей: «Зачем же нам ехать в Чистополь, когда в октябре нас все равно эвакуируют в большие города, где мы сможем печататься?» Она сказала: «Я хочу в Чистополь потому, что боюсь за жизнь Мура. Он каждую ночь дежурит на крыше, и его могут убить». Она горячо любила своего сына, единственно уцелевшего из ее семьи, так как сестра Цветаевой Анастасия Ивановна Цветаева тоже была арестована из-за своих истинно христианских убеждений и религиозных связей с неким проповедником этих убеждений Зубакиным. Таким образом, Марина осталась совершенно одинакова.

## Арсений Тарковский [\[246\]](#)

### ПУНКТИР

На самом деле это знакомство состоялось в 1940 г.

У нас с Мариной были очень добрые отношения. Я познакомился с ней в 1939 году, когда она возвратилась на родную землю. Тогда же вышла в свет книга моих переводов из туркменского поэта Кемине (XIX в.). Я подарил ее Цветаевой, она ответила мне письмом, в котором было много добрых слов о моих переводах. История же Марининоного посвящения такова. Первую строку одного из моих стихотворений: «Стол накрыт на шестерых» — она взяла эпиграфом к своему стихотворению, в котором укоряла меня за то, что я забыл ее, седьмую.

Марина Ивановна Цветаева приехала в СССР в очень тяжелом состоянии, была уверена, что ее сына убьют, как потом и случилось. Я ее любил, но с ней было тяжело. Она была слишком резка, слишком нервна. Мы часто ходили по ее любимым местам — в Трехпрудном переулке, к музею, созданному ее отцом... Марина была сложным человеком. Однажды она пришла к Ахматовой. Анна Андреевна подарила ей кольцо, а Марина Ахматовой — бусы, зеленые бусы. Они долго говорили. Потом Марина собралась уходить, остановилась в дверях и вдруг сказала: «А все-таки, Анна Андреевна, вы самая обыкновенная женщина». И ушла.

Она была страшно несчастная, многие ее боялись. Я тоже — немного. Ведь она была чуть-чуть чернокнижница.

Она могла позвонить мне в 4 утра, очень возбужденная: «Вы знаете, я нашла у себя ваш платок!» — «А почему вы думаете, что это мой? У меня давно уже не было платков с меткой». — «Нет, нет, это ваш, на нем метка „А. Т.“. А его вам сейчас привезу!» — «Но... Марина Ивановна, сейчас 4 часа ночи!» — «Ну и что? Сейчас приеду». И приехала, и привезла мне платок... На нем действительно была метка «А. Т.».

Последнее стихотворение Цветаевой было написано в ответ на мое «Я стол накрыл на шестерых...». Стихотворение Марины

появилось уже после ее смерти, кажется, в «Неве». [\[247\]](#) Для меня это было как голос из гроба.

## Арсений Тарковский СТИРКА БЕЛЬЯ

Марина стирает белье.  
В гордыне шипучую пену  
Рабочие руки ее  
Швыряют на голую стену.  
Белье выжимает. Окно —  
На улицу настезь, и платье  
Развешивает. Все равно.  
Пусть видят и это распятье.  
Гудит самолет за окном,  
По тазу расходится пена,  
Впервой надрывается днем  
Воздушной тревоги сирена.  
От серого платья в окне  
Темнеют четыре аршина  
До двери.  
Как в речке на дне —  
В зеленых потемках Марина.  
Два месяца ровно со лба  
Отбрасывать пряди упрямо,  
А дальше хозяйка — судьба,  
И переупрямит над Камой...

Андрей Кленов [\[248\]](#)

## МИМОЛЕТНОЕ ЗНАКОМСТВО

Андрей Шенья взошел  
на эшафот,  
А я живу — и это страшный  
грех.  
Есть времена — железные  
для всех.  
И не певец, кто в порохе —  
поэт.  
И не отец, кто с сына  
у ворот  
Дрожа срывает воинский  
доспех.  
Есть времена, где солнце —  
смертный грех.  
не человек — кто в наши  
дни живет.

Так Марина Цветаева думала и писала в восемнадцатом году в Москве. И думала так в сорок первом, в забытой Богом заштатной советской Елабуге. А за полгода до этого, в феврале или в марте, того же сорок первого года волею доброго случая я познакомился с ней.

Я был совсем молодой — двадцать один год, но уже печатал стихи и был членом союза писателей, учился в Москве в институте и ходил в писательский клуб, нынешний ЦДЛ, на улице Воровского, расположенный в бывшем богатом дворянском особняке: высокая, в три этажа, зала, обшитая темными из мореного дуба панелями, таким же потолком с массивными дубовыми балками, с огромной хрустальной люстрой, к сожалению давно не мытой, и с деревянной поскрипывающей под ногами лестницей на антресоли.

В ту пору в клубе писателей устраивались субботние «посиделки» с ужином, с водкой, с танцами. И на один из таких вечеров я пошел с

моей подругой. Нам отвели скромный столик на антресолях, но он был на двоих и мы видели сверх всех, а нас никто не видел. Не помню, спускались ли мы танцевать, — наверно, нет, стеснялись. И не помню, кто из известных писателей на этом вечере был. Запомнился мне только молодой, стройный и смуглый Константин Симонов, уже входивший в славу, и танцевавшая с ним Валентина Серова, популярная в те годы киноактриса, которой Симонов посвятил во время войны свои лучшие стихи.

Но дело не в Симонове. На этом вечере я познакомился с Мариной Ивановной Цветаевой. И если бы существовали в природе такие весы, то она одна перевесила бы всех присутствовавших в клубе писателей. Но это я понимаю теперь. Тогда я не понимал этого.

В самый разгар вечера к столику нашему подошел старый, т. е. я хочу сказать еще дореволюционный русский поэт из брянского окружения Константин Липскеров, человек большой культуры, знаток и переводчик великих восточных поэтов, кстати сказать, тоже побывавший в лагерях, и сказал мне:

— Пойдемте — я познакомлю вас с Цветаевой.

Я знал тогда о ней немного — стихи ее не издавались и были запрещены. Знал, что Марина Цветаева недавно вернулась из эмиграции и очень трудно жила — перебивалась переводами — и что муж ее арестован. Но вот, что удивительно, да и просто непостижимо; мимолетное с ней знакомство я запомнил навсегда, и запомнил ее лицо, и до сих пор его вижу.

Липскеров подвел меня к большому, человек на десять столу, во главе которого сидела скромно одетая в темное, а может быть, и в черное (наверно, траур по бесследно исчезнувшему на Лубянке мужу) женщина, как мне показалось, суровая, с темно русыми с проседью, гладко зачесанными на висках волосами (ей было тогда сорок девять лет) и с заметной горбинкой на носу.

Липскеров представил меня:

— Познакомься, Марина. Это молодой поэт, — и назвал мое имя.

Она улыбнулась, и суровость с лица, сошла, протянула руку, что-то сказала мне, наверно, незначительное, общепринятое, и я ей что-то сказал, вернулся за свой столик.

Я смотрел на Марину Иванову ну не больше минуты, но иная минута весомей многих часов. И через двадцать лет, в шестьдесят



первом году, когда вышел первый посмертный сборник «Избранное», я снова встретился с ней, теперь с самым в ней главным, с ее стихами и поэмами, не мог от них оторваться, и целую неделю только ими жил.

**Надежда Павлович** [\[249\]](#)

## **СТРАНИЦА ПАМЯТИ**

Моя единственная встреча с Мариной Ивановной Цветаевой после ее приезда в Москву состоялась в 1940 году, у Нины Герасимовны Яковлевой, лучшей переводчицы Бальзака. В тот вечер на ее квартире, кроме меня, были Валентин Парнах, брат Софьи Парнох, и еще две дамы, кто — не помню. [\[250\]](#)

Цветаева в то время была в ужасном состоянии. Мы все боялись с ней встречаться «страха ради иудейска». Ей выхлопотали кое-какую работу. Она занималась тогда переводами Важа Пшавела.

Вошла Марина Ивановна — изящная, стройная, привлекательная. В ней чувствовалось сочетание застенчивости и гордости. Она привыкла уже, видимо, к тому, что с ней боятся встречаться. Гордость была ее самозащитой. Когда Цветаева почувствовала симпатию присутствующих — то отстраняющее, что было в ней поначалу, исчезло, она оттаяла и стала милой, доверчивой.

Она много со мной разговаривала, больше, чем с другими. Разговаривать с ней было легко, от разговора становилось как-то тепло. Было в ней что-то глубокое. Ничего такого, что трудно выдержать, вовсе не было. Все было просто, трогательно, сердечно. Цветаева читала большую вещь на мотивы сербской сказки. [\[251\]](#) — Усталая девушка дремлет на лугу. Над ней, как шмель, кружит упырь. Еще помню стихи Маяковскому. Меня поразила ритмика стихов Цветаевой. Дивный ритм и сладчайшая мелодия стиха. Я чту Ахматову. Помните ее эпиграмму: «Могла ли Биче словно Дант творить / Или Лаура жар любви восславить? / Я научила женщин говорить... / Но, Боже, как их замолчать заставить!» Я никогда ей не подражала. Но я знаю, как пишутся такие стихи, как ахматовские. Она для меня не чудо, ее творческое мастерство мне понятно. Слушая Цветаеву, я ощущала непостижимое. Я не знаю, как делаются такие стихи.

Хотелось, очень хотелось, всей душой, поддерживать с ней отношения. Но я боялась. Тут была и личная трусливость, и страх из-за моих церковных связей. Я была связана с некоторыми деятелями

Церкви, находившимися в заключении, ездила к ним в лагеря. Я считала, что еще больше рисковать не могу, что этого с меня достаточно.

**Ольга Мочалова** [\[252\]](#)

## **ЗАПИСКИ**

В ноябре я была приглашена к Марине Ивановне. Она жила на Чистопрудном бульваре, около Покровских ворот, на 5-м этаже, в комнате уехавшего на год полярника. Мы были вдвоем. На столе приготовлен был чай, сахар, печенье. М. Ц. говорила, что Гослит предлагает ей составить сборник для печати и редактором назначен Леонид Тимофеев, спрашивала мнение о нем. «В выборе стихов у меня прежде всего — ответственность перед читателем». Говорила о Муре, что он угрюм. Замкнут, учится средне, презирает девочек. «Мы все были воспитаны на очарованье старины, а он признает только современность».

Говорила, что не пользуется лифтом, пугается его и не доверяет, предпочитает подниматься пешком. До того она жила в комнате при университете и там дружила с полубродячим котом. Раз он на кого-то обиделся, залез на дерево и просидел в ветвях неделю. Когда М. Ц. уезжала, кот плакал. «Правда, правда, не я одна видела, и это был не насморк, слезы текли».

Переводную работу делала с удовольствием: «Это у меня в пальцах, дело моей души, мое ремесло. Переводить я могу строк 8—10 день. Поэты плохи... Вот тут у меня поляк один, он пишет, что в лесу — камни. Я очень много гуляла по лесу с Муром, но камней в лесу не бывает...»

Я еще раза два была в этой комнате. Раз принесла М. Ц. концентрат горохового супа, который она охотно приняла. Раз я застала ее за едой. Она сказала: «Не угощаю, потому что это ужасная гадость». После ее прихода ко мне пришла вернуть ей забытые очки. Окно было разузорено инеем. «Посмотрите, — сказала она, и в глазах ее мелькнул золотой огонек, — какой здесь вырос лес!» Когда я выходила в дверь, опять лукавый бесенок в глазах: «Вы, выходя в дверь, делаете такой изгиб (вертлявое телодвижение), и все так».

«Спешу варить Муру курицу, он скоро вернется из школы. У соседки это торжественная церемония, а я очищу ее и брошу в кипяток: „Варись!“»

Марина Цветаева была тогда худощава, измучена, с лицом бесцветно-серым. Седоватый завиток надо лбом, бледно-голубые глазки, выражение беспокойное и недоброе. Казалось, сейчас кикимора пойдет бочком прыгать, выкинет штучку, оцарапает, кувыркнется. Разговаривала она судорожно быстро, очень раздражительно, часто обрывая собеседника: «В мире физическом я очень нетребовательна, но в мире духовном — нетерпима!» Одеты очень бедно — что-нибудь, как-нибудь. Верхнее — беретик, холодная шубка с сереньким воротничком. «Поэтесса из Парижа! — смеялась она. — Все ждут шикарных туалетов, где же все это?».

Раза два она мне звонила по телефону, просила ехать с ней на рынок искать Муру валенки наибольшего размера. Раз просила помочь ей перенести заброшенные где-то книги. Как-то я ее упрекнул, что она мне не позвонила, она мельком взглянула и ответила: «Я звонила, но у вас ответили: она пошла в баню! Что это дает?» Такого ответа у меня быть не могло, неправда.

Марина Цветаева отличалась абсолютной неспособностью ориентироваться на улицах и абсолютной неспособностью к арифметике. В Москве, в Париже, в Берлине она могла ходить только по коротким, давно знакомым дорогам или же с провожатым.

Ко мне она пришла 7 декабря 1940 года. Как мы сговорились, я встретила ее у выхода из метро. Был мороз, тьма, вьюга, ветер. Я вела под руку М. Ц., с трудом одолевая погоду. Она, ничего не замечая, безудержно болтала. «Ко мне по данному объявлению приходит предлагать комнаты много сумасшедших... Они мечтают, что у них огромные квартиры... Ко мне в Париж на мой шестой этаж внезапно явилась Ида Рубинштейн сделать заказ на стихи... Она была тогда любовницей самого богатого банкира... и щедро мне заплатила... Один молодой человек ехал на пароходе в качестве миссионера и получил рану. Он решил ее зализывать. Ведь собаки зализывают раны, и они заживают...»

Как только Марина Цветаева вошла в мою комнату, она бросилась обнимать и ласкать кота Василия и кошку Зосю. Зося имела особенный успех. Затем она разделась, села за письменный стол и начала что-то писать. Я думала, не снизошло ли вдохновенье, и робко спросила, что она пишет.

«Почему вас интересует? — сердито возразила М. Ц. — Это моя рабочая записная книжка, у вас тоже такая есть. Дома я бы записать не успела, а тут я могу». Я покорно принялась готовить чай, в надежде, что запись не слишком затянется, наконец М. Ц. с удовлетворением отложила ручку и положила тетрадь в матерчатую хозяйственную сумку, которую всегда брала с собой, приговаривая: «А вдруг я что-нибудь куплю».

Разговор был сбивчивый, скачущий. Обо мне — ни одного вопроса. Записываю, что запомнила:

— Люблю физику, ее загадочные законы притяжения и отталкивания. Похоже на любовь и ненависть.

— Люблю все больше, ничего маленького. И кошек, а не котят. Кошками не брезгаю, пускай спят на голове, как они это любят. Удивительна их манера появляться, осторожность при прохождении между вещами.

— Вы говорите — трудно. Трудно было всем. Новалис сидел у окошка, Гёте поздравлял герцогинь с днем рождения.

— Нечего рассматривать ножки и ручки у красивой женщины, важно общее и целое.

— Глаза у Адалис — аллеи, но куда? [\[253\]](#)

— В дом отдыха!

— Книга принадлежит тому, кто ее больше любят. (Она иногда это доказывала практически.)

— Это у вас гравюры, я знаю, что такое гравюры.

— После такого обилия талантов — Блок, Бальмонт, Ахматова, Гумилев, Кузмин, Мандельштам, Ходасевич — все это сидело за одним столом — природа должна успокоиться! Неудивительно, что сейчас нет имен...

Я сказала, что мне нравится ее посвящение Маяковскому — «архангел-тяжеловес»...

М. Ц. с удовольствием пробормотала стихи и прибавила:

— Хам... Он в Париже безнадежно был влюблен в хорошенькую, сидел, как медведь, и молчал. А она? Там, во Франции, — все на шутке, на улыбке... А вообще — люди как везде. Приехал в Москву, и опять такая же история. Его самоубийство — прекрасный лирический поступок.

— Я несколько раз выступала в Париже с чтением своих стихов. Был случай — после выступленья получила брошь с нарисованной на ней головкой Рафаэля. В приложенной записке одно слово — «Вы».

— Волькенштейн сказал мне стихотворенье своего пятилетнего сына: «Мост кирпичный, черепичный, пичный, пичный мост». Мне нравится: передает ритм поезда.

После первого посещения я получила от М. Ц. письмо:

«Воскресенье, 9 декабря 1940 г.

Милая Ольга Алексеевна,

Хотите — меняться? Мне до зарезу нужен Державин — хотите взамен мое нефритовое кольцо (рука), оно счастливое, и в нем вся мудрость Китая. Или — на что бы Вы вообще обменялись? назовите породу вещи, а я соображу.

Я бы Вам не предлагала, если бы Вы очень его любили, а я его очень люблю. Есть у меня и чудное ожерелье богемского хрусталя, вдвое или втрое крупнее Вашего. Раз Вы эти вещи — любите.

Думайте и звоните!

Всего лучшего! Привет Зосе. Она обмен одобрит, ибо кольцо будет закатывать (под кровать), а ожерелье — объест ягодки.

*М. Ц.»*

Обмен совершился в следующий ее приход. Я выговорила еще право прочесть М. Ц. несколько своих стихотворений. После каждого прочитанного она разливалась потоком попутных мыслей, но в результате прослушанья сказала: «Вы — большой поэт. Я очень редко говорю такие слова. Обычно слушаешь, слушаешь автора и произносишь неопределенные звуки: гм, км, ого, угу... Но вы поэт без второго рожденья...»

— Хороша книга Асеева о Маяковском. [\[254\]](#)

«Ахматова — прекрасный поэт, прекрасная женщина, прекрасная мать», — говорила М. Ц. еще при первом свидании. В этом раз она сказала: «Ахматова на мое письмо ничего не ответила...»

Увидела на столе в Парижском издательстве плохой перевод стихотворений Пушкина и тут же сделала новый, вызвавший всеобщее одобрение.

— Когда мы уехали из Борисоглебовского, все наши книги забрал Х. Я. Встретила его теперь, но на мой вопрос о нашем имуществе он ответил насмешливой шуткой.

Был уже январь, на улице продавались елки. М. Ц. сказала: «Что такое елка без Христа?»

— Много раз приходилось бегать по лавкам за какой-нибудь селедкой, но (хихикнув) чистить ее, как настоящая горничная, я не умею...

— Аля такая блестящая... (о дочери).

— «Вас очень любят», — говорил мне на днях один из прилитературных людей, знаете, из тех, которые везде бывают... С другой стороны, мне надо продать вязаную кофточку, и не знаю, куда обратиться.

Когда я провожала М. Ц. обратно на метро, она купила в поездном уличном вагончике батон черного хлеба. Рассказывала, как интересно у ней недавно на улице отмерзла нога. «„Трык!“ — и часть тела стала бесчувственной. Мясо осталось элегантным».

В 1941 г. поэтесса Н. Л. Вержейская присутствовала на собрании ПВХО в Доме писателей. Рядом с ней сидела незнакомая дама и с ужасом смотрела на противогаз. Потом сказали, что это Марина Цветаева.

## ЗАПАДНЯ КРЫСОЛОВА

*Il faut revenir un jour chez soi.*

*Il y faut revenir malgré soi.*

*On y revient toujours, mais pourquoi?!*

*Comme il faudra mourir un jour.*

*Paul Fort, «Ballades Françaises»*

---

*Придет пора, когда на свой порог вернуться  
будет надо,*



*И мы не властны час сей отворотить.  
Возврату всяк покорен и всегда. Но почему?  
Да потому, что день придет, когда нас в саван  
облачат взамен наряда.*

*Поль Фор «французские баллады»<sup>[255]</sup>.*

В 1931 году, в конце лета, я навестил семью режиссера Туржанского в Медоне около Парижа. Во время ужина послышался звонок в передней. В столовую неожиданно вошел Эфрон. Марина и он уже давно покинули Прагу. Наши отношения оборвались еще до этого. Мы не переписывались. Но Эфрон искренне обрадовался случайной встрече. Расспрашивал о жизни в Чехии, общих знакомых и всячески настаивал, чтобы по окончании трапезы, несмотря на поздний час, я зашел бы к ним «Марина будет так рада вспомнить старое... Ведь сколько лет мы не виделись!»

Знакомые серые скорбные глаза, густые сдвинутые брови, выдающие постоянную тревогу. И почти докучливый голос: «Марина будет так рада вас увидеть... Мы живем совсем недалеко. Перейти только железнодорожный мост, в пяти минутах отсюда...»

Уже до этого мои друзья, обосновавшиеся в Париже, предупредили меня, что с Цветаевой происходит что-то неладное: политически ей перестали доверять. Но отказаться от приглашения было невозможно. По дороге Эфрон начал убеждать меня переселиться в Париж. Ведь это город непредвиденных возможностей.

Во вторую половину прошлого века во всей Европе появился особый вид так называемых доходных домов. Они всюду одинаковы. Узкие комнаты в них напоминают стойла в конюшнях. Несоразмерные окна пропускают недостаточно света. Чересчур высокие потолки исключают уют. В этих жилищах холодно зимой, холодно и сиротливо летом.

Комната, в которой жила Марина, была не лучше. Две кровати у стены, изголовье к изголовью. На бесцветных стенах ни одной картины, ни одной фотографии. Неряшливый деревянный стол, неубранная посуда. Табачный дым. И в нем тусклая электрическая лампочка.

Я ожидал увидеть детей: Алю, гордость Марины, и ее сына, о котором знал только понаслышке. Но Али не было. Не было и сына. А мне хотелось увидеть черты его лица...

Ожидания Эфрона были ошибочны. Марина не только не обрадовалась моему приходу, но встретила безразлично, пожалуй даже сухо. Глядела упорно в сторону и беспрестанно курила. Кожа на ее лице (Марина не употребляла румян) стала желтовато-мутной. Осень приближалась не только на дворе... Поза Марины была оцепенелая, словно у нее ныл позвоночник. Губы строго сомкнуты. А на челе: «Чего вам, собственно, надо? Разве не видите: „сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка“» — «Нет, Марина, — отвечает моя мысль. — Эта выдержка из Гоголя нехстати. Здесь всё — немое отчаяние. Здесь — ожидание гибели...» «Вы знаете, Марина (Цветаева и Эфрон обращались друг к другу на вы), Николай Артемиевич провел лето на берегу Ламанша...» Пустое эхо. «На берегу Ламанша?». И стародавнее средство, чтобы не приоткрывать ни души, ни мысли: «Говорят, что там все время идет дождь». Но о погоде мы все-таки не говорили. Мы не встречались несколько лет. Лучистый нимб Марины больше не ощущался, он погас. От него исходило что-то чужое, недружелюбное.

«Печатаете ли вы что-нибудь? Что вы пишете?» Недовольно пожимая плечами, низким голосом: «Кое-что... Разве стихи нужны кому-нибудь в эмиграции?..».

Эфрон чувствовал смущение. Пытался вывести Марину из ее мрачного состояния. Ничто не помогало. Оставалось только откланяться. Исповеди от Марины не слышал, вероятно, даже священник. Тем меньше мог ожидать ее я. Ни прошлое Марины, ни Франция с ее умением светского обхождения не научили ее притворству. Уходя, досады я не чувствовал, знал только, что мы никогда больше не встретимся. Молчание Марины было молчанием человека, у которого не было больше выхода. Со сжатыми зубами, со жгучей ненавистью к своему настоящему, через несколько лет она все же пыталась найти выход. Это была последняя ставка. Добровольная? Вероятно, она знала, что отказаться от нее невозможно. Она вернулась на родину.

*Посвящается Льву Абрамовичу Мнухину за то, что он заставил меня их написать, для чего я в себе не находил сил и желания в течение тридцати семи лет.*

Марина Ивановна Цветаева была ни на кого не похожа, ни на кого, кто жил на земле в мое время. Она пришла с другой планеты, с другими понятиями и представлениями о морали, этике и взаимоотношениях с людьми... Надо всегда, повсюду, и в прошлом, и настоящем, и будущем, быть на стороне побежденных: в Вандее — за королевскую рать, надо быть не на стороне санкюлотов, которые не оставили в живых ни одного из офицеров Луи XVI.

Не помню, кто это сказал: «Благородная, страстная и горестная Цветаева — поэт хвалы и хулы — всегда на стороне побежденных. Победители, будь они даже освободители, ей чужды»..<sup>[257]</sup>

Всех, кто в государстве приходит к власти, надо не восхвалять, а ненавидеть...

Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова не только выхлопотала французскую визу для Эфронов, не только прислала денег на дорогу, он отдал в своей трехкомнатной квартире лучшую, самую вместительную комнату, освободив гостей от квартплаты, которую сама вносила, что не помешало Марине Ивановне на вопрос пришедшего с нею познакомиться князя Святополк-Мирского: «Кто эта очаровательная дама, которая открыла мне входную дверь?» — ответить так: «Ах, не обращайтесь внимания — это моя квартирная хозяйка»...

Марк Слоним, единственный за рубежом редактор, который печатал все без ограничений, что писала Марина Ивановна в стихах и в прозе, — не стоил уважения. Как глубоко был уязвлен на закате своих дней Марк Львович, фигурирующий в письмах к Черновой под кличкой «дорогой» то со строчной, то с прописной буквы (Марина Ивановна умела людей наделять кличками, иногда очень злыми), когда Глеб Струве прислал отрывки из этих писем Марины Ивановны, где

она подшучивает над его романами, манерой жить и над его литературоведческими неудачами. «Может, не печатать?» — деликатно спрашивал Струве. Слоним гневно ответил: «Все печатайте, как есть». И в то же время вы можете прочесть в письмах Ариадны Эфрон в Москве в Нью-Йорк в начале 1960 года: «Передайте от меня сердечный привет Марку Львовичу — я часто его вспоминаю в числе редких и настоящих маминых друзей».

В письмах из Праги в Париж Марина Ивановна возмущается чехами, их скупердяйством, их душевной бедностью, их затхлым провинциализмом, восторгается французами, русскими во Франции и рвется в Париж. А в письмах из Парижа к А. Тесковой хвалит чехов, своих благороднейших и верных друзей, и поносит Париж.

Меня нисколько не смущает такой образ Марины Цветаевой, который я стараюсь правдиво изобразить. Я нисколько не умаляю ее ни как поэта, ни как человека, я продолжаю ее обожать, больше: обожествлять, любить и восхищаться ею. Я не делю ее на поэта и человека, а просто любил и люблю во всех ипостасях.

Больше всех писателей России Марина Ивановна любила до обожания Алексея Ремизова, что не помешало ей съязвить в письме ко мне, обвинив его в дурном к себе отношении: «Ремизов с несколько двусмысленной дружественностью (ему не передавать!) прислал мне статейку А. Яблоновского — „На-ка, почитай-ка!“»

Мы все томительно долго ждали на rue Rouvet<sup>[258]</sup> приезда Марины Ивановны. Она что-то все откладывала свой приезд, по-видимому боясь потерять чешскую стипендию, а «Дорогой» и «Невинный»<sup>[259]</sup> все не могли получить у чехов по этому поводу вразумительного ответа. И когда мы уже истомились донельзя, семья Эфронов оказалась с нами.

Боже, какая это была интересная семья! Само собой разумеется, в ней и в нас безраздельно царила Марина Ивановна.

Мы не разочаровались при первой встрече, как это обычно бывает, когда долго ждешь. Больше того: мы были очарованы. Мы жадно ловили каждое слово Марины Ивановны — удивлялись, смеялись, восторгалась. И внешность ее нам очень понравилась: и как близоруко щурит глаза, и как лорнирует — совсем не с тем небрежением и высокомерностью, как Зинаида Гиппиус. Понравилось, как одевается, как закидывает ногу на ногу. Она был молода, стремительна, а

угловатость ее, острые углы напоминали мне Иду Рубинштейн кисти Серова...

А что за прелесть была Аля! Такой милый увалень, толстенький теленок. Она и считала себя теленочком, чувствовала себя им...

А какая Аля красивая! большие-большие голубые глаза, голубее неба, бездоннее альпийского озера, и чуть ироническая, в Сергея Яковлевича, насмешка в огляде вокруг себя. Но усмешка не на тонких злых губах, на теплых, мягких — очень загадочная — себе на уме — и в то же время по-женски кокетлива.

Как они были прелестны обе — мать и дочь — и как подходили друг другу.

Гляжу на них через более чем полвека и не могу не прошептать:

— «Марина, спасибо за мир!» —  
Дочернее странное слово.  
И вот — расступился эфир  
Над женщиной светловолосой.  
Но рот напряжен и суров.  
Умру, а восторга не выдам!  
— Так с неба Господь Саваоф  
Внимал молодому Давиду.

Как все верно здесь: и светловолосая женщина, она скоро потемнела, и еще скоро пришла седина. И часто, увы слишком часто, «рот напряжен и суров».

О нашем знакомстве Аля Эфрон вспоминает в одном из своих писем: «Помню ваш прелестный весенний хоровод женихов и неваше праздничное навсегда осталось у меня под знаком боттичеллиевского „Рождения Венеры“, висевшего в комнате Лисевны..<sup>[260]</sup>

Как удивительно! А ведь и правда боттичелливское, ренесанское было в ваших триединствах — дружб, любвей — грация, рыцарственность, чистота... Боже мой, Боже мой!»

Когда я впервые читал эти чарующие строки Ариадны Сергеевны, горько мне было припоминать, как Марина Ивановна пыталась разрушить этот боттичеллиевский хоровод. Из нас, трех женихов, она выбрала самого красивого, самого талантливого, самого в себе

замкнутого — Даниила Георгиевича Резникова. Что только не делала Марина Ивановна, чтобы Даниила оторвать от Натальи Викторовны. Всего не перескажешь. Мы за него боролись втроем и за Наташино счастье. Приведу лишь один отрывок из письма к нему Марины Ивановны из Вандеи: «У нас целая бочка вина, и поила бы Вас — вино молодое, не тяжелее дружбы со мной. Сардинки в сетях, а не в коробках. Позже будет виноград. Чем еще Вас завлечь? Читала бы Вам стихи».

В жизни Марины Цветаевой с ее многочисленными романами, и эпистолярными и всякими, если говорить по-настоящему, был всего лишь один-единственный роман. Она принесла свою верную любовь к Сергею Яковлевичу через всю свою жизнь и только однажды сорвалась... Эта «измена» дала нам две дивные поэмы и два десятка совершенно гениальных писем, лучших в ее богатом эпистолярном наследии. И эта любовь быстро потерпела фиаско, привела к жалкой комедии вплоть до покупки самой Мариной Ивановной... подвенечного платья невесте героя<sup>[261]</sup> «Поэмы Горы» и «Поэмы „Конца“».

...В Ялте кто-то из наших поэтов (имени не назову) хвастался мне своим бурным романом с Цветаевой после ее возвращения на родину. Во время его рассказа я все думал, как один из героев «Записок из Мертвого дома»: «И все-то он врет! И все-то он врет...»

Так я думаю сегодня так думал и в 26 лет, когда дал публичную пощечину редакции «Нового дома» и вызвал на дуэль одного из редакторов журнала, осмелившегося недобросовестной подборкой цитат из «Поэмы Горы» изобразить Цветаеву женщиной легкого поведения, а «Версты», в которых была опубликовала эта поэма, назвать публичным домом!

Гронский, Штейгер, Иваск, Слоним, Резников, Гуль — это все выдумка, придумано Мариной Ивановной, но придумано так талантливо, что заставило некоторых из них поверить, что романы были. Марина Цветаева — волшебница и чародейка — создавала людей, вызывала их из небытия, из нетути, и наделяла их несметными богатствами. Она их переделывала, перекраивала, перекрашивала или просто выдумывала. И их такими новорожденными изображала в своих дивных письмах.

Боже! Какие они все у нас красавицы, рыцари, боги, как умны, вдумчивы, романтичны, как ловко, подражая Марине Ивановне, владеют эпистолярным пером, хотя никто из них, за редким исключением, не достоин был приблизиться к ней даже на пушечный выстрел. У Марины Ивановны с рождения была волшебная палочка, и она могла из ничего сделать поэта. Она любого могла заставить писать хорошие стихи, хорошие письма.

Она заколдовала даже — в круге своем — и великих поэтов, которые были поэтами и их не надо было учить писать стихи и эпистолы. Два гения нашего столетия! Но это тоже не были романы.

Возвращаюсь к герою «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» — единственному роману Цветаевой вне семьи, — с недоумением развожу руками: ведь и этот кратковременный роман — что это был за роман! Герой этих двух поэм как-то говорил мне: «Не понимаю ваших восторгов перед стихами Марины Цветаевой. Я, например, их вовсе не понимаю, а те, что понимаю, они мне ничего не говорят. У меня, простите, полное отвращение к ее творчеству». Вчитайтесь в эти поэмы, да из писем ее к Константину Родзевичу (мне посчастливилось прочесть их в 1960 году — это самое значительное в эпистолярном наследии Цветаевой, и тогда они мне показались значительнее самих поэм) видно, как жадно Марина Ивановна ловила крошки внимания его к себе. Стоило ему сказать какое-нибудь банальное ласковое слово, и вот уже оно возводится в шедевр — в диалог Ромео с Джульеттой. Он взглянет на Марину Ивановну, и ей уже кажется, что на нее взглянуло бездонное озеро его прекраснейших глаз.

Не уверен, но думаю, что сам Родзевич (она всегда почему-то писала: «Радзевич») не написал ей ни одной эпистолярной строчки: ему нечего было ей сказать..[\[262\]](#)

У Марины Ивановны была слабость, как я уже отмечал, к побежденным, к проигравшим игру, к людям, выкинутым из истории на свалку. И еще одна слабость у Марины Ивановны — к старикам: «мой идеальный старик», что отразилось и в ее творчестве. Вспомните: она воспевает Казанову не в расцвете его ловеласских успехов, а на закате его дней. Две эти ее слабости соединились в Александре Федоровиче Керенском, хотя тогда он лишь приближался к старости, но дряхлел очень быстро. Он все делал быстро, стремительно... Мне выпала честь их свести.



Когда Марина Ивановна поселилась на рю Руве, она в первый же день заявила мне что я обязан привести его к ней, <sup>[263]</sup> этого бывшего главнокомандующего русскими армиями, о котором «Малая Советская Энциклопедия» удивительно высказалась как раз в те дни, когда я в первый и последний раз ввел его в уютную квартиру на рю Руве:

«Песнопевец „бескровной революции“, он спас голову Николая отменной смертной казни, но восстановил ее для солдат на фронте» (!).

Я обещал Марине Ивановне привести к ней Керенского.

Этот день живо помню. В нем было много неожиданностей для всех сторон. Начались они уже в самой редакции газеты «Дни». Я предварительно созвонился с Керенским.

Он бурно вылетел из своего кабинета, где висел большой портрет его любимицы, «бабушки русской революции», Брешко-Брешковской, которая в свою очередь, обожала Керенского. Вылетев из кабинета в приемную, он стал озираться вокруг. Он был дико близорук. Когда Бабель в своем рассказе «Линия и цвет» говорит ему: «Нужны очки, Александр Федорович», — тот отвечает: «Никогда. Полтинник за очки — это единственный полтинник, который я сберегу».

Увидев меня, Александр Федорович стремительно приблизился ко мне и, тыкая совершенно неприлично в мою сторону указательным пальцем, загремел:

— Ладинский!

— Нет, Александр Федорович, Сосинский.

— Ну какая там разница: Ладинский — Сосинский. Оба вы пишете. Оба — сотрудники моей газеты.

— А я думал, что вы более наблюдательны, лучше запоминаете лица. Когда, кстати говоря, вы вели июльское наступление, как вы распознавали и не путали офицеров?

Он вплотную подошел ко мне. Ключнул носом не в плечо:

— По погонам, по погонам.

«Вот уж нет! — подумал я. — По погонам никак нельзя было. Ведь, чтоб немцы не узнали, какие части стоят перед ними, попадавшие в плен солдаты и офицеры не имели никаких обозначений на погонах».

В те дни мы все находились не при деньгах, тем более что все ухлопали в тот вечер на ужин. У меня не было денег на такси, и я повез Керенского в метро.



По дороге, как все молодые люди учат стариков, учил я уморазуму главковерха и автора только вышедшей «Гатчины»: «Ваши „Дни“ все советское ругают и не замечают того, как много положительного происходит там. Милюковские „Последние новости“, которые считаются консервативнее эсеровских „Дней“, даже они отмечают много интересных событий на родине. А какая проза! Какие стихи! А театры?! Мейерхольд, „Габима“, Таиров, Вахтангов!»

Александр Федорович морщился, возражал слабо и как-то устало.

И вот торжественный ужин на рю Руве. Хозяйки превзошли самих себя: чешско-русско-французская кухня. Вина! Водка «Смирновка». Дорогая скатерть, одолженная у соседей. Салфетки. Хрустать от соседей.

Есть такие корешки, которые на правах школьных товарищей или грешной вашей общей молодости вваливаются к вам в любое время без всякого предупреждения, без телефонного звонка и как раз именно в такой момент, когда ты меньше всего его ждешь и когда с тобой люди, отнюдь ему не подходящие, и он им не подходит! У меня был такой Алеша Селиванов, однопольчанин, одноклассник и сверстник. Он ввалился даже не ко мне, а в дом моей будущей невесты. И ко всем бедам был сильно на взводе. О его профессии можно не говорить: русский офицер в Париже двадцатых годов, само собой разумеется, шофер такси, да еще ночной.

За столом всецело царили Марина Ивановна и Александр Федорович. Все остальные только слушали их. Кроме, конечно, Алеши Селиванова. Когда разговор зашел о современной литературе — той и этой — Марина Ивановна на первые места выдвинула Алексея Ремизова и Бориса Пастернака, Александр Федорович рьяно возражал, показав свое высокое искусство оратора и полемиста — он был за прозу Ивана Бунина и за поэзию Константина Бальмонта. Бурному спору положил конец Алеша Селиванов.

Он безапелляционно заявил:

— Нет, Александр Федорович, вы ошибаетесь. Дайте мне хорошую бутылку красного вина, и я напишу вам рассказ не хуже Бунина.

Этим заявлением весьма заинтересовалась Марина Ивановна. Но я тотчас же заметил, что с ее стороны это была игра!

— Александр Федорович! А что вы думаете, — прищурилась Марина Ивановна, что она всегда делала, когда говорила что-нибудь особенное и оригинальное, — если мы ему купим бутылку красного вина, вдруг он на самом деле напишет шедевр?

— Да, — задумчиво, на полном серьезе (но я не утверждаю, что Керенский не понял шутки) ответил он. — Только я, как юрист, хочу знать, в какой момент мы дадим ему эту бутылку: до или после?

— Да, конечно, — ведь он же вдохновляется вином.

— А если он никакого рассказа не напишет?

— Ну будет перед нами в долгу...

В этот вечер Марина Ивановна не хотела читать своих стихов.

Но Керенский настаивал.

— Не знаю, что читать, — прошептала мне на ухо Марина Ивановна. — Посоветуйте. Ведь моих стихов он не понимает. А! Вспомнила: Вот что-то я прочту.

И она прочла:

Настежь, настежь  
Царские врата!  
Сгасла, схлынула чернота.  
Чистым жаром горит алтарь.  
— Христос Воскресе,  
Вчерашний царь!  
Пал без славы  
Орел двуглавый,  
— Царь! — Вы были неправы.  
Помянет потомство  
Еще не раз —  
Византийское вероломство  
Ваших ясных глаз.  
Ваши судьи —  
Гроза и вал!  
Царь! Не люди —  
Вас Бог взыскал.  
Но нынче Пасха  
По всей стране.  
Спокойно спите

В своем Селе.  
Не видите красных  
Знамен во сне.  
Царь! — Потомки  
И предки — сон.  
Есть — котомка,  
Коль отнят — трон.

После Марины Ивановны Ариадна Чернова превосходно прочла отрывок из «Молодца». Цветаева очень высоко ценила ее мастерство, не раз говорила, что никто так хорошо не читает «Молодца», как она, — и, даря ей свое «Ремесло», украсила его такой дарственной надписью:

*«Ариадне Черновой, полу-дочери, полу-сестре, —  
Марина Цветаева».*

Никогда не забуду финал этого удивительного, роскошного ужина — последние слова Керенского. То ли он слишком много выпил — или это у него уже начинался склероз, но он вдруг рассказал всем о настроениях молодой эмиграции, и вот что совсем недавно один из этих оболтусов говорил ему о Советском Союзе: и слово в слово пересказал все то, что я ему говорил в метро!..

Хочу привести отрывок из письма Марины Ивановны ко мне:

*«Милый Володя, Вы очень хорошо ко мне подошли, просто — у меня никогда не было времени и у Вас не было. Чувство требует времени, не мысль. Мысль — вывод. Чувство всегда начинается сначала, оно прежде всего — работа (и забота!). Есть лучший мир, где все наши умыслу зачтутся, а поступки отпадут. Тогда Вы, и Адя, и Ольга Елисеевна, и Наташа увидите, что я лучше, чем вы все видели, чем мне здесь дано было быть. Там у меня будет время быть собой, чувствовать и излучать.*

*Тетрадь прожорлива, особенно, когда ее не кормишь. Там не будет тетрадей».*

*Письмо В. Б. Сосинского своей невесте — будущей жене — Ариадне  
Викторовне Черновой*

1926, 7 февраля.

Все до сегодняшнего утра живут вчерашним вечером. Как радостно на Rouvet! Огромная прекрасная победа Марины Ивановны. Привожу себя в порядок, чтобы суметь рассказать... К 9 часам весь зал был полон — публика же продолжала наплывать. Около кассы — столпотворение. Отчаявшийся, потерявший всякую надежду — кассир Дода, — растерянные, разбиваемые публикой контролеры — застрявшие между стульев — навеки! — распорядители. Картина грандиозная! Марина Ивановна не может пройти к своей кафедре. Мертвый, недвижимый комок людей с дрожащими в руках стульями над головами затер ее и Алю. Марине Ивановне целуют руки, но пропустить не в силах. Вова Познер, балансируя стулом, рискуя своим талантом, жизнью, сгибается к руке М. И. Чей-то стул — из рук — пируэтом — падает вниз — на голову одной, застывшей в своем величии даме. Кто-то кому-то массирует мозоли, кто-то кому-то сел на колени. В результате — велика правда Божья: все, купившие пятифранковые билеты, сидят; все Цетлины, Познеры — толкутся в проходах.

Марина Ивановна всходит на высокую кафедру. Наше черное платье с замечательной бабочкой сбоку, которую вышила Оля. Голова М. И., волосы, черное платье, строгое, острое лицо — говорят стихи заодно с готическими окнами — с капеллой. Читала М. И. прекрасно, как никогда. Каждый стих находил свой конец в громких ладонях публики (!). Публика оказалась со слухом, почти все знали стихи М. И. — сверх ожидания воспринимала почти правильно. Движение проявлялось в тех местах, где сочетания слов были ясны для всех, иногда даже в тех местах, где звучал интересный ритм, воспринимавшийся вне смысла. М. И. читала вначале стихи о Белой Армии. Во втором отделении — новые стихи. Все искала глазами Алю, она сидела на ступеньке — у рояля — весь вечер. Рядом с ней — почти на полу — Шестов; на стуле: Алексей Михайлович<sup>[264]</sup> шепотом Шестову: «Вон тот жук черный, кудлатый — на Оле Черновой недавно женился».

Весь вечер — апология М. И. Большой, крупный успех. Отчетливо проступило: после Блока — одна у нас — здесь — Цветаева. Сотни людей ушли обратно, не пробившись в залу, — кассу закрыли в 9 ½ часов, — а публика продолжала валом валить. Милюков с женой не могли достать места, Руднев, Маклаков — стояли в проходе. Кусиков с тремя дамами не добился билетов. (Упоминаю о Кусикове, ибо он специалист в этой области.) Сергей Яковлевич, бросив все, бегал по дворику, куря папиросу за папиросой.

Да, Адя, видел своими глазами — у многих литераторов вместо зависти — восторг. Как хорошо! Если бы навсегда можно было заменить зависть — восторгом.

На Rouvet — радость... длится до сегодняшнего дня... Солнце — в «звончатом огне», неожиданный гость — завершает вчерашний день. Я завершаю его — письмом к Тебе...

**Зинаида Кульманова** [\[265\]](#)

## **ЧТО Я ПОМНЮ**

Недавно я приобрела 8-й том Краткой Литературной энциклопедии. Открыв книгу на статье «Цветаева Марина Ивановна», я увидел фотографию, в общем-то известную, которая мне ближе других. Именно такой я ее и помню.

В 1940 году я работала в Гослитиздате, в редакции переводной литературы. Редакция помещалась в Большом Черкасском переулке, сзади вестибюля метро «Дзержинская». В этом же году я познакомилась с Мариной Цветаевой. За год нашего знакомства, вплоть до отъезда Цветаевой из Москвы, Марина Ивановна несколько раз приходила к нам в редакцию. Она выглядела старше своих лет, поседевшая, вечно в полинявшем платье (или юбке с кофтой, тоже вылинявшими), в берете (синем или коричневом). На лице — нездоровая желтизна. Весь внешний вид Марины Ивановны характеризовался каким-то страданием, внутренней болью. Было впечатление, что ее внутри что-то жжет. Ее облик излучал боль, боль за близких ей людей.

Люди, как правило, сторонились ее, боялись говорить о ней, о ее делах и жизни. С одной стороны, это определялось жутким временем; с другой стороны, окружающие не хотели своими расспросами усугублять настроение Марины Ивановны. Я тоже не решалась о многом говорить с ней. Брало верх мое стеснение перед великой поэтессой. Иногда вместе с нею в редакцию приходил ее сын Мур. Я его видела мельком. Красивый, рослый. Постоянно смеялся над матерью, называл ее неудачницей. Марина Ивановна дрожала за сына. Для нее он был единственным, что осталось у нее в жизни. Когда ее спрашивали о других родственниках, она говорила, что есть одна родственница, вроде бы артистка. О сестре не говорила ни разу.

Работы ей предлагали много. Я давала ей на выбор целую папку переводов. Она брала 3–4 листочка. Когда Марина Ивановна приносила готовую работу, я просматривала ее (нет ли там чего-либо, что могло повредить бы ей самой), хвалила ее переводы.. [\[266\]](#)

Когда Марину Ивановну принимали в группом писателей, работница редакции Криницкая (на редкость неумная женщина) назвала Цветаеву «белогвардейкой». Марина Ивановна очень расстроилась. Мы пробовали ее успокоить..<sup>[267]</sup>

В это же время произошла встреча Цветаевой с Пастернаком, не знаю, первая ли после приезда Марины Ивановны. Она посетила Бориса Леонидовича у него на даче. После говорила о его сыне (от второй жены): «Какой красивый мальчик». Когда началась война и Мура просили дежурить на крышах дома для борьбы с фугасками (они снимали тогда комнату где-то у Покровских ворот), Цветаева говорила с сожалением: «Борис Пастернак мог бы пригласить нас к себе на время, на дачу».

Часто Марина Ивановна выглядела наивным человеком. Ее как-то спросили, как поживает Мур. Она ответила с серьезным видом, что он сейчас читает Кирпотина.

Внешность ее дополняли некоторые ее поступки. Так, например, она однажды в редакции захотела пить. Пока я собралась поискать стакан, Марина Ивановна взяла стакан из-под карандашей, высыпала карандаши на стол, налила тут же в этот стакан воды из графина и выпила.

Редко удавалось поговорить с ней о других поэтах. Она мне давала читать воспоминания об Андрее Белом. Это были вырванные из журнала (кажется, «Записки мечтателя»)<sup>[268]</sup> листы. Примерно тогда же она мне дала почитать свою книгу «Молодец». Книга произвела на меня большое впечатление, хотя я и читала до этого «Царь-Девуцу». Как-то упомянули о Хлебникове. Я тогда хотела подарить Марине Ивановне только что вышедший его сборник. Несмотря на то что она, безусловно, знала и читала Хлебникова и даже как-то упомянула его в своем произведении, на этот раз она как бы впервые об этом услышала.

Создавалось впечатление, что она всем кидала под ноги своему чувству. Об Антокольском она сказала: «Какой был Павлик раньше, и как он изменился». На лице Антокольского к этому времени появился нервный тик. Кажется, в Доме творчества в Голицыне она познакомилась с поэтом-переводчиком Арсением Тарковским. Там же (а может быть, у Крученых) Цветаева познакомилась с Лурье. Он ей очень нравился. Она говорила: «Какой милый, обаятельный старик,

чудесный человек». О Крученых Марина Ивановна говорила, что тот с ней заигрывает. Неприятная личность был этот Крученых. Все-таки она что-то ему отдала (по-моему, какие-то свои книги). От него, по-видимому, попал впоследствии к поэту-переводчику Давиду Бродскому сборник «Ремесло», принадлежавший ранее Цветаевой.

Однажды Марина Ивановна процитировала строки Анны Ахматовой, после чего заметила, что требует от жизни гораздо меньше, чем Ахматова.

О своей работе говорила мало, так же как и о поэзии вообще. Идет разговор о французской поэзии, она скажет фразу, а видно, что сама вся в себе находится. Жаловалась, что трудно было переводить «Этери» Важа Пшавелы. «Всего, что без ног, я боюсь и ненавижу — черви и змеи», — говорила она. Сделала ряд переводов в готовящейся к выпуску, но так и не вышедшей книги стихов евреев-экспрессионистов, жителей присоединившихся к СССР Западной Украины и Белоруссии. Редактором сборника был Юткевич. Сборник запретили, но материалы, возможно, сохранились в архиве издательства. Юткевич умер несколько лет назад.

Однажды в разговоре Марина Ивановна сказала, что если будет счастлива, то напишет «Свадьбу Ариадны» (по-видимому, имелась в виду пьеса). Я тогда не знала, что дочь Марины Ивановны зовут Ариадной, и связала это только с ее «Тезеум».

Началась война. Повсюду в издательствах шли разговоры об эвакуации. Занимался этим вопросом, кажется, Кирпотин. К нему и ходила Цветаева. Но в Чистополь, куда ехала большая группа писателей, ее не взяли. Да она и не хотела ехать. Но Цветаева боялась за сына, и, кроме того, ее оставание могли расценить как ожидание прихода немцев. У нее в это время были деньги, платья, привезенные из-за границы. В ее присутствии можно было услышать упрек: «Все сейчас картошку копают».

Я говорила тогда Ерикееву, татарскому поэту из Казани: «Возьмите ее к себе в город, получите прекрасного переводчика». Но люди боялись делать подобные шаги. Перед отъездом Цветаева все носила с собой свой архив. Не знала, куда и кому его отдать. Я хотела предложить свою помощь, но постеснялась.

На прощанье Марина Ивановна подарила мне коралловые бусы. Мы поцеловались, простились.



1975 2.

Лидия Чуковская <sup>[269]</sup>

## ПРЕДСМЕРТИЕ

1

На телеграфном бланке, протянутом мне моей собеседницей, было крупно выведено:

«Асеев и Трениев отказали в прописке».

— Нет, такую телеграмму посылать нельзя, — сказала я. — Вы же сами говорите, что Марина Ивановна в дурном состоянии. Да и подумаешь — высшая инстанция: Трениев и Асеев! Да и подумаешь, столица — Чистополь! Здесь прописывают литераторов всех без изъятия. Были бы невоеннообязанные.

— А вы с Трениевым или Асеев знакомы? Беретесь уговорить? Без них нельзя. В Чистополе они представляют Президиум Союза писателей.

— Здесь я почти ни с кем не знакома. Я ведь ленинградка, не москвичка... К тому же я не член Союза и не член Совета эвакуированных. С чего Асееву или Трениеву меня слушать?.. А скажите, пожалуйста, вам понятно, какого черта они не желают прописывать Цветаеву?

— Как! — моя собеседница сделала большие глаза и перешла на шепот: — Вам разве неизвестно, кто она?

— Известно: Цветаева — поэт, очень своеобразный и сильный. Одно время была в эмиграции. Потом вернулась по собственной воле на родину. Ее муж и дочь арестованы. Она осталась одна с сыном. Ну и что?

— Тсс! — снова встревожилась моя собеседница. — Не говорите так громко. Мы не одни.

Мы и в самом деле далеко не одни. Тесное, душное помещение почти полным-полно.

Место действия — Чистополь. Небольшой городок на левом берегу Камы. Один из районных центров Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Центр не особенно центральный: 142 километра до Казани, 90 до ближайшей станции

железной дороги. Время действия: конец августа 41-го года. Конец второго месяца войны.

Моя случайная собеседница, Флора Моисеевна Лейтес, женщина с ярко-черными волосами и в ярко-пестром платье, стоит в очереди к окошку, где принимают телеграммы, я же — к окну «до востребования».

Я прихожу сюда каждый день, но напрасно: ни от кого ничего. Никакого ответа на мои непрерывные письма.

С Флорой Моисеевной Лейтес я еле знакома. В Чистополь Московский Литфонд эвакуировал писательский детский дом, писателей-стариков, писателей-инвалидов, писательские семьи. Семьям ленинградских литераторов положено было вместе находиться под Ярославлем, в Гавриловой Яме. Я же попал в Чистополь, а не под Ярославль потому, что война застигла меня не в родном моем Ленинграде, а в Москве, где я перенесла тяжелую медицинскую операцию. С первого же часа войны мною овладела неодолимая жажда вернуться домой, в Ленинград, но в июле 41-го с незарубцевавшейся раной, с постоянными болями в сердце пробираться в Ленинград — на буфере, на крыше вагона! — нечего было и думать. (Тем более что дорога Москва — Ленинград уже подвергалась налетам.) Когда мне стало чуточку лучше, меня, мою десятилетнюю дочь Люшу и четырехлетнего племянника Женю — всех нас троих под присмотром няни Иды отправили из Москвы с другими семьями московских писателей в Чистополь.

Во второй половине июля немцы в своем рывке на Москву уже захватили Смоленск, Ельню, Рославль. Двигались они к Ленинграду. В начале августа до нас доползли слухи, что они уже на подступах к Киеву. Москву начали бомбить еще при мне, Внуковский аэродром (в нескольких километрах от Переделкина) — тоже. «Последние известия», объявляемые в газетах и по радио, не всегда бывали истинно последними: власти с нарочитой замедленностью объявляли гражданам о сдаче очередных городов, и граждане, как это повелось издавна, питались преимущественно слухами. К тому же радиотарелки вещали только в некоторых учреждениях, только на главных улицах или площадях. Да и газеты опаздывали.

Основное мое занятие в Чистополе: кроме очередей за керосином или селедкой стоять в очередях за вестями — за письмами. В очередях

все больше женщины, вестей она ожидают все больше из армии. Я хочу знать и не знаю, где сейчас оба мои брата: оба на фронте, но где? И живы ли? Уехали ли из Москвы мои родители — и куда? — и не разбомбили ли их квартиру в Москве или эшелон по дороге? Где все мои друзья-ленинградцы? Эвакуированы или остались, и в каком вообще положении Ленинград? Бомбят ли его? Обстреливают?.. В Чистополе. Кроме меня, ленинградцев нет, расспрашивать некого. А почта в параличе. Каждый день я волочу сюда ноги по черной грязи, липкой даже в жару. Плечусь, одолевая одышку, и считаю свои шаги или, для разнообразия, окна домишек — чет или нечет? будет письмо или нет? Какое-нибудь от кого-нибудь? А вдруг из Ленинграда?

Сегодня мой последний шаг был четный. Значит — будет.

Флора Моисеевна задает мне свои вопросы о телеграмме Цветаевой в самую неподходящую минуту: от меня до почтового окошка всего три человека. Я отвечаю ей, думая совсем о другом.

— Так что же, по-вашему, делать? — теребит меня Лейтес. — Телеграмму ей посылать, по-вашему, не следует а делать-то что?

— Настаивать! Хлопотать!.. Елабуга небось такая же дыра, как и Чистополь. Что за разница Союзу писателей, где именно будет Цветаева жить? Была же она прописана в Москве или в Московской области, почему же ее не прописывать здесь?

Прописка в Чистополе для литераторов затруднений не представляла. Наш пароход отплыл из Москвы 28 июля, прибыли мы в Чистополь, с пересадкой в Нижнем, 6 августа, а дней через десять все уже были прописаны.

Сначала меня с семьей, как и всех новоприбывших, поместили в здании педагогического училища, превращенном в общежитие. Потом я сняла комнату неподалеку от Камы на деревенской улице, носящей громкое, но малоподходящее для русско-татарско-чувашского городишка название: улица имени Розы Люксембург. Совет эвакуированных выдавал всем приезжим справку со штампом Союза писателей за подписью Асеева. Тренева и уж не помню чьей. Выдали справку и мне. Ищи себе комнату и отправляйся в горсовет, к Тверяковой. Та в свои приемные часы всегда на месте. Это доброжелательная и толковая женщина. Она расспрашивала, у кого дети, какого возраста, прикидывала, какой семье в какой избе будет удобнее: где какие хозяева, где хозяин пьет, где хозяйка сварливая, у

кого корова, у кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она незамедлительно ставила штамп. Была бы справка. Писательских фамилий она безусловно не слыхала никогда ни единой. О Цветаевой она так же не слыхивала никогда ничего, как о любом другом литераторе, будь то Гладков, Чуковский, Лейтес или Александр Твардовский.

Нет, четное число шагов от избы до почты обмануло меня и на этот раз. Писем опять нет. Я отхожу от окна.

— А с Ляшко вы можете поговорить?

— С Ляшко? А он кто такой? Я никогда и в глаза его не видывала и не читала ни единой строчки.

Однако фамилия Ляшко — быть может, по совпадению окончаний? — напомнила мне о Квитко, о моем хорошем знакомом, поэте Льве Квитко, приехавшем в Чистополь на несколько дней навестить семью. Перед отъездом он обещал зайти ко мне. Поговорить о Цветаевой с Квитко — это разумная мысль. Он из тех, кто безусловно имеет вес в Союзе.

— Я попрошу Квитко, — говорю я, — а вы, очень советую вам, не посылайте пока телеграмму.

Флора Моисеевна пожимает плечами и кладет телеграмму себе в сумочку. Мы вместе выходим на улицу. Прощаемся: нам в разные стороны.

Итак, вестей нет, нет и нет. Нету писем. Вести же, сообщаемые нам в последние дни газетами и радио, таковы:

«Правда», 18 августа, понедельник.

От Советского информбюро. Вечернее сообщение.

«В течение 17 августа наши войска продолжали вести ожесточенные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили города Николаев и Кривой Рог. Николаевские верфи взорваны».

19 августа, вторник.

После упорных боев наши войска оставили город Кингисепп.

21 августа.

«Ко всем трудящимся города Ленина.

Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!

Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть к Ленинграду.

...Смерть кровавым немецким фашистским разбойникам!

Победа будет за нами!»

Хотела бы я расшифровать строку: «Враг пытается проникнуть к Ленинграду». Проникнуть к нельзя. Проникнуть можно только в. В Ленинград? Значит, немцы уже вблизи, возле, вплотную? В Стрельне? В Колпине?

26 августа. Вечернее сообщение:

«В течение 25 августа наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили Новгород».

Оставили, оставили, оставили...

...что народу-то!

Что народу-то! с камнем в воду-то!

Приходит ко мне Квитко. Мне хочется разузнать у него, какие вести, помимо газетных, из Киева — он сам с Украины, с Уманьщины родом, и Киев для него, верно, такая же боль, как для меня Ленинград. Квитко я знаю ближе, чем остальных здешних москвичей: он друг моего отца. Корней Иванович одним из первых заметил и полюбил стихи Квитко для детей, добился перевода их с идиш на русский язык, и Лев Моисеевич Квитко, после большого успеха своих стихов в русской поэзии, незадолго до войны перебрался в Москву. Теперь два-три дня пробыл в Чистополе: здесь жена его и дочь. Ко мне пришел накануне отъезда, расспросить поподробнее, что передать от меня отцу, если они где-нибудь встретятся.

Что передать? Чистополь — это настоящий капкан. Обрести здесь хоть какой-нибудь заработок безнадежно. Снабжение убогое, цены на рынке растут, а где работа? В Ленинграде я уже работала стенографисткой; писала кое-какие статьи; была редактором; могу

быть корректором, но в Чистополе нет учреждений, нуждающихся в стенографистках, и уж конечно никаких издательств. Я могу преподавать русский язык и литературу, но в здешних школах все места заняты здешними учителями. Семейству моему денег, лекарств и продуктов, взятых с собою из Москвы, хватит, по моим расчетам, месяца на полтора. А дальше? А дальше наступит зима, Кама на зиму станет, навигации конец, железной дороги нет, и из капкана не вырваться.

Письма ни от меня, ни ко мне не доходят, я не знаю, где кто; я просила Квитко во что бы то ни стало разыскать Корнея Ивановича, все рассказать ему, а потом сообщить мне телеграфно, где мои родители, живы ли братья?

Квитко вглядывался в детей и в меня, в нашу комнату, расспрашивал о здоровье. О Киеве я заговорить не решилась. Неужели — оставят? Оставят Киев?.. Я очень город любила, жил он в моем сердце: там отец, и мать. И брат моего покойного мужа. Успели ли выехать?.. Да нет, быть того не может, чтобы наши отдали Киев! Этого имени я в разговоре с Квитко не произнесла. Но о Цветаевой, о безобразии, творимом Литфондом, заговорила. Ведь не ссыльная же она, сказала я, а такая же эвакуированная, все все мы, — почему же ей не разрешают жить, где ей хочется? Ведь не прикреплена она к месту. Квитко потемнел. Этот человек редкостного душевного равновесия не любил сталкиваться с несправедливостью. Она мешала его открытому и веселому нраву, воистину детскому — тому, который так счастливо слышен в его стихах. Она становилась поперек его вере. Он всегда внушал себе и другим, что все будет хорошо, он любил в это верить, он эту верою жил... Лев Моисеевич обещал мне увидаться сегодня же с Асеевым, выяснить, в чем, собственно, дело, да и прямо, от своего имени, поговорить с Тверяковой. (Он был не только член партии, но и писатель-орденоносец — редкость по тем временам.) «Все будет хорошо! — повторил он несколько раз на прощанье. — Сейчас самое главное — каждый человек должен накрепко помнить: все кончится хорошо». Относилось это заклинание и к моим родным, и к войне, и к Ленинграду, и к Киеву, и к Цветаевой — и к самой жизни... Глядя на его сильные плечи, на крупные черты лица, чем-то, быть может смуглотой, а быть может, щедростью улыбки, напоминавшие

Пастернака, слушая его звучный голос, я на минуту поверила, что и впрямь все кончится хорошо.

(Лев Моисеевич Квитко был арестован в разгар «борьбы с космополитизмом». В 49-м году, и после жестоких истязаний расстрелян в 52-м. Думаю, он расстался с верой, что «все кончится хорошо», лишь в минуту расставания с жизнью.)

Я проводила его до ворот. Он обещал мне раздобыть все сведения о Корнее Ивановиче. Увидать его или написать ему и непременно телеграфировать мне. Что же касается Цветаевой — он прямо от меня отправился к Асееву.

На следующий день я пошла искать аптеку: у Жени повысилась температура, глотать ему больно — по-видимому, ангина. Отправилась я добывать компрессную бумагу. Если не окажется в аптеке, зайду в писательское общежитие, там уж у кого-нибудь найдется. Там у меня завелось много новых знакомых, полужнакомых, четвертьзнакомых — недавних спутников по общему плаванию.

В этот день — думаю, было это 26 августа — и встретила я впервые с Мариной Ивановной Цветаевой.

## 2

Было в Чистополе место, где неизбежно встречались все вновь прибывшие и прибывшие ранее: площадь перед горсоветом. Куда бы ни шел, а ее не минуешь. Иногда и нарочно завернешь туда. Там уже какую-нибудь новость и ухватишь: кого куда переселили из общежития; когда наконец выдадут керосин, а то здешние хозяева берегут дрова на зиму, своих русских печей не топят, а у нас у всех керосинки; и, главное, главное — какие новости с фронта? Что означает: «враг проник к Ленинграду? Немцы в Царском? В Стрельне? Немцы уже ходят по Невскому?» Черная радиотарелка вещала на той же площади горсовета: она часто портилась, но кто-нибудь уж наверняка слышал последние известия.

Из общежития, где мне подарили компрессную бумагу, шла я назад через эту всезнающую площадь. Пусто. И тарелка молчит. Как вдруг кто-то меня окликнул.

Это была та же Флора Моисеевна Лейтес. Она шла об руку с худощавой женщиной в сером. Серый берет, серое, словно из



мешковины, пальто, и в руках какой-то странный мешочек.

— Познакомьтесь: Марина Ивановна Цветаева.

Женщина в сером поглядела на меня снизу, слегка наклонив голову вбок. Лицо того же цветка, что берет: серое. Тонкое лицо, но словно припухшее. Щеки впалые, а глаза желто-зеленые, вглядывающиеся упорно. Взгляд тяжелый, выпытывающий.

— Как я рада, что вы здесь, — сказала она, протягивая мне руку. — Мне много говорила о вас сестра моего мужа, Елизавета Яковлевна Эфрон. Вот перееду в Чистополь и будем дружить.

Эти приветливые слова не сопровождалась, однако, приветливой улыбкой. Вообще никакой улыбкой — ни глаз, ни губ. Ни искусственно светской, ни искренне радующейся. Произнесла она свое любезное приветствие голосом без звука, фразами без интонации. Я ответила, что тоже очень, очень рада, пожала ей руку и заспешила на почту.

Всю дорогу, шагая мимо шатких дощатых заборов, вспоминала я этот желто-зеленый взгляд и размышляла над этими неподходящими словами: «Будем дружить!» Разве мы девочки-школьницы, чтобы, увидавшись впервые, уславливаться: вот сядем за одну парту и будем дружить? А самое странное — я бы даже сказала, смешное! — это упоминание о Елизавете Яковлевне. Что могла Елизавета Яковлевна Эфрон обо мне рассказывать, да еще «много рассказывать», если встреча у нас с ней произошла одна-единственная и, мягко выражаясь, в высшей степени неудачная? Встретились мы в санатории Академии наук «Узкое», под Москвой. Я приехала вечером и оказалась за одним столиком с незнакомой дамой; завтра с утра ей уезжать. Полная дама, гораздо старше меня, лет пятидесяти, — и тем не менее настоящая красавица. Глубокие, темные глаза, ровные белые зубы и какая-то особая прелесть в мягком голосе, в мягких движениях, в серьезном внимании к собеседнику. Мы сказали друг другу «Добрый вечер!» и, не называя своих имен, за ужином разговорились. Разговор сначала был самый пустой, незначительный — о здешних врачах, о погоде, о режиме, но, не помню почему, речь зашла о «художественном чтении» — о недавнем приезде какого-то чтеца, что ли... Я, с детства наслушавшаяся, как читают поэты, высказала нечто нелестное об актерском исполнении стихов. Я слышала Антона Шварца, Качалова, Яхонтова — и все они мне не нравились. «Они не доверяют стиху, —

говорила я, — они думают, что к стиху надо еще что-то прибавить от себя: голосом, интонацией, жестом. А стих не нуждается в этом. Его надо только огласить, произнести, изо всех сил совершая вычитание себя, — вот как читал Блок, например. Он как бы перечислял слова — и только, с точнейшим соблюдением ритмического рисунка, разумеется... К тому же, — добавила я, — все это „художественное чтение“ развращает слушателя, преподнося ему стихи в качестве некоего аттракциона, а на самом деле стих для поэта — плод глубочайшего сосредоточения, вслушивания — и восприятие должно быть результатом сосредоточенности». Моя vis-a-vis смотрела на меня молча, внимательно, даже как-то задумчиво, положив щеку на руку, словно посылая мне навстречу через стол очарование своих внимательных глаз. А наутро, когда она уже уехала, мне, в ответ на мои расспросы, объяснили, что это была наставница всех лучших актеров-чтецов, обучавшая их художественному чтению, режиссер, знаменитый педагог Елизавета Яковлевна Эфрон.

Помню, я тогда пришла в отчаянье от своей бестактности, резкости; я испугалась, что она приняла мою болтовню за преднамеренную грубость или за попытку учить ее уму-разуму.

И вот теперь от Цветаевой: «Я рада, что вы здесь, будем дружить. Мне много рассказывала о вас Елизавета Яковлевна». Быть может, Марина Ивановна и сама не одобряет «художественное чтение» и по рассказу Елизаветы Яковлевны поняла, что я люблю стихи?

Писем не было. Зато из разговора в очереди на почте я узнала, что «после упорных боев наши войска оставили город Днепропетровск». Кто-то где-то слышал по радио.

На следующее утро, когда я со стаканчиком меда в руке возвращалась с рынка, на улице ко мне подбежала встревоженная девушка — совсем молоденькая, одна из чьих-то писательских дочерей (фамилии не помню) — и, подбежав, оглушила вопросом:

— Вы — член совета эвакуированных? Совета Литфонда?

— Да нет же! Я вообще никто. Даже не член группкома. Я отправлена сюда потому, что я «член семьи писателя Чуковского».

— Господи, как не везет... Я думала, вы хоть член Союза. Тут нужен человек с именем. Но все равно. Идите. В помещении парткабинета заседает сейчас Совет Литфонда. Туда вызвала Цветаеву

и там решают, пропишут ли ее в Чистополе. Она в отчаянии. Бегите скорей.

Чужая тревога повелительна. Я не стала объяснять, что и Цветаеву-то видела всего раз в жизни и для нее никто. Держа стаканчик перед собой, я заспешила в парткабинет. Не могу сейчас вспомнить с уверенностью, но, кажется мне, помещался он в том же здании горсовета и был для меня местом известным: туда, хоть и с опозданием, доставлялись газеты и даже нас, беспартийных, пускали читать.

Я старалась идти быстро. Кроме сильно колотившегося сердца, очень мешал стаканчик: нельзя — было уронить ни капли.

По дороге пыталась я придумать, что же все-таки произнесу, если меня, паче чаяния, на заседание литфондовского Совета пустят? Ничего, кроме мысли, уже высказанной мною Льву Моисеевичу: «Она ведь эвакуированная, а не ссыльная, и не лишена права передвигаться», — не лезло мне в голову. Но то, что я могла с глазу на глаз выговорить Льву Моисеевичу, стоило ли произносить публично? Упоминание о ссыльных или о правах только раздражит начальство. Ах, доказательнее всего прочесть бы им вслух какое-нибудь из любимых моих цветаевских стихотворений (я знала тогда и любила немного: сборник «Версты»). Неужели человек, создавший, написавший своею рукой такую мученическую и мучительную мольбу, такой упрек, такое воззрение к господа богу:

... Чем прогневили тебя эти серы хаты, —  
Господи! — и для чего стольким простреливать грудь?  
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,  
И запылел, запылел отступающий путь...  
— Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,  
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой  
О чернобровых красавицах. — Ох, и поют же  
Ныне солдаты! О господи боже ты мой! —

Неужели поэт, прорывавший эти слова, не прописал себя на веки веков в великой русской литературе, а значит, и в любой точке

российской земли? Ведь это то же, что хоть и шепотом, но с тою же силою проговорила тогда же Ахматова:

Закрыв лицо, я умоляла бога  
До первой битвы умертвить меня.

(Вот ведь несхожие, чуждые друг другу поэты, а стряслась с Россией беда, и два голоса одарили нас одной и той же молитвой. Вопль: «Нет, умереть!» Шепот: «До первой битвы умертвить меня».)

...Лестница. Крутые ступени. Длинный коридор с длинными, чисто выметенными досками пола, пустая раздевалка за перекладной; в коридор выходят двери — и на одной дощечка: «Парткабинет». Оттуда — смутный гул голосов. Дверь закрыта.

Прямо напротив, прижавшись к стене и не спуская с двери глаз, вся серая, — Марина Ивановна.

— Вы?! — так и кинулась она ко мне, схватила за руку, но сейчас же отдернула свою и снова вросла в прежнее место. — Не уходите! Побудьте со мной!

Может быть, мне следовало все-таки постучаться в парткабинет? Но я не могла оставить Марину Ивановну.

Пристроив стаканчик на полу, я нырнула под перегородку вешалки и вытащила оттуда единственный стул. Марина Ивановна села. Я снова взяла стаканчик. Марина Ивановна подвинулась и потянула меня за свободную руку: сесть. Я села на краешек.

— Сейчас решается моя судьба, — проговорила она. — Если меня откажут прописать в Чистополе, я умру. Я чувствую, что непременно откажут. Брошусь в Каму.

Я ее стала уверять, что не откажут, а если и откажут, то можно ведь и продолжать хлопоты. Над местным начальством существует ведь еще и московское («А кто его, впрочем, знает, — думала я, — где оно сейчас, это московское начальство?») Повторяла я ей всякие пустые утешения. Бывают в жизни тупики, говорила я, которые только кажутся тупиками, а вдруг, да и расступятся. Она меня не слушала — она была занята тем, что деятельно смотрела на дверь. Не поворачивала ко мне головы, не спускала глаз с двери даже тогда, когда сама говорила со мной.

— Тут, в Чистополе, люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, а там — сплошь деревня.

Я напомнила ей, что ведь и в Чистополе ей вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе. Без водопровода. Без электричества. Совсем как в Елабуге.

— Но тут есть люди, — непонятно и раздраженно повторила она. — А в Елабуге я боюсь.

В эту минуту дверь парткабинета отворилась и в коридор вышла Вера Васильевна Смирнова, жена моего приятеля Вани Халтурина. С Верой Васильевной знакома я еле-еле, а с Ваней дружила издавна, еще в Ленинграде, еще чуть не со школьных своих времен. Ваня переехал в Москву, еще чуть не со школьных своих времен. Ваня переехал в Москву и женился на Вере Смирновой. Теперь он в армии, а Вера Васильевна здесь, живет неподалеку от меня, и я, бывает, забегаю к ней навеститься: нет ли письма от Вани.

Цветаева поднялась навстречу Вере Васильевне резким и быстрым движением. И взглянула ей в лицо с тем же упорством, с каким только что смотрела на дверь. Словно стояла перед ней не просто литературная дама — детская писательница, критик, — а сама судьба.

Вера Васильевна заговорила не без официальной суховатости и в то же время не без смущения. То и дело мокрым крошечным комочком носового платка отирала со лба пот. Споры, верно, были бурные, да и жара.

— Ваше дело решено благоприятно, — объявила она. — Это было не совсем легко, потому что Тренев категорически против. Асеев не пришел, он болен, но прислал письмо за. («Вот и разговор с Квитко», — подумала я.) В конце концов Совет постановил вынести решение простым большинством голосов, а большинство — за, и бумага, адресованная Тверяковой от имени Союза, уже составлена и подписана. В горсовет мы передадим ее сами, а вам сейчас следует найти себе комнату. Когда найдете, сообщите Тверяковой адрес — и все.

Затем Вера Васильевна посоветовала искать комнату на улице Бутлерова — там, кажется, еще остались пустые. Потом сказала:

— Что касается вашей просьбы о месте судомойки в будущей писательской столовой, то заявлений очень много, а место одно.

Сделаем все возможное, чтобы она было предоставлено вам. Надеюсь — удастся.

Вера Васильевна простилась и ушла в парткабинет заседать. А мы по лестнице вниз.

Я ничего ни от кого не слыхала ранее ни о грядущей столовой (какое счастье! керосин придется добывать только для лампы!), ни о месте судомойки, на которое притязает Цветаева. О, конечно, конечно, всякий труд почетен! И дай ей бог! Но неужели никому не будет стыдно: я, скажем, сижу за столом, хлебаю затируху, жую морковные котлеты, а после меня тарелки, ложки, вилки моет не кто-нибудь, а Марина Цветаева? Если Цветаеву можно определить в судомойки, то почему бы Ахматову не в полумойки, а жив был бы Александр Блок — его бы при столовой в истопники. Истинно писательская столовая.

— Ну вод видите, все хорошо, — сказала я, когда мы спускались на площадь. — Теперь идите искать на Бутлерову, а потом к Тверяковой.

И тут меня удивило, что Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке.

— А стоит ли искать? Все равно ничего не найду. Лучше уж я сразу отступлюсь и уеду в Елабугу.

— Да нет же! Найти здесь комнату совсем не так уж трудно.

— Все равно. Если и найдут комнату, мне не дадут работы. Мне не на что будет жить.

Я стала ей говорить, что в Совете эвакуированных немало людей, знающих и любящих ее стихи, и они сделают все, что смогут, а если она получит место судомойки, то и она и сын будут сыты.

— Хорошо, — согласилась Марина Ивановна, — я, пожалуй, пойду поищу.

— Желаю вам успеха, — сказала я, освобождая свою руку из-под ее руки.

— Нет, нет! — закричала Марина Ивановна. — Одна я не могу. Я совсем не понимаю, где что. Я не разбираюсь в пространстве.

Я попыталась объяснить ей, что мне непременно надо побывать дома. Что у меня хворает Женя. Что вообще я должна побыть с детьми. Что должна донести до дому мед — он детям обещан, и они ждут его.

— Хорошо, — согласилась Марина Ивановна с внезапной кротостью. — Я пойду вместе с вами, подожду, пока вы будете там

возиться, а потом мы вместе пойдем на Бутлерову.

Мы шли по улице Льва Толстого. Я вела под руку Марину Ивановну, а в другой руке держала стаканчик.

— Я знаю вас всего пять минут, — сказала Марина Ивановна после недолгого молчания, — но чувствую себя с вами свободно. Когда я уезжала из Москвы, я ничего с собой не взяла. Понимала ясно, что моя жизнь окончена. Я даже письма Бореньки Пастернака не захватила с собою... Скажите, пожалуйста, — тут она приостановилась, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?

— Стоит — не стоит — об этом я давно уже не рассуждаю. У меня в тридцать седьмом арестовали, а в тридцать восьмом расстреляли мужа. Мне жить, безусловно, не стоит, и уж, во всяком случае, все равно — как и где. Но у меня дочка.

— Да разве вы не понимаете, что все кончено! И для вас, и для вашей дочери, и вообще.

Мы свернули в мою улицу.

— Что — все? — спросила я.

— Вообще — все! — Она описала в воздухе широкий круг своим странным, на руку надетым мешочком. — Ну, например, Россия!

— Немцы?

— Да, и немцы.

— Не знаю. Я не знаю, захватят ли немцы Россию, а если захватят, надолго ли. Я и об этом размышляю мало. Я ведь мобилизована. Мобилизованным рассуждать не положено. Сейчас на моем попечении двое детей, и я за них в ответе. За их жизнь, здоровье, покой, обучение, веселье.

Я рассказала ей, как, когда пароход наш еще совсем недалеко отплыл от Москвы и качался, весь темный, в черной тьме, неподалеку от какой-то ТЭЦ, немцы налетели на ТЭЦ и начали бомбить. Бомбили они не пароход, не нас, а ТЭЦ, но бомба легко могла угодить и в нас. При каждом взрыве пароход вздрагивал — весь, от носа до кормы, — весь, вместе с нами. Я держала Женю на коленях, а Люшу за руку. Сказать по правде, боялась я отчаянно. Жила от вздрога до вздрога. Вспоминались слова Хемингуэя из романа «Прощай, оружие!»: «Сиди и жди, когда тебя убьют...» Сидела и ждала. «Насколько легче бойцам в окопах, — думала я тогда. — У них в руках винтовки, а не детские

руки». Дети же не боялись, потому что привыкли верить, что если Ида и я рядом, то ничего худого случиться с ними не может. В темноте я читала им на память пушкинского «Гусара». Собственно, читала я для Люши — это ведь совсем не для четырехлетних! — но Женя заливался хохотом, хохотал до слез, я еле удерживала его у себя на коленях, хохотал так буйно, так безудержно, что даже взрослые, совсем не расположенные смеяться, и те в промежутках между разрывами смеялись (не над «Гусаром» — над Женей). Сейчас и он и Люша знают уже всего «Гусара» наизусть. Четырехлетний Женя, ростом прекрохотный, с полуторагодовалого, а говорит длинными, законченными фразами, десятилетнему впору. В Чистополе хозяйские мальчишки (двенадцати и четырнадцати лет) смотрят на него, как на дрессированного лилипута, ходят за ним по пятам, а он читаем им:

Понюхал: кисло! что за дрянь!  
Плеснул я на пол: что за чудо?  
Прыгнул ухват, за ним лохань,  
И оба в печь. Я вижу: худо!  
Гляжу: под лавкой дремлет кот;  
И на него я брызнул склянкой —  
Как фыркнет он! я: брысь!.. и вот  
И он туда же за лоханкой.  
Я ну кропить во все углы  
Сплеча, во что уж ни попало;  
И все: горшки, скамьи, столы,  
Марш! марш! — все в печку поскакало...

— «Понюхал: кисло! что за дрянь!» — это стало теперь поговоркой у Люши и Жени, — сказала я Марине Ивановне.

Она слушала меня безо всякого интереса. Так подошли мы к моей избе. Я предложила ей зайти, взглянуть на детей, но она сказала: «Нет, я лучше покурю на завалинке» — и села у наших ворот курить.

Стакан с медом встречен был ликованием. Оказалось, Ида выстояла в очереди керосин, и дети были накормлены настоящим обедом: щи и макароны. Ида попробовала накормить и меня, но от усталости я совсем не хотела есть: проклятая базедова и после



операции давала себя знать слабостью, сердцебиением. Прилечь бы! Я высунулась в окно и предложила Марине Ивановне пообедать.

— Нет, нет, — сказала она, пахнув на меня папиросным дымом. — А вы будете заниматься своими детьми еще не очень долго?

Я переменяла Жене компресс, измерила ему температуру. Слава богу, почти нормальная. Наскоро спросила у Люши английские слова, которые были заданы ей по книге «Through the Looking Glass» — эту книгу (продолжение «Алисы в стране чудес» Carroll'a) сунул мне на прощание в чемодан Корней Иванович. Все это я делала дурно, торопливо, наспех — меня подстегивало нетерпение Цветаевой.

Под укоризненным Люшиным взглядом я вышла на улицу. Марина Ивановна сидела, прислонившись к стене, а рядом с нею разложены клубки шерсти: белый, голубой, желтый. Я никогда таких не видывала. Слово это не шерсть, а нежный склубившийся дым — клубки, пушистые, мягкие, так и просились в руки, их так и хотелось гладить, будто цыплят, котят. Марина Ивановна вскочила, бросила папиросу в сторону, клубки засунула в свой мешочек и снова взяла меня под руку.

Я повела ее на улицу Бутлерова. (Великий русский химик родился в Чистополе.)

— Дети, дети, жить для детей, — заговорила Марина Ивановна. — Если бы вы знали, какой у меня сын, какой он способный, одаренный юноша! Но я ничем не могу ему помочь. Со мною ему только хуже. Я еще беспомощнее, чем он. Денег у меня осталось — предпоследняя сотня. Да еще если б продать эту шерсть... Если бы меня приняли в судомойки, было бы чудесно. Мыть посуду — это я еще могу. Учить детей не могу, не умею, работать в колхозе не умею, ничего не умею. Вы не можете себе представить, до какой степени я беспомощна. Я раньше умела писать стихи, но теперь разучилась.

(«Разумеется писать стихи, — подумала я, — это, наверное, ей только кажется. Но все равно — дело плохо. Так было с Блоком... незадолго до смерти».)

Мы шли по набережной Камы. Набережная — это просто болото, с перекинутыми кое-где через грязь деревянными досками. Мы то и дело отцеплялись друг от друга и шли порознь — я впереди, она за мною. Но в одном месте доски сдвоены, и мы снова оказались почти рядом. Слова Марины Ивановны напомнили мне о беспомощности Анны Андреевны — в последние годы я близко наблюдала ее быт в Ленинграде. Где-то она теперь, Анна Андреевна? Что с ней? Что с Ленинградом? Мне бы Люшу и Женю доставить своим родителям, а самой туда — там мое место. Уехала ли из Ленинграда Ахматова? Кто сейчас возле нее? Увидимся ли мы когда-нибудь?

(Откуда мне было знать: и дух месяцев не минует, как Анна Андреевна приедет сюда, в Чистополь, поселится у меня, и я поведу ее этой же дорогой, по этим же доскам, и скажу: «Вот здесь я шла с Мариной Ивановной». И умолкну, вспомнив продолжение.)

— Одному я рада, — сказала я, приостанавливаясь, — Ахматова сейчас не в Чистополе. Надеюсь, ей выпала другая карта. Здесь она непременно погибла бы.

— По-че-му? — раздельно и отчетливо выговорила Марина Ивановна.

— Потому, что не справиться бы ей со здешним бытом. Она ведь ничего не умеет, ровно ничего не может. Даже и в городском быту, даже и в мирное время.

Я увидела, как исказилось серое лицо у меня за плечом.

— А вы думаете, я — могу? — бешеным голосом выкрикнула Марина Ивановна. — Ахматова не может, а я, по-вашему, могу?

Я вовсе не думала, что она может. Я просто выговорила вслух — весьма некстати! — постоянную свою тревогу. Я и сама не могла бы, не будь со мною Иды, ее крестьянской выносливости, ее крестьянских умений (Ида была раскулаченная финка из-под Ленинграда). Не будь у меня денег Корнея Ивановича и прочной надежды, что он вытащит нас отсюда раньше, чем Кама станет, — вызовет куда-нибудь, где найдется для меня самостоятельный заработок.

Полминуты простояли мы молча — Марина Ивановна тяжело дышала после крика, — потом двинулись дальше. Мне было стыдно: она так нуждалась в полноте участия! — а я, своей мыслью не о ней, причинила ей боль. Мы свернули с набережной в узкую улицу. Нравилось мне это место более других: чище.

— Вот и Бутлерова, — сказала я.

— Какая ужасная улица, — сразу отозвалась Марина Ивановна. — Я не могу тут жить. Страшная улица.

— Хорошо, поищем другую. Но сейчас зайдём на минутку к моим знакомым, Шнейдерам. Посоветуемся. Вам они будут рады, за это ручаюсь. Они уже огляделись вокруг — посоветуют, где искать.

Ручалась я за Шнейдеров — Михаила Яковлевича и жену его, Татьяну Алексеевну Арбузову, с полной ответственностью, хотя знала их мало или, точнее, недолго. С Михаилом Яковлевичем познакомилась я в 1939 году в Крыму, в одном из туберкулезных санаториев, где умирал — и вскоре умер — мой молодой друг, поэт и критик, Мирон Левин. Там лечился тогда и тяжело больной Михаил Яковлевич. (Специалист по кинодраматургии.) Он был чуть не вдвое старше Мирона, а потому и туберкулезный процесс развивался у него медленнее. Там, в уходе за Мироном, мы и подружились. Потом я уехала в Ленинград, и встретились мы снова уже во время войны, 28 июля 41-го года, на пароходе. Здесь он познакомил меня со своей женой, Татьяной Алексеевной (в прошлом женой Арбузова, в будущем — Паустовского). И Михаил Яковлевич и Татьяна Алексеевна в трудном нашем пути поразили меня своей сердечностью, а Татьяна Алексеевна к тому же — энергией, спокойствием и физической силой. По правде сказать, если б не она — вряд ли благополучно завершилось бы наше путешествие. В Нижнем, при пересадке на другой пароход, оказалось, что даже с помощью Иды — она тащила на спине и в руках все наши вещи, да и Люша несла один чемодан, — ни я, ни дети не в силах выбраться вместе с толпой и сквозь толпу с парохода на берег. Два потока — выходивших и валом валивших навстречу — крут или нас, толкали, швыряли. Я беспомощно моталась на нетвердых ногах, прижимая к себе Женю и держа за руку Люшу. (Сколько я видела потом в Ташкенте детей, потерявшихся при таких пересадках! Не под бомбами даже, а попросту в дороге! Станция, вокзал, пристань... Детей, разлученных с матерями на годы, а порой навсегда.) Вот тут и пришла мне на выручку большая, сильная, добрая Татьяна Алексеевна. Хотя она ничего не давала нести своему больному мужу, хотя сама волокла на плечах тяжелый тюк, она вырвала у меня из рук Женю, вышла на берег, передала его Иде и еще раз успела вернуться на наш пароход и вывести за собой сквозь толпу на берегу меня и Люшу. А

ведь суда — как эшелоны — двигались в ту пору без расписания, и каждая лишняя минута могла обернуться для нее разлукой с мужем.

И в Чистополе, в заботах о больном, харкающем кровью Михаиле Яковлевиче, она находила время и силы, чтобы забежать к нам и преподнести то мыло, то коробок спичек, то леденцы. Жили Шнейдеры бедно и трудно, надеяться тут на какую-нибудь работу и им было нечего, но я ни разу не слыхала от них ни единого жалкого слова.

Итак, я твердо знала, что веду Марину Ивановну к людям сердечным и деятельным, но и я не ждала такого приема, какой они оказали ей. Татьяна Алексеевна сразу и не без торжественности поблагодарила меня за то, что я привела к ней столь дорогую гостью. «Всю жизнь мечтала познакомиться с Мариной Цветаевой», — сказала она и, точно пароль. Прочитала строку: «У меня в Москве купола горят...» Освободив Цветаеву от пальто и мешочка и усадив ее за стол, Татьяна Алексеевна спросила:

— Скажите, Марина Ивановна, как вы могли в шестнадцатом году провидеть близкую смерть Блока?

Думали — человек!  
И умереть заставили.  
Умер теперь. Навек!  
— Плачьте о мертвом ангеле!

Откуда взялось у вас такое предчувствие?

— Из его стихов, конечно, — ответила Марина Ивановна. — Там все написано.

Через десять минут на столе, застланном ослепительно белой наволочкой (в комнате все сверкало, как в хорошей больничной палате: Татьяна Алексеевна, добываясь антисептики, мыла пол и окна ежедневно), на столе стояли: кипящий чайник, аккуратными ломтями нарезанный черный хлеб и, вместо сахара, — леденцы. Марина Ивановна пила большими глотками чай, отложив папиросу, а Михаил Яковлевич, умоляюще глядя на нее блестящими больными глазами, просил ее курить, не стесняясь его непрерывного кашля. Спокойно, весело, плавно двигалась по комнате полная, светловолосая Татьяна Алексеевна, расставляя раскладушку и расправляя простыни. «Ни в

какое общежитие мы вас больше не пустим, — говорила она. — Там грязно и темно. Вы будете у нас читать стихи, потом обедать, потом спать. Утром пойду с вами вместе искать комнату — поближе к нам, — у меня на примете их несколько. Я здесь уже всех хозяев изучила... Стихи будете нам читать о Блоке, это мои любимые, а потом какие хотите... А найдем комнату — пропишетесь и съездите в Елабугу за сыном».

Марина Ивановна менялась на глазах. Серые щеки обрели цвет. Глаза из желтых превращались в зеленые. Напившись чаю, она пересела на колченогий диван и закурила. Сидя очень прямо, с интересом вглядывалась в новые лица. Я же, глядя на нее, старалась сообразить, сколько ей может быть лет. С каждой минутой она становилась моложе.

— Вы встретили меня с таким благородным радушием, — сказала Марина Ивановна, обращаясь к хозяевам дома, — что я чувствую себя обязанной рассказать вам свою историю.

(«Начало неудачное, — подумала я. — Они — как и я — отлично знают, что Цветаева — зачумленная. И не по неведению встретили ее столь радушно».)

Новыми для меня в ее истории были: отчетливость в произнесении слов, соответствующая отчетливой несгибаемости прямого стана; отчетливая резкость внезапных движений, да еще та отчетливость мысли, с какой она, судя по ее рассказу, понимала, как жестоко заблуждаются муж и дети, жаждущие возвратиться на родину. Там понимала, каково здесь.

— Сергей Яковлевич принес однажды домой газету — просоветскую, разумеется, — где были напечатаны фотографии столовой для рабочих на одном из провинциальных заводов. Столики накрыты тугими крахмальными скатертями, приборы сверкают; посреди каждого стола — горшок с цветами. Я ему говорю: а в тарелках — что? А в головах — что?

Спрашивала она уже не у Сергея Яковлевича, а скорее, у нас, и эти настойчивые «что», нарушая мерность речи, выскакивали из ее уст с оглушительной внезапностью, как из бутылок — пробки.

— А в будущем — что?

Она досказала свою историю до дня ареста дочери, а затем мужа, то есть до осени 1939 года. Произнесла последнюю фразу

скороговоркой и умолкла. И, когда она умолкла, ни один из нас не решился просить о продолжении. Жестокостью было бы заставить ее договаривать.

— Прочитайте стихи к Блоку, — попросила Татьяна Алексеевна.

— Старье. Не хочу. Я вам прочитаю «Тоску по родине».

Я смотрела не на нее, а в окно. Не видя. Лучше слышать.

Тоска по родине! Давно  
Разоблаченная морока!  
Мне совершенно все равно —  
Где совершенно одинокой  
Быть, по каким камням домой  
Брести с кошелкою базарной  
В дом, и не знающий, что — мой,  
Как госпиталь или казарма.  
Мне все равно, каких среди  
Лиц — ощетиниваться пленным  
Львом, из какой людской среды  
Быть вытесненной — непременно —  
В себя, в единоличье чувств.  
Камчатским медведем без льдины  
Где не ужиться (и не тщусь!),  
Где унижаться — мне едино.  
Не обольщусь и языком  
Родным, его призывом млечным.  
Мне безразлично — на каком  
Непонимаемой быть встречным!

Тут она замолчала. Это «Мне безразлично — на каком» произнесено было с великолепным презрением. Вызывающе. Со страстной надменностью. Стихотворение оборвала внезапно, словно недокуренный окурок отбросила.

— Не хочу. Простите меня. Я вам вечером прочитаю что-нибудь другое, например «Поэму Воздуха». Вы, верно, совсем не знаете моих поэм?

Нет, мы не знали. Что поэмы? В то время мы не знали девяти десятых Цветаевой. Не знали «Стола». Не знали «Куста». Не знали «Попытки ревности». Не знали — совсем не знали! — ее гениальной прозы. Все это, украденное у нас, хранившееся за тридевять земель, на протяжении десятилетий доходило только до редких избранных, а в самиздат и в печать начало пробиваться украдкой, урывками лишь во второй половине пятидесятых годов.

И только тогда, в пятидесятых, услышала я конец «Тоски по родине» и поняла, почему в отчаянье в Чистополе она не пожелала прочитать нам дальнейшие четверостишия. Ведь там, после всех неистовых отречений, после всех не, содержится в последнем четверостишии как бы некое да, утверждение, признание в любви.

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,  
И все — равно, и все — едино.  
Но если по дороге — куст  
Встает, особенно — рябина... —

если встает на пути рябиновый куст, то вместе с ним, вопреки всему выкрикнутому выше, встает и тоска по родине — та самая, которую она столь энергично и презрительно только что объявила «разоблаченной морокой».

Пока Цветаева читала, я пыталась понять, чье чтение вспоминается мне сквозь ее интонации. Вызов, властность — и какое-то воинствующее одиночество. Читая, щетинится пленным царственным зверем, презирающим клетку и зрителей.

Не обольщусь и языком  
Родным, его призывом млечным.  
Мне без-раз-лич-но — на каком  
Непонимаемой быть встречным!

Вспомнила! Маяковский. Когда-то в детстве, в Куоккале, я слышала Маяковского. Он читал моему отцу «Облако в штанах». И так же щетинился пленным зверем — диким, неусмирённым, среди ручных.

Она обещала почитать еще — не сейчас, а попозже. Условились мы так: сейчас я пойду на телеграф и дам телеграмму в Елабугу ее сыну. Она продиктовала мне адрес и текст: «Ищу комнату, скоро приеду». Потом зайду в общежитие, разыщу там некую Валерию Владимировну (Марина Ивановна ночевала в одной комнате с ней) и предупрежу ее, что сегодня Цветаева ночевать не придет. Пока Марина Ивановна будет отдыхать на раскладушке у Шнейдеров, Татьяна Алексеевна наведается неподалеку к знакомой хозяйке узнать о комнате. А в 8 часов вечера снова приду я — и тогда Марина Ивановна прочтет нам «Поэму Воздуха». Я же прочту последние из мне известных стихов Пастернака. (В Переделкине Борис Леонидович подарил Корнею Ивановичу «Иней», «Сосны», «Опять весна». Я тогда же переписала их в свою тетрадь и, уезжая, взяла с собою.)

На почте телеграмму я отправила быстро, а вот в очереди «до востребования» простояла долго. На моих глазах редкие, редчайшие счастливицы получали треугольник или квадратик, а большинству — и мне — ничего, ни от кого, ниоткуда. Это безвестие, это молчание — оно было красноречивее любой сводки. Ведь не могли же все умереть сразу или все забыть меня сразу! Молчание означало: всюду на нашей земле несмолкаемый грохот. Бомбы, пули, гранаты, орудия, танки.

#### 4

Я вышла с почты, оглушенная неудачей. Я так ждала тогда вестей, а их не было. Я еще не понимала в ту пору, что безвестие — великое благо. Когда я выбралась наконец из Чистополя и вести градом посыпались на меня, они были такие: мой младший брат, Женин отец, убит под Москвой. Мой первый муж, Люшин отец, погиб в Ленинграде. Мои киевские родные, спасаясь от немцев, выехали из Киева с последним эшелонам — иначе погибнуть бы им в Бабьем Яру! — но гибель в виде тифа настигла их в пути: старики умерли на вокзальном полу маленькой железнодорожной станции. Мой Ленинград — обстреливаемый, взрываемый — вымерзал, вымирал, превращался в город-морг.

...Покину почту, я с трудом припомнила, куда собиралась. Да, Марина Ивановна просила зайти в общежитие и там предупредить, что ночевать она останется у Шнейдеров. Но в общежитие мне идти не



понадобилось: у дверей почты я встретила Валерию Владимировну и передала ей поручение. Она же в ответ сообщила приятную новость: Зинаида Николаевна Пастернак намерена приобрести у Марины Ивановны за 200 рублей клубки шерсти..<sup>[270]</sup>

Я поплелась домой. Признаюсь, меня туда не тянуло. В Чистополе меня удручала грязь. Нашу комнату мы кое-как обороняли, но двор, но кухня, но хозяйская половина избы! На потрескавшихся от зноя досках забора всегда сидят, лениво перелетая с места на место, жирные зеленые мухи. Ими, словно гнойниками, усеян забор. Во дворе грязь по колено: спасают досточки. Хлев сотрясается: это несчастная грязная корова чешет себе спину о стенки, будто не корова она, а свинья. Хозяйка надаивает молоко в грязный подойник. В кухне висят полотенца — и не какие-нибудь, а вышитые, — но хозяйские сыновья отирают о них не только руки, но, случается, прибегая со двора, и ноги. Обижаться грех: хозяйева дружат с Идой, ласковы с детьми, мальчики угощают Женю и Люшу то морковкой, то репой прямо с огорода, но грязь, грязь наводит на душу тоску и уныние.

Стыдись: ведь это не кровь, а всего только грязь! Черная липкая грязь, а не кровь, уходящая в землю или лужами стынущая на камнях и асфальте.

Возвращаясь домой, я на набережной увидела старуху. Она стояла, крестясь. Я посмотрела кругом: нет, церкви тут нет. Старуха молилась почтовому ящику. Упала перед ним на колени. (Он приколочен к прогнившему столбу.) Сыновья? Четверо сыновей под пулями неведомо где или один-единственный? Она хваталась руками за столб, пытаюсь встать. Я помогла ей подняться. Провалившиеся глаза с черными обводинами — глаза, обезумевшие от ожидания. Похожи на те — в тюремных очередях.

Дома — благополучие. Я проглотила холодные макароны. Ида играет с хозяйкой в карты, и Женя, в шерстяных носках и с компрессом на шее, крутится возле. Люша занята штопкой: натянула чулок на большую деревянную ложку — хозяйкин подарок. Мы уселись с ней рядом на лавочку. Но пробыли одни мы недолго: Люша издали увидела шагающего к нам Петра Андреевича Семынина.

— Он двухголовый! Мама, смотри! — у него две головы!

По нашей улице, к нашей избе, шел мой приятель, поэт Петр Андреевич Семынин, не взятый ни в армию, ни в ополчение из-за

болезни глаз. Он нес на плечах своего маленького сына. Опустив Сашу на землю, сел рядом со мною. Кто-то сказал ему, что я повела Цветаеву искать комнату. И он зашел спросить, отыскалось ли что-нибудь. Я рассказала, как обстоят дела.

— Знаете, на кого вы похожи? — сказала я. — Небритый, загорелый дочерна, да еще в черной рубаше с закатанными рукавами? Вы, когда несете вашего златокудрого красавца, похожи на ворюгуюгана, укравшего городского мальчика. Уж очень красив. Маленький лорд Фаунтлерой — не иначе. Только вот кружевного воротника не хватает и бархатной курточки.

Саша, молча выпросив у Люши деревянную ложку, молча колотил ею по скамье. Красивее ребенка я не видывала. Золотые кудри. Белое нежное лицо. Черные глаза, черные брови под золотыми кудрями и черные ресницы в пол-лица.

Петр Андреевич не улыбнулся в ответ.

— Что, сводка опять плохая? — спросила я.

Он кивнул.

— Такая, как вчера?

— Хуже.

Потом он рассказал мне о заседании Совета эвакуированных — он, оказывается, член Совета и был там. Сначала вызвали Марину Ивановну — она была приглашена заранее — и попросили объяснить, почему она хочет переселиться из Елабуги в Чистополь? Семьин считал этот вопрос бесстыдным, издевательским. «Ведь мы не следственные органы, не милиция, ведь это уже не вопрос, а допрос! — повторял он мне. — Какое кому дело, почему и где она хочет жить?» Марина Ивановна отвечала механическим голосом, твердила одни и те же заученные наизусть слова: «В Елабуге есть только спиртоводочный завод. Я хочу, чтобы мой сын учился. В Чистополе я отдам его в ремесленное училище. Я прошу, чтобы мне предоставили место судомойки...» Она ушла, и мы приступили к обсуждению. Прочли вслух письмо Асеева: поддерживает просьбу Цветаевой. Потом самым мерзким образом выступил Тренев. Сообщил, что у Цветаевой и в Москве были, видите ли, «иждивенческие настроения»... Да ведь она не покладая рук переводила! Потом счел нужным напомнить товарищам, что время, видите ли, военное, а муж Цветаевой, видите ли, арестован и дочь —

тоже; и опять — время военное, бдительность надо удвоить, все они недавние эмигранты, муж Цветаевой в прошлом белый офицер. Если правительство сочло нужным отправить Цветаеву в Елабугу, то пусть она там и живет, а мы не должны вмешиваться в распоряжения правительства... Омерзительная демагогия. Меня тошнит до сих пор. При чем тут правительство? При чем — военное время? Это просто Литфонд решил, что Чистополь переполнен, и начал заселять литераторами следующий город... Очень толково возражали Треневу Борис Абрамович Дерман, Вера Смирнова, ну и я сказал несколько слов... Потом проголосовали. Тренев остался в ничтожном меньшинстве, почти все голосовали за.

Петр Андреевич встал и снова поднял Сашу на плечи. Маленький лорд Фаунтлерой ни за что не хотел отдавать Люше ложку — молча, но неколебимо.

Отдал наконец.

Мы с Люшей проводили обоих до угла.

— Хорошо, что вы были там, — сказала я Петру Андреевичу на прощание. — Помогли управиться с Треневым.

— Все равно тошнит, — ответил Семынин.

Посидев еще немного с Люшей, я прихватил стихи Пастернака и отправилась к Шнейдерам. Кроме стихов я несла Марине Ивановне добрую весть: найдена покупательница на ее клубки. Но у Шнейдеров, куда я пришла ровно в 8, ждал меня, к моему удивлению, неприятный сюрприз: Марины Ивановны там не оказалось. После моего дневного ухода она полежала там, отдохнула, пообедала, а потом заявила вдруг. Что ей надо с кем-то срочно повидаться в гостинице. Татьяне Алексеевне ее проводила. К 8 часам Марина Ивановна обещала вернуться и заночевать. «Не заблудилась ли на обратном пути?» — спросил я. «Нет, она сказала, ее проводят».

Ждали мы до половины одиннадцатого. Михаил Яковлевич в пижаме лежал на своей коечке. Температура выше 38. Татьяна Алексеевна раза два выходила навстречу. Я видела, что Михаилу Яковлевичу неважно: красными пятнами жара пылало изможденное лицо. Мне было пора. После десяти в Чистополе глубокая ночь. Мы условились так: сейчас я уйду, а утром сбегу в общежитие и узнаю: все ли благополучно, воротилась ли туда ночевать Марина Ивановна? Я извещу Шнейдеров.

Утром я отправилась рано. На пороге общежития встретила меня та же Валерия Владимировна. Встретила словами:

— А я к вам.

Марина Ивановна ночевала в общежитии. Утром уехала срочно в Елабугу. Решила так: перевезти сына в Чистополь, комнату искать вместе и, найдя, окончить дело с Тверяковой.

«Что ж, это разумно, — писала я Татьяне Алексеевне, посылая к ней Люшу. — Сын лучше, чем мы, поймет, какая комната им нужна».

...Насколько я могу рассчитывать, уехала Цветаева из Чистополя в Елабугу 28 августа... [\[271\]](#)

А через несколько дней все на той же почте, в очереди к тому же окошечку, услышала я страшную новость: приехал из Елабуги сын Марины Ивановны Мур, явился к Асееву с письмом и сказал:

— Мама повесилась.

## 5

Марина Цветаева покончила с собой, как известно. 31 августа 41-го года.

Я сделала свою запись о встрече с ней уже после известия о гибели, 4 сентября. И четыре десятилетия в ту свою тетрадь не заглядывала. Так, иногда, если заходил при мне разговор о Цветаевой, рассказывала, что вспоминалось. Очень запомнила я мешочек у нее на руке. Я только потом поняла — он был каренинский. Из «Анны Карениной». Анна Аркадьевна, когда шли и шли мимо нее вагоны, сняла со своей руки красный мешочек. У Цветаевой он был не красный, бесцветный, потертый, поношенный, но похожий. Чем-то — не знаю чем — похожий. В чистопольской моей тетради, после известия о самоубийстве, так и написано: «Я увидела женщину с каренинским мешочком в руках».

Перечитать старую тетрадь и вспомнить все досконально и по порядку побудили меня два документа. Один напечатанный, другой нет.

Начну с напечатанного.

Попалась мне в руки книга, выпущенная в Париже, под редакцией Г. Струве и Н. Струве в издательстве УМСА — PRESS: «М. Цветаева.

Неизданные письма». Привожу отрывки из «Записной книжки» Марины Ивановны со страниц 629–631.

«Возобновляю эту записную книжку 5 сент. 1940 г. в Москве. О себе. Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего — себя, своей головы, если эта голова — так преданно мне служащая в тетради и так убивающая меня в жизни. Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами — крюк...»

Тут остановимся. Повторим: «...я год уже (приблизительно) ищу глазами — крюк...»

Запись сделана 5 сентября 1940 года. Что же такое — год назад? 27 августа предыдущего года была арестована дочь Цветаевой, Ариадна, Аля, а 10 октября — муж, Сергей Яковлевич Эфрон. Вот с какого времени она начала искать глазами крюк. Со времени этих двух — разлучений, увели дочь — в тюрьму, в лагерь. В ссылку, увели мужа — на казнь.

Читаем дальше:

«Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить — мерзость, прыгнуть — враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что я себя уже — посмертно — боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна... но, господи, как я мала, как я ничего не могу! Доживать — дожевывать. Горькую полынь».

Прочитав эти слова: «как я ничего не могу», я отложила книгу и прислушалась. Из дальней дали донесся до меня тот, прозвучавший на Каме, сорокалетней давности, крик:

— А вы думаете, я — могу?

Какая она была мужественная и как много она могла — не требуется доказывать: перед нами ее могущественная поэзия, ее проза, вся ее мученическая, мужественная жизнь.

Но и богатырским силам приходит конец. В эмиграции она была бедна и одинока, но ее хоть печатали. Дома же, кроме переводов, не

напечатали после ее возвращения почти ничего. А конец — конец силам наступил, я думаю, осенью 1939 года, и мои скудные воспоминания следовало бы озаглавить не «Предсмертие», но «После конца».

После ареста Али, после гибели мужа силам уже пришел конец, а тут после конца — война, эвакуация, безысходная нищета, новые унижения, Елабуга, Чистополь...

«Почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?»

«Нет будущего. Нет России».

«Я когда-то умела писать стихи, теперь разучилась...» «Какая страшная улица...» «Я ничего не могу...» «Мыть посуду я еще могу».

Второй документ не напечатан. По цепочке смертей и неожиданных наследований лет на мою ладонь листок. Легонький листок бумаги — даже не листок — половинка листка, вырванного из школьной тетради. Резким, отчетливым, размеренным, твердым почерком, словно попирающим ничтожную бумажонку, выведено на листке:

В Совет Литфонда

Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда.

*М. Цветаева*

*26-го августа 1941 г.*

Столовая открылась в ноябре. Меня в это время в Чистополе уже не было. Кто получил место судомойки, на которое притязала Цветаева. Мне неизвестно.

*Октябрь — декабрь 1981 г.*

*Переделкино*

## Э. Миндлин ГРАБИТЕЛЬ И ПОЭТЕССА

Мне тем легче воспроизвести сцену визита необыкновенного грабителя, что петухивная комната, в которой она разыгралась, две недели спустя стала моим пристанищем в малолюдной Москве начала двадцатых годов. Это была одной из трех комнат ее квартиры в Борисоглебском переулке, переименованном в улицу писателя Писемского. [\[272\]](#)

Читатель, разумеется, насторожится: что значит «петухивная»? Извольте, я объясню.

Марина жила с семилетней дочерью Алей. Сергей Эфрон в то время жил в Праге. Чучела двух лисиц украшали каминную доску в комнате, пока в голодные и студеные годы Марина не содрала с них изрядно облезлые шкуры и не выменяла их на воблу или на ячневую крупу. Но раздетые догола соломенные уродцы продолжали украшать собой треснувшую доску камина: маленькая Аля упростила мать не выбрасывать их.

Пришел как-то водопроводчик чинить испорченный кран, подивился уродцам, спросил:

— Это что за петухив вы тут расставили?

Был украинец, и «петухив» на его языке означал «петухи». Але так понравилось слово, что одного «петухива» она тут же подарила водопроводчику, второго оставила, а комната с той поры названа петухивной.

Входная дверь в нее запиралась только перед отходом хозяйки ко сну, а до этого каждый входил, нередко не постучав и не дожидаясь хозяйского приглашения войти и быть гостем.

Вот так, не постучавшись, в петухивную вошел странный Маринин гость в широкополой засаленной шляпе и в некогда приличном пальто с крутыми плечами рыжего цвета.

Он вошел и остановился вблизи порога, недоуменно осматривая петухивную. Аля, рисовавшая за столом, подняла голову и сказала вошедшему:

— Здравствуйте.

Он не ответил, удивленный позой Марины посреди комнаты на полу у зажженной печки-буржуйки, сторожившей гулкой печной огонь.

Перед ней на полу стояли две миски, одна с горсткой ржаной муки, другая с рассыпчатыми отрубями — конопляное масло уже шипело в сковородке на раскаленной буржуйке...

— Все-таки, здравствуйте, — прервала Марина молчание незнакомца. — Садитесь, раз вы пришли, и говорите зачем?

— Любопытно, — пробормотал вошедший. — Позвольте узнать, вы и есть госпожа Цветаева? Или это не вы?

— Я-то я. Однако не госпожа, а по-нынешнему гражданка.

— Но, говорят, вы собираетесь за границу, сударыня.

— Это еще не скоро. Может быть, через год. Может быть, года через полтора.

Гость вздохнул облегченно.

— Значит. Я попал туда, куда мне надо было попасть.

— Сударь, — произнесла Марина, передвигая папиросу из левого угла в правый, — вы заметили, что еще не представились? И откуда вам ведомо, что я собираюсь за границу?

— Что ж тут удивительного, сударыня! Уже недели две, как я хожу вокруг вас. Узнал, что вы мечтаете отбыть из России в свободный мир. Стало быть, вы, мадам, при деньгах. Мне нет нужды представляться вам. Не те времена. И не то занятие у меня. Да вы не волнуйтесь, пожалуйста. Вижу, вы одинокая и с ребенком. Всех денег у вас не возьму. Как бывший интеллигент оставлю вам на дорогу достаточно. Вы ведь, если не ошибаюсь, едете в Прагу к супругу?

— Да, к моему мужу в Прагу.

— Стало быть, без средств там не останетесь. Но со мной придется вам поделиться.

Аля, вслушиваясь в разговор матери с гостем, спросила:

— Марина, это пришел грабитель?

— Аля, пожалуйста, помолчи.

Гость рассмеялся с хрипотцой.

— Она вас по имени называет? Вы для нее Марина? Забавно.

— Я всегда называю Марину Мариной, — сказала Аля.

— Она называет меня Мариной, — пояснила Марина.

— Странность какая! Так вы согласны, сударыня?



— Аля, — приказала Марина, — принеси мое кольцо.

Аля послушно спрыгнула с кресла и вышла в соседнюю комнату. Через минуту вернулась и протянула матери перстень с печаткой. Позднее, когда Марина подарила мне сделанную ее руками тетрадку и исписала ее своими стихами, на серой обложке тетрадки она отпечатала на сургуче трехмачтовое судно. Ныне сургуч растрескался, но на нем еще ясно виден парусный корабль о трех мачтах. Перстень был морской, самодельный и с надписью на внутренней стороне: «Тебе моя симпатия».

Перстень Марина протянула грабителю.

— Пожалуйста. Больше у меня нет ничего. Это все мои драгоценности.

— Довольно странно, — разочаровался гость, но к перстню и не притронулся.

— Однако деньги у вас, сударыня, быть должны. Без денег вы и до границы не доберетесь.

— Денег я еще не собрала, — пожала плечами Марина. — За стихи платят так мало. А сейчас особенно.

— Стихи? А разве вы пишете стихи, сударыня?

— Моя Марина известный русский поэт, — раздраженно заметила Аля. — И даже очень хороший поэт!

— Сударыня! Умоляю! Прочтите мне ваши стихи!

— Сначала я положу оладьи на сковородку. Пускай себе жарятся. А пока я прочту вам, раз вам хочется послушать мои стихи.

Она читала, опершись рукой о пол и вся отдавшись ритму стихов.

Доблесть и девственность!  
Сей союз  
Древен и дивен,  
как смерть и слава...

Марина прочла еще четыре или пять своих последних стихотворений.

— Сударыня, я поражен. Вы настоящий большой поэт! Простите, я до сих пор не знаю вашего отчества.

— Ивановна, — подсказала Аля.

— Марина Ивановна, — повторил гость. — Очень приятно. Если вам будет угодно величать меня по отчеству, то меня звать Евлампий Феодосеевич. Наши зовут меня просто Лампой.

— Ваши?

— Так точно. Наши. Свободные члены ассоциации анархистов — индивидуо-интеллектуалов. Так и прозвали Лампой. У нас каждый свою кличку имеет.

— Лампа, — фыркнула Аля. — Это смешно.

— Вы не назвали еще вашей фамилии, Евлампий Феодосеевич, — сурово допытывалась Марина.

— Что ж, вам могу и фамилию свою доложить. Трофимов моя фамилия, Марина Ивановна. Это по сцене. А отцовской моей фамилии дозволяйте мне не касаться, из уважения к покойному батюшке. Ваши оладьи на сковороде удивительно до чего аппетитны.

— С удовольствием угощу вас моими оладьями, но прежде вы должны рассказать о себе. Вы всегда занимались такими делами? Или это только временное явление?

— Извольте ли видеть, Марина Ивановна, на свете не только наши дела, и но и мы сами, не то что ваш покорный слуга, но даже такие, как вы, русский поэт, явления временные. Временно с вами живем, Марина Ивановна!

— Он еще философствует, слышишь, Аля? Евлампий Феодосеевич, вы ее получите оладий, если не оставите философию и не ответите на мой вопрос.

— Слушаюсь, Марина Ивановна. Отвечаю на вопрос не из боязни лишиться оладий, а только лишь из боязни вас рассердить. Кто я таков и почему занялся грабежами? Это вы пожелали узнать? Лично я сын сельского дьякона из-под Калуги, окончил гимназию в той же Калуге и после кончины батюшки моего перебрался в Москву. Вы не поверите, выдержал испытания и поступил в маленький театр в Настасьинском переулке, однако театр имени Веры Комиссаржевской, великой русской актрисы, — о ней вы, наверное, немало наслышаны. Руководил сим театром Федор Комиссаржевский, родной брат великой сестры. Он-то и принял меня. Чем-то я показался сначала. Способности у меня были кое-какие. Даже получил небольшую рольку в «Димитрии Донском», пьесе, если знаете, древнего нашего писателя Озерова. И неплохо

сыграл. А три года спустя, когда пошла революция, Федор Федорович и закрыл свой театр.

— А в 1919-м и вовсе отбыл из нашей России на Запад, в Европы. На том карьере моя, артиста и кончилась. Сами, небось, изволите знать, каково было служителям Мельпомены в те времена.

— Марина, — любопытствовала Аля, — так он не настоящий грабитель?

— Я — настоящий, маленькая мадемуазель. Можете не сомневаться во мне. То есть стал настоящим через год после закрытия нашего театра. Во-первых, сударыня, я хотел кушать...

— Марина, ты слышишь, он говорит «кушать». — Аля с любопытством посмотрела на странного гостя. — Надо говорить «есть», а не «кушать».

— Аля права, Евлампий Феодосеевич. Надо говорить «есть». Потому что «кушать» — это лакейское слово. Лакеи говорят: «Кушать подано, барин!».

— Хорошо, во-первых, я хотел есть. А есть было нечего. Денег не было ни шиша. А во-вторых, мне стало досадно. Понимаете, люди обрекли себя на голод, на холод во имя сытости и тепла для своих потомков. А те даже не удосужились появиться еще на свет.

— А вы не поверили, что голодающий народ победит и добьется того, к чему он стремится? Да? — тоном прокурора спросила Марина.

— Не то чтобы я не поверил. А попросту не думал об этом. Я, возможное дело, и допускал, что голодающий народ победит и голод, и вшей, и отсутствие топлива... Но как индивидуально развитому индивиду мне было неинтересно бороться за счастливое будущее моего народа. Помилуйте, единственная неповторимая жизнь человека дается ему только единожды. На кой мне черт растрачивать ее во имя счастья будущих поколений, которых я и в глаза никогда не увижу? Да еще неизвестно, заслужат ли эти поколения моей жертвы! Может быть, среди них-то прохвостов всяких мастей окажется еще больше, чем среди нынешних! А мне лично нравилось жить... Согласитесь, это даже весьма любопытно, оставаться среди живых. Я к тому времени анархистской литературы подначитался довольно-таки. Даже господина Штирнера «Единственный и его собственность» тоже прочел... А что собственность есть воровство тоже усвоил. Я как раз тогда с ассоциацией анархистов-индивидуо-интеллектуалов связался.

Там у нас всякие были. И артисты. И художники. Даже писатели тоже были, правда, никому не известные. Ну и так, разномастный народ, не разберешь, кто откуда. Опять же и пример покойного Мамонта Дальского<sup>[273]</sup> действовал на меня... И задумал бежать за границу, куда уже многие скрылись... В свободный мир... Мыслишки разные были... Разные мужские кафе-шантаны снились... Понимаете? Нет? Шантаны для скучающих буржуазок. Вот они приходят в такой шантан... А шансонетками там не женщины, а мужчины... Выбирай любого... Понятно, надеюсь?

— Понятно, — сказала Марина. — Гадость из гадостей. Вы даже не анархист настоящий... И ради этого самого пошли грабить людей?

— Ну, не скажу, чтобы людей, Марина Ивановна. Эта таких златолюбцев я и людьми называть не могу. Права перед настоящими людьми не имею. Хотя бы вот перед вами. Вы не подумайте, убивать мне не приходилось ни разу. Вы, может быть, подумали это самое... Так напрасно, Марина Ивановна. Смертоубийством не занимался.

— Тогда кушайте, как вы выражаетесь, ваши оладьи и продолжайте рассказывать. Можете не стесняться Али. Она все понимает. Часто больше, чем взрослые. — Марина положила на тарелку три пухлые оладьи со сковородки и протянула грабителю. — Убийцу я угощать не подумала бы, Евлампий Феодосеевич. Аля, теперь тебе. Ешь и молчи. — Положила дочке две большие оладьи и подала ей на тарелке. Последнюю оладью взяла на вилку и стала медленно есть.

— Налить вам чаю, Евлампий Феодосеевич? Но чай, имейте в виду, морковный. Сахару нет. С сахарином.

— Премного вам благодарен, сударыня. Поверьте, я граблю только дурных людей. К вам попал, как вы уже поняли, исключительно по ошибке, Марина Ивановна. Наговорили мне: неизвестно на что живете, супруг ваш за границей, а сами нигде не работаете...

— Мама работает по ночам, — встрепенулась Аля.

— Уж это я теперь понимаю, — вздохнул гость. — Обмишурился я тут с вами.

— Марина, что такое обмишурился? — спросила Аля.

— По-моему, этот глагол происходит от существительного мишура. А мишура значит поддельное шитье под золото, серебро. Обмишуриться — обмануться, обмануть себя.

— Совершенно точно определили, сударыня, — согласился Трофимов. — В отношении вас — обмишурился.

— Послушайте, — серьезно заговорила Марина. — Вот вы уверяли, что в общем допускаете, что народ добьется собственной цели. Да вам неохота была бороться за эту цель. Мало ли еще какие потомки, мол, будут и заслужат ли наши жертвы, которые вы-то вовсе не приносили ради их цели...

— В самую точку, Марина Ивановна.

— Вы ведь и пошли на ваше стыдное дело оттого только, что у вас лично никакой цели нет в жизни.

— Цель-то, положим, имеется. Добыть средства и отправиться в мир свободный, Марина Ивановна.

— Да на что вам этот свободный мир? И на что вам свобода, которую вы там обретете? Свобода открыть грязный шантан для скучающих барынек? Хороша цель человеческой жизни!

— Где же другую найти?

— Цель жизни искать не годится. Так вы ее никогда не найдете. Цель должна существовать в вас самих. Прониклись вы сознанием всенародной цели и посвящаете ей свою жизнь. Тогда и жертвы не жаль.

— Да жизнь у меня только одна и есть. А дозволейте заметить, вы-то сами собираетесь бежать из России?

— От России я не бегу, Евлампий Феодосеевич. Россия во мне. Россия всегда со мной, где бы я ни была. Уезжаю я официально, законно к отцу моей дочери. Уезжаю без средств. У моего мужа там также нет денег. Не думаю, будет ли мне за границей легче жить, нежели здесь на родине. Да я об удобствах не размышляю. Мне и здесь хорошо. Мне вот именно здесь хорошо, — твердо повторила она.

— Хорошо? Вам хорошо? Здесь? Сейчас?

— Я имею в виду свое душевное состояние, а не внешние неудобства или лишения. Лишения терпит сейчас весь честный русский народ. Почему же мне, русскому поэту, должно быть легче, чем моему народу? Ну, хватит, поговорили. Еще чашку чая?

— Благодарю покорно. Никак нет. Хотя должен признаться, мне еще никогда не везло так, как сегодня. Вроде как святое причастие принял. Смею ли я предложить вам некую материальную помощь? Десять, двадцать, сто миллионов, если угодно. Извольте, сию минуту.

— Нет, — резко произнесла Марина. — Я ни в чем не нуждаюсь и меньше чего в вашей помощи. Прощайте, Евлампий Феодосеевич.

— Прощайте, Марина Ивановна. Прощайте, мудрая маленькая мадемуазель, — поклонился он семилетней Але.

Потом ответил большим поклон обеим, неслышно вышагнул вон и осторожно затворил за собой дверь.

Аля взглянула на Марину, закуривавшую новую папиросу. Она стояла, выпрямившись у порога петухивной, проводив необычного посетителя.

— Марина, — едва слышно прошептала Аля, — Марина, я рада, что я твоя дочка.

— Тебе пора мыть ноги и ложиться в постель, — как всегда в этот вечерний час, указала Марина.

На следующее утро, когда Аля открыла застекленную входную дверь, чтобы выйти погулять во двор, в глаза ей бросилась пухлая матерчатая сумка снаружи на дверной ручке. Позвала мать. Марина обеспокоено сняла сумку и обнаружила сверху записку в конверте.

«Глубокоуважаемая Марина Ивановна! Простите вашего вчерашнего визитера. Умоляю принять от него небольшой подарочек вам и вашей удивительной Алечке. Чутьочку продовольствия. Это мой анархистский пак. Я и без него буду сыт-пересыт. Низкий вам поклон.

*Трофимов».*

В сумке была вобла, ячневая крупа, селедки, два фунта масла, большой кусок свежей говядины, мука, жестяная коробка леденцов «Ландрин», две банки американского сгущенного молока, кусок сала.

— Вот так так, — озадачилась Марина. — Мы это принять не можем, Аля.

— Не можем, Марина.

— Надо раздать голодающим соседям. У тебя есть кому?

— Вале Свиридову во дворе. Ему сгущенное молоко, леденцы, масло и сало!

— Хорошо. Воблу, сельди и говядину можно Анне Степановне, нашей соседке. Муку тоже ей.

— А крупу — старику Егорычу.

И Аля отправилась разносить продукты.

Примерно через неделю, возвращаясь к себе домой, Марина остановилась на углу Поварской возле наклеенной на стену газеты (в те времена газеты не продавались в киосках на улицах, а наклеивались на стены домов и заборов). В газете была заметка об анархистах, пытавшихся ограбить третьего дня склад на Якиманке и погибших при перестрелке с милицией. Среди жертв был и актер бывшего театра имени Веры Комиссаржевской Трофимов Е. Ф.

— Пустой человек был, — коротко прокомментировала Марина, пересказав Але заметку в газете.

*24 июня 1980 г.*

Г. Адамович [\[274\]](#)

## У НЕЕ БЫЛ СВОЙ ГОЛОС...

Я ее встречал сначала в Петербурге в доме Канегиссера. Дом этот описан в очерке Цветаевой «Нездешний вечер». В этой семье была широкая жизнь. Отец был известным инженером. Я дружил с младшим сыном, Леонидом. Был еще его старший брат, Сергей, и сестра Лулу. Однажды я пришел к ним днем. И там была Марина Цветаева. Она сидела рядом с Есениным. Она читала стихи о Германии. Очень их головы были похожи. Она говорила: «Германия — мое безумие!» У нее всегда было желание идти против. Тогда Ахматова была звездой первой величины, а Цветаева приехала из Москвы. Цветаева Ахматову боготворила, а Ахматова была слегка к ней холодна, она вообще не любила поэтесс, помните ее эпиграму:

Я научила женщин говорить,  
Но Боже, как их замолчать  
заставить?

Цветаева писала Ахматовой восторженные письма. Она говорила: «За одну строчку „Я дурная мать...“ отдам все, что я написала и напишу!» Меня поразило, что когда в 15-м или 16-м году в Петербурге были напечатаны стихи Пастернака в альманахе «Весеннее контрагентство муз», они в кругу акмеистов произвели фурор. А когда я приехал в Москву и сказал об этом Цветаевой, она даже не знала, кто такой Пастернак. Так что он на нее тогда не произвел никакого впечатления.

У Цветаевой дарование было не меньше, чем у Ахматовой. У нее был свой голос, но об Пастернака этот голос разбился. Ее стихи к Блоку чудные, потом она Пастернаку подражает, у нее эти губительные и ненужные «анжамбманы». Белый, например, признавал Цветаеву, состоялись встречи в Берлине, но близости между ними никогда не было.



А в 1926 г. архиепископ Иоанн Шаховской<sup>[275]</sup> издавал свой журнал «Благонамеренный», и в нем Цветаева напечатала статью «Цветник» с насмешками и выдержками из моих статей. Это испортило наши отношения. Потом был объявлен конкурс стихов при журнале «Звено». В жюри были К. Мочульский, З. Гиппиус и я. Было представлено 150 анонимных стихотворений, избрали 15. Среди отвергнутых оказались и стихи Цветаевой. Она тогда очень скандалила.

Потом у нас были другие встречи. У нас были литературные и внешне хорошие отношения. Зинаида Гиппиус, например, ненавидела Цветаеву. А я — нет. Марк Львович<sup>[276]</sup> рассказывает, что на одном вечере «Кочевья» З. Гиппиус смотрела в упор на Цветаеву через жорнет, просто неприлично!

Я, помню, получал много писем с непонятной подписью о разных своих произведениях и статьях, хорошие, милые письма. Помню одно интересное письмо о Жиде<sup>[277]</sup> я тогда не знал, кто мне его написал, и не сохранил его. Затем пришло одно письмо от Цветаевой, и оказалось то, что это тот же почерк. (Письма Цветаевой теперь хранятся в Америке, в Йельском университете.)

У нее был очень трудный характер — заносчивость феноменальная. Она сама виновата в своей судьбе. Я помню, она читала доклад и цитирует Георгия Иванова: «Красивая и вульгарная Цветаева». Она говорит: «Красивая? Не знаю. Может быть. Вульгарная? Никогда!» в ней было что-то причудливое и «ridicule» (смешное, нелепое).

По природе она была выше, чище, свободнее той позы, которую раз навсегда усвоила и которая в житейских несчастьях ее, вероятно, утешала и поддерживала. В будущее свое признание она твердо верила. Что же, если теперь находятся у Цветаевой поклонники, способные без колебаний принять каждое ее слово, порадуемся за нее и за них. Но тех, для кого многое в цветаевских писаниях было и остается неприемлемым, они не переубедят.

Л. Зуров<sup>[278]</sup>

## ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

В Париже ее не признавали. Почему? Царил тогда Георгий Иванов со своими декадентскими темами, был Ходасевич. А все, кто приезжал из провинции, то есть из Праги («Скит поэтов»<sup>[279]</sup> или из Бельгии, или еще откуда-нибудь, должны были пройти два года «подготовительных классов»... Печатали ее ужасно. Сколько рукописей лежало в «Последних новостях», ожидая печатания. Сколько писем она писала, требуя печатания, гонорара...

Я хорошо помню наше прощание в Париже, когда Марина Цветаева уезжала. Было это летом 1939 г. (Вероятно, не летом, а весной, может быть поздней. Иногда в Париже в апреле бывает уже совсем тепло. — В. Л.) Она пригласила нас на Монпарнасе, в большое кафе, и пришла с Муром. Она пригласила Аллу Сергеевну Головину,<sup>[280]</sup> были и Саша Гингер и А. Присманова. Была она весела на редкость. Ее смуглые руки были в кольцах и браслетах. Она, как всегда, перекармливала Мура. Нам всем было очень хорошо и весело, играла цыганская музыка.

Когда мы вышли из кафе, был проливной дождь. А. Присманова попросила у Марины Цветаевой разрешение взять у нее прядь волос. Марина Цветаева сказала: «А как же? Ведь нужны ножницы!», и Присманова ответила, что у нее в сумочке есть. Я помню, Марина Цветаева стояла на бульваре под фонарем, как рыцарь, и Присманова отрезала ей прядь волос. Это была наша последняя встреча.

**П. Сувчинский** [\[281\]](#)

## **В МЕДОНЕ**

В 1926 г. у нее было вроде «coup de foudre» (молниеносная любовь, с первого взгляда) ко мне. Мы подружились и стали переписываться. Она мне писала больше, чем я ей. (У меня от нее осталось около 20 писем. Только они очень личные.) Я часто ходил к ней в Медон... Я помню, как я подымался к ней в Медон и издалека видел ее окно. Она была несчастна и безумно талантливая, и умная. У меня есть ее «Поэма Конца» с надписью: «На память о зеленом фартуке». Почему-то я как-то к ней пришел, и она в фартуке стирала белье в ванной. Она читала мне стихи. Отношения у нас были дружеские. Я очень любил ее стихи, и «style heurté» (стиль толчками)... А первые ее стихи были более плавными. Тогда стихи иногда бывали плохие, и помнится, кто-то написал на них очень злую пародию. О своих стихах она говорила «фонетически». В ней поэзия грохотала, и иногда получалось неудачно. Она соскальзывала с какой-то высоты, тогда было «ridicule» (смешно, нелепо). Она нанизывала слова. Слово — вот ее поэтический стимул.

о. Александр Туринцев [\[282\]](#)

## ДАР ПОЭТА

Первое впечатление от нее всегда было, что она «à part» (отдельно). Это поэт, и она до конца останется поэтом. Она себя такой и считала. Она всему противопоставляла себя. Но у нее не было этой темы — пророческой. Поэт — избранник Божий. Она себя считала выше. Она поэт, но без пророчества. У нее, конечно, был этот дар жизни. Дар поэта выше всего, как она считала, дар жить, любить, быть всегда против (в частности, против всех клише), и все это преобразовать в слова. Она была очень своенравна, «révoltée» (бурнтарка), не во имя какой-нибудь там революции, а потому что не хотела быть как все. Поэтому она и была антиобщественна.

У нее был пафос страдания, но не отчаяния, а страдания, потому что она — поэт. Она согласна страдать и умереть за правду, но определить эту правду невозможно. Отсюда постоянная тема самосожжения и лейтмотив костра. Она была горда (пресловутая Маринина гордость), горда потому, что — поэт. Слово поэт для нее — все.

Но она не говорила, что поэт от Бога или что поэт выше всего этого. Она часто говорила, что поэт — обреченный, она чувствовала свою связь с большими поэтами: Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, Маяковским, но сознавала, что судьба их трагична. Сама потом понесла такой же крест! Поэт должен гибнуть от общества, и от преследований общества она испытывала удовлетворение: «Меня грызут, но это нормально, ведь я же поэт, а поэтов ненавидят и преследуют». И эта непреклонность у нее осталась до конца. В этой жажде самосожжения проявляется русская хлыстовская стихия. Подсознательное желание быть жертвой. Для чего? Этого она не открыла, но на это она положила свою жизнь.

О смерти она говорила часто, но не серьезно. Это было в моде. Я ей говорил о ее стихотворении «Настанет день, печальный говорят...»: «Марина, ведь это же не серьезно!» Она мне говорила в ответ: «И умирать буду не серьезнее этого».

В ней поражает отсутствие идеала — высшей ценности или веры в бессмертие, или какой-то трансцендентности. Она не из бравады и не по строптивости нрава, а действительно и по-настоящему не верила в Бога. Ей не нужны Бог, душа и т. д. В ее стихах, конечно, есть «душа», но это какой-то вихрь в никуда, так как на самом деле у нее нет идеала, у нее вместо идеала колдовство. Ее поэтическое кредо без источника, в отличие от других поэтов: «Бог меня поставил» или «Мой дар от Бога» — всего этого у нее нет. Отсюда и ее отношение к поэзии как к ремеслу. У других поэтов, например, у Гумилева или Мандельштама, слово — это Бог, слово — от Бога. У нее же слово — плоть, она жизненная, плотская, во всех смыслах слова, и Бог ей не нужен. Понятие о высшей ценности, цельное мировоззрение — всегда религиозны. У Цветаевой этого нет. У нее поэзия — ремесло, а не высший дар, куда-то ведущий. Дар есть, но неизвестно откуда, поэтому он никуда и не ведет.

Мария Юдина<sup>[283]</sup>

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВЕЛИКОМ ПОЭТЕ

Однажды летом 1940-го (вероятно), едучи к Заболоцким для работы с Николаем Александровичем Заболоцким<sup>[284]</sup> над переводами наших текстов «Песен Шуберта» — то есть Николай Алексеевич — творец, я — увы — редактор (неизбежный!!), — встретила я в Киевском метро Генриха Густавовича Нейгауза; он — как всегда — приветлив, радушно настроен, весь искрится, пенится как ручей в горах.

— А вы тоже к Пастернакам?

— На сей раз — нет, — говорю, — к Заболоцким.

— А! Вы дружите? Это хорошо!

— Дружу не дружу, — говорю, — не знаю, но вот тема имеется изрядная — «Песню Шуберта».

— «Песни Шуберта»?! И вы издаете, редактируете? Прелесть! И Борис будет участвовать?!

— А то как же, согласие имею!

Мы уже у перрона, я направляюсь к электричке; у Генриха Густавовича еще какие-то комиссии; вдруг он хватает меня за рукав: «Дорогая — вот что важно! За это ведь и деньги хорошо платят? Знаете ли вы, что приехала Цветаева и без работы? Дайте, дайте ей работу, дайте эти ваши переводы!» — «Буду счастлива», — на ходу кричу я и вскакиваю в тронувшийся поездочек (не хочется опаздывать, Заболоцкий человек точный и строгий!).

И вот через 2–3 дня, запасшись адресом, с трепетом направляюсь я к незнакомой мне и прославленной поэтессе. (Я уже знала о ее возвращении в Россию от чудесного человека — ныне покойной Нины Павловны Збруевой (литературоведа), проживавшей, как обычно, летом в Песках по Казанской железной дороге, на берегу Москвы-реки, жили там и Шервинские, Сергей Васильевич<sup>[285]</sup> и Елена Владимировна, отличающиеся исключительным гостеприимством и радушием; они и пригласили Цветаеву Марину Ивановну; поблизости там же имелись летом и Кочетковы Александр Сергеевич и Инна

Григорьевна. И многократно и подолгу гостила у Шервинских и Анна Андреевна Ахматова.

Итак, я не только не была знакома с Цветаевой-человеком, но и поэзию ее я, увы, в ту пору знала мало, я ведь — петербуржанка, ленинградка, до революции в Москве не бывавшая (не считая — в детстве, с покойной дорогой мамой, — помню мой ужас, что под Неглинной улицей (тогда «проспектом») протекала речка Неглинка). И росла я больше в среде науки, нежели поэзии, не «совалась» в иные миры, кроме музыки, университета и церкви; лишь позднее поэзия стала соей «второй натурой».

Итак, я еду к Цветаевой с мыслями о Пастернаке, о «Марии Ильиной» в «Спекторском», готовлюсь к встрече... Темноватая мансарда, нескладная лестница к ней; сразу охватывает атмосфера щемящей печали, неустроенности, катастрофичности... Отчужденное взаимное приветствие. Вижу пожилую, надломленную, мне непонятную женщину, стараюсь быть почтительной, учтивой, любезной. Вероятно, по-своему легкомысленно не узрела в Цветаевой тогда «Куманскую Сивиллу» или «женщину Плутарха»... Сажусь на кончик стула, показываю Шуберта...

«Если уж переводить, то только Гёте», — сурово говорит Цветаева. «О, конечно, это само прекрасное», — отвечаю я и предлагаю «Песни Миньоны» и «Арфиста» из «Вильгельма Мейстера» — для начала. Она рассеянно соглашается, я спешу уйти... Из какой-то двери выходит сын, юноше-красавец.

Мне бы к ногам ее броситься, целовать ее руки, облить их слезами, горячими, горячими, предложить ей свою готовность взять на себя то или иное ее бремя... (Трудно мне самой понять, почему была я так замкнута и даже как будто равнодушна... отчасти, быть может, потому, что на моих плечах тогда много лежала человеческих судеб, — старые, малые, больные, сорванные войной<sup>[286]</sup> со своих гнезд, — всех прокормить, всех достичь, обо всех подумать. А раньше — ссылки...) Но, как известно, «самооправдание — плохой советник», и оправдываться ни к чему: то был грех недостатка любви. Любовь, идущая от бесконечности Божией любви, беспредельно расширяет ограниченные человеческие возможности! А также ошибки моего поведения тогда объяснимы и недостатком литературной культуры; я Цветаеву тогда мало знала. Позже, вчитавшись в ее стихи, я поняла,

что они «не мои», но давать характеристику великому поэту, конечно, не считаю возможным. (Для меня, однако, поэзия не может быть столь откровенной, где и в тиши слышатся громкие голоса, а уж если не в тиши!.. Что сказать на эту окраску...) И вся роскошная новизна, блистательное сверкание формы, виртуозное решение задач ритма — я их зрю воочию, постигаю, вернее дивлюсь тому, как все это построено, математически точно повисает в пространстве и не рушится... Но... не о том скорбит душа, не того жаждет дух...

Сочетание могучего интеллекта с земляной, неукротимой силой — именно и заведомо неукротимой! — мне не дано понять композиции сего синтеза поэзии Цветаевой, и, вероятно, вина сего непонимания во мне, а, конечно, вовсе не прославленной поэзии ее самой.

Иное — для меня — ее проза и ее жизнь. В прозе дух ее свободен, не о себе говорит она, тут она грандиозна. На коленях я преклонюсь перед силой ее прозы и крестным путем ее жизни, ее жития.

С русскими текстами «Песен Шуберта», однако, ничего, ровным счетом ничего, не вышло. Придя в назначенное Мариной Ивановной Цветаевой время, я нашла ее еще более погруженной в себя, свою грозную судьбу, как бы на границе выносимого и невыносимого страдания.

Я робко попросила показать мне тексты, имея с собой, разумеется, сборники песен. Увы... все самое замечательное, «Песня Арфиста», несколько «Песен Миньоны» — все не заключала в себе никакой эквиритмичности и ни в какой степени не могло быть спето в музыке Шуберта. Я тихо, едва осмелившись, сказала поэту, что вот это, мол, так, а это — эдак, что, мол, Заболоцкий соглашался с неизбежностью музыкальной редакции, что незачем спешить, что я все устрою, как ей удобно, что выхлопочу аванс в издательстве и тому подобное. Но она меня уже не слушала. Сознание своей мощи, своей правоты (возможно, не в данном конкретном случае, а вообще перед оскорблявшим ее в целом — миром, людьми, историей, злыми силами) заслонило перед ее пламенеющим взором, перед ее страдальческой сутью всю какую-то «мелочь» — меня, издательства, работу поперек вдохновения и... даже Шуберта, который тоже не шибко сладко прошел свой жизненный путь. Она наотрез отказалась от всей работы в целом. Я почтительно простилась и ушла, как побитая собака... Потом все мы узнали, что случилось...



И снова — «КОНЕЦ — МОЛЧАНЬЕ».

И молитва о ней.

Все.

*1965*

---

**notes**

## **Примечания**

Анкета была заполнена М. Цветаевой по просьбе Б. Пастернака в апреле 1926 года для предполагавшегося издания библиографического Словаря писателей XX века.

**2**

Орленок (франц.).

**3**

Чрезмерное воображение и слишком мало логики (франц.).

4

«Не снисхожу» (франц.).

Цветаева Валерия Ивановна (1883–1966) — старшая сводная сестра М. Цветаевой.

В. И. Цветаева преподавала в то время историю и французский язык в московской частной гимназии Е. Б. Гранковской.



А. Жернакова-Николаева — магистр философии.

Н. К. Голофтеев — владелец нескольких домов в Москве, известный московский попечитель.

Степун Федор Августович (1884–1965) — писатель, философ, литературный критик.

Кожебаткин Александр Мелетьевич (1884–1942) — секретарь московского издательства «Мусагет», основанного группой символистов.

Невестка, золовка, свояченица (франц.).

Зайцев Борис Константинович (1881–1972) — писатель.

Мирра — дочь К. Д. Бальмонта.

Волконский Сергей Михайлович (1860 1937) — писатель  
театральный деятель.



Вы заметите, что только в этом месте в первый раз эти два понятия сопоставляются в виде формулы, впоследствии чаще и все чаще, так что к концу смысл книги сгущается (надеюсь, по крайней мере). — Примеч. Автора.

«Странствия» и «Лавры» — 1-я и 2-я части книги С. Волконского «Мои воспоминания» (Берлин, 1923).

Лучше быть чем иметь (франц.).

Мандельштам Надежда Яковлевна (1899–1948) — жена поэта Осипа Мандельштама.

С. П. Каблуков (1881–1919) — музыкальный критик, был секретарем Религиозно-философского общества в 1903–1913 гг.

Мандельштама.

Строки из стихотворения А. Ахматовой «Поздний ответ».

Еленев Николай Артемьевич (1894–1967) — прозаик, историк искусств.



Герцог Лоренцо Медичи, по прозвищу Великолепный (1449–1492), покровитель литературы и искусства, в особенности — Микеланджело, — Примеч. автора.

«Месса в Бользене» (итал.).

Стих этот принадлежит знаменитому французскому поэту и драматургу Эдмону Ростану (1868–1918), автору «Сирано де Бержерака», «Шантеклера», «Орленка» и т. д. — Примеч. автора.

«Тогда я думаю: Ты был последним из тех, кому я доверился бы. И взгляд его как будто отвечает: Могу ли я быть, по крайней мере, последним». Выдержка из рассказа Франца Кафки (1883–1924) «Одиннадцать сыновей». Стихия страха и хаоса в человеческой судьбе — один из характерных признаков творчества Кафки. — Примеч. автора.

Поль Верлен (1844–1896), знаменитый французский поэт, один из основоположников символизма. — Примеч. автора.

«Ах! Сколько дел исчезло в прахе... и сколько народилось вновь!»  
Строка из «Сирано де Бержерака» Э. Ростана. — Примеч. автора.

Из переписки Гюстава Флобера (1821–1880) — Примеч. автора.

«Беседа» — журнал, созданный по инициативе М Горького, издавался в Берлине в 1923–1925 годах.



Берберова Нина Николаевна (р. 1901) — писательница.

Колбасина-Чернова Ольга Елисеевна (1886–1964) — литератор, дочь писателя Елисея Яковлевича Колбасина.

См. статью М. Цветаевой «Искусство при свете совести».

См. статью М. Цветаевой «Искусство при свете совести».

Чернова Сосинская Ариадна Викторовна (1908–1974) — автор рецензий на произведения М. Цветаевой опубликованных в журналах русского зарубежья.

Улица Руве (франц.)

Слоним Марк Львович (1894–1976) — литературный критик.

У нас не было своего печатного органа, но мы устраивали доклады о советской и зарубежной литературе и вечера устного журнала — на них авторы читали свои произведения, затем следовало их обсуждение. — Примеч. автора.



Чтобы эпатировать буржуа (франц).

На этом останавливается В. Каверин в романе «Перед зеркалом» («Звезда», 1971, кн 1–2), в котором он вывел Цветаеву под именем Ларисы Нестроевой. Портрет ее дан на основании уже опубликованной ее переписки с разными лицами. Кроме того, имеются сведения и о личном знакомстве Каверина с Цветаевой в 1939–1940 г.г. в Москве. — Примеч. Автора.

Все эти рукописи хранятся в архивном отделе Базельской университетской библиотеки, Е. Э. Малер скончалась в Базеле в 1970 году, 88 лет от роду. Из-за моего отъезда из Парижа пакет с материалами я получил от Тамары Тукалевской (ныне покойной) уже после войны. Среди них была «История одного посвящения», поэма памяти Волошина и черновые тетради с вариантами и первоначальным текстом статьи о Маяковском и Пастернаке, напечатанной в «Новом граде» (1933), и другими набросками и письмами. — Примеч. автора.

Андрей Седых (псевдоним, наст. имя Яков Моисеевич Цвибак, р. 1902) — писатель, журналист.

Извольская Елена Александровна (1897–1975) — литератор, переводчица.

Пригород (франц.).

Городецкая Надежда Даниловна (1903–1985?) — писательница, в 30-е годы сотрудник парижской газеты «Возрождение».

Ты есть.



Убивать (франц.).

Вейдле Владимир Васильевич (1895–1979) — историк литературы, критик, писатель.

Иваск Юрий Павлович (1846–1986) — поэт, критик.

Улица Пастера, отель Иннова.

Н. В. Плевицкая — русская певица, популярная в эмигрантских кругах, жена генерала Скоблина.

Август Платен — немецкий поэт XIX века, живший с 1826 года в Италии.

Головина Алла Сергеевна (1911–1987) — поэтесса.

Диксон Владимир Васильевич (1900–1929) — поэт русского зарубежья.



Жена писателя А. М. Ремизова.

Эфрон Сергей Яковлевич (1893–1941) — муж М. И. Цветаевой.

Из сборника Марины Цветаевой «Волшебный фонарь»).

«Принцесса Греза» (пьеса Э. Ростана).

Гали Козловской (Примеч. Н. Я. Мандельштам).

Материалы для раздела «Дополнения» любезно предоставлены известным исследователем жизни и творчества М. И. Цветаевой Львом Абрамовичем Мнухиным.

В. Перегудова (урожд. Генерозова, 1892—19..) — гимназическая подруга Марины Цветаевой.

Гимназия фон Дервиз находилась в Гороховском переулке. Ныне там средняя школа № 325. Рассказ М. Цветаевой «Четверо» не сохранился.



Никто из сестер С. Эфрон постоянно в доме Цветаевой не проживал.

Липеровская Софья Ивановна; урожд. Юркевич (1892–1973) — гимназическая подруга Марины Цветаевой, педагог, автор ряда книг по русской литературе для школьников и учителей.

Юркевич Иван Викентьевич — преподаватель географии в гимназии фон Дервиз, отец П. И. и С. И. Юркевичей.

Стихотворение из цикла «Ахматовой» (1916).

Юркевич Петр Иванович (1889–1968) — впоследствии врач, военный терапевт. Юркевич Сергей Иванович (ок. 1888–1919) — впоследствии врач-терапевт.

П. И. Юркевич.

Мейн Сусанна Давыдовна (Тъё; — ок. 1920) — швейцарская воспитательница матери Цветаевой, вторая жена деда Цветаевой, А. Д. Мейна.

Камень с завещанной надписью был установлен в Таруссе в 1988 г.



Астапова Татьяна Николаевна — одноклассница М. Цветаевой в гимназии М. Г. Брюхоненко.

Частная гимназия М. Г. Брюхоненко находилась в то время в Большом Кисловском переулке (ныне улица Н. А. Семашко), в доме № 4, имела хороший состав преподавателей и считалась «либеральной». Рядом был большой школьный сад, а на углу стоял Никитский монастырь, окруженный каменной оградой, и мы на переменах бегали туда тайком за просвирками. (Примеч. Автора).

«Какая глупость!» (фр.)

«Через тринадцать лет Кримхильда...» (нем.)

«Через 13 лет! Кримхильда уже состарилась!» — «Почему так?»  
(нем.).

«Семнадцать плюс тринадцать — тридцать» — «Вы допускаете, что в тридцать лет можно быть старым?» — «Конечно» (нем.).

«Она уже состарилась!» (нем.)

Тараховская Елизавета Яковлевна (1895–1968) — поэтесса, переводчица, сестра С. Я. Парнок.



В декабре 1964 г. Ахматовой была присуждена Международная литературная премия «Этна Таормина», а в июне 1965 г. она получила почетную степень доктора Оксфордского университета.

Хин Рашель Мироновна (в первом браке Фельдштейн, во втором Гольдовская; 1863–1928) — писательница, драматург.

Волошина Елена Оттобальдовна (урожд. Глезер; в замуж. Кириенко-Волошина; 1850–1923) — мать М. А. Волошина, была посаженной матерью на свадьбе М. И. Цветаевой и С. Я. Эфрона 27 января 1912 г. в Палашевской церкви в Москве.

Эфрон Елизавета Яковлевна (Лиля; 1885–1976) — сестра С. Я. Эфрона, педагог, режиссер. Эфрон Вера Яковлевна (1888–1945) — сестра С. Я. Эфрона, актриса, впоследствии режиссер художественной самодеятельности.

Кювилье Майя Павловна (в первом браке Кудашева, во втором — Роллан; 1895–1985) — поэтесса, переводчица.

Кандауров Константин Васильевич (1865–1930) — живописец, театральный художник. Богаевский Константин Федорович (1872–1943) — художник.

Пастоука (фр.).

Эфрон Петр Яковлевич (1883–1914) — старший брат С. Я. Эфрона, член партии эсеров, участник Московского вооруженного восстания. С 1907 по 1913 гг. скрывался за границей. Актер.



Фельдштейн Михаил Соломонович (1884/85—1939) — юрист, сын Р. М. Хин-Гольдовской от первого брака, с 1919 г. муж В. Я. Эфрон

Фельдштейн Ева Адольфовна (урожд. Леви; 1886–1954) — художница, в 1909–1918 жена М. С. Фельдштейна.

Гингер Эммануил Иванович (1884–1953) — юрист, племянник Р. М. Хин-Гольдовской.

Гольдовский Онисим Борисович (1856 или 1865–1922) — адвокат, второй муж Р. М. Хин.

Кузнецова Мария Ивановна (литературный псевдоним — Гринева; 1895–1966) — актриса Камерного театра.

Грифцов Борис Александрович (1885–1950) — историк литературы, искусствовед, переводчик, один из организаторов «Лавки писателей» в Москве (1918).

Цветаева Анастасия Ивановна.

Трухачев Борис Сергеевич (1892–1919) — первый муж  
А. И. Цветаевой.



Трухачев Андрей Борисович (1912–1993) — сын А. И. Цветаевой от первого брака.

Минц Маврикий Александрович (1886–1917) — второй муж А. И. Цветаевой, инженер-химик.

См. воспоминания Э. М. Миндлина.

Мчеделов Вахтанг Леванович (наст. Фам. Мчедлишвили; 1884–1924) — режиссер, педагог, один из организаторов Второй студии МХТ.

См. рассказ об этом эпизоде в воспоминаниях А. Эфрон.

Звягинцева Вера Клавдиевна (1894–1972) — поэтесса,  
переводчица.

Кривошапкина Елизавета Павловна (урожд. Редлих; 1897–1988) — художник-график.

Редлих Вера Павловна (1893–1992) — сестра мемуаристки, актриса и режиссер, подруга С. А. Голлидэй.



Нахман Магда Максимилиановна (1885-?) — художница; до 1916 г. жила в Петербурге. Автор портрета М. Цветаевой (ок. 1913) и С. Эфрона (не сохранился).

Речь об актрисе Софье Евгеньевне Голлидэй (1896–1935) — героине цветаевской «Повести о Сонечке».

Антокольский Павел Григорьевич (1896–1978) — поэт.

В настоящее время снова переименована в «Поварскую».

Первый спектакль, которым официально открылась 3-я Студия МХТ (ранее студия Вахтангова) назывался «Чудо святого Антония» (13 ноября 1921 г.).

В 1939 г. Г. Эфрон было четырнадцать лет.

Гольцев Виктор Викторович (1901–1955) — критик, историк литературы, специалист по грузинской литературе. Цветаева была знакома с Гольцевым с конца 10-х — начала 20-х гг. по студии Вахтангова. В 1940 г. Цветаева встречалась и переписывала с Гольцевым по поводу переводов В. Пшавела.

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — писатель, общественный деятель.



Это стихотворение не из «Ремесла» М. Цветаевой, а из ее книги «После России» (Париж, 1928).

Евразийство — литературно-философское течение в русской эмиграции 20—30-х годов. Евразийцы искали пути сближения Запад и Востока на почве общей культурной деятельности, «смиряться» перед революцией, провозглашая в программах заявлениях, что «в великом подвиге труда и свершения» Россия раскроет миру «некую общечеловеческую правду».

Миנדлин Эмилий Львович (1900–1981) — писатель.

Кругликова Елизавета Сергеевна (1865–1941) — художник, прославилась силуэтными портретами знаменитых современников.

Цемах Наум Лазаревич (1887–1939) — еврейский актер и режиссер, основатель, руководитель и директор театра-студии «Габима» (открыт в 1918 г. в Москве).

Шлецер Татьяна Федоровна (Шлецер-Скрябина; 1883–1922) —  
вдова композитора А. Н. Скрябина, друг М. И. Цветаевой.

Скрябина Ариадна Александровна (1905–1944) — поэтесса, дочь Т. Ф. Шлецер и А. Н. Скрябина, жена Д. Кнута, поэтесса.

Бессарабов Борис Александрович (1897–1970) — прототип героя поэмы-сказки М. Цветаевой «Егорушка». М. Цветаева так рассказывала о нем в письме 1921 года: «Коммунист. Без сапог... Недавно с Крымского фронта... Глаза — чудесные! 3-летнего мальчика, который еще не совсем проснулся».



Башкирцева Мария Константиновна (1860–1884) — художница, автор «Дневника». Цветаева в юности увлекалась ею, посвятила ей свой первый сборник «Вечерний альбом» (1910). К ней обращено стихотворение «Он приблизился, крылатый...» (1912).

См. в воспоминаниях Ариадны Эфрон о самодельных книжках М. Цветаевой начала 20-х годов, «аккуратно заполненных красными чернилами». О появлении красных чернил в ее доме пишет сама М. Цветаева в книге «Земные приметы»: «Жестокосердные мои друзья! Если бы вы, вместо того чтобы угощать меня за чайным столом печеньем, просто дали мне на завтра утром кусочек хлеба... Но я сама виновата, я слишком смеюсь с людьми. Кроме того, когда вы выходите, я у вас этот хлеб — краду. Мои покражи в Комиссариате: два великолепных клетчатых блокнота (желтых, лакированных), целая коробка перьев, пузырек английских красных чернил. Ими и пишу».

Игумнов Константин Николаевич (1873–1948) — пианист, профессор Московской консерватории.

Зубов Валентин Платонович, граф (1885–1969) — основатель и первый директор Института Истории Искусств.

Прав.: «Кафе поэтов» — клуб-кафе Всероссийского Союза поэтов (СОПО). С января 1919 г. по 1925 г. располагалось на Тверской, дом 18, где ранее находилось кафе «Домино».

В процитированной выше (С. 00) дневниковой записи девятилетней Али Эфрон говорится, что «службу на Разгуляе устроил» Э. Л. Миндлину Борис Бессарабов.

Алексей Чичерин, Элий-Карл Сельвинский — «Знаем»: Клятвенная конструкция (декларация) конструктивистов-поэтов. — М.: 1923.

Рок Рюрик (наст. фам. Геринг Рюрик Юрьевич 1898—1930-е?).



Мачтет Тарас Григорьевич (1891–1943) — поэт, авт. единственной книги стихов «Коркин луг». — М.: 1926.

Бобров Сергей Павлович (1884–1971) — поэт, прозаик, критик.

Ныне храм Христа Спасителя восстановлен.

Восстановлена также «Иверская часовня».

Чабров Алексей Александрович (наст. Фам. Подгаецкий; ок. 1888 — ок. 1935) — актер и музыкант, друг композитора А. Н. Скрябина. Принадлежал к теософским кругам. В эмиграции принял католичество (1927) и стал священником (1931). Цветаева посвятила ему поэму-сказку «Переулочки» (1922) и стихотворение «Не ревновать и не клясть» (1922).

Цикл «Отрок» напечатан в журнале «Эпопея» (1922, № 2).

Геликон — Абрам Григорьевич Вишняк (1895–1943) — владелец русского издательства в Берлине «Геликон», где вышли книги М. Цветаевой «Разлука» (1922) и «Ремесло» (1923).

Ланн Евгений Львович (наст. фам. Лозман; 1896–1958) — поэт, прозаик, переводчик.

Обращенную к Ланну поэму «На красном коне» Цветаева перепосвятила А. Ахматовой.



Зайцев Петр Никанорович (1889–1970) — писатель.

«Волшебный фонарь» (М., 1912) — второй, а не первый сборник М. Цветаевой.

Цикл стихов М. Цветаевой «Стенька Разин» был напечатан во 2-м сборнике «Северные дни» (М., 1922).

Дом М. Цветаевой (Борисоглебский переулок, 6) на Поварскую улицу не выходил.

О. Мандельштам с женой никогда у Цветаевой не жили.

Гуль Роман Борисович (1896–1986) — писатель.

Горные ботинки (нем.).

Таково субъективное восприятие мемуариста (ср. с воспоминаниями Н. Еленева.



Святополк-Мирский Дмитрий Петрович, князь (1890–1939) — критик, историк литературы, участник евразийского движения, сын государственного деятеля П. Д. Святополк-Мирского. В 1921 г. переехал в Англию, где преподавал русскую литературу. В 1932 г. вернулся в Россию. В 1937 г. репрессирован, погиб в лагере.

Арапов Петр Семенович (1893–1937) — подпоручик, евразиец, член редколлегии еженедельника «Евразия», (совместно с С. Эфроном).

М. Цветаева встречалась с Б. Пастернаком в Москве до отъезда за границу мимолетно несколько раз.

Каннак Евгения Осиповна (урожд. Залкинд; 1903–1896) —  
литератор, переводчица.

Чирикова Валентина Евгеньевна (1897–1988) — дочь писателя Е. Н. Чирикова, художница, ученица И. Я. Билибина.

Мейснер Дмитрий Иванович (1899–1980) — публицист, мемуарист.

Альтшуллер Григорий Иссакович (1895–1983) — доктор  
медицины, мемуарист.

Томаш Гарриг Масарик (1850–1937) — президент Чехословакии в 1918–1935 гг.



В то время Альтшуллер был студентом Пражского университета.

Подразумевается роман Цветаевой с Константином Болеславовичем Родзевичем (1895–1988); обстоятельства их разрыва изложены не совсем точно.

Чирикова Валентина Георгиевна (урожд. Григорьева, театр. псевдоним Иолшина; 1876–1966) — жена писателя Е. Н. Чирикова.

Цветаева воспроизводила эту фамилию неточно.

Адальберт Черни (1863–1941) — педиатр, один из основателей современной детской терапии. Ввел масло и муку в кормление грудных младенцев; питание получило название «Butter-Mehl-Nahrung» («буттер-мель-наунг»).

Ариадна Эфрон вернулась на родину первой из членов семьи в марте 1937 г.; в то время ей шел 25-й год.

Рейтлингер-Кист Екатерина Николаевна (1901–1989) —  
архитектор.

Ср. со словами М. Цветаевой о «всегда коленопреклоненной Кате Р», которые приводятся в воспоминаниях Ариадны Эфрон.



«Поэма Горы».

Из стихотворения «От гнева в печени, мечты во лбу...» (1921).

См. размышления М. Цветаевой в ее книге «Земные приметы»:  
«Надо, в Революции, многое запереть на ключ: все, кроме сундуков! И, заперев, закинуть этот ключ... но и моря такого нет».

Нет, заперев, молча и мужественно вручить этот ключ Богу.

Бог я произношу, как утопающий: вздохом. Смутное чувство: не надо Бога тревожить (звать), когда сам можешь. А «можешь» с каждым днем растет...

Есть у Мандельштама об этом изумительный (отроческий) стих:

...Господи! — сказал я по ошибке,  
Сам того не думая сказать...

И — дальше:

Имя Божье, как большая птица,  
Вылетело из моей груди...

Нечаянно. — Но я никогда не дерзну назвать себя верующей, и это — молитвой.

Прочитировано неточно. В статье «Искусство при свете совести» М. Цветаева приводит стихи монашенки Новодевичьего монастыря, уточняя: у монашенки стихов «было много, перед смертью все сожгла, осталось одно, ныне жившее, только в моей памяти». Есть здесь и строки:

Расточайте без счета и смело  
Вы сокровища вашей души!..  
Человечество все же богато  
Лишь порукой добра круговой!

Лосский Борис Николаевич (1905–2001) — искусствовед.

Праздничная зала (фр.).

Словами о боярыне Марине заканчивается стихотворение М. Цветаевой «Настанет день, — печальный, говорят!». (апрель 1916 г.):

И ничего не надобно отныне  
Новопреставленной боярыне Марине.

А «гордыня» — из другого, написанного за две недели до этого, стихотворения «Дмитрий! Марина! В мире...»

Марина! Царица — Царю,  
Звезда — самозванцу!..  
Во славу грехом гордыни,  
Славное твое имя  
Славно ношу.

В цветаевских «Записях о Валерии Брюсове» — «Герой труда» — говорится о «приемыше» Валерия Яковлевича, «четырёхлетнем мальчике».



Имеется в виду стихотворение «Дорожкой простонародною...» (1919) из книги М. Цветаевой «Лебединый стан». Три строфы этого стихотворения сопровождаются меняющимся рефреном: «Сбылися древние пророчества: Где вы — Величества? Высочества?», затем: «Мы не Величества, Высочества» — и, наконец, финальные строки: «В страну Мечты и Одиночества — Где мы — Величества, Высочества».

Строки из стихотворения «Посмертный марш», вошедшего в книгу М. Цветаевой «Ремесло» (Берлин, 1923):

И марш вперед уже,  
Трубят в поход.

Здесь в памяти мемуариста слились впечатления от нескольких стихотворения М. Цветаевой, написанных в 1916 году. В ее цикле «Стихи о Москве» повторяется мотив «Колокольного грома»: финальная строфа входящего в этот цикл стихотворения «Москва! Какой огромный Странноприимный дом!». завершается так:

— Я в грудь тебя целую,  
Московская земля!

А в одном из «Стихов к Блоку» — «У меня в Москве — купола горят...» — звучат строки:

...О ту пору, как по всему Кремлю  
Просыпаются звонари.

См.: Морковин В. Марина Цветаева. Письма к А. Тесковой. Прага, 1969; Морковин В. Марина Цветаева в Праге. Прага, 1962. — *Ceskoslovenska Rusistika*, Прага, 1962, № 1.

Целиком (фр).

С закрыты «о» (фр.).

Булгаков Валентин Федорович (1886–1966) — личный секретарь Л. Н. Толстого, мемуарист, писатель.

По-видимому, имеется в виду Трехпрудных переулков.



Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна (1869–1962) — общественно-политический деятель, литератор, мемуарист.

В марте 1926 г. по приглашению Д. П. Святополк-Мирского, Цветаева приезжала в Лондон с чтением своих произведений.

Андреева Вера Леонидовна (1910–1986) — прозаик, дочь писателя Леонида Андреева.

Ошибка мемуаристики: на самом деле Муру было в то время три года.

Андреев Вадим Леонидович (1902–1976) — писатель, автор мемуарных книг, сын Л. Н. Андреева.

С воспоминаниями-лекцией В. Л. Андреев выступил 27 января 1949 г. на вечере парижского «Объединения русских писателей и поэтов» посвященного памяти поэтов. Вечер состоялся в помещении «Русского музыкального общества за границей».

Статья «О новой русской детской книге» была опубликована в журнале «Воля России» (Прага. 1931. № 5–6).

Частые встречи Цветаевой с Андреевым происходили на рю Рувэ, 8, где первые месяцы после приезда в Париж жила Цветаева; вместе с Андреевым семья Цветаевой жила в одном доме в Понтайяке летом 1928 г. и др.



Писала.

Личное.

См., например, ее стихотворение «La Neige» (Anthologie de la Poésie soviétique. 1918–1934. Paris, Gallimard, 1935, p. 283).

Цветаевой были переведены на французский язык стихи Пушкина, Лермонтова, Маяковского, «Похоронный марш» («Вы жертвою пали в борьбе роковой...») и др.

Имеется в виду «Новогоднее» (1927).

Имеется в виду жилище Цветаевой в Ванве (26, rue J. В. Potin), где она прожила с 1934 по 1938 г.

Фондаминский псевд. Бунаков; Илья Исидорович (1880–1942) — общественный деятель, публицист, соредактор «Современных записок». Больше других редакторов журнала благоволил к Цветаевой.

Язык.

Первые известия о гибели М. И. Цветаевой были напечатаны в оккупационной газете «Новое слово» (Смоленск. 1942. 8 февр.) и берлинском выпуске той же газеты (1942. 11 февр.).



Резникова Наталья Викторовна (урожд. Чернова; 1903–1992) —  
литератор, переводчица.

Георгию Эфрону было 9 меч.

См. воспоминания О. Колбасиной-Черновой.

У Цветаевой: «Плач цыганки по графу Зубову...» (1923).

См. об этом вечере М. Цветаевой в воспоминаниях М. Слонима (С. 00) и В. Сосинского.

Бахрах Александр Васильевич (1902–1986) — литературный критик.

Эйснер Алексей Владимирович (1905–1984) — писатель.

Адамович Борис Викторович (1870–1936) — генерал-лейтенант, участник Белого движения.



В «Русской мысли» были опубликованы стихи из «Лебединого стана», «Перекоп» был написан значительно позже.

Морковин Вадим Владимирович (1906–1973) — по специальности инженер, поэт, беллетрист.

Ладинский Антонин Петрович (1896–1961) — поэт, прозаик, мемуарист.

Клепинин (Клепинин-Львов) Николай Андреевич (1899–1941).

Слащев Яков Александрович (1885–1929) — белый генерал, участвовал в сражении за Перекоп. Известен своей жестокостью.

Цитируется статья В. Ходасевича «Декольтированная лошадь», которую он напечатал 1 октября 1927 г. в газете «Возрождение» под своей фамилией.

Кроткова Христина Павловна (замуж. Франкфурт; 1904–1965) — поэтесса, критик, журналист.

Рафальский Сергей Милиевич (1896–1981) — поэт, прозаик, публицист. Один из организаторов литературного объединения «Скит поэтов» в Праге.



Рейтлингер Катерина (Екатерина) Николаевна (1901–1989) — поэтесса, художница, архитектор. В замужестве — Кист. Участница «Скита». Знакомая М. И. Цветаевой.

30 мая 1931 г. в зале «Эвритмия» (6-бис, рю Кампань Премьер) состоялся вечер М. И. Цветаевой. На этом вечере Цветаева, кроме стихов о царской семье, читала «Историю одного посвящения», свои стихи, посвященные О. Э. Мандельштаму, а также стихотворение Мандельштама, обращенное к ней, — «В разноголосице девического хора...».

В Тарусе напротив устья речки Песочни под тремя старыми соснами находится раз в Пещеру Улая. О ней сохранилась легенда, что жил там с шайкой разбойников атаман Улай. Грабили они проплывавшие по Оке баржи с товарами. Когда против разбойников послали войска, они ушли в глубь пещеры, которая, как утверждают, тянется километров на тридцать, до самого Серпухова.

Таня Купфер — подруга Х. П. Кротковой, студентка.

Кочаровский Карл-Август Романович (1870—1940-е) — публицист, экономист. Руководил отделением в Русском народном университете в Праге.

Возможно, речь идет о писательнице, журналистке, жене председателя Учредительного собрания Колбасиной-Черновой Ольге Елисеевне (1886–1964).

Г. Эфрон погиб уже после смерти матери (1944).

См.: Из книги «Нет времени горевать...»



Эпштейн-Дикая Лидия Григорьевна (р. 1908) — переводчица.

Брильянтички (фр.).

Мемуаристка вспоминает о стихотворении М. Цветаевой «Проста моя осанка...» (1920).

Родионова Галина Семеновна (ок. 1896–1986?) — была женой французского военного атташе в Индокитае, впоследствии, в годы войны, участница французского Сопротивления; после возвращения в СССР — преподавательница вуза.

Так запомнились мемуаристке цветаевские стихотворения 1931 года — «Дом» («Из-под нахмуренных бровей...»), финальные строки которого о «девическом дагерротипе души моей» она цитирует, и 1921-го — из цикла «Разлука» — «Все круче, все круче...», где звучат такие стихи:

...Я рук не ломаю!  
Я только тяну их —  
Без звука! —  
Как дерево-машет-рябина —  
В разлуку,  
Вослед журавлиному клину.  
Стремит журавлиный,  
Стремит безоглядно.  
Я спеси не сбавлю!  
Я в смерти — нарядной  
Пребуду!..

Г. Родионова неточно передает здесь слова И. Эренбурга он пишет о «растерянности» Цветаевой; эту «растерянность выдавали глаза: большие, беспомощные, как будто невидящие — Марина страдала близорукостью» (см. воспоминания И. Эренбурга).

Первая строка стихотворения А. К. Толстого, написанного в 1856 г.

В газете «Последние новости».



Сигареты.

Возможно, такое впечатление о чувствах С. Эфрона к М. Цветаевой возникло у мемуаристки потому, что в то самое время, о котором идет здесь речь, Эфрон, связанный с «Союзом возвращения на родину», оберегал Цветаеву от многих подробностей своей деятельности.

Г. С. Родионова была членом Французской компартии.

Шаховская Зинаида Алексеевна (1906–2001) — писательница, поэтесса.

Автор статьи — Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — общественно-политический деятель, экономист, историк.

Яблоновский Александр Александрович (1870–1934) — журналист, литературный критик.

«Его доверие могло быть обманутым, мое доверие к нему непоколебимо». См. также воспоминания М. Слонима и Е. Извольской.

Одоевцева Ирина Владимировна (псевд. наст. имя — Ираида Густавовна Гейнике; 1895–1990) — поэтесса.



Ошибка памяти мемуаристки: встреча, о которой вспоминает здесь И. Одоевцева, произошла в июне 1939 г.

Гингер Александр Самсонович (1897–1965), Присманова Анна Семеновна (1892–1960) — поэту русского зарубежья.

М. Цветаева уехала с Муром из Парижа 12 июня 1939 г. (сначала — поездом до Гавра, а оттуда — пароходом до Ленинграда). 18 июня она — в Москве.

Строка из стихотворения О. Мандельштама «Не веря воскресенья чуду...» (1916), обращенного к М. Цветаевой.

Федотова Елена Николаевна (урожд. Нечаева? — 1966) — жена Г. П. Федотова (1886–1951), историка, публициста.

После многих перипетий (лагерь в Алма-Ате) имя Эйснера появилось в журнале «Новый Мир». (Примеч. автора).

Гордон Нина Павловна (урожд. Прокофьева; 1908–1996) — в 30-е годы секретарь Михаила Кольцова в Жургазе (Журнально-газетном объединении).

Самуил Давидович Гуревич (1903–1952) — друг А. С. Эфрон, работал в Жургазе вначале секретарем правления, потом заведующим редакции журнала «За рубежом». Арестован в 1950 г., расстрелян в 1952 г. — Примеч. автора.



Нина и Дода — Нина Николаевна Сеземан (дочь академика Насонова) и ее муж журналист Николай Андреевич Клепинин, приехавшие из Франции. Они занимали в Болшеве полдачи, вторую половину занимали Эфроны. ОБА АРЕСТОВАНЫ В 1934 г. и расстреляны. — Примеч. автора.

Константин Михайлович Эфрон, племянник С. Я. Эфрона.

Иосиф Давыдович Гордон (1907–1969) — муж Н. П. Гордон, режиссер-монтажер и старший преподаватель ВГИКа, в то время находился в лагерях на Колыме. — Примеч. автора.

Сеземан Дмитрий Васильевич (р. 1922) — переводчик.

Лурье Ноях Гершелевич (1886–1960) — еврейский советский писатель.

М. Цветаева в голицынском Доме творчества никогда не жила, а только столовалась.

Веприцкая Людмила Васильевна (1902–1988) — детская писательница, драматург.

Тарковский Арсений Александрович (1907–1989) — поэт.



Стихотворение М. Цветаевой «Все повторяю первый стих...»,  
обращенное к поэту А. Тарковскому, опубликовано в журнале «Нева»  
(1982. № 4).

Кленов Андрей (наст. имя и фам. Арон Ильич Купершток, р. 1920) — поэт.

Павлович Надежда Александровна (1895–1980) — поэтесса, критик.

Парнах Валентин Яковлевич (наст, фам. Парнох; 1891–1951) — поэт, переводчик, хореограф.

Описка Н. Павлович. Речь идет о поэме «Молодец», написанной Цветаевой по мотивам русской народной сказки «Упырь» (собрание Афанасьева).

Мочалова Ольга Алексеевна (1898 — ок. 1978) — поэтесса.

Адалис Аделина Ефимовна (наст, фам.: Эфрон, 1900–1969) —  
поэтесса, переводчица.

Асеев Н. Маяковский начинается. Повесть в стихах. М., 1940.



Поль Фор (1872–1960) — французский лирический поэт.  
Представитель позднего символизма — Примеч автора.

Сосинский Владимир Брониславович (1900–1987) — писатель.

Цитата из предисловия Ю. Иваска «Благородная Цветаева» к первому изданию кн.: Цветаева М. Лебединый стан. Мюнхен, 1957.

**258**

Улица Руве (фр.).

Е. А. Сталинский.

О. Е. Колбасина-Чернова.

М. С. Булгаковой. Факт покупки платья М. Цветаевой недостоверен.

См. о К. Б. Розевиче в воспоминаниях А. Эфрон (с. 00). Отнюдь не чуждый миру искусства (он сам рисовал, переводил стихи Рильке), К. Родзевич бережно сохранил все адресованные ему М. Цветаевой письма и ее стихи и передал их в 1960 году через В. Сосинского Ариадне Эфрон.



М. Цветаева познакомилась с А. Ф. Керенским в Праге в 1923 г. Встреча в Париже, о которой вспоминает В. Б. Сосинский, — продолжение этого знакомства.

Сохранилась книга М. Цветаевой «Царь-девица» с дарственной надписью А. Ф. Керенскому: «Дорогому Александру Федоровичу дарю эту русскую сказку, в которой ничт не сладится. Марина Цветаева. Прага. 1923 год». (Об этом сообщается в статье В. Витальева «Судьба скрещенья. Встреча с сыном Керенского». — Неделя. 1989. № 30. С. 10.)

А. М. Ремизов.

Кульманова Зинаида Петровна — в 30—40-е годы редактор в Гослитиздате.

На мое «Какое у Вас хорошие перевод», она отвечала односложно — «Посильно».

Другая сотрудница уверяла, что Цветаева радовалась, когда умер Ленин. Я ничего подобного не слышала и в это трудно верить.

Воспоминания М. Цветаевой об Андрее Белом «Пленный дух» были напечатаны в журнале «Современные записки» (Париж. 1934. № 55).

Чуковская Лидия Корнеева (р. 1907–1996) — писательница.

Борис Леонидович находился в то время в Москве, а в Чистополь прибыл лишь во второй половине октября 41-го года.



Восстанавливая хронику последних дней жизни М. Цветаевой, М. Белкина пишет в книге «Скращение судеб»: «26-м (августа) помечено заявление (М. Цветаевой) в Литфонд. 26-го ночью Мур получает телеграмму. Стало быть, заседание Совета эвакуированных происходит 26-го. И 26-го Марина Ивановна была у Арбузовой, а 27-го уплыла в Елабугу» (с. 276).

Ныне — Борисоглебский переулок.

Дальский Мамонт Викторович (наст. Фам. Неелов; 1805–1918) — актер, с 1890 г. — в Александринском театре. После Февральской революции бросил сцену, объявил себя «идейным анархистом».

Адамович Георгий Викторович (1894–1972) — поэт,  
литературный критик.

Шаховской Дмитрий (Димитрий) Алексеевич (1902–1989) — поэт, издатель, впоследствии священнослужитель — архиепископ Иоанн Сан-Франциский. Стихи публиковал под псевдонимом «Странник». Посвятил Цветаевой несколько стихотворений.

М. Л. Слоним.

Жид Андре (1869–1951) — французский писатель; Цветаева письменно обращалась к нему, пытаясь пристроить публикацию своих французских переводов Пушкина.

Зуров Леонид Федорович (1902–1971) — писатель, журналист.



«Скит поэтов» — литературное объединение молодых русских поэтов в Праге (1922–1940). Руководителем объединения был А. Л. Бем.

Головина Алла Сергеевна (урожд. Штейгер, во втором браке Жиль де Пемни; 1909–1987) — поэтесса, прозаик, сестра А. Штейгера.

Сувчинский Петр Петрович (1892–1985) — музыковед, музыкальный и литературный критик.

Турицев Александр Александрович, о. (1896–1984) —  
протоирей, поэт, критик.

Юдина Мария Вениаминовна (1899–1970) — пианистка, музыковед, профессор Московской и Ленинградской консерваторий.

Ошибка памяти мемуаристки: в 1940 г. Н. Заблоцкий не мог жить в Москве, так как был репрессирован.

Шервинский Сергей Васильевич (1892–1991) — поэт, переводчик.

Очевидно, опять ошибки памяти мемуариста, «смещающего» времени.